С.Н.СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

ЛЕНИН В АВГУСТЕ 1914 ГОДА

КАПИТАН КОНЯЕВ

ЛЬВЫ И СОЛНЦЕ

ВЕСНА В КРЫМУ

ИСКАТЬ, ВСЕГДА ИСКАТЬ !

СВИДАНИЕ

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

ЭПОПЕЯ

ЛЕНИН В АВГУСТЕ 1914 ГОДА

КАПИТАН КОНЯЕВ

ЛЬВЫ И СОЛНЦЕ

ВЕСНА В КРЫМУ

ИСКАТЬ, ВСЕГДА ИСКАТЬ!

СВИДАНИЕ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1991

84 Р 1
С 32

Иллюстрации
А. В. Николаева

Сергеев-Ценский С. Н.

С 32 Преображение России. Эпопея: Ленин в августе 1914 года. Капитан Коняев. Львы и солнце. Весна в Крыму. Искать, всегда искать! Свидание (Ил. А. В. Николаева.— М.: Правда, 1991.— 544 с., ил.

В настоящее издание включены этюды «Ленин в августе 1914 года», «Свидание», повести «Капитан Коняев», «Львы и солнце», романы «Весна в Крыму», «Искать, всегда искать!», завершающие историко-революционную эпопею С. Н. Сергеева-Ценского «Преображение России».

С $\frac{4702010101-2298}{080(02)-91}$ 2298—91

ISBN 5—253—00212—X

ЛЕНИН В АВГУСТЕ 1914 ГОДА

Этюд

1

Мировая война застала Ленина в Поронине.

Поронин была уютная, утопавшая в садах, но захудалая деревня в красивой местности, в предгорьях Карпат. Ленин с Надеждой Константиновной Крупской в первый раз поселились тут еще года за два до войны. Недалеко был Краков, из которого они вновь приехали сюда в начале лета 1914 года.

От Поронина было довольно близко и до русской границы.

Что великий мастер революции в России Владимир Ленин живет в Галиции, под Краковом,— это, конечно, было известно австрийским властям; что он, поселившись в Австрии, очень интересовался забастовочным движением в России,— это не могло не быть известным тем же властям; Ленин был русским, и так как приказано было считать подозрительным по шпионажу всех вообще русских, даже приехавших лечиться на прославленные австрийские курорты, то в числе этих подозрительных не мог не попасть на глаза поронинского жандарма и Ленин.

Вдруг стукнуло в голову деревенского блюстителя порядка, фамилия которого была Матыщук: этот русский эмигрант часто уходит в горы и бродит где-то там иногда совершенно один. Зачем? Что он там делает? Может быть, снимает планы местности, что, конечно, очень важное преступление теперь, когда начались военные действия против русских... Кроме того, он, Ленин, как уже сообщали вахмистру, очень интересовался жизнью австрийских рабочих на больших предприятиях, расспрашивал и даже записывал что-то, а какое может быть дело русскому эмигранту до австрийских рабочих?..

От начальства не приходило еще, правда, бумаги о том, чтобы произвести у него обыск, но казалось несомненным, что если он, жандармский вахмистр деревни Поронин, этого обыска не произведет в такое время по долгу своей службы, то ему грозит ответственность. И вот, взяв, как было положено по закону, понятым одного из крестьян деревни, жандарм появился в доме, который занимал Владимир Ильич.

Это был простой, не очень старый, основательно прочной постройки крестьянский дом в шесть окон на улицу и с довольно удобным для работы мезонином.

Все было бедно в обстановке жизни того, чья идея преображения России была так безмерно богата. Жандарм чувствовал себя явно не совсем ловко, когда заявил, взойдя на крыльцо дома, что в силу военного положения он вынужден выяснить личность и характер занятий квартиранта Терезы Скупень.

Хозяйка дома Тереза Скупень имела очень встревоженный вид; понятой, сняв соломенный бриль, держал его в вытянутой «по шву» правой руке, глядел старыми глазами скорее сочувственно, чем враждебно, и всем своим напряженным видом как бы стремился дать понять почтенному русскому ученому человеку и его жене, что он попал к ним на обыск не по своей воле, что он не мог отказаться, когда вахмистр приказал ему быть понятым.

Солнце уже коснулось горы, за которую садилось, и не успела еще как следует улечься пыль от только что прошедшего по улице с пастбища стада. В общем, было еще светло, когда начался обыск. И Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне так знакомо было это там, у себя в России, и таким неожиданным показалось здесь, что у них не нашлось даже в первый момент и слов для протеста. Они только переглянулись, стараясь припомнить, что такое может быть найдено у них этим усатым, плотным, немолодым уже блюстителем порядка.

А блюститель, заглянув на полку в сенях, снял оттуда жестяную банку с клеем, сделал торжественно-строгое лицо и сказал понятому:

— Вот, видишь: бомба!

Понятой попятился с крыльца в испуге, Тереза ахнула, жандарм довольно ухмыльнулся в усы и поставил клей на прежнее место.

Это веселое начало обыска обещало как будто, что

в том же роде он будет проведен до конца, однако кое-что в комнате Владимира Ильича, особенно же в его письменном столе, остановило внимание вахмистра и заставило его задуматься.

Прежде всего в одном из ящиков стола Матыщук нашел под бумагами старый, довольно заржавленный и незаряженный браунинг. Он подержал его в руках, нахмурился, расправил усы и спросил у Владимира Ильича:

— Разрешение на оружие у вас имеется?

— Нет, не имеется,— ответил Ленин.— Револьвер этот давно уж у меня и перевозится с места на место вместе с разными другими вещами, но, по существу, мне он совершенно не нужен, к нему и патронов нет.

— Вы здесь, в Поронине, живете с недавнего времени, а до того где изволили жить? — полюбопытствовал Матыщук.

— Года два жил в Кракове, в Звежинце.

— Там тоже не брали разрешения на оружие, значит, а надо было взять.— И вахмистр положил браунинг в кожаный портфель, с которым пришел, сказав в пояснение: — В таком случае я обязан держать его у себя до тех пор, пока вы не получите разрешение.

Говорил он по-польски, как и все в этой местности, и Ленин заметил, бросив беглый взгляд на понятого, что тот глядел на него теперь не то что с явной укоризной, однако вопросительно: дескать, как же это — ученый человек, а не знал такой вещи, что надобно брать разрешение властей, если хочешь держать в своем столе запрещенную штуку — револьвер?

Вахмистр между тем поплотнее уселся у стола, на который выложил рукопись из ящика: ему хотелось порыться в бумагах человека, который, будучи русским подданным, имеет неразрешенное оружие во время войны с Россией.

Владимир Ильич, среди других дел, был занят в последний месяц перед войной аграрным вопросом в Австрии, и вот несколько тетрадей с его записями перелистывались теперь обрубковатыми, толстыми пальцами австрийского жандармского вахмистра.

Что мог понять в рукописях Ленина этот Матыщук? Они были испещрены цифрами, они писались на языке для него чужом — русском, однако чем менее они были для него понятны, тем более казались подозрительными.

Вот он задержался на одной странице, где разобрал слова «Австрия» и «Венгрия», и отчеркнул это место на полях тетради ногтем; вот долго разглядывал он другую страницу, где была приведена просто таблица статистических цифр, и важно спросил:

— Вы можете дать мне ключ к этому вашему шифру?

Когда Владимир Ильич, начавший уже нервничать, вспомнив о партийной переписке, хранившейся в его столе, довольно резко ответил, что это только цифры, а не шифр, что это обыкновенная научная работа, а не какая-то конспирация, вахмистр молчаливо, но понимающе улыбнулся и засунул три тетради в свой портфель.

Разумеется, он был вполне убежден, что в его руки попало именно то, что нужно, так как на этом он и закончил свой обыск, сказав:

— Начальство разберет, что вы такое тут писали, а мое дело — только представить это начальству при протоколе.

Уходя, он и дал приказ, прозвучавший, впрочем, как предложение, явиться утром в Новый Тарг. Выходило, что сам он, поронинский жандарм, арестовать русского политического эмигранта Ульянова не находил возможным, но предоставлял ему полную возможность самому на другой же день позаботиться о том, чтобы его арестовали более полномочные люди.

— Как ты думаешь: арестуют меня в Новом Тарге или отпустят? — спросил Надежду Константиновну Ленин.

— За что же арестовать? Это только смешно, что болвану вздумалось заподозрить тебя в шпионстве в пользу русского правительства! — сказала Надежда Константиновна.— Я думаю, в каком глупом положении окажется в Новом Тарге он сам со своим протоколом и с твоими тетрадями! Ведь над ним там смеяться должны!

— Должны-то должны, а будут ли,— это вопрос.

Державшийся спокойно при обыске, Владимир Ильич не боролся со своим возмущением теперь.

Чтобы успокоить его, Надежда Константиновна сказала:

— Ведь там будут все-таки до известной степени интеллигентные люди, а не какой-то деревенский вахмистр вроде нашего русского урядника. Они, разумеется, возвратят тебе твою работу.

— Даже если и арестуют? Гм, гм...

Владимир Ильич быстро заходил по комнате, потом остановился перед столом, сбросил с него в выдвинутый ящик все, что было вынуто жандармом, и выкрикнул:

— Каков мерзавец! Явный дурак, но в какое глупое положение меня-то хочет поставить! Я должен ехать куда-то, чтобы содействовать своему же аресту!..

— Но ведь как же теперь быть? Не бежать же куда-нибудь, ночью? И куда же именно можно убежать, если даже, допустим?..

— Да, наконец, и жандарм ведь, конечно, будет следить,— вступила в разговор мать Надежды Константиновны, старушка семидесяти двух лет, Елизавета Васильевна.

Она еще стремилась быть полезной, вела хозяйство, насколько была в силах, помогая в этом дочери. И много лет входила она во все интересы Владимира Ильича, хотя иногда и пыталась с ним дружески спорить. В свою очередь, питал к ней большое уважение и Владимир Ильич и, никогда не куривший сам, заботился, чтобы у нее, заядлой курильщицы, не переводились папиросы.

— А если там в этом Новом Тарге, вздумают прикончить меня, как в Париже прикончили Жореса? — спросил Надежду Константиновну, глядя в упор прищуренными глазами, Ленин.

— Боже избави! Как можно! — испугалась старушка, а Надежда Константиновна сказала, вполне уже овладев собою:

— Там-то, разумеется, этого не сделают, а вот здесь, в Поронине, нам, вообще всем русским эмигрантам, опасно оставаться: уже здешний ксендз разводит в костеле агитацию против нас, будто мы колодцы отравляем... А кто был тут поразумнее, те взяты в армию, как муж нашей хозяйки.

Тереза Скупень за те три месяца, как жили у нее в доме русские в этом году, и за летние месяцы предыдущего года могла бы уж, конечно, к ним привыкнуть, но война, лишившая ее мужа,— пока на время, но, кто знает, может быть, и навсегда — отуманила ее и без того неясный мозг. Ведь война была объявлена с русскими, и вот оказалось, что русские, то есть виновники войны, как говорили все около нее, жили не где-нибудь еще в Поронине, а у нее... Во время обыска она во все глаза

следила за Матыщуком и своим квартирантом, и никто бы теперь не мог ее разубедить в том, что невысокий человек этот ни больше, ни меньше, как русский шпион.

Она глядела на Ленина неприкрыто враждебно, и Ленин это заметил, а когда заметил, к нему вернулась его обычная уравновешенность, и он, уже улыбаясь, крикнул ей с крыльца на двор по-польски:

— Не расстраивайтесь, пани Тереза, я сейчас же пошлю телеграмму в Краков и Вену!

А Надежде Константиновне он сказал, деятельный, как всегда:

— Ничего! Впереди еще целая ночь, и к утру успеет прийти ответ из Кракова.

Когда, вступая в привычную для себя борьбу за свою свободу, Владимир Ильич упругой и четкой походкой туриста, привыкшего взбираться здесь на горы и спускаться с них без помощи палки, уходил на почту, его провожали три пары женских глаз.

В расширенных светлых глазах Надежды Константиновны рядом с чувством тревоги и обиды за него стояла уже уверенность, что все обойдется, что в Новом Тарге сразу поймут, что поронинский жандарм — дурак и невежда, что обвинение глупое и подлое, что из Кракова в эту же ночь должен прийти ответ, какой нужен.

Глаза ветхой Елизаветы Васильевны заволакивало уже туманом, свойственным глубокой старости, но и сквозь него, стоя на крыльце, старалась она как можно полнее вобрать расплывчатые контуры тела этого удивительного человека, размашисто уходящего со двора, приземистого, порывистого, крепкого, рядом с которым жила она уже столько лет, о котором привыкла заботиться так же, как и о дочери, ставшей его женой.

Незадолго перед войной в России, в Новочеркасске, умерла сестра Елизаветы Васильевны, бывшая классная дама женской гимназии, и оставила ей в наследство скопленные за тридцать лет педагогической деятельности четыре тысячи рублей. Этих денег, правда, не получили еще пока, но они уже были переведены в один из банков Кракова, и все последнее время, несмотря даже на начавшуюся войну, старушка чувствовала себя на земле гораздо прочнее, чем до того: четыре тысячи были большими деньгами в их скромном обиходе жизни.

И вдруг такое несчастье, как этот обыск! Быть может, и в самом деле грозит арест зятю?.. И, постепенно теряя его из глаз, «бабушка», как ее звали партийные товарищи Ленина, стремилась угадать в будущем не другое что, а только одно — что его не посмеет никто посадить в тюрьму.

А со стороны отворенных настежь ворот коровника, из которых выходила с подойником в руке высокогрудая, широколицая, толстоногая гуралька Тереза Скупень, вслед Ленину глядели серые угрюмые глаза.

2

Телеграмма, написанная в почтовой конторе Владимиром Ильичем и посланная в Краков директору полиции, была такова:

«Здешняя полиция подозревает меня в шпионаже. Живу два года в Кракове в Звежинце, 51, ул. Любомирского. Лично давал сведения комиссару полиции в Звежинце. Я эмигрант, социал-демократ.

Прошу телеграфировать Поронин и старосте Новый Тарг во избежание недоразумений.

Ульянов».

Трудно было что-нибудь еще добавить к этому на телеграфном бланке. Гораздо больше бумаги, времени и слов было в распоряжении жандарма Матыщука, который как раз в тот же час засел за составление обстоятельного, фразистого донесения своему начальству в Новый Тарг.

«С 6 мая 1914 года в волости Бялый Дунаец, в доме Терезы Скупень проживает русский подданный Владимир Ульянов. Вышеупомянутый является литератором и показывает, что из-за политических преступлений вынужден был бежать из России»,— так начал ревностный вахмистр свою бумагу по начальству.

Затем в изобилии приводились «преступные» деяния: «У него происходили разные совещания с другими русскими подданными, причем иногда количество таковых было так велико, что даже сени были переполнены слушателями...» «Он поддерживает постоянную корреспонденцию с лицами, проживающими в Петербурге, а также с находящейся там редакцией газеты «Правда», которой будто бы состоит сотрудником...» «По циркулирующим

слухам, он будто бы получал из Петербурга также значительные суммы денег; подтверждение этих слухов может быть установлено затребованием разъяснений от почтового отделения в Поронине...» «При обыске у вышеупомянутого обнаружено три тетрадки, содержащие различные сопоставления Австрии, Венгрии и Германии, каковые тетради прилагаются к сообщению...» «При производстве обыска у него же найден один браунинг, а так как он не имеет разрешения на ношение его, браунинг конфискован и передается в Управление Императорско-Королевского Окружного Начальника...» «Ввиду того, что вышеупомянутый за исключением удостоверения личности, составленного на французском языке, никаких других документов не имеет, далее, что никто не может установить, не является ли его деятельность вредной для государства, так как в настоящее время русские имеют с ним совещания, далее, что можно предполагать, что названный, поддерживая связи с разными индивидуумами, может также передавать другие детали, касающиеся Австрийского Государства, а потому вышеназванный препровождается в Управление Императорско-Королевского Окружного Начальника».

Написав свое донесение, поронинский жандарм Матыщук лег спать со спокойной совестью, притом же и вставать нужно было рано: поезд в Новый Тарг отходил в шесть утра. Зато Владимир Ильич с женою провели ночь без сна, ожидая ответа на телеграмму в Краков и строя догадки, чем может окончиться путешествие к старосте Нового Тарга.

В Поронине жили еще эмигранты — большевики, тоже русские подданные, и к одному из них, недавно, перед самой войной прибывшему сюда непосредственно из ссылки, Владимир Ильич заходил с предложением перейти в дом Терезы Скупень и занять там мезонин, чтобы не слишком одиноко чувствовали себя Надежда Константиновна и бабушка; к другому, давнему члену партии обращался, не придумает ли тот что-нибудь еще, более существенное, чем телеграмма в краковскую полицию.

Совместно решено было действовать через депутатов австрийского рейхстага — социал-демократов, и одному из таких депутатов, Мареку, в тот же вечер была послана телеграмма.

Так как вернуться пришлось поздно, то это очень расстроило бабушку. Часть бессонной ночи ушла на то, чтобы ее, плачущую, успокоить.

Потом начали приводить в порядок свой запущенный архив: кое-что уничтожить на случай нового обыска, кое-что отложить, чтобы спрятать подальше... Удивились при этом сами тому, как много за годы эмиграции скопилось у них старых газет, журналов, книг, брошюр, писем...

Работа по аграрному вопросу в Австрии, уложенная в портфель жандарма, начата была, конечно, еще задолго до войны. Ее было остро жаль как незавершенный и уже навсегда, быть может, пропавший труд. Однако не только этой работе, очень многому еще грозило уничтожение, раз началась такая война, в которую вовлечены почти вся Европа и Япония, а может статься, будет втянут и весь мир.

Он, Ленин,— вполне убежденный противник войны империалистов за раздел мира, за грабеж более слабых народов более сильными, и это его основные взгляды, и именно их проводил он в своих статьях перед войною, и от них, разумеется, не откажется и теперь.

Нелепый визит деревенской власти здесь, где его застала война, мог привести не только к худшему для него лично, но и к срыву работы — дела всей его жизни.

Домашняя работница Виктория, нанятая в помощь болезненной бабушке, надоедала тем, что тоже, как и они трое, не ложилась спать, и то и дело появлялась в комнате, и спрашивала, с виду очень участливо, не нужно ли в чем-нибудь помочь.

У Надежды Константиновны было уже подозрение, не она ли виновница визита жандарма, не ее ли это злостная выдумка, что Владимир Ильич — шпион.

Очевидным и для Владимира Ильича стало в эту ночь, что Виктория не помочь им хотела (да и в чем могла бы проявиться эта помощь?), а только высмотреть что-то или подслушать их разговор, и он сказал Надежде Константиновне:

— Лучше будет тебе отделаться поскорее от ее услуг, если меня посадят.

На что отозвалась Надежда Константиновна:

— А если вдобавок еще и отправят куда-нибудь из Нового Тарга, то зачем же я -то буду здесь сидеть?

Под утро доставили телеграмму — ответ директора

краковской полиции, но доставили ее не Владимиру Ильичу, а жандарму Матыщуку. Она была немногословна: «Против Ульянова не имеется здесь ничего предосудительного в области шпионажа».

Копию этой же ведомственной телеграммы получил, как оказалось потом, и староста в Новом Тарге, но ведь в ней не было и не могло, конечно, быть ручательства директора краковской полиции за поведение русского подданного Ульянова в деревне Поронин.

В шесть утра Надежда Константиновна вышла провожать Владимира Ильича на станцию, до которой было не меньше сорока минут ходьбы.

Разительным показался ей контраст между настроением ее и мужа и той картиной мирного утра, которая перед ними открылась.

Ночью был дождь, но к утру земля уже просохла, и остались, как всегда от дождя, свежесть в воздухе, бодрость, густые запахи покорно подсыхающих на корню трав, большая прозрачность далей...

— В такое утро хорошо бы отправиться куда-нибудь в горы,— сказала она.

— Или на охоту,— поддержал Владимир Ильич, очень внимательно вглядываясь во все кругом, точно со всем уж прощаясь.

Он любил эту местность: она напоминала ему высокие приволжские места под Симбирском. И крыши деревенских изб были там такие же крутые, высокие, со слуховыми окнами на чердаках, только дощатые, а не из гонта, как здесь.

Шли не очень спеша: времени было довольно.

— Я не придал этому особого значения, поэтому не сказал тебе,— вспомнил Владимир Ильич,— один товарищ предложил дать знать об истории со мною старому народовольцу, доктору Длусскому. Он живет верстах в десяти от Закопане и будто бы имеет какое-то влияние... К нему хотели сегодня поехать, может быть и в самом деле есть у него знакомства. Ничем и никем пренебрегать, разумеется, нельзя.

— Длусский? Народоволец? На чем же к нему ехать? Арбу нанять?

— На велосипеде,— отозвался Владимир Ильич и добавил: — Но без письма в Вену к Виктору Адлеру, мне кажется, обойтись будет нельзя. Не хотелось бы, но

ничего не придумаешь больше: Австрия, война и самое подлое обвинение, какое только можно представить.

Жандарм появился на станции минут за восемь до прихода поезда. По вздутому его портфелю можно было догадаться, что злополучный браунинг он везет старосте вместе с тремя тетрадями.

О том, что он получил телеграмму от директора краковской полиции, узналось после, а теперь Ульяновы терялись в догадках, отчего это он как будто подобрел и даже пустился было обнадеживать их, что все зависит исключительно от того, как посмотрит на дело окружной начальник: вдруг сочтет его не стоящим большого внимания, и тогда... Однако Владимир Ильич глядел на него подозрительно прищуренными глазами.

Вот он вошел в вагон раньше жандарма; вот показалось его лицо в окне; вот тронулся поезд, и он прощально машет шляпой...

3

Владимир Ильич очень рано начал борьбу с русским правительством для того, чтобы успеть в этой борьбе сделать как можно больше: жизнь казалась ему слишком короткой для такой гигантской задачи. Пример старшего брата, Александра, казненного царем Александром III, рано убедил его в том, что свалить царизм может только сильная партия — передовая армия многомиллионного войска рабочих и крестьян.

И партия эта — партия большевиков — была им создана и организованно вела борьбу в России с царским правительством.

Но вот он входит в кабинет окружного начальника Гроздицкого (фамилию эту он услышал от Матыщука в поезде), и рядом с ним входит, щеголяя военной выправкой, жандарм Матыщук.

Кабинет был обширный, и староста в нем, сидевший за большим письменным столом, не с первого взгляда был замечен Владимиром Ильичем, тем более что был он не в полицейской форме, а в штатском костюме серого цвета.

Только когда подошел ближе к столу, разглядел Ленин крупный ноздреватый нос с синими и красными жилками, одутловатые щеки, небольшие серые свиные глазки, тупо глядевшие сквозь пенсне в золотой оправе,

полуседую реденькую щетинку на голове, воинственные небольшие усы и черный перстень на указательном пальце правой руки... И голос у него оказался хрипловатый, жирный, тоже совершенно неотделимый с представлением Владимира Ильича о русском исправнике.

Конечно, прежде чем захотел на него взглянуть этот староста, вахмистр Матыщук выложил перед своим начальником донесение, и конфискованный браунинг, и тетрадки и сделал в дополнение ко всему этому словесный рапорт, так что все было подготовлено для устного знакомства Ленина и старосты Гроздицкого.

В кабинете стоял еще и другой стол, за которым сидел письмоводитель, ехидного вида старичок, «приказная строка», но Гроздицкий дал знак Матыщуку, введшему Владимира Ильича, остаться около двери: этот жест можно было понять и так, что староста не считал для себя безопасным присутствие русского революционера у себя в кабинете.

— Вас, господин Ульянов, обвиняют в шпионаже в пользу России,— вскинул глаза и, придержав пенсне, начал без дальнейших околичностей староста.— Что вы можете сказать по этому вопросу?

— Скажу, что это явная глупость и что глупость эта могла родиться в чьей-то совершенно нелепой голове,— очень живо ответил Владимир Ильич.

— Господин Ульянов, так нельзя говорить о представителе императорско-королевской власти, какое бы положение он ни занимал! — предостерегающе и строго заметил староста.

— Однако и мне нельзя предъявлять обвинение в шпионаже! — резко сказал Ленин, чувствуя прилив крови к щекам и шее.— И, насколько мне известно, такого обвинения мне и не предъявлено было в деревне Поронин, где я живу.

— Это уж разрешите знать мне самому! — сказал староста, однако взял лист со стола — по виду именно донесение вахмистра — и начал пробегать его глазами.

В это время на столе старосты, где красовался щегольской хризолитово-бронзовый письменный прибор, Владимир Ильич заметил два телеграфных бланка, заполненных каким-то сходным на том и другом текстом, разобрал на одном из них свою фамилию и спросил, невольно придвигаясь к столу:

— По-видимому, господин староста, это обо мне получили вы телеграммы от директора краковской полиции, не так ли?

Староста выдвинул вперед одну руку, как для защиты, другою накрыл и придвинул к себе обе телеграммы (одна была передана ему жандармом Матыщуком) и сказал почти испуганно:

— Вы не имеете права задавать мне вопросы!

Выждав несколько мгновений, он продолжал уже более пониженным тоном:

— Разумеется, после обыска у вас, произведенного вчера вечером, вы имели время предпринять шаги для своей реабилитации, но отношение краковской полиции в вашем деле бесполезно: оно касается прошлого, а не настоящего... Сколько времени прошло, как вы уехали из Кракова в Поронин?

— Три месяца, но, тем не менее...

— Как же может ручаться за вас краковская полиция, если вы уже три месяца живете не в Кракове? — перебил староста.— Тем более что теперь военное время и наблюдение со стороны полиции гораздо строже. А у вас вот, оказывается, отобран во время обыска браунинг! Спрашивается, зачем вы хранили его, не имея на то разрешения от краковской полиции, к которой обращались?

— Револьвер мой не был заряжен,— сказал Владимир Ильич,—а незаряженный револьвер такое же оружие, как любой камень того же веса.

— Однако у вас в столе хранился не камень, а что касается патронов...

— То их вообще у меня не было,— перебил теперь уже Владимир Ильич.

— То они, конечно, хранились вами где-нибудь в другом месте,— докончил староста.— А эти тетради ваши, полные статистических данных об Австрии?

И он начал перелистывать одну из тетрадей, явно не интересуясь содержанием ее и останавливаясь глазами только на рядах цифр.

— Относительно этой работы своей я могу сказать следующее,— начал Владимир Ильич, стараясь сохранить, но все-таки теряя равновесие ввиду явной пристрастности всего этого допроса.— Когда я поселился в Кракове года два назад, я в своем ответе на вопрос

в комиссариате, с какою целью я поселяюсь в Галиции, поставил в известность краковскую полицию, что желаю познакомиться со здешними аграрными условиями, так как я — литератор, журналист, сотрудник газет, социал-демократ по своим убеждениям — преимущественно этими вопросами и занимаюсь... Совершенно естественно, что эти тетради являются результатом моего долговременного труда именно в области аграрного вопроса в Австрии.

Разговор происходил на немецком языке, и Владимир Ильич, отлично владевший немецким языком еще с детства, полагал, что будет надлежащим образом понят этим австрийским исправником, однако тот, флегматично постучав своим черным перстнем по тетради, сказал, видимо, стараясь говорить веско:

— Русский подданный, хотя бы и эмигрант и социал-демократ, допустим, вы интересуетесь почему-то аграрным вопросом у нас, в Австрии, и хотите, чтобы этот ваш пристальный интерес к нашим внутренним делам мы не брали под особое подозрение теперь, когда началась война с Россией? Не-ет, мы разрешим себе это подозрение, как вам будет угодно.

Потом он кивнул головой в сторону Матыщука и сказал тоном приказа:

— Выведите арестованного и подождите сопроводительной бумаги!

Владимир Ильич понял, что его ожидает тюрьма, и только большим усилием воли он кое-как справился с охватившим его возмущением, дошел до двери и вышел в переднюю, но здесь вынужден был сесть на деревянный диван.

Впрочем, сидеть долго не пришлось: письмоводитель, приотворив слегка дверь кабинета, просунул руку с бумажкой, а Матыщук, приняв ее, передал сержанту конвойной команды вместе с арестованным, с которым счел нужным проститься, взяв под козырек.

И вот знакомая по России картина — тюрьма!

Такая тюрьма могла бы быть только в русском уездном городке — одноэтажное каменное, довольно длинное здание с рядом квадратных окошек, заделанных железными решетками. Окошки, как полагается, высоко, гораздо выше человеческого роста.

Превосходил средний человеческий рост и надзира-

тель тюрьмы Иозеф Глуд, который лаконично записал в книгу арестантов, придерживаясь граф:

«8/VIII 11 ч. утра. Владимир Ульянов, уроженец России, лет 44, православного вероисповедания, русский эмигрант».

В отдельную графу попало отобранное имущество: «91 крона 99 геллеров, черные часы, ножик».

Впрочем, Иозеф Глуд оказался почему-то преувеличенно вежливым, когда вводил его по коридору в отдельную камеру, где торчала железная койка, кое-как застеленная байковым серым одеялом, где в углу стояла параша, а воздух был очень душен и спёрт.

Владимир Ильич понял эту вежливость как дань уважения к нему — «крупному государственному преступнику», оказавшемуся в мелкотравчатом Новом Тарге; но в тот же день увидел, что он был единственный интеллигент на всю тюрьму: кроме него, тут сидели лишь местные крестьяне, просрочившие свои паспорта или не уплатившие налога; какой-то неугомонно-крикливый цыган да еще мелкий чиновничек-поляк из Варшавы, вздумавший накануне войны проехаться в Австрию по чужому паспорту.

4

После ночи, проведенной без сна, после допроса старосты, казалось бы, должна была наступить усталость и можно было прилечь на койку с грязным, лохматым одеялом, подложить под голову руки и закрыть глаза.

Однако слишком крут был перелом в жизни, и водоворот мыслей, им поднятых, выжал усталость. О сне Ленин очень часто забывал и тогда, когда борьба с противниками не выходила за пределы споров, а ведь противники были гораздо ниже его по умственным силам. Он входил в азарт борца по мере того, как упорно ему сопротивлялись и как велико было число его политических врагов.

Хотя с начала мировой войны прошла всего только одна неделя, но он уже знал, что в воюющих государствах Западной Европы с рабской угодливостью, с поспешностью и легкомыслием преданы интересы рабочего класса, и социал-демократы стали социал-шовинистами... «Все силы рабочих на поддержку своей буржуазии!» — таков, по существу, был лозунг этих немногих,

но ошеломляющих дней. Слова Вильгельма: «Отныне я не знаю партий,— я знаю только немцев!»,— по-своему, только переиначив их, могли бы повторить и Франц-Иосиф, и Эдуард VII, и Альберт, король Бельгийский, и Пуанкаре, президент Франции... А русское правительство позаботилось облегчить появление в России пышных цветов социал-шовинизма, закрыв «Правду» как раз накануне войны.

Одиночество — вот что с каждым днем войны обрисовывалось перед Владимиром Ильичем все отчетливее: на восьмой день войны он, Ленин, в австрийской тюрьме, даже не в тюрьме, в тюрьмишке, в уездной каталажке, а первый шаг, какой сделал он для того, чтобы снять с себя гнусный навет — обвинение в шпионаже — в пользу кого? — русского правительства, царя Николая, смешно и подумать! — этот первый шаг оказался слабым...

Телеграмма в адрес старосты Гроздицкого от краковской полиции пришла, но на старосту не повлияла. Да и что могло содержаться в ней? Ведь не могла же краковская полиция дать ручательство за него, русского эмигранта?

Меряя камеру из угла в угол торопливыми, но твердыми шагами, Владимир Ильич силился представить, как действуют теперь Надежда Константиновна и товарищи-партийцы, осуществляя планы, к которым пришли: поездка к Длусскому, письмо к Виктору Адлеру и что там возможно еще... А в это время староста отправлял ответ на телеграмму из Кракова, полученную рано утром:

«Новый Тарг, дня 8/VIII 1914 года.

Императорско-Королевской Дирекции Полиции в Кракове.

Довожу до сведения и доношу, что передал обвиняемого здешнему Императорско-Королевскому Уездному Суду для дальнейшего ведения дела, донося об этом одновременно Императорско-Королевскому Генеральному штабу при 1-м Корпусе в Кракове.

Импер.-Кор. Староста

Гроздицкий».

А уездному суду была отправлена им такая бумага:

«Передается для дальнейшего производства по поводу подозрения в шпионаже с сообщением, что обвиняемый получает значительные суммы денег из России, и, как известно, подобная сумма поступила из России

в адрес обвиняемого в Поронин и находится в почтовом отделении Поронина для получения».

К этому добавлялось, что сообщения об аресте столь важного преступника посланы и в штаб 1-го корпуса, и в президиум наместничества во Львове, и в дирекцию Львова и Кракова — словом, всем, всем, всем, всем. Очевидно, в том, что в руки его попался действительно русский шпион, староста Нового Тарга не сомневался.

В то время, как Владимир Ильич, еще не успокоившись, метался по своей камере, большевик Яков Станиславович Ганецкий, живущий в Поронине и приехавший на арбе в Новый Тарг, чтобы выручить Ленина, стоял перед старостой Гроздицким и говорил взволнованно-повышенным тоном:

— Что вы такое сделали, послушайте, пан Гроздицкий!.. По донесению полуграмотного деревенского жандарма вы вздумали лишить свободы величайшего человека, которого знает весь мир, за исключением вас, как, к сожалению, оказалось! Кого вы заподозрили в шпионаже в пользу русского правительства? Непримиримейшего врага этого правительства, вождя русских революционных сил Владимира Ульянова! Грозу русского царя, Владимира Ульянова, который руководил революцией в России в 1905 году! Владимира Ульянова, который неслыханно развил забастовочное движение в России перед самой войной, хотя и жил здесь, в Галиции, в деревне Поронин! Того, наконец, кто поставил на знамени своей революционной борьбы в первую голову освобождение русской Польши от гнета царизма!..

Это говорилось на польском языке без малейшей тени акцента, так как говоривший был сам уроженец русской Польши, Гроздицкий же был тоже поляк. Это говорилось слишком горячо и убедительно для того, чтобы образ Ленина не встал, наконец, во весь свой рост и со всей возможной рельефностью перед старостой Нового Тарга.

Он развел руками в знак того, что, по-видимому, действительно допустил ошибку, которую исправить теперь уже не может: официальные бумаги о гражданине Ульянове посланы уже в Краков и Львов...

— Я могу только,— сказал он,— сделать одно: направить сейчас же к гражданину Ульянову судебного следователя для производства дознания, чтобы провести его дело как можно быстрее.

5

Разбитая, усталая, возвращалась со станции домой Надежда Константиновна. Уверенности в том, что Владимира Ильича отпустят, оставалось все меньше, но когда она была уже близко от дома Терезы Скупень, ей пришлось услышать (потому что и говорилось это громко, чтобы она слышала):

— Если этого шпиона выпустят и опять он сюда к нам приедет, мы ему тогда и глаза выколем и язык вырежем!

Глядя на нее, так говорили женщины из соседних домов, стоявшие небольшой толпой поодаль. И говорили не о ком другом, как о ее муже!.. Выходило, что даже и в том счастливом случае, если бы удалось добиться освобождения Владимира Ильича, жить им в Поронине больше было бы уж нельзя.

Виктория, как и прежде, работала по хозяйству — только что принесла на коромысле два ведра воды,— но хладнокровно видеть ее не могла Надежда Константиновна и сказала ей:

— Не передумали вы, Виктория, ехать на работу в Краков? Теперь я могла бы вам помочь это сделать: теперь у нас вам дела будет мало.

Виктория ответила, что будет рада уехать, если только получит от нее на отъезд денег, и через несколько минут ее уже не было в доме, а через полчаса Тереза привела помогать по хозяйству какую-то очень белокурую и застенчивую девочку лет тринадцати, Анельку, которая начала свою помощь с того, что уронила и разбила тарелку, и от конфуза порывалась убежать домой, так что с трудом ее удержали, причем Тереза говорила ей, что пани Ульянова — женщина богатая,— что̀ для нее значит разбитая тарелка!

Появился в доме и тот бывший ссыльный, которому накануне Владимир Ильич предложил поселиться в мезонине. Это был молодой еще человек, но до крайности молчаливый. Он сказал только, что Владимир Ильич поручил ему привести в порядок его небольшую библиотечку здесь, но что это значило — привести в порядок, не знал и смотрел исподлобья.

Надежда Константиновна понимала, что Владимир Ильич заботился, приглашая его, о ней с «бабушкой»,

а книги — это только предлог, однако видела, что помощь от такого столь же сомнительна, как от Анельки. Трещина, появившаяся в их мирной до того жизни, с каждым часом становилась все шире.

В то же время казалось неотложным начать составлять письмо Виктору Адлеру, чтобы он оказал ничего не стоящую ему помощь, какие бы ни были у него принципиальные разногласия с Лениным. Нашлась для этого бумага, нашелся и карандаш, но совершенно не находилось нужных слов, и она начинала было писать и тут же бросала.

Все-таки единственно спасительным представлялось время, которое шло: оно приближало приход Владимира Ильича, который, быть может, отпущен и идет со станции.

Но вот мимо прошел жандарм Матыщук, и от него Тереза, догнав его, узнала, что Ульянов отправлен в новотаргскую тюрьму, и странно: хотя гораздо больше было возможностей услышать именно это, чем другое, Надежда Константиновна была поражена чрезвычайно.

Она даже довольно долго не могла понять, о чем говорит ей подошедший в это время товарищ, бывший ссыльный, и невидяще смотрела на него остановившимися глазами, а он говорил глухим голосом и покашливая, с запинками и несмело:

— Стесняет меня только... одно обстоятельство: Владимир Ильич некурящий, а я... курить научился в ссылке... Весьма зверски... притом из трубки... И без трубки никак не могу, вот что.

С трудом усвоила наконец Надежда Константиновна, что он проникнут глубоким почтением к ее мужу, которого там, в Новом Тарге, не постеснялись усадить в тюрьму, и отвернулась, потому что на глаза навернулись слезы.

6

В камере № 5 не было почему-то ни стола, ни стула, и Владимир Ильич, едва осмотревшись, сказал надзирателю Глуду по-польски:

— Я литератор, сотрудник газет, много пишу, чем и существую, а здесь почему-то нет ни стола, ни даже табурета.

— Их вынесли для ремонта, но краска на них уже высохла. Их сейчас внесут, пусть пан не беспокоится,— с большой учтивостью сказал Глуд, выходя и не забывая запереть дверь.

Однако что-то долго потом не было ни надзирателя, ни стола с табуретом.

Но вот загремело в двери, она распахнулась, и ножками вперед показался действительно пахнущий еще свежей краской желтый небольшой стол, а за ним сам Глуд; потом появился у стола табурет, тоже окрашенный желтой охрой.

— Не хватает, значит, только чернил, пера и бумаги,— сказал Владимир Ильич, не ожидая, впрочем, ни того, ни другого, ни третьего.

Но Глуд, как бы решив удивить его своею расторопностью, только успев понимающе наклонить голову и проговорить: «Зараз доставлю»,— исчез, и очень скоро на столе зачернела школьного типа чернильница-непроливайка и забелел лист бумаги.

Это не могло не показаться Владимиру Ильичу добрым знаком, и действительно вслед за всей этой благодатью в камере появился невысокий, слабого на вид сложения человек лет тридцати двух-трех, с косым пробором жидких волос, с открытым белым лбом, бритый, как актер, одетый по-летнему, с папкой в руке.

Поклонившись как будто даже несколько театрально и положив папку на стол, вошедший сказал по-немецки:

— Я судебный следователь, и мне прислали о вас бумагу. Прошу отвечать на мои вопросы со всей откровенностью.

— Очень рад! — невольно обрадованно отозвался на это Владимир Ильич, вплотную придвинувшись к столу.

Он стоял, следователь сел на табурет, Глуд дежурил у двери.

Этот приход следователя объяснил Ленину и появление в его камере чернил и бумаги, но у следователя оказалась своя бумага и свое «вечное перо».

После первых же вопросов, когда следователь узнал и записал, что Владимир Ильич имеет литературный и партийный псевдоним Ленин, он поднял на него расширенно-пристальные глаза и сказал изумленно:

— Ленин!.. Но позвольте, ведь это имя очень хорошо известно!

— Очевидно, не всякому, иначе бы я здесь не сидел,— возразил Ленин.

Следователь посмотрел на бумажку, полученную им, как догадался Владимир Ильич, от старосты, и спросил, улыбнувшись:

— Вас, гражданин Ульянов, подозревают в шпионаже в пользу России на том только основании, что вы получаете из России деньги. Откуда же вы их получаете?

— От редакции газеты «Правда», где я сотрудничал почти в каждом номере... Употребляю прошедшее время — «сотрудничал», так как газета эта закрыта перед самой войной русским правительством. А до того она издавалась легально, несмотря на свою революционность, но, разумеется, сильно страдала от репрессий со стороны русских властей. Да ведь ради руководства этой газетой я и поселился здесь, поближе к русской границе,— добавил Владимир Ильич.— Согласитесь сами, что мне при моем положении, при моем отношении к русскому правительству предъявлять обвинение в шпионаже в пользу этого правительства, с которым борюсь я всю свою сознательную жизнь,— чистейшей воды абсурд!

— Абсурд! Действительно абсурд! — не замедлил согласиться следователь.— И я должен буду написать об этом с возможной закругленностью. Присядьте, пожалуйста, хотя бы на койку, гражданин Ульянов!

И, почувствовав при этих словах следователя действительную необходимость сесть, Владимир Ильич опустился на лохматое серое одеяло в первый раз за этот богатый событиями день, так как только теперь ощутил большую усталость во всем теле. Зато он был обрадован тем, что Иозеф Глуд от дверей глядел на него непритворно сияющими глазами.

Следователь писал несколько минут, а потом, когда объявилась ему необходимость задать «для округленности» еще два-три вопроса, Ленин отвечал ему, уже сидя на койке; эти вопросы касались отобранных у него тетрадей.

Уходя из камеры, следователь сказал торжественным тоном:

— Я, гражданин Ульянов, направлю дело к прекращению!

— Благодарен, но вопрос об освобождении меня отсюда...

— Зависит, к сожалению, не от меня,— перебил следователь,— да, наконец, от меня могут военные власти потребовать доказательств, данных, и я явлюсь к вам снова, чтобы задать еще ряд вопросов.

— У меня есть жена в Поронине, она, конечно, захочет со мной повидаться. И есть друзья в том же Поронине,— сказал Владимир Ильич,— которые, несомненно, уже начали хлопоты об освобождении меня через депутатов райхсрата, с ними мне тоже необходимо иметь свидания.

— Свидания я разрешу. Пусть ваша жена и ваши друзья обратятся ко мне,— они получат разрешение. А если у вас есть такие блестящие связи в Вене, то, я думаю, мы скоро с вами расстанемся...

И следователь, благодушно улыбаясь, протянул, уходя, руку Владимиру Ильичу и сказал свою фамилию:

— Пашковский.

Приготовленные для него чернильница с пером и лист бумаги остались в камере, но осталась также и уверенность в том, что вся эта камера ненадолго, что довольно спешный визит следователя сюда (а не вызов к следователю отсюда под конвоем) явился результатом чьих-то удачных действий здесь, в Новом Тарге, или в близком отсюда Кракове.

Владимир Ильич отметил еще и то, что, уходя вместе с Пашковским, надзиратель Глуд не запер двери.

7

Каждому литератору свойственно это чувство: стол, лист белой бумаги на нем, чернильница и перо — это его орудия производства; он с ними сживается год за годом, и один вид их способен иногда мгновенно сосредоточить и сформировать его мысли, как бы до того неясны и разбросанны они ни были.

Как только ушли из камеры следователь и надзиратель, Владимир Ильич сел на табурет, положил против себя бумагу, взял ручку и обмакнул перо в чернильницу, чтобы убедиться, много ли в ней чернил.

Он не писал, он только держал перо над бумагой, но поток мыслей, как подземный горячий ручей, пробивавший себе дорогу сквозь обвал последних суток, начиная с обыска в Поронине, вдруг только вот теперь, в тюрь-

ме, перед листом белой бумаги, пробился наконец, забурлил, засверкал перед ним, разлился вширь и увлек его.

Он не писал, он только облекал свои мысли в точные, какие могли только у него одного и появиться, слова. Он отбрасывал, отвеивал шелуху, мякину от зерна полной зрелости. И прежде всего всех изменивших делу рабочего движения вождей, отдавших свои силы на службу воинствующей буржуазии, он непримиримо отвеял от рабочего класса в целом.

Как Эвклид строил всю свою геометрию на аксиомах, так он, Ленин, исходил из основной аксиомы: война нужна только капиталистам, а не рабочему классу, и в этом пролетариат всех стран не может не быть солидарен.

Однако вожди партии социал-демократов послали рабочих Германии убивать рабочих Бельгии, Франции и России; вожди австрийских социал-демократов послали рабочих Австро-Венгрии убивать рабочих Сербии и России; то же самое произошло и в странах противной им коалиции, и все это вместо того, чтобы всеми силами и средствами предотвратить мировую бойню.

Но какой же теперь, когда уже началась мировая война, возможен стратегический план, направленный к ее прекращению? Единственный и непреодолимый по своей логичности — такой: получив в свои руки штыки, рабочие должны повернуть их против своей же буржуазии,— империалистическая война должна быть обращена в гражданскую.

Объявить лозунг «Война войне» не после того, как война уже закончится миром, а непременно во время самой войны, когда всем рабочим станет ясна глубина пропасти, в которую они брошены буржуазией и своими же вождями-предателями.

С революционной работой опаздывать преступно, а начатая вовремя, она не может не принести рабочему классу полной победы; и какая бы из воюющих сторон ни начала терпеть поражения, в ней непременно должен начаться революционный подъем.

Владимир Ильич не писал этого, он только смотрел на бумагу и будто видел на ней свои разгонистые строчки: со скобками, с кавычками, с подчеркиванием отдельных слов и целых фраз, с выносками на поля и с петитом под основным текстом.

Этого и нельзя было писать, сидя в тюремной камере одного из воюющих государств. Это и не нужно было записывать на память, потому что забыть такие выводы было невозможно. Намечался совершенно новый в истории человечества план народных движений, тем более трудный для выполнения, чем более мировая война второго десятилетия XX века отличалась от войны России и Японии или от войны Франции и Германии, приведшей Францию к Парижской коммуне.

Охваченный горячим вихрем мыслей, навеянных этим планом, единственно верным, несмотря на всю его трудность, Владимир Ильич не заметил, как отворилась дверь камеры и перед ним вырос надзиратель Глуд, который начал вполне благожелательно говорить что-то о довольствии, на какое в первый день обыкновенно не зачисляются арестованные, а только на второй, и о том, что наступил обеденный час.

Кое-как поняв его, Владимир Ильич проговорил:

— Хорошо, да, да! Так в чем же дело? Что вам, собственно, нужно?

— Мне бы хотелось, чтобы пан Ульянов был сытым, а не голодным,— улыбаясь, как будто даже вкрадчиво, объяснял Глуд.— Так что если вы разрешите истратить что-нибудь на еду для вас из ваших же денег, то я мог бы вам услужить в этом.

— А-а, очень хорошо! Спасибо вам за заботу! — сказал Владимир Ильич, поднявшись с табурета.— Если можете, в самом деле что-нибудь купите мне, пожалуйста, купите... Что-нибудь такое — гм-гм! — вообще, что найдете... Колбасы, например, и булку. Только порежьте уж колбасу сами, мой нож-то ведь у вас.

8

На свидание с Владимиром Ильичем на другой день Надежда Константиновна ехала поездом, предупрежденная, что следователь снимает вздорное обвинение в шпионаже, однако неизвестно еще было, как отнесутся к этому военные власти, которым староста Гроздицкий отправил свои глупые бумаги. Большая тяжесть свалилась с души, но тревога осталась.

Свидание разрешено было в одиннадцать часов, а поезд пришел в семь. Утомительно было четыре часа

бродить сначала по маленькому вокзалу, потом по базару, потом разыскивать кабинет судебного следователя Пашковского...

Пашковский оказался очень любезен и даже рассказал Надежде Константиновне, что из города Закопане пришла телеграмма от депутата Марека, содержащая ручательства, что Ульянов шпионажем не занимается. Кроме того, старый народоволец Длусский, тоже из Закопане, прислал две подобные же телеграммы — на имя его, следователя, и на имя старосты. Наконец, приехал из Кракова один польский писатель, чтобы содействовать освобождению Владимира Ильича.

Когда Надежда Константиновна сказала Пашковскому, что она послала уже письмо Виктору Адлеру, он не замедлил назвать это самым действенным средством.

Свидание с Владимиром Ильичем в присутствии Пашковского началось веселее, чем ожидалось. Пашковский разрешил говорить только на немецком языке или на польском. Владимир Ильич заговорил было по-польски, но составил фразу так, что Пашковский рассмеялся и дозволил говорить по-русски, хотя сам почти не понимал русского языка.

Надежде Константиновне пришлось припомнить, что она писала Адлеру.

Виктор Адлер был основатель и вождь социал-демократической партии Австрии, уже старик, за шестьдесят лет, с седыми фельдфебельскими усами. Разумеется, в глазах Ленина он являлся социал-шовинистом.

Как именно, какими словами было написано письмо Адлеру? Этот вопрос волновал Владимира Ильича по нескольким причинам, из которых главная была — самый тон письма к человеку, лично знакомому, но идейно разъединенному.

Свидание происходило не в тюрьме, а в кабинете следователя, и Надежда Константиновна имела возможность припомнить свое письмо почти дословно.

Оно имело такой вид:

«Мой муж, Владимир Ульянов (Ленин), арестован в Поронине (Галиция) по подозрению в шпионаже. Здесь население очень возбуждено и в каждом иностранце видит шпиона. Само собою разумеется, что при обыске ничего не нашли, но тетради с статистическими выписками об аграрном вопросе в Австрии произвели на

здешнего жандарма впечатление. Он арестовал моего мужа и препроводил его в Ней-Маркт. Там его допросили, и нелепость всех подозрений сейчас стала очевидной для гражданских властей, но они не хотели взять на себя ответственности освободить его и все бумаги послали к прокурору в Ней-Зандец, где дело прекращено и передано военным властям. Может быть, прокурор тоже не захочет взять на себя ответственность, и тогда арест может продолжиться несколько недель.

Во время войны не будет времени быстро разобрать это дело. Поэтому очень прошу Вас, уважаемый товарищ, помочь моему мужу. Вы знаете его лично; он был, как Вы знаете, долгое время членом Международного Бюро и хорошо известен Интернационалу.

Я попросила бы Вас отправить настоятельную телеграмму прокурору в Ней-Зандец, что хорошо знаете моего мужа, причем можете уверить, что это — недоразумение. Просите также прокурора в случае, если бумаги уже переданы военным властям, переотправить последним Вашу телеграмму. Телеграмма, что мой муж стоит вне подозрения в шпионаже, прибыла здешнему жандарму от краковской полиции, но слишком поздно, когда мой муж был уже отправлен в Ней-Маркт; туда уже прибыла телеграмма от депутата райхсрата тов. Марека, но не знаю, будет ли это достаточно. Я уверена, что Вы и еще другие австрийские товарищи сделаете все возможное, чтобы содействовать освобождению моего мужа.

С партийным приветом

Надежда Ульянова».

Поронин (Галиция)

Надежда Константиновна знала, что ее мужу неприятно было обращаться за помощью к тому, с кем он разошелся во взглядах на дело рабочего класса, и внимательно следила она за тем, как относился он к каждой фразе письма, как то поднимались, то хмурились брови, то расширялись, то сощуривались глаза и нервно вели себя пальцы.

Когда она кончила, он сказал, помолчав:

— Гм-гм, да... В общем и целом это именно то, что и было надо... Однако, если, допустим, освободят меня...

— Непременно освободят!

— Я не то, чтобы сомневаюсь, но думаю о будущем,— продолжал он,— думаю, что нам нельзя уж будет оставаться в Поронине. И не только в Поронине, а и вообще в Австрии... Если бы разрешили уехать в нейтральную страну, лучше всего в Швейцарию, то надо будет отправиться туда без промедления.

— В Швейцарию — это было бы прекрасно! — отозвалась с воодушевлением она, делившая с ним и сибирскую ссылку.— Прямо в Берн!

— Разумеется, только в Берн...

9

Несколько дней подряд после этого ежедневно к шести утра приходила на станционный вокзал Надежда Константиновна и отправлялась в Новый Тарг, он же Ней-Маркт. Потом, приехав в семь, проводила время до одиннадцати то на вокзале, то на почте, то просто на улицах этого небольшого чистенького городка, дожидаясь свидания с тем, кто бесконечно дорог был и всем обездоленным в мире и ей.

Давнишняя связанность всех интересов их жизни очень остро сказывалась теперь в том, что она чувствовала себя без него как бы арестованной в Поронине, переживая всем своим существом его заключение в новотаргской тюрьме. А в пять утра, собираясь идти на станцию, она как будто временно освобождалась, и следующие часы, до посадки в обратный поезд, были часами ожидания полного освобождения и из Поронина, и из Нового Тарга, и из Галиции, и из Австро-Венгрии вообще.

На переднем же плане рисовалась Вена, где должно было решиться их общее дело: освободят ли? И когда? Скоро ли?.. Ведь военное ведомство может очень затянуть вопрос, если займется им какая-нибудь тупая, упрямая голова вроде старосты Гроздицкого.

Не был уверен в успехе и Владимир Ильич, по крайней мере он не выражал этой уверенности при свидании. А между тем стоило только Виктору Адлеру получить после телеграммы об аресте Ленина еще и обстоятельное письмо его жены, как этот депутат райхсрата от Вены появился в кабинете министра внутренних дел.

Одновременно с ним действовал в том же министерстве и другой видный социал-демократ, львовский депутат Диаманд.

Затруднение, которое встретил Адлер, говоря о Владимире Ульянове с министром, заключалось в том, что его собеседник, видимо, не представлял ясно, чем отличается социал-демократ Адлер от социал-демократа же Ульянова: если первый покончил всякие споры со своим австро-венгерским правительством, едва началась война, то почему же не сделать того же в отношении русского правительства и русскому подданному, хотя и эмигранту, Ульянову, который может принести во время войны много вреда Австрии, так как изучил ее за два года и знает ее слабые места.

— Уверены ли вы, что Ульянов — враг царского правительства? — спросил наконец министр.

— О да! Гораздо более заклятый враг, чем вы, ваше превосходительство! — отозвался на этот вопрос Адлер.

Через день после того, 19 августа, в окружном суде в Новом Тарге была получена телеграмма: «Владимир Ульянов подлежит немедленному освобождению».

Надежда Константиновна была пропущена в тюрьму, где Иозеф Глуд с рук на руки сдал ей Владимира Ильича со всеми его пожитками: часами вороненой стали, перочинным ножиком, дорожной палкой и остатком принятых от него денег.

Свободными уже теперь людьми могли муж и жена Ульяновы посмотреть в последний раз на ставший им обоим постылым Новый Тарг и покинуть его наконец, чтобы уж никогда в жизни сюда больше не возвращаться.

10

Хлопотать о пропуске в Швейцарию нужно было в Кракове, однако прошла целая неделя, пока в Поронине получили разрешение выехать в Краков. Разумеется, все взять с собою в Краков было невозможно, пришлось отбирать только самое нужное, остальное оставить в доме Терезы Скупень.

Краков изумил своим весьма воинственным видом, начиная с самого вокзала, где прогуливались в ожидании своих поездов, идущих на северо-восток и восток,

австрийские офицеры, прекрасно обмундированные, жизнерадостные, упитанные, в большинстве молодые люди. На лицах у всех читалось: «Мы победим!». А на вагонах для перевозки солдат белели яркие надписи: «Jedem Russ ein Schiss!» («Каждого русского пристрели!»).

Настроение большой приподнятости замечалось и везде на улицах. Оно несколько упало на другой день, когда стали приходить поезда с раненными в сражении под Красником. Легко раненные шли с вокзала в лазареты сами, командами, а тяжело раненных везли или даже несли на носилках.

Между тем уже известно было, что большие потери понесли в этом сражении с русскими те части, которые формировались в Кракове, и вот из окна гостиницы, где поселились Ульяновы, они могли наблюдать жуткие сцены, когда женщины и старики с детьми бросались к носилкам и к лазаретным линейкам: не их ли это родные — мужья, дети, отцы — уходили на фронт с веселыми песнями, а возвращаются умирающими или калеками!

И когда ехали потом из Кракова в Вену, где еще нужно было хлопотать о выезде в Швейцарию, всюду на станциях были заторы от встречных воинских поездов, спешивших на фронт, и приходилось бесконечно стоять и пропускать эти длинные, тяжелые составы.

Везли войска, везли орудия, везли лошадей и повозки...

Для въезда в Швейцарию требовался поручитель перед швейцарским правительством, и он нашелся в лице старейшего члена социал-демократической партии Швейцарии Грейлиха. Через день Ульяновы уже были в этой, казавшейся из Поронина сказочной, нейтральной стране.

Алушта, 1956 г.

КАПИТАН КОНЯЕВ

Повесть

1

Сколько солнца!.. Оно, несомненно, расплавило все твердое, что было кругом: двух- и трехэтажные дома,— розовые, палевые, синеватые,— взмахнувшие над ними колокольни, золото куполов и крестов, чугунные и бронзовые монументы исторических адмиралов, электрические фонари, ряды подстриженных ежиком белых акаций... Все это блещет чрезвычайно, нестерпимо для глаз, и все течет,— это главное,— все излучается, истекает, растекается, стекается, сплавляется, изливается, сливается вновь одно с другим: важные монументы с ежиком акаций, шары фонарей с трубами домов,— ничего твердого нет, все расплавлено, все жидкое и все стекает в огромное, голубое вдали, в море, которое вечно течет.

Таков день: потоки солнца сверху, радостная зыбь голубого моря внизу, а между ними — текучие улицы.

Старость... может быть, знает кто-нибудь, что такое старость? Я как-то не уверен в том, что знаю, не совсем уверен... Кажется мне, что можно быть и чрезвычайно важным, совсем готовым для монумента адмиралом и не быть старым; кажется мне, что старость и не наступает, не приходит,— что это что-то предвзятое: вдруг кто-нибудь за что-нибудь на себя самого обидится глубоко и скажет самому себе твердо: «Я стар!..» Завтра он повторит это про себя, послезавтра — вслух, но только перед зеркалом, потом скажет где-нибудь во всеуслышание, но как будто в шутку: «Я уж стар, батенька мой!» И вот все поверили в то, что он, действительно, стар, и, наконец, и он сам привык и поверил.

Словом, старость — это, должно быть, думать о старости, утвердиться в одной этой очень скверной, но

и очень прочной мысли, поверить в нее и заставить других поверить. Иногда такая прочная мысль может быть и не о старости, но если она безнадежно прочна и тверда, то это — тоже старость.

Итак, стоял яркий, текучий, необыкновенно молодой (вот почему я заговорил вдруг о старости) январский южный день, до того молодой, что даже и заведомо древние, хотя и окрашенные в боевой цвет, броненосцы в бухте, изредка видные в просветы улиц, и те казались только что вышедшими из верфи.

В садах, обманутый теплом, наивно цвел махровый миндаль, и теперь юркие мальчуганы с Рудольфовой горы и Корабельной бегали с пучками бело-розовых веток, ко всем приставали: «Купи, барыня! Купи, барин!.. Ну, ку-пи-те!» И нельзя было не покупать, и так и текли с миндалем цветущим, точно с вербами, хотя было всего только 3-е января.

Моряки разных чинов, но все одинаково смотревшие мичманами; армейцы, артиллеристы и пехотные,— все подпоручики; дамы ли, барышни ли — все невесты,— всё яркое, цветное, золотое и золоченое; хохочущие звонко девочки с распущенными из-под школьных шапочек волосами; ломающимся баском говорящие гимназисты; размашистые, летучего вида молодые люди в крылатках; то и дело козыряющие направо и налево сытые, дюжие, ловкие матросы с толстыми красными шеями и щеками; празднично переполненные вагоны трамвая, звенящего, жужжащего, даже гудящего на поворотах; синие важные извозчики над сытыми, ровно бегущими лошадьми, частые автомобили все со штабными военными не ниже двух просветов на погонах,— сплошное движение, яркость и радость, и даже незаметно было ни в чем, что уже третий год войны тянется неудержимо, что немцы наступают и столько уж губерний наших заняты врагом. Эти текучие улицы точно хотели доказать кому-то, что жизнь все-таки неистребима, несмотря ни на что, и человек живуч, и солнце все-таки богаче всех банкиров.

Отставной капитан 2-го ранга Коняев тоже шел в это время по одной из улиц. Коняев был ранен и контужен в голову в русско-японскую войну, во время июльского боя, данного адмиралом Витгефтом под Порт-Артуром, когда он старшим лейтенантом был на «Ретвизане». Контужен он был настолько серьезно, что пришлось

выйти в отставку: почему-то слаба стала память, появилась задумчивость, были довольно частые припадки головокружения, даже обмороки; шея непроизвольно дергалась от себя «в поле».

Но во всем остальном он был очень здоров, лицо имел крепкое, с морщинами только около глаз и губ; в длинной, как у Макарова, рыжей бороде седины еще не было заметно, носил очки (это тоже после контузии), но и сквозь очки глаза глядели непримиримо резко, серые, почти светлые, с небольшими, как икринки, зрачками. Росту он был высокого, косоплеч несколько, но широк,— от этого, когда двигался по улице, издали был заметен.

Сначала, когда он поселился здесь, матросы прозвали его Козырьком (действительно, козырек фуражки его был велик, как зонт), но потом, через 2—3 месяца, все звали уж его «Смесью», и все думали, что странен он, капитан в отставке, с огромным козырьком и сам огромный, а Коняев думал, что непостижимо странны все кругом, так как не замечают или не хотят замечать самого важного, что замечал он. Например,— вот этот чиновник полевого казначейства с козьей эспаньолкой,— он — военный чиновник, носит шинель и погоны, а разве он русский? Разве у русских людей бывают такие рукисуета? Ишь, сует руками!.. И глаза сидят не по-русски, очень уж близко к носу, да и нос не русский... Может быть, грек какой-нибудь или турок... в лучшем случае смесь... А полковник этот усатый! Ишь, усищи распустил по ветру, как морж!.. Поляк какой-нибудь, Шептелевич,— у русских людей таких усов не бывает. А околоточный? Как Зевес стоит, и во всем новеньком, а между тем — явный по типу татарин или грузин какой: черный, и нос горбом... О людях штатских, тех, которые ходили в котелках, шляпах и шапках, капитан даже и не заботился думать, они все казались ему евреями; также и дамы.

Потоки солнца омывали все лица кругом необузданно щедро, и они, круглясь и сияя, втекали в сумеречный мозг капитана Коняева, точно под низкие своды, и здесь с них проворно стирали все сияние, всю солнечность, всю красочность, всю радость и распихивали привычно и бесстрастно по камерам на защелки. В самую же огромную из камер вливалась «смесь»,— то, что

очень неясно, скользко, извилисто, хитрым образом слито,— а из чего именно слито? Насколько опасна для того, что он тщательно блюл, как огонь Весты, для всего подлинно русского — такая смесь? Что она, эта смесь, опасна, что она разлагает, стирает, уничтожает русскую сущность, в это он верил слепо. Он был косноязычен от контузии, но когда ему удавалось говорить связно, он минут двадцать кряду мог говорить горячо и от всего сердца, что есть она,— великая русская сущность, что ее заглушают, что ее заушают, и что всеми мерами и силами надо ее отстаивать, защищать.

2

Капитан Коняев поселился здесь месяца четыре назад, а до того жил с сестрою в Кронштадте; но сестра, почти такая же высокая, как он, была слабогрудая, осенью ей стало совсем плохо, и врачи послали ее в Крым; Севастополь же выбран был потому, что жизнь в нем дешевле, чем в Ялте, и все-таки — флот, моряки, крепость, военный город.

Коняеву никогда раньше не приходилось бывать в Севастополе: служба его прошла частью в Кронштадте,— это вначале, после выпуска,— а потом все время на Дальнем Востоке, и о Севастополе у него осталось еще кадетское представление как о чем-то до боли родном, подлинно русском: не все ли русские полки,— пехотные, как и морские,— его защищали грудью (потому что и нечем тогда было больше защищать)?.. Но когда, приехав, он посмотрел на извозчиков у вокзала, он остановился в горестном недоумении: что же это такое за лица? Где же тут русские?

— Соня! Соня! — почти испуганно обратился он к сестре.— Ты посмотри-ка на них: ведь это — мартышки.

Сестра его сидела в это время, качаясь от слабости, на огромной, вынесенной из багажа корзине, кашляла и говорила:

— Нанимай, пожалуйста, скорее... кха-кха-кха... кого-нибудь... я прошу!.. Кха, кха!..

А первый в очереди извозчик уже подкатил.

— Пож-жалуйте!.. Куда ехать?

— Ты-ы, братец, чисто русский? — грозно спросил Коняев.

— Я — татарин... Куда ехать?

— Та-та-рин? И... как же ты смеешь, подлец? Пошел!

— Я — чистый русский! Давайте вещи! — подкатил другой, молодой, из себя чернявый.

А третий уж кричал:

— Какой же он русский? Он и вовсе соленый грек! Я русский чистый! Московский!

— А ты не того... не смесь? — спросил третьего Коняев, вглядываясь упорно.

— Конечно, он — смесь: у него мать из немок, я знаю! — кричал четвертый.— Пожалуйте вещи!

Приехавших с поездом было мало, да и те разъехались на трамвае или разошлись пешком. Только у одного Коняева оказались вещи, и только ему и нужно было ехать непременно на извозчике, поэтому на бирже началась веселая суета: все думали, что отставной флотский просто пьян изрядно, мило шутит и хорошо заплатит, если удастся его отвезти.

— Я русский!.. Я — чистый русский!..— кричали отовсюду наперебой, и даже носильщики, стоявшие и сидевшие на каменной лестнице вокзала, принялись тоже суетиться, покрикивая:

— Какой он русский? Он сроду караим!..— или: — Вовсе он болгарин из-под Ногайска!..— или: — Турецкого звания человек!

А сестра Коняева стонала:

— Умоляю, скорее!.. Кха-кха-кха!..

Может быть, так тянулось бы и еще долго, если бы один из извозчиков, стоявший в хвосте, с такою же рыжей бородою, как у Коняева, не догадался поманить ее пальцем, и она пошла к нему, качаясь, длинная и согбенная, и села в его фаэтон.

— Русский? — не забыл спросить, подходя, Коняев.

— Обязательно,— ответил бородач.

Так и поехали, наконец, установив вещи, а на вокзале после них долго еще стояло веселье.

Бородач же через весь город провез их к гостинице Киста у Графской пристани.

— Не хочу сюда, понял?.. В русскую вези! — внушительно сказал Коняев.

— Можно в какую попроще,— согласился тот и привез в гостиницу Ветцеля.

— Да ты что это? Смеешься, что ли, черт? — осерчал Коняев.

— Разве я их выдумал?.. Какие есть, стало быть, туды и везу...— обиделся бородач и, подумав, отвез его, наконец, в грязноватые какие-то «Одесские номера» в Рыбном переулке, сказавши: — Тут уж самые русские.

Дней пять прожил в этих номерах Коняев, все искал подходящей квартиры. На вывесках магазинов были все Ичаджики, Кариянопулы, Неофиты и Кефели; только один был безусловно русский магазин Кузьмина на Нахимовской, но в нем, кроме офицерских вещей, ничего не было. В пекарнях сидели греки. Отметил зоркий глаз булочную Ракова около часовни, но в ней уже давно не пекли булок. Колбасные лавки были немецкие. Попался было где-то на углу двух улиц бакалейный магазин некоего Ротоноса, но в дверях его в засаленном фартуке стоял такой какой-то прыщавый долгоносый халдей, что Коняев только свирепо посмотрел на него, вздохнул тяжко и отвернулся; вывески же всевозможных Вайсбейнов, Лифшицев и прочих перестал уж и отмечать глаз.

Квартирку капитану, жившему почти только на одну пенсию, нужно было совсем небольшую, хотя бы в две комнаты, но и тех невозможно было найти, точно попал в чужую совсем страну, в какой-нибудь Порт-Саид: всё, как по сговору, попадались квартирные хозяева или совсем инородцы, или очевидная смесь и только раздражали раскольничью нетерпимость Коняева, заставляя его тяжело смотреть, дергать головою «в поле», говорить междометиями, хлопать дверями и круто поворачивать широкую спину.

Когда на четвертый день поисков он услышал фамилию Дудышкина, он искренне просиял.

— Русские? Чистые русские?

— Ну, а как же можно! Конечно ж, мы — русские,— отвечала сытая, сырая хозяйка, вытерев губы согнутым указательным пальцем.

— Вполне чистые русские? И муж ваш?

— Да уж и муж, конечно, и дети тоже.

— Настоящие коренные русские? Не смесь?.. Может быть, у вас дома мужнин паспорт есть, посмотреть бы мне, а?

— Что это, господи, у хозяев уж начали паспорта требовать!

Хозяйка думала, что он шутит. Но Коняев все-таки добился того, что просмотрел паспорт Дудышкина, и ни один пристав не читал, должно быть, этого паспорта с таким вниманием, как он. Все было исправно и прилично: потомственный почетный гражданин, 45 лет от роду, православный, зовут Иван Моисеевич, женат на Пелагее Ильинишне, имеет троих детей,— но капитан допытывался:

— Карточки его нет ли фотографической, мужа вашего, мне бы только взглянуть.

И уж все ему начинало нравиться в квартире: и низковатые потолки, и несвежие розоватые обои, и тараканий ус из-за шкафа,— но перед кабинетной карточкой Дудышкина он остановился в тоске.

— Гм... Толстые губы какие! Почему это у русского человека такие толстые губы?

— Целоваться любит,— пошутила хозяйка.

— Н-нет... Это не оттого... Он вот Моисеевич... гм... Почему же он Моисеевич?

— Отец Моисей был.

— Отец, конечно... А кто он был, этот самый отец? Моисей, это, знаете ли, имя такое... по-до-зрительное имя! Притом же Дудышкин... гм... Как-то не так это, нет... Дудкин... Дудочкин... Дудин... Дудаков... Лейтенант у нас был на «Цесаревиче» Дудаков... А к чему же это Дудышкин?.. В Рязани, знаете ли,— вот я к чему говорю,— зашел я было так же вот к военному портному Чернышкину, а он оказался — вы представьте себе! — настоящий еврей.

— Ну, мы не евреи,— обиделась хозяйка.— Не нравится если вам квартира,— как угодно...— и опять вытерла губы пальцем.

Три раза заходил к Дудышкиным Коняев, познакомился с самим хозяином, железнодорожным кассиром, и так, и этак присматривался и прислушивался к нему долго, и детей рассмотрел всех вблизи, наконец переехал; и хозяевам хоть и не нравилось то, что жиличка все кашляла, но люди они были простые, думали, что зимою, когда пойдут дожди, она непременно помрет, а капитан останется у них постоянным жильцом; правда, с некоторыми странностями человек, но сразу видно, что

очень серьезный, и если будет платить исправно, то даже и похвалиться можно будет при случае. «Кто,— спросят,— у вас жилец?» — «Флотский»,— можно сказать без всякого уважения.— «Кондуктор, должно быть?» — «Ну, уж так и кондуктор... Капитан!..»

Потом Дудышкины увидели, что больная, немного отдышавшись с дороги, ретиво принялась хозяйничать — убирать свои комнаты, расставлять на столах безделушки, развешивать всякие вязания и кисейные скатерти и занавесочки, с вышитыми на них пышными коронами над буквами «С» и «К»; по утрам пила топленое свиное сало с молоком, к обеду жарила себе кровавый ростбиф,— вообще твердо решила времени даром не терять, а поправляться как можно скорее, иначе зачем было и ехать сюда из Кронштадта, в такую даль?

А капитан все знакомился с городом. Целые дни он ходил и ездил на трамвае, и большую сумрачную фигуру его в огромной фуражке и с козырьком, как зонт, можно было видеть то на Северной стороне и на Братском кладбище, то на Корабельной и на Малаховом кургане, то на Историческом бульваре и около пехотных лагерей и казарм.

Пехотные солдаты здесь были ему противны, но ведь и вообще пехота — что же она такое? Ведь это же заведомая разная смесь. Матросы же и здесь были такие же, как и в Порт-Артуре, Владивостоке и Кронштадте,— отборные русские люди, гладко выбритые, чисто одетые, ловкие, дюжие, сердцееды, божья гроза молодых горничных, кухарок и нянь. Наблюдал ли он их часами с Приморского бульвара на ученьи на палубах близко стоящих на внутреннем рейде судов, встречался ли он с густой лавиной их на улицах или в каком-нибудь из садов с дамами сердца и с полными горстями семечек в левых руках, он только около них не чувствовал своей тоски за Россию: если есть еще такие вот молодцы, подлинно русские люди, матросы,— значит, жива Россия!

И в минуты тоски тягчайшей,— а такие минуты бывали у него иногда, когда казалось ему, что вот уже захлестнуло и кончено, и России никакой нет,— погибла от потопа отовсюду хлынувшей инородщины и смеси,— в такие минуты ему казалось единственно возможным вмешаться в густую толпу этих молодцов с «Евстафия»,

с «Ростислава», с «Очакова» и крикнуть: «Братцы, спасите!»

Такие минуты кончались у него или сильнейшей головной болью, или глубоким обмороком на целый день, и, предчувствуя их с утра, он приучился уже в такие дни не выходить совсем, а если и выходить, то куда-нибудь недалеко от дома.

Морское собрание, куда он два раза заходил обедать, показалось ему хуже кронштадтского: меньше и как-то серее. В первый раз он, угрюмо и с большим достоинством держась, только наблюдал всех кругом. Многие были уже с боевыми наградами, даже трех георгиевцев заметил Коняев: двух лейтенантов, должно быть с миноносцев, или летчиков, и одного капитана 1-го ранга. Точно строгий инспекторский смотр производил он им всем. Чувствовалась в них во всех какая-то необстрелянность, несмотря на боевые награды, и так же, как и в Балтийском флоте, много показалось остзейцев.

Во второй раз он вздумал разговориться с соседом, тоже капитаном 2-го ранга, простым и добродушным молодым еще офицером, по виду из тульских или калужских дворян.

— Отдать флот в руки кого? — после нескольких общих фраз горячо начал Коняев.— Эбергарда! Немца, а?.. Одним флотом командует немец Эссен, другим — немец Эбергард, и с кем же воюем? Да с немцами же!.. Стыд!.. Стыд и позор!

— Эбергард ведь уже смещен теперь,— мягко заметил собеседник.

— Я знаю, что смещен, но... когда смещен?.. А-а, то-то и дело!.. Через два-то года? Гм... Нечего сказать! Поспешили сместить!

— У него были большие заслуги,— мягко сказал молодой капитан, прожевывая баранье рагу.

«Это уж не смесь ли?» — начал думать, вглядываясь в него, Коняев, а сам продолжал горячо:

— Какие заслуги?.. Ка-ки-е?.. А если у тебя заслуги есть перед Россией,— шутка сказать! — заслуги,— не угодно ли тебе называться по-русски... Эбергардов какой-нибудь, например... Ничего-с, если за-слуги, мы тебя примем... Так бывало уж в нашей истории... случалось... Можно припомнить это кое с кем из дворян... А только вот «э» русскому не идет... «Э» нашему языку не свойст-

венно... У нас «е» мягкое. Не угодно ли тебе называться Ебергардов,— вот как по-русски,— а если по-малорусски хочешь, то Ебергарденко!

Какой-то адмирал впереди, за одним столом с двумя дамами, спиной сидевший к Коняеву, при последних словах его повернулся и долго уничтожающе смотрел на него в упор. Это был лупоглазый, толстолицый, налитой кровью, седоватый, с такими невнятными усами, что казался почти бритым, адмирал с двумя орлами на погонах. Он долго смотрел на Коняева, и тот выдержал его взгляд и, дождавшись, когда тот отвернулся, спросил, мигнув на контр-адмирала:

— Немец, должно быть?.. О-би-жен?

— Гм... По фамилии он — Свиньин.

— Неу-жели?.. Что же он так? Родственник, может, какой?

— Нет... Никакой... Он к нам и переведен-то недавно...

Но молодой капитан явно спешил есть, наконец бросил половину жаркого и извинился тем, что и так запоздал, что ему очень некогда.

— Капитан Коняев,— назвался ему «Смесь», прощаясь.

— Капитан Вильдау,— отчетливо и с ударением назвал себя тот, заставив Коняева недоуменно и с тоской поглядеть на его светловолосый, высокий, удаляющийся мерно немецкий затылок.

Больше он не заходил в Собрание.

Приморский бульвар, перед которым стояли неподвижные «Георгий Победоносец» и, немного поодаль, вычурно раскрашенный «Синоп», по вечерам кишел проститутками. Как и на улицах, здесь было темно, и только иногда луч прожектора с какого-нибудь сторожевого судна, стоящего на внешнем рейде, забегал и сюда, и от него все жмурились и с непривычки и как будто от какого-то легкого конфуза, но отбегал луч, и продолжалось все, как и шло,— откровенное и простое. Когда Коняев однажды сидел так на скамейке один и слушал склянки на «Георгии», к нему подошла какая-то разряженная девица и сказала сразу:

— Ух, папаша, и скука же!.. Нет ли у вас, пожалуйста, покурить? — и плюхнулась рядом на скамейку.

Коняев не прогнал ее, не встал сам, даже и не отодвинулся: он по одному этому приему, по чистому говору и по самому тембру голоса почувствовал в ней что-то бесшабашное, забулдыжное, весело сжигающее жизнь. Он даже спросил ее: здешняя ли?

— Самая здешняя... урожденка... кузнецова дочка... Отец — кузнец, мать — торговка, а дочка — воровка... Нет-нет, не воровка, не бойтесь, это только так говорится... Куда-нибудь поедем, папаша, а? Угостите ужином!.. Е-есть хочу,— вы себе представить не можете!..

И было ли это от теплого вечера, или от лучей прожектора и склянок, напомнивших ему молодость, но только Коняев, вспомнив, что недавно получил пенсию за три месяца, переведенную из Кронштадта, встал и пошел за ней. В каких-то номерах, похожих на «Одесские», они ужинали. Девица, по имени Дуня, судя по большим и тугим рукам, действительно могла сойти за кузнецову дочку, но на лицо она была миловидна, здорова, белозуба, и веселости ее хватало даже на то, чтобы расшевелить и сумрачного капитана, и с этого вечера Коняев стал заходить иногда к ней в номера.

Так устроилась и потянулась новая жизнь его в новом для него городе. Дома, в двух низковатых комнатах, сестра, которая все кашляла и здесь, в хваленом теплом Крыму, как там, в холодном Кронштадте, но упорно пила по утрам молоко с салом, а по вечерам вышивала около лампы, мигая красными, тонкими, сквозными веками; потом — кассир Дудышкин, которому иногда горячо говорил он о России и который имел привычку, вместо каких-нибудь своих слов, повторять последние слова собеседника, точно на лету подхватывая их лоснящимися толстыми губами и проталкивая внутрь, чтобы обдумать и затем добавить однообразно: «Совершенно верно!..» Вне дома — очереди у лавок, которые приходилось выстаивать капитану иногда бок о бок с другими такими же капитанами, живущими на пенсию и проклинающими дороговизну; потом прогулки по улицам и бульварам, где за его спиной говорили: — «Смесь» идет! — и, наконец, Дуня из «Купеческих номеров», к которой заходил он в условные часы и у которой мог долго говорить о том единственном, что его занимало,— о русской сущности, которая гибла. Завивавшаяся в это время, или одевавшаяся к выходу, или чистив-

шая платье бензином, Дуня всегда перебивала его одним и тем же вопросом: «Папаша, а ты угостишь ужином?» Иногда он угощал ее ужином, причем ела она, как акула, иногда говорил, что нет денег. Тогда она удивлялась: флотский, и денег нет, и советовала поступить снова на службу во флот или хотя бы в порт, где тоже платят хорошие деньги и, кроме того, есть доходы.

3

На покупку газет не хватало денег у Коняева, и местную газету он прочитывал в витрине редакции. Так же сделал он и теперь, 3 января, и, глядя через головы других, он прочитал между прочим, что убитое незадолго перед этим во дворце князя Юсупова важное лицо, которого раньше всё никак не позволяли называть в печати, было Григорий Распутин, и, уходя от витрины уже не один, а вместе со случайно подвернувшимся, спешившим на службу своим квартирным хозяином — кассиром, он все это явное ликование кругом относил не к тому, что тепло, до того тепло, что даже миндаль цветет, что святки и молодежь свободна от занятий, что всего позавчера отпраздновали Новый год и сейчас еще поздравляли «С новым счастьем», а только к тому, что где-то далеко в столице, которую, наконец-то, через двести лет, решились назвать по-русски, убит хотя и простой русский мужик, но царский почему-то друг... почему именно,— не наше дело...

— Не наше дело,— говорил он, строго косясь на Дудышкина,— какие в нем таланты и способности завелись,— черт его дери,— но, значит, были же они!.. Не учась, в попы не становят!..

— Совершенно верно,— говорил Дудышкин.

— Там свои люди устроили над ним... как это называется? Ну вот, что на фонарях вешают?.. Да ну же? Как это... там в Америке, над неграми?.. Ну, все равно... Суд Линча!.. Да, линчевание... Ихнее ведь дело, семейное... Линчевали негра, скажем себе, и — ра-зойдись, не толпись по улицам,— разойдись!.. Чего глазеешь? Нечего глазеть!

Он уж выкрикивал это, свирепо глядя по сторонам, и кое-кто из прохожих отнес это к себе, и уж остановились около, недоумело оглядываясь назад. А Дудышкин,

стараясь глядеть в землю и пошире забирать коротенькими ногами, думал: «Неудобный какой человек, бог с ним совсем!»

— Ну, хорошо,— продолжал Коняев, успокоясь немного,— допустим... Но Распутин ведь все-таки русский, а князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон,— к какой он нации принадлежит, а? Не знаете?

— Да тут много что-то... Тут трехэтажное, совершенно верно,— говорил Дудышкин.

— Ага! То-то и дело, что верно... А у них почему же это вдруг праздник?

— У них праздник...— и, подумав, добавил Дудышкин,— а мне ехать казенные деньги считать... У людей праздник, а дорога всегда должна работать... Ей никогда отдыху не полагается... Так и сиди кассир за кассой всю свою жизнь.

Даже покосился на него сверху вниз Коняев, отчего это он вдруг разговорился.

— А вы возьмите да забастуйте,— насмешливо сказал он сверху.

— Бастовать нам нельзя,— резонно снизу ответил Дудышкин.— Дорога — казенная, и мы вроде мобилизованные... Если даже и забастуем, сюда солдат пригонят, а нас всех на фронт.

— А, конечно, так, как же иначе? Не хотите здесь работать: пожалуйте на фронт, черт вас дери! На фронт не угодно ли, порядку учиться, да!

— Польза отечества требует... как же, мы понимаем...— конфузливо говорил кассир.— Мы забастуем — дорога станет, как же возможно? Ведь это же крепость, тут склады всякие, флот, наконец... Конечно, на дороговизну жизни надо бы не столько прибавить, сколько нам прибавили,— это верно,— а бастовать все-таки нам невозможно,— что вы!

А сам думал: «Нет уж, больше с ним не буду ходить по улицам, еще в какой скандал попадешь,— бог с ним...»

Около памятника Нахимову он сел на трамвай, чтобы не опоздать считать казенные деньги, а Коняев постоял немного на перекрестке, послушал, как проходивший мимо реалист, не старше 3-го класса, хвастался двум идущим с ним девочкам в гимназических шапочках:

— Сколько раз зарекался я играть в карты на деньги,— нет, тянет! Вчера еще сорок рублей проиграл!

— Вот дурак! — с искренней жалостью сказала одна девочка, поменьше ростом.

— Настоящий дурак! — сердито буркнул и Коняев, качнув головой «в поле», а реалист расторопно поднял фуражку и, лучась серыми веселыми глазами, сказал без запинки:

— От такого комплимента бросает меня в жар и холод.

— Сначала в жар? — осведомилась та же девочка, весело глядя вполоборота на капитана.

— Да, сначала в жар, а потом в тропический холод!

Другая прыснула и спросила:

— У вас сколько по географии?

— В вашей географии должно быть: «арктический», а наша другого автора: у нас все наоборот!

И реалистик,— пальто нараспашку,— со всеми ухватками взрослого повел своих дам на Графскую пристань.

«Должно быть, русский... Далеко пойдет: бойкий,— с удовольствием подумал Коняев.— А насчет карт, конечно, наврал: куда ему!»

Он никогда не был женатым: до контузии не нашлось подходящей невесты, а после — было не на что содержать жену. Но что-то такое отеческое всколыхнул в нем именно этот курносенький, бойкий реалист, и както в связи с этим,— и с теплом, и с миндальными цветами,— захотелось увидеть Дуню. Он прошел до ее номеров,— там сказали, что она ночевала дома, поэтому рано встала и уже вышла гулять. На улицах ее не попадалось, не было и на Приморском бульваре. Тогда капитан поехал на Исторический: может быть, там?

Около музея Севастопольской обороны с панорамой Рубо как раз и цвели пышно большие старые миндальные деревья, а на клумбах какие-то незнакомые капитану яркие желтые цветы, и пестрело в глазах от желтых и белых колясочек детских, и около нянь толпами стояли матросы и грызли семечки. Тут было много извилистых аллей, повсюду группы густых, подстриженных в рост человека кустов, уютных, спрятанных в нишах из буксуса скамеек, беседок, закрытых буйным японским бересклетом, вьющимся виноградом или плакучими ясенями

и шелковицами: кто-то точно намеренно устраивал всякие укромные уголки для случайных пар, а бронзового Тотлебена в воинственной позе поставил посередине стеречь именно эти укромные уголки, и он исправно стерег, и за это на его лысом лбу благодарно сверкало солнце.

И неизвестно почему,— хоть и были кругом люди,— пустынность какая-то посетила вдруг душу капитана,— покинутость, брошенность, долгая одинокость... И холод какой-то, хоть и был теплый день, точно надо было скоро уж уходить с этой земли, а еще на ней и не жил совсем.

«Домой надо»,— подумал Коняев, но увидел издали круглый деревянный навес на толстом столбе, окрашенный тщательно под белый гриб: красновато-охряный сверху, белый снизу,— и столб был вырублен, как ножка гриба, точно и в самом деле вырос огромный боровик среди зеленых кустов можжухи, как на севере, в настоящей России; и Коняева потянуло к грибу: может быть, там с кем-нибудь сидит и весело хохочет теперь Дуня.

Но, продвинувшись своими большими строевыми шагами к грибу, он увидел несколько человек молодых солдат, должно быть недавних новобранцев, совсем мальчишек почти; читали ту же самую газету, которую в витрине редакции пробежал он недавно через головы других. Читал вслух как раз об убийстве во дворце Юсупова низенький малый с упрямым, вылезшим из-под серой папахи затылком рыжего цвета, а другие трое слушали, и, когда подходил Коняев, один сказал оживленно:

— Я его, Распутина этого, видел на картине, в журнале в одном... Бородища...— Тут он оглянулся на шаги Коняева и докончил, понизив голос и качнув назад головой: — вот как у этого самого, какой идет!

Слух у Коняева был хороший, и, услышав это, он похолодел внутри: вот она, серая явная смесь сидела,— и так как головы всех четырех любопытно повернулись в его сторону, но ни один не встал, то он, передернув косыми плечами и головой, пошел прямо на них, и когда поравнялся с ними, трое хотели было встать, но их остановил тот, который держал газету, рыжий, и они опять сели.

— Эт-то что-о-о? Вста-ать! — закричал вне себя Коняев и весь затрясся.

Все сразу вскочили.

— Честь! — кричал, дрожа, капитан.

— Отставным чести не полагается,— твердо сказал вдруг рыжий.

— Что-о? Это в каком уставе? А? Какой ты части, подлец?..

И кинулся на рыжего, но тот бросился в можжевельник, и только кусок газеты вырвал Коняев из его рук, а другие еще раньше рассыпались во все стороны и зашуршали по кустам, спрыгивая вниз по идущему от гриба к бухте откосу.

— Ишь, черт! Честь ему!.. Мы тебе скоро покажем честь, погоди! — закричал издали рыжий, убегая.

А капитан зашатался от сильнейшей боли в голове и едва успел опуститься на скамейку.

Долго полулежал он так, то теряя сознание от рвущей боли в голове, то опять начиная соображать, пока два матроса, отбив от детской коляски дебелую няньку, подошли с нею к грибу с другой стороны, из узенькой аллейки, и тут наткнулись на беспомощно полулежавшего капитана.

— Пьяный, что ли? — шепотом спросил один.

— Заболел, может? — так же ответил другой и осторожно постучал пальцем по погону.

Очнувшийся Коняев, увидя матросов, сразу пришел в себя. Он даже сам поправил съехавшую набок фуражку с огромным козырьком. Он глядел на них умиленно, по-детски и бормотал:

— Матросы... свои... голубчики...

И даже слезы показались у него из-под очков.

— Прикажете отвезти домой? — справились матросы.

— Домой, домой... Непременно домой...

И, опираясь на спинку скамейки обеими руками, медленно встал Коняев.

Матросы, оба сероглазые, один — первой, другой — второй статьи, не только довели его до остановки шедшего из лагеря трамвая, но и поехали с ним до квартиры, оставив пока дебелую няньку, и растроганный Коняев, окрепший уже настолько, что сам взошел на свое крылечко, искренне говорил им:

— Спасибо, голубчики!.. Большое спасибо, братцы!

А матросы дружно ответили:

— Рады стараться, вашвсокбродь! — потом повернулись по форме и молодцевато пошли в ногу опять к Историческому бульвару.

4

После этого случая Коняев никуда не выходил несколько дней; он даже в очереди посылал стоять сестру Соню. Та выполняла это очень охотно, потому что погода все время была редкостно хорошая, и можно было, незаметно для всех, делать глубокие вдыхания на свежем воздухе, о которых она читала в отрывном календаре, как об очень полезных для легких; отрывной календарь ссылался при этом на какое-то учение индийских йогов, поэтому простое средство это казалось ей особенно чудесным.

Коняев же часто в эти дни присаживался к столу и писал «Соображения, которые не мешает знать», адресуя их коменданту города. Тот случай, который так поразил его на бульваре, он развил в целый ряд подоб-

ных же случаев, и выходило, что армия поражена в корне, что в ней начинается развал, что это, конечно, следствие неудачно ведущейся войны, но что здесь не без чужого шипу, нет: шип идет из нерусских сторон, и что обратить на это серьезнейшее внимание необходимо.

Довольный своею мыслью, он как-то поделился ею с Дудышкиным, но тот, хоть и часто говорил свое «совершенно верно», все-таки позволил себе заметить, что отдание чести очень стесняет всех, и офицеров даже, не только солдат.

— Ка-ак стесняет? — изумился Коняев.

— Так много им козырять приходится, прямо руку отмахать можно... солдатам то есть.

— Много?.. Как это много?.. Сколько одним, ровно столько же и другим... Честь — это взаимное, мерзавцы они!.. Мы — флот и армия — защитники родины, и мы друг друга уважаем за это: вот почему честь! А им не разъясняют... А кто должен об этом знать? Комендант! И пусть знает... Пусть!.. Какие у него солдаты тут,— пусть знает... Докладную записку подам и подпишусь. Как его фамилия?.. Русский?

— Оллонгрен,— ответил Дудышкин.
— Что-о? Вы что,— шутите?.. Какой Оллонгрен?
— Он у нас давно уж... зачем шучу?
— Тоже немец? Везде немцы, значит?..
— Или, может быть, швед какой...
— Та-ак! — Капитан подумал, покачал головой, посвистал даже и ни о чем уж не говорил больше. «Соображения» свои он все-таки послал, но так как добавил к ним кое-что еще, то не подписался.

Церкви усердно стал посещать Коняев, когда начал выходить снова,— вглядывался в русские лица. Видел в этих лицах серьезность и упорство, и это его утешало. Вспоминал то упорство, с каким защищали Севастополь. Заходил в музей, вглядывался в формы той армии, в кремневые ружья: все было неудобное, нелепое, детское,— и ведь стояли же? Держались?

Невдали от Малахова кургана он долго ходил вдоль каменной стенки на месте бывших ложементов Камчатского, Охотского, Бутырского, Рязанского и прочих полков; смотрел яму, вырытую здесь же, среди исторических ложементов, новым, теперешним девятидюймовым снарядом, посланным с «Гебена»,— яму, уже полузасыпанную навозом.

Недалеко от ямы шла проезжая дорога, а на ней стоял на сторожевом посту солдат-ополченец, одних почти лет с Коняевым: следил за пропусками идущих или едущих за черту крепости. Он и Коняева не пустил дальше этой черты, почтительно разъяснив, что не велено без пропуска пускать никого, кто бы он ни был,— и эта строгость понравилась капитану.

— Молодец, службу знаешь! — сказал он тронуто.— Ну, как ты думаешь, устоим или нет?.. Уцелеет Россия?
— Чего изволите? — не понял солдат.

У него было простоватое, густо обросшее лицо, маленький нос и глаза, еле выползающие из-под век.

— Устоим против немца, как ты думаешь? Ты какой губернии?

— Я? Катеринославской.

— Ничего... хорошая губерния... ничего... Новороссия. Род свой ведет от Потемкина...

— Так что полагаю... Должны устоять, вашскоб-родь! — ответил солдат, добросовестно подумав.

— Правильно, должны... Должны, должны,— я и сам так думаю... И вот у вас как же?.. Хотел я насчет того спросить: солдаты у вас как? Дисциплину помнят еще? Знают ее?

— Так точно,— несколько недоуменно посмотрел вдруг на него сторож.

— А молодые, молодые как?

Но, не ответив на это, вдруг сказал встревоженно сторож:

— Так же вот и за тем велено доглядать, чтоб неприятельских шпионов не пропускали... Сказано: кто что будет спрашивать если насчет войск...

— Так, так! — одобрительно заговорил капитан.— Вот с такими солдатами уж видно, что устоим... Ты, братец, службу знаешь!.. Только вот молодых, молодых учи, молодых! Их на-адо школить! Они у вас с душком! С большим ду-ушком! Я знаю, видел!..

А солдат, усиленно хлопая веками и сопя носом, продолжал свое:

— Сказано, таких задерживать... Потому, если он в любое в офицерское платье может, а говорить по-русски,— они многие чисто говорят... то его очень легко пропустить с полезрения...

— Так, так... Ты понимаешь... Вот молодых и учи. Ну, прощай, братец!

Солдат приложил руку к козырьку,— другую на штык у пояса,— но смотрел на него недоумело, выпучив глаза и покраснев с натуги, как будто очень желая что-то сказать и не решаясь.

Коняев пошел назад к остановке трамвая, а когда случайно обернулся, то увидел, что солдат-сторож о чем-то оживленно рассказывает другому, подошедшему со стороны, должно быть из балки, и показывает в его сторону рукой.

— Уж он и меня не за немецкого ли шпиона принял, болван? — сердито бормотнул Коняев.

К Дуне он раз пришел и спросил ее:

— Ты русские песни умеешь петь?

— Отец мой, кузнец, петь меня обучал, конечно, ну только шкворнем... Ишь чего выдумал, папаша: пе-еть!

И Дуня избоченилась, сделала правой рукой, сильно скосила глаза в его сторону, выгнула шею и пропела фальшиво, но громко:

Я цыганский барон,
У меня много жен!..

— К черту!.. «Лучинушку»,— мрачно сказал капитан.

— Такую не знаю,— обиделась Дуня.— Хамская какая-нибудь?

— Что? Русская, дура!.. «Хамская»!.. А «Красный сарафан» знаешь?

— Сара-фан?.. А-а... сарафаны я в иллюзионе видала... Так это ж у кацапов сарафаны носят!

— У каких это таких у ка-ца-пов? А ты кто?

— Я севастопольская мещанка, не забывай, папаша! Еще бы мне в сарафанах ходить, да коноплю трепать. «Чаго-й-то эт-та ты, мол, Ванькя, штей не хлябашь? Отощашь тах-та»,— проговорила она сильно в нос и очень растягивая слова.

— Что-о?.. Ах ты, отщепенка!.. Дрянь! — закричал капитан, покраснев.— Россию свою судить,— а? Над Россией смеется!.. И кто же смеется и судит? Шлюха судит!..

Капитан сказал еще два густых слова и, плюнув на порог, вышел.

Больше он не заходил к Дуне.

Как-то долгим вечером, сидя дома около топившейся печки (очень редко топили, но теперь захолодало вдруг, выпал снег, начались морозцы, и бедный миндаль, наивно поверивший раннему теплу, погиб, конечно), Коняев сказал сестре:

— Каменным углем топим!.. Вонь даже, а? Мерзость какая! И того, если б хозяин с железной дорогой не был хорошо знаком, не достать бы никак... То ли дело у нас-то? Береза! Сосна!.. И у печки-то сидишь, и то бывало... Совсем не то... Нет, совсем не то! Довольно! Кончено!.. Весной мы отсюда едем... Чтобы я здесь еще и лето жил? Слуга покорный!.. Пользу тебе это принесло, ко-

нечно, все-таки Крым... Ты меньше кашляешь... Гораздо меньше!

— Разумеется, я поправляюсь,— живо вставила Соня.— Ты знаешь, я ведь и в весе прибавилась: на пять фунтов!

— Вот как! — приятно изумился Коняев, хотя уже знал об этом: она так же оживленно сказала ему об этом еще две недели назад, и он так же приятно изумился: «вот как!» — Значит, в апреле мы — в свои края!.. Я придумал — и будет очень дешево: в имение! Там у них все это свое: молоко, яйца, — теленка, поросенка когда-нибудь зарежут,— куда девать! Там даже и рады будут, хоть и дешево: некуда же девать,— ты сама подумай!

— Летом там хорошо будет,— отозвалась Соня, оставляя вышиванье. Она не говорила брату, что они больше живут ее вышиваньями, чем его пенсией, так как она заботливо привезла с собой целую корзину дорогой материи, рисунки, шелку и даже гарусу и продавала в магазин работу.— Летом в деревне молоко какое густое!.. Если не очень много дождей, то ничего... если лето сухое... Грибов много... Земляника!.. Кха...— она хотела было закашлять, но сдержалась, хотя и с большим трудом.

— Земляника! Боровая! А?.. Рыжики! Где здесь достанешь рыжиков?.. Попандопулов тут сколько угодно, а где рыжики?.. Если к Платонову, например,— помнишь? Там одна березовая аллея в три версты... Чудо! Сколько же он с нас может взять? Пус-тяки!.. Погостить даже с месяц можем, как старые соседи... Мы ведь с ним вместе охотились, когда я еще мичманом был... Он еще тогда у нас во флигеле неделю жил, помнишь? Тогда он у меня неделю, теперь мы у него... месяц, например... Ничего, он человек богатый, Платонов!

Платонова она помнила. Она знала больше, чем брат. Она знала, что он из-за нее прожил у них в давно проданном костромском именьице неделю; на охоту они ходили раза два, и был это только предлог. Она считала себя виноватой, что у них оборвалось это както нелепо... Камер-юнкер Платонов,— это и было все, чем осенила ее жизнь. Потом, тайно от брата, она посылала ему не раз письма, но ни на одно не получила ответа.

— К Любимову тоже можно...— продолжал между тем капитан,— это уж потом... Любимов — старик: он с нашим отцом в большой дружбе был... к нему можно будет потом... Старый человек, ему же веселее будет в компании. А к той зиме война уж кончится,— это ясно... Вот как насыпят немцу перцу союзники летом, тут и будет конец... Раз Америка возьмется,— кончено... А наши поддержат.

На всякий случай он припомнил еще нескольких из своих бывших соседей: Худокормова, Завертаева, Смоличева, Озерова, Голубкова,— все настоящие, кряжистые, без соринки русские люди, коренники, хлебосолы, спокон веку дворяне,— разве они откажут?

— И ведь не Христа ради,— боже избави до этого дожить! — а за плату (кто захочет ее взять только),— пусть и за плату, но божескую плату: кто же виноват, что пенсий не повышают? Как назначили при царе Горохе, так и теперь дают, а цены теперь на все... ого!.. И хоть бы одного изверга-спекулянта повесили в пример другим!.. На фонаре! Среди улицы! Белым днем! Кверху ногами... И все, все с удовольствием помогали бы его вешать, поверь!..

Помешал уголь в печи железным прутом и добавил желчно:

— И кочерги даже у них порядочной нет,— до чего народ не зимний!.. У нас-то зима как станет с ноября, и уж знаешь: зима!.. Зайцы... лыжи... волки... Ведь и ты любила на лыжах, Соня?

— Да, на лыжах любила... На лыжах я с горки спускалась к самой запруде... кха... и без палок!

Так они вспоминали, и только маленький уголок прошлого подняли они вдвоем перед топившейся печью, но иногда исцеляюще действует даже самое воспоминание о прошлом, как будто и не жил потом, а таким и остался, как тогда,— бодрым и юным, ясным и крепким, веселым и смелым,— и вся жизнь еще перед тобою — одна чистая ширь... Хорошо, когда ширь, а не щель... Нехорошо, когда щель... Бог с нею тогда и с жизнью!

В этот вечер спать легли они поздно, и если сам Коняев, ворочаясь и кряхтя, все-таки уснул кое-как под утро, то сестра его не спала напролет всю ночь: впиваясь до боли зубами в тощие руки, вздрагивала всем своим длинным, ни разу в жизни не обласканным телом и плакала в думку...

А события на фронте тем временем шли тихо. Все пятились румыны, отдавая богатую Валахию, немцам.

— Надеялись тоже на этих обезьянщиков!.. Им бы только с обезьянами ходить да в садах в оркестрах играть!..— ворчал Коняев.— Какие из них солдаты? Шарман-щики!..

Однако и русским дивизиям в Добрудже приходилось плохо, и капитан видел, что что-нибудь подобное могли бы сказать и о наших солдатах румыны...

Какая-то как будто растерянность наблюдалась даже у союзников, не только у нас. Менялись то и дело главнокомандующие, премьер-министры, министры... Стонал торговый флот всего мира от беспощадной подводной войны, начатой немцами.

Все скареднее становилась жизнь: мало сахару, мало хлеба, и почему-то совсем нельзя было достать керосину. Сидели по вечерам сначала при лампадке, потом при церковной тоненькой свече. Бывают такие свечи и праздничные — пасхальные, например,— бывают и горестные... Эта тоненькая, жалостно горевшая свечка праздничной не казалась.

5

Простые люди иногда бывают очень прозорливы в чисто житейских вопросах. Не знаю, передается ли это наследственным путем, как инстинкт, или тут и чужой, и свой, хоть и небольшой, но очень прочно усвоенный опыт, только, как думали Дудышкины, что больная жиличка их зимою умрет, так и случилось, но умерла она уже в самом конце зимы, под 4-е марта в ночь. Упорная, она изжила себя всю до последнего, даже ухудшения в ее здоровье не замечалось. Только за два дня до смерти она слегла, а то все ходила.

Этой смертью сестры ошеломлен был капитан чрезвычайно. Он уже привык к ее болезни и кашлю: просто,— в последние три года сестра его была все тот же уют, та же домовитость, та же заботливость о нем, только с кашлем, как бывают часы стенные с хрипом при бое: хрипят, но идут так же, как и раньше шли. И утром 4-го марта, рано вставши, он постучал в ее комнату и сказал: «Соня!» — а она не отозвалась; он посту-

чал крепче и вздумал пошутить, как это делал в детстве: «Соня, ты настоящая соня!» — она не отзывалась и на это; тогда он отворил дверь.

В комнате было совсем тихо, даже дыхания спящей не было слышно. Он, уже с большой, от сердца идущей тревогой, подошел к ее кровати, сказал совсем громко: «Соня!» — и положил руку на ее лоб; лоб был холодный и легкий, как будто уходящий куда-то вниз из-под его руки, ускользающий и гладкий, как биллиардный шар: мертвый.

— Соня! Соня! — начал тормошить за плечо мертвую Коняев.— Да Соня же!.. Что же это такое?.. Господи! — и закрестился часто-часто, точно сетку из мелких крестов хотел повесить между собой и наваждением этим. Но наваждения никакого и не было: было нечто совершенно простое и необходимое в жизни — смерть, но к смерти никак не могут привыкнуть люди.

Капитан сел на стул возле ее кровати и заплакал. Он передумал все детство свое: усадьбу под Костромою, которую потом продали; деда, тоже бывшего флотского,— наваринского героя; мать (отец умер рано, и его он не помнил); прямые красные сосны; прямые белые березы; запах молодых майских березовых листочков; запах березовки в старом шкафу, которую настаивали на почках, чтобы лечить порезы; запах палой хвои и смолы, и таинственный флигель в роще, и Соню девочкой в синей бархатной шляпке — с длинным золотистым фазаньим пером... и много всего и, когда постучали в дверь его квартиры из общей с хозяевами прихожей и чей-то голос громко спросил: «Можно?» — он не сразу пришел в себя. «Неужели спите?» — сказал тот же голос, и капитан узнал Дудышкина.

— Да, спим, спим!..— ответил он горестно и неестественно громко.— Мы — крепко спим! Сестра-то у меня... а? — начал было он, отворяя двери.

— Царь отрекся! — выкрикнул, весь сияя, Дудышкин.

— Сегодня ночью... сконча...

— Да, сегодня ночью узнали... Телеграмма пришла. Заставили отречься!

— Кто?.. Что вы говорите, позвольте?.. От чего отрекся?

— Царь! Царь!

— От России... отрекся?

— От престола, от престола отрекся!.. Ка-кой вы! Ну, до свиданья!

— От престола? Гм... Как же так от престола?.. А у меня сестра умерла!..— вспомнил он.— Сестра у меня... Соня,— и он заплакал снова.

Дудышкин уже уходил было, но, услышав, вернулся. Когда к людям приходит смерть, так же свободно и без спроса, как и она, входят к их телам и чужие люди; так же вошел в спальню покойной и Дудышкин и тоже потрогал лоб рукой.

— Ну, вот...— сказал неопределенно.— Да... Болела-болела, бедная, и вот... Пойти жену к вам послать: что же вы одни тут можете?.. Пойду, пошлю.

Пошел, и тут же прибежала Дудышкина в туфлях на босу ногу, вытирая руки об фартук и с готовыми уже слезами.

Несколько дней прошли в хлопотах и заботах, которые всегда вызывает смерть. Неожиданный расход на похороны заставил продать даже и платья покойной, потому что разные малонужные вещи, кроме этого, были проданы еще раньше.

Схоронили под кипарисами, и, глядя на спокойные, темные, ровные кипарисы эти, говорил тихо Дудышкину капитан:

— Страшные деревья какие!

А на улицах уже везде трепыхались красные флаги; с красными флажками спереди катили автомобили; красные флаги виднелись на внутреннем рейде на всех судах, когда они с Дудышкиным шли с кладбища.

— Что это? — испуганно спрашивал Коняев Дудышкина.

А тот облизывал свои толстые губы и отвечал спокойно:

— Революция.

— Но ведь царь, вы же сказали,— отрекся?

— Царь отрекся... И даже бывший наследник отрекся.

— Значит, все они отреклись... Какая же еще революция? Зачем?.. Против кого революция?

— Нужно добиться полного результата, я так думаю,— уклончиво сказал Дудышкин.

— Какого же «полного»? А это будет не против России? — недоумело спросил капитан, и глаза у него стали детские.

— Зачем же?.. Впрочем, не умею вам объяснить. Вот газета, читайте сами.

Над газетой, данной Дудышкиным, капитан в своих опустелых комнатах просидел бесполезно целый час. Было ли это от посетившей его недавно смерти, или от усталости, или от проснувшейся контузии и раны, или, наконец, от исключительной новизны событий, но он решительно ничего не понимал в газете, точно была написана она на языке, очень мало ему известном. День же был ясный и снова теплый, как и тогда, в январе.

«Пройтись разве?» — подумал капитан и потом даже сказал вслух по привычке: — Пойду, пройдусь.

Одевался он медленно: он стал очень рассеян эти последние дни и все забывал, что надо ему делать, и, если нужно было что-нибудь найти, мог долго переставлять и перебирать всякие вещи, совершенно забывая, что̀ именно надо найти.

Начинало уж вечереть, когда он вышел. Улицы были людны, но с них как-то исчезло все, что отличало их раньше, еще недавно. Коняев, идя по Историческому бульвару, возбужденно с кем-то незнакомым ему спорил про себя, что-то ему доказывал и даже усиленно шевелил бровями и чмыхал носом, глядя при этом себе под ноги. Но вот какой-то человек в черной шинели поднялся со скамейки справа от него, поднял руку к козырьку фуражки, отдавая честь. Коняев привычно сделал то же самое и только после этого поглядел на флотского офицера. Он оказался прапорщиком флота: посеребренные погоны и одна звездочка — и Коняев остановился.

— Русский? — спросил он.

— Русский,— ответил прапорщик недоуменно.

— А фамилия ваша?

— Калугин,— сказал прапорщик.

— Ка-лу-гин,— протянул Коняев, глядя очень внимательно, но вдруг опустился на скамейку и потянул вниз прапорщика Калугина.

— В таком случае давайте сядем. Поговорим, как следует говорить русскому с русским.

Однако, усевшись плотно рядом с Калугиным, он некоторое время молчал, потом вдруг спросил решительно и даже строго:

— Ну-ка, господин новоиспеченный прапорщик, извольте объяснить мне, что такое происходит, а?

— Это вы насчет революции? — догадался Калугин.

— А то насчет чего же я мог бы еще? Странное дело! — удивился Коняев и, несколько понизив голос, спросил в упор: — Где сейчас может быть Николай Александрович?

— Какой именно Николай Александрович? — явно не понял Калугин.

— Им-пе-ра-тор наш! — раздельно, хотя так же вполголоса и как бы даже заговорщицким тоном пояснил Коняев.

— Но ведь он уже теперь не император,— удивленно ответил Калугин.

— От-рек-ся?!

— Да, раз отрекся, то, значит, уж не император.

— Так! А кто же он теперь?

— Полковник Романов.

— То есть: великий князь в чине полковника?

— По-видимому, именно так: великие князья, кажется, пока еще остаются великими князьями, впрочем, может быть, все титулы уже отменены.

— Я слышал так,— отмахнувшись досадливо рукой, совершенно таинственно сказал Коняев,— что государь уехал обратно в Ставку, а в Петроград, конечно, вернется он с целой армией... А?

— Полагаю, что этого не будет,— спокойно сказал Калугин.

— По-ла-га-ете? К-ак же вы это вообще можете полагать?! — почти задыхаясь, очень заносчиво откинув голову назад и выставив рыжую бороду прямо в лицо Калугина, выдавил из нутра Коняев.

— События... События развиваются быстро,— неопределенно ответил Калугин и сделал было попытку подняться, но Коняев удержал его, положив руку на его плечо. Он глядел на прапорщика так вопросительно и с такою как бы надеждой непременно получить ответ, что это, видимо, подействовало на Калугина и тот остался сидеть.

— Как это говорится: умер король,— да здравствует новый король, а? — с усилием проговорил Коняев и добавил: — Может быть, великий князь Николай Николаевич?

— Будто предлагали, но он отказался.

— Ка-ак? Отказался? Почему отказался? — Коняев был положительно вне себя и теперь уже выкрикнул: — Не может этого быть! Вы-ы... Вам наврали, а вы мне, штаб-офицеру, докладываете такое!..

— Ничего я вам не докладывал, а только передал слухи,— твердо сказал Калугин.— Может быть, это и не так, а только будто бы уж было в телеграммах, ведь и опасно принимать корону в такое время, убить могут.

Калугин сказал это с равнодушным видом, но Коняева испугал даже самый тон этих его слов.

— Вы точно русский? Или вы... смесь? — выкрикнул Коняев.

— Точно ли русский,— раздумчиво повторил его выражение Калугин.— Право, не знаю. Знаю только, что один чешский ученый двадцать пять лет прожил в России, занимался антропологией, и вообще всем, что полагается для определения фактических признаков русской нации,— пришел к выводу, что таких отличительных черт совсем нет, и что такое русский человек, ему, в конце концов, неизвестно. Это говорил нам, студентам лесного института, один профессор.

— Немец? — быстро спросил Коняев.

— Кто немец?

— Профессор этот ваш, он был немец?

— Фамилия у него была русская,— Горичев. И помню еще я,— добавил Калугин,— что когда начал он перечислять все национальности, какие могли влиять и, конечно, влияли на русских со времен начала татарского ига, тысяча двести сорокового года, то действительно не согласиться с тем чехом-антропологом было невозможно: остяки, зыряне, вогулы, вотяки, пермяки, мордва, мещеря, черемисы, башкиры, калмыки, киргизы и прочие и прочие,— это с востока; затем всевозможные яссы, косоги, печенеги, хазары, половцы и прочие орды,— это с юга; потом чудь, веся, меря, варяги; литовцы, ливонцы и прочие,— это с запада, и ведь целые века так же воздействовали, и как же можно было уцелеть в чистоте русскому племени?

— Немец! — крикнул Коняев, глядя с большой ненавистью.

— Может быть, есть во мне частица и немца,— кротко согласился Калугин.— Может быть, и частица фаноса,— я — нигерец...

— От-рекаетесь? — изумленно и даже будто испуганно протянул Коняев и поднялся, заставив этим подняться и Калугина.

— От чего отрекаюсь? — не понял Калугин.

— От русского? От-ре-каетесь? Сами? Вот до чего дошло! Тогда конец! Значит, конец.

— А помните, еще Наполеон говорил: «Поскреби русского, найдешь татарина»,— как бы в оправдание себе сказал Калугин.

Но Коняев уже не хотел больше ничего слушать: он выпятил широкую грудь, к которой прижал бороду, и пошел от Калугина, непомерно делая очень широкие шаги.

А прапорщик Калугин сел на ту же скамейку и глядел ему вслед. Но Коняев уже ушел не так далеко: он вдруг остановился, охваченный внезапно наболевшим вопросом, и, оглянувшись на прапорщика флота, отрекшегося от русского, как царь отрекся от России, он все же пошел обратно. Теперь он глядел на Калугина намеренно исподлобья, как бы желая посмотреть, подымется ли этот «новоиспеченный», чтобы отдать ему честь. Прапорщик продолжал сидеть, и Коняев, пройдя его, повернулся к нему и выкрикнул:

— А пенсии нам, отставным штаб-офицерам, будут давать, или нет, вам неизвестно ли, господин прапорщик?

— Откуда же мне может быть известно? — сказал Калугин, теперь уже не подымаясь и не прикладывая руку к козырьку.

— Невеж-ливо! — крикнул Коняев.— Вы, прапорщик, отвечаете мне не-веж-ливо! — уже явно рассердился Коняев. Тогда прапорщик Калугин поднялся и пошел в сторону, противоположную той, куда направился капитан Коняев.

А на улицах точно так же часто катили автомобили, но вместо штабных в них сидели все почему-то матросы с винтовками. Всюду стоял какой-то непривычный шум; везде толпились портовые рабочие, солдаты, матросы...

Везде в кучках говорил кто-нибудь, кричал хрипло, чтобы перекричать общий гул,— и кучки эти вылезали до середины мостовых... Трамвай не работал, даже и извозчиков что-то не было видно,— только одни автомобили: откуда их и набралось столько!

— Вот как оно теперь...— пробормотал Коняев, но тут же засмотрелся на большой автобус, на котором, как на эшафоте, провозили куда-то арестованных, наполовину переодетых в штатское полицейских.

— Как же это так?.. А кто же будет охранять порядок? — спросил он у стоящего рядом черненького студента.

— Революционный народ,— тут же ответил студент.

— Ка-кой народ, вы сказали? — потянулся ухом вниз Коняев.

— Революционный!.. Я, кажется, ясно говорю,— обиделся студент.

— А-а...— протянул Коняев, не понявши, каким образом может охранять порядок народ, если он сам весь революционный.

За спиной его в толпе какой-то солдат говорил речь, но такую путаную, что Коняев понял только одно вот это: «Между прочим, рабочий человек все равно тянет свою, как вол какой, лямку... Хорошо... Между прочим, он должен сидеть на четвертом этажу и розы нюхать...» Тут все почему-то захлопали в ладоши, а Коняев подумал горестно: «Русский! Это русский человек говорит, потому что говорить не умеет...»

Только двух совсем юных мичманов и прапорщика флота средних лет, быстро идущих, заметил капитан, а то почему-то не видно было совсем офицеров. Чем дальше, тем больше на него нападала какая-то оторопь, точно читает давешнюю газету или видит непостижимый сон.

— Кончено, совсем кончено,— бормотал он.— Что же, да что же это такое?!.

На какого-то рабочего с белой повязкой на рукаве городского пальто и с берданкой наткнулся он на углу двух улиц и посмотрел на него подозрительно: не разбойник ли?

— Ходишь еще? — сказал ему вдруг, криво усмехаясь, рабочий.— Ну, ну, ну, походи еще немного, попрыгай!

Это был обыкновенный фабричный или заводской рабочий,— может быть, и наборщик, с бледным свинцовым лицом, и не русский, нет, во всяком случае не чистый русский, явная смесь, и «попрыгай» вышло у него нетвердо.

— Это ты кому? Мне? — спросил, не обидясь даже, а совершенно недоуменно Коняев.

— Проходи! Не разговаривай много! — и рабочий неумело подкинул тяжелую для него берданку на изготовку.

«Об этом нужно сказать матросам!» — вдруг почему-то решил Коняев. Представились те двое, что вели его с Исторического бульвара, и он бормотал, отходя: — Непременно, непременно матросам... И у меня ведь сестра умерла, Соня,— как же он смеет так, мерзавец?

Он уже дрожал, отходя, нервической дрожью и даже мало что замечал: все равно все было совсем непонятное, чужое,— Порт-Саид... Погнались было за ним двое мальчишек, крича: «Смесь!», «Смесь!..» — но скоро отстали, увлеченные огромным автобусом, который все гудел, требуя дороги: на нем еще везли куда-то несколько человек в жандармской форме.

Улиц, должно быть, не подметали все эти дни: везде попадали ноги в плевки, окурки, кучи подсолнечной шелухи. В Рыбном переулке, куда повернул Коняев, из подвалов, сквозь железные решетки, очень скверно пахло, но здесь было нелюдно. «Здесь,— думал он,— можно было поговорить с матросами... с последней Россией, здесь, с настоящей Россией... Если и матросы тоже, тогда куда же еще идти? Некуда! Тогда уж конец, самый последний конец... совсем конец... совсем конец...» И Коняев почувствовал даже, как от одной мысли этой земля заколебалась было и поползла из-под его ног, но, укрепясь все-таки, он стал возле лавочки, в которой летом торговали сельтерской водой и бузой, а теперь папиросами, семечками и еще какою-то дрянью,— стоял и думал: «Ведь везде теперь матросы,— суда пусты, улицы полны,— будут идти какие-нибудь двое (почему-то представлялись упорно именно двое), и он их спросит: «Братцы, что такое случилось?..» И действительно, ту же, спеша куда-то, почти пробежали мимо не двое, а трое, никто не отдал чести, только поглядели мельком на быстром ходу,— потом и двое: шли не спеша; хоро-

шие лица. Коняев привычно поднес было руку к пуговице на груди, чтобы принять честь, но проходящие отвернулись.

— Братцы! — крикнул им капитан.— Братцы-матросы!

Остановились, и один сказал высокомерно теноровым певческим голосом:

— А братцев теперь и нет!

— Нет?.. Как нет?

Коняев долго вглядывался в них, как в шараду, которую если не разгадать,— конец. Он и не заметил даже, как щегольской автомобиль,— четырехместное ландо,— тот самый, который он недавно видел, с тремя матросами, свернул с Нахимовской именно в Рыбный переулок.

— Братцев нет, а есть теперь товарищи,— сказал другой матрос, постарше.

— Это... чем же лучше: товарищи? — спросил было Коняев, но тут автомобиль, свирепо фырча, остановился зачем-то недалеко от них. Он пыхтел, рычал и дрожал и весь рвался вперед, как лихой зверь. Все три матроса спрыгнули и пошли к нему.

— А ну-ка, давай сюда погоны царские! — потянулся к плечу его матрос с простым круглым большеротым лицом.

— Мерзавцы!.. Опомнитесь, мерзав...— крикнул было, подняв для защиты руки, Коняев, но тут же, прикусив язык, ткнулся головой в чье-то колено, сваленный сзади подножкой.

С него, бившегося внизу, сорвали погоны и бросили их под колеса на мостовую. Откатившуюся фуражку его поднял матрос с певучим голосом, сковырнул кокарду, подумал секунду над огромным толстейшим козырьком, потом рванул его вместе с куском сукна и спрятал в карман на подметки.

Последнее, что слышал Коняев, был пронзительный бабий крик около: «Батюшки! Флотского убивают!» Потом он перестал сознавать.

Алушта, 1918 г.

ЛЬВЫ И СОЛНЦЕ

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В 1917 году 25 февраля в Петрограде появилось в одной малотиражной газете объявление:

ПРОДАЮТСЯ ЛЬВЫ

Новоисаакиевская, 24, 3.

В те времена продавалось все, потому что все бешено раскупалось, потому что гораздо больше было денег, чем товаров, но львы, которые продавались кем-то в Петрограде,— это было слишком неожиданно даже и для тех неожиданных дней.

Иван Ионыч Полезнов, разбогатевший на крупных поставках овса в армию, раньше приказчик мучного лабаза, а ныне владелец приличной зимней дачи вблизи Бологого, человек лет пятидесяти двух, но еще без единого седого волоса в русой бородке, видный собою, полнокровный, хотя и недавно, но зато очень прочно поверивший в свою звезду и потому благодушный, живший теперь в номере хорошей гостиницы в начале Невского, ближе к Зимнему дворцу, прочитав за утренним чаем это объявление, сказал весело вслух самому себе:

— Ну-ну!.. Львы!.. До львов дошло!.. Вот так штука!..

Он просмотрел потом еще несколько объявлений (с них обыкновенно начинал он читать газету) и опять наткнулся на то, что продаются львы: это было напечатано крупно и на видном месте.

Полезнов подумал: «Что же это, цирк распродается или зверинец?» — и привычно потянулся к трубке теле-

фона, чтобы узнать, так, между прочим, сколько именно продается львов и по каким ценам, но, присмотревшись к объявлению, не нашел там номера телефона.

Убежденный в том, что такие коммерческие предприятия, как цирк или зверинец, не могли бы сдать объявления в газету, не указав номера своего телефона, Полезнов посвистал тихонько и, как только окончил чаепитие, оделся и вышел на Невский, от которого Новоисаакиевская очень близко, и в первую очередь решил пройтись полюбопытствовать, что это за львы, кем именно и почему продаются.

Было средне морозно. Стояли длинные хвосты очередей вдоль тротуаров. Проходя мимо них, Полезнов участливо спрашивал, за чем стояли — за хлебом или за сахаром?..

Сам он был очень запаслив, и склады всякой снеди и других житейски необходимых товаров у него в Бологом были большие; самому ему еще не приходилось стоять в подобных хвостах, но был он человек общественный и очень любознательный до всего, что касалось торговли. Команда молодых солдат, совсем еще мальчишек, плохо державших шаг и равнение, пересекала Невский, остановив вагоны трамвая и длинный ряд автомобилей. Угорелые газетчики бегали с телеграммами и что-то кричали, но в крики газетчиков в последнее время перестал уже вслушиваться Иван Ионыч и телеграмм сознательно не покупал. Как бы ни шла война, его она касалась только стороной — поскольку был еще овес на северо-западе России и лошади в русской армии. Того, чтобы немца допустили взять Петроград (столицу!) и вместе с ним станцию Бологое, он решительно не допускал. Детей на фронте у него не было и быть не могло: женился он лет за семь до войны, и дети его, всего четверо, были еще младенцы. Когда он бывал дома, то чувствовал себя с ними в одно и то же время и отцом и даже как бы дедом, что только усиливало его к ним нежность; и вот теперь, доходя до Новоисаакиевской, он представил, как туда, в свое гнездо в снегах, он возьмет да и привезет вдруг, шутки ради, живого льва в железной клетке и какой радостный визг и крик подымут около такой необыкновенной игрушки дети.

С гурманством северянина (он был костромич родом)

Полезнов втягивал широкими легкими стынь февральского воздуха и жесткие порывы ветра с Невы, а свою кунью шубу он даже несколько распахнул, так как от ходьбы нагрелся.

С некоторых пор, когда вообще появилось так много нового в русской жизни, Иван Ионыч усвоил и всячески развивал в себе спасительную привычку как можно меньше обращать внимания на все кругом и удивляться.

Война, сделавшая его поставщиком овса, на этом именно новом для него деле и требовала сосредоточить все его мысли: где купить овес, почем купить, как доставить, почем посчитать казне, помня о том, как падают деньги,— одних только этих забот было вполне довольно для Полезнова, чтобы еще замечать пристально, что такое творится кругом. И если шел он узнавать насчет львов, то только потому, что как раз теперь выдалось у него свободного времени два-три часа, а потом предстоял деловой разговор с интендантским полковником князем Абашидзе.

Дворника в воротах не было. Полезнов на черной табличке сам отыскал, что квартира 3-я во дворе налево, нижний этаж.

Когда он позвонил, открыли не сразу и только на четверть, на длину дверной цепочки. Чей-то черный глаз, пытливо блеснувший, оглядел Ивана Ионыча с бобровой шапки до калош и спросил оттуда сильный женский голос:

— Вы насчет львов?

— Вот именно,— солидно отозвался Полезнов.

— Львы почти уже проданы...

— Очень сожалею... Однако не совсем еще?..

— Однако... если вы, конечно, предложите больше... Войдите!

Цепочка загремела, дверь распахнулась, и Полезнов вошел в прихожую, где хотел было скинуть шубу, но сильная на вид, высокого роста, молодая черноглазая женщина в накинутом на плечи котиковом боа сказала:

— Можете и не раздеваться... Боюсь, что у меня порядочно прохладно...

— Это как же,— вы, стало быть, лично продаете львов? — степенно спросил Полезнов, когда уселся в

шубе на слишком мягкий, с беспомощной пружиной, пуф.

— А как же еще? — удивилась женщина, шевельнув высокой прической.— Лично?.. Конечно, лично... Львы мои, а не чьи-нибудь...

Комната была большая, но плохо обставленная, и, что сразу обратило на себя внимание Полезнова, кое-где на высоте человеческого роста висели обои кусками, а в двух-трех местах они были прикреплены сильно блестевшими английскими булавками. Высокая белая дверь в другую комнату была как бы изрезана в разных местах перочинным ножом, а ближе к медной, давно не чищенной ручке даже и очень густо изрезана... И воздух в комнате показался плохо проветренным, хотя форточка и была приотворена.

— Гм... Та-ак... И сколько же у вас львов этих самых? — с большим любопытством поглядел на женщину Полезнов.— В газете сказано: львы... Стало быть, не один, а несколько...

— Два!.. Два льва... Оба самцы...

Женщина наблюдала его пытливо и даже несколько строго,— так ему показалось.

— От-лич-но... Два... И где же они у вас помещаются?.. При доме ли, в сарае, или еще куда ехать к ним надо?

— Здесь,— быстро ответила женщина.

— То есть где же именно здесь?

— Здесь — это значит здесь же, где и мы с вами: в соседней комнате.

И не успел еще подумать Полезнов, не шутка ли такой ответ, как женщина, придерживая крупной белой рукой боа на шее, другой распахнула изрезанную дверь, и в комнату вошли, мягко, по-кошачьи ступая, два песочно-желтых больших зверя, которых по первому взгляду он даже и не принял за львов. Но уже в следующий момент он вскочил с пуфа, инстинктивно выставив перед собой, точно для защиты, бобровую шапку, и первый ближайший к нему зверь вдруг встал на задние лапы, а передние положил ему на плечи, и так близко пришлись к его глазам хмурые зеленые львиные глаза, что Полезнов откинулся головою и ударился о стену затылком, и если бы не стена пришлась сзади него, он, может быть, упал бы на пол от страха.

— Жак! — крикнула женщина и добавила что-то еще на языке, Полезнову не понятном.

Лев мягко снял свои лапы, поглядел на него еще раз внимательно снизу вверх и отошел, чуть двигая хвостом.

— Это — Жак, а тот — Жан... они — братья,— сказала женщина, как будто Полезнов не побледнел от страха и не ушиб затылка.

Когда же несколько пришел он в себя, то отозвался обиженно:

— Предупредить, мадам, надо было, предупредить, а не так сразу!.. А не то чтобы вот так... Это ведь звери!..

— Они совершенно ручные! — даже чуть улыбнулась женщина, точно забавляясь его страхом.— Они всего по третьему году и совершенно, совершенно ручные!.. Все равно как собаки...

— Хо-ро-ши со-баки! — сильно упирая на костромское «о» от растерянности (чего в спокойном состоянии он не делал), бормотал Полезнов.— Я полагал, они у вас в клетке где-нибудь... в сарае, что ли... а не так... И как же вы с ними тут одна? — попробовал он замять это бормотанье.

— Прислуга моя ушла достать для них мяса... хотя, конечно, это теперь очень трудно... А тут, как нарочно, с утра лезут в дверь всякие... конечно, из пустого любопытства...

— Выходит, и я тоже из любопытства... из дурацкого?..— не без угрюмости вставил Полезнов, потирая затылок.

— Ка-ак так из любопытства? — явно обиделась она.— Так вы, значит, не желаете покупать их?

Полезнов посмотрел на ее большое красивое лицо, с чуть посиневшей на полных, здоровых щеках кожей, и слегка улыбнулся:

— Имел большое желание, а теперь начинаю бояться.

— Бо-ять-ся? Чего же именно?

— Вы говорите: ручные... Вас-то они, конечно, слушают, а с какой стати им меня слушаться? Меня они могут в клочки изорвать!.. Что я с ними буду делать? Хо-ро-шее дело!

— Позвольте, что такое? Ничего я у вас не пойму!..— сделала женщина пренебрежительную грима-

су.— Для чего именно хотели вы там купить львов, это не мое, конечно, дело, но ведь вы же пришли за чем? чтобы купить их?

— Да я так, признаться, ни за чем... Просто блажь нашла... Притом же я ведь хотел, чтобы в клетке и по крайней мере одного, а не двух... Зачем мне двух?

— Одного нельзя!.. Они братья, и один без другого не может... Вот!

Тут она быстро схватила одного из львов за загривок, впихнула его в соседнюю комнату и закрыла дверь. Тогда оставшийся в комнате лев вопросительно посмотрел на нее и с тихим урчаньем начал царапать дверь лапой около медной ручки. Полезнов понял теперь, почему ему показалось, что изрезана ножами дверь, и почему висели клочьями обои.

Он сказал, как бы между прочим:

— Придется вам сделать потом ремонт в квартире...

— Это уж мое дело,— обиделась хозяйка львов.— Может быть, сделаю, может быть, нет...

— А почему же это львы? Львы, а, между прочим, гривы у них небольшие? — тоже обиженно спросил Полезнов.

— Потому что они — молодые, вот почему... У совсем молодых самцов грив не бывает...

— Не знал!.. А как же они, молодые, к вам попали?.. Я это по поводу того, что вот уже третий год война, и мы, стало быть, окончательно отрезаны... Даже апельсинов нельзя провезти, не то что львов пару...

— Вы намерены их купить или нет? — резко оборвала женщина.

В это время задребезжал дверной звонок, и она, не дождавшись ответа, легко, как львица, выскочила из комнаты в переднюю.

Иван Ионыч обмахнул шапкою шубу в тех местах, к которым прикоснулись львиные лапы, потом ударил раза два перчаткой по шапке и сказал самому себе:

— Не-ет!.. Нет, брат, это не модель!

А между тем в передней раздались сразу два бурных голоса — хозяйки и еще кого-то, вошедшего срыву.

«Ну, еще какой-то покупатель,— подумал Полезнов.— И отлично!.. А я уйду!..»

Но вошедший, оказавшийся низеньким, крепким, пожилым человеком с черными усами и седыми подусниками, в лохматой, заиндевевшей, низко сидящей шляпе и теплой короткой бекеше со шнурами, подошел к нему, взял его за оба отворота шубы и сказал медленно, старательно выговаривая слова, но очень громко:

— Вы будете давать сейчас же двад-цать тисач и сего же дня их забирайт?

При этом он глядел на него горячим взглядом, не допускающим ни малейших возражений.

Все тут очень обидело Полезнова: и то, что его вдруг схватили за отвороты шубы, и то, что сам он снял шапку, а перед ним в комнате стоят в шляпе, и то, что с ним даже не поздоровались войдя, и то, что ему будто бы даже просто приказывают купить обоих львов и непременно за двадцать тысяч.

— Нет уж, нет,— твердо сказал он, подняв брови.— Пусть другой кто дает двадцать тысяч, а я уж пойду!

И он сделал движение руками, желая запахнуть шубу. Однако тот держал его за отвороты крепко и рук своих отпускать, видимо, не думал.

— Вы хотит их взяйть для цирк или куда, нам это ест без-раз-лично! — уже кричал он, сверкая сердитыми черными глазами.— Одним зловом, вы имеете двадь-цать тисач и вы-ы их нам даете!

— Ого!.. Это с какой стати? — очень удивился Полезнов, и даже шевельнулось в нем, хотя и без особого страха: не попал ли он к каким-то таинственным грабителям.

— Послушайте, вот что,— вступила тут женщина, должно быть она была жена этого горячего...— Для чего вам нужны львы, я уж вам говорила, нам неважно, и мы даже не желаем этого знать... Однако ведь вы же пришли их покупать, да?.. Вы — человек солидный, вы — человек богатый...

— А вы почем знаете, что я богатый? — с сердцем отозвался Полезнов.

— Бедный человек, о-он... ему не надо львы! Нетт! — закричал мужчина.

— Пусть я даже богатый, а мне вот тоже не надо!.. Не надо, и все!.. Никаких львов не хочу! — закричал в тон ему и даже выше Иван Ионыч.

Да, он совершенно рассердился, наконец, и сознательно взял тон повыше этого, с седыми подусниками. Он в полный голос кричал, он по-хозяйски кричал. Он чувствовал себя русским и в русской столице, и вдруг этот какой-то куцый немец, по оплошности полиции пока еще не высланный за Урал, смеет держать его за шубу, как грабитель, и требовать какие-то двадцать тысяч!..

Однако только что он поднял голос, чувствуя себя вправе и в силе, как из соседней комнаты донеслось рычание, точно подземный гул, потом жутко зацарапали в дверь и снизу и на высоте человеческого роста, и вдруг дверь распахнулась звучно, и выскочили Жан и Жак, нестерпимо светя четырьмя огнями зеленых глаз и пружиня длинными хвостами.

«Изорвут ведь!.. В куски изорвут!..» — мелькнуло у Полезнова, и он выдернул шубу у немца и бросился к двери.

Какой-то подземный гул от сдержанного, сквозь сжатые зубы, рычания сразу наполнил всю комнату. Желто-песочные пятна колесами завертелись в глазах Полезнова... Он был уже у дверей, но немец успел все-таки загородить ему выход.

— Вашее последний злово, ну? — крикнул немец с видом столь боевым, что чуть ли не явно угрожающим.

— Жан! Жак! — кричала в то же время его жена, руками белыми и крупными сдерживая упругий напор зверей.

Полезнов быстро напялил шапку, толкнул изо всей силы локтем в плечо низенького немца и выскочил в переднюю.

Но дверь из квартиры на двор была заперта. Полезнов подергал — не отворяется, пошарил рукой — не нашел ключа в замке, а немец снова тянул уже его, теперь за рукав шубы.

— Послушайте один мой злово! — говорил он при этом, хотя и по-прежнему горячо глядя, но спокойнее.— И где именно вам тепер продают львы? Ни-игде!.. Я согласен буду брайт две тисачи меньш эттой суммы, ну?

— Ключ, ключ давай!.. Дверь отопри, вот что!.. Извольте меня выпустить, а не суммы! — кричал Полезнов.

Надев шапку, он уже чувствовал себя почти как на дворе, однако новый взрыв львиного рычанья заставил его сразу перейти на мирный тон. Он взял немца за руку и сказал тихо, но, как ему казалось, вполне убедительно:

— Вот что, почтеннейший... Вы сказали — восемнадцать? Это ваша последняя цена? Уступочки не будет?

— Вы ест су-ма-шедчи! — вдруг снова вспылил немец.— Уступчик?.. Еще уступчик?.. За пара таких львы?

Жан (или Жак) в это время взвыл как будто и тихо, но настолько жутко, что у Полезнова холодно стало между лопаток, и он счел совершенно вредным обижаться на горячего немца.

— Хорошо,— быстро сказал он.— Итак, восемнадцать... Я передам своему патрону... Я сейчас к нему еду и передам... Это очень важное лицо, князь... И передам вашу цену... У вас нет телефона?

— Нетт... Но-о... передайт надо так: двадь-цать! Двадь-цать, да! Помнить, уступчик больше не будет, нетт!

И немец при этом даже погрозил пальцем около носа Полезнова, и неизвестно еще, когда бы он выпустил его из передней, если бы не звонок со двора.

На этот звонок, долго дребезжавший, вышла женщина в боа с ключом, и дверь, наконец, открылась, и прянул с надворья в глаза Полезнова яркий, спасительный снег.

Иван Ионыч еле рассмотрел сероглазую девушку в теплом белом платке и с большой корзиной в руках. Довольно проворно для человека пятидесяти двух лет, притом одетого в тяжелую шубу, он за ее спиной выскользнул на двор и уже отсюда, погрузив в рыхлый снег калоши, услышал еще раз горячее:

— Прошу помнить: последний злово — двадь-цать!

Тогда он сделал самое свирепое лицо, на какое был способен, и рука его сама собою сжалась в кулак и задрожала в воздухе, как будто бы он грозился.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда Полезнов подходил к пролету ворот, густела и бурлила в нем досада прежде всего на то, что не пихнул как следует, выходя, этого, с игристыми усами,

между тем всем своим тяжелым и набрякшим телом чувствовал, что мог бы пихнуть его как следует, так, что не только бы затылок о стену он ушиб... Неприятный звериный запах еще стоял у него в носу, и он раза три сильно потянул носом и отплюнулся.

Между тем в воротах, где дворника опять все-таки не было видно, около черной доски стоял кто-то — хорошего роста, бритый, в теплой шляпе и беззастенчивых черных шелковых наушниках; холодный воротник пальто его был поднят; рукою в рыжей лохматой перчатке он шарил по доске и бормотал:

— Номер третий... хм... хрр... Номер третий... А вот номер третий!..

Полезнову ясно стало, что это — новый покупатель львов... Он подумал отчетливо: «Бритый... и в шляпе... Значит, из цирка... И пусть, черт с ним!.. Пусть покупает...»

Он встретился с ним глазами, когда тот прошел мимо него, и даже хотел было понимающе ему подмигнуть слегка: дескать, все это нам известно — и куда ты идешь и зачем ты идешь,— но как-то не вышло.

Он стал у ворот и, так как не хотелось идти, высматривал извозчика, но извозчик что-то не проезжал мимо. И в то же время не хотелось уезжать отсюда, не решив окончательно насчет львов. Он думал, что этот бритый в шляпе, стремительно прошедший от ворот в глубь двора, может быть, просто хочет сделать хорошее дело с цирком, а между тем это дело мог бы сделать и он... Двадцать тысяч за пару львов показалось ему вдруг ценой дешевой. Он уже раскидывал, прибегая к привычному своему торговому языку: «Если за две красных тысячи теперь купить, а к вечеру за три красных тысячи продать — это бы все-таки было похоже на дело... И брать их отсюда не надо бы... Не дать ли пойти задаток?..»

Посмотрел на желтый, сверху облупившийся, требующий ремонта брандмауер на другой стороне улицы — и стало еще досаднее: кому теперь можно продать этих львов, если не в цирк «Модерн» или цирк Чинизелли?.. И как будто этот немец с усами не бегал двадцать раз и туда и сюда!..

Подивясь на самого себя за то, что теряет попусту время, Иван Ионыч уже двинулся было от ворот, когда

к нему подошла спешащим шагом видная из себя девица в мерлушковой серой шапочке, или шляпке, очень странного фасона, с раструбом на боку, и в меховом, но уж потертом недлинном пальто. Что его удивило в ней, это чрезвычайное обилие рыжих, жарких волос, так что совсем закрывали они уши и часть щек (тоже очень горячих). Она не то что подошла к нему, она шла на него, подняв голову к синим цифрам 2 и 4 — номеру дома, торчавшему на карнизе второго этажа.

Столкнувшись с Полезновым, она сказала ему звучно и совсем не смущенно:

— Я извиняюсь! — и потом добавила, очень уверенная в тоне вопроса: — Скажите, это ведь здесь львы?

Иван Ионыч даже не успел подумать, обидеться ли ему, или нет? Не приняла ли она его за дворника этого дома?..

Разглядывая редкостные волосы под мерлушкой, он ответил:

— Да, именно здесь.

— Куда же идти? — спросила девица, облизнув губы, полные и тоже горячие.

Нос ее показался Полезнову маловат несколько и будто без переносицы, но серые глаза открылись неробкие, круглые и с большими ресницами.

Муфта у нее была беличья... Переведя цепкий мужичий взгляд с ее глаз на эту муфту, ответил Полезнов:

— Вы ведь все равно покупать не будете, а только так себе... Тогда зачем же и вам беспокоиться и мне вам говорить?

— А вы почем это знаете, что так себе?.. (И качнулись золотые слитки волос.) Вы, что ли, их хозяин, да?.. Это вы продаете львов?

— Допустим, что я...— поглядел на раструб ее шапочки Полезнов.

— А-га!.. До-пус-тим! — зачем-то протянула девица.— И сколько же у вас львов?.. Большой запас?

— Пара,— серьезно ответил Полезнов.

— Лев и львица?

— Лев и еще лев.

— Ин-те-рес-но!.. Покажите же!.. Они где? Здесь?

— Наверное, цена вам будет неподходящая, барышня...

— А вы откуда взяли, что я барышня, а не дама?.. А какая цена?

Полезнов потер усы платком и сказал, не спеша и понизив голос:

— Сорок тысяч.

Когда же сказал, то сразу почувствовал, что восемнадцать или даже двадцать тысяч за пару львов, не каких-нибудь диких ведь, а совершенно ручных, это при нынешней цене денег — сущий бесценок, и этот бесценок он непременно даст за них сегодня же, только бы повидаться с Абашидзе; если до вечера их не перепродаст, пусть здесь переночуют, продаст их завтра.

— Видите ли, вот что,— как будто строго поглядела на него золотоволосая, но тут же усмехнулась доверчиво: — Шутка сказать тоже: со-рок ты-сяч!.. Если только вы не шутите?.. Нет? (Полезнов показал головой, что он серьезен). Очень жаль... Но я все-таки хотела бы посмотреть их... Знаете ли что?.. Я думаю, что найду вам денежного покупателя!

— Знаем мы этих денежных покупателей!

Мимо проходили многие, бойко и с подпрыгом, как ходят горожане в порядочный мороз, и, может, мимоходом кое-кто думал, что говорят у ворот дома № 24 двое очень хороших знакомых, потому что девица вынула вдруг руку из муфты (рука была в тонкой осенней перчатке) и забывчиво стала вертеть пуговицу на пальто Полезнова, говоря:

— Уверяю вас, что я кое-кому скажу, и, может быть, сегодня же их у вас заберут, а вы мне за это только покажите их, хорошо?.. Должна же я знать, черт возьми, какие они, эти львы ваши!

— Обыкновенные,— ответил Полезнов, несколько смущаясь.— А так вы мне даже пуговицу можете отвертеть...

— Не знаю, за кого вы меня принимаете,— строго сказала девица.— Я — поэтесса, вот кто я! — и сняла поспешно с пуговицы руку, причем и рука эта показалась Полезнову обиженной, так что он пожал виновато плечами и вздохнул.

Как раз в это самое время тот, бритый, в шляпе, которую он все выправлял на ходу, а она сидела как будто совсем по-иному, поспешно, даже зло, шагал по двору к воротам. Обескураженность лица его Полезнов за-

метил. Это его развеселило, и он сказал рыжеволосой, кивнув на него шапкой:

— Вот они видели львов... Вы их спросите-ка...

И девица тут же загородила бритому дорогу:

— Послушайте, вы, говорят, их видели, этих львов?

Бритый вопросительно поглядел сначала на Полезнова, потом на нее. Нос его поднялся, показав неодинаковые ноздри. Он ответил свысока несколько:

— Больше слышал, чем видел...— И добавил, разглядывая девицу: — Если и вы хотите их послушать, то... Представьте, впрочем, медные трубы в оркестре, и только... А идти туда я вам не советую.

— Ну, вот еще!..— возразила девица.— Я очень люблю медные трубы... Я непременно пойду!..

— Как вам будет угодно...

Бритый взялся за шляпу и хотел было пройти, но девица его остановила, протянув перед ним руку ребром, как шлагбаум.

— Постойте... Еще один вопрос: они где же там, эти львы?.. Кстати, вот перед вами их хозяин!

Полезнов в это время решал, цирковой ли это артист, или из театра,—то есть стоит ли с ним говорить вообще о деле, или лучше пока отойти. Но бритый повернулся к нему, весьма удивленный:

— Вы?.. Так это вы их хозяин?.. Ну, знаете ли, у вас там какой-то совершенно сумасшедший!.. Да, да!.. Его надо отправить в сумасшедший дом!.. Вы меня извините, если это ваш, например, брат или вообще... родственник, но... знаете ли... нельзя же так себя вести сумас-бродно!..

— Он устал,— счел нужным улыбнуться слегка Полезнов.— Приходят, конечно, всякие, и все одно только с их стороны любопытство... Это хоть кому надоест... А он вообще... человек расстроенный, одним словом...

— Да!.. С очень расстроенным мозгом! — горячо согласился бритый.

Девица же вставила:

— Теперь все с расшатанными мозгами...

Но бритый отозвался ей как-то даже запальчиво:

— Квартира три!.. Пройдитесь, полюбопытствуйте!.. Хотите с ним познакомиться? Пройдитесь!

И, задрав снова нос, обратился к Полезнову:

— А вы, позвольте узнать, вы вот сказали: «Всякие приходят из любопытства...» Вы что же, дали ему указания, что ли, с кем и как надобно обращаться?.. Как, например, вы определите, кто я такой, хотел бы я знать?

— Артист? — вопросительно сказал Полезнов. Но бритый еще выше поднял голову и ответил гордо:

— Я, я — магистр, а не артист... Магистр зоологии!

— Из немцев? — осторожно спросил Полезнов.

— По-че-му же-с это «из немцев»?.. Нет-с, я — природный русский!.. Москвич, каким и вам быть желаю!

Полезнов улыбнулся его горячности и пожал плечами:

— Мне зачем же?.. Мне это без надобности.

И они трое еще стояли в воротах чужого всем им дома и рассматривали друг друга, нельзя сказать, чтобы очень дружелюбно, когда со стороны улицы донеслись до них звуки медных труб, прохваченные морозом.

Правда, в эту зиму, когда десятки тысяч беженцев нахлынули сюда из Прибалтики и Западного края и стали заметно изменять чопорный тон петербургской жизни в сторону суетливости, шумливости и пестроты; когда очень часто с музыкой и песнями ходили команды солдат; когда часто хоронили с оркестрами убитых военных, отдавая им последние почести по букве устава,— звуки медных труб стали вполне обычны. Однако не нужно было особенно напрягать слух, чтобы решить: как-то необычно звучали трубы на Новоисаакиевской улице.

— Марсельеза?! — радостно потянулась к бритому девица, и слитки волос ее задрожали.

— Марсельеза!.. Ясно! — еще радостнее решил бритый и сдвинул вдруг шляпу на правое ухо: заблестел белый шелушащийся, лысеющий лоб.

Девица тряхнула всем своим золотом, гикнула, как годовалый стригун на лугу, когда хочет он показать прыть, топнула ногою и запела, широко открыв мелкозубый рот:

Aux armes, citoyens!
Formez vos batáillons!

Тогда, непонятно почему, бритый магистр страшно распростер руки и, захватив левой девицу, а правой Ивана Ионыча, закричал во весь голос:

— Идемте!.. Идемте скорее!

Девица нагнула голову, подобралась вся и первая побежала из ворот, за нею магистр, за ними поневоле тяжело поспешал и Полезнов, так как магистр, сгоряча должно быть, очень крепко схватил его за карман,— мог оторвать карман шубы, изволь тогда чинить (и что же это будет за шуба чиненая!).

Так он очутился в толпе, впереди которой оказались студенты, только что забастовавшие, потом рабочие тоже забастовавшего завода; оркестр же был небольшой, всего несколько труб, обрывисто гремевших в уши.

Из переулка вывернулась еще какая-то толпа, влилась в эту и сильно всех потеснила, так что Иван Ионыч оказался вплотную притиснутым к рыжей поэтессе и, будто ненарочно, прижался к ее пышному золоту щекою и левым глазом.

Так как ухо ее с пухлой мочкой, в которой никогда не носила она сережки, пришлось прямо против губ Полезнова, то он сказал ей по-отечески:

— Барышня, неподходящее это!.. Пойдемте отсюда!

— Что-о? — блеснули широко удивленные глаза.

— На тротуар выйдем... А то кабы казаки,— бормотал Полезнов.

Запах ее золотых слитков действовал на него ошеломляюще.

Она заметила это. Может быть, ей было это приятно. Она крикнула, вызывающе шевельнув полными губами:

— Вот еще невидаль: ка-зá-ки!

Магистр зоологии был впереди на шаг. Он очень забеспокоился:

— Что? Казаки?.. Где казаки?

— Нет никаких казаков! Пойте! — крикнула девица азартно и сама, тряхнув своим богатством из-под мерлушковой шапочки, запела, опережая трубы:

Ils viennent jusque dans vos bras
Egorges vos fils, vos compagnes!..

Непонятные Полезнову слова эти показались чем-то бесшабашным, шалым. Он взял ее за локоть, боясь, что она как-нибудь продвинется вперед, к трубам, а он не поспеет, не продерется через толпу и ее упустит. Но музыка вдруг оборвалась и пение тоже.

Полезнов поднялся на носки, чтобы разглядеть что-нибудь впереди, и, когда разглядел горбоносую рыжую лошадиную голову, упрекнул девицу растерянно:

— Говорил я вам, что каза́ки!.. Разве же могут скопление такое дозволить? Эх! — И он уже спасительно потащил ее за руку на тротуар.

— Куда вы? Куда меня тащите! — закричала девица, вырываясь.

— Это не казаки! — кричал и магистр спереди.— Это конная полиция!

— А не один ли черт?

— Совсем не один!

Тут много голосов раздалось кругом, и какой-то рабочий, пожилой, морщинистый, в зло нахлобученной шапке, продираясь вперед, толкнул их всех троих одного за другим. Он рылся в толпе, как крот. Он кричал при этом (голос у него был низкий, хриплый):

— Ссаживай их!.. Ссаживай, не бойсь!.. Хватай за ноги!.. За ноги!

А спереди слышно было пронзительно-длинное:

— ...И-и-ись!

Должно быть, околоточный командовал: «Разойдись!» или: «Расходись!»

И другие еще стремились за рабочим в шапке... Бросали на ходу:

— Студенты там впереди!.. Куда они к черту годятся!.. Интеллигенты!.. Они еще драла дадут!.. Держись смелей!

Иван Ионыч оглянулся кругом, как бы выбраться на тротуар, чтобы пробиться в какой-нибудь двор. Ему казалось, что сейчас засвистят по толпе пули, а при чем он здесь? Но кругом было непробиваемо густо, и уж дышать становилось трудно от тесноты. Он спросил магистра сердито:

— Чего же это народ хочет?

— Вот тебе на! — Магистр поглядел на него с презрением и добавил: — Хлеба хочет!

Рыжеволосая тоже нахмурила на него чуть заснеженные (золото с серебром) брови и шевельнула губами не менее презрительно:

— А войны не хочет! Поняли?

— Коротко̀ и ясно! — буркнул Полезнов.— А что хлеб везли, это мне хорошо известно... Только морозы

вот... Так что у тысячи паровозов трубы полопались, вот как было дело!

Но тут он увидел, как продиравшийся мимо вперед сутуловатый, с сажей на крыльях носа молодой рабочий очень близко и очень тяжело на него глянул белыми с черными точками глазами. Он ничего не сказал ему, только глянул пристально, и Полезнов понял, что ни полиция, ни даже казаки таких не испугают.

А когда опять донеслось пронзительное: «И-и-сь!», то сразу закричали все вокруг, и трудно было разобрать, что именно. Потом вдруг попятились (и он вместе со всеми), но тут же почему-то опять подались вперед. И так было не один раз.

У Полезнова была старая привычка: в толпе держать руки в карманах. Так он стоял и здесь, все время стараясь нащупывать пальцами карманы пиджака и брюк.

Но вот кто-то крикнул впереди:

— Пулеметы!

— Пу-ле-ме-ты! — изо всех сил закричал назад Полезнов.

И он уже повернулся, чтобы бежать вместе со всеми: ему казалось, что после такого страшного слова остается всем только одно — бежать.

Но никто не побежал почему-то. Даже как будто стали напирать гуще... Рыжая девица даже смеялась чему-то, а бритый магистр, обернувшись, весело кричал ему:

— Ерунда, Лев Львович!.. Не впадайте в панику!.. Наша берет!

Однако тут же все сильно начали пятиться. Закричали спереди:

— Казаки!.. С пиками!..

— Ну вот!.. Не говорил я? — И Полезнов сильно потянул назад за руку поэтессу.

— Да какого вам черта нужно, послушайте! — обиделась та и тут же чуть на него не упала: нажали спереди, а когда оглянулся Иван Ионыч, оказалось, что видны были уж не лица, а затылки, и значительно стало свободнее. И вдруг золото волос рыжухи и шляпа магистра мелькнули мимо него и очутились уже сзади... Полезнов втянул голову в плечи, насколько смог, и кинулся за ними.

Он кинулся с большой силой, так что едва не сшиб с ног двух-трех подростков. Кто-то из них обругал его «боровом». От бега и сутолоки распустилась, он заметил, тугая коса девицы, и плескался перед его глазами конец ее золотой рыбкой.

Когда на дворе какого-то обшарпанного дома очутились они все трое — он, магистр и поэтесса,— переглянулись они дружелюбно, и вдруг и зоолог и рыжуха расхохотались почему-то так весело, что даже он зачмыхал носом и довольно покрутил головой.

— Совсем революция! — сказал он.

— Де-мон-стра-ция, господин Львов! — похлопал его по плечу зоолог.— Пока еще только демонстрация, а ре-во-лю-ция будет своим чередом... Она не задолжится!

— Будет?.. Неужто как в девятьсот пятом? — несколько даже испуганно поглядел не на него Полезнов, а на рыжеволосую, подкалывавшую в это время косу: ей он все-таки больше верил.

— Нет, не как в девятьсот пятом, а го-раз-до лучше! — успокоила та.

— Значит, опять имения будут громить?

— А у вас что? Имение?.. Вы — помещик?

— Ну вот, какое там имение, что вы! — усмехнулся он: он действительно повеселел как-то оттого, что не успел стать помещиком, что был, и не очень давно, случай купить, небольшое правда, имение недалеко от Бологого и не так дорого, но он все-таки удержался, не купил,— оказалось, хорошо сделал.

Во двор между тем порядочно набилось народу, и из ближней кучки какой-то тощий и высокий, но довольно легко одетый кричал сипло:

— А я вам говорю, что они заранее приготовились!.. На Невском везде патрули, я сам видел!.. И казачьи пикеты!..

Тут он жестоко закашлялся, согнувшись и двигая спиной, так что Полезнов сказал сожалея:

— Таким бы дома надо сидеть, а не по холоду с другими ходить!..

Но длинная спина кашлявшего напомнила ему тоже длинного и худого князя Абашидзе, и он спросил зоолога с беспокойством:

— А как же с войной в подобном случае, если и в самом деле революция будет?

— К черту войну!.. Долой войну! — ответил тот очень решительно.— Навоевались!.. Довольно!.. Вы согласны с этим, Лев Львович?

Полезнов решил обидеться.

— Дался вам какой-то Лев Львович! Меня Иван Ионычем зовут, если вам желается знать, а совсем не Лев Львович!

— Неужто не Лев Львович! — весело шутил бритый, а рыжуха все возилась с тяжелым слитком волос и смотрела куда-то в сторону.

Полезнов обиделся и на него и на нее тоже и, вдруг повернувшись решительно, пошел к воротам.

Улица была уже чиста; народ толпился только на тротуарах. Трое или четверо конных полицейских медленно передвигались около самых тумб и кричали:

— Про-хо-дите, вам сказано!.. Про-хо-ди-и та-ам!

Иван Ионыч взял направление на Невский и пошел, выставив вперед правое плечо, как он всегда ходил в толпе, которую нужно было буравить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда он дотолкался, наконец, до Невского, то возле остановки трамвая думал дождаться вагона на Знаменскую площадь, чтобы заехать к полковнику Абашидзе спросить, когда можно будет получить в интендантстве деньги (приходилось что-то более двадцати семи тысяч), но вагона все не было. Да и обратно не шли вагоны: рельсы трамвая блестели пустынно. Это было бы само по себе с непривычки жутко, пожалуй, если бы не огромная толпа около.

Но вот подъехал городовой на крупной серой лошади. Шапка с медной бляхой заиндевела. Уздечку он держал левой рукой, а в правой, в теплой белой варежке, зажал ременную нагайку. Был он мясист и лилово-красен. Крикнул хрипло:

— По случáю порчи вагонов не будет ходить!..

— Что? Забастовка! — крикнуло несколько голосов ответно около Полезнова.

— Ка-ак это забастовка?.. Я вам говорю: по случáю порчи!.. Ррасходи-ись!

— Мало ли что ты скажешь!.. Тоже: «я говорю!..» Фараон чертов!.. Сельдь!..

Полезнов видел кругом лица то насмешливые, то сумрачные, то очень яростные... Подъехал казачий патруль — шесть всадников по три в ряд... Тут Иван Ионыч в первый раз в жизни внимательно присмотрелся к колыхавшимся за спинами казаков геройским пикам, но сами казаки оказались молодой и хлипкий народ. Мелкие лошадки их тоже не понравились Полезнову. Однако он решил про себя: «Если трамвая не будет, нечего и стоять...» Разнообразно ворочая правым плечом, которое считал надежнее левого, он выбрался из этой толпы, но, немного пройдя по тротуару, попал во вторую, а едва пробился через нее — в третью... Извозчиков же нигде не было видно.

Какого-то встречного черноусого капитана он спросил:

— Неужто извозчики тоже забастовали?

Тот оглядел его небрежно и буркнул:

— Очевидно.

— Какой же им, однако, расчет? — хотел он узнать у капитана, но тот шевельнул только бровями и прошел поспешно, точно опасаясь, как бы не задал он ему вопроса насчет того, что это такое вообще происходит и к чему может привести.

Именно это и хотел спросить Полезнов. Он считал, что, работая на армию, он только офицерам мог поверить, как своим, а не какому-то бритому магистру в шляпе.

Часто слышал он кругом чужую, колкую речь беженцев — это его заставляло усерднее искать глазами военных.

Обычно их бывало много — не меньше половины уличной толпы, и раньше не то что выделялись они, они давили собою штатских: просто из-за них невзрачными, ненужными, лишними какими-то казались штатские. Несмотря на плохие дела на фронте, они шли молодцевато, выпятив груди, очень часто поблескивая крестами, даже и белыми на георгиевской ленте. Теперь они как будто сами хотели теснее перемешаться с невоенными, глядели проще и держались сутулее.

Квартала за два до Аничкова моста Полезнов хотел было свернуть в боковую улицу, чтобы обойти Невский стороной, однако те же густые толпы и те же казачьи патрули были и здесь.

Своих часов он не хотел доставать на улице, но в окне одного часового магазина под крупной надписью «Самое верное время» он рассмотрел синие стрелки часов, подходившие к двенадцати. Он очень удивился, что за такой короткий промежуток времени — с девяти, когда он вышел из номера гостиницы, и до двенадцати — так изменился вид Невского.

К молодому прапорщику, стоявшему у магазина, обратился он вполголоса:

— Этак, пожалуй, доведет народ до того, что войска стрелять по нем станут, а?

Прапорщик — он был очень тонок в поясе и желт лицом, может быть только что выпущен из лазарета,— поглядел на него подозрительно, как-то чуть перебрал синими губами, чтобы ответить, но ничего не сказал — отвернулся. Это даже не то чтоб обидело, это испугало Полезнова. Для него как-то само собой стало ясно, что надо спешить выбраться не только отсюда, с Невского, но вообще из Петрограда, к жене и малышам в Бологое, что полковника Абашидзе он может и не застать дома (а он только квартировал на Знаменской), что добраться теперь до интендантства еще труднее, чем до квартиры Абашидзе, что теперь вообще нужно думать не о делах — никто здесь, в бесчисленных толпах на улицах, явно о делах не думал,— а о том, как бы самому уцелеть.

Очень упорно и очень отчетливо он думал: «Я не бобыль какой-нибудь, которому все равно... У меня — жена, дети... Раз тут такое что-то заварилось, мне надо дома сидеть...» И когда он выбрался, наконец, к Знаменской площади, он стал спокойнее. Тут было куда свободней. Но что особенно поразило его здесь — это кучка гимназистов-малышей, не старше двенадцати, с хохотом бросавших снежками в памятник Александру III.

После этого показалось ему, что и вокзал должен быть закрыт и что поезда должны застыть здесь на рельсах, как где-то в парке застыли вагоны трамвая. И очень удивило его, что дверь вокзала перед ним отворилась, что вокзал, как всегда, был полон пассажиров, что носильщик — бляха № 168,— к которому обратился он с коротким вокзальным вопросом: «Поезд на Москву?», ответил ему на ходу так же коротко: «В час дня».

Тут, стало быть, ничего не изменилось: в час дня поезд отходил ежедневно.

Кассир из окошечка подал ему билет, как всегда (он нарочно взял билет второго класса); швейцар в дверях пропустил его на перрон.

Тут еще был старый, привычный порядок, и, садясь в свой вагон, Полезнов подумал даже, не слишком ли он поспешил.

В уюте мягкого купе очень ярко представлялась ему недавняя девица со слитками червонного золота из-под мерлушки (он иначе никак бы и не мог назвать такие волосы — слитки). Рядом с нею такой невзрачной казалась теперь (именно теперь, в вагоне, когда вот-вот тронется и повезет к ней поезд) его жена, ни к чему располневшая за годы войны. Белесые волосы ее, он знал, были жидкие, и раньше, начиная чесать их, она плакала, так много их оставалось на гребешке, плакала и швыряла гребешок на пол. Теперь на полных плечах облезлая голова ее казалась маленькой и, если не присмотреться, чужой. Впрочем, по праздникам, когда ходила в церковь или в гости, жена пришпиливала к своим косичкам покупную косу...

В купе вошел последним старый отставной генерал. Что он был отставной, Полезнов видел и по его погонам, и по светлому драпу его шинели, и по тому, как был он заботливо укутан вытертым башлыком. И, чуть он расположился, к нему, единственному в купе военному, обратился уже не Полезнов, а какой-то оторопелого вида пассажир, высовывая из старого поднятого скунсового воротника синий, или скорее, лиловый нос.

— А каковы события в Петрограде, генерал, а?

Генерал несколько раз похлопал слезящимися веками, дрожащими пальцами снял с верхних ресниц по ледяшке, точно не надеясь, что они на нем растают сами собою, и, когда проделал это, отозвался недовольно и строго:

— Че-пу-ха!.. Гм... События, события... Че-пу-ха!

Поезд тронулся, за окном постепенно становилось все светлее, светлее, наконец стало совсем светло и бело, так что старенький генерал мог смотреть на этого, с лиловым носом, да и на всех других, выражавших беспокойство, как одержавший победу: эти светлые, тихие снежные поля были решительно вне всяких событий, и поезд по ним шел, как всегда.

В купе, правда, долго говорили о том, удастся ли, или не удастся правительству решить хлебный вопрос, и можно ли действительно пить чай с сахарной соской, как предписывал министр князь Шаховской; и о том, изменилось ли что-нибудь к лучшему после смерти Распутина; и о том еще, как на Каменноостровском, к дворцу балерины Кшесинской, подошли военные подводы и выгружали солдаты балерине на виду у всех каменный уголь, а в учреждениях нечем топить, и толпа хотела выбить во дворце стекла... и о многом еще.

Говорили две дамы и этот, с лиловым носом; генерал молчал. Он только недовольно чмыхал и часто сморкался. Он был явно простужен. Но вдруг красные глаза его усиленно заморгали, он повел спиной и плечами, чтобы чувствовать себя просторнее, и сказал расстановисто и неожиданно громко:

— В тысяча восемьсот сорок восьмом году... Бисмарк... в Берлине... пуб-лично... заявил... что все большие города надо снести... да!.. смести с лица земли... да!.. как очаги революции!..

Сказал, оглядел всех победно и добавил:

— А Бис-марк... это был вели-чайший ум!..

Так как в руке генерала был в это время платок, то он поднял его на высоту кисточек башлыка и, только продержав его так с четверть минуты, начал сморкаться.

Платок у него был большого формата и, как успел разглядеть Полезнов, из голландского полотна. Генерал вытаскивал из него, скомканного, кончики и снова их прятал: это нужно было ему, чтобы молчать презрительно, когда тот, с лиловым носом, длинно начал доказывать ему, что именно за Бисмарка-то немцы вот теперь и платятся очень дорого и, чем дальше, тем дороже обойдется им Бисмарк.

— И вы увидите, генерал, немцы о-кон-чательно сойдут на нет! — закончил он горячо и ради этого выставил из черного скунса еще и бородку голубиного цвета.

— Нет! — твердо сказал генерал и вздернул рыжий башлык.

— Вы увидите, что в конце концов исчезнут они как великая держава!

— Нет! — еще упрямее повторил генерал и отвернулся к окну, а Полезнов подумал о нем: «Явный сам немец!»

Генерал на третьей станции вышел, потом скоро вышли и обе дамы, а новые пассажиры говорили все о том же: что начинается в Петрограде что-то серьезное, чего в сущности все давно уже ждали; что воевать с немцами мы не можем, что заключить мир с немцами мы тоже не можем; что таких министров, как Протопопов, терпеть нельзя, что немку-царицу терпеть нельзя, что такого ничтожного царя такая великая страна, как Россия, ни в коем случае терпеть не может.

Полезнова удивляло, что говорилось все это здесь, в купе второго класса, что говорили это люди хорошо одетые. Сам он только внимательно слушал и упорно глядел в окно.

Бологовский вокзал — огромное здание — был весь в огнях, когда подъехал поезд. Толчея на нем была, как всегда. Носильщики, буфетчики, официанты — все были знакомые и на своих местах.

— Тит,— спросил он извозчика, тоже хорошо знакомого,— ну, как тут у нас, спокойно?

Оправлявший дерюгу на крашеных розвальнях старый Тит даже не понял Полезнова; он все икал и приговаривал:

— Накормила баба груздочками, пропади они пропадом!

К даче ехал он не слободою, а прямиком через озеро, так было втрое ближе. Чтобы говорить с ним о чем-нибудь, говорил Иван Ионыч отдаленно:

— Зря я, кажется, жену свою побеспокою...

На что отзывался Тит, также проявляя работу ума:

— Ничего, что ж... Жена, она... всегда она должна перед мужем...

Дом уже спал, только вверху, в столовой, было видно из-за штор, как будто светилось, да внизу, на кухне, горел огонь. По тому, как около крыльца снег чернел и дымился, Полезнов догадался, что кухарка Федосья только что выплеснула сюда теплые ополоски.

Он даже ворчнул хозяйственно, платя старику почтовыми марками:

— Сколько разов говорил дуре бабе, чтобы около парадного не навозила, нет, она, стерва, все свое!.. Сюда ей, видишь ли, на три шага ближе, чем к помойной яме!

Потом он отворил дверь, запер ее изнутри, поднялся на второй этаж по лестнице, светя иногда зажигалкой, и, когда вошел в столовую, не сразу сообразил, что такое было перед глазами, потому что племянник его Сенька — малый лет двадцати трех, сильно хромой, почему и не взятый на службу, помогавший ему закупать овес и с год уже живший у него в доме,— в одной красной рубашке распояской (очень жарко была натоплена кафельная печь), кинулся от дивана мимо него в дверь на лестницу, а на диване распласталась его жена, торопливо прятавшая толстую грудь, выбившуюся из расстегнутой голубой блузки.

— Тты, хло-по-ногий! — вне себя заорал Иван Ионыч.

Он заорал так на Сеньку, который еще стучал по лестнице, заорал от испуга. Так вскрикивают от удара ножом. Он даже не кинулся за Сенькой — так было непостижимо и неожиданно то, что он увидел. Почему-то дотянулся рукой до шапки и снял ее совершенно машинально, не различая, где бобер, где свои, совсем неживые волосы, стриженные под бобра. Он поверил тому, что увидел, только тогда, когда жена его поднялась с дивана белая и страшная.

На столе стоял графинчик с розовой наливкой,— это пришлось сбоку глаз и долго добиралось до сознания,— наливка, должно быть, из малины, два недопитых стакана, и желтая, крупная моченая антоновка на тарелке.

Он видел, что жена подняла вровень с лицом руки для защиты от его побоев, а он весь обмяк и ослабел от своего крика, и очень дергалось сердце несообразно. Он даже допятился до стула и сел: в первый раз в жизни случилась с ним такая непонятная слабость. И на жену, чтобы уберечь себя от слабости еще большей, старался не глядеть: глядел на бахромки суровой с красными полосками скатерти на столе, стянутой на один бок. Однако заметил — это все с первого взгляда,— что жена завила свои прямые и редкие беломочальные волосы, теперь очень растрепанные.

Голубой блузки она застегнуть не успела. Когда он сел, она опустила руки и проворно окуталась белым вязаным платком, подхватив его с дивана.

Так как молчать ей теперь было тяжко, она заговорила вдруг:

— Не сломал бы Сенька ног там... в темноте-те... Куда это он шаркнул так?..

Поглядела в незахлопнутую дверь, прислушалась и закрыла ее...

Это несколько озадачило Ивана Ионыча: он думал, она кинется вслед за Сенькой. Но она подошла к нему, стала на колени и сказала тихо:

— Ударь уж, ударь, чего же ты!

И вытянула к нему одутловатое, с пятнами на щеках, несколько по-бабьи пьяное, ненавистное для него теперь лицо.

— Мер-зав-ка! — так же тихо сказал Полезнов, не поднимая своих глаз до ее глаз.

— Ударь уж, ударь, ну-у! — просила женщина.

Тогда он надел шапку, чтобы освободить руку, и, сидя, ударил ее по скуле.

Она слабо ойкнула, но не подалась в сторону. Двадцатишестилетние колени ее были прочные, это он знал. Она стояла как влитая.

Это рассердило Ивана Ионыча. Он схватил ее за косу левой рукой, а правой начал ее колотить по плечам, по гулкой спине, все ниже нагибая ей голову.

Однако в шубе это тяжело было делать. Он толкнул ее ногой в грудь, и она упала сначала навзничь, потом легла ничком и всхлипывала негромко, закусив зубами руку: должно быть, не хотела будить детей криком. Она лежала на некрашеном чистом полу противной тяжелой грудой.

— Ух, свинья супоросая! — прохрипел Иван Ионыч, взял со стола лампу, перешагнул брезгливо через раскинутые толстые и в толстых, домашней вязки чулках ноги жены и пошел в спальню.

Там он снял с себя только шубу и ботинки с калошами и лег в постель в пиджаке, точно ехал в вагоне, и, как в вагоне же, не потушил света.

Он слышал, как жена выходила из столовой и прошла на лестницу, конечно, затем, чтобы убедиться, удалось ли Сеньке бежать, не лежит ли он на лестнице, совсем обезноженный. В спальню она вошла только со следами слез на лице, но с виду спокойная.

— К Сеньке! К Сеньке иди! — крикнул он, хотя и не в полный голос, а она ответила, вешая платок:

— На кой мне черт Сенька!.. Баловались мы, как родные, а ты и в самом деле подумал...

— И ты мне тоже!.. Ты тоже мне на кой черт!

— Пригожусь еще, погоди,— отозвалась она спокойно и принялась снимать блузку.

Тогда, вскочив яростно, он повалил ее на пол и начал бить кулаками, стараясь выбирать места побольнее. Она извивалась и голосила хитро, по-звериному. Наконец, после особенно тяжелого удара охнула, поднялась быстро, отпихнула его и крикнула:

— Ты что же, злодей, на каторгу за меня идти хочешь?

Тогда он повернулся, снял пиджак, бросил его на пол и снова лег в постель, с головой укрывшись одеялом. Он лег к стене, как всегда; она, как всегда, легла рядом. Он слышал, как она всхлипывала в подушку и как вздрагивала ее спина. Так тянулось долго, пока он не забылся. Это был не сон: ему казалось, что все он чувствует и сознает, однако когда он открыл глаза, то увидел прежде всего, что за окном уже светлело небо, а жена его с ночником стоит около зеркала и пудрит синий отек под левым глазом. Теплый платок, накинутый косо на плечи, при каждом ее движении волочился по полу одним концом.

Когда он кашлянул, она обернулась и сказала злобно:

— Как теперь людям показаться! Эх, зверюга!

А он закрыл глаза и почему-то представил того льва, который положил ему на плечи лапы и глядел страшно.

Не открывая глаз, он сказал ей:

— Не изуродовать, а убить тебя надо... Ты Сеньки постарше, и он — дурак и калека...

— Убивай! — крикнула она вдруг по-вчерашнему.— Убивай!.. Что я, жить, что ли, хочу така-ая? Доканчивай, зверь!

И бросила пудреницу на кровать, но тут же выскочила из спальни, захватив ночничок.

Нянька с детьми, он знал, просыпалась рано, но не хотелось слышать голосов детей и никого не хотелось видеть. Теперь они — четверо маленьких, белоголовых — смешались в нем в какую-то липкую неразборчивую кашу, и уж самому казалось странным, как это он хотел их вчера обрадовать, привезти к ним в клетке живого ручного льва!

Долго ворочался в неловкости и с тяжестью в голове на широкой кровати и все попадал руками в пудреницу, пока не сбросил ее на пол, а когда рассвело, оделся.

Нянька была здешняя, бологовская, пожилая. Она встретилась ему в коридоре с двумя белыми горшками в руках и пропела, шарахнувшись:

— С добрым вас утречком!.. С приездом!..

А он смотрел ей через плечо и думал уверенно: «Знает про Сеньку, знает!.. И кухарка небось тоже знает...»

Внизу, на кухне, он спросил у Федосьи:

— А где Семен?..

— Уехамши,— ответила та поспешно

— Куда уехамши?

— Да все по делу, должно, неужели же без дела?.. Он еще ночью уехал...

— Та-ак... А ты... ты ничего не слыхала?

— Это насчет чего же?

И она, старая, подобрала космы волос под платок, черный с белым горошком, и выставила востроносое лицо.

— Народ у нас тут как? Не бунтует?

— Боже сбави! — а сама впилась в него, он видел, ожидающим взглядом.

Тогда он крикнул ей свирепо:

— Куда ополоски выливать надо, знаешь?.. Помойная яма на то есть, а не так, чтобы на улицу!.. Весь подъезд загваздала, деревня!..

Однако Федосья не стала оправдываться, как он думал. Она повернулась и пошла от него, а шага через три сама крикнула, обернувшись:

— А нехороша стала — рассчитай!.. Ишь ты, загваздала!.. Рассчитай, когда такое дело!

Иван Ионыч постоял на крыльце; посмотрел, как ровно и высоко в морозное тихое небо ввинтились повсюду над домами и домишками слободы синие и розовые дымы; разглядел на озере, в стороне от дороги, чистую полоску устроенного здешними ребятами катка; проследил, как летела со слободы на вокзал кормиться на перегрузке зерна голубиная стая; услышал свисток подходящего из Рыбинска поезда и твердо подумал: «Поеду опять в Петроград... Поеду с одиннадцатичасовым».

И в то же время он очень старательно затоптал около крыльца все черные и рыжие пятна от помоев.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В Бологом был у Полезнова подручный по скупке овса — Бесстыжев Кузьма Лукич. Он жил не так далеко, на слободе, и Полезнов был уверен, что именно у него теперь прячется Сенька. Обыкновенно, когда приезжал домой Иван Ионыч, он посылал за Бесстыжевым поговорить о делах, теперь же пошел к нему сам, удивляясь тому, как могут бологовчане жить в таких диких сугробах снега, вышиною чуть не до конька изб... Шел и представлял, как он накроет у Бесстыжева Сеньку, изобьет и отправит на станцию, чтобы ехал домой, в костромскую деревню.

Даже лица Сеньки, какое оно было тогда, не мог как следует припомнить Полезнов: помнил только встрепанный хохол, круглые твердые ноздри и очень вздутую верхнюю губу. Верхняя губа у него всегда была шлепанец, теперь же показалась непомерно вздутой. «Красавец!» — яростно думал о Сеньке Полезнов, то и дело проваливаясь в сугробы, еще не примятые бологовчанами.

Бесстыжева он застал на внутреннем, во дворе, крылечке: только что встал он и умывался из железного корца ледяной водой. Знаменитая на весь Валдайский уезд бурая длиннейшая борода его была засунута за жилетку. По толстой шее и бычьему лысому затылку он похлопывал корявой мокрой рукой и тер уши, отчего они кроваво горели. Полезнов понял, что вчера был он пьян, и, не дав ему приготовиться, спросил с подхода:

— Сенька у тебя?.. Мой Сенька у тебя?

Бесстыжев выкруглил мокрые глаза. Он был явно изумлен и приходом ранним хозяина и его вопросом.

— Сенька?.. Это какой такой Сенька? — бормотал он, и мимо него прошел Иван Ионыч на кухню, оттуда в горницу; Сеньки не было, только перепугалась жена бородача, у которой по странной игре случая к старости тоже начали потихоньку расти на губе и подбородке хотя и редкие, но жесткие уже волосы. Она собралась было ставить самовар, но Иван Ионыч отказался от чая. Тогда Бесстыжев понимающе подмигнул и торжественно поставил на стол по-домашнему запечатанную сургучом бутылку.

Выпив одну за другой две серебряных стопочки крепкого самогону и сосредоточенно глядя на горбатый и

прижатый внизу странный нос Бесстыжева, рассказывал о себе Иван Ионыч:

— Нас было три брата, и все три были мы Ваньки... А как это произойти могло, тоже целая своя история. Первый мальчишка родился у матери, известно уж, должен он быть Ванька... Какое же может быть семейство, ежели оно русское, и чтобы без Ваньки? Никакой крепости в нем не будет... Вот хорошо... Год уж ему был, заболел мальчишка. Призвала мать бабку-знахарку, а сама уж опять на сносях, вот-вот родит... Посмотрела та бабка мальчишку со всех сторон; «Нет, говорит, золотая, должна правду тебе сказать, и не надейся... Этот, говорит, стоять не будет... По его по душке по ангельской на небе тоскуют...» Ну, уж раз на небе затосковали, что поделаешь? Мать, конечно, сама в тоску впала и в тот день родила... Опять мальчишка вышел... Отцу моему, стало быть, приказ: «Окрести, и чтоб беспременно Ваняткой, как первенький не сегодня-завтра помереть должен...» Вот приносят отец с кумой из церкви второго Ваньку. И неделя прошла, и две проходят... Ждут-пождут, когда же первый Ванька помрет, а тот, между прочим, об этом и думать забыл.

— Ожил? — хлопнул себя по колену Бесстыжев (а на колене разглаживал он бороду и разбирал ее пальцами).

— Разумеется... И вот, стало быть, растут они — двое Ванек... Пока по избе ползали — ничего, а начали на улицу убегать, как их кликать?.. Одного кличет мать, оба бегут, а то ни один не бежит: кто его знает, какого надо... Спасибо, один, старший,— тот пузыри из мыла любил пускать, через соломинку, разумеется... От мыла его, бывало, не оторвешь... Прозвали его за то Мыльник. А другой шилом котенка в скорости исколол. Этому прозвание стало Шильник... А меня уж, как я гораздо их обоих моложе, впоследствии времени Малюткой прозвали... Почему же я имя имею Иван? Опять это целая история... Река у нас в половодье разливается широко: леса кругом... Деревня же наша была не из больших, средняя, а церковь помещик построил, а сам прогорел, застрелился... Значит, Мыльник с Шильником забежали по реке далеко, по льду колдашами шар гоняли, а дело к вечеру было, и вдруг река наша вскрылась... Их, ребят, на льдине обоих и понесло... Даже это

уж потом стало известно, что понесло, а сразу и дознаться нельзя было... Видел их кто-то там на речке, на льду, и без вниманья... А тут отца как раз на грех дома не было, а мать опять на сносях. Ходила мать вдоль берега, ходила, орала-орала, пока темно стало,— никого!.. Никаких тебе Ваняток!.. С тем и домой пришла: залило их водой... Под утро раньше времени родила, и опять мальчишку: это уж я был. Тут и отец явился... Окрестил опять Иваном, а об тех двух какой же мог быть разговор? Залились, и все... Полая вода сойдет, дескать, может найдутся их бедные косточки... И вот две и даже три недели прошло, грязь везде стоит, топь,— куда искать кинуться?.. Однако кому не пропасть, тот, должно, и на германском фронте не пропадает... В конце месяца привозит их обоих на лодке лесник. За тринадцать их верст унесло и как раз, почитай, к лесникову амбару прибило. Так они, Шильник с Мыльником, и пробарствовали у лесника того, почитай, месяц... Таким образом стало нас три Ивана Полезнова... А Шильник — это был хлопоногого Сеньки отец, который теперь уже умер от муравьища... Ревматизм у него был,— по нашим сырым местам у редкого не бывает,— приготовили ему бабы муравьище... Это же — ты, конечно, знать должен — сгребут бабы муравьиную кучу в лукошко, приволокут домой безбоязненно, да в кипяток. Получается тогда муравьиный спирт, каким ноги лечат. Может быть, кому польза бывает, а тут получилась смерть... В большую кадку ведер на тридцать, в которой капусту квасили, высыпали бабы муравьище да корчагу целую кипятку туда... Садись, старик, принимай ванну ножную! А сами, разумеется, из избы ушли. Старик разделся, на табуретку стал около кадушки и голову туда свесил, смотрит, чтобы вода поостыла, а спирт муравьиный ему в голову вдарил, он, значит, как нагнувшись стоял, так и бултых в кадку вниз головой. В одну минуту в кипятке сварился... Так уж бабы после сами себе объяснили, как дело вышло, а в то время ни одна стерва и в окно не глянула, что там старик делает... Разошлись себе по хозяйству... Спустя время являются, а над кадушкой только ноги торчат... Вот она, темнота-то... Так и пропал человек... Вот почему я к себе его Сеньку взял... Из жалости его, мерзавца, взял!.. Известно, стоит тебе к старости состояние приобресть, хоть бы

об себе ты целый век знал, что бобыль ты чистый,— вре-ешь! Племяннички у тебя разыщутся и тебя найдут!

— Деньги, что ли, украл? — спросил лупоглазый Бесстыжев.

— Кто?.. Сенька?

— Да Сенька же, а то кто же?.. О Сеньке же ты говоришь?

Полезнов внимательно поглядел ему в глаза, побродил взглядом по крутому лысоватому лбу, увидел, что он ничего еще пока про жену его не знает, и протянул неопределенно:

— Дда-а... вообще мерзавец... И, в частности, тоже подлец...

А чтобы покруче свернуть с этого вопроса в сторону, добавил:

— Сердит очень против царя народ,— я про Питер, конечно, говорю... Очень языки у всех поразвязались...

— Ну? — как будто удивился Бесстыжев, пришлепнув бороду на колене.

Заметив это, Полезнов стукнул кулаком об стол, сделал страшные глаза и заговорил вдруг громко и обиженно:

— А в самом деле, ежели разобрать по частям, от кого мы все терпим?.. От него одного мы все терпим!.. Сколько мильонов народу от олуха от одного!.. Ты в японскую войну не служил?.. Нет?.. Признаться, и мне не пришлось, а другие пошли... Кто не вернулся, а кто калекой пришел... «Голые, говорят, мы против японцев вышли!..» Не тот же ли черт теперь выходит?.. Раз ты не можешь управлять царством — уйди к черту! Вот!.. Уйди,— мы без тебя, дурака убогого, обойдемся!.. Уйди!..

И еще раз ударил он по столу, а Бесстыжев, как будто от испуга, поспешно убрал свою бороду за борт пиджака и спросил тихо:

— Это ты, Иван Ионыч, про кого же так?

— Про кого?.. Все про него же... Я уж наслушался и в Питере и в вагоне, что про него говорят... Это ты здесь сидишь, не слышишь...

С полминуты они глядели друг на друга неотрывно: один зло, другой испуганно, наконец спросил Полезнов:

— Сколько овса к первому ссыпем?

— Овса-то? — не сразу отозвался Бесстыжев.

Он положил одну ногу на другую, погладил колено,

снял его, переменил ногу, погладил другое колено, снял.. Жены его не было в горнице — они сидели за столом только вдвоем с Полезновым.

— Я у тебя про овес спрашиваю! — напомнил Полезнов.

— Про овес-то?

Бесстыжев наклонил голову и задумался, точно подсчитывая в уме мешки и пуды. Это тянулось так долго, что Иван Ионыч прикрикнул наконец:

— Дурака ты, что ли, из себя корчишь, или что?.. Ты получил на овес деньги?

— На овес-то?

И Бесстыжев спокойно повернул к нему голову, поднял ее, напыжился и ответил расстановисто:

— Да раз если ты об царе нашем такие слова смеешь говорить, какой же тебе тогда овес? Тебе тогда острог, а не овес!..

— Что-о?

— Тебе тогда отседа бежать надо, покамест полиция не схватила!

Бесстыжев поднялся и стал, прочно поставив ноги в подбитых толстых валенках.

— По-ли-ци-я! — пренебрежительно вытянул Полезнов, но, покачав головой, добавил: — А хотя бы полиция, кто же ей на меня донесет, полиции?

— Как это «кто донесет»?.. Вот мне же ты говорил это, я, стало быть, должен и донести уряднику — вот какое дело!.. О-очень это серьезное дело, а не то чтобы шутки!

Бесстыжев и говорил это серьезно. Он еще глубже запрятал свою бороду и застегнул над нею верхнюю пуговицу пиджака.

— Т-ты... с урядником?! — запальчиво крикнул Полезнов, поднимаясь.— Угрожать вздумал?.. Ты мне... не насчет урядника, а насчет овса говори, понял?

— На-счет ов-са?.. Что я тебе насчет овса могу? Ну?

Бесстыжев напружинился сразу и стал по-бычьи

— Я тебе двенадцать тысяч дал? — понизил голос Полезнов.

— Ког-да это да-ал? — удивленно вытянул Бесстыжев.

— Та-ак! — вытянул и Полезнов и тихо присвистнул.

— Не свисти у меня в горнице, невежа,— у меня иконы висят! — прикрикнул Бесстыжев и сжал кулаки.

Полезнов хотел было кинуться на бородача, чтобы смять его сразу, хотя он знал, что в прошлом Бесстыжев — теперь его однолеток — был не в одном только Бологом известен как кулачный боец и что так же вот, как теперь, прятал он перед боем свою бурую бороду за борт пиджака, и нос ему изуродовали на кулачках,— но его остановил густой, хоть и негромкий, кашель за дверью, косматый кашель какого-нибудь дюжего грузчика, и вместо того чтобы кинуться драться, Полезнов повернулся к висевшей на гвозде своей шубе и начал одеваться, спеша.

— Та-ак-с! — закончил он, выходя.

— Этак-с! — с издевочкой перекрыл его Бесстыжев, провожая.

Когда Иван Ионыч шел по тем же сугробам к своему дому, он оглядывался по сторонам несколько пристукнуто, ошарашенно и даже о самогоне бесстыжевском думал: не отрава ли в нем? Студень тоже стоял где-то совсем близко, около глотки.

Встретился дурачок Митя, страдавший виттовой пляской. Обычно он протягивал к нему бесноватую руку: «Куп-пец, да-ай!» Теперь только глянул на него как-то даже и не глазами — их не было заметно,— а черным оскаленным ртом и прошел отвернувшись. Шел он широким, падающим вперед, загребающим снег шагом. Полезнов думал о нем: «Сейчас брякнется!» Но он не падал. Был он из первых солдат, брошенных на фронт в эту войну, и серела-желтела на нем шинель, снизу оборванная собаками.

Прошли мимо двое мальчишек с озера, от проруби, где успели уже наловить по кукану окуньков и подлещиков блесною, но ни один не сказал ему: «Купец, купи!», только глянули хмуро.

Он все равно не купил бы — на что ему теперь были подлещики? Но все-таки и это обидело.

Когда же он подходил к дому, нянька только что вышла гулять с двумя девочками — Катей и Лизой. Девочки были одинаково укутаны в синие вязаные платки, а нянька в серую степенную шаль — его подарок.

Почему-то испугавшись вдруг, чтобы дети с визгом, как всегда, не побежали ему навстречу, а может быть, подумав и так, что не побегут они к нему сегодня,— очень туманно было в голове,— Иван Ионыч за подняв-

шейся поземкой свернул в переулок, а оттуда выбрался на озеро и прямиком, как ехал вчера, пошел к вокзалу.

От большой ходьбы стало ему жарко в тяжелой шубе, он ее распахнул, а в толпе встречных ребят-подростков какой-то белоглазый озорно крикнул осклабясь:

— Гляди! Купец шубу вывернуть хочет!

И тюкнул. И все за ним начали тюкать разноголосо, и даже один захрюкал по-свиному... Пришлось поневоле ускорить шаг, так что на вокзал пришел он в большой испарине. Наткнувшись там на знакомого весовщика Тимофея Акимыча, он сказал ему с первого слова зло и хрипуче:

— До чего же сильно испортился народ, страсть!

И так при этом смотрел он на весовщика строго и осуждающе, что Тимофей Акимыч почесал ключом за ухом и отозвался прищурясь:

— Протух?.. По такой погоде мудреного чуть.

— Ты об чем? — зло спросил Полезнов.

— Об народе... Как он из мяса состоит, легким манером мог он испортиться...

— Однако пятнадцать градусов,— кивнул на красовавшийся тут же градусник Полезнов, но весовщик ответил загадочно:

— Зато на фронте вот уж третью зиму жара!

Катили тачки носильщики, сморкаясь в фартуки. Прошел огромный старый жандарм, лязгая шпорами по асфальту, и, увидя его, Полезнов, сам не зная почему, начал застегивать шубу.

От помощника начальника станции узнал он, что поезд на Петроград идет с опозданием на шесть часов.

ГЛАВА ПЯТАЯ

У Полезнова было, кроме Бесстыжева, еще двое подручных: один орудовал к московской стороне от Бологого, другой к рыбинской (Бесстыжев же в сторону Валдая). Обычно в каждый свой приезд домой Полезнов налаживал с ними связь. И теперь также, увидев на путях поезд, который минут через десять должен был идти на Рыбинск, он с деловой поспешностью послал носильщика за билетом до станции Максатиха.

Нужно было двигаться, чтобы не думать о жене, о Сеньке, о девочках своих, которых он видел сегодня

с нянькой, и о двух младших мальчиках, которых не видел и не хотел видеть. Когда по-деловому застучали колеса поезда, он даже чуть усмехнулся про себя, вспоминая Бесстыжева. Ему представилось, как, расчесав знаменитую на весь уезд бороду, придет Бесстыжев к нему в новой синей поддевке просить прощенья и будет сваливать все на самогон... А он не простит.

Поезд, на котором он ехал, шел бодро, как нужно, и правильно, по расписанию; это заставляло думать и о Петрограде: вошел в расписание... а не вошел сегодня, так завтра наверно войдет.

На всякий случай он спросил своего соседа в чиновничьей фуражке, читавшего как раз «Новое время»:

— Ну что там пишут насчет Петербурга?

— Пе-тер-бур-га больше на свете нет, как известно, а есть Петроград! — наставильно ответил чиновник, хотя был, должно быть, вдвое моложе Полезнова, с черными тонкими усиками, закрученными колечком. Но тут же улыбнулся добродушно и добавил:

— Демонстрации как будто были... Ничего, пустяки.

Потом присмотрелся к Полезнову очень внимательно, не переставая улыбаться, а закончил совсем неожиданно:

— Вы — исконный русский дворянин, да?.. И в гербе у вас какая-нибудь этак медвежья лапа... Так?.. Я угадал?

— Гм...— поднял брови Полезнов, удивясь угрюмо.— Что я — посконный мужик, это так, а до дворянина мне еще довольно далеко!

— Однако... надежды не теряете?.. Угу... Все-таки... да... большая прочность в лице... Этакое что-то русско-медвежье... Ничего, вы не обижайтесь...

— А львиного ничего во мне нет? — угрюмо спросил Иван Ионыч.

— Ма-ло-ва-то!.. Да... Сейчас я буду угадывать дальше.

— Очень мне это нужно! — сердито крякнул Полезнов.— Я ведь не угадываю, что вы-то за птица!

— Однако же неожиданно и вы угадали! — оживился и повеселел еще более чиновник.— Я действительно птица!.. Моя фамилия — Воробьев!..

И при этом для большей учтивости он даже привстал немного, будто рекомендуясь. Он поглядел ожидающе,

даже на правой руке отставил большой палец и разогнул ладонь, но Иван Ионыч не сказал ему своей фамилии и круто отвернулся к окну, откуда глядели сиреневые снега.

Тогда чиновник приставил палец к носу, как это делают артисты кино, когда изображают человека, близкого к блистательной догадке, и сказал вдруг таинственно:

— Я понял!.. Вы — нувориш!

— Что та-ко-е? — глянул сердито Полезнов.

— Не обижайтесь!.. Это — модное слово... Вы... как бы это сказать нежнее?.. работаете на оборону страны. Так? Я угадал?

— Конечно, работаю,— согласился Полезнов.— Я без дела не сижу, я работаю, конечно... все так же должны работать, вот!.. И вы в том числе!.. Вы в Рыбинск едете?

— Вот видите!.. Вы тоже угадали! — засиял чиновник насмешливыми, темными, как осколки черного стекла, глазами.— В Рыбинск, да, да, в Рыбинск!.. Так и создаются у нас сведения о жизни: мы должны угадывать, чтобы знать... хотя в то же время должны и что-нибудь все-таки знать, чтобы угадывать, не так ли?

На первой же станции он вышел, весело оглядев при этом Ивана Ионыча, и даже взял по-военному под козырек на прощанье.

Газету он оставил сознательно или забыл, и Полезнов долго косился на нее с неприязнью, но от скуки все-таки взял и по привычке начал просматривать объявления. И странно, как только среди огромного полотнища объявлений попалось ему хорошо знакомое «Продаются львы», это его как будто поставило на свое прежнее место. Он сказал самому себе: «Раз продаются еще, значит, не проданы...» И будто и в самом деле какой-то необыкновенный барыш мог еще он взять на этих двух львах, он потянулся довольно. Мысль о том, что объявление объявлением, а какой-нибудь Чинизелли или цирк «Модерн» мог вчера еще купить и вывезти к себе этих Жана и Жака, он отбросил решительно. И опять по-вчерашнему отчетливо, деловыми словами подумал: «За две красных тысячи купить, за четыре красных тысячи продать...»

Когда вылез Полезнов на своей станции, то спросил у истопника, когда пойдет встречный на Псков, чтобы ни в коем случае не опоздать к петроградскому. Оказа-

лось, что складывалось это удачно: через три четверти часа ожидался поезд на Псков. И уж полнейшей удачей показалось Полезнову: тот, к кому он ехал, белобрысый (и ресницы белые, как в муке) рыбинский мещанин Поденкин Егор Петрович как будто нарочно ждал его на станции.

Он пил чай с домашними медовыми пряниками вместо сахара. Белые волосы его прилипли к розовому потному лбу, и глаза (серые) казались тоже порозовелыми. Курчавую бородку его можно было принять просто за седую, до того льняной был в ней мягкий волос. Иван Ионыч знал, что ему под пятьдесят, а кто не знал, мог бы дать и двадцать восемь, таким он казался моложавым. И улыбался он вкрадчивой, сладкой улыбочкой и говорил полушепотом и с оглядкой.

У него оказалось все хорошо.

— Шатиловского достал, крупного и поценно,— шепнул он ласково, угощая чаем.— Подвод только не соберу, чтобы сразу подвезть... Правда ведь, лошади остались калеки, а люди — почитай, бабы одни.

— Бабы тебе — чего же лучше,— буркнул Полезнов.— Ты же до баб ласый! — и вспомнил, что уж раза четыре, если не больше, говорил ему это.

— Да ведь, Иван Ионыч,— с тихим смешком отозвался, как и раньше, бывало, Поденкин,— очень уж их, баб этих, бесчисленно много, а я все один!

— Ты не женись! — убежденно буркнул Полезнов.— На кой черт!

— Истинно!.. Я тоже того же мнения... Чиста моя душа, и чист воздух для меня, и никогда еще не было мне в бабах отказу!..— одушевился Поденкин.— А солдатки, теперь взять, ну что же они, подлые, вытворяют — уму непостижимо!.. Говоришь даже какой: «Да ведь у тебя муж на фронте, может, смертельной мукой теперь исходит, а ты...» Так она, веришь ли, такое слово об нем скажет, это об муже-то, что только бы в мужской компании, и то по очень уж пьяной лавочке... Вот они какие лахудры!

— Пропала Россия! — сурово поглядел на него Полезнов, отложил в сторону медовые пряники, отставил стакан чаю и яростно поднялся.

И все время потом, пока он ждал обратного поезда и говорил с Поденкиным о делах, он оглядывал его по-

дозрительным, косым взглядом. Был Егор хорошего роста, статен; волосы из-под новой шапки завивались кольцами, как у кучера; черный романовский полушубок очень к нему шел: от него он казался еще белее лицом.

— В Бологом давно был? — спросил его Полезнов, отвернувшись.

— Да ведь на прошлой неделе, а что?

Полезнов очень хотел спросить: «А ночевал где?», но спросил:

— Бесстыжева видел?

— Бесстыжев наш, кажись, хочет свою торговлю открывать,— отозвался Поденкин и тоже отвернулся, как будто затем, чтобы посмотреть на подходивший поезд.

А Полезнов наблюдал его искоса и думал: «У меня в доме ночевал!»

Насчет Бесстыжева и его будущей торговли он не сказал ни слова, а когда подошел поезд, то так заспешил садиться, что сделал вид, будто совсем не заметил протянутой ему на прощанье длинной руки Поденкина. И только из окошка вагона кивнул ему головой, чуть дотронувшись до бобра шапки.

— Счастливый путь! — крикнул ему Поденкин, ласково от солнца жмурясь.

«У меня в спальне ночевал, подлец!» — растерянно думал, глядя на него, Полезнов.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В Бологом, на вокзале, узнал Иван Ионыч, что поезд на Петроград опоздал больше чем на шесть часов из-за заносов, а воинский пробился и подходит.

Подсев ближе к лампочке и сопя от усилий, он начал было в записной книжке писать карандашом прошение, какое должен был подать на Бесстыжева, припоминая другие его проделки, тоже очень похожие на мошенничество, но решил наконец, что адвокат завтра в Петрограде с его же слов напишет это гораздо лучше и подведет нужную статью законов; записал только, что двенадцать тысяч были даны Бесстыжеву новенькими пятисотрублевками восьмого февраля, и к этому добавил: «Расписка не взята по случаю поспешности».

Пришедший воинский поезд наполнил вокзал суетой, беготней, руготней, казарменным запахом... Целый час

стучали по плиткам мозаичного пола вокзала гулкие солдатские сапоги, хлопали двери, орали дюжие глотки.

Когда поезд, наконец, ушел на Псков, к генералу Рузскому, Полезнов, бродя по перрону, заметил несколько ярко блестевших пачек патронов между рельсами, и даже целый патронный ящик невинно и как будто сконфуженно белел под большим перронным фонарем.

— Безобразие какое! — сказал он весовщику Тимофею Акимычу.— Ежели они здесь целые ящики патронов теряют, что же они на фронте делать будут?

— Ежели дураки, то головы потеряют, а ежели умные — с головами домой придут,— загадочно ответил Тимофей Акимыч.

— Сказать же надо кому, чтоб убрали!

— Убе-рем... Пригодятся...— и пошел.

После этого разговора сиротливыми показались Полезнову черные шестидюймовки, стоявшие на платформах и покрытые брезентом... Поезд с ними пришел, должно быть еще утром. На брезентовых покрышках было много снегу. Они тоже казались потерянными, эти орудия.

Часов около восьми пришел поезд из Петрограда. В зале первого класса Иван Ионыч цепко присасывался глазами ко всем лицам, но приезжие казались менее встревоженными, чем он, они только наперебой расхватывали в буфете бутерброды.

За столом же, где сидело несколько человек, поспешно работая ложками в дымящемся супе или солянке, какой-то молодой, большеголовый, в инженерской фуражке, по виду кавказец, не совсем чистым русским языком говорил громко, как будто никому и всем сразу:

— Да ведь нас, инженеров-путейцев, вешать надо! Мы кто?.. Мы — взяточники, это раз!.. Мы — казнокрады, это два!.. Мы хапаем де-сят-ки тысяч!.. А если путевой сторож гнилую шпалу у себя в печке спалит, мы его под су-уд, негодяя!.. Мы ему двадцать четыре света покажем!.. Ка-ак смеешь гнилую шпалу в своей печке палить, когда это казенное имущество, па-адлец!.. Ххолодно тибе, а-а?.. Тибе холодно?.. Ка-ак это тибе может быть ххолодно, когда ты и всего только сторож?.. Это инженеру может быть холодно, а не тибе, ххам!..

Он широко размахивал тощими руками, одетый в очень легкое, почему-то осеннее пальто с несколько бахромчатыми рукавами. Лицо у него было обветренное,

щетинистое; тонкий нос с горбом краснел, как обмороженный; волосы у широких висков мелко курчавились.

Наискось от него, на другой стороне стола сидел невзрачный, морщинистый, хоть и нестарый, подполковник с нефронтовыми белыми погонами. Полезнов с первого взгляда принял было его за военного врача, но вот он откинул голову и сказал инженеру очень твердо и внятно, как не говорят врачи:

— Прошу прекратить агитацию!

— Каку-ю агитацию! — задорно крикнул инженер.

— Тут зал первого класса, а не третьего, и старания ваши излишни... Поберегите энергию!..

— Я... Я... Вы знаете, кто я? — гордо откачнулся инженер.— Я — князь Нижерадзе.

— А я — князь Выше-радзе! Поняли?.. И при малейшей попытке вашей продолжать агитацию я вас арестую!

Только тут понял Полезнов, что подполковник этот — жандармский, и очень удивился, когда инженер деланно коротко хохотнул и на весь зал крикнул:

— Коротки руки!.. Вы?.. Меня?.. Арестуете?.. Ха-ха!.. Коротки руки!

Однако он отошел от стола, а к подполковнику наклонился сзади какой-то длинный, светлоусый, торгового вида и сказал как-то пьяно-странно, указывая пальцем на инженера:

— Он у самого генерала-губернатора чай пил!.. Хи-хи-хи... И кофей пил!

Между тем широкоплечий сановитый старик, хорошо и добротно одетый, с раздвоенной, видно, что холеной, бородою, сказал важно, в упор глядя на подполковника, не сводившего глаз с инженера:

— Аресто-вы-вать, господин полковник, тех, кто поря-до-чен, и оставлять на свободе явных не-го-дя-ев — эта ваша система уже довела нас до ги-бе-ли! Да! Благодаря этой сис-те-ме Россия на краю про-па-сти!

И вдруг хлынуло с разных сторон:

— Верно!.. Правильно сказано!..

И около буфета кто-то с бутербродом во рту захлопал, как в театре; когда присмотрелся Полезнов, оказалось, что это был молодой офицер.

Подполковник резко отодвинул от себя тарелку, зло поглядел на сановитого старика и кругом и вдруг поднялся и пошел к выходу, а за ним бросился и официант

с салфеткой, и вот тот самый, длинный, светлоусый, торгового вида, подмигнул теперь уже старику и, также пальцем указывая на уходящего жандарма, крикнул тонко:

— Смотрите, деньги за солянку замошенничал! Хи-хи-хи!.. Ей-богу!

И он так вздернул усы и такие сделал глаза, что уже, глядя на него, многие захохотали, а инженер (или только надевший инженерскую фуражку на время), не теряя времени, очутился вдруг на столе, на другом конце его, и кричал оттуда, перегибаясь:

— Гос-спода!.. Мы переживаем сейчас мо-мент огромной исторической важности!.. О-банк-ро-тилась власть!.. Вы все это знаете, все вы это видите!.. Что же теперь требуется от вас? Чтобы вы, наконец, заговорили!.. На чем держалась власть? На бес-сло-весно-сти населения! До чего же домолчальничались мы все? До стыда, до позора!.. До того, что какой-то конокрад и пьяница и распутник Гришка Распутин правил Россией, а при нем для мебели де-ге-не-рат этот, «мы, божией милостью, Николай Вторый»... А там... в Петрограде... в столице... там голод!.. Там нечем печи топить!.. А на фронте что?.. Там милли-оны погибают!.. С палками, да, с палками идут против пулеметов, потому что винтовок нет!.. Снарядов нет!.. А великий князь Сергей Михайлович об-кра-ды-вает войска, чтобы брил-ли-ан-тов накупить балерине Кшесинской...

При этом слове инженер,— как разглядел Полезнов,— качнулся вперед и спрыгнул со стола, а из боковых дверей показалось человек пять жандармов, причем трое из них и поручик с ними были здешние, а давешний подполковник с очень решительным видом и с револьвером в руке выступал впереди.

— Вы арестованы! Ни с места! — крикнул он инженеру.

— Дудки! — крикнул инженер и замешался в толпу.

Потом началось что-то неуловимое для глаз. Все в зале сразу как-то сгрудились около жандармов в непроницаемый круг, все закричали вдруг, и оказалось, что это внушительно, когда на вокзале довольно согласно и полным голосом кричит толпа:

— Вон жандармов! Долой жандармов!.. Бей их!.. Вон, мерзавцы!..

Полезнов думал, что сейчас должна начаться стрель-

ба, и подвинулся задом к буфету, но неистово зазвенел вдруг колокольчик швейцара, старавшегося покрыть все голоса своим басом, действительно редкостным:

— По-ез-ду на Тверь, на Москву втор-рой зво-нок!..

И все кинулись к двери, чтобы не остаться здесь, на вокзале, и вместе со всеми вытолкнуло Полезнова, так и не заметившего, куда потом девались жандармы.

Подняв правую сторону воротника от резкого ветра, Иван Ионыч дождался отхода поезда. Ему хотелось посмотреть, вытащат ли из вагона жандармы объявленного арестованным инженера, но жандармов на перроне не было даже и видно. Поезд дернулся и после нескольких свистков двинулся, и на одной из освещенных площадок Полезнов разглядел знакомую инженерскую фуражку над тонким с горбинкой носом. И так как в это время на перроне было много толкотни и криков, Иван Ионыч безбоязненно сказал вслух о Бесстыжеве:

— А он, дурак, вздумал меня урядником каким-то пугать!.. Эх, идиот чертов!

Очень возбужденно потом начал он метаться по вокзалу. Поденкину и другому подручному, работавшему в Вышнем Волочке, Зверякину, он послал телеграммы: «Закупку, погрузку овса пристановить». В то же время с бесспорной ясностью, чего раньше не было, представилось необходимым непременно поехать в Петроград получить свои деньги в интендантстве. Большая потребность двигаться погнала также его и к извозчику у подъезда вокзала, причем он даже не решил, куда собственно он поедет, домой ли, или к Бесстыжеву, чтобы доказать ему, что он не только мошенник, но еще и круглый дурак.

Между тем было уже около девяти, и, когда стоял он около извозчика и смотрел на мерцающую слабыми огоньками заозерную часть слободы, раздался вдруг звонок на перроне.

Спросил он извозчика на всякий случай:

— Это рыбинскому звонок?

— Питерскому,— ответил извозчик.

— Ка-ак так питерскому?.. А зачем же я хочу с тобою ехать, когда мне именно в Питер надо?

— Не знаю уж, дело хозяйское...

Извозчик мог подумать даже, что он пьян и над ним шутит; извозчик обиделся.

А поезд, которого Полезнов ждал так долго, пришел действительно через полчаса. В полях южнее Бологого, конечно, сильная крутила метель: вагоны пришли обледенелые, поседелые, с пухлыми белыми от снега крышами, и, когда Иван Ионыч занял свое верхнее место, им овладела не то что успокоенность после двух этих дней, а так, будто долго втаскивал себя на какую-то почти отвесную насыпь, чтобы попасть на рельсы, и вот, наконец, на рельсах.

Верхняя полка вагона, когда перед тобою только свеча или лампочка вверху, а внизу не нужно для тебя суетится чужой нарой и путь твой еще долог — целая ночь,— это располагает к довольно странным, отрешенным и медленно проплывающим мыслям. Иван Ионыч думал теперь только о жене, о том, что у нее «началось», началось то, чего остановить, может быть, и нельзя. Когда он женился, ей было девятнадцать, ему сорок шестой... Кроме того, он часто и подолгу не бывает дома.

Очень трудно было с руками: они чересчур набрякали и были чугунно-тяжелы, так что, на какой бы бок он ни ложился, через пять — десять минут отлеживал себе то ту, то другую руку,— приходилось поворачиваться снова.

О чем говорили теперь внизу (сосед же его по верхней полке спал, повернув к нему совершенно голый и белый затылок), Иван Ионыч не слушал... Он думал о жене просто, по-деревенски и, должно быть, иногда все-таки забывался на минуту, потому что явно как будто зажимал в отекшей руке ее косу. Иногда же казалось, что в руку ему попала черноморова борода Бесстыжева и он рвет ее и волочит самого Бесстыжева по рельсам. Иногда, когда сильно дергался поезд и его подбрасывало, приходилось прижимать руку к сердцу,— так оно начинало колотиться. Даже несколько удивленно он думал о нем: «Несмотря, что шестой десяток идет, а все-таки здоровенное!..» Вспомнил, что лет сорок уже ничем не болеет, только в детстве была лихорадка,— пил от нее горькую хину.

Когда подъезжали к станции Угловка, сосед Ивана Ионыча, подняв голову и поглядев на него мутными глазами, буркнул:

— Что это вы все вертитесь, послушайте?..

Озадаченный Иван Ионыч только что хотел выругать его, обидясь, но тот тут же повернулся, снова пока-

зав ему гладкую лысину, и завидно захрапел, как человек с чистейшей совестью, не отягощенной даже преступлениями ближних.

— Вот так осел! — сказал Иван Ионыч скорее задумчиво, чем злобно, и тут же почему-то представил у себя на коленях тоненькую старшую свою девочку Лизу, как она, откинув головку, чтобы смотреть ему прямо в глаза, спрашивала:

— Осел, папа, он больше, чем белуга, или он меньше?

Он ответил ей тогда:

— Они разные. То — осел животное, а то — белуга... в воде живет... Белугу, ее на Каспийском море ловят...

— На Кась-пись?.. Фу, мама!.. Как папаше не стыдно?..

И она соскочила с колен и время от времени глядела на него осуждающими глазами и покачивала головой.

На какой-то небольшой станции поезд остановился и стоял так долго, что пассажиры начали встревоженно выходить из вагонов.

Проснулся и тот, с лысиной, натянул на длинную, как пирог, голову рысью шапку с наушниками, покачался на слабых руках с полминуты и тоже спрыгнул вниз и вышел. Его не было с полчаса, а когда он вернулся наконец, Полезнов обратился к нему, как к знакомому:

— Что там случилось такое?

— Черт их знает, разве у них разберешь?.. Мы на запасном пути будто стоим,— подумавши, ответил лысый.

— Ну, а все-таки что же такое говорят?

— Что говорят?.. Говорят какую-то чушь неподобную!.. Будто мы целый корпус пропустить должны, только тогда дальше поедем...

— Ка-ак так корпус?.. Зачем корпус?.. Да ведь корпус,— вы знаете, что это такое? — очень встревожился Полезнов.— Куда же это целый корпус?

— Куда?.. В Петроград, говорят, на усмирение...

Большие бурые мешки были у него под глазами, а лицо бритое. Он добавил:

— Вообще теперь можете спать безмятежно...

Подтянуться на руках он не мог и стал обеими ногами на столик, чтобы взобраться на свое место, а взобравшись, присмотрелся к Полезнову и, вспомнив, должно быть, как он вертелся, сказал покровительственно:

— Пройдитесь подите минут на десять, освежитесь... Лучше будете спать...

И опять показал, какая у него плешь. Полезнов же рассуждал между тем:

— Корпус... это — две дивизии. Стало быть, восемь полков... Это по военному составу... посчитайте, сколько людей... Да артиллерия... да кавалерия... Кроме того, обоз... Сколько же это составов надо?.. Один за другим их гнать, и то ночи не хватит... И чего же нам их ждать на запасном пути?.. Не все ли равно, нам ехать и им ехать?

Все-таки больше часу стояли на этой станции. Потом, пропустив скорый встречный, снова дернулись вагоны и застучали колеса. Это очень успокоило Полезнова. Он даже задремал. Снились ему одни только крушения поездов, причем вагоны поднимались на дыбы и опрокидывались вверх колесами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Уже на Николаевском вокзале, когда в двенадцатом часу дня приехал Иван Ионыч, оказалось необычайно людно, весьма простонародно — даже в зале первого класса,— очень шумно и как-то совсем неожиданно празднично... Правда, день был воскресный, но народ, переполнивший вокзал, видимо, никуда не собирался ехать и не был озабочен тем, как бы достать билет и как бы кто не украл мешка или корзины. Никто и не тащил на себе, пыхтя и наливаясь кровью, чудовищных узлов, замызганных, перетянутых веревками семейных чемоданов. Толпа была явно свободна от прокисших своих вещей и уже одним этим празднична.

Все кругом были очень возбуждены. Кто-то — за толпой не было видно как следует, кто именно,— кричал решительно:

— А я вам говорю: за нас казаки!

— А отчего же ораторов нет? — спросил громко Иван Ионыч, вспоминая инженера Нижерадзе.— Вот бы теперь оратора.

Женщина с рябинами около носа отозвалась визгливо и даже запальчиво:

— Говорят же!.. «Оратора»!.. Возле памятника цельный час говорят!..

Иван Ионыч представил памятник, весь обляпанный белыми сочными снежками, представил и то, как выкрикивает там кто-нибудь вот теперь, взобравшись на цоколь или тумбу, и сказал женщине строго:

— То своим чередом, а надо бы и здесь!

Потом произошло что-то менее понятное: толпа на вокзале забурлила, как кипяток в котле, и одна часть ее неудержимо полезла внутрь вокзала, крича: «Полиция!.. Держись!.. Полиция!..», другая — и как раз в это течение попал Иван Ионыч — буйно ринулась к выходу на площадь.

Тут, около подъезда, упершись в выступ стены, чтобы его не столкнули ниже, он увидел первую кровь.

Безбородый, с кошачьими рыжеватыми усами, с глазами навыкат, красный, полнощекий, картинный пристав, гарцуя на кровной вороной, белоногой лошади во главе двух-трех десятков конных полицейских и стражников и не менее полусотни казаков, решил сделать натиск на толпу... Он взмахнул рукою с матовым револьвером и что-то крикнул назад, команду,— толпа кричала, трудно было разобрать какую,— после которой все разом пришпорили коней и пригнулись, готовые в клочья разнести огромную толпу, запрудившую площадь.

Толпа же как будто сделала бастион из огромной неуклюжей бронзовой лошади и такого же неуклюжего всадника на ней; она отхлынула вся только сюда, к памятнику, и здесь непрошибаемо сгрудилась. Лошади пристава и полицейских не могли взять разбега, никакой атаки не вышло. Вороной красавец переступал тонкими ногами в белых чулочках перед плотной стеной толпы. Он все время то пригибал точеную голову к груди, то подымал ее, чтобы опять пригнуть. Со стороны казалось, что он приветливо кланяется толпе... Но багровый пристав кричал, слышно было только: «...ись!.. ять!..» — и непечатная брань. После говорили, что кто-то ударил его по ноге палкой, и пристав в него выстрелил. Он думал, может быть, что вслед за его выстрелом, как за сигналом, раздадутся стройные всеустрашающие залпы, но полицейские и стражники только потеснились, чтобы пропустить казаков.

Издали нельзя было понять, что случилось так неожиданно,— все время кричала и волновалась толпа,— почему-то в ближайшего к себе казака-донца с ли-

хим желтым чубом выстрелил пристав, и тот беспомощно упал на шею лошади, и тут же блеснула шашка, и пристав с разрубленной головой опрокинулся навзничь: товарищ убитого казака отомстил за одностаничника.

И вся площадь взвилась радостно: «Ка-за-ки!..» Это был не крик, а какой-то выдох шумный, как бывает у удавленника, когда вовремя снята с его шеи петля: еще бы немного, два-три момента, и — удушье, смерть... «Урра-а-а!.. Ка-за-а-а-ки!..»

И потом уже как будто должное, как какая-то подсказанная необходимость, кинулись на казаков полицейские, и опрокинули полицейских казаки и с пиками наперевес (вот когда показались Ивану Ионычу геройски-грозными эти длинные пики!) погнали их карьером вдоль Старого Невского, к Лавре... И только вороной красавец рядом с мухортой пегой лошадкой казака остались среди толпы, а на вокзал бережно несли молодое тело казака и волокли за ноги грузное тело пристава, оставлявшие на истоптанном снегу кровавый след. Проволокли недалеко от Полезнова, и он заметил, что пояса с кобурой, а значит, и с револьвером, не было на его шинели, как на теле казака не было ни винтовки, ни патронных сумок.

И только когда пронесли тела, очнулся Иван Ионыч от всего этого неслыханно нового, усиленно замигал глазами (почему-то слезы на глаза навернулись) и сказал оторопело громко, обернувшись почему-то назад:

— Вот это так ловко! А?..

— Милый, еще как ловко-то!.. Раз ежели казаки за нас, так теперь...

И не договорила та самая с рябинами около носа (оказалось, что стояла она сзади него) и, совсем как на Пасху, заплаканная от счастья, поцеловала его в губы.

Полковник князь Абашидзе жил наискосок, через площадь, в самом начале Знаменской улицы. К нему у Полезнова, пока он стоял, скопилось несколько деловых вопросов об овсе: нужно ли теперь доставлять овес? кто будет за него платить, если доставить? куда именно доставить; есть ли в Петрограде какая-нибудь власть, если пристава стреляют в казаков, а казаки рубят головы приставам?.. может ли он получить теперь в интендантстве свои двадцать семь тысяч?

На все эти и многие другие подобные вопросы непременно должен был ответить Абашидзе, слегка похожий на того инженера в Бологом, только ростом выше, годами старше, лицом красивее.

Толпа раскинулась теперь по всей площади, и пройти сквозь нее оказалось возможным. Полезнов смотрел на всех кругом с веселым пониманием, как соучастник, в то же время думая о Бесстыжеве: «Ду-у-рак, дубина!.. Что? Взял?..»

Когда позвонил он, за дверью послышались почему-то беготня на цыпочках, шарканье ног, и потом стало тихо. Полезнов надавил пуговицу звонка еще раз. Долго никто не отзывался, наконец робко звякнул ключ в замке, и через узенькую дверную щель спросил тихий женский голос:

— Вам что надо?

И так же тихо, понимающе тихо, отозвался Иван Ионыч:

— Мне бы... Я к господину полковнику... к их сиятельству...

— Нету здесь никаких полковников! — тверже уже сказал голос.

— Вы не думайте, что я что-нибудь... Я им известен... Я насчет овса хотел выяснить...— заговорил было Полезнов, но женский голос, вполне окрепший, перебил возмущенно:

— Какой овес, что вы?.. С ума сошли?.. Какой теперь овес, когда революция? Вы знаете, что офицеров убивают?.. В интендантство идите!

И дверь захлопнулась, щелкнул замок.

Чтобы попасть в интендантство, нужно было пробиться на Малую Морскую, почти через весь Невский, однако уже на углу Невского Полезнов увидел образцово выстроенный взвод гвардейцев. Он удивился, когда это успели они построиться здесь в полной боевой готовности, огромные, застывшие, как живые монументы: он не заметил их раньше, когда проходил на Знаменскую улицу через площадь. Невский же и теперь, как тогда, почти сплошь чернел (а вдали синел густо) от стотысячной толпы.

Было далеко не так уже морозно, как третьего дня, и, что было совсем уже странно, гораздо светлее было, чем бывало всегда в Петрограде.

Поручику, вкось на него глянувшему, вкрадчиво сказал Иван Ионыч не в полный голос:

— Ваше благородие!.. А как теперь интендантство — работает?.. Мне потому это нужно — я поставщик, вот почему... мне там деньги получить следует...

Крест-накрест перетянутый новенькими ремнями, высокогрудый белый молодой поручик обвел его с шапки до калош девичьими серыми глазами и чуть кивнул головой в сторону Невского, а в сторону Знаменской площади, в сторону наседающей, хотя и осторожно, толпы вытянул руку и крикнул негромко, но начальственно:

— Нельзя!.. Проходите!..

На обоих углах Литейного проспекта густо стояли солдаты-гвардейцы, а Литейный, как Невский, в обе стороны чернел и синел народом, и две встречных реки именно тут бурлили, где сливались.

Иван Ионыч озирался кругом, сильно стиснутый, и бормотал отчаявшись:

— Шабаш!.. Кончено!.. Тут уж пробиться немысленно!..

Однако скрещение встречных народных рек выперло его вперед, протащило как-то на другую сторону Невского, и так, в толпе, раздвигающей жидкие шеренги солдат, добрался он до Аничкова моста. Кругом него все были говорливы, крикливы, возбуждены.

Могучие бронзовые кони Аничкова моста, красавцы кони, очень подходящие,— как казалось ему теперь,— вздыбились, взвихрились, раздували ноздри — вот-вот раздавят своих голых усмирителей... Как-то необходимо было, чтобы именно такие кони-звери высились над человеческой гущей, горячились бы сами и ее горячили, а не тот неподвижный, тупой, толстомясый битюг под царской тушей на Знаменской площади. И толпа тут была иная, чем там. Полезнов не мог бы сказать, в чем именно выражалось различие, однако — он чувствовал это — она была требовательней, настойчивей и смелее; она презрительно глядела на затянутых гвардейцев, она хотела двигаться и двигалась.

Как будто в этих огромных пятиэтажных, вплотную, без просветов, стоящих с обеих сторон Невского домах никого не осталось, кроме больных, лежащих в постелях,— все вышли громко сказать, что они люди.

Но что толпу, как бы ни была она мудра и права,

можно в упор расстреливать залпами, это показали скоро Ивану Ионычу гвардейцы Волынского полка.

Это случилось на Казанской площади, куда вынесло, наконец, Полезнова народное половодье.

Если, еще не доходя до Аничкова моста, он думал только о том, как бы добраться до интендантства, то теперь уже видел, что не доберется, и... забывал об этом.

Он чувствовал временами, что ничего еще не ел в этот день, и во рту временами пересыхало, но, когда он кричал вместе с другими: «Хле-е-ба!.. Хле-е-ба!» (бывало это, вдруг начинали в упор сытым на вид гвардейцам кричать: «Хлеба!»), он понимал, что дело было не в хлебе только, не в одном хлебе.

И вот вместо хлеба — залп; это произошло именно здесь, перед Казанским собором, часто слышавшим залпы.

Рядом с Полезновым пришлись две совсем юные девушки в школьных еще шапочках со значками своей гимназии, тесно сцепившиеся руками, боявшиеся оторваться одна от другой и затеряться. И когда треснуло вверху от залпа, им, с изумленными голубыми глазами, крикнул Полезнов:

— Ложись! — и, глядя на них встревоженно-строго, по-отцовски, сам присел проворно на мостовую и вытянул левую руку, чтобы лечь на левый же бок.

Но девочки глядели на него удивленно, оглядывались кругом и все-таки стояли.

— Ложитесь! Убьют! — кричал им Полезнов, и кругом него ложились так же проворно, как он, будто крики его приняли за команду, но две девочки в гимназических шапочках пожимали совсем узенькими плечами, смотрели кругом и вверх, и глаза у них голубели явным недоумением.

И когда треснуло снова, одна из них вскрикнула и упала, увлекая другую, упала на подобранные ноги Ивана Ионыча.

Четыре залпа еще насчитало не столько сознание, сколько все вообще бочковатое тело Полезнова, сознание же его сосредоточивалось здесь, где он ничего уже не мог сделать.

Он видел пухлый клочок белой ваты на пальтеце девочки — на груди слева, немного ниже ключицы, его не было прежде. Пуля выбрала среди многих около него

именно эту узенькую полудетскую грудь. Приколотая большой булавкой к белесой косе шапочка девочки не скатилась с головы, только отбросилась назад, рот ее открылся очень широко и вздрагивал, ловя воздух, голубизна глаз чуть мерцала под полузакрытыми веками. Сестра тормошила ее испуганно и рыдала.

— Эх, Лиза, Лизочка! — бормотал Полезнов. В том, что ее звали Лизой, а другую, непременно сестру ее, Катей, он не сомневался.

Когда на Гороховой, около какого-то автомата, не так давно бойко торговавшего пирожками, но теперь упраздненного, Иван Ионыч, наконец, остановился и глянул в длинное зеркало, вделанное сбоку в стену, он не узнал себя.

Явственной, резкой стала переносица очень неправильного, «чисто русского» его носа; а главное — в бороде, как раз от подбородка, веером что-то досадно и незнакомо белело.

Иван Ионыч подумал, что это известь от стен, к которым он прикасался то там, то здесь руками, а потом брался за бороду, и начал было деятельно оттирать эту известку перчаткой, пока не убедился, что известку эту оттереть нельзя, что она выступила из него самого — вчера ли, третьего ли дня, или вот только сейчас, на площади,— что она называется сединою.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В одном из переулков, ведущих на Вознесенский проспект, в чайной, куда с большим трудом кое-как втиснулся Иван Ионыч, он прочно уселся за одним столиком рядом с каким-то отделенным унтер-офицером, у которого по-охотничьи за спиной на ремне торчала винтовка без штыка. Оба они пили чай, как одолевшие безводную пустыню; они расстегнули вороты рубах, сдвинули на затылки шапки; лица у обоих стали свекольными и лоснились.

Унтер-офицеру было за сорок, он был взят из запаса в запасной батальон. Шапка его — папаха из серой поддельной мерлушки, лицо — круглое, бабье,— все казалось очень знакомым Ивану Ионычу, до того знакомым, что он с первого же слова начал говорить с ним попросту, хлопая его по плечу и с ухмылкой:

— Думаешь ты, что старше ты меня в чине-звании? Не-ет, брат, я сам унтер девятнадцатого пехотного Костромского полка!.. Это называлась пятая дивизия... Наш полк был — белый околыш, а Вологодский — синий, а семнадцатый Архангелогородский — тот красный околыш, а Галицкий двадцатый — те уж черные галки, черный околыш... красоты в нем, конечно, никакой... Мы споначалу в Батурине стояли; так себе городишко, паршивый, совсем село, только зáмки там старинные, двое... Как на плацу, бывалю, ученье — командуют: «На-правле-ние на замок... Разумовского!..» Или в другую сторону: «На-правле-ние на замок... Мазепы!» Сейчас, значит, по фланговому стройся на зáмки... От них там одни только стены кирпичные оставались, от этих замков, а крыши уж черт взял... И, разумеется, раз команду подают: «Стоять вольно!.. Оправиться!» — солдатня сейчас со всех ног туда животами вперед, и только на бегу пояса снять успеют.

— Это в какой было губернии? — полюбопытствовал унтер-офицер, глянув воловьим выпуклым глазом.

— Это в Черниговской, а потом мы в Житомир перешли, на австрийскую почти границу... И не знали, бараны, зачем нас туда погнали!.. А погнали нас туда, чтобы в случае войны мы под первые пули, вот зачем!..

— Офицера у вас как... дрались?

— Ого! — почти радостно отозвался Полезнов.— Увечили!.. Я каптенармусом ротным был, а ротный наш, капитан Можейко... Я же прав вполне был, и мог я ему подробно объяснение дать насчет мундиров второго срока, он мне: «И-ишь раз-го-вор-чистый, как все одно шлюха!» — да в это вот место,— Полезнов показал повыше левого виска.— Если бы чуть ниже взял, убил бы...

— Твоя как фамилия? — хриповато спросил унтер-офицер.

И по этому случайно хриповатому голосу мгновенно вспомнил Иван Ионыч, на кого был похож он: на Зверякина, того, который, скупая овес, орудовал около Вышнего Волочка. И вот, сам не зная почему, ответил он найденно:

— Зверякин!

— Фамилия лесовая,— важно усмехнулся унтер-офицер,— и видать, что ты по природе из лесовых... А моя — Вечерухин.

— На мне, конечно, шуба теперь из меха,— несколько конфузливо сказал Иван Ионыч,— однако я, брат...

— Шуба такая на каждом рабочем быть должна,— перебил Вечерухин важно.

— С одним подрядчиком намедни по душам пришлось говорить,— поблескивая глазами, возбужденно говорил Полезнов.— Веришь ли, говорит, ну не досада? Сыпешь, сыпешь этого овса на фронт, как в бездонную яму, и хотя бы толк какой от этого был, чтобы тебе оправдание, что ты у своего брата что доброе берешь, а ему бесполезные деньги даешь,— так нет же тебе и этого оправдания! Только немцы, как они наши обозы везде забирают, этим твоим овсом пользуются, а ты из-за него ночи не спишь, как бы его побольше достать!.. Говорил: двадцать семь тысяч его за интендантством остались, ордер не успел выправить...

— Теперь уж не получит, крышка! — решил Вечерухин.

Полезнов посмотрел на него с долгим и упорным вопросом в глазах, вздохнул и согласился:

— Я и сам вижу, что крышка!

И, поверив в то, что пропадут его деньги за интендантством, как пропадут другие его деньги за Бесстыжевым, и еще и уже окончательно поверив также и в то, что удачливый в бабьей любви белобрысый Поденкин действительно спал в его спальне, на его кровати, так же, как может быть, не один раз спал на ней рядом с его женою хлопоногий Сенька, Иван Ионыч с силою сжал зубы, поскрипел ими и спросил у Вечерухина:

— Вижу я, тут у многих штатских винтовки... Мне нельзя ли разжиться?

Вечерухин оглянулся, подумал и сказал:

— А почему же нельзя?

И винтовка для Ивана Ионыча, из тех нескольких десятков тысяч винтовок, которые были захвачены толпой в арсенале на Литейном, вскоре нашлась. Правда, это была винтовка кавалерийского образца, и ремень на ней был несколько коротковат для одетого в шубу Полезнова, но он зажал ее в руки прочно, оглядел ее со всех сторон глазами старого знатока...

И весь остаток этого самого необыкновенного дня своей жизни Иван Ионыч рядом с Вечерухиным в случайно сбившейся толпе человек в семьдесят, в которой

было несколько солдат из запасных батальонов, ходил по улицам и переулкам в районе Никольского рынка, Екатерингофского проспекта, Демидова сада.

На Екатерингофском, это было уже часов в пять вечера, их обстреляли откуда-то с крыши, четверых ранили. Тогда решено было снять стрелков, и осадили дом. На одной из черных лестниц пробиравшийся на чердак вместе с долговязым, одетым в теплую куртку, малоразговорчивым рабочим Иван Ионыч встретил притаившегося человека с мешком.

— Ты кто такой? — строго спросил его рабочий.

— Печник,— ответил тот.

Осветили его зажигалкой — действительно, добросовестно выпачкан, как и полагается печнику, и рабочий уже пошел выше, когда Полезнов сунул руку в мешок печника и потом сбил его с ног, сел на него и закричал долговязому:

— Посвети сюда!.. Это что у него за машина в мешке!

Машина оказалась пулеметом, правда, неполным, печник — околоточным.

Среди народных толп, заполнивших улицы, хотя и возбужденных, хотя и решивших в этот и следующие дни круто и навсегда изменить свою историческую судьбу, но безоружных, они ходили несосчитанным и невнесенным в списки самочинным отрядом, плотно державшимся и вооруженным.

А совсем уже поздно, часов около двенадцати, когда опустели улицы, оказалось, что нужно все-таки переночевать где-то и непременно всей дружиной.

На Офицерской, недалеко от меблирашек «Марсель», теперь переполненных, зашли в кино, в котором заканчивался показ картины «Любовь и касторка». В этом кино и расположились ночевать, очень удивив хозяина кино таким желанием.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На другой день утром — и уже не так рано — солдат унтер-офицерского звания Иван Полезнов проснулся.

Кругом него все уже вставали, а он озирался во все стороны, нет ли где воды, чтобы умыться. Нигде, однако, не было видно умывальника.

Весь вчерашний день носивший свое тяжелое тело на

пятидесятидвухлетних ногах по необычайным улицам, теперь он чувствовал, как у него болели ноги. Плечи тоже ломило, не то от шубы, не то от неудобной ночевки на холодном, жестком полу.

Откашлявшись и осмотревшись и найдя, наконец, Вечерухина, который встал раньше его и имел уже свежий вид, он сказал ему деловито, как унтер-офицер унтер-офицеру:

— Надо бы ребят чаем напоить, а?

Вечерухин надвинул плотнее папаху на бычий свой лоб, пригладил усы и ответил важно и хриповато:

— Какие же тут чаи, когда здесь кино?

Толкаясь, вышли на улицу, не затворив за собой дверей, и вот что было неожиданно и необычайно на новой улице в этот новый день: солнце!

И тихо было. И потеплело... И даже глаза резали в этой оттепельной тишине высокие, но до чего же четкие крыши домов, выступы стен, старательно каким-то безвестным рабочим российским людом украшенные то статуями в нишах, то очень сложным орнаментом. Именно этот вековой труд, упорный и искусный, выступил теперь отвсюду — спереди, справа, слева... Ничего затуманенного, призрачного не было уже кругом: все было массивно, все было тяжести страшной, каждый камень сплошных этих стен казался отчетливым, каждый был положен людьми в фартуках, заляпанных известью, с красными от извести глазами...

Сказал, обращаясь ко всем и ни к кому, ошеломленный Полезнов Иван:

— Честное слово, не вру: за всю войну сколько разов я в Петрограде бывал, верите ли, братцы, первый раз на этот город солнце смотрит!

А бойкий безбровый подросток около подхватил весело:

— И узнать его никак не может!

Толпа сбродных людей, хотя и с винтовками и револьверами, была все-таки толпою, не отрядом,— она не держала ни шага, ни равнения,— но смотрела кругом зорко: часто подымались головы к верхним этажам и крышам, не раздастся ли оттуда трескотня пулемета; кроме того, у всех в толпе была общая цель — выбраться на главную улицу огромного города, на Невский, который так густо вчера засыпала солдатами недобитая

еще власть, в то время как образовалась — это уж сегодня утром кто-то сказал, это слышал и Полезнов — новая власть в Таврическом дворце, в Думе.

Вразброд топали ногами, и при каждом шаге чувствовал Иван Ионыч боль в большом пальце левой ноги: несколько тесноват был левый ботинок. Ежась от этой как будто и ничтожной, но надоедливой все-таки боли, Полезнов не забывал глядеть вверх, не покажутся ли на крыше полицейские с пулеметом. И вот очень знакомый брандмауер, желтый, облупленный, остановил взгляд: недавно как будто видел точь-в-точь такой же.

— Это мы по какой улице идем? — спросил у Вечерухина, и тот еще только раздумывал, соображая, а он прочитал уже на углу, на табличке: «Новоисаакиевская...» — Постой-ка, а дом двадцать четвертый где?.. Ищи, где дом двадцать четвертый!

— На что тебе дом двадцать четвертый! Министр там, что ли, какой?.. Заарестуем!

— Не министр, а, понимаешь ли, львы там! — и сконфуженно немного и в то же время как-то обрадованно объяснил Полезнов.

Почему-то необычайно кстати показалось ему вспомнить в это ослепляющее утро о двух песочно-желтых зверях еще неполногривых, гибких, зеленоглазых, с хвостами, как змеи; об их хозяйке, тоже по-львиному гибкой, и об их хозяине — немце, который почему-то — для какой именно красоты? — носит седые подусники под черными, как сажа, усами...

Снова ставший каптенармусом 5-й роты 19-го пехотного Костромского полка, Полезнов оправлял кавалерийскую свою винтовку (она все сползала с шубы) и представлял еще в воротах дома двадцать четвертого ту девицу, которая подошла к нему смело и приняла его за хозяина львов, а потом в толпе высоким и сильным голосом пела непонятное... Как блестели бы теперь, под таким солнцем, ее драгоценные слитки!..

Две цифры эти — 2 и 4 — белые на синем, они красовались ярко в нескольких шагах справа; они встали на дороге непроходимо; они позвали, и он пошел.

— Тут,— сказал он таинственно Вечерухину.— Квартира третья...

— Львы?

— Львы!

Очень резко это короткое слово звякнуло среди тех, кто был ближе к Полезнову. Человека четыре еще, кроме него и Вечерухина, вошли в ворота. Вечерухин ворчал:

— Ну, хотя бы ж и львы... На кой они черт?

Но веселый подросток с румяным безбровым лицом, с револьвером на поясе,— он был за Полезнова,— крикнул:

— Как это на кой черт?.. А мы их с собой возьмем и пусть ревут!

— В Думу их! — не улыбнувшись, пошутил и долговязый рабочий.— Родзянку пугать...

А бородатый грузчик или молотобоец, человек очень плечистый и сутулый, загрохотал вдруг, тряся головой и взмахивая рукою: «Хо-хо-хо-хо! В понос его вогнать, чтоб войну кончал поскорее!..»

Это вздорно было: вдруг львы какие-то!.. Полезнов понимал это, и, понимая это очень ясно под все чеканящим солнцем, он все-таки резко позвонил в знакомую квартиру. Ту дверь, из которой три дня назад он стремительно выскочил на снег, он рассматривал теперь с некоторым волнением, как будто теперь, чувствуя винтовку за плечами, облечен он был непререкаемой властью и над немцем, и над его гибкой женою, и над обоими львами их — Жаном и Жаком.

И вот опять, как тогда, на четверть, на длину цепочки, приоткрылась дверь, но кто-то за дверью, увидев, должно быть, прямо перед собой блестящее дуло или коричневый приклад винтовки, вскрикнул тихо и хотел захлопнуть дверь. Однако державшийся за ручку двери обеими руками Полезнов не дал этого сделать.

Он, теперь каптенармус прежний, ярко вспомнил те мешки с хлебом, которые таскал (не так давно) на шестой этаж паровой мельницы, и как-то бездумно рванул дверь.

Цепочка лопнула; хозяйка львов, вскрикнув, бросилась в комнаты; следом за нею, уже приготовясь отшвырнуть немца, вскочил в ту самую комнату с оборванными обоями Полезнов.

— Постановление народной власти! — крикнул он строго.— Должны выдать нам своих львов немедля!

Женщина смотрела на него испуганно-пристально. Он видел — она узнала его. Она спросила тихо:

— Откуда у вас ружье?

Но тут отвлеклось ее внимание: в комнату вошли Вечерухин и румяный подросток.

Что она была одна в квартире, что немец искал, должно быть, все покупателя, а прислуга — мяса для львов, об этом догадывался Полезнов. Она куталась в платок, так как никто не затворил входной двери; на лице ее появились синие пятна, очень заметные теперь, когда солнце добралось и до этих окон нижнего этажа, выходящих во двор.

Вечерухин сказал густо:

— Давайте ваших, гражданка, львов, некогда нам!

— Их нет... У меня нет никаких львов! — твердо ответила женщина.

— Как нет? — возмутился Полезнов.

Он даже немалую неловкость почувствовал, как будто соврал этим своим новым товарищам, привел их сюда неизвестно зачем.

И в это время зарычало за дверью и зацарапало. Иван Полезнов радостно толкнул Вечерухина:

— Слышишь?.. Здесь они!.. Я правду говорил: здесь!

— Клетка у них как? На колесах? — спросил веселый подросток.

В это время, переводя глаза с Полезнова на Вечерухина, с Вечерухина на подростка, женщина объясняла почему-то с сильным акцентом, быть может, представляя, как сказал бы ее муж:

— Львы ест без клетка... Львы ест так!..

И срыву открыла дверь. И, как было уже с ним это три дня назад, Полезнов вздрогнул и попятился: Жан и Жак, заметно похудевшие за эти три дня, глухо и согласно рыча, взволнованно двигая кисточками хвостов, сделали было два-три шага и вопросительно остановились, озадаченные, должно быть, большим количеством чужих людей.

Вечерухин подался назад, тесня других и поспешно через голову снимая винтовку.

— Клетку дайте! — крикнул Полезнов, пытаясь тоже снять свою винтовку.

— Да нет у меня никакой клетки, вам говорят! — визгливо крикнула и женщина, и почудился ли одному из львов приказ в этом хозяйкином крике, но он поднялся вдруг на задние лапы и кинулся на Полезнова, как на врага, и сбил его с ног.

— Жа-ан! Жан, назад! — потерянно крикнула женщина, в то же время схватив другого льва за гриву и втаскивая в дверь.

Потом трудно уж было установить последовательность спутавшихся мгновений... Почти одновременно раздался вой испуганного Полезнова подо львом, упершим в него лапы, и выстрел Вечерухина, и тут же выстрелил из своего револьвера веселый безбровый подросток.

Одною пулей наповал был убит Жан, другою смертельно ранен в голову Иван Ионыч.

Когда его вынесли на двор и положили на снег, он был еще жив, он глядел, но глаза его были испуганно-тусклы. Откуда-то взявшийся молодой зауряд-врач посмотрел его рану, пощупал пульс и сказал:

— Ну, что же тут вообще делать?.. Убили, сейчас умрет...

Хозяйка львов стояла около, накинув на голову осеннее драповое пальто, и тихо плакала.

Долговязый рабочий выговаривал ей сурово:

— Вы что же это, гражданка, разве так можно? Диких зверей в комнатах у себя держите?..

— Какие же они дикие звери?..— оправдывалась женщина.— Они совсем не дикие, а ручные...

— Хороши ручные!.. Это львы-то!..

— Они ведь «горные львы» — леонберги... Они ведь собаки, только острижены подо львов... И, когда им прикажут не лаять, они не лают... И уши обрезаны, чтобы стояли... Это новая порода собак таких...

Иван Ионыч слышал, что она говорила, но он услышал еще больше: оставшийся в комнатах в одиночестве Жак, взобравшись на окно, завыл по-волчьи заунывно, протяжно и вдруг перебил собственный вой густым полновесным лаем... и снова завыл.

Брови Ивана Ионыча задрожали мелко, силясь подняться повыше от последнего изумления перед последним мошенничеством, перед последним обманом из тех, которые приготовила ему жизнь. Взгляд его на женщину — последний его взгляд — был непрощающе-укоризненным... Потом он закрыл глаза и крепко прижал подбородок к западающей груди.

— Как его фамилия? — кивнул на него Вечерухину подросток.

— Говорил он мне, забыл я... лесовая какая-то...— пытался припомнить тот и не мог.

Он чувствовал себя неловко все-таки, хотя и был уверен, что именно этот мальчишка всадил свою слепую пулю в голову человека, а совсем не он; да, конечно, так это и было.

— Послушайте... Как ваша фамилия? — склонился над раненым подросток.

— Э-э... с-с... Полезнов,— просипел, собрав последние усилия, Иван Ионыч.

— Бесполезнов!.. Записать надо! — сказал деловитый мальчик, вынул книжечку, карандашик и записал: «Бесполезнов».

А скоро все увидели, как Бесполезнов умер. Тогда кое-кто снял шапки, перекрестился. Постояли еще с полминуты, переминаясь, и пошли на улицу.

Через четверть часа, когда уже многие из жильцов дома успели разглядеть суровые черты убитого чужого в дорогой шубе (винтовку же его взял грузчик), появился несообразно высокий, скуластый, щетинистый человек в коричневом картузе и поддевке из бобрика, старший дворник дома номер двадцать четыре. Ему сказала женщина, хозяйка Жака:

— Вот несчастье какое!.. Пришли и своего же убили. Полиции надо заявить.

Но дворник ответил раздельно и уничтожающе:

— Ка-ко-й это та-кой полиции?.. Где теперь именно эта по-ли-ция?.. Нет теперь нигде ни-ка-кой полиции... Я — теперь полиция!

Он подобрался длиннейшими руками под тело Ивана Ионыча, прежде сняв с него шапку и сунув себе в карман, и понес его пред собою, откачнувшись, как охапку тяжелых дров, в дворницкую.

Там, вытянувшись и застыв, тело осталось в темном углу ждать могилы.

А на улицах, осиянных небывалым солнцем, революция сверкала, дыбилась, пенилась, рокотала, гремела и пела.

Алушта
Январь, 1931 г.

ВЕСНА В КРЫМУ

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Было утро 20 февраля 1917 года, когда художник Алексей Фомич Сыромолотов сказал за чаем своей молоденькой жене:

— Ну, Надя, сегодня я решил поставить точку. Свою «Демонстрацию перед Зимним дворцом» считаю вполне законченной. Ни одного мазка добавить к ней не могу и даже боюсь, чтобы не засушить.

— А что это значит «засушить»? — спросила Надя, некрупная, русоволосая, с голубыми спокойными глазами, начавшая уже убирать со стола лишнюю посуду.

— Вот на-а! Не знает, что значит «засушить»! — с виду как бы удивился Алексей Фомич.— Это значит переборщить, перемудрить, а в результате испортить картину... Начнет художнику казаться, что вот бы добавить еще такую деталь, а в ней, в этой детали, совсем никакой надобности нет, а есть только прямой вред: упрется зритель в нее глазами, и ее, эту деталь-то, он, конечно, разглядит, а целое упустит... Из-за деревьев леса не заметит! Из-за букашек и таракашек — слона!.. Каждая деталь должна в одну общую цель стрелять, а не раскорячиваться самовольно и неизвестно, зачем именно!

Алексей Фомич встал и сделал по столовой несколько медленных и тяжелых шагов, отчего зазвенели на столе стаканы, и, увидя, что Надя взяла в руки полотенце, чтобы начать мыть в полоскатель-чашке и вытирать посуду, взял ее за руку и сказал:

— Брось-ка это, Надя, и давай посмотрим на картину как посторонние люди, но-о... знатоки искусства! Такие, что пальца им в рот не клади,— откусят! Пома-

ши-ка вот так рукой перед глазами и свою привычку к картине смахни,— поняла?.. Ты теперь не ты, а какая-нибудь Фелицата Кузьминишна,— и не какая-нибудь так себе вообще, а тоже художница, вроде Виже Лебран, и можешь мне прописать ижицу!

— Не пойму, Алексей Фомич, что тебе еще от меня надо,— несколько недовольно сказала Надя,— я тебе, кажется, все сказала, что мне казалось нужным...

— Все?.. Вот как!.. А пер-спек-тива? — И Алексей Фомич покачал влево и вправо головой.

— Какая такая перспектива? — удивилась Надя, Алексей же Фомич почти испугался:

— Ты... жена художника... не знаешь... что называется перспективой?

— Ты мне никогда не говорил о ней,— защитилась, но покраснела Надя.

— Не говорил?.. Неужели не говорил?.. Значит, думал, что тебе это там, в твоей гимназии, говорил учитель рисования!.. А если он вам, девицам, не говорил, что такое перспектива, то почему же, спрашивается, его держали в гимназии? Что же это такое? Может быть, у тебя даже и чувства перспективы нет, а?

— Не знаю, есть или нет,— созналась Надя, сидевшая все еще с полотенцем в руках.

— Вот, например, что такое перспектива линейная,— так как есть еще и воздушная,— она касается красок. Видишь,— дверь: обе половинки закрыты... Какая фигура каждой половинки? Геометрию-то у вас преподавали?

— Прямоугольники это,— слегка вздохнув, не совсем уверенно ответила Надя.

— Прямоугольники,— очень хорошо!.. Хорошо, что не сказала: квадраты... А если эту половинку я открою, то какая фигура получится тогда?

И Алексей Фомич открыл дверь и впился испытующим взглядом в растерявшиеся от неожиданности глаза Нади.

— Какая же фигура может получиться из прямоугольника, кроме того же прямоугольника? — проговорила Надя.— Ведь это не из ниточки прямоугольник, а из доски.

— Та-ак! — очень пренебрежительным тоном протянул Алексей Фомич.

— Ты, кажется, вздумал меня расспрашивать? — и отвернулась недовольно Надя и от двери и от мужа, но приняться за мытье стаканов и блюдечек ей не удалось: Алексей Фомич поднял ее сзади под мышки, поставил прямо перед дверью и сказал не рассерженно, а спокойно:

— Смотри в оба и убедись, что не прямоугольник, а трапеция. Причем неравнобокая,— это тоже заметь.

— Почему трапеция,— не понимаю!

Так как это непонимание прочитал на лице жены Алексей Фомич еще раньше, чем она в нем призналась, то он вынул карандаш из бокового кармана тужурки и подал ей:

— Вот — меряй!.. Возьми его так, левый глаз прищурь и меряй заднюю линию двери и потом переднюю... Меряй внимательно, а не кое-как! Отметь ногтем на карандаше, где задняя, где передняя линия...

Надя внимательно поглядела на мужа,— не шутит ли,— потом, поняв, что не шутит, принялась измерять карандашом обе линии двери и, наконец, сказала удивленно:

— А ведь ты, Алексей Фомич, действительно прав!

— Как всегда!.. Добавь это: как всегда! Да, наконец, ты это и по верхнему углу могла бы заметить без всякого измерения... Видишь, куда он опустился сравнительно с передним углом? Вот это и есть закон перспективы: в науке — быть, а в искусстве — казаться!.. А профессор живописи Зорянко, чтобы вколотить в головы своих учеников законы перспективы, приносил в класс веревки и натягивал их на аршин от пола вперекрест, поперек и вдоль, чтобы получилось подобие паркета: сидите или стойте, но зарисуйте, что видите, в точности! А профессор Чистяков доказывал, что на исторической картине художника Лебедева «Боярский пир» человеку, который вносит на блюдах лебедя, совершенно нет места на полу: идет по воздуху!.. Вот что такое линейная перспектива! Быть и казаться! Быть и казаться!.. А если бы не было этого самого «казаться», то не могло бы быть и никакого искусства!

— Хорошо, перспектива,— но почему же так? — продолжала недоумевать Надя.

— Таково устройство нашего глаза. А как устроен наш глаз, это ты тоже должна была узнать в своей

гимназии. Хотя, конечно, можно представить, как у вас проходилась физика! Ну, после такого вступления пойдем в мастерскую!

Надя повесила было полотенце на стул, но в это время раздался оглушительный лай овчарки Джона, и оба они повернулись к окнам, выходящим на двор.

Джон был в передней, скреб лапой входную дверь и не переставал лаять, а на дворе показалась какая-то хлипкая, сутулая фигура явно духовного звания.

— Какой-то поп! — определила Надя.

— Да-а... Что-то в этом роде... Зачем же ко мне поп, раз я еще пока жив? — недоумевал Алексей Фомич.

— Я пойду его встречу, а ты, Алексей Фомич, уведи Джонни на кухню, а то кабы не порвал!

И оба пошли в переднюю, причем Сыромолотов бурчал на ходу:

— Может быть, это он с фронта и что-нибудь насчет Вани сказать хочет?

Фигура духовного звания оказалась дьяконом, по имени Никандром, приехавшим из городка на южном берегу.

У Сыромолотова недоуменно были подняты брови, когда дьякон Никандр объяснил ему, зачем он приехал.

— Понимаете ли, Алексей Фомич, несчастье случилось, икону нам один доброхот пожертвовал, большая икона и название имеет: «Христос у Марфы и Марии». Так вот, икона эта пострадала от свечки.

— То есть как пострадала? — спросил Сыромолотов.

— Так, стало быть, свечка наклонилась к иконе из подсвечника, а никто не доглядел. Тлел, тлел холст, и порядочный кусок сотлел.

— Позвольте, икона, вы говорите, а не то что это копия была с картины Генриха Семирадского. У Семирадского как раз и есть такая картина «Христос у Марфы и Марии». И должен вам сказать, что мне она нравится и по замыслу и по исполнению. Отлично передан там свет солнечный, южный, и сюжет хорош. Христос на ней — это, конечно, символ общедоступный и общепонятный. Мог быть и не Христос, а, например, философ Платон, или художник Леонардо да Винчи, или итальян-

ский поэт Торквато Тассо, или, наконец, Ньютон, Коперник, вообще человек духа, а не желудка. Мария сидит около ног Христа и его слушает, а сестра ее, Марфа, требует, чтобы она помогала ей по хозяйству. Тут единственный случай в жизни этой Марии, около ног ее лежит какой-то струнный инструмент, значит, она занимается музыкой. А тут не угодно ли идти помогать варить чечевичную похлебку. Исключительный случай в жизни, завернул в их хижину великий человек, и Мария не хочет пропустить ни одного его слова,— вот смысл этой картины.

— Мы ее освятили, Алексей Фомич, какая же она теперь картина, она икона,— и лицо дьякона Никандра стало вдруг строгим. Лицо это занимало Алексея Фомича тем, что челюсти на нем очень заметно шевелились и прихотливо вели себя в то время, когда говорил дьякон. Небольшие черные глаза дьякона теперь глядели на художника в упор, и, заметив это, Алексей Фомич спросил:

— Большой ли кусок холста истлел?

Дьякон отмерил на столе три своих четверти в высоту и две четверти в ширину.

— Так я должен восстановить это? — спросил Сыромолотов.— Картину я представляю, но вы не сказали мне, где это выгорело,— слева, справа, в середине?

— Это в левом углу,— сказал дьякон.

— А-а, это там, где голуби,— догадался Алексей Фомич.

— Истинно, где голуби. А это у прихожан любимое было место, куда они прикладывались.

— Ну да, ну да,— сказал Сыромолотов,— ведь голубь — это тоже символ святого духа, третьего естества троицы, значит, мне голубей надобно написать вновь на своем холсте, а потом мой холст пришить к картине, то есть к иконе. У меня где-то есть репродукция Семирадского, где-то в папке лежит, могу найти. И, пожалуй, даже если бы мне поехать с вами, я бы мог там, на месте написать голубей и сам пришил бы холст. Вообще сделал бы всю реставрацию.

Эти слова заставили дьякона Никандра просиять неподдельно.

— Вот бы обрадовали и наш причт, и прихожан наших,— он опять сделал ударение на «о». А Алексей

Фомич тут же поднялся и начал искать в шкафу папку с репродукциями картин.

— И неплохо то, что прихожане прикладываются к голубям, так как голубь — символ третьего лица троицы, святого духа... И то сказать, голубь-то летает, а человек в те времена только мечтал о том, чтобы летать.

— Времени я терять не привык, отец дьякон,— сказал Алексей Фомич, когда красочная репродукция с картины Семирадского была у него в руках.— Если ехать, так ехать. Угостить вас могу только чаем. Стали жить теперь скудно. И я даже удивляюсь, как это у вас остались свечи?

— Свечи? Да заготовили раньше, в начале войны. Ведь от свечей главный доход церкви, а потом даже делали и так: погорит, погорит свечка в подсвечнике — приказываем ее снять, среди службы снимает свечной староста, а потом продает как новую. Так одна свечка на несколько служб.

Не больше чем через час Алексей Фомич, условясь с дьяконом о плате за реставрацию иконы и взяв с собою все нужное, выезжал на извозчике из Симферополя. И в то время, как дьякон рассеянно глядел вперед, Алексей Фомич, как сухая губка воду, впитывал в себя холмистую местность, на которой кое-где пятнами виднелись небольшие стада коров.

— Давно не ездил тут. Это вы, отец дьякон, явились ко мне, должен вам сказать откровенно, очень кстати, и отдохнуть и встряхнуться мне было надо.

Когда начали спускаться с перевала, внимание Алексея Фомича приковала к себе гора Екатерина, на которой искусством самой природы как бы был поставлен памятник Екатерине II, в царствование которой Крым был присоединен к России. Когда же доехали до памятника Кутузову, Алексей Фомич, как ни спешил к месту работы, попросил дьякона остановиться.

— Поймите,— говорил он,— ведь именно тут, в этих местах было сражение Кутузова с десантным отрядом Гассана-паши. Здесь он получил свою знаменитую рану в голову. Вот, может быть, под этой двухсотлетней дикой грушей он и лежал раненый. А Екатерина с горы своего имени на него глядела.

Алексей Фомич за все время остановки ходил между деревьями, стремясь вообразить и представить, где тут

могли быть отряды русских солдат и где турецкие десантники в своих красных фесках.

— Именно сюда,— говорил он дьякону Никандру,— я и приехал бы писать этюды для картины, если бы такую картину задумал. Какая обстановка, поглядите, поглядите-ка хорошенько!

Дьякону пришлось напомнить Алексею Фомичу, что надо ехать, до того он увлекся.

Так как в городок приехали еще засветло, то Алексей Фомич решил тут же приступить к делу, и дьякон отворил для него церковь.

— Плохо освещена картина,— сказал дьякону Алексей Фомич,— но даже при таком освещении, должен вам сказать, копия сделана отлично. Можно пожелать мне, чтобы копии с моих картин делались бы так же талантливо.

Только после этого он начал ковырять пальцами то, что истлело, и примерять привезенный им кусок холста.

— Кстати,— сказал он,— я думал, что меня встретит ваш священник.

— Отец Виталий болен, лежит. Я не говорил об этом, лежит, вы уж извините,— заторопился дьякон.— Он бы и сам поехал к вам, да разболелся. Вы уж извините, Алексей Фомич.

— Охотно, очень охотно извиняю.— И тут же, вынув из ящика палитру, кисти и краски, Алексей Фомич начал копировать с репродукции голубей.

2

— До того, как настанут сумерки, я, пожалуй, этих голубей напишу,— говорил дьякону Алексей Фомич.— По готовому образцу,— отчего же не написать. Три сизых, один светло-коричневый. В естественную величину написал их Семирадский, хотя они и не на первом плане. Погрешность его против линейной перспективы.— Ну, так и быть: поправлять его не намерен.

— Вот как, Алексей Фомич! — обеспокоился дьякон Никандр.— Так вы, значит, ошибку тут находите?

— А как же! Ошибка, конечно... Поглядите на Марфу: далеко ли стоит она от голубей, а какая маленькая

фигурка! Если голуби в естественную величину, то и Марфа, и Мария, и Христос только чуть-чуть меньше своей естественной величины.

— Гм... Вот ведь как один художник судит другого, а мы, как бараны, ничего не замечаем,— до того опечаленно проговорил дьякон, что Сыромолотов решил успокоить его:

— Это — пустяки,— то ли еще бывает по недосмотру! А вот я должен писать тонкими кистями, чтобы не получилось больше, чем надо. Да еще, должен вам сказать, прибегаю к сиккативу, чтобы к завтрашнему утру краски высохли,— иначе как же я пришью свой кусок холста? Между прочим, и цыганскую иголку и суровые нитки для этого я захватил из дому, так что об этом не беспокойтесь.

В это время в церковь вошла молодая красивая женщина, одетая просто, но не бедно, с черными страусовыми перьями на шляпке, с высокой открытой белой шеей.

— Привезли Алексея Фомича? — оживленно обратилась она к дьякону.— Вот как хорошо получилось.— И тут же обратилась к Сыромолотову: — Здравствуйте, Алексей Фомич!

— Простите, я... Откуда вы знаете мое имя и отчество? — пробормотал Сыромолотов.

— Все знают, не только я,— продолжала вошедшая.— А я — виновница того, что часть иконы истлела: у меня была свечка, осталась еще от похорон отца полковника,— десятикопеечная, длинная, с золотой канителькой... Я ее поставила перед любимой своей иконой, да, значит, она не вошла как следует в подсвечник и наклонилась... А другие свечки в этом подсвечнике были все маленькие, огарки. Я же и заметила, что икона горит, кинулась поправлять свою свечку,— оказалось, что поздно. Я же посоветовала вот отцу дьякону к вам обратиться.

— Это верно,— поддержал ее дьякон.— Наталья Львовна наша прихожанка, она нас надоумила,— верно!

— Но, прошу меня извинить,— времени у меня в обрез,— я должен писать и стоять к вам спиною,— проговорил с досадливыми нотками в голосе Алексей Фомич.— А слушать вас я, конечно, могу...

— Нет, нет, что вы! — замахала рукой Наталья Львовна.— Я совсем не хочу вам мешать! Я зашла потому только, что дверь была открыта... Сейчас уйду!

И она действительно направилась к выходу, а за нею пошел дьякон, говоря на ходу:

— Как же это я дверей не закрыл, разиня! Ведь так и еще кто может зайти, кого не нужно совсем.

Когда он вернулся, Алексей Фомич спросил:

— Кто эта дама?

— Жена одного тут подрядчика — Макухина... Свой дом у него, а сам он на военную службу в начале войны взят... Пока что бог милует, жив... А полковника, отца ее, действительно у нас на кладбище похоронили,— в цинковом гробу его привезли... Потом и мать слепую ее мы отпели,— так что осталась теперь она одинокой.

— Дда, видно, что военная косточка: походка четкая, строгая,— заметил Алексей Фомич.

— Осталась тут, возле паперти: говорит, что дождется, когда вы выйдете.

— А-а! Какие-то, стало быть, виды на меня имеет? Та-ак! — протянул Алексей Фомич.— Может быть, желает пригласить меня поужинать,— что же, я не прочь... Да и вам, отец дьякон, вреда это не принесло бы...

— Ну, теперь редко кто кого в гости зовет,— усомнился дьякон, но Сыромолотов оказался прав: только что оба они вышли из церкви, когда стемнело, они увидели Наталью Львовну, которая сказала, обращаясь к Сыромолотову:

— Вы где будете сегодня ужинать, Алексей Фомич?

— Да вот, в самом деле,— улыбнулся ей Алексей Фомич.— Я полагал, что вот отец дьякон что-нибудь приготовил в этом роде.

— Ну что вы! У отца дьякона семья, и где же у него там? Нет, уж раз я виновница вашего беспокойства, то вы ко мне и идите. Много обещать не могу, конечно, не то время, но что-нибудь заморить червячка у меня найдется. Идемте без разговоров!.. И вы, отец дьякон!

Дьякон вопросительно поглядел на Сыромолотова, и Алексей Фомич понял, что отказываться от приглашения поужинать было бы, может быть, даже оскорбительно

для этой одиноко живущей молодой женщины, и не больше как через десять минут он входил уже, вместе с дьяконом, в просторный дом подрядчика,— ныне каптенармуса одного из пехотных полков на фронте, Макухина.

Без проволочек сели за стол, покрытый белой клеенкой, и когда прислуга Натальи Львовны Поля, низенькая круглая женщина, глядевшая серьезно и исподлобья, принесла из кухни что-то дымящееся, дьякон вполголоса, хрипуче обратился к Наталье Львовне:

— Свечка десятикопеечная у вас, вы сказали, залежалась, а может, и бутылочка винца от хороших времен, а?

На это Наталья Львовна только развела руками, и дьякон горестно выдохнул:

— Эхх! Всех нас доняла война эта!

— Чтобы вас утешить, отец дьякон,— сказал Алексей Фомич,— полагаю с большой вероятностью, что скоро вина польются реки.

— Почему это вы так полагаете? — очень оживился дьякон.

— Да по той простой причине, что скоро у нас начинается революция... как это было в девятьсот пятом.

— Это что же,— вы так думаете, Алексей Фомич? — приостановилась раскладывать жаркое на тарелки Наталья Львовна, а дьякон только открыл изумленно рот.

— Очень многие теперь так думают,— уверенно ответил Сыромолотов.

Дьякон поглядел на него с затаенным лукавством в глазах и обратился к Наталье Львовне:

— Не допустят теперь такого, как в девятьсот пятом!

— А убийство Распутина допустили же! — заметил на это Алексей Фомич.— И кто же были убийцы Распутина?— Великий князь Дмитрий Павлович, князь Юсупов, царский родственник, и Пуришкевич — члены Государственной думы, правой, а не левой!

— Так вы думаете, значит Алексей Фомич,— упавшим уже голосом начал было дьякон, но Сыромолотов перебил его своими прежними словами:

— Не я один,— очень многие так думают.

3

Когда собрался уходить дьякон, он обратился к Наталье Львовне:

— Как скажете, так и сделаю: скажете — увести Алексея Фомича — уведу, у меня переночует, а скажете — оставить, то оставлю.

— Конечно, конечно, Алексей Фомич, вы у меня и заночуете! — кинулась к Сыромолотову и взяла его за руку Наталья Львовна.— Где же вам у отца дьякона ночевать? Совершенно негде! Разве я не знаю его квартиры? У меня, у меня, разумеется: дом большой и весь пустой.

— А может быть, лучше будет, если в гостинице? — в сторону дьякона сказал Алексей Фомич.

Но дьякон замахал руками:

— В гостинице! Чтобы деньги зря тратить! Ведь не вы будете платить, а мы должны,— приход; мы же люди вообще бедные, и у нас каждая булавка на счету!

— Вам здесь хорошо будет, вы увидите,— заснете, как у себя на даче!

— Вам неудобство доставлю, Наталья Львовна,— вот я о чем...

— Никаких решительно! Я даже гордиться этим буду, что вам случилось ночевать в моем доме!

Тут дьякон простился и с художником и с хозяйкой дома и решительно направился к выходной двери.

— Я ведь и с вашим сыном знакома, Алексей Фомич,— радостно сказала Наталья Львовна, подходя к Сыромолотову с папиросами.

— Не курю, спасибо! — отодвинул коробку Алексей Фомич.— С сыном моим? Где же и когда же это? Сын мой вот уже с самого начала войны взят в ополчение, а не так давно был тяжело ранен...

— Не-у-же-ли тяжело ранен? — вскрикнула Наталья Львовна с такою острою болью в голосе, как будто ранена была сама.

— Да, писал, что тяжело и что дают ему какой-то «бессрочный отпуск», а это значит, что не полная отставка, но все-таки к строевой службе считается уже не годен.

— Вот как! — глухо отозвалась она и жестом, повторившим жест Сыромолотова, отодвинула от себя короб-

ку с папиросами, добавив: — Я тоже совсем почти перестала курить после смерти моей матери. А с вашим сыном я познакомилась здесь, в Симферополе, в больнице.

— В больнице? — удивился Сыромолотов.— Когда же он лежал в больнице? Что вы?

— Лежал в больнице не он,— поспешила объяснить Наталья Львовна,— наш общий с ним знакомый. И ваш сын, и я — мы в один час приехали в больницу его проведать,— поэтому и познакомились. Богатырь такой показался мне тогда он, ваш сын, и вот...

— И вот искалечен,— закончил за нее Алексей Фомич,— и уж едва ли будет теперь художником.

— Будем надеяться на лучшее...

— Надеяться никому не воспрещается. Надеюсь и я, что вы мне покажете комнату, где будет моя постель.

Постель оказалась уже заготовлена в комнате, которую Сыромолотов сразу признал уютной и располагающей к крепкому сну.

— Может быть, вам какую-нибудь скучную книгу дать, Алексей Фомич, чтобы вы поскорее заснули на новом месте? — предложила Наталья Львовна.

— Зачем? — удивился Алексей Фомич.— Нет, я имею свойство засыпать сразу, чуть голова моя коснулась подушки.

— Хорошо, что вы мне это сказали, а то я могла бы говорить с вами до полночи: здесь ведь говорить не с кем. В таком случае — покойной ночи!

И Наталья Львовна ушла к себе в спальню, а Алексей Фомич, хоть и казалось ему, что он рано заснет, довольно долго перебирал в мозгу впечатления этого неожиданного для него дня, причем воображение его, как художника, больше всего занимала молодая женщина с высокой шеей и красивыми, но тоскующими глазами.

И он даже пожалел о том, что как-то очень круто и поспешно напомнил ей, что ему хочется спать с дороги, она же, видимо, хотела высказаться, так как говорить здесь о своем ей было не с кем.

Встал он, чуть рассвело, и тут же после чая поспешил в церковь, чтобы пораньше закончить свою работу.

Прощаясь с Натальей Львовной, он сказал ей, что больше уж некогда ему будет зайти в ее дом: прямо после того, как закончит реставрацию иконы, поедет к себе домой.

— А вот вы, если будете в Симферополе, милости прошу, заходите ко мне,— закончил он и увидел, как эти несколько слов обрадовали ее, как она вся засияла. Это неподдельная радость тронула Алексея Фомича, и он еще раз сказал:

— Прошу, прошу! Загляните!

К церкви он подошел одновременно с дьяконом. Сиккатив помог закрепленному с вечера холсту высохнуть. Сыромолотов теперь, пользуясь цыганской иглой и суровыми нитками, аккуратно пришил привязанный им кусок холста к картине.

— Это — самое важное, отец Никандр,— самое важное. Нитки потом я замажу, и никто, издали глядя, не догадается даже, что здесь была зияющая прореха,— говорил Алексей Фомич, делая частый шов.

Голуби, уже наполовину сделанные, теперь, при дневном свете были как живые.

Без особых усилий закрепил потом Алексей Фомич уже в раме холст ниже голубей — глинистую золотую землю и узкий черный кувшин на ней; а к полудню садился уже на линейку извозчика, снабженный на дорогу куском серого хлеба и вареными яйцами.

Уже смеркалось, когда пара плохо кормленных извозчичьих коняк довезла Сыромолотова до его дома на Новом Плане.

4

А Надя после того, как уехал Алексей Фомич, была в большой тревоге.

Она началась с того, что к Наде пришла мать ее, Дарья Семеновна. Прямо с прихода спросила она:

— Куда это Алексей Фомич поехал с каким-то попом?

— А ты, мама, разве видела его, как он поехал?

— Правда, значит? Вот видишь! Это мне один странный человек сказал,— плотник он. Заходил работы спрашивать... Что плотник, то он не врал,— он же гроб обновлял, как мы деда своего хоронили, так же и здесь

у Алексея Фомича, говорит, работал что-то; очень странным мне показался, вот я и пошла к тебе.

Надя вспомнила день похорон своего дяди, которого все называли дедом за его большие года, вспомнила и плотника, которого Алексей Фомич называл Егорием, и даже жену его Дуньку,— они оба шли за гробом на кладбище тут же позади ее.

И вдруг сильный лай Джона заставил ее поглядеть в окно: этот самый плотник Егорий шел вихлястой походкой от калитки к дому.

— Вот он! Этот самый! И сюда пришел? — почти завопила Дарья Семеновна, а Надя, держа за ошейник Джона, отворила форточку и крикнула, стараясь перекричать лай:

— Вы кто такой? Вам чего нужно?

Подойдя к самому дому, как бы затем, чтобы заглянуть в комнату, Егорий снял картузик с маленьким козырьком.

— Вы что же это не ждете, когда вас позовут, а ходите набиваетесь? — едва сдерживая Джона, выкрикнула Надя.

— Волка ноги кормят,— вкрадчиво ответил Егорий.

— Нет у нас никакой работы!.. И, пожалуйста, уходите сейчас же, а то я собаку не удержу!

Джонни действительно так и рвался к окну, и Надя боялась, что он кинется, разобьет стекло и выскочит на двор.

Егорий же как бы только хотел убедиться, что Алексей Фомич еще не приехал, а убедившись, шлепнул на голову картузик, примял его рукою и сказал:

— Ну, тогда прощевайте! — и той же неспешной вихлястой походкой пошел к калитке.

Наде показалось, что не спешил уходить он потому, что очень внимательно оглядывал двор. Можно было подумать, что плотник высматривает, что тут обветшало, к чему мог бы он приложить свои руки, но и Дарья Семеновна и Надя многозначительно глядели одна на другую, и чуть только затворил за собою калитку Егорий, Надя вышла, все еще держа Джона за ошейник, и заперла калитку на замок.

А когда вернулась, Дарья Семеновна сокрушенно говорила ей:

— И как это Алексей Фомич мог так поступить необдуманно — взял да уехал на два дня, а тебя одну оставил в такое время! За два дня-то мало ли что случиться может? Вот пускай-ка вернется, я ему не смолчу, я ему напою, что нельзя так! Диви бы молоденький, а то ведь седьмой десяток пошел... Плот-ник!.. Он сегодня — плотник, а вчера был острожник, а на завтра в каторжники метит...

И весь этот день, когда ушла к себе Дарья Семеновна, Наде было очень как-то жутко оставаться одной, а когда настала ночь, она все время ждала, что вот-вот оглушительно залает Джон. Только когда забрезжило в окнах утро, она заснула, и в этот новый день держалась она как в осаде: калитку открыла только для Дарьи Семеновны. Она приходила попенять зятю за его легкомыслие, но ушла, его не дождавшись.

А Сыромолотов приехал веселый, возбужденный поездкой, очень далекий от всяких женских страхов и сказал: «С заработком», который был не лишний в их уже оскудевшем хозяйстве.

Когда Надя подробно рассказала ему о приходе без него Егория, он не придал этому никакого значения, лишь сказал:

— Жена его, Дунька, сама мне сказала, за какую «политику» сидел он в тюрьме: «За тую политику, какая «иржеть»,— то есть за конокрадство. Но, имей в виду, одно — воровская специальность конокрадство, а совсем другое — грабеж. Не знаю, есть ли у него достаточный в этой области опыт.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Когда утром на другой день — это было 27 февраля,— Алексей Фомич смотрел на свою картину, он смотрел уже не прежним своим глазом, а новым, всем тем, что он видел во время поездки: и горами, и морем, и целым приморским городком. Даже и все люди, какие встречались ему,— не только дьякон Никандр и Наталья Львовна,— все толпились тут около него в его доме: ведь картина должна быть выставлена для всех.

Разумеется, нечего было и ждать, чтобы хоть один человек из публики в красках и линиях картины увидел то, что вложил в нее и видел автор картины.

Да и можно ли вообще кому бы то ни было, за короткое время обзора картины, заметить и вобрать в себя все, что вкладывалось в нее художником изо дня в день за годы? Ведь каждый штрих, каждый мазок картины — это мысль художника, выношенная им в одиночестве: не с кем делиться ему этими мыслями, пока он пишет.

Пусть хотя бы только это одно: ушел зритель из выставочного зала и унес с собою те образы, что остались в его восприятии от картины. Больше ничего и не нужно: он разберется в картине потом, у себя дома.

Но когда Сыромолотов дошел до выставочного зала и зрителя, неожиданно возник вопрос: где же можно было выставить такую картину теперь, когда царь все еще царствует и война все еще идет. Ведь его «Демонстрация перед Зимним дворцом» с первого же взгляда на нее будет всякому царскому чиновнику полиции напоминать 9 января 905 года, когда поп Гапон привел толпу безобидных рабочих к Зимнему дворцу, где их встретили залпами!

Это ничего не значит, что автор этой картины всячески отклонялся от «9 января», что он стремился отыскать вечное во времени,— этого не поймут, этого не захотят и понимать. Просто сделают то, что привыкли делать с «нецензурными» произведениями.

Подобные мысли скопились в Алексее Фомиче до того густо, что он не пригласил уже Надю в этот день для окончательного просмотра картины.

А часа в четыре, когда уже начало смеркаться, в калитку ворвался одержимый бешеным восторгом мальчишка-газетчик с красными листами телеграмм, только что выпущенных местной газетой, и пронзительными криками:

— Рево-люция в Петрограде! Революция в Петрограде!

И первым, кто в доме Сыромолотова громогласно приветствовал это известие, был Джон, умная овчарка, когда-то купленная Алексеем Фомичом.

Навстречу подбежавшему мальчику Алексей Фомич приоткрыл окно, но когда хотел взять у него три листа телеграмм, маленький газетчик сказал строго:

— Довольно одного. Другим тоже надо!

И побежал к калитке.

Эта стойкость мальчика, которому не так было важно, что он раздаст все данные ему телеграммы, как то, что он обрадует побольше людей, очень понравилось Алексею Фомичу, и, передавая красный лист Наде, он сказал:

— Заметил я, что война эта заставила очень многих у нас, особенно из молодежи, зна-чи-тельно поумнеть! Читал я где-то, что во время французской революции, какую называют «Великой», парижские извозчики в ожидании седоков читали газеты. Не думаю, чтобы нынешние петроградские занимались этим, но вот новое поколение появилось,— вроде мальчишки-газетчика,— приходи, кум, радоваться! Умнеют люди от каждой большой войны,— вот мой вывод, и дойдут когда-нибудь до того, что выкинут всякие войны из обихода их жизни!

2

— Ну вот,— весело говорил Наде Алексей Фомич,— теперь вполне беспрепятственно могу я выставить свою картину! Вовремя, значит, я ее закончил.

— Только что против истины погрешил,— заметила Надя: — Зимний дворец в телеграммах совсем не упоминается: без него обошлись.

— Да ведь царя не было в Зимнем,— он уехал в Ставку... А Зимний или какой другой дворец без царя — что же он такое? Просто огромное здание, прочно построенное.

— Все-таки, Алексей Фомич, имей в виду, что публика вернисажа будет говорить: «Не так произошла революция!»

— Да ведь я не иллюстрацию на тему дня выставлю, а картину, то есть произведение искусства! — горячо возразил Алексей Фомич.— Так на мой холст и надо будет смотреть.

Однако Надя не сдавалась:

— Я ведь не о том говорю, как ты сам смотришь на картину и как я на нее смотрю, а как посмотрит на нее провинциальная публика! Кто тут у нас понимает искусство так, как понимаешь его ты?

— Так что же,— в Петроград мне везти картину?

Алексей Фомич прошелся по комнате и добавил:

— Пожалуй, ты права, картину оценить смогут только в Петрограде, а не здесь, но... будут ли исправно ходить теперь поезда? И можно ли будет в обстановке, какая теперь сложится, довезти картину целой до Петрограда?

— Я думаю, что надо подождать, а не с места в карьер,— решительно отозвалась на это Надя.— Поедем в Петроград,— тут у нас все ограбят... То была полиция, а теперь кто будет?

— Да, в самом деле,— ведь теперь должны быть поставлены везде новые люди, а тем более в полиции! Эта полиция давно уже засела всем революционерам в печенки... Подождать, говоришь? Подожду, что ж... Надо оглядеться, это так.

И Алексей Фомич оделся и вышел из дому, обещав, впрочем, жене, что пройдется только по своей улице и дальше уходить не будет.

3

Выйдя из калитки на улицу, Алексей Фомич даже остановился в изумлении: первый, кого он увидел, был плотник Егорий. Он шел именно по той стороне улицы, где стоял дом художника, и художник вспомнил рассказ своей жены о ее страхах и дневных и ночных.

Поровнявшись с Сыромолотовым, Егорий снял картузик и проговорил, как заученное:

— С революцией поздравляю, барен! Как вы есть сознательный елемент, хотя, конечно, из буржуазного сословия...

— Спасибо,— революция всем нам нужна,— ответил Алексей Фомич,— а вот заходить ко мне на двор, зная, что меня нет дома, вам бы не следовало.

Егорий насторожился и отозвался не сразу:

— Работенки, конечно, искал,— слова нет,— как она сама с неба нашему брату-голяку не свалится.

— А почему же вы допытывались, куда это и надолго ли я уехал? «С каким-то попом»? Значит, вы это видели?

— Глаза, когда смотрят, не закажешь, чтобы они, например, не видели,— теперь уже заносчиво сказал Егорий.

— Это что же вы, следите, что ли, за мной вроде шпика? Кто же это вас ко мне, хотелось бы знать, шпиком приставил?

— Шпи-ком? — так и дернулся Егорий.— Шпики же эти вчерашний день еще были, а нынче их уж и духузвания не должно быть!

— Однако у вас как будто и занятия никакого нет больше, как по этой улице фланировать!

— Да ведь как сказать, барен, никакому человеку воспретить нельзя, где ему ходить... С тем прощевайте!

И пошел дальше, а Сыромолотов стоял около своей калитки, смотрел ему вслед, пока он скрылся в переулке.

Конечно, ничего еще не изменилось здесь, на тихой улице очень отдаленного от столицы южного города, потому только, что в Петрограде началась революция, но художнику уже представлялись какие-то невнятные пока еще отзвуки, отголоски, течения в воздухе.

Даже как будто тише, чем обычно, была тихая улица, по которой вихрем пронеслись мальчишки-газетчики с красными листами телеграмм.

Алексей Фомич представил этот красный вихрь по всем улицам города и неминуемую ошеломленность у всех людей, хотя и ожидавших, что революция должна непременно совершиться.

Небольшая, шедшая поспешной семенящей походкой старушка встретилась Алексею Фомичу на перекрестке улиц: это была его теща Дарья Семеновна.

— Ах, как я рада! Ах, как рада! Даже и сказать не могу,— заулыбалась она полубеззубым ртом.

— Вы тоже рады? Вот как! — несколько недоверчиво протянул Сыромолотов.— Революции рады, а?

— Ка-кой такой революции? — испугалась Дарья Семеновна, и улыбка ее сразу померкла.— Вам рада, что вы приехали, а об какой это революции вы сказали?

— В Петрограде!

— В Петро-гра-де? — И по ее округлившимся испуганным глазам Сыромолотов увидел, что красные телеграммы до нее не дошли.

— Несколько телеграмм на отдельных листах выпустила пока газета.

— И что же там, в телеграммах?

— Народ вышел на улицы... Главным образом женщины... и кричат: «Хлеба!..» Работницы фабрик и заво-

дов... матери семейств... Детей-то кормить им надо, а хлеба нет: довоевались! Довоевались до того, что кормить людей нечем стало.

— Ну вот! Женщины! Их и расстреляют! — сказала Дарья Семеновна.

— А кто же будет их расстреливать, когда солдаты от этого отказались? Что же, солдаты звери такие, что в своих матерей и жен стрелять будут?

И Алексей Фомич сжал свой крепкий кулак и потряс им в воздухе по направлению на север.

4

Как этот, так и несколько последующих дней Алексей Фомич жил всем своим существом не в своем городе, а там, в Петрограде, где вот именно теперь, как ему ясно представлялось, он мог выставить свою картину. А так как без дела проводить время он не мог, то делал наброски карандашом: толпы народа посредине чинных улиц столицы.

Он как бы делал зарисовки с натуры, до того отчетливо представлялись ему и опрокинутые народом вагоны трамвая, и пылающее здание суда на Литейном проспекте, и арестованные министры, и генералы, которых на грузовиках везли к Государственной думе.

Прочно обрадован был он, когда узнал об отречении Николая II на станции Дно, под Псковом.

— И название станции-то какое, а? — почти кричал он, обращаясь к жене: — Точно нарочно придумано для этой страницы истории! Дошел до дна! До дна, куда успешно тянул его в последние годы Распутин! Станция Дно! Ну, как хочешь, а исто-рия, она часто бывает неожиданно остроумна! Утонул в этой страшной войне и дошел до «Дна»! Ниже уж некуда,— конец! И теперь пока просто полковник Романов!

Сыромолотов теперь читал все газеты, какие мог достать в ближайшем газетном киоске.

Однажды, в начале марта, к нему подошел плохо одетый, но с тонкими чертами лица юноша. Глядя на художника проникновенно, он подал ему свернутую почти в комок газету и сказал:

— Вы вот нашу «Правду» почитайте, Алексей Фомич, а из буржуазных газет что же вы узнаете?

— «Нашу «Правду»? — повторил недоуменно Сыромолотов.— Это что за газета?

— Газета нашей партии большевиков,— объяснил юноша.

— А-а! «Нашей партии большевиков»,— снова повторил его слова Сыромолотов.— Значит, вы — партия большевиков? А почем вы знаете, как меня зовут?

— Ну, кто же у нас тут этого не знает? — даже как будто обиделся юноша.— Тем более я должен знать, так как мой покойный отец — доктор Худолей — вздумал как-то перед войной устроить пансион в доме сына вашего, Ивана Алексеича.

— А-а! Вот вы кто!.. То-то я смотрю на вас и думаю, что как будто где-то видал...— Алексей Фомич подал Коле Худолею руку, добавив при этом:

— Он тяжело ранен, мой сын... Но мне послышалось, что вы сказали «покойный отец»... Это что же значит? Умер или убит на фронте?

— Убит... И там где-то схоронен... А я приехал домой из ссылки только вчера... И я в доме Ивана Алексеича успел побывать,— там в нижнем этаже теперь опять как будто пансион для дураков.

— Да, на дураков моему Ване везет! — улыбнулся Сыромолотов.— Когда он уезжал, то нотариусу оставил доверенность на продажу дома, но тот решил дома не продавать: дескать — это «реальная ценность», а деньги теперь — одна видимость, и вот сдал кому-то весь нижний этаж с кухней. Я к сыну в дом, признаться, не заходил... Так дураки, вы говорите, там поселились?

— Полнейшие! — с живостью ответил Коля.

— Значит, такова уж судьба этого нижнего этажа, чтобы кто умный там и не поселился,— заметил Алексей Фомич и добавил: — Вот вы — партиец, и, значит, вам книги в руки. Скажите,— образовалась ли у нас в городе какая-нибудь власть?

— А как же! Известно со времен Ломоносова, что природа тел не терпит пустоты! — бойко сказал Коля.

— Из кого же она образовалась?

— Там теперь всякой твари по паре... Есть эсеры, есть меньшевики, есть кадеты... Только большевиков нет...

— Вот как! — удивился Алексей Фомич.— А почему же собственно нет?

— Мы пока под запретом! — и Коля Худолей приложил к губам указательный палец.— Но погодите, погодите, голубчики,— вдруг преобразился он.— Вот приедет наш Ленин, и тогда все будет по-другому.

— А-а! — протянул Сыромолотов.— Так что партия партией, а... как бы это сказать...

— Вождь вождем,— договорил за него Коля.

— Вождь вождем?

— Разумеется! Наша партия большевиков имеет гениального вождя, а где же подобные вожди в других партиях?

— Так, так... Так, так... гениальный вождь, вы сказали... А где гений, там и победа... Так всегда бывало в истории.

Говоря с Сыромолотовым, Коля Худолей понемногу отходил от киоска, и Алексею Фомичу приходилось двигаться тоже. Наконец, он заметил:

— Вы как будто боитесь, чтобы кто-нибудь вас не подслушал?

— Отчасти, конечно, в этом есть привычка подпольщика, а отчасти — ведь пока что все другие партии смотрят на нас, большевиков, косо и в Советы нас не

пускают... По крайней мере, здесь в Симферополе... А как в других местах, я точно не знаю.

На перекрестке двух улиц, до которых дошли Алексей Фомич и Коля Худолей, сидела пожилая женщина в очках, а перед нею на скамеечке возвышалась корзина с пирожками, прикрытыми вышитым полотенцем. Остановившись, Коля так приковался глазами к пирожкам, что Алексей Фомич спросил его:

— Позвольте-ка: а вы не хотите ли есть? Случается это иногда с людьми.

— Очень! — признался Коля.— Мать меня кормить не может, а работы я пока никакой не нашел.

— Ну-ка, берите, сколько сможете скушать,— сказал Сыромолотов, доставая кошелек, и добавил: — Это я вам плачу за вашу газету «Правда».

5

Прошло еще несколько дней, пока Алексей Фомич укрепился в мысли — сходить в бывшую городскую управу, где теперь был городской Совет рабочих депутатов: не помогут ли ему выставить картину.

— Ведь эта картина — не мое только личное, частное дело,— говорил он Наде,— а общественное. Картина совпадает с событиями и всем будет вполне понятна...

— А не спешишь ли ты, Алексей Фомич? — подумав, сказала Надя.— Что-то подозрительно тихо у нас: повесили везде красные флаги, заменили полицию милицией... Кое-кто взял власть, но...

— В неопытные руки,— вставил Алексей Фомич.

— А когда же они стояли у власти?

— Ну были бы головы на плечах... Мужик сер, да ум у него не волк съел. А мне почему-то кажется, что теперь самое подходящее время для выставки. Пока тихо, а вдруг начнется борьба политических партий за власть,— и тогда уж будет широкой публике не до картины. Вообще отчего не попытаться? Может быть, как раз попадется мне человек, что-нибудь понимающий в искусстве, отведет помещение и даже, может быть, закажет в типографии афиши...

— Попробуй,— согласилась, наконец, Надя, и он пошел в горсовет.

В знакомое ему здание бывшей городской управы, теперь украшенное длинными и широкими полотнищами кумача, Сыромолотов входил с сознанием своего достоинства, как большой художник, честно и во всю силу своего незаурядного дарования трудившийся в течение двух с половиной лет.

В коридор выходили двери нескольких кабинетов, причем на дверях, обитых черной клеенкой, были плотно приклеены, а где уже болтались, бумажки с надписями от руки, что это за кабинеты.

В коридоре было пусто, спросить было не у кого, и Сыромолотов, остановившись перед дверью с надписью «Зав. культ. просвет. отделом», отворил ее. За столом сидел и читал какую-то длинную бумагу небольшой, черноволосый, молодой еще человек, с весьма нахмуренным лбом и маленькими глазками, которые очень злобно уставились на вошедшего.

— По всей видимости,— начал Алексей Фомич,— к вам именно должна относиться моя просьба: отвести мне в центре города зал для выставки моей большой картины...

— Ка-а-ак? — выкрикнул фальцетом черноволосый человек, воззрившись на художника агатово-черными глазами и изобразив полнейшее недоумение на худощавом длинном лице.

— Я — художник, написал картину «Демонстрация перед Зимним дворцом» и хотел бы показать ее народу, ныне уже свободному,— объяснил Алексей Фомич и думал, что теперь все стало уже понятным для этого странного человечка.

Однако человечек заерзал на стуле, точно его кололи булавками снизу, и завопил еще более высоким фальцетом:

— Ка-а-а-ак? — Черноволосый и не закрыл после этого рта, как бы приготовясь выкрикивать еще и еще это начальственное «как».

И это «как» точно подбросило Алексея Фомича, и он выкрикнул в свою очередь:

— Ка-ак-ать иди в другое, более подходящее место, а здесь городской Совет, учреждение официальное! Понял?

И, круто повернувшись, ушел, хлопнув дверью. Теперь, когда он шел по коридору к лестнице, шаги его были тверды, четки и даже быстры. Совершенно взбешенный Сыромолотов столкнулся тут же у кабинета, из которого он только что вышел, с молодым еще, но каким-то сильно полинявшим, помятым человеком, который вдруг схватил обеими руками его правую руку, сияя радостно глазами, и проговорил с большим чувством:

— Спасибо вам!

— За что спасибо? — не понял Сыромолотов.

— За то, что накричали на этого!.. Очень зазнался!

— Да откуда он взялся? Кто он такой?

— Прислали!.. Из Одессы. Эсер. Дурак дураком — непроходимый. Но метит по меньшей мере в гении.

— Какое же нам дело до Одессы,— искренне удивился Сыромолотов.— И зачем же дурака в Совет пустили?

— Да он, небось, сам. Это хитрый дурак. Из породы ловкачей. У них тонкий нюх, чуют, где жареным

пахнет,— успел сказать линялый человек и тотчас же отошел от него, так как дверь кабинета отворилась и в ней показался черноволосый и угрожающе крикнул подошедшему к нему линялому:

— Что-о?

— Я — здешний адвокат... Фамилия моя Кашнев,— расслышал, спускаясь по лестнице, Сыромолотов.

— Ка-ак?

— Каш-нев! Адвокат здешний.

Сыромолотов стал спускаться, переступая через две ступеньки и стараясь ничего уже больше не слышать.

Когда Алексей Фомич вернулся, он сказал Наде:

— Совершенно неожиданно для меня ты оказалась права. Я поспешил и только себя насмешил. Людей надо чтобы завертелась машина, а разве их сразу найдешь? Вот и сажают черт знает кого,— лишь бы умел на стуле сидеть! А в черепушках у них сенная труха!

6

Еще прошло дня четыре. Алексей Фомич начинал уже привыкать к мысли, что и картину «Демонстрация» так же трудно будет выставить, как и картину «Майский день».

Он говорил Наде:

— Уехав из столицы, уединившись здесь, я бил на то, чтобы быть совершенно независимым и в выборе сюжетов для картин своих и в технике письма. В то время, когда я так сделал,— имей это в виду,— появились такие объединения молодых художников, как «Ослиные хвосты», «Червонные валеты», «Кубисты», «Лучисты» и черт там их знает, как они там еще назывались. Я добровольно взял на себя миссию: настоящее, исторически сложившееся, большое искусство сохранить и, по мере сил и возможностей своих, продвинуть вперед. Я был достаточно силен и смел, чтобы жить здесь одиноко. Положим, что в этом направлении, каким я шел, кое-чего я все-таки добился. Но я не учел одного, всесильного в наше время,— рек-ламы! Репин от столицы не отрывался: от его Куоккалы до Петербурга рукой подать. Кроме того, он среды завел. Пусть угощал гостей каким-то анекдотическим супом из сена и вареным

сельдереем, однако и это заставляло публику говорить о нем. А я что же? Затворник! Пещерножитель!

— Неправда! Тебя везде знают! — пылко перебила Надя.

— Ну, так уж и знают? — махнул рукой Алексей Фомич.— Я и сам полагал, что знают, а в городском Совете услышал самое пренебрежительное: «Ка-а-ак?..» Он мне говорит, нездешний этот: «Ка-а-ак?», откуда-то присланный развивать здесь у нас культуру. А культура — это что такое? Это — искусство и наука. Печной горшок,— да, он необходим, конечно, для жизни, и как же без него обойтись в деревенской избе? Но это не культура, это — первобытная цивилизация, то есть то, что отличало человека от животных. Волк баранину не варит, а жрет сырьем. А люди Европы ели вареное мясо руками до конца шестнадцатого века, когда при дворе испанского короля введены были в употребление вилки. А у нас по глухим деревням и до сего времени обходятся без вилок. И с вилками или без них — это жизнь брюха, а не духа. А вот «Илиада» и «Одиссея», а вот «Лаокоон», а вот «Сикстинская Мадонна», как апофеоз материнства,— это жизнь духа, а не брюха. И в моей картине не голая злободневность, нет! Ищите в ней вечные мотивы. Разве была злободневность в репинских «Запорожцах, пишущих ответ турецкому султану»? Когда жили те запорожцы, и когда написана и выставлена картина? Что же было в ней вечного, что привлекло к ней всеобщее внимание? Смех! Вот что там было и есть и останется навсегда... «Поцелуй ось куды нас»,— пишут вольные запорожцы всесильному тогда турецкому султану, и все хохочут, так как представляют все одинаково, что это значит «ось куды»!.. А в другой картине Репина: «Смерть сына Ивана Грозного» что вечно? Там — ужас на лице Грозного, ужас перед тем, что им только что сделано: убийство собственного сына! А не будь этого ужаса, какое бы нам через четыреста лет было бы дело до Ивана Грозного с его сыном? Я вывел на своей картине толпу людей, толпу безоружных, людей разных возрастов, но объединенных одним порывом, и это же не «девятое января» и не «двадцать седьмое февраля», а бери глубже и без чисел, без месяцев, без годов! А если уж очень хочется тебе, чтобы непременно были и число и месяц, то поставь гоголевские из «Запи-

сок сумасшедшего» «Мартобря две тысячи семьсот тридцать третьего»!

— Ты всегда что-нибудь такое скажешь, Алексей Фомич,— улыбнулась последним словам Надя,— что даже и наш Джон, хоть он на дворе, начинает лаять.

— Не Егорий ли опять гремит там щеколдой? — попробовал догадаться Алексей Фомич.

— Нет! Это какой-то солдат... Шинель без погонов... в левой руке чемодан — довольно объемистый... Джон, Джон! Назад! Сюда! — закричала в форточку Надя.

И тут ставший рядом с нею Сыромолотов вскрикнул:

— Да это же Ваня! Это Ваня из госпиталя, с фронта!

7

Алексей Фомич все следил за тем, владеет ли правой рукой его Ваня, и когда увидел, что сын его, несший чемодан левой рукой, перенес его в правую и правой поставил в передней на пол, радостно сказал:

— Браво! Значит, писать кистью и подавно можешь! Брависсимо!

Заметив, как недоуменно глядит Ваня на молоденькую женщину с голубыми глазами, Сыромолотов поспешно представил Надю:

— Моя жена! Ведь я, кажется, писал тебе, что женился?

— Нет, ничего не писал,— отозвался на это Ваня, целуя руку Наде почтительно, как совсем еще незрелый пасынок у мачехи величественного отца. Алексей Фомич бормотал при этом:

— Странно! Неужели не писал? Но в конце-то концов, не все ли равно, писал или нет! Важно то, что если тебя и покалечили, то как будто по-божески, по-божески... Дай-ка пощупаю, где это! — очень оживленно протянул руку Алексей Фомич к предплечью сына, когда тот снял шинель и оказался в мундире тоже без погонов.

— Пощупай, пощупай! — улыбнулся Ваня, и отец охватил его бицепс, твердый почти как камень.

— Это и есть протез, о каком ты писал?

— Это он самый. Под ним трубчатая кость, которую сломать ничего не стоит любому борцу.

— Ну уж, только ли борцу! Стало быть, теперь ты ни в каком цирке выступать не будешь.

— Куда уж теперь выступать в цирке! — горестно согласился Ваня.

— А красками писать пробовал?

— Пробовал: могу.

Алексей Фомич ждал, что сын теперь спросит, в свою очередь, его, окончил ли он свою картину? Но Ваня сказал:

— На тебя вся надежда: дай мне какое-нибудь свое старенькое пальтишко вместо проклятой моей шинели! Твое на меня годится, а в магазине готового платья я не мог по себе подобрать. Из твоего дома в свой я должен буду перейти совершенно штатским во избежание... как бы это выразиться... неприятных инцидентов со стороны солдат, хотя погоны и с шинели и с мундира я снял.

— Постой-ка, постой-ка; ты каких-то страстей наговорил за одну минуту столько, что и в голову не уложишь!

— Да ты читал ли приказ по армии номер первый?

— Это, кажется, чтобы солдаты не отдавали больше чести офицерам? — не совсем уверенно припомнил Алексей Фомич.

— Вот именно! И с того началось!.. Потом пошли «Советы солдатских депутатов»,— «солдатских»,— понимаешь? А не «солдатских и офицерских»... Значит, офицеры в армии стали лишними, и сиди — жди, когда тебя выволокут и убьют!

Заметив, что великовозрастный пасынок ее очень взволнован, Надя сказала:

— Иван Алексеевич! Вам с дороги и белье переменить надо. На кухне у нас сейчас никого нет, а на плите в котле много горячей воды... Подите выкупайтесь! Алексей Фомич вам поможет.

— Непременно! Это непременно надо сделать в первую голову! — поддержал жену Сыромолотов и повел сына на кухню.

8

У Вани был счастливый, сияющий вид, когда после головомойки, как он это назвал, устроенной ему отцом на кухне, он сидел за самоваром, поставленным его мачехой, допивал восьмой стакан чаю и говорил:

— Не знаешь, где найдешь, где потеряешь, а это оказалось большой моей удачей, что меня ранили австрийцы, если бы не эта рана, я не попал бы в госпиталь, и меня убили бы свои. Убивают и младших офицеров, не одних только кадровиков ротных и батальонных. Развал армии — вот что делается на фронте. Стихотворение кто-то из младших офицеров написал на эту тему,— оно ходит среди горемычного офицерства. Длинное, и я помню из него только три первых куплета:

О боже святый, всеблагий, бесконечный,
Услыши молитву мою!
Услыши меня, мой заступник предвечный,
Пошли мне погибель в бою!
Смертельную пулю пошли мне навстречу,—
Ведь благость безмерна твоя!
Скорей меня кинь ты в кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я!
На родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас сколотил погребальные дроги
И грязью нас всех забросал.

Непременно я был бы убит: ведь я полковым адъютантом был,— приказы по полку составлял,— непосредственно, значит, помогал командиру полка, а против этого командира взбунтовался полк еще до революции. Фамилия командира нашего полка — Ковалевский. Говорили мне, когда я был в госпитале, что ему удалось спастись, однако пуля прошла сквозь шею,— лежит теперь в госпитале, а выживет ли,— неизвестно: рана куда более тяжелая, чем моя.

— Тебя лечили на совесть,— вставил Алексей Фомич.— Протез бицепса отлично сделан и хорошо прилажен к руке... Гм... где же я читал о князе Меншикове,— не петровском Сашке, а его внуке или правнуке, ну о том самом, который Крым защищал — читал, что при осаде нами в Турецкую войну Варны был ранен в икры обеих ног турецким ядром,— тоже вот так, как ты, снесло

ему это ядро икры обеих ног,— и вот еще в те времена,— почти сто лет назад,— ему сделали протезы, и представь, он мог отлично верхом на лошади ездить... Что же из этого следует,— какой вывод? Не призовут ли тебя обратно в твой полк, а?

— Могут призвать,— согласился Ваня.— Ведь в бумажке у меня стоит не «отставка», а только «бессрочный отпуск». Могут взять снова на нестроевую должность, однако куда же именно брать и зачем брать? Союзники наши — англичане и французы — требуют от нас наступления во что бы ни стало в апреле, а у нас развал армии, и мы не только наступать, даже и защищаться не можем. И наступать нам не с чем: нет у нас ни снарядов к трехдюймовкам, ни пулеметных лент, ни патронов для винтовок,— ничего!

— Позволь, позволь! — удивился Алексей Фомич.— А почему же все-таки ничего этого нет?

— Рабочие Петрограда это нам доставляли, а теперь они не работают,— бастуют, требуют увеличения платы. Кроме того,— англичанам и французам хорошо назначать день всеобщего наступления до десятого апреля по новому стилю, а у нас в это время — половодье, везде разливы рек и речек. Одним словом, положение такое: немцы могут устроить баню нам в любой точке и даже в ста точках сразу!

— Почему же они этого не делают? — не понял сына Алексей Фомич.

— А чего они будут кормить пленных наших солдат? У них и без того есть два с половиной миллиона пленных с одного только русского фронта. Они, эти немецкие генералы — гинденбурги и людендорфы — воевать умеют: линию Западного своего фронта они выпрямили: на сто шестьдесят километров она стала меньше, освободилось сорок дивизий, и этого вполне довольно, чтобы им резать русский фронт где угодно, как мясо ножом! Они этого пока не делают, а зашевелись мы, выйди из окопов,— что им помешает где угодно зайти нам в тыл? Перед выпиской из госпиталя я слышал, что все наши запасы продовольствия измеряются несколькими днями: на двенадцать дней — только и всего! А Нивель, главнокомандующий французов, требует непременного наступления всем фронтом в конце марта по нашему стилю!

— Значит, теперь же должны готовиться? Понимаю... Но почему же нашими войсками командует какой-то Нивель?

— Потому, что мы были куплены за огромный заем,— вот почему! Мы — пушечное мясо французов... Когда немцы перебили всех сингалезцев под Верденом, туда погнали наши корпуса... А теперь наша революция взбесила наших хозяев в Париже: тоже нашли время, когда революцию делать! И вот теперь министр обороны или военный — Гучков наседает на Алексеева, Милюков-Дарданелльский — министр иностранных дел — хоть сейчас готов толкнуть в наступление миллионы наших солдат и офицеров: «А то не получим от союзников Дарданеллы!» А русские солдаты предпочитают убивать своих офицеров, чтобы через них французские генералы Нивели и прочие ими не командовали... И солдаты бегут, бегут неудержимо! И никакие полевые суды удержать их не могут.

— Ты таких ужасов нам насказал,— поежился Алексей Фомич,— что я уж не удивлюсь, если увижу немецких солдат у нас в Крыму!

— Вполне возможна такая картина,— согласился Ваня.— Вполне возможна... Одним словом, события были большие, а ожидают нас огромнейшие... И пока что я в твоей рубахе и в твоем старом пиджаке чувствую себя в полной безопасности, а может случиться и так, что и они не спасут, что через какой-нибудь месяц и они не спасут: все может полететь кверху ногами.

Алексей Фомич долго смотрел на сына, пившего в это время десятый стакан чаю, и проговорил, наконец:

— К ци-ви-ли-зации рвутся люди, это их законное право. Только вот меня интересует: а как все-таки пойдет дальше? Ты был там, в самой гуще, два с половиной года, тебе виднее, чем мне: как может пойти дальше? Не может ли случиться так, что и из других армий, даже из германской, начнут бежать домой, а? Из французской армии тоже могут бежать,— если, разумеется, побегут из германской; ну, а австрийцам и сам бог велел на Вену, оперетки Штрауса слушать... Не может ли так случиться, а? Как ты полагаешь?

— То есть, это чтобы и там началась революция, как у нас? — качнул отрицательно головой Ваня.— Не-ет, они там, то есть правительство германское, а также

австрийское,— нашим пленным читают лекции о революции, это я слышал, а чтобы у себя,— не-ет, этого они не допустят.

— Постой-ка, ты какую-то ересь и дичь понес... Тебе говорили, а ты повторяешь, как попугай! Какие такие лекции нашим пленным? Зачем им это?

— Как же так зачем? Расчет у них очень понятный,— зарокотал Ваня.— Два с половиной миллиона, говорят, наших пленных в одной Германии,— это ли не сила? Пять-шесть огромных армий. Их там обучают, как им сподручнее будет отнимать земли у помещиков, и выпустят к нам через границу: идите, действуйте в этом духе! Они и пойдут чесать.

— А за ними Вильгельм?

— А за ними, конечно, Вильгельм, чтобы занять территорию нашу до Урала.

— Ты-ы... ты, кажется, чью-то шутку принял всерьез, а́? От тебя станет!

— На шутку это чем не похоже? Похожа, как гвоздь на панихиду,— угрюмо отозвался Ваня.

— Два с половиной миллиона даровых рабочих чтобы выпустил такой хозяйственный народ, как немцы? — искренне возмутился Сыромолотов-отец.

— Даровых, да не очень,— пояснил ему Ваня.— Эту рабочую силу кормить надо, а чем? Из Румынии вывезли недавно хлеб, это так, а надолго его хватит? А хлеб теперь и есть самое дорогое, именно хлеб, а совсем не какие-то бумажки всех цветов радуги и не почтовые марки... Выпустят два с половиной миллиона ртов, чтобы от них избавиться,— это с одной стороны, и чтобы они у нас все подчистую съели,— с другой стороны.

— Если это действительно будет так, как ты сказал, то план этот... план этот какой-то даже и не человеческий. Вот что значит заниматься всю жизнь свою искусством и никогда не соваться в политику. За это мне и наказание.

— Как это тебе наказание? — буркнул Ваня и посмотрел на отца, взметнув брови.

— Есть где-то такая строка: «И это все, чему я поклонялся!» — глядя в пол, говоря как бы сам с собою, начал объяснять сыну Алексей Фомич.— Искусство, культуру человеческую и общечеловеческую ставил я во главу угла всей своей жизни, и вот выходит, что же

именно выходит? Выходит, что совсем не на ту карту ставил... Проиграл, значит, а? Да-да, да, да, да-а-а... Выходит, что проиграл... Это и есть наказание. Ведь ты, кажется, сказал, что это в одной Германии два с половиной миллиона?.. Ну да, именно в одной, и я сам где-то читал... А ведь есть еще много таких пленных и в Австрии... Сколько?.. Если, например, считать тоже до двух миллионов, а?.. Пусть даже только полтора. Всего, значит, у них четыре миллиона... Ого! Ого-о-оо!

— Хотя, конечно, не все же будут убивать и грабить,— вставил Ваня.

— Не все? Да, допустим, что только половина, а другая половина вернется к своим хозяйствам, чтобы их тоже ограбили...

— Это ты вспоминаешь девятьсот пятый год, а теперь, может быть, как-нибудь иначе будет,— вздумалось Ване дать другое направление мыслям отца.

— То есть еще страшнее, ты хочешь сказать. Иначе? Как же именно иначе? Ведь они голодные будут, эти миллионы ртов. А где голод, там какие же законы могут удержать людей? Что такое голод? Прежде всего невменяемость!.. Земля, это потом. Какой-нибудь чернозем, его человеческий желудок не переварит... Значит, что есть в печи, то на стол мечи!.. Нет у тебя, ты говоришь? Прячешь? Мы кровь свою проливали, а ты дома сидел, а теперь от нас же прячешь? Вон же за это! Хоп — и дух вон! В том-то и будет ужас, а с точки зрения голодных какой же тут ужас. Это только всего-навсего в порядке вещей. Ты чтобы сытый был, а мы чтобы с голоду сдохли. Хлоп камнем по голове и давай шарить, хлебушка искать.

— Вся надежда на то, что они все-таки солдаты, что военному делу их обучать не надо. Так что дай закон, крепкую власть,— огромная может быть армия...

— Против кого? Армия?.. Еще бы не армия, а против кого?

— Против тех же немцев, конечно... чтобы не дошли до Урала.

— Четыре миллиона голодных людей... Пусть даже только два... если два устроятся дома... Не могу представить, не хватает воображения... Тут только статистика, статистика нужна, а не воображение, потому что это же потоп, а не человек... Стихия это, а стихия всегда вне

всякой человеческой логики... Стихия живет сегодняшним днем, когда разбушуется, а о завтрашнем дне зачем ей думать? У стихии не мозг, а только чрево. И она проглотит, она все проглотит: и хлеб, и водку, и искусство.

— Принимаю! — вдруг снова выкрикнул Алексей Фомич.— Принимаю, но-о... но с оговоркой: чтобы не был расчеловечен человек, чтобы человеческое в человеке удержали, вот!.. Чтобы не погибло наше с тобой искусство.

— Погибнуть оно не может,— пробасил Ваня,— а временно, конечно, должно уйти...

— Куда уйти?

— Со сцены уйти,— хотел я сказать, ну, просто, не тем люди заняты будут...

— А надолго ли уйти со сцены велят? Ты был там, на фронте, может быть у тебя сильнее представление. И в госпитале с рукой лежал, мог думать на свободе... Надолго?

— Трудно сказать.

— Смотря, значит, как пойдет дело... Дело всех миллионов, о каких ты говорил, и всех прочих миллионов и у нас, и в Германии, и во Франции... везде?..

Алексей Фомич отошел к окну, глядел в него с минуту и добавил:

— Чувствую, что надолго...— И затем, после долгой паузы проговорил: — Значит, мне совершенно незачем думать о том, чтобы выставить свою картину?

— Да, вот картина! — вскинул голову Ваня.— «Демонстрация»?.. Много фигур, ты там задумал... А в каком же они виде сейчас?

Алексей Фомич не отрывал глаз от сына, пока тот говорил, а на вопрос его вяло ответил, переводя взгляд на жену:

— Поставил точку.

— Неужели успел закончить?

— Закончил... А выставлять, вижу, что негде будет...

— Посмотреть можно? — очень знакомым Алексею Фомичу просительным тоном обратился к нему Ваня, перевертывая над блюдечком пустой стакан в знак того, что больше уж самовар ему не нужен.

У художников принято как правило, что рассматривать можно только с расстояния трех диагоналей карти-

ны, но «Демонстрация перед Зимним дворцом» занимала целую стену в мастерской Алексея Фомича, от этой стены до двери влезали только две диагонали, поэтому, показывая картину сыну-художнику, открыли настежь обе половины дверей из мастерской в столовую.

Сам Алексей Фомич стал так, чтобы ему было видно лицо сына, на котором он мог бы разглядеть первое, самое дорогое для него, впечатление от картины. Ваня же непосредственно по-детски, как всякий истинный художник, воспринимающий живопись, отшатнулся на полшага, как будто трех диагоналей, отмеренных для осмотра картины отцом, ему оказалось мало.

Людей на полотне было много: они были очень разнообразны по своей одежде и лицам, но все они были живые, все смотрели в одном направлении через решетку фигурной железной ограды, отделяющей панель площади от обширного дворцового двора. На всех лицах чувствовалась ярко схваченная одна мысль, одна всех охватившая решимость вот именно теперь, уйдя от своих обычных будничных забот, добиться чего-то большого, способного в корне изменить всю жизнь.

Люди, занявшие передний план картины, были написаны в естественную величину, и они стояли на мостовой так, что над их головами поднимались головы фигур второго плана, занявших панель.

Как художника, Ваню изумило то, с каким искусством его отец расположил на картине разнообразные красочные пятна, слив их в то же время в одно гармоническое целое и в единый порыв: напряженность всей картины в целом ощущалась и в каждом отдельном мазке.

А левый фланг картины, свободный от человеческих фигур первого и второго плана, занял конный отряд полиции с монументальным приставом во главе, сидевшим на красивом, породистом гнедом коне, тонкие ноги которого были в белых чулочках; так что совсем рядом с требовательной, охваченной одним порывом, но совершенно безоружной толпой стояла и вооруженная, притом конная охрана дворца, ожидавшая, как это было очевидно, только команды, чтобы ринуться на толпу и частью смять ее, частью рассеять.

Прошло в полном молчании не меньше десяти минут: сын смотрел на картину отца, отец смотрел на лицо

сына. Но вот это лицо медленно повернулось к нему, и слабым по тону голосом, почти шепотом, сын сказал:

— Это... изумительно!

— Что изумительно? — также не в полный голос спросил его отец. И сын, помолчав, ответил:

— Изумительно прежде всего то, что ты с таким огромным холстом справился с неслыханной быстротою.

— Я ведь только этим холстом и был занят все время,— больше ничем,— ответил отец.

— А где же ты взял этого командира конной полиции? Необыкновенно он тебе удался... И мне даже кажется, что я его где-то видел такого точно.

— Ты и мог его видеть у нас здесь: это бывший наш пристав, только потом его перевели в Петербург, где я и сделал с него, конного, этюд. Фамилия его Дерябин.

— Хорош! Очень хорош!.. Олицетворение идеи самодержавной власти... И вообще у тебя что ни деталь — бьет прямо в цель! Не картина это, нет!

— А что же?

— Подвиг во имя искусства! Чудо, а не картина!

— Это ты серьезно говоришь, или...

— Не говори ничего больше! — перебил сын и широко открыл для отца объятия.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Так как день развернулся теплый, то Алексей Фомич дал Ване не пальто, а плащ — черный, с капюшоном и белой металлической застежкой в виде львиной головы. Сам он не носил этого плаща, поэтому плащ имел такой вид, как только что купленный в магазине.

Так, в черном плаще и в серой отцовской шляпе, как вполне штатский человек, Ваня отправился посмотреть, в каком состоянии теперь дом, принадлежащий лично ему. Единственное, что пока он узнал о своем доме, было то, что сказал ему отец со слов Коли Худолея:

— В нижнем этаже там у тебя поселились какие-то идиоты. Не знаю, семейство ли какое умственно убогих, или это какой-нибудь союз идиотов,— там на месте будет тебе виднее.

На Ване под штатскими брюками оставались высокие фронтовые сапоги, и он по привычке делал широкие строевые шаги, когда подходил к своему дому.

Но как только Ваня остановился перед своим домом, оглядывая по-хозяйски, какого ремонта он требует, к нему подбежал гулявший невдалеке длинный, но тонкий подросток лет шестнадцати и, прищурив левый глаз, с самым серьезным видом стал щелкать, «стреляя» в него из игрушечного пистолета.

— Это что? Ты кто такой? — крикнул Ваня.— Не идиот ли номер первый?

Однако и «идиот номер первый» закричал визгливо:

— Я тебя убил! Я тебя убил, и ты падай!

Ваня схватил левой рукой его правую и вырвал игрушку, сунув ее на всякий случай в карман пиджака, но мальчишка заорал так неистово, что из дверей дома выскочила растрепанноволосая пожилая женщина в фартуке и тут же кинулась на Ваню:

— Вы что это, а? Вы что это бьете моего сына, а?

— А-а! Вы, стало быть, семейство, а не то чтобы союз идиотов! — спокойно сказал Ваня, входя в дом.

— Вы куда? Вы зачем это к нам? — вопила женщина, хватаясь за плащ Вани.

На что Ваня отозвался как мог спокойнее:

— Я — хозяин этого дома.

Женщина в фартуке бросилась к дверям, ведущим в другую комнату, и из-за этих дверей донесся ее крикливый голос:

— Спишь все, дурак проклятущий! А там уж хозяин какой-то явился.

— Там, значит, идиот номер третий,— пробормотал Ваня, а спустя минуту появилась из дверей заспанная красноглазая фигура седого, подстриженного ежиком коротенького человечка в грязных подтяжках на явно давно уже не стиранной рубашке.

— Ваша фамилия? — спросил, брезгливо его оглянув, Ваня.

— Я должен спросить вашу фамилию! — наставительно, но хрипуче выдавил из себя человечек в подтяжках.

— Извольте: моя фамилия Сыромолотов, и я хозяин этого дома.

— Когда я снял квартиру в этом доме, мне сказали, что хозяин на фронте, прапорщик и, кажется, даже убит.

— Был тяжело ранен, лежал в госпитале, теперь в бессрочном отпуску, то есть в отставке... Сегодня утром приехал. Считаю, что с вас этого довольно. А вы кто и на каких условиях снимаете у меня квартиру?

— Я тоже теперь в отставке, а был делопроизводителем штаба начальника дивизии,— прокашлявшись, сказал квартирант Вани.— Так что я — я тоже военный, хотя нестроевой, как, скажем, врачи полковые, а также и дивизионный.

— Как же в Симферополе могли вы быть делопроизводителем штаба дивизии, когда здесь стоял всего один пехотный полк? — не поверил Ваня, но человечек в подтяжках замахал руками:

— Не здесь! Не здесь! Я из Нижнего Тагила, с Урала сюда переехал на постоянное жительство, исключительно в целях экономии в дровах.

— Какой экономии в дровах? Ничего не понимаю!

— Написали мне отсюда хорошие знакомые, что здесь можно прожить зиму, не топя, вот я и двинулся.

Ваня с интересом, присущим только художникам, наблюдал лицо своего квартиранта. Оно все — желтое и дряблое — состояло из одних только параллельных морщин: прямые морщины располагались на лбу, а навстречу снизу от подбородка шли закругленные, но тоже строго параллельные морщины.

Ваня даже подсчитал эти морщины: их оказалось — восемь на лбу и шесть идущих снизу. «Не лицо, а гармошка!» — подумал Ваня и разглядел еще у своего квартиранта во внешних уголках маленьких мутных глаз какие-то совершенно ненужные, но плотно усевшиеся наросты, отчего глаза казались еще меньше, чем были, и совсем незрячими.

А человечек, приехавший сюда с Урала с очень большой надеждой на крымское солнце, продолжал:

— Дрова нас там одолели, в Нижнем Тагиле! Восемь месяцев в году топка печей, а пенсию дали небольшую. Там она вся, эта пенсия, выходила из трубы дымом. Полагал, истинно полагал, что скорая будет победа, однако наши генералы Дитятины, оказалось, воевать совсем не умеют.

— Какие «генералы Дитятины»? — не понял Ваня.

— А те самые, каким лекарь Пирогов «ап-перацию» делал, череп отпилил и мозги вынул, положил на тарелку. Он еще тогда только полковник был, этот Дитятин, а тут вдруг входит адъютант его и кричит: «Высочайшим приказом вы из полковников произведены в генерал-майоры!» «А-а! — тут говорит Дитятин.— Лекарь Пирогов, пришивай мне обратно череп». Пирогов с перепугу череп-то пришил, а мозги позабыл вставить на свое место. Генерал Дитятин махнул на свои мозги рукой: «Раз я теперь генерал-майор, то зачем же мне какие-то там еще мозги!» — И пошел.

— Это, кажется, рассказ Горбунова,— вспомнил Ваня.— Но генералы в нашем поражении меньше виноваты, чем тыл. Однако вы мне не ответили, сколько вы платите за квартиру в моем доме и кому именно платите?

— Ни-ко-му ни-чего не пла-чу! — приподнявшись на носки и на них покачиваясь, раздельно проговорил жилец.

— Вот тебе раз! — удивился Ваня.— Я дал доверенность на продажу своего дома одному нотариусу, и это уж его промах, что он не продал дома, а нашел мне такого квартиранта, как вы!

— Ага! Вот-вот! Я тоже так думаю, что в видах возможной революции умнее было бы его продать, а то могут ведь отобрать и бесплатно.— И жилец торжествующе захихикал.

— Таких домишек отбирать не будут... До этого не дойдут.

— Однако же двухэтажный! — продолжал жилец.

— Ну, с меня довольно,— выкрикнул Ваня,— и с вами я больше говорить не хочу! Пойду к нотариусу!

Несколько успокоило Ваню только то, что, поднявшись по деревянной лестнице на второй этаж, где он сам жил прежде, он увидел на дверях тот самый прочно висячий замок, какой повешен был им, когда он уезжал в ополченскую дружину.

2

Нотариус Солодихин был, как помнил Ваня, преисполнен сознанием важности занимаемой им должности. Пенсне у него было в золотой оправе и на обеих руках тяжелые золотые перстни.

Седая прямая узенькая бородка придавала некоторую картинность его крупному лицу с широким лбом. Ценя каждое свое слово, говорил он медленно и наставительно, так как строго придерживался законов. Какие же и могли быть у него ошибки, если законы он знал?

Таким видел Солодихина Ваня около трех лет назад. но теперь пред ним сидел очень поседевший и ставший почему-то суетливым человек, снявший с себя и золотое пенсне и перстни. И сам он подсох и сгорбился, и пиджак на нем оказался поношенным.

И Ваню Сыромолотова он узнал только тогда, когда тот сам ему назвался. Ване пришлось напомнить ему и о своей доверенности на продажу дома, и когда Солодихин припомнил все обстоятельства дела со сдачей квартиры «какому-то приезжему надворному советнику в отставке», то даже улыбнулся и с чувством сказал:

— Прирожденный мошенник, хотя и надворный советник! Я с него получил только за первый месяц, а потом от него услыхал: «Так как деньги падают в цене, то я затрудняюсь высчитать, сколько я должен добавлять ежемесячно к назначенной вами квартирной плате!» Я увидел, с кем имею дело, и махнул рукой: сторожа, думаю, если нанять, ему надо платить, а тут этот отставной будет торчать бесплатно.

— Ну, а теперь мне как же с ним быть? — спросил Ваня.

— Вы — другое дело,— вы хозяин, вы можете заявить, куда теперь следует заявлять, и его выкинут, я думаю. Кому теперь нужен отставной надворный советник, который работать не может или не хочет? Я постарше его, однако же вот сижу на своем прежнем месте и при новом строе... покамест не прогонят, конечно.

Так как нотариус посмотрел при этом на Ваню вопросительно, то Ваня стал уверять его, что он необходим при новом строе: как же без нотариуса? Ведь собственность на мелкие усадьбы и дома остается, и ее разрешается продавать и покупать — вот на это и необходима нотариальная контора. А что касается новых людей, то ведь их еще надо приучить к такому сложному делу.

С этим Солодихин согласился охотно и добавил в своем прежнем наставительном тоне:

— Государственная машина создавалась веками и даже тысячелетиями, так вот сразу все переделать в ней нельзя, а надо исподволь и в порядке необходимости.

У Солодихина Ваня узнал фамилию своего жильца — Епимахов — и пошел снова к себе домой.

3

Идиот и на этот раз торчал на улице, но теперь без своего пистолета; он испуганно бросился бежать, когда подходил известный уже ему хозяин дома. Мать идиота открыла запертую теперь дверь, чуть только дотронулся до звонка Ваня, а Ваня, войдя, поднялся по лестнице и отомкнул объемистый замок.

Все оставалось в целости, как было, но что удивило Ваню — это пыль, лежавшая на всем густым серым слоем.

Здесь было тоже три комнаты, как и внизу, причем самую большую Ваня обратил в свою мастерскую. В углу этой мастерской Ваня нашел и холсты, и картон, свернутые в трубки.

Не раздеваясь, так как в комнате было холодно и сыро, Ваня развернул и расстелил холсты на полу, прижимая к полу прессами их углы, и этим занят был больше двух часов. Еще утром в этот день бывший прапорщиком, получившим «бессрочный отпуск», он искал тут теперь прежнего, довоенного себя, художника, который носил когда-то имя — «любимое дитя Академии художеств» — и получил командировку за границу.

Мало сказать, что был обрадован Ваня: он как бы переродился сразу, восстановился, сбросил с себя наносное, фронтовое.

Добродушный по природе, какими бывают многие очень сильные физические люди, всем своим товарищам и по Академии художеств и по полку позволявший называть себя попросту Ваней, он не удивился бы теперь, если бы Ваней назвал его вдруг нечаянно и «прирожденный мошенник», его жилец.

Он представил, как, если не сегодня еще, то непременно завтра, прислуга отца принесет сюда дров из отцовского сарая и затопит здесь печку, а пока будут гореть дрова, тряпкой, как это умеют делать женщины,

сотрет со всей мебели и подоконников пыль. Тогда он вновь приспособит под постель свою широкую оттоманку и перейдет на «свои хлеба», лишь бы удалось найти какую-нибудь работу или продать что-нибудь из своих картин.

Закрыв снова свой этаж на замок, Ваня пошел к отцу теперь уже как художник к художнику, причем художник, куда более зрелый, чем четыре года назад, когда он приехал сюда из Риги с цирковой акробаткой немкой Эммой Шитц и тогда купил здесь по дешевке хотя и старый уже, но все-таки двухэтажный дом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Когда дочь полковника, Наталья Львовна, вышла замуж за арендатора каких-то каменных карьеров и известковых печей Федора Макухина, то первая, кто удивилась ее поступку, была она же сама. Но с каждым может случиться, что неожиданно для себя он вдруг сделает плохо обдуманный, однако важный в своей жизни шаг, а потом не знает, как выбраться из трясины, в какую попал.

Когда делала опрометчивый шаг свой Наталья Львовна, она как бы хотела показать тому, кто пренебрег ею, что у нее есть своя ценность, что она замечена другим, что она не осталась старой девой. И она не бедна теперь,— у нее есть свой дом, и муж ее, пусть он и не так хорошо образован, заявил во всеуслышанье, что большие дела будет делать вместе с нею.

Война помешала этим его «большим делам», но война когда-нибудь должна же будет окончиться, тогда-то именно и начнутся «большие дела».

Что это за «большие дела», она не знала, но понимала только, что нужна своему простоватому мужу для этих дел так же, как вдохновение необходимо художнику.

И вдруг — война, и муж ее оторван от всяких дел, на нем рубаха защитного тускло-зеленого цвета с унтерофицерскими погонами, и все, чем он занят теперь,— называется мудреным словом «каптенармус».

Порывистая по натуре, она всю жизнь, пока еще недолгую, куда-то рвалась, но война, взяв от нее и отца и мужа, оставила ее только с беспомощной слепой матерью, от которой куда же можно было уйти?

Жизни не было,— а что же было? Как бы сон, затянувшийся на года.

Слепая мать, которая прежде все говорила мужу, полковнику в отставке: «Ты от меня не уходи, а то мне в темноте страшно одной»,— теперь то же самое говорила ей. И если отец отвечал ей бывало: «Куда же я от тебя уйду? Ты — крест мой»,— то она отвечала кротко: «Ухожу только по делам, и то когда ты ложишься спать».

Она стала вообще кроткой, притушенной, как лампа с подкрученным фитилем. Оставшаяся на ее заботах слепая мать давала оправдание ее жизни.

После того как, благодаря стараниям мужа, привезено было в цинковом гробу для похорон на здешнем кладбище тело ее отца, неотступно преследовала ее мысль, что вот-вот сообщат ей, что убит ее муж, старший унтер-офицер Макухин Федор. Тело его не привезут, конечно,— схоронят в большой общей могиле рядом с другими убитыми, но написать ей об этом из канцелярии полка должны,— так она думала.

Такою же притушенной, как сама Наталья Львовна, становилась день ото дня заметнее и ее мать. Теперь она пила только чай,— пива ей не покупали: никакие гости не приходили больше в их дом,— в преферанс играть было не с кем; даже и просто поговорить о чем-нибудь не с кем было. Только иногда Наталья Львовна читала ей из газет телеграммы с театра военных действий, но чем дальше, тем все меньше и меньше они ее занимали.

И вдруг, после одного из таких чтений телеграмм, слепая сказала проникновенно:

— Ох, Наташечка, мой дружок... Кажется, я уж умирать начала!..

Очень много почувствовала Наталья Львовна в этих неожиданных словах матери и испуганно начала целовать ее в незрячие глаза.

Но слова эти стали повторяться, только короче теперь говорила мать и убежденнее:

— Чувствую, что умираю...

И в конце ноября, когда было дождливое подслеповатое холодное утро, она уже не проснулась. А с вечера, когда ложилась спать, проговорила многозначительно:

— Освобожу тебя скоро...

Наталья Львовна не поняла ее и переспросила, а в пояснение услыхала:

— От себя освобожу... вот что...

И освободила. И это было как раз в то утро, когда Наталья Львовна, ходившая на базар вместе с прислугой Пелагеей, купила полдюжины бутылок пива.

После похорон матери, когда Наталья Львовна угощала обедом причт, пиво это выпил дьякон Никандр.

А когда окончился обед и Наталья Львовна осталась одна, ее охватила непередаваемая словами пустота.

В одной комнате пусто, в другой пусто, в третьей пусто... Пустой дом и чужой. Пока жива была мать, хотя и слепая, хотя и немощная, все-таки дом был свой,— таким он казался ей... И вот оборвалось.

Дом был Федора Макухина, ее мужа, а если он уже убит теперь и она только пока не знает об этом? Тогда неизвестно, чей это дом, только не ее... Она не успела к нему привыкнуть.

Своего дома не было никогда и у ее отца; к своему дому никогда и раньше не стремились ее мысли.

Однажды, когда она была еще девочкой, случилось ей видеть большое грачиное гнездо на старой осине. Особого искусства не показали, строя свое гнездо из сухих прутьев, грачи. Но все-таки гнездо это держалось, как ветры ни раскачивали осину. И это был законный их грачиный дом,— вот именно этой пары грачей. А в свой дом ввел ее Макухин, как раньше вводил ее в номера гостиницы, в которой тоже было все для нее чужое.

Чужою была для Натальи Львовны и ее прислуга Пелагея Позднякова, незадолго до смерти матери нанятая ею, так как прежняя прислуга уехала к себе домой в Орловскую губернию.

У Пелагеи к тому же были какие-то недобрые глаза. Было ей лет сорок, глядела она, низенькая, исподлобья, а улыбаться как будто даже не умела: по крайней мере Наталья Львовна не могла приметить ее улыбки.

После смерти матери Наталье Львовне стало даже как-то жутко оставаться в пустом доме вдвоем с Пела-

геей, и на ночь она запирала дверь, ведущую из комнат на кухню.

Иногда, просыпаясь по ночам, она замечала, что щеки ее мокры от слез, хотя не могла вспомнить, что же такое печальное видела она во сне, от чего нельзя было не заплакать.

После смерти матери она стала совершенно одна и отъединенно от других, которых приходилось ей встречать здесь. У нее не было желания с кем-нибудь поближе познакомиться, пригласить кого-нибудь к себе в гости, пойти к кому-нибудь в гости самой.

Стараясь разобраться в том очень запутанном и сложном и страшном, что происходило в мире и называлось мировой войной, она читала газеты. Однако или в газетах не писали того, что надо было ей узнать, или она сама неспособна была понять в газетах то, что таилось в них между строчками, только непонятное так и оставалось для нее непонятным.

Непонятным для нее было и то, что муж ее присылал ей время от времени подписанные им чеки на местный банк, и чеки эти были не очень крупные, так что ей приходилось жить поневоле расчетливо, к чему она совершенно не привыкла.

В этих скупых чеках она видела недоверие к ней мужа. Но в то же время никаких дел его она вести не могла, и они сами собою зачахли.

Похоронив мать, она стала часто ходить в церковь, куда усиленно гнал ее испуг перед смертью, врывавшейся к ней так неотвратимо.

В здешней церкви во имя Федора Стратилата не было ничего такого, чего она не видела бы раньше в других церквах, но она сама теперь была новой, гораздо более, чем когда-либо раньше, податливой к тому, что внушала церковь. Кроме того, здесь на левой стороне висела как икона большая копия с хорошо известной ей картины художника Генриха Семирадского «Христос у Марфы и Марии».

Эта картина-икона заставила ее вспомнить о другом известном художнике — Сыромолотове, сына которого она нечаянно встретила в симферопольской больнице, года три назад, у койки того, кого любила тогда — Ильи Лепетова, раненного Алексеем Иванычем Дивеевым, мстившим ему за смерть своей жены Вали.

И теперь, когда она смотрела на картину Семирадского, перед нею неотступно стоял не Илья уже, а почему-то этот Ваня Сыромолотов, молодой богатырь несокрушимого вида.

Как вышедший из земли слабый стебелек вьюнка ищет по сторонам, на что бы опереться ему, вокруг чего бы обвиться, чтобы вслед за большими сердцевидными листьями распустить красивый колокольчик — цветок искрасна-розово-лиловый,— так и Наталья Львовна, оставшись совсем одинокой, искала в памяти, не находя вблизи себя, кого-то каменно-крепкого, к которому не смела подходить смерть.

О том, что он мог быть взят в армию, как очень многие, ей почему-то не думалось. До нее дошло, что и Алексей Иваныч, стрелявший в Илью, пошел в армию добровольцем,— его могли бы не взять в ополчение, как больного. А насчет Вани Сыромолотова была почему-то прочная уверенность, что он недалеко от нее, в том же городе, где живет и его отец. И когда во время всенощной упала свеча на картину-икону, Наталья Львовна уверила себя, что это именно ее свеча упала, и заставила подумать даже и причт церкви о художнике, который мог бы помочь в беде. Она хотела даже ехать вместе с дьяконом, но Никандр остановил ее резонными словами:

— Зачем же вам тратиться зря? Авось художника этого я, с помощью божьей, и один уломаю.

Когда он вернулся, довольный своею удачей, она спрашивала его, видел ли он сына Сыромолотова, и опечалилась, когда тот ответил, что не видал.

И как же могла она утерпеть, не прийти в церковь посмотреть на отца Вани? Очень поразило ее, когда узнала она от Алексея Фомича, что его сын также служил в армии, был на фронте, где и ранен; и очень обрадовало, что он освобожден теперь и обещал скоро приехать. Еще неизвестно было, приедет ли, и гораздо менее известно, как можно будет ей хотя бы увидеть его,— но она уже чувствовала, что оживает.

Еще страшно было, проснувшись среди ночи, ощущать, что одна во всем доме, и не в своем доме,— чужом,— она никак не могла привыкнуть к мысли, что это ее дом; еще слезы тут же наполняли глаза и скатывались по щеке на подушку; но уже рождалось что-то

вроде светлеющих при утренней заре полосок между окнами и ставнями: скоро должен приехать сын Сыромолотова.

Ей даже не казалось странным, что так любимый ею прежде Илья Лепетов, около койки которого в больнице сидел сын Сыромолотова, как будто растерял все свои яркие тона, выцвел, потускнел в ее глазах, а о муже в такие часы она даже и не думала совсем. Теперь каким-то непостижимым для нее самой наваждением представлялось ей, что она жена унтер-офицера Федора Макухина и бережет теперь для него дом, в котором живет.

Никакой привычки к нему у нее не было и прежде, так что нельзя было бы сказать, что она от него отвыкла. Когда приходили от него письма с грубыми ошибками и без знаков препинания, то она стыдилась показывать их кому-нибудь, хотя и не рвала: клала в стол,— пусть себе лежат.

День ото дня яснее складывалось в ее голове несколько слов, имевших, по ее мнению, очень большой смысл: «Одиночество для молодой женщины — совершенно непереносимое состояние...»

И никого не было около, с кем можно бы было хотя бы поговорить.

Соседка ее, чахоточная старуха Боярчук, вдова почтового чиновника, но не умевшая читать и похожая на цыганку, промышляла гаданием на картах и все набивалась ей погадать о муже, и в ней она нажила врага, так как говорила, что в гаданья не верит. В отместку за это Боярчук презрительно называла ее «мещанка», о себе же говорила, что она дворянка.

А соседка с другой стороны была Мелешко, жена плотника, причем плотник промышлял где-то в деревне поблизости и приходил домой только по воскресеньям и спал тогда целый день, так как пить было нечего. А Василиса Егоровна, его жена, если о чем могла говорить, то о своем коте черной масти с белой «душкой», которого нежно звала «Коточка-Проточка». Нахвалиться им она никак не могла: он и будил ее по утрам, стаскивая с нее одеяло; он и «звал ее на двор, если заходил кто-нибудь чужой: мяукал, глаза страшные делал и хвостом водил!..» Он до того был к порядку приучен, что даже колбасу не трогал, если ему не давали... Но он же

часто убегал из дома, и Василиса Егоровна ходила по соседским дворам и звала его: «Коточка-Проточка! Коточка-Проточка!»

Очень надоедал летом своим визгом поросенок, которого Василиса Егоровна привязывала к колу посредине своего двора. Осенью визги затихли, и Василиса Егоровна горестно жаловалась Наталье Львовне:

— Намерение мое иное было: откормить, а к Рождеству резать, ну что ты будешь делать, когда кормов нигде нет,— вот оно когда горе-то горькое явилось!

Наталья Львовна ходила в библиотеку читать журналы, и однажды,— это было в феврале, после приезда художника Сыромолотова,— она увидела в библиотеке нового для нее человека, лет сорока пяти, в черепаховом пенсне и с остроконечной бородкой чалого цвета. Он делал в записной книжечке какие-то выписки из книг, почему Наталья Львовна приняла его за журналиста. С первого на него взгляда чем-то напомнил он ей Алексея Иваныча Дивеева. Этот был так же лыс, как и Алексей Иваныч, но ниже ростом и никакой стремительности, как у того, не было в движениях этого. Так как она ввиду этого сходства внимательно приглядывалась к нему, то он потом еще внимательнее и дольше глядел на нее, так что Наталье Львовне стало неловко и она поспешила уйти, не спросив у библиотекарши, кто бы это мог быть.

Но на другой же день, когда она сидела на набережной на скамейке, перед войной окрашенной в голубой цвет, а теперь ставшей почти белой, и глядела на чаек, носившихся над морем, к той же скамейке подошел человек в черепаховом пенсне и серой шляпе и, сняв на отлет шляпу, попросил почтительно позволения сесть рядом.

Наталья Львовна кивнула головой, хотя и не знала, чем она привлекла его внимание, и, садясь, он заговорил:

— Я приехал сюда для изучения здешних памятников старины... Мне кажется, что и вы здесь в тех же самых целях, а? Или я ошибся?

— Да, вы ошиблись,— спокойно сказала Наталья Львовна.— Я здесь живу, вот уже три почти года, и ни о каких памятниках старины не думала. Кажется, их здесь и нет даже.

— Ну, как же так нет! А генуэзская башня? — изумился ее легкомыслию он и даже реденькие белесые брови вздернул.

— А, да,— это где голубей всегда много? Там у них, должно быть, гнезда...— А еще какие памятники?

— Есть еще каменная стена на горе Кастель,— поспешно ответил он.— Это, видимо, остатки крепостной стены: ведь слово Кастель с итальянского взято и значит «крепость»... Затем я еще нашел тут в окрестностях, в Кизилташе, что значит по-татарски «красный камень», в монастыре, две колонны из цельного камня: они древней работы. Они круглые, книзу шире, а кверху уже́, и без капителей... Очень древней работы... Может быть, и не здесь даже их делали, а сюда только привезли их откуда-нибудь из Малой Азии, например, из Синопа, родины философа Диогена... Могли, конечно, сделать такие колонны и в Херсонесе, там были в старину хорошие мастера.

— Да, вот... В Херсонесе, конечно, есть древности, а не у нас,— вставила Наталья Львовна.

На что он отозвался очень оживленно:

— Был, был я там,— а как же! Я две недели там жил... Там сохранилось несколько колонн, только они на цементной кладке и оштукатурены цементом... и с капителями... Но в общем, должен сказать, сохранилось там мало... И музей тамошний — это очень бедный музей по своим экспонатам... очень бедный... Это, конечно, в связи с постройкой Севастополя, куда самым откровенным образом свозили из Херсонеса камень... Ведь Херсонес теперь — что же он такое? — Пустыня! Сорок шесть десятин считается там пустой земли на берегу моря... Очень жалкая картина, очень... В Балаклаве, при входе в бухту, была крепость, но от нее теперь осталось одно грустное воспоминание...

Наталья Львовна поняла, что рядом с нею человек, действительно увлеченный далекою стариною, и сказала:

— В Судаке, мне говорили, уцелела генуэзская крепость,— сама я там не была и не видела.

Этого напоминания о крепости генуэзцев в Судаке было достаточно, чтобы воодушевить его.

— Это — замечательный памятник, замечательный. И я там уже был и сделал снимки... Я в первую голову

именно туда и поехал из Феодосии. А в Керчи я осмотрел церковь седьмого века во имя Иоанна Богослова... Седьмого века,— вы представляете? Маленькая, низенькая,— вроде часовни. Снимки этой церкви я сделал, у меня есть. Совсем маленькая! На сколько же человек? Ну не больше, как на двадцать, не больше! В Херсонесе тоже откопал одну такую церковь, то есть пол, конечно, из каменных плит... Удивительно маленькая тоже! Как же это прикажете понимать? Христиан ли тогда было так мало, или это были частные церкви, домашние, так сказать, богатых людей? А? Вы как думаете?

— Совершенно никак,— правдиво сказала Наталья Львовна.

— Второе предположение, конечно, вероятнее,— как бы не заметив тона собеседницы, продолжал знаток старины.

Наталье Львовне представился Алексей Иваныч Дивеев, архитектор, и она сказала:

— Вас, стало быть, интересует старинная архитектура?

— Вообще искусство, а в частности, разумеется, архитектура, как более долговечное искусство... Я — искусствовед... Пишу книгу об искусстве Крыма... А родом я москвич, Жемарин — моя фамилия, имя-отчество — Николай Андреич...

И, назвав себя, он посмотрел так испытующе на Наталью Львовну, что той пришлось отозваться:

— Не встречала, простите, вас в журналах. Впрочем, я ведь мало читаю, редко когда... Я — домовладелица здешняя... и только... И больше нет у меня никаких достоинств. Когда-то была у меня подруга по гимназии... Встретились мы с нею потом через несколько лет, спрашиваю ее, чем занимается, а она мне вдруг: «Китайской живописью шестнадцатого века!..» Я, конечно, чуть в обморок не упала: явно,— с ума сошла!

— Китайской живописью шестнадцатого века? — повторил Жемарин.— Это идея... Но позвольте: какие же художники были в Китае в шестнадцатом веке?

— Ну уж не знаю я таких тонкостей,— это вам знать, а совсем не мне.

И, найдя, что и так очень долго говорила о том, что ее совсем не занимало, Наталья Львовна поднялась, сослалась на то, что у нее дело по хозяйству, и прости-

лась с искусствоведом так, видимо, неожиданно для него, что он не решился провожать ее: постоял около скамейки, посмотрел ей вслед и, когда она свернула с набережной в переулок, медленно пошел в направлении, взятом им раньше.

Наталья Львовна пришла к себе домой возмущенная этим Жемариным, мысли которого витают где-то около церквей седьмого века и колонн, вытесанных из цельных камней, может быть, две тысячи лет тому назад, где-нибудь в Синопе. Она даже и Пелагее, подававшей на стол к обеду, сказала с сердцем:

— Какие еще люди есть, прямо удивительно! Идет война, убивают стольких людей, все уничтожают, понимаете? — все дочиста, а они, Жемарины какие-то, приезжие из Москвы, скорбят о чем же, скажи пожалуйста? О том, что у нас в городе не генуэзцы какие-то!

— Шпиены, значит? — догадливо заметила Пелагея.

— Не шпионы, а сумасшедшие! Не иначе, как в сумасшедшем доме в Москве сидел, а по случаю войны выпустили.

— Значит, из богатых: откупился, вот и выпустили,— догадалась Пелагея, гремя тарелками.

Не было никакой надобности, по мнению Натальи Львовны, так греметь тарелками, но Пелагея, видимо, считала это совершенно необходимым, и тарелки у нее всегда гремели.

Разговор об искусствоведе из Москвы на этом и кончился, но на другой же день и тоже на набережной он встретился Наталье Львовне снова и, держа на отлет шляпу в левой руке, сказал восторженно:

— А в Петрограде — читали? — что-то вроде беспорядков!

Наталья Львовна не успела еще узнать об этом, и он продолжал:

— Усмирят, конечно, в этом не может быть сомнения,— там большой гарнизон и полки гвардейские... Но все-таки,— как вам это понравится?

— Что же собственно там происходит?

— Рабочие бросили работу и вышли на улицу... Точнее, на улицы, так как рабочих много в Петрограде...

— Забастовка?

— Да, разумеется, а как же еще можно это понять? Только ведь заводы казенные, военные,— забастовка во время войны... Это как называется?

У Жемарина был даже несколько испуганный вид, и, чтобы успокоить самого себя, он добавил:

— Усмирят, конечно, однако чего будет стоить даже час такой забастовки в военное время, а не то чтобы целый день: ведь снаряды фронту нужны как хлеб, а их, значит, вовремя не доставят,— вот чем это угрожает. У нас забастовка рабочих, а этим воспользуется противник и нападет. Наконец, это плохо подействует и на солдат на фронте, а?

— Что же все-таки за беспорядки?

— Будто в продуктовых магазинах и в булочных бьют витрины, грабят и тут же едят...

— Значит, голод выгнал их на улицы?

— Это заранее обдуманный был, конечно, шаг, поверьте! — И Жемарин приложил руку к сердцу.— Голода, конечно, нет, а только приказано им было кричать: «Хлеба! Хлеба!» — вот и кричали.

— Кто мог им приказать это? — удивилась Наталья Львовна.

— Да ведь план беспорядков разрабатывался опытными в этом деле людьми. По-нашему с вами «беспорядки», а по-ихнему — «старый порядок».

— По «нашему с вами», вы говорите? — вдруг спросила Наталья Львовна.— Нет, я думаю, что если люди громят булочные и тут же едят булки, то это значит, что они голодны, сытые не станут есть лишнего для их желудков! Кроме того, я вчера читала в газетах, что там на иных заводах нет каменного угля, а как же можно работать на заводе, если нет каменного угля? А уголь там откуда, не знаете?

— Из Донецкого бассейна, конечно.

— Вот видите! Оттуда его надо привезти в Петроград по железным дорогам, а для паровозов тоже надобен уголь!

— А как же иначе!—согласился он.

— А те, кому уголь приходится добывать, убиваются на фронте. Спрашивается: откуда же возьмется уголь?

— Введено военное положение,— сказал Жемарин вместо ответа.

— Может быть, кричали и чтобы переговоры о мире начать? — спросила Наталья Львовна.

— Ну уж, это ведь дело правительства, а не...

— А не тех, кого убивают? Так вы хотите сказать? У меня отец убит на войне. И мать моя умерла недавно!.. А муж, может быть, тоже убит, только до меня это пока еще не дошло, так как не офицер он, а то, что называется «нижний чин»!

Все это Наталья Львовна выговорила без передышки и пошла, едва кивнýв головой Жемарину. Она пошла к газетному киоску и, не отходя от него, пробежала две столичные газеты и розовый листок телеграмм.

— Усмирят или нет? — спросила она газетчика, и тот поглядел на нее исподлобья, погладил лохматые рыжие с проседью усы и ответил с большой серьезностью:

— Их как мурашей там!

— Кого «их»? — не поняла Наталья Львовна.

— Рабочего сословия — вот кого!.. Как мурашей, говорю! А нешто мурашей всех передавишь?

— Так что, вы думаете, победят рабочие?

Газетчик присмотрелся к ней, хотя почти каждый день ее видел, и ответил многозначительно:

— Всего можно сказать по настоящему времени.

И Наталья Львовна отошла от него почему-то радостно встревоженная.

— Ну, в Петрограде что-то такое затеялось! — обратилась она к Пелагее прямо с прихода.

— Заварюха, что ль? — насторожилась Пелагея.

— Какая «заварюха»?

— А вот какая в японскую войну была?

— Заварюха так заварюха... Однако там войска много... Посмотрим, как дальше пойдет эта заварюха. Завтра не прозевай, телеграмму купи. Или лучше я сама пойду: я сказала газетчику, чтобы для меня одну спрятал, никому другому не продавал. Авось не забудет.

В газетах, которые купила и принесла домой Наталья Львовна, о «заварюхе» ничего не говорилось, но никогда с таким вниманием не читала она газет, стараясь выяснить, что могло привести к «беспорядкам», начавшимся неожиданно. Она чувствовала, что в жизнь ее, как и всех кругом, вошло вдруг что-то очень большое,

чего задавить, усмирить, уничтожить нельзя, и с вечера долго не могла заснуть.

И это не война где-то там, в Галиции, или в каких-то Августовских лесах, или в болотах Восточной Пруссии,— это — в своей столице, которую совсем недавно, в силу ярко вспыхнувшего патриотизма, назвали наконец по-русски Петро-град, а то двести лет с лишком называлась она то Санкт-Питербурх, то Санкт-Петербург, то короче — Петербург. Теперь в этом русском уже городе заговорили наконец по-русски: «Хлеба!.. Хлеба!.. Хлеба!..» Во множестве вышли с фабрик женщины, которым нечего есть самим, у которых голодают дети. Как же воевать дальше, если нечего есть даже в столице? И почему об этом не подумали раньше, когда начинали войну, что солдаты не пашут, не сеют, а только едят готовое, и кто же теперь пашет и сеет и убирает хлеб по деревням? Старики, женщины, ребята? Прежде они помогали, но «кормильцами» семей их никто не называл, кормильцы эти теперь там, на фронте, где и ее муж, полковой каптенармус Федор Макухин, хотя и старший унтер-офицер, с тремя басонами на погонах, но все же «нижний чин», которому говорят «ты» все офицеры.

— Ну что? Усмирили? — спросила Наталья Львовна газетчика, когда утром брала из его рук оставленный для нее листок телеграмм.

— Ку-у-д-а! — сказал газетчик сияя и махнул рукой.

— Ну вот!.. То-то... Это хорошо! — вырвалось у Натальи Львовны.

— Чего лучше! — в тон ей отозвался газетчик. Тут он поглядел кругом, понизил голос почти до шепота и добавил: —Прекращение войны может быть из-за этого дела,— вот что!

И потом с каждым днем все веселее становился этот суровый с виду, как школьный сторож, газетчик, а третьего марта он уже по-приятельски подмигнул ей, когда подошла она за телеграммой, и сказал громко:

— Отрекся — заставили! Сняли с престола!

— Ура! — вскрикнула неожиданно для себя самой Наталья Львовна.

— Ура-а! — крикнул и газетчик. Потом он снял левой рукой картуз, а правую протянул ей: — С чем вас и поздравляю!

Весь этот день был праздником для Натальи Львовны, притом таким, какими бывают праздничные дни только в детстве. Удивило ее и то, что так же приподнято чувствовали себя и другие; однако были и недовольные. Об одном таком рассказал ей почтальон Пантелеймон Дрок. Этот красноглазый, но дюжий крепыш, лет под пятьдесят, был вообще разговорчив, когда приносил ей почту, но в этот день, принеся газету и письмо от Федора, он был особенно многословен и громкоголос:

— Вот случай какой со мной вышел на почте, прямо мне даже самому удивительно, до чего это я осмелел! Приходит к нам на почту письмо заказное сдавать советник действительный статский Аверьянов,— хотя в отставке уж теперь считается, ну все равно форму свою носит.

Глядит на стенку, а там портрета царского нема-а! Сняли. Я сам сымал утром, как телеграммы получились. Своими руками сымал, вот! (И протянул Наталье Львовне обе руки.) Как заорет советник этот: «Как смели портрет царский снять! Как смели! В острог вас за это!» А я ему: «Чего орете зря, когда уж он от царского звания отрекся!» А он палку свою поднял да на меня! А я все одно как тот чертик с рожками, какого на иконах малюют, верчусь, за людей прячусь, а сам кричу: «Отрекся! Отрекся! Отрекся!..» Вот до чего осмелел! Ну, тут другие ему тоже со всех сторон: «Раз царя теперь нету, портреты его все теперь на чердак: там их место!» Палку у него отняли, а самого на скамеечку посадили, хоть и царский советник он, и в форме своей ходил, а теперь он куда? Ну, извиняйте и с тем до свиданья,— в разноску идти мне надо!

Письма от Федора приходили с большим опозданием: писано оно было еще 15 февраля, а тогда все солдатские письма читались. Письмо это было в духе прежних его писем, и кончалось оно обычными словами: «Здоров, слава богу, чего и тебе желаю».

Прошло еще с неделю,— все дни один другого необычайнее. Жемарин не встречался Наталье Львовне в эти дни, и она думала, что он совсем уехал из Крыма.

Но вот как-то уже в середине марта, выйдя в сумерки купить хотя бы медовых пряников к чаю (сахару

тогда уж не продавали), Наталья Львовна увидела Жемарина в лавке,— он тоже покупал медовые пряники, которые шли здесь нарасхват.

Из лавки они вышли вместе. В лавке горела какая-то коптилка, а на улице было уже темно, и Жемарин сказал:

— Как угодно, Наталья Львовна, но обязан проводить вас до вашего дома.

Так как ей хотелось узнать, где он был эти дни, то она пошла с ним рядом, говоря:

— Вы отсюда куда-то скрылись, и я подумала, что уехали к себе в Москву.

— Не только в Москву, никуда вообще не уезжал,— сказал Жемарин,— но, во-первых, мне нездоровилось,— это во-первых, а во-вторых, я приводил в порядок что писалось урывками, на клочках... Случайно мне удалось тут купить тетрадь в целую десть,— туда я и переписал с клочков и планы раскопки и свои зарисовки... Судакскую крепость, например, я зарисовывал с нескольких точек,— и она того стоит, конечно, это редкостный памятник искусства!.. А делать все это я мог только при дневном свете... У моих хозяев имеется только моргалка, а керосину нет... Говорят, в церкви здесь свечки были еще с месяц назад, а теперь уж и там нет.

— Да, теперь уж негде достать и восковых свечек,— согласилась Наталья Львовна и добавила: — А если даже восковых свечек не достанешь, то кому же будет нужно, что вы пишете о всяких там крепостях генуэзских?

— Сейчас, конечно, кому же нужно, это так... Но как только жизнь войдет в норму...

— Чего вам, пожалуй, придется ждать,— вставила Наталья Львовна.

— Долго ждать?.. Не думаю... нет, я так не думаю.— Тон Жемарина был решителен и даже будто немного насмешлив.— Великий князь Николай Николаевич пришлет согласие занять трон, и все восстановится очень быстро,— вы увидите.

— Позвольте, что вы! Ведь ему же предлагали князь Львов и Родзянко, и он уже отказался,— разве вы не читали в газетах?

— Пустя-ки! Отказался сегодня, согласится завтра,— под давлением обстоятельств... Да ведь и союзники наши заинтересованы, чтобы в России была крепкая власть, а не какая-то там республика! Не кто во что горазд, а «мы, милостью божией» и так далее... указом «повелеваем» и тому подобное.

Так странно было слышать это Наталье Львовне, что она простилась было с Жемариным, но тот обиделся.

— Чуть ли не две недели я не видал вас, и вы не хотите позволить мне довести вас до вашего дома? За что же такая немилость?

Идти осталось уже совсем недалеко, и Наталья Львовна дошла рядом с ним до дома, но тут Жемарин сказал просительно:

— У вас, наверно, есть что-нибудь вроде лампы, Наталья Львовна? Надеюсь, вы разрешите мне посидеть немного около лампы вашей, дадите мне настоящего чаю стакан, а?

Наталья Львовна не успела ничего ему ответить. Она в это время стучала во входную дверь, которую заперла за ней Пелагея. И вот дверь отворилась, но когда вслед за ней в темную прихожую втиснулся и Жемарин, то чьи-то сильные, совсем не женские руки так толкнули его обратно на улицу, что он упал там, хрипло вскрикнув. Вскрикнула и испуганная Наталья Львовна, но тут же щелкнул замок, щелкнула зажигалка, и она увидела перед собою своего мужа, Федора Макухина, которого узнала, хотя он был не в служебной шинели, а в черном штатском пальто.

2

Насколько могла рассмотреть Наталья Львовна при слабом свете желтого колеблющегося язычка зажигалки, неожиданно появившийся в доме за короткое время ее отсутствия был действительно ее муж, хотя одутловатым сделалось его лицо, раздался в стороны нос и вполне фельдфебельскими стали усы.

Однако испуг, охвативший Наталью Львовну, был до того силен, что она только дрожала всем телом, а из ее открытого рта не вылетало ни одного звука. В себя пришла она, когда Макухин, отставив левую руку с зажигалкой, обнял ее правой, сказал: «Ну, теперь здрав-

ствуй, Наташа!» — и ткнулся волосатыми губами в ее щеку.

Потом он взял ее под руку и повел в столовую, где горел огарок стеариновой свечки, воткнутый в горлышко бутылки, и стоял начищенный толченым кирпичом самовар.

Только теперь, в столовой, сказала Наталья Львовна тихо, почти шепотом:

— Я сяду... я... не могу стоять...

И она опустилась на стул совершенно бессильно и заплакала вдруг, а появившаяся в это время с тарелками Пелагея тоже вполголоса заговорила:

— Ничего, Федор Петрович, ничего, пусть... Это они со страху так... Это ничего...

Однако Федор спросил ее, и не шепотом, а в полный голос:

— А этот — в шляпе, он часто ходил сюда без меня, а?

— Ка-кой «в шляпе»?..— удивилась неподдельно Пелагея.— Никто ни в шляпе, ни в картузе,— это вы напрасно, Федор Петрович!

— Ну, стало быть, это черта толкнул я сейчас,— зло сказал Макухин.

— Неуж в самделе толкнул кого? — и хлопнула себя по крутым бедрам Пелагея.

— Не иначе, поэтому, черта,— повторил Макухин, и только после этого подняла на него мокрые негодующие глаза Наталья Львовна и проговорила:

— Как тебе не стыдно так!.. Как тебе не стыдно!

Федор не сразу отозвался на эти первые слова жены, он как бы вздыхал и сказал, глядя в пол перед собою:

— Поэтому черт...

Но тут же обратился к Пелагее:

— Посмотри поди, отвори двери,— упал ведь, я явственно слышал,— может, и теперь лежит,— тогда его сюда втащим с тобой,— разглядим как следует, какие черти бывают.

Пелагея тут же пошла в переднюю, но следом за нею, быстро поднявшись со стула, пошла и Наталья Львовна.

Федор тоже поднялся, подождал, пока она выйдет из столовой, и тяжело тронулся с места. Когда он вошел

в переднюю, Пелагея, отпершая дверь, говорила Наталье Львовне:

— Похоже, никто не валяется... Может, дальше где?

И вышла на улицу.

Наталья Львовна только чувствовала, что рядом с ней стоит Федор. И с минуту было так, и не навертывалось ни одного слова: острая обида отшвыривала все слова.

Но вот вошла Пелагея, буркнула: «И дальше никто не валяется!» — и закрыла дверь. Только тогда щелкнул зажигалкой Федор, выходя первым из передней в столовую, и сказал угрюмо:

— Раз он черт, этот в шляпе, он валяться не должен, а должен он ускакать на своих козлиных ножках куда подальше.

— Черта этого фамилия Жемарин,— отчетливо отозвалась на это Наталья Львовна.— Он искусствовед, чего ты не понимаешь и чего тебе втолковать нельзя... Он меня провожал сюда из лавки, как это делают порядочные люди, и ты завтра же извинись перед ним за свой дикий поступок.

— Я чтоб? Извиниться? Держи карман! — крикнул Федор.— А как он сюда сам заявится, то увидишь, как я ему морду набью!

— Таким, какой ты теперь, Федор, я тебя не видела,— скорее с удивлением, чем с обидой в голосе, сказала Наталья Львовна.— Ты не таким зверем уезжал отсюда, каким вернулся. Ты очень озверел там, ты знаешь?

— Еще бы не знать,— кивнул головой Федор.— Там нет человека, какой бы не озверел,— на то и называется фронт. Убивают там людей, или что с ними делают? В лапту что ли играют? Убивают как последнюю сволочь, какой жить зачем?.. Незачем! Вот!..

— А почему ты в пальто, а не в шинели? — вдруг спросила Наталья Львовна.

Федор поглядел строго на Пелагею и сказал:

— Сделала одно свое дело,— иди делай другое,— чего зря стоишь!

— И то, зря стою,— согласилась Пелагея и ушла, но дверью хлопнула громче, чем могла бы.

Федор подождал немного, прислушиваясь к ее шагам, потом придвинулся на шаг к жене и сказал вполголоса:

— Потому я в штатском, что войну со своей стороны я самовольно кончил... чтобы свои от большого ума меня не убили,— вот!

— То есть, другими словами... ты, значит, просто бежал! — с нескрываемым презрением и на лице и в голосе сказала Наталья Львовна и добавила: — Ты значит, ни больше ни меньше как дезертир?

— Все бегут оттуда,— поняла это? — выкрикнул Федор.— Там теперь никакой не фронт, а настоящий ад кромешный! Никто никакого начальства не слушает и даже чести генералам не отдают,— какое же это теперь войско? Это называется сброд, а не войско, как никакой дисциплины военной там нет!.. И воровство пошло повсеместно, а также и грабежи среди бела дня и убийства, если ты хочешь знать,— вот! А за военные действия кто из офицеров если скажет,— ну уж в живых его тогда не ищи!.. «Де-зер-тир!» — вытянул он.— Вот чем напугала! Теперь ты поняла, зачем я шинель бросил, а пальто купил? Поняла?

— Поняла,— ответила она, но отвернулась.

— Не понравилось тебе, значит, что я приехал? Хотелось тебе, значит, чтобы меня уайдакали?

— Нет, этого мне не хотелось!

С такой искренностью вырвалось это у Натальи Львовны, повернувшейся теперь к мужу, что Федор не мог не поверить ей, и он отозвался на это, прикачнув головой:

— Как по тебе заскучал я там, об этом не говорю: писал же тебе,— должна была знать... А заместо того — вон как ты меня встретила!

И Федор не сел после этих слов на стул, а как-то рухнул и голову взял в обе руки.

Наталья Львовна сказала было:

— Ты меня встретил, а не я тебя...— но тут же поняла, что говорить этого было не нужно. Она села рядом с ним, так же, как он, опустила голову на руки и заплакала снова.

Так они сидели и молчали минуты три, и первой заговорила Наталья Львовна.

— Значит, ты вошел в дом, когда я только что ушла, а как же тебя впустила Пелагея?

— Ведь я же ей сказал, кто я такой.

— Хорошо, допустим... А как же ты разглядел этого Жемарина, не понимаю.

— Очень просто я его разглядел: стоял у двери и в прорезь глядел на улицу... А на улице нешто так уж темно было? И разговор его я расслышал.

Наталья Львовна догадалась, о какой прорези говорил Федор: в двери была щель, а под нею с внутренней стороны ящик для писем и газет, и ей самой показалось странным то, что такая мелочь почему-то сразу ее успокоила. Она поднялась и сказала теперь уже тоном жены и хозяйки:

— Ну что же,— значит, с приездом! Снимай пальто, садись к самовару поближе, будем чай пить... Я сладких пряников принесла, а чай у меня настоящий, а не какой-нибудь.

Ей даже показалось, что надо бы улыбнуться теперь мужу, но в улыбку,— точно она забыла, что это такое,— никак не складывались губы.

— Все-таки мне не совсем понятно это,— заговорила Наталья Львовна, наливая стакан мужу.— Вот подошел к двери, постучался, вышла на этот стук Пелагея,— и как же она тебя пустила? Ведь так, согласись с этим, она могла бы пустить и кого угодно, даже двух-трех грабителей. А ведь я ей сколько раз приказывала, чтобы она спрашивала: «Кто там?»

— Она и спрашивала, а как же иначе? — объяснил Федор.— А я ей: «Это ты, Пелагея?»

— Почему же ты знал, что ее зовут Пелагея? — удивилась Наталья Львовна.

— Вот тебе раз! — удивился и Федор.— Раза два мне в письмах ты ее имя называла, значит, об этом забыла? — Она мне в ответ: «Я — Пелагея, а ты кто такой?» — «А я,— говорю,— твой будущий хозяин, Федор Петрович».— «Врешь,— говорит,— наглая душа,— Федор Петрович наш на фронте воюет».— «Был,— говорю,— на фронте, точно, а теперь я здесь, только что приехал...» Ну, она и отперла дверь... Вот как это получилось у нас с Пелагеей.

— Ну, тогда ее и спроси, бывал у меня этот в шляпе — Жемарин, или она его никогда не видела? При мне спроси!

Федор выпил полстакана горячего чая, потом вздохнул и сказал:

— Разве прислуга против своей хозяйки что сказать посмеет? Чудное дело! Она же за свое место будет опасаться... Об этом не беспокойся: я у людей спрошу, какие считаются посторонние.

Наталья Львовна поглядела на него изумленно:

— Да ты понимаешь, что оскорбляешь меня такими словами, или не понимаешь?

— Ну, какое же в этом может быть оскорбление,— отходчиво ответил Федор.— Твое дело молодое, и считалась ты солдатка, а солдатки — они уж известные...

Наталья Львовна долго глядела на него широкими глазами, наконец покачала головой и сказала:

— До чего ты поглупел там у себя на фронте за эти два с половиной года, что даже и слушать тебя противно! Не говори ничего больше!

Посидев за столом молча еще с минуту, она ушла к себе в спальню и заперлась там, а Федору через дверь сказала:

— Поди на кухню и вымойся там, а чистое белье достанет тебе Пелагея.

— Помыться с дороги, конечно, надо,— согласился с нею Федор, и она слышала, как он отошел от двери, а потом заскрипел стулом: значит, сел допивать чай.

Она прислушивалась потом, пойдет ли он на кухню, и услышала, что он позвал Пелагею и сказал ей громко:

— Воды мне нагрей котел: купаться буду!

Хотя было еще рано, чтобы ложиться спать, но Наталья Львовна легла просто из боязни, что к ней постучится Федор, но он не постучался.

Она не зажигала и своего ночника, хотя темноты и боялась. Для нее теперь не было темноты, до того ярко стояло перед глазами все то неожиданное, что она только что пережила.

И разговор ее с Федором продолжался здесь, в ее спальне, хотя сам Федор был в это время на кухне.

Ни смерть отца, ни смерть матери так не ошеломили Наталью Львовну, как смерть ее мужа, того Федора Макухина, какого она провожала на вокзал, когда его вместе с полком отправляли на фронт.

Вернулся кто-то другой, а тот не то чтобы убит, как был убит отец, а умер, умер на ее глазах, вот теперь, и

это оказалось очень страшно, почти непереносимо страшно.

Вышло так, что испуг, охвативший ее, как только отворилась входная дверь и совершенно необъяснимо выброшен был на улицу вошедший вместе с нею Жемарин, не покинул ее,— он продолжался потом в столовой, продолжался и здесь в ее спальне, испуг непреодолимый, ошеломляющий!

Был два с половиной года назад привычный уже для нее Федор, Федор Петрович Макухин, по-своему неглупый, очень услужливый, ценивший ее над собой превосходство, благодарный ей за то, что снизошла к нему, согласилась стать его женой; и вот теперь явился вместо того Федора Макухина кто-то другой, похожий на него, только гораздо старше на вид...

Проблескивала мысль, что он не мог быть прежним,— фронт вселился в него,— но тут же отбрасывалась эта мысль, как ненужная, только мешающая... Представлялся тот Федор, который на ялике в море стал было жертвой шторма, и какой он был, когда его спасали люди, работавшие у него на известковой печи... Представлялось, как он, чтобы отблагодарить рабочих за спасение своей жизни, дарил им вот здесь, в этом доме, в день свадьбы, и печь эту и постройки, в каких они жили, и как рабочие нашли этот подарок для себя обременительным и от него отказались.

Тогда она любовалась своим мужем, тогда он был ей понятен. Любовалась им и тогда, когда надел он блузу цвета хаки с унтер-офицерскими погонами: у него был тогда бравый вид настоящего защитника отечества,— он был тогда в ее глазах воин в войске, в котором ее отец был в числе командиров,— именно воин, а не какой-то там «нижний чин».

И вот теперь он уже больше не воин, а дезертир, которого уважать за что же? За то, что больше не хочет защищать ничего, даже этого вот своего дома, который она берегла для него два с половиной года?.. Она берегла и сберегла, а он даже спасибо не сказал ей за это!

Она представляла любителя старинных построек, Жемарина, и ее охватывал острый стыд за то, что так дико обошелся с ним ее муж. Догадался ли он, Жемарин, что именно неожиданно вернувшийся муж его недавней знакомой выбросил его на улицу? Не повредил

ли ему руки или ноги Федор?.. А, может быть, он подумал, что дом захвачен грабителями, и пошел заявить об этом в полицию?

Что ей утром надо уйти из этого дома, сразу ставшего ей чужим, к этому решению она пришла, когда сидела в столовой с Федором; но куда уйти, с чем уйти, об этом она думала теперь, в темной спальне, но ничего не придумала: ни куда именно ехать, ни с чем.

Она жила здесь на те деньги, какие присылал ей Федор с фронта, а где он их брал там, это ее не занимало. Теперь ей представился единственный выход: завтра она скажет Федору, что от него уезжает, только просит дать ей на дорогу денег. Если он спросит ее, куда она поедет, то что может она ответить? Только одно ответить может: там видно будет, куда... Только так, потому что сама не знает, куда.

3

Утром Наталья Львовна поднялась по привычке, когда начали белеть окна. Она спала в эту ночь мало, забылась только под утро. Встала она не то чтобы разбитой, но охваченной одним желанием бросить дом своего мужа и этот городок, в котором прожила года три и где она как будто совсем не была собою. Как будто тянулся какой-то тяжелый полусон, но поняла это она только вчера, когда проснулась.

Когда она вышла в столовую, то первое, что ее остановило, было новое в доме: кто-то спал на диване. Первой явилась именно эта мысль: какой-то чужой человек спит на диване; только через момент она поняла, что это — Федор, но иначе чем о чужом она не могла уже о нем думать. И чтобы не разбудить его, этого чужого, она на цыпочках прошла на кухню, стараясь не скрипнуть дверью.

Пелагея уже возилась около плиты, однако Наталья Львовна заметила, что смотрит она как-то по-новому. И сразу же зашептала Пелагея:

— Боязно мне стало теперь у вас, прямо вам скажу,— вот что: боязно... И кажется так, что лучше всего будет мне от вас уйтить!

И хотя Наталью Львовну удивило то, что и Пелагея, как и она сама, решила за эту ночь куда-то уйти, она спросила с виду спокойно:

— Как это так уйти? Почему боязно стало?

— Да ведь вон какой приехал,— поспешно зашептала Пелагея.— И все меня допытывал, кто к вам сюда из мужиков приходил. «Никто,— говорю,— не приходил и даже нехорошо это с вашей стороны». А он мне,— Федор Петрович-то,— кулак свой прямо к самому носу поднес, а? Это как? хорошо это?.. А между прочим требует, чтоб я никому, боже избави, ни одним словечком не проболталась, что он приехал,— вот как! «Твое,— говорит,— дело такое: «Никого не видала, ничего не знаю!» Вот твое дело!» Как же теперь, может, убил он кого, Федор-то Петрович, потому скрывается, а?.. «Я,— говорит,— и на улицу даже выходить не буду, а только нешто когда стемнеется совсем, потому что ночью все кошки серые».

— Убивать-то он, конечно, никого не убивал,— медленно находя слова, сказала Наталья Львовна,— даже и на фронте, ведь он в нестроевых, полковой каптенармус... Он боялся, как бы его свои же солдаты не убили. Дисциплины теперь никакой на фронте, и никто начальства слушать не хочет... Вот почему многие уезжают...

— А говорить, стало быть, об этом все-таки никому нельзя? — еще более испуганно спросила Пелагея.

— Если Федор Петрович так... советует не говорить, то, значит, он понимает свое положение... Поэтому говорить никому и не надо.

— А если полиция спросит?

Такого вопроса от Пелагеи не ожидала Наталья Львовна, и, подумав, она сказала:

— Полиция спрашивать тебя не будет, а сама сюда придет, если ей понадобится!

Когда она проходила через столовую обратно в спальню, то могла убедиться, что Федор спал крепко и что Пелагея напрасно шептала так таинственно.

То, что Федор, по словам Пелагеи, вынужден прятаться, как всякий дезертир, подняло ее в собственных глазах: правота была за нею, а не за ним,— ей прятаться ни от кого не было нужды. Выходило так, что не только Пелагея, но и она не должна была никому говорить, что в доме теперь ее муж. Между тем не зря Пелагея вспомнила о полиции: в домовую книгу должно быть вписано, что в доме Макухина живет с такого-то марта сам владелец дома Федор Макухин, и домовая книга с этой записью должна быть заявлена в полиции.

Какое-то превосходство свое над мужем почувствовала теперь Наталья Львовна и, хотя старалась проходить через столовую как можно тише, чтобы не разбудить Федора раньше времени, все-таки стала крепче.

А Федор спал долго: было уже двенадцать часов, когда он, наконец, заворочался на диване, загремел отодвинутым стулом и поднялся. Можно было понять, что ему мало приходилось спать в дороге, и она поняла это, когда, одетый, уже стоял он перед нею, виновато, по-довоенному улыбаясь ей, в то время как ее губы, как одеревенелые, не могли сложиться в улыбку. С минуту держалась на его лице, ставшем после долгого сна еще более одутловатым, эта виноватая улыбка и потухла. Он отвернулся к окну, и Наталья Львовна услыхала глухим голосом сказанное им:

— Пока что ни одна душа не должна знать, что я здесь, потому, понимаешь, с моей стороны так надо, а по закону выходит незаконно. Между прочим, власти царской, которой я должен был присягать, что буду служить верой, правдой, больше уже не существует, а другой власти, какая теперь, я не присягал, даже и не знаю толком, что это за власть такая, да и никто на целом фронте того не знает! По тому самому и бегут... А тут, может быть, знают и, чтоб пред новой властью отличиться, станут нас ловить, чтобы обратно на фронт доставлять,— вот! Одним словом, погодить надо с объявлением,— поняла или нет?

Тут Федор повернулся к ней и поглядел на нее в упор.

— Отчего же не понять? Поняла, конечно,— ответила она и отвернулась. И даже отошла поспешно,— пошла на кухню, давая этим понять и ему, что больше говорить о его положении ничего не надо.

И глаза ее в это время были отчужденно холодные и даже для нее самой непривычно серьезные.

Когда снова прошла из кухни через столовую Наталья Львовна, она увидела, что Федор стоял около окна и через занавеску глядел на улицу. Это прежде всего бросилось ей в глаза, что он не откидывал занавески, с вышитыми на ней журавлями, а глядел сквозь нее, чтобы его самого не разглядел кто-нибудь, проходя мимо дома.

И тут же самой себе призналась она, что не было у нее жалости к мужу, которому приходится скрываться: чужого не жалко.

А он обернулся к ней и по-прежнему деревянно и без малейшего оживления в плотном одубелом лице проговорил:

— Смотрю на всякий случай; нет ли еще кого из таких, какой тоже с фронта прибег и свободно себе ходит.— И добавил: — Приставу, конечно, если дать сотняги три, то он будет молчать, только вопрос в том, как эти три сотняги из банка взять... Конечно, и для домашности нам деньги тоже понадобятся, а как я сам за ними в банк заявлюсь, тут меня и на цугундер: каким манером в Крыму ты оказался, когда на фронте обязан быть? Это теперь нам вдвоем очень тонко обдумать надо, чтобы с деньгами быть, а не то чтобы с пустыми карманами. Хотя бумажки эти теперь уж мало что стоят, однако же и без них тоже никак нельзя.

Наталья Львовна ни одним словом не отозвалась на это и прошла в свою комнату.

С полчаса пробыла у себя она, все ожидая, что он отворит дверь и войдет, но он так и не отошел от окна. А когда снова понадобилось ей пойти на кухню, он бросил ей вслед:

— Дал я этой дуре твоей Пелагее бумажку, чтобы молчала, ну да ведь бабий язык, он известный! Чтобы баба утерпела не сказать, хотя бы ее никто и не спрашивал, этого не жди... Ты бы ей со своей стороны тоже внушение сделала.

Наталья Львовна сочла нужным слегка кивнуть головой, но не обмолвилась ни словом. А Пелагея сказала ей шепотом:

— Вот страху на меня нагнал Федор Петрович-то ваш, ну и нагнал!.. Страху, говорю... «Ты,— говорит,— чтоб никому а ни-ни-ни! А то, говорит, пришибу, как все одно суку!»

— Это насчет чего он? — полюбопытствовала Наталья Львовна тоже почему-то шепотом.

— Да вот насчет того, что в свой собственный дом приехал! Диви бы в чужой, а то в свой... Не убил ли кого, а его полиция ищет? Аж боязно мне стало,— как хотите...

— Ну вот еще глупости выдумала,— «убил»! — успокоила ее Наталья Львовна, а сама подумала: «Может быть и в самом деле убил кого?» И тут же придумала, что сказать: — Долги у него здесь, а денег на руках пока нету,— нужно в банке взять,— только и всего.

И даже добавила:

— Хорошо, что ли, если сюда к нам приходить будут, требовать?.. А деньги в банке возьмет, сам будет искать, кому должен, чтобы расплатиться.

— Так, так,— деньги, это, конечно,— протянула Пелагея, но тощей шеей повела недоверчиво.

Войдя в столовую, где так же у окна за занавесками с журавлями стоял Федор, Наталья Львовна сама обратилась к нему, не подходя, впрочем, вплотную:

— Тебе неудобно самому идти в банк,— так что же тут такого? Напиши чек на мое имя, я пойду и получу.

— «Пой-ду»! — передразнил ее Федор.— В Симферополь пешком пойдешь?

— В симферопольском банке деньги?

— А то в нашем «Взаимкредите»? Да он теперь, должно быть, уж лопнул...

— Об этом не слыхала, чтобы лопнул... А в Симферополь могу хоть сейчас поехать.

— Сей-ча-ас? Как это так сей-час? — удивленно вытянул Федор.— Не завтракав, не обедав?

— Позавтракать и в дороге можно... А если сейчас не поехать, то до сумерек и не доберешься.

— До сумерек дай бог и теперь добраться: дорога грязная,— я ведь видел.

— За один день все равно не сделаешь этого...

— Обыденкой не выйдет дело... Придется ночевать там в гостинице... Пока приедешь,— банк закроют: банки в два часа закрываются... Ехать, так завтра с утра пораньше, а нынче извозчика договорить.

— Конечно, если завтра пораньше выехать, то будет гораздо лучше,— сразу согласилась она, довольная уже и тем, что может поехать.

Завтракали вместе. Лицо Федора и за завтраком оставалось деревянным.

— Князь Львов будто стоит во главе теперь,— говорил он, жуя крутое яйцо.— Пускай себе он князь, но сила, однако ж, в том, что не великий, а маленький, вот что! Родзянко — помещик екатеринославский, Керенский — адвокат... Там другие еще всякие,— однако ж я им не присягал, и не смеют они от меня никакой службы требовать... Да там и не служба,— это в мирное время считается служба, а там, на фронте, сейчас ты жи-

вой, а через пять минут сапоги с тебя с убитого сымут... А также шинель твою и всю одежду мундирную обратно в цейхгауз сдадут, другим каким пригодится,— вот как на фронте: не об человеке забота, а об одеже, об сапогах. А от вас, от людей, какое вы прежде название имели,— отодрали подковки, свалили вас в кучу, как все одно поленья, полковой поп вас отпел, кадилом над вами помахал и в яму вас общую свалили,— называется это «братская могила»... И в список вас занесли писаря на случай справок каких,— вот и вся ваша жизнь.

Наталья Львовна слушала Федора, и перед ней вставала не куча, а целая гора человеческих тел, едва прикрытых, а рядом другая гора грязных и дырявых шинелей, стоптанных и тоже дырявых и грязных сапог, мундиров и шаровар, которые должны будут пригодиться для других, пригнанных на фронт,— именно «пригнанных», как пригоняют гурты скота на убой. А все-таки, как ни странно казалось это даже самой Наталье Львовне,— она не чувствовала ничего, глядя на Федора, кроме очумелости: сидит за одним столом с нею чужой ей человек. Он — муж ее, но чужой, и это проникало в нее, как страх... А страх был такой ошеломляющий, что хотелось вот сейчас вскочить из-за стола, выскочить в дверь и бежать куда-то по улице... Куда? — все равно куда.

Вот почему она действительно вскочила и даже вскрикнула:

— Я поеду!.. Я сейчас же поеду!

Тогда Федор, одолев крутое яйцо, сказал хозяйственно, повторяя уже однажды сказанное:

— Прежде всего нам что надобно сделать? Прежде всего надобно денег в банке взять,— человек, который без денег, это не человек, а шваль! Деньги же мои, хотя их не так уж теперь много осталось, в симферопольском государственном банке лежат. А мне, в моем сейчас положении, ехать за ними нельзя,— вот какое выходит дело! Я поеду, а там везде сыщики: заметят, что возраст у человека военный и собой незаметно, чтобы хворал чахоткой,— сейчас к тебе проберется бочком, и пожалуйте бриться... Не иначе, как придется тебе поехать,— а я тебе чек на полторы тысячи рублей дам,— такое дело!

Когда Наталья Львовна вскрикнула: «Я поеду!» — Федор поглядел на нее понимающими глазами.

— Засиделась ты тут, конечно, два года сидишь да еще и слишком большим...

— Сейчас и могу поехать! — повторила она.

— Сейчас?.. Сейчас уж девятый час идет. Пока извозчика договоришь, пока выедешь, будет не меньше, как десять... А езды считается битых пять часов... И то это если лошади хорошие. Ну, одним словом, за день не обернешься, чтобы тебе засветло домой вернуться. А ночью ехать с деньгами, это — не модель по нынешним временам: вполне могут ограбить!

— Значит, в гостинице лучше переночевать? — вставила быстро она.— Ну что же тут такого? Переночевать в гостинице! А завтра пораньше деньги получу и тут же назад, чтобы засветло приехать...

Говоря это, Наталья Львовна подумала вдруг, что у нее теперь предательски радостно должны сиять глаза, и, чтобы не обратил на это внимания Федор, она круто отвернулась к окнам.

Федор понял это по-своему и сказал:

— Смотришь, дорога не грязная ли будет? Это, конечно, тоже надо иметь в виду... Дорога, я тебе скажу, такая, что считай все шесть часов туда,— шестнадцать верст считается подъем до перевала. С перевала вниз лошади сами, без кнута, бежать будут... Оттуда, значит, за пять часов. Да в банке — пускай всего час... Вообще считай двенадцать часов... Вот я почему и говорю: обыденкой не обернешь.

— Если вот теперь поеду,— излучая сияние глаз и даже как бы считая про себя часы, сказала Наталья Львовна,— то засветло доеду, не до банка, а до гостиницы; там переночую, а завтра утром в банк и как получу деньги, сейчас же, на том же извозчике, обратно. В девять если оттуда выеду,— в два приеду.

И, посмотрев на мужа взглядом вполне серьезным, она добавила:

— Этого ни на один день откладывать нельзя при твоем положении: могут и сегодня от кого-нибудь узнать, что ты самовольно отлучился, а не то чтобы отпуск получил, а завтра смогут тебя проведать,— вот деньги и пригодятся,— кому-нибудь сколько-нибудь сунуть, а?

Федор ответил ей не сразу. Он посмотрел ей прямо в глаза, посмотрел потом на дверь, как бы желая пред-

ставить, кто именно может непременно в нее войти, чтобы его проведать, и только через минуту, не меньше, сказал тихо, но решительно:

— Что так, то так... Полиция чем живет? Хабаром, а не то чтобы своим жалованьем... Ну что ж,— когда такое дело, иди ищи извозчика... Только боже тебя сохрани проболтаться ему, что в банк за деньгами едешь!.. Боже сохрани! Слышишь?

— Что же я, девочка, что ли? — тоном обиженной отозвалась на это Наталья Львовна и тут же пошла в свою комнату готовить чемодан в дорогу.

4

Бывают такие счастливые моменты в жизни людей, когда они будто перерождаются вдруг каждой клеткой своего тела. До последних мелочей ясно становится им, что надобно делать и как делать. Тяжесть их тела отлетает куда-то,— оно становится невесомым. Человек становится одно стремление, захватившее его целиком, и в действиях его не может уже проявиться ни малейшей ошибки. Так почувствовала себя Наталья Львовна после разговора с мужем. Войдя в свою комнату собираться в дорогу, она даже намеренно крепко притворила за собою дверь, чтобы ей не мешал Федор: пусть садится за свою чековую книжку, пишет для нее чек на полторы тысячи.

Она была похожа самой себе на заключенную в тюрьму, подготовившую уже все для своего освобождения, ожидавшую только момента, когда можно было совершить задуманный побег.

Момент этот настал. Ею как будто уже овладел кто-то невидимый, но все видящий сам, и ей нужно было как можно быстрее исполнять все, что он прикажет. А теперь он приказывал ей в последний раз пересмотреть все свои золотые вещи, которые были уложены ею еще ночью, а потом тут же надеть на свое платье другое, затем третье из более дорогих и новых, а сверх них меховую шубку. Она была просторная, и сколько под нею платьев, не мог бы угадать Федор.

Именно затем, чтобы не возбудить у него никаких подозрений, она брала с собою и небольшой чемодан, легкий на вид, хотя ей и жаль было того, что оставалось

здесь из ее вещей. Но она как бы летела уже теперь, выходя из своей комнаты одетая и с чемоданом в руке, а в полете всякая лишняя тяжесть очень тяжела.

И тот невидимый, который руководил ею в побеге, подсказал ей, что она должна теперь погасить свою радость и принять вид озабоченно-серьезный. Придав себе такой вид, она и подошла к Федору.

— Уже собралась?.. Скоропалительно! — с нотой явного одобрения в голосе встретил ее Федор.

— А как же иначе? Надо же извозчика найти, чтобы засветло доехать,— озабоченно ответила она, беря у него чек.

— И как же у меня там в банке,— паспорт будут требовать? — спросила она, очень внимательно вглядываясь в то, что написал Федор.

— Зачем же им паспорт, когда чек на предъявителя? — объяснил он.— А паспорт, разумеется, возьми, раз придется в гостинице ночевать.

— Я и взяла, а то как же,— очень серьезно отозвалась на это она и головой прикачнула.

Чек она спрятала во внутренний карман шубки и, не ставя чемодана на пол, чтобы показать, что он очень легкий, обняла мужа, чтобы тут же поспешно летучей походкой ринуться в переднюю, отпереть выходную дверь и выскочить на улицу. Где и как найти извозчика, она знала.

А на улице первое, что ее встретило и обняло гораздо крепче, чем муж, была весна.

Мы всегда глядим, но редко видим.

Когда мы глядим на то, что уже примелькалось нам, то думаем в это время о чем-нибудь своем, иногда очень далеком от того, что кругом. Мы наперед знаем, что встретит наш глаз, когда мы будем продвигаться дальше и дальше. Мы будем проходить мимо известных уже нам домов, встречать ненужных нам людей, по которым бегло скользит взгляд. Мы смотрим на тротуарные тумбы, на приклеенную к стене большую, цветную и уже разодранную афишу и на многое еще, а видим в это время только того или тех, о ком думаем.

Бывает, что, увлекшись разговором с ними, мы не замечаем даже, что шевелим губами, хотя это замечают встречные и смотрят на нас удивленно.

Когда Наталья Львовна шла по улице теперь, она чувствовала себя так, будто никогда раньше не видела этой улицы, преображенной весною.

Она сверкала вся до рези в глазах, так щедро хлынули на нее потоки солнца. Даже стариннейшая несколькосотвековая генуэзская башня, верхушку которой, украшенную бесчисленными голыми теперь кустами, она видела с улицы, и та глядела на нее вызывающе молодой и веселой. Все семь или восемь веков истории смыло с нее весеннее солнце.

На заре шел, видимо, небольшой неторопливый дождь, и теперь все добротные каменные дома на улице были в ярких радужных каплях, радостных необычайно. По обочине тротуара выбилась уже из земли пахнущая весною густая трава, и ее щипали жадно и радостно очень красивые по оперению разномастные куры, а большой золотистый петух залился вдруг таким оглушительным «кукареку» как раз в то время, как подходила к нему Наталья Львовна, как будто тоже вместе с нею был рад тому, как удачно вышел ее побег.

И извозчик Силантий, которого она знала раньше, показался ей теперь новым, увиденным как следует в первый раз. Это был хотя и кривой на один глаз, но разбитной малый, как и полагается быть извозчику, который по три, по четыре раза в неделю делает концы в пятьдесят верст через перевал, по шоссе, огибающему Чатырдаг.

У него были белесо-рыжие усы под утиным носом, а единственный глаз, серый, бойкий и не сомневающийся в себе круглый глаз, встретил ее весело и довольно.

— Ехать на Симферополь желаете? — первый заговорил Силантий, который уже надевал в это время хомут на своего крепкого, сухопарого, но жилистого на вид коня вытертой вороной масти.

Сильно поношенный был и теплый на вате зеленоватый пиджак Силантия. И шапка-ушанка на нем, тоже старая и неопределенного цвета, надета была весело, ухарски, набекрень.

— Еще один у меня договоренный пассажир есть — Черекчи, лавочник,— сообщил ей, орудуя привычно руками, Силантий.— Их два брата в лавке торгуют, считается так — две Июды Скариотские — так это старший. Сейчас подойти должон. Приискивался еще один — печ-

ник, за печным прибором будто бы ему надо, будто здесь ему печного прибора не хватает, ну я ему сказал: «Деньги вперед заплотишь, тогда поедешь, а на шермака если желаешь, то это уж — ах, оставьте!..» Бывает, по дороге, по деревням, люди с чемоданами стоят, извозчика дожидают,— тех возьму, а печника этого, как он мне поперед деньги не уплатит,— не-ет!

И пока подошел грек Черекчи, Силантий успел сообщительно рассказать, что не взяли его по мобилизации из-за глаза:

— Вот же мне горе какое было из-за этого глаза, ежель хотите вы знать, как я его, еще парнюгой был, выколол ночью об сучок сухой,— и-ж, сказать нельзя, сколько горя принял!.. А что же оказалось в конце-то концов? А в конце концов — вот я, кривой, жив себе и здоров, а какие с обома глазами были, тех на фронт взяли, и поди ищи ты, ворон-птица, где их кости закопаны. Вот как дело обернуться может, каким концом!

Счастливого человека видела перед собой Наталья Львовна, и так шел этот бойкий, поворотливый, одноглазый человек ко всему весеннему, что видела она кругом!

Подошел Черекчи, низенький, тучный, чернобородый, с совершенно деревянным каким-то, желтым, оплывшим лицом, но и тот как бы озарился чем-то веселым, весенним и постарался сделать улыбчивыми агатовые глаза, протягивая ей деревянную, неспособную гнуться руку.

При виде его вспомнила Наталья Львовна, как два с половиной года назад ехала она тоже в извозчичьем фаэтоне вдоль берега моря, стремясь спасать Федора, которого в море захватил на легкомысленном рыбацком ялике шторм. Тогда на обратной дороге попался ей другой грек — Попандопуло. И странно было ей самой чувствовать, что будто очень давно это случилось с ней, а между тем теперь она гораздо как-то моложе и душой и телом, чем была тогда. Потому она весело улыбалась даже этому своему спутнику, одному из двух «Скариотских Июд».

Она улыбалась и глядя на печника, который явился следом за греком,— борода клином вперед, лоб под старой фуражкой покато назад, а глаза красножилые, как будто успел он уже где-то несколько выпить.

Деньги вперед он действительно не дал, и Силантий не взял его в свой фаэтон.

5

Наталья Львовна знала обоих Черекчи: в их бакалейной лавке покупала она сама или посылала Пелагею, и две Июды знали ее. Потому не удивилась она, когда грек обратился к ней полушепотом, чтобы не слышал его возившийся около лошадей Силантий:

— Что будем делать, а? Как жизнь будет, а?

— Это вы насчет революции? — в тон ему полушепотом спросила она.

Черекчи оглянулся на Силантия, отошел шага на три дальше и ответил:

— Это какой революции, ххе! Это... так не будет,— наш грек говорит себе так: оч-чень плох будет, оч-чень! — Попандопуло — он хитрый человек,— дом свой продал.

Наталья Львовна знала, где,— на набережной,— был большой дом Попандопуло,— в нижнем этаже ресторан,— и удивилась:

— Продал? Неужели? Зачем?

— Греция едет! — таинственно сообщил Черекчи.— Спугался... Боится оч-чень!

— Вот как? Боится? А кому же продал?

— Приезжий один... Богат человек... Там боялся оч-чень, там земля да продал, здесь дом да купил.

— А кто купил у него землю, у этого помещика, тот, значит, не боялся?

Черекчи выпятил толстые губы и развел короткопалые руки в знак непонимания. Но тут же он перешел на шепот:

— Муж ваш, скажите, приехал, тоже дом свой продавать будет, а?

Это удивило Наталью Львовну.

— Ка-ак так мой муж приехал? Что вы говорите? Он на фронте!

— Фронте, да! Я тоже сам знаю! Фронте, да!.. Говорил так один человек, ххе. Значит, так думаем — врал!

А Наталья Львовна думала в это время: «Пелагея сказала,— кто же больше!» — И невольно оглянулась назад и по сторонам, не идет ли Пелагея: вдруг ее послал Федор, чтобы она отложила поездку и вернулась домой.

Поэтому тут же пошла она к Силантию и спросила резко:

— Ну что же, мы все-таки поедем сегодня?

— Готово,— все готово,— садитесь! — и Силантий отстегнул кожаный черный фартук фаэтона и поддержал ее под локоть, когда она, став на ступеньку, занимала заднее место. Рядом с нею грузно уселся Черекчи, который тут же обратился к Силантию:

— Тарабогаз будем ехать,— Гелиади возьмешь! — Гелиади,— слышаль?

— Мне все едино, какой он там, лишь бы пассажир был — настоящий! — буркнул Силантий, влезая на козлы, и тронул лошадей. А Наталья Львовна очень встревоженно и в то же время притаясь на своем месте, глядела, не бежит ли остановить ее Пелагея, и успокоилась только тогда, когда экипаж оказался уже на шоссе, ведущем к Тарабогазу, небольшой пригородной слободке, где жили одни только греки. Оказалось, что Гелиади был не один, а с женой, что понравилось Силантию. Понравилось это и Наталье Львовне, так как у новых пассажиров завязалась с Черекчи оживленная беседа на их языке, и к ней Черекчи больше уж не обращался.

Гелиади был лет сорока, с горбатым тонким носом, с черными редковолосыми усами и бритым сухим подбородком. На нем была черная круглая смушковая шапка, такая же, как и у Черекчи. Был он подрядчик, хозяин артели каменщиков, строивших дома. И хотя теперь, во время войны, домов никто уж не строил, все-таки у него осталась привычка как со своими рабочими, так, видно, и со всеми рассуждать громко и с полным знанием дела. А жена его, полнотелая и неуклонная женщина, была, как определила ее Наталья Львовна, из тех рано стареющих гречанок, которые способны были делать сразу три дела: гнать домой свою корову с пастбища в мелколесье, тащить на спине охапку сушняку, набранного там, и вязать спицами шерстяной чулок себе или мужу на зиму. Закутанная в теплый коричневый платок, она внимательно слушала то, о чем говорил Черекчи с ее мужем, но сама каменно молчала.

Однако, взглядывая на нее, Наталья Львовна думала о ней, что вот она отлично знает, куда и зачем она едет; может быть, так же, как и Попандопуло, хотят они с мужем продать свой дом в Тарабогазе и уехать в Грецию, не ожидая ничего хорошего для себя здесь, в Крыму, в близком будущем; а вот она сама, уехавшая от мужа, никак не может представить себе ясно, куда она поедет

дальше, когда получит деньги по чеку: ей совершенно все равно было, куда ехать, лишь бы куда-то дальше.

Между тем по обе стороны извилистого шоссе, на обнаженных гладко обкатанных камнях которого подпрыгивали колеса на старых резиновых шинах, плотно прижалась ко всем лесистым взгорьям и балкам та же сверкающая весна, какая встретила ее тут же по выходе из дома.

Только здесь она была необъятно шире, эта весна, и охватила Наталью Львовну всю целиком.

Какие бы ни были кругом безлистые кусты и деревья, дубняк или граб, дикие груши или дикие черешни, кизил или орех-фундук,— они проникали в нее, во все поры, теми своими бойкими весенними соками, своей безмолвной, как бы не очень говорливой радостью возрождаемой жизни. Радостно весенней была и каждая одинокая хатка, попадавшаяся по сторонам дороги. Белые стены ее казались именно весенне-белыми, а черепичная крыша ярко светло-красной, в то время как небо было ослепительно голубое, без единого облачка.

Как настоящее подлинное освобождение от того, что почти задавило ее в последнее время, особенно же в два последних дня, вдыхала Наталья Львовна вместе с воздухом южно-горной весны ширину, простор, ликование. И не только в подъем на перевал — теперь уже шагом шли лошади,— а это в ней самой рос и рос подъем, и что еще отметила она в самой себе — ворвалась в какую-то большую удачу, которая ее ждет, и даже на безмолвную гречанку Гелиади Наталья Львовна глядела радостными, помолодевшими, мечтательными глазами.

Проехали деревню Шумы, где домики затейливо амфитеатром расселись на горке над самым шоссе, а сады с большими орехами, яблонями и грушами и виноградники, в которых обрезанные кусты были похожи на кочерыжки, стремительно поползли от шоссе вниз, в глубокие балки.

Силантий обернул к Наталье Львовне красное рыжеусое лицо и сказал:

— Значит, считается, семь верст отмахали... А еще пять отмахаем, остановку сделаем коней поить,— колодец там есть.

— А до перевала оттуда сколько останется? — пусто, но радостно спросила она.

— До перевала оттеда еще четыре считается, ну, те четыре двадцати стоят, потому как дорога там скаженная,— объяснил Силантий.

Ей хотелось узнать не это, а то, сколько времени пройдет еще, пока, наконец, окончится «скаженная» дорога и начнется веселый спуск вниз, но тут же показалось ей совершенно лишним даже и спрашивать об этом: как бы медленно ни двигался фаэтон, двигался он к ее удаче.

И так как она верила в свою удачу, то удача ее и ожидала на месте остановки у колодца на двенадцатой версте вблизи красивого одноэтажного здания — шоссейной казармы. Там,— не на шоссе, а под огромной старой, может быть двухсотлетней дикой грушей стоял фаэтон, запряженный парой гнедых коней, поджарых и усталых на вид, и возница сидел на пеньке с задним колесом, снятым с оси, а пассажиры,— их было четыре,— стояли около него с лицами не очень веселыми. По знакомой ей старой коричневой шляпе Наталья Львовна узнала среди этих четырех Жемарина, хотя он стоял в это время и спиною к ней. Именно это и признала она удачей.

Тут же выпрыгнула она из своего фаэтона и подошла к нему.

Жемарин — он был без пенсне и потому несколько странен на вид,— обрадовался ей чрезвычайно. Даже слёзы на его подслеповатых глазах заметила она и приписала их этой именно радости.

— Вы? Невероятно!.. Какими судьбами?

— А вы какими? — шаловливо спросила она.

— Я еду к себе домой, в Москву, а вы?

— Я только в Симферополь... А где же ваше пенсне?

— Там осталось где-то... возле вашего дома...

— Упало, и вы его не нашли?

— Я его искал, и под ногами что-то хрустнуло... По всей вероятности я его раздавил... А в аптеке тут хотел купить новое,— оказалось — нет... Доеду до Симферополя,— прямо в оптический магазин.

Тут он приблизил свое лицо к ее, чтобы разглядеть ее лучше, и добавил встревоженно:

— А почему у вас глаза так блестят? Вы не больны ли? Только при повышенной температуре могут быть у людей такие глаза.

— У меня и в самом деле повышенная температура,— тут же согласилась с ним она и еще радостнее

улыбнулась. Потом, взяв за руку, отвела его на несколько шагов и добавила, понизив голос:

— Это у меня не от болезни,— что вы вздумали! Это от счастья, что я уехала!

— То есть, как «уехала»? — не понял он.

— То есть, совсем: и от мужа и из его дома!

— И куда же? К кому же? — вдруг так и засиял Жемарин, и слезы переполнили его глаза и покатились по щекам. И снова они показались Наталье Львовне слезами радости, и ответила она вполне безжалостно:

— Не к вам, конечно, так как не думала вас даже и встретить тут на дороге. А к тому,— да, действительно, к тому, кого, может быть, и не встречу совсем!

— Вы сказали «от мужа»,— значит, действительно ваш муж приехал, и это он меня... толкнул за дверь,— он? — очень возбужденно, хотя и не повышая голоса, заговорил Жемарин, и брови его заерзали по лбу.

— Конечно, муж... А вы как подумали? — И Наталье Львовне тоже пришлось поднять брови и округлить глаза, когда Жемарин ответил:

— Я думал, представьте себе, мне от неожиданности показалось, что в ваш дом проникли грабители...

— Та-ак,— протянула Наталья Львовна.— И какой же у вас тогда план действий?

— Я хотел тут же бежать в полицию, заявить об этом.

— Вот был бы театральный трюк!.. Однако вы одумались?

— Одумался, совершенно верно... Ведь вы мне говорили, что ваш муж на фронте,— вот я и догадался потом, что это именно он приехал, когда вы сидели на скамейке на набережной. Я только не мог понять одного,— и сейчас не понимаю, признаться,— как он мог меня увидеть...

— По его словам, разглядел вас в дверную щелку, куда почтальон письма и газеты просовывал,— объяснила Наталья Львовна.

— А-а... Вот в чем тут был секрет!.. А что догадка моя была правильна, я уж на другой день услышал: говорил кто-то, какая-то женщина.

— Эта женщина была, конечно, Пелагея,— кто же еще. Ну, хорошо, об этом довольно. Это мне больше совсем не нужно.

И, смотря прямо в слезящиеся глаза Жемарина, сквозь них и даже сквозь лесистую гору перед собою, Наталья Львовна добавила:

— А если я не встречу, кого хочу встретить, то... то, может быть, меня примут в труппу. Могут ведь принять, хотя бы сначала и на выходные роли, как вы думаете?

И, не дожидаясь, что ответит Жемарин, ответила себе сама:

— Конечно, примут! — и головой прикачнула уверенно.

— На сцену? А-а!.. Тогда вам лучше всего в Москву! — очень оживился Жемарин и даже взялся за рукав ее шубки, как бы с намерением помочь ей доехать до Москвы, но она коротко отозвалась на это:

— Нет там у меня знакомых...

Она почувствовала себя даже как бы оскорбленной им, этим любителем старинных построек: он не поверил в то, что ей суждена удача! И она отвернулась от него и пошла к своему фаэтону, где Силантий встретил ее бодро:

— Коней напувал... по две цибарки выпили,— вот какая у нас дорога,— сейчас поедем, сидайте.

— А у них там что такое случилось? — кивнула Наталья Львовна в сторону другого фаэтона.

Силантий махнул широко рукой.

— Раз плохо справа, куда же ты едешь и людей берешь!.. Шина лопнула в двух местах, проволокой ее чинит, а ехать еще верстов сорок... На полчаса раньше всех поехал, а приедет на час або на два позже,— вот что у него случилось. Сидайте, эй! — крикнул он в сторону Черекчи и Гелиади.

Когда Наталья Львовна прощалась с Жемариным, он поцеловал ее руку, и на эту руку упала его слеза.

6

Поднимались на перевал шагом. На этом участке шоссе Наталье Львовне отчетливо были видны щедро освещенные то синеватые, то почему-то оранжевые скалы на ближайшей половине ровной, как стол, вершины Чатырдага. Кое-где между скалами ярко белели полосы снега. Это было величественно и казалось очень близко. Наталья Львовна так и сказала об этом Силантию:

— А Чатырдаг-то, красавец какой! И совсем он близехонько!

Но на это Силантий отозвался, крутнув головой:

— Глазком-то видно, да ножкам обидно... С перевала туда люди ходили, какие приезжие,— пойдут, так на цельный день... Теперь уж не ходят тут,— на фронте ходят.

Зато очень оживился Силантий, когда встретились три огромных дилижанса с сеном. Он даже остановил свою пару, сам слез с козел.

Сено чудесно пахло, и Наталья Львовна поняла Силантия, когда он подошел к первому возу, выхватил клок сена и стал его нюхать и разбирать руками. Но он минут пять стоял и говорил с хозяином сена, а когда сел снова, сообщительно обратился к ней:

— Сказал ему, чтоб один воз обязательно ко мне завез, там жинка примет... Как мои, бидолаги, и летом на траве не пасутся, а все то же сено хрумкают. Сено степовое — хорошее сено,— хаять никто не будет.

«Степовое» сено это как нельзя более кстати подошло к настроению Натальи Львовны. На нее, освободившую себя, повеяло степным простором, отчего и уверенность в душе окрепла.

И теперь уже бесповоротно ушло все старое, даже и Жемарин, и фаэтон, на котором он ехал. Думалось об одном только человеке: сыне художника Сыромолотова. Память сохраняла его всегда целиком таким, каким был он тогда, более двух с половиной лет назад, в больнице того города, в который она ехала. Перед койкой раненного Алексеем Иванычем Дивеевым Ильи Лепетова он сидел на белом табурете, поразив ее тогда своею мощью. В просторном сером пиджаке, голубоглазый, круглоголовый и с прочным лицом, и ростом выше своего отца, и видом открытее, благодушнее: у отца оказался сверлящий, пронизывающий взгляд, не привлекающий к нему, а останавливающий на том или ином расстоянии.

Отец сказал ей, что сын его тяжело ранен, но она так обрадовалась тогда, в церкви, тем, что он скоро приедет, что не спросила, как именно ранен, куда ранен. И даже после, там, в доме Федора, ей почему-то не думалось об этом. Только вот теперь, когда медленно везла ее вороная пара Силантия на перевал, ей стал представляться сын Сыромолотова, как раненный то в ногу, то в руку, то в его богатырскую грудь.

Ей представилось вдруг даже самое страшное, что только могло быть с молодым Сыромолотовым: он не приехал, его привезли, так как ему оторвало обе ноги большим осколком снаряда, и вот теперь прислуга отца везет его в коляске!..

Наталья Львовна так измучилась нарисованной ее же воображением картиной, что закрыла глаза, а когда открыла их снова, то стала очень внимательно глядеть на лес по сторонам шоссе.

Тут, на довольно большой уже высоте, были большие деревья: она не знала, что это дубы, грабы, ясени, дикие груши, но по цвету этого моря безлистых веток, тоже льющемуся вниз, к другому, голубому морю, видела, что лес ожил весь, что нет в нем нигде места, где бы не наливались теперь почки.

Этими миллиардами почек древесных и пахло теперь так же сильно, как от степного сена. И думалось ей только о том, что ее непременно примут,— не могут не принять! — хотя бы на первое время только на выходные роли, а через месяц — другой она добьется того, что ей будут давать и главные.

От перевала вниз лошади уже бежали сами. Лес здесь пошел буковый; огромные деревья с корою около получаса радовали Наталью Львовну, но кончался спуск, ровное предгорье как бы бежало далеко между высокими берегами, и то справа, то слева часто стали попадаться и небольшие хутора, и целые деревни, а потом даже и село с церковью; и старые двухохватные тополя стояли рядом возле каждого хутора, каждой церкви, точно для того, чтобы показать всем едущим по шоссе, что и двести лет назад тут тоже жили люди, сеяли пшеницу, сажали капусту, разводили кур и овец.

Когда подъехали к окраине города и показались совсем неказистые, как бы сложенные из глины хатки с маленькими подслеповатыми окошками, Наталье Львовне подумалось, что может случиться и так: нет здесь теперь никакой труппы, и что ей делать тогда? Остается только одно: уехать в большой город — Екатеринослав или Харьков, где театры даже и теперь должны быть непременно.

Но потом пошли большие белые здания консервных заводов; проехали мимо очень памятной Наталье Львовне обширной городской больницы, затем вспомнила

она и все людные улицы города, в котором было не менее пятидесяти тысяч жителей, и опять появилась уверенность, что должна играть тут труппа,— как же иначе? — и что ей удастся поступить в нее, если задобрить директора театра.

Шел всего только пятый час, и то в начале, и было еще совершенно светло, когда Силантий подвез всех своих пассажиров к гостинице,— не к той, где прожила Наталья Львовна несколько дней с Федором, а к другой, гораздо проще на вид, но знакомой грекам, и чета Гелиади и Черекчи тут же вошли в нее нанять номер, а она медлила.

Она слышала, как греки говорили Силантию, что пробудут тут два, а то и все три дня, и как Силантий говорил, что ему их ждать «безрасчетно».

Поэтому и она сказала Силантию, что может задержаться тут по делам дня на три, чтоб он и ее тоже не ждал.

— Дело хозяйское,— отозвался на это Силантий.— Буду других шукать... А на всяк случай завтрашний день сюда утречком, часов в десять зайду,— може, надумаете домой возворочаться... Пока я на постоялый.

Дотронулся до своей ушанки и повернул лошадей. И только теперь почувствовала себя Наталья Львовна совсем и навсегда отрезанной и от дома Федора, и от маленького городка, в котором пришлось ей прожить более трех лет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Оставшись одна, Наталья Львовна пошла к гостинице, очень внимательно, как человек, сбросивший с себя тягостное прошлое, всматриваясь во все встречные, совершенно новые для нее лица.

В то же время она искала глазами круглый широкий столб, на который наклеивались афиши, и такой столб скоро попался; на нем розовела последняя афиша: в здешнем театре в этот день должна была идти «Свадьба Кречинского». С радостным лицом прочитала она всю афишу с начала до конца и твердо решила этот вечер провести непременно в театре, чтобы посмотреть, что тут за актрисы. Так, неся на лице радость, разрумянившую ей щеки, шла она дальше к намеченной гостинице и вдруг

почувствовала, что побледнела. И это произошло от другой радости, несравненно более сильной и охватившей всю ее до самозабвения: навстречу ей шел очень широкоплечий, в широкополой серой шляпе и в черном плаще с металлической круглой застежкой вверху Ваня Сыромолотов.

Он шел упругим твердым строевым шагом, отчего развевался, как от ветра, хотя было совершенно тихо, его накинутый на плечи безрукавный плащ с пелериной. Наталья Львовна подумала, что он спешил куда-то, но не сошла в сторону; она остановилась прямо против него, чувствуя, что не только очень бледна, но и ослабела вдруг и что у нее широкие и неподвижно устремленные только на его лицо глаза. Ваня сделал было широкий шаг в сторону, но она протянула к нему руку, как бы за помощью, и он остановился и спросил:

— Что? Вам дурно?

— Да... Мне дурно...— совсем почти обессилев, отозвалась она, и Ваня тут же взял ее за руку и подвел к стене дома, чтобы ей было обо что опереться и чтобы ему самому не мешать движению прохожих.

— Вы меня никогда не видели? — спросила она, почувствовав опору и овладевая собою.

— Нет, не приходилось,— тут же ответил Ваня и добавил: — Я сюда совсем недавно приехал.

— А я только что... И весь багаж мой со мною... Но вы видели меня, как и я вас, здесь, в больнице, когда вы сидели около Ильи, раненного здесь на вокзале...

— Илья? Он где теперь? — оживился Ваня.

— Не знаю. Когда я вошла в палату, где он лежал...

— Вспоминаю! — перебил ее Ваня и посмотрел на нее очень внимательно, несколько даже наклонившись к ее лицу.— Вы и еще с вами кто-то похожий на унтерофицера запаса.

— Он и был тогда унтер-офицер запаса... а в самом начале войны был взят в армию.

— Как и я... Я только недавно получил так называемый «бессрочный отпуск», отставку...

— Это мне говорил ваш отец.

— Вот как? — очень удивился Ваня.— Где? Когда?

— Алексей Фомич сказал мне, что вы были тяжело ранены, но он не сказал мне, куда, и вы представьте себе, что я подумала? Я представила, что вы ранены были

в обе ноги! И как же я рада теперь! Вы остались такой же, каким и были... И даже еще могучее!

Это было сказано так неподдельно горячо, что Ваня улыбнулся и прогудел:

— Благодарю вас... Весьма благодарен!

Но тут же дотронулся до своей правой руки левой и постучал пальцами по протезу:

— Вот здесь у меня мышцы, называемой бицепсом, уже нет. Так что эта рука у меня теперь инвалид... Кстати сказать: вы вспомнили про Илью, а я вспомнил фамилию психически больного этого, который в Илью стрелял,— ведь он в моем доме жил потом с месяц,— Дивеев...

— Да, Дивеев Алексей Иваныч!.. Вы знаете, ведь он добровольно поступил в армию! Вот чем окончилась его болезнь,— с большою как бы даже радостью за Дивеева сказала Наталья Львовна; но Ваня отозвался на это опечаленно:

— Ну, значит, это и был он самый, а не какой-то его однофамилец!

— А что? Что такое с ним, скажите? — встревожилась она.

— Когда я прочитал в списке убитых офицеров «Прапорщик А. И. Дивеев», то вспомнил, конечно, что нашего с вами Дивеева звали Алексей Иваныч,— меня зовут Иван Алексеич, а его — наоборот — запомнить было легко.

— Значит, он убит? И Алексей Иваныч тоже убит! — Тут глаза Натальи Львовны наполнились слезами, она взялась за правую руку Вани, и тот почувствовал на своей руке ее слезы.

И, почувствовав эти ее слезы, Ваня положил другую руку на ее плечо и проговорил взволнованно:

— Позвольте, я теперь вспомнил, что ведь вы же приезжали в мой дом к этому самому Дивееву... Вот теперь только я это отчетливо вспомнил! Приезжали вместе с вашим мужем,— помню! И тогда как раз был у меня на верхнем этаже Илья, когда вышел из больницы... Алексей же Иваныч и другие... несколько человек их было,— в нижнем этаже... А теперь вы куда же шли?

— Никуда,— ответила Наталья Львовна.

— Ни-ку-да?.. Как же так «никуда»? — пробасил Ваня удивленно и даже обеспокоенно: ведь только что

вспоминал он пансион доктора Худолея, открытый в его доме года три назад для психически неуравновешенных.

— Никуда,— повторила она.— В гостиницу — это все равно, что никуда.

— Ну и где,— позвольте,— где же вы постоянно живете? — совершенно недоуменно спросил Ваня.

— Нигде! — с большою ясностью в голосе и в глазах ответила она, все еще держась за руку Вани.

Она ничего не добавила больше, она только смотрела в лицо Вани, и этот многоречивый взгляд ее Ваня понял.

— Знаете ли что? — сказал он тоном человека, принявшего твердое и единственно нужное решение.— Вам необходимо отдохнуть, а в гостинице кто же там около вас будет? Только чужие люди. Поедемте в тот дом, где вы были,— в мой дом, только на верхний этаж, а в нижнем — там опять поселились идиоты. Там отдохнете, с мыслями соберетесь... Чаем вас напою... И знаете, что еще? Портрет ваш набросаю углем на холсте: пальцы у меня работать еще могут... А? Поедете?

Наталья Львовна ничего не сказала. Глаза ее вновь переполнились слезами, только слезы эти были уже другие слезы. И Ваня, оглянувшись в сторону гостиницы, к подъезду которой извозчичий экипаж привез кого-то, крикнул зычно:

— Извоз-чик!

Они стояли укрыто от тех, кто шел по тротуару. Тут на улицу выходил подъезд большого двухэтажного дома; но если бы и не было этого, Наталья Львовна все равно не в состоянии была обратить внимание на проходивших мимо. Но она не разглядела и лица извозчика, который повез ее в дом Вани, не заметила и того, какого цвета были его лошади. Она глядела только на того, кого как бы подарила ей судьба.

2

Ваня шел из своего дома после того, как провел с полчаса в беседе с главою семьи, поселившейся в его нижнем этаже, а беседа эта была совсем не из приятных.

Дела какого-нибудь в области живописи искал Ваня с первых же дней по приезде сюда, так как картин продать было здесь некому. Тут был музей и при нем небольшая картинная галерея, но для нее были сделаны

когда-то покупки нескольких картин известных художников, между ними и две картины Алексея Фомича, но для покупки других и теперь, во время войны, и тут же после падения царской власти, у музея, как сказали Ване, не было «надлежащих средств».

Представилась только одна возможность: написать занавес для небольшой театральной сцены в новопостроенном купеческом клубе, причем тема для занавеса была там своя: пролог сказки «Руслан и Людмила». И занавес на эту тему был уже написан учителем рисования здешней гимназии, взявшим за свою работу не так дорого: но этот художник все свое внимание обратил на русалку, которая «на ветвях сидит». Его русалка не сидела, а лежала, заняв собою половину занавеса, так как оказалась очень толста и велика ростом. Художник, не имея для русалки более подходящей натуры, написал ее со своей жены, дамы весьма дородной. Это обстоятельство очень озадачило членов хозяйственной комиссии клуба. Одни из них сомневались, чтобы возможны были вообще такие сверхдородные русалки; другие недоумевали, на чем держалось такое исполинское тело, так как каких-либо очень толстых и потому крепких сучков под ним не было; третьи утверждали, что висеть такому занавесу в театральном зале клуба даже как будто и зазорно, что клубная русалка вредно будет влиять на воображение не только подростков обоего пола, но и зрелых людей, отцов семейств. Занавес решительно забраковали, автору его ничего не заплатили и только оставили ему в утешение холст, так как холст был клубный.

Новый занавес, на котором были бы и дуб зеленый и кот ученый, русалка, такая воздушная, чтобы действительно могла сидеть на ветвях, и взялся написать Ваня, обещав, что русалка его будет полузакрыта листьями дуба, почему и смущать никого собою не станет.

Получив холст, Ваня в этот день с утра весь погрузился в расчерчивание его углем, придерживаясь заказа, сделанного красками, но кое в чем его и дополняя, когда вдруг донеслась до него из нижнего этажа через пролет деревянной лестницы затяжная и вполне самозабвенная старая песня. Пел ее жилец его, отставной военный, у которого оказался голос очень неприятного тембра да еще и с завываниями.

Жилец пел о каком-то вине «крамбамбули»:

Крам-бам-були, отцов на-след-ство,
Питье любимое у-у нас,
И у-у-тешит такое сред-ство,
Когда взгрустнется нам подчас.
Тогда мы день и ночь
Готовы пить крам-бам-були,
Крам-бам-бам-бам-були,
Крамбамбули!

Тут старик сделал небольшую паузу,— должно быть прошелся по комнате,— потом запел снова:

Когда-а-а мне из-меняет де-е-ва,
Недолго я о том гру-у-щу-у:
В при-па-адке пра-ведного гне-е-ва
Лишь проб-ку в потолок пущу!
Тогда всех дев хоть черт бери,
Тогда я пью крамбамбули,
Крам-бам-бам-бам-були,
Крамбамбули!

Ваня как раз в это время определял место на холсте для своей девы-русалки, которая по его замыслу должна была прельщать собою публику зрительного зала, и отношение старика внизу к его деве и ко всем вообще девам прозвучало как нельзя более некстати, но он думал, что песня уже окончена, однако, выдержав паузу, жилец его завыл дальше:

Когда-а случится мне заехать
На грязный посто-я-ялый дво-ор,
То, не садясь еще об-е-едать,
Я к рюмкам обра-щаю взор...

Тогда Ваня оставил занавес и спустился вниз.

Епимахов встретил его широко открытым ртом и вопросительными глазами.

— Вы что это распелись, как какой-нибудь соловей курский? — грянул Ваня.

Небольшое подвижное лицо Епимахова собралось в льстивые складки, и в глазах услужливая веселость.

— Удовольствие вам имел намерение доставить, Иван Алексеич,— удовольствие! — заговорил он.— Песня эта старинная, правда, да ведь она военная, гусарская, а вы давно ли с фронта. Вот я и подумал: дай-ка спою, а Иван Алексеич послушает и мне спасибо скажет!

— Спасибо-о?.. Как же!.. Держите карман! — рокотнул Ваня, но это не смутило Епимахова.

— Не нравится вам эта, я могу другую, посовременнее: юнкерскую!

И, как ни в чем не бывало, начал с большим подъемом:

Ура — нашили мы шевроны,
Переме-ни-ли тем-ля-ки-и,
И уж кор-нет-ские по-го-о-о-ны-ы
Не-да-леки, недалеки!

Ваня насупился и отчеканил громко и раздельно, чтобы перекричать певца:

— Пре-кра-ти-те обезьянство!

Епимахов как бы растерялся, но тут же подвижное лицо его приняло недавнее льстивое выражение, и он как бы пролепетал просительно:

— А в преферансик, а? Сыграем втроем,— вот жена с базара придет, а?

— Нет! Это черт знает что такое! — совершенно возмутился Ваня.— Вы пьяны, что ли?

— С удовольствием, с большим удовольствием выпил бы что-нибудь,— что вам будет угодно мне поднести,— с большой благодарностью!.. Хотя бы денатурата даже, а? Есть?.. Я его через хлеб пропущу, и ничего! И он будет почти что безвреден... А? Угостите?

— Я вижу, что вы уж и без меня угостились! — буркнул Ваня, но Епимахов взял его за руку и заговорил умоляюще:

— Для спиртовки, а? Вам, как домовладельцу, поверят в казенной винной лавке,— поверят, ей-богу, поверят! А мне — нет! Сколько ни заявлял я насчет спиртовки, ни-ка-ко-го внимания! И даже, скажу вам, как хозяину этого дома,— есть нечего! В буквальном, в самом буквальном, а не то чтобы фигурально как-нибудь!.. Вот пошли на базар жена с сыном,— понесли по два стула каждый, то есть, жена и сын! — И вот думай, как хочешь, если продать их удастся,— что-нибудь купят на обед, а если нет? А если нет, я вас спрашиваю? Стульев же люди не кушают!

— Каких стульев? — изумился Ваня и оглянулся, а Епимахов тут же помог ему догадаться:

— Ваших, конечно, а то каких же еще!

— Во-ру-ете мои стулья? — загремел Ваня.

— Да, воруем, а как же иначе? С голоду прикажете умирать?

И Епимахов даже выпрямился, и осерьезилось его складчатое лицо.

— У меня здесь в нижнем этаже была дюжина стульев! — вспомнил Ваня.

— Совершенно верно,— подтвердил Епимахов.— Была дюжина — двенадцать...

— И было семь коек!

— Совершенно верно, семь... *Было* семь! — подчеркнуто повторил Епимахов.— Осталось же три,— только три, так как больше нам троим зачем же, посудите сами? — Что же касается стульев, то... мы с женой решили оставить только три тоже, по числу членов нашей семьи...

— Это... Это, знаете ли, черт знает что! — закричал Ваня, но Епимахов только развел на это руками и только спустя несколько секунд добавил:

— Определяйте наши поступки, как вам будет угодно,— вы хозяин!

— Полиция! Полиция, а не я! Полиция определит, как это называется! — совершенно вне себя выкрикнул Ваня, но Епимахов был с виду спокоен, когда отозвался на этот крик:

— Полиция что же тоже может сделать с надворным советником? Ничего особенного, смею вас уверить... Составит, разумеется, протокол, и затрудняюсь даже представить, что же еще скажет тут эта самая полиция. Я ведь не к соседям хожу воровать, а в своей квартире лишние для меня вещи сбываю, и все... Какой же тут особенный состав преступления?

Ваня не успел еще прийти в себя от этих вполне рассудительных слов, как жилец добавил радостно:

— Ну вот, идут оба: и жена, и сын!

Ваня стоял спиною к окнам, выходившим на улицу, и не мог этого заметить, но тут же услышал визгливый голос жены Епимахова:

— Покажи отцу, дурак болваныч, а не ставь тут!

Ваня понял, что должен был дурак показать отцу, только тогда, когда в комнату ворвалась, широко отворив дверь, женщина с венским стулом в руках, причем ясно стало и то, почему она негодовала: у стула висели отломанные обе передние ножки.

Увидя Ваню, которого не ожидала, конечно, встретить, она быстро спрятала стул за спину, но Епимахов

махнул ей рукой и прикивнул, и эти жесты мужа она поняла без слов.

— Кто сломал? — спросил Епимахов.

— Дурак наш,— кто же еще? — отвечала она, глядя не на него, а на Ваню, так как поняла уже, что хозяину дома все известно.

— Каким же образом? — спросил Епимахов.

— Таким, очень простым: в собаку бросил стулом,— в ту, какая на него и не тявкнула даже,— бойко объяснила она.

— А три стула вы, значит, продали? — спросил Ваня.

— Этого, конечно, как колотого, никто не взял, а три взяли и даже просили еще принесть.

— Давайте деньги сюда! — крикнул Ваня.

— Что-о-о? — изумилась жена Епимахова.— Как это так, деньги чтобы вам?

— Очень просто! Стулья мои, а не ваши!

— А продала их я, а не вы,— вот что! Я их на базар тащила, а вы у себя барином сидели!

И вдруг, как бы испугавшись, что деньги у нее сейчас будут отняты, или отнято то, что ей удалось купить на базаре, она с большим проворством выскочила из комнаты, а на ее месте оказался дурачок, ее сын, который выхватил из кармана свой игрушечный пистолет, навел его на Ваню и щелкнул раз, потом другой раз и третий.

Однако когда Ваня сделал шаг к нему, он выскочил с материнской поспешностью, не успев сказать своего: «Есть еще один!» — не успев захлопнуть за собою дверь.

Ваня так был озадачен, что, уже не поднимая головы, сказал Епимахову:

— Сейчас пойду в полицию.

Однако Епимахов отозвался ему, когда он уже поднимался по лестнице:

— Зря, Иван Алексеич! Зрящая потеря времени! Нечего тут полиции делать. И нет теперь никакой полиции.

И как бы даже усмешка почудилась Ване в его словах.

Он тут же надел шляпу и плащ с блестящей застежкой в виде львиной головы, запер свою дверь и вышел на улицу, где и встретилась ему смертельно бледная молодая женщина, красивое лицо которой показалось ему почему-то знакомым.

3

Когда Ваня подвозил к своему дому Наталью Львовну, он увидел дурачка Епимахова, стоявшего точно на часах перед своею входною дверью; как только извозчик остановился перед домом, дурачок юркнул в дверь. Ваня провел Наталью Львовну узким коридорчиком на крутую лестницу, а дверь на эту лестницу закрыл на задвижку. Теперь ему было не до жильцов: он вел к себе натурщицу для русалки. А так как его все-таки беспокоило, не толста ли эта натурщица, то первое, что он сказал ей, когда ввел ее к себе, было коротенькое:

— Раздевайтесь! — И он сам помог ей снять шубку.

Живя два с половиной года в доме мужа, Наталья Львовна не успела располнеть, а два лишних платья, напяленные ею на себя при отъезде, она сняла сама, так как они очень ее стесняли, тогда Ваня восхищенно пробасил:

— Вот повезло мне! Вот так повезло!.. Все равно, как Сурикову, когда он своего «Меншикова в Березове» писал!.. Меншиков-то задуман как и надо, а где же для него натура? Ходит Суриков по питерским улицам,— во все глаза смотрит... И вдруг — вот он идет, великан — на голову выше всех, кто по Невскому проспекту движется, и подбородок бритый и с хороший кулак величиной, и усы подрезанные и с небольшим задором, как у Петра Великого, и в шляпе с короткими полями, одним словом лучшего желать нельзя,— есть натура! Повезло!.. Идет Суриков за великаном этим следом, спешит, упыхался... Тот, наконец, подошел к одному дому и на лестницу,— Суриков за ним! Тот на третий этаж,— Суриков не отстает... Тот перед дверью остановился, ключ из кармана вытащил,— Суриков ждет... Тот в дверь свою входит,— Суриков за ним... Тут его натура и сказала: «Ах ты, мерзавец, такой сякой! Давно я вижу, что ты за мной следишь! Да, думаю, не настолько же ты, ворище, нахален, чтобы ко мне залезть!» А Суриков, он росту невысокого,— открылся, конечно: «Я,— говорит,— совсем и не ворище, а известный художник Суриков! Картину «Казнь стрельцов», небось, видели? Моя ведь картина!» Одним словом, спас себя от увечья, а Меншикова с этой самой натуры написал. Оказался великан этот всего-навсего учитель истории.

Наталья Львовна теперь не была уже такой бледной,

как при встрече с Ваней; она порозовела, большие красивые глаза ее блестели по-девичьи, и Ваня с самым искренним увлечением подвел ее к занавесу, который писал, и сказал торжественно:

— Вот, видите? «Русалка на ветвях сидит...» Здесь именно вы и будете сидеть. Именно вы!.. А то, знаете ли, один здешний художник написал для занавеса театрального такую русалку, что один из купцов здещних очень метко сказал о ней: «Грузоподъемная милочка!» Я того занавеса не видел, правда, но представляю ясно... Что же это за русалка, ежели она «грузоподъемная»?

— Я очень рада, что могу быть вам полезна,— сказала Наталья Львовна.

— Что? Рада?.. Хочется плавать на ветвях? — обрадовался Ваня.— Но ведь вы куда-то шли...

— Нет, я никуда не шла,— твердо ответила она.

— Так что можно, значит, не вот теперь, с приходу, начать вас писать? — не скрывая этого, восхитился Ваня своей удаче.

— Разумеется, можно и завтра,— сказала Наталья Львовна, потом, прикачнув головой, добавила: — Можно и послезавтра.

Глядя на нее восторженно-выразительно, Ваня положил обе руки на ее покатые хрупкие плечи, она же продолжала с виду спокойно:

— Завтра мне надо будет получить полторы тысячи здесь в банке,— этого нам хватит пока, на первое время... А там подумаем, как нам устроиться дальше.

— Что же это, позвольте? — ошеломленно забормотал Ваня.— Значит, мне повезло гораздо больше, чем Сурикову? А муж ваш? — вспомнил он вдруг.— Он что же,— убит, как Дивеев?

— Да, он убит... для меня убит... Хотя для себя и жив... Он стал мне невыносимо ненавистен.

Говоря это, Наталья Львовна не выбирала слов: они появлялись сами.

— А если бы я не встретился вам на улице? — невольно вырвалось у Вани.

— То я нашла бы вас завтра сама,— объяснила ему она.— Это ничего не значит, что вы не думали обо мне... Зато я все последнее время думала о вас... Я чувствовала, что очень побледнела, когда вас увидела, но это я от радости, а не от испуга...

— От радости? — повторил Ваня, слегка пожимая пальцами ее плечо.

— Да, от радости, что вы идете и таким широким шагом, а не то, чтобы вас возили на тележке,— вот почему!

— Меня? На тележке? Почему?

— Потому, что от вашего отца слышала я там, у себя, что вы тяжело ранены... Вот мне и представилось: а вдруг в обе ноги!

— И вдруг их у меня отрезали? Вот так воображение! — И Ваня привлек было ее к себе, но тут же отодвинул:

— Вы, значит, знакомы с моим отцом? Вот это для меня неожиданно!

Когда Наталья Львовна рассказала, как она познакомилась с Алексеем Фомичом, Ваня усадил ее на свой единственный диван и сел рядом, наклонив голову к ее голове.

Завечерело, и стало быстро темнеть, как это обычно бывает ранней весною в Крыму.

Вечернему часу положено быть тихим, но снизу донеслось до Натальи Львовны пение, причем голос был простуженный, старческий и с большой хрипотой, но слова выговаривались отчетливо:

...Бра-ни-ится мут-тер, пла-чет шве-стер,
А фатер выдрать о-бе-ща-ал...
Но я надул своих родных
И вы-пил за здо-ровье их.
Крам-бом-бом-бом-були,
Крам-бом-були!

— Опять этот мерзавец распелся! — горестно сказал Ваня, поднимаясь, чтобы спуститься вниз, но Наталья Львовна удержала его, спросив:

— Кто же это?

— Жилец у меня тут завелся, черт бы его взял! Без меня, когда я был на фронте... Ничего мне не платит да еще и мебель мою продает...

— Даже мебель продает?.. Значит, ему не на что жить... Он одинокий?

— Жену и даже сына имеет... Идиота... Вы его видели, когда мы подъехали.

— Да, кто-то стоял около дверей,— потом исчез... Всех, значит, трое... Это, конечно, хуже, чем если бы их было только двое: муж и жена,— рассудительно проговорила она.

— А почему все-таки хуже? — не понял Ваня.

— Ведь они для себя готовили что-то,— в коридорчике кухней пахло, когда я вошла.

— Жена этого петуха, конечно, готовит что-то,— буркнул Ваня.

— Могли бы готовить и на нас двоих... Вы где обедаете?

— Я?.. Где придется... Когда у отца, когда в ресторане...

— Ну вот... А можно сделать так, что обед каждый день будет дома... Представьте, что мы наняли бы кухарку. Ей комнату дать надо? Вот ей комната в нижнем этаже, рядом с кухней. Муж кухарки — придаток нежелательный, конечно, да ведь время теперь какое! Он вроде как бы сторожем мог быть дома... А идиот — это, разумеется, совершенно уж ни к чему.

— Вот! Вот именно! Революция — это очень хорошо, а скажите, пожалуйста, как быть с идиотами? Их никакая революция не переделает, и умными они не станут!

И Ваня поднялся, чтобы закрыть ставни и зажечь огарок свечи.

4

На другой день утром получать в банке деньги по чеку, данному ей Федором Макухиным, Наталья Львовна пошла вместе с Ваней Сыромолотовым.

Этот день здесь, в большом все-таки городе, был куда более пронизан весной, чем день вчерашний. Он весь сиял до ощутимой боли в глазах; он был подмывающе легок сам по себе и делал почти совершенно невесомым тело. Наталье Львовне казалось, что она не шла, а хотя и тихо — что вполне согласно было с торжественностью этого дня,— но как бы проплыла над тротуаром, не касаясь его. Так было с нею только в счастливом девичьем сне, когда она летела над сонной землею, стоя прямо и изумляя этой своей способностью всех кругом.

Счастливый девичий сон ее повторился теперь наяву, и она даже подносила иногда руку к глазам, не для того, чтобы защитить их от слишком яркого солнца; а для того, чтобы еще и еще раз убедить себя, что она не спит и что рядом с нею, слабой и такой легкой, что может сидеть на дубовых ветках, как пушкинская сказочная русалка, рядом с нею мощный молодой художник, пусть

хищно укушенный войною, но вырвавшийся из ее зубов и оставшийся тем же, чем и был,— талантливым и сильным.

О Федоре Макухине, еще вчерашнем своем муже, она и не вспоминала теперь, как будто и не было его,— так все прошлое было прочно зачеркнуто вчерашним вечером и наступившей вслед за ним ночью.

Даже и встречных людей вот теперь, когда шла, не видела Наталья Львовна: она глядела на них и в то же время не видела,— не пыталась разглядеть ни одного лица; ведь они были ей совсем не нужны,— они проплывали мимо, как бесплодные виденья во сне.

Перерожденной самой ей все встречное представлялось тоже перерожденным, не только люди, и стены, и окна домов, и бетонные тротуарные тумбы, и камни мостовых там, где они не были покрыты асфальтом, и колеса фаэтонов. И когда Ваня сказал ей весело:

— Ну вот и пришли: банк! — она не сразу поняла, что это значило и куда именно она пришла.

Даже оказалось нужным ей повести влево и вправо головою и пристально оглядеться, чтобы войти в себя, прежде чем она вошла в увесистое деловое серое здание банка.

Здесь оказалось очень тесно, что удивило Наталью Львовну, большинство людей было как-то непривычно для нее одето.

— Кто это? — шепнула она Ване.

— Беженцы из западных губерний,— шепнул ей, наклонясь, Ваня.— Их у нас тут довольно.

Как раз в это время один из этих беженцев, чернобородый и с затейливыми черными шнурами спереди на серой теплой куртке, громко и с размашистыми жестами говорил другому, рыжебородому:

— Союз земств-городов, о-о-о, это ка-пи-таль-ная организация, я вам говорю.

Вопросительно поглядела на Ваню Наталья Львовна, и он, снова наклонясь к ее уху, объяснил ей:

— Поляк откуда-нибудь из Белостока.

Очереди были только перед двумя окошечками, где предъявлялись чеки и где выдавали деньги, и люди медленно продвигались вперед. Прошло минут двадцать, пока Наталья Львовна подошла, наконец, к первому окошку. Усталого вида пожилой человек в очках, в формен-

ной тужурке, но уже без петлиц и с пуговицами черными, гладкими вместо бронзовых орлиных, очень внимательно посмотрел на нее, принимая чек, и стал перелистывать толстую, лежащую перед ним книгу. А когда нашел, что было ему нужно, и начал делать отметки в ней правою рукой, то левую поставил как бы экраном между собой и ею предъявленным чеком.

— Сколько еще денег осталось на счету Макухина? — спросила она. Он же, поглядев на нее недоуменно и даже как будто строго, проговорил:

— Таких справок предъявителям по чекам банк не дает.

Этот взгляд бывшего чиновника и эти слова показались ей настолько обидными, что у нее чуть было не вырвалось: «Я — жена вкладчика!» Но она сказала только:

— Я...— и добавила: — этого не знала...

Сделав на чеке отметку и протягивая его ей обратно, банковский сказал коротко:

— В кассу!

От только что испытанной неловкости она оправилась только тогда, когда кассир, с серыми усами, висевшими подковкой, и плохо выбритым острым подбородком, отсчитал и подал ей пачку кредиток. Она не пересчитывала их, так как следила за всеми движениями его тонких пальцев и за тем, какие появлялись одна за другой бумажки. Открыв свою сумочку, она поспешно сунула туда всю пачку и отошла, поглядев на Ваню осчастливленными глазами.

И первое, что она сказала, когда они спускались по лестнице вниз со второго этажа, было:

— Ну вот, Ваня, теперь у нас есть деньги на первое время!

Едва прошли они несколько домов от здания банка, как увидели на тротуаре толпу людей.

— Ну, закупорка! — буркнул Ваня.— Летучий митинг.

— Послушаем! — прижалась к нему просительно, как девочка, Наталья Львовна, но он, взяв ее под руку, повел решительно по улице, в обход толпы, говоря при этом:

— Тут только остановись с твоей сумочкой — живо выхватят... Где такой летучий митинг, так уж наверное человек пять жуликов,— это, пожалуйста, знай на будущее время.

— Да, голос у этого оратора зычный,— можно его слушать издали,— отозвалась она.

Голос у говорившего, действительно, был очень громкий, и, остановясь шагах в десяти, они услыхали:

— И коли товарищи взяли на себя власть надо всем народом, понять они должны одно коротко! Народ исключительно надо кормить,— вот! А без кормления народного дело товарищей этих станет о-гро-мад-ней-ший ноль!

Ему захлопали.

И в эти нестройные, беспорядочные хлопки уже ворвался молодой и звонкий голос нового оратора. Да и сам оратор был очень молод, почти юноша-гимназист, хотя и говорил он с проникновенной убежденностью.

— Это разве та революция, товарищи, какая необходима нашей России? Это реформа, ни больше ни меньше! Царя скинули и только! Стала обыкновенная буржуазная республика. Правящий класс как был правящим, так и остался! Война как шла, так и идет! Да, это реформа, товарищи, а совсем не революция! Как была рубашка дырявая, так и осталась! Как вели войну в интересах Франции и Англии, так и ведем! Кому же нужна война? Пролетариату не нужна война! Пролетариат, руками которого разрушено самодержавие, не стал у власти! Нет — власть в руках все тех же имущих классов, эксплуататоров. Настоящая революция впереди, и ее сделаем мы, партия большевиков! И для этой нашей пролетарской революции приехал в Россию из-за границы, где он был в эмиграции, наш вождь, товарищ Ленин!

В публике захлопали. Захлопала в ладоши и Наталья Львовна, пробираясь ближе к трибуне и увлекая за собою Ваню. А юный оратор продолжал уже стихами:

Станем стражей вкруг всего земного шара,
И по знаку, в час урочный, все вперед.
Враг смутится, враг не выдержит удара,
Враг падет, и возвеличится народ.

Мир возникнет из развалин, из пожарищ,
Нашей кровью искупленный новый мир.
Кто работник, к нам за стол! Сюда, товарищ!
Кто хозяин, с места прочь! Оставь наш пир!

И снова ему аплодировали. А он продолжал говорить с нарастающим жаром:

— Ленин, товарищи, сделает то же самое, что он сделал в девятьсот пятом году: рабочих поднимет!

— Как это поднимет? — послышались реплики, и они, эти реплики, точно подстегивали оратора:

— Он знает! Ленин знает, как это сделать!.. И куда поднимать и зачем поднимать... Только царя сбросили, а власть оставили в чьих руках? В руках хозяев, товарищи! Кто такой Родзянко? Помещик из самых богатых во всей России. Что он, за рабочих будет стоять? Как бы не так! Нам нужно, товарищи, чтобы в России была рабочая власть, вот тогда Россия пойдет вперед! А власти рабочим никакие Родзянки не уступят... Значит, что же надо делать? Надо эту власть взять нам силой! Силой! Кого больше? Помещиков, заводчиков, фабрикантов, банкиров или рабочих? Вот рабочие и должны получить полную власть. Хозяином на земле должен стать тот, кто на ней работает, а не биллиардные шары гоняет по зеленому столу, не в карты играет, не дома себе семиэтажные строит! Народу нужна не реформа, не буржуазная республика. России нужна пролетарская революция, которая создаст республику рабочих и крестьян! Долой войну! Долой правительство Керенских и Родзянок! Да здравствует пролетарская революция!

И теперь аплодисменты прокатились гулкой и широкой волной. Аплодировали Наталья Львовна с Ваней Сыромолотовым, захваченные общим энтузиазмом публики. И этот шквал аплодисментов заставил Ваню осмотреться.

— А народу-то набралось,— с удивлением пророкотал он.— Как-то вдруг, а? Откуда столько?

Но в ответ на его слова Наталья Львовна вспомнила две строчки из Фета и произнесла вслух:

Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.

А Ваня ей в тон пробасил:

— Вот, оказывается, какое еще есть искусство: искусство революции...— Он, посмотрев пытливо на свою спутницу и поймав на ее лице тайный упрек, добавил: — Это я не так себе, не для красного словца, а вполне серьезно...

Как раз в это же самое время мимо них пробирался сквозь толпу тот самый юный оратор, который только

что сообщил о приезде Ленина. Он пытливо посмотрел на Ваню ясными сверкающими глазами, и глаза эти показались Сыромолотову до того знакомыми, что он не удержался, проговорил в сторону юноши:

— Подозрительно, какое сходство! Вы не сын ли Ивана Васильевича?

— Сын... И вас я знаю... Вы чемпион по французской борьбе.

— Был когда-то...— заметил Ваня, но юноша не обратил внимания на его слова и сказал: — Вы у нас были года три назад... Я помню...

— Да, Иван Васильевич снимал тогда этаж в моем доме. Где он сейчас?

— Погиб... на фронте.

И глаза юноши, так изумительно похожие на «святого доктора» Худолея, сразу замигали и потускнели. И тут Наталья Львовна, чтобы как-то перевести разговор, сказала восторженно, обратясь к юноше:

— Мы очень благодарны вам... Вы так хорошо говорили, так проникновенно... Вам нельзя не верить... Значит, это хорошо, что Ленин теперь в Россию приехал?

— Очень хорошо. Теперь у нас главная задача — вырвать власть из рук эсеров и меньшевиков, у которых с кадетами подлинный блок.

Наталье Львовне, да и Ване, хотелось еще поговорить с этим симпатичным юношей, но тут, проходя мимо, такой же юноша, очевидно товарищ его, сказал негромко:

— За тобой следят. Уходить надо.

Сын «святого доктора» сделал поклон и сказал, обратясь к Ване:

— Родителю вашему, Алексею Фомичу, кланяйтесь и еще раз благодарность мою передайте за пирожки.

— За какие такие? — не понял Ваня.

— Он знает. Пусть газету «Правду» вспомнит.

И Худолей-младший растаял в густой толпе.

— Пожалуй, что на сегодня с нас хватит,— сказал Ваня и предложил Наталье Львовне возвращаться домой.

Однако, когда они повернули на другую улицу, которая должна была вывести их к дому Вани, то встретили тоже толпу, только небольшую. В середине ее стоял почтальон с сумкой и с палкой, пожилой уже, невзрачного

вида человек в порванном снизу и под мышками пальто. Он как будто поджидал, когда подойдут они двое, а когда подошли, начал вдруг с большим подъемом:

Говорится: почтальон...
И-эх, почтальон, почтальон!
Что ж такое почтальон?
Пальто драное на нем...

Должно быть, он полагал, что митинговые речи надо говорить непременно стихами, и составил это свое четверостишие заранее, чтобы обратить внимание слушателей на бедственное положение почтальонов, но стихи его вызвали только усмешки, а одна сурового вида старуха в теплом платке сказала ему громко:

— Что же ты, лодырь божий, и пальто себе починить не можешь? Али ниток-иголки на тебя не припасено?

Но тут же нашелся и у почтальона защитник:

— Бесполезно чинить через собак! Сегодня ты починил, а завтра собака опять порвет.

И все захохотали, а Ваня зашагал дальше.

Около дома его встретил дурачок, который теперь почему-то не прятался, а очень воинственно нацелился из своего оружия прямо в лицо Натальи Львовны и успел щелкнуть один раз, после проворно пустился бежать вдоль улицы.

— Знает, хоть и дурак, что бежать за ним я не буду! — сказал Ваня и добавил: — А в участок все-таки надо будет зайти сегодня...

Когда же они вошли в коридорчик, то увидели в дверях, ведущих на кухню, Епимахова. Улыбаясь сладенько-лукаво, театрально склонив голову вбок, он выпалил:

— Поздравляю вас нижайше с незаконным браком! — И тут же подался назад и захлопнул за собою дверь.

Ваня не задержался тут, поднялся к себе и совсем без раздражения сказал Наталье Львовне:

— Вот, видела, какие у меня жильцы? А ты думал, что можно их к чему-то там приспособить по домашности!.. Не-ет, таких не приспособишь!

— Так что же, в самом деле, с ними сделать? — захотела узнать она.

— Это уж милиция пускай придумает, куда их девать, а нам придумать бы, куда спрятать деньги, чтобы

этот гусь лапчатый их не нашел, а то ведь непременно украдет, когда мы уйдем! — забеспокоился Ваня.— Подобрать ключ от дверей что ему стоит? Решительно ничего!

Наталья Львовна испуганно бросилась к своему чемоданчику, в котором были заперты браслеты, медальон, кольца, а когда убедилась, что он не был отперт жильцами, начала, как и Ваня, оглядываться по сторонам, куда бы спрятать подальше свое достояние.

В самой дальней от входа комнате была узенькая кладовка, едва выступавшая из стены,— на ней и остановились и туда спрятали чемоданчик с золотыми вещицами и деньгами.

А когда Ваня запер кладовку и даже забил дверь гвоздями, он обратился к Наталье Львовне:

— Сейчас нам надо пойти — сделать так называемый визит отцу.

Наталья Львовна посмотрела на него пугливо, но так и не прочитала в его глазах, почему идти к Алексею Фомичу нужно было именно теперь.

5

Когда Наталья Львовна подошла к дому Сыромолотова-отца, почувствовала такую робость, что тихо сказала Ване:

— Может быть, отложим это на завтра, а?

Ваня улыбнулся и ответил:

— Есть такое правило: «Что можешь сделать сегодня, никогда не откладывай на завтра...» Этому меня и отец учил.

И добавил:

— У отца есть собака-овчарка Джон,— ты ее не бойся, если и залает... Впрочем, едва ли залает, он ко мне уж привык.

Джон, который был на дворе, действительно, не лаял: он только подошел степенно к новому для него человеку — Наталье Львовне — и понюхал сумочку. Привлекли внимание его и два свертка, какие нес Ваня: кое-что из закусок удалось все-таки купить.

Алексей Фомич увидел Наталью Львовну в окно, узнал ее и вышел в прихожую, и первое, что они от него услышали, было:

— Что? Вам опять удалось подпалить свечкою Семирадского?

И она еще не знала, как отнестись ей к его шутке, когда Ваня серьезным и даже торжественным тоном сказал отцу:

— Прошу любить и жаловать: моя жена!

Алексей Фомич отступил на шаг от изумления, поднял брови, пробормотал было: «Когда же это ты успел?» Но тут же, наклонив голову и сделав широкий жест правой рукой, сказал громко и отчетливо: «Честь и место!» — и помог Наталье Львовне раздеться.

А когда повесил на вешалку ее шубку, то поцеловал ее в лоб и спросил:

— Значит, вы мне приходитесь теперь снохою. Вот надо же, как скоропалительно это случилось! Ведь совсем недавно, Ваня, видел я твою теперешнюю жену в одной церкви,— о чем она тебе, должно быть, уже сказала,— и она действительно спрашивала о тебе,— значит, вы были знакомы раньше,— тогда все для меня понятно.

Чтобы не вступать в длинные объяснения, Ваня сказал:

— Да, вот именно: мы были знакомы еще до войны, а теперь только это — нашли друг друга.

— Все понятно... Все понятно! — повторил Алексей Фомич и широко отворил перед женою сына дверь в комнаты.

И, введя Наталью Львовну к себе в дом, Алексей Фомич продолжал разглядывать ее глазами художника и вдруг сказал Ване:

— Русалка, а? Вот с кого писать тебе свою русалку!

— Уже написал,— улыбнулся Ваня.

— Ну еще бы нет, еще бы нет! Я бы и сам написал! — И Алексей Фомич, совершенно развеселясь, хлопнул по плечу сына.

Только после этого улыбнулась облегченно и обрадованно Наталья Львовна.

— Приятно, приятно видеть! — проговорил Алексей Фомич, и она поняла это так, как ей хотелось понять,— что улыбка красит ее лицо, а не портит. Это она о себе знала.

— Ты что-то принес там такое,— неси на кухню и зови сюда свою мачеху.

Ваня тут же вышел, и Наталья Львовна поняла, что Алексей Фомич вполне обдуманно удалил Ваню, потому что, очень внимательно глядя в ее глаза, он сказал, вдруг понизив голос:

— Позвольте разобраться: ведь вы замужем там за кем-то, кто сейчас на фронте? Так мне говорил дьякон Никандр, да ведь как же и могло быть иначе?

— Нет, теперь больше не замужем,— с большим ударением сказала она.

— А-а! Вы получили известие, что он убит, и стали, значит, свободны! Все понятно!

Наталья Львовна почувствовала большую неловкость от этой догадки, но ничего не сказала, даже не повела головою; да и некогда уж было что-нибудь говорить в объяснение: в комнату входили Ваня и Надя, поспешно вытиравшая руки о фартук.

Должно быть, именно оттого, что руки ее были еще влажны, молодая жена старого Сыромолотова, не подавая руки своей новой родне, просто обняла ее и поцеловала в губы, а следивший за нею Алексей Фомич весело подмигнул сыну и еще веселее проговорил:

— У Шопенгауэра в его «Афоризмах и максимах» есть такой афоризм: «Когда молодая женщина встретит на улице другую незнакомую ей молодую женщину, то они смотрят друг на друга, как гвельфы на гибеллинов», то есть очень враждебно. А посмотри ты, как встретились наши с тобой жены!

Это замечание Алексея Фомича совершенно ввело в себя Наталью Львовну, и она уже сама обняла Надю и с восхищением сказала ей:

— Какая же вы молоденькая! И какая хорошенькая! И совсем не гвельфами и гибеллинами, а большими друзьями мы с вами будем!

И тут же, точно по какому-то наитию, добавила:

— Покажите же мне картину свою, Алексей Фомич! Я так много слышала об этой картине от Вани!

— Вот! Это называется — с места в карьер! — как бы еще более развеселившись, обратился к сыну Сыромолотов.— И знаешь ли, мне показалось там, в церкви, около Семирадского, что она что-то понимает в живописи!

— Она понимает! — подтвердил Ваня, но лицо Сыромолотова посуровело вдруг и повернулось к окну, в которое он и проговорил как бы про себя:

— Что же смотреть картину, когда она запоздала появиться?.. Вчерашний день, вчерашний день!

Однако Надя, обняв Наталью Львовну за талию, как бы сама возбуждаясь ее любопытством, сказала радостно:

— Идемте, я покажу вам картину!

А Алексей Фомич вполголоса спросил сына:

— Как жена твоя, не двулична ли?

— Не замечал этого за нею,— подумал и вполне серьезно ответил Ваня.

— Ну, если так, пойдем, послушаем, что скажет. первое впечатление — важно... Картина Семирадского ей нравилась, может быть понравится и моя тоже...

Наталья Львовна вошла в мастерскую Сыромолотова благоговейно. Это слово навертывалось ей и тогда, когда она подходила вместе с Ваней к дому Алексея Фомича, но вполне ясно представилось оно ей во всей своей глубине только теперь, когда, стоя в дверях, где поставила ее Надя, она бросила на картину первый взгляд. Оторваться от картины она уже не могла и не слышала, как подошли и стали сзади ее Ваня с отцом.

Она не просто смотрела, а как бы переселилась вся целиком туда, на площадь перед Зимним дворцом, где происходило нечто чрезвычайно огромное в жизни не этой вот только захваченной кистью художника толпы, а целого народа. Когда Ваня описывал ей картину отца, она из его слов представляла и часть дворца, и толпу в несколько десятков человек различных возрастов и обличья, и конный отряд полиции с величественным приставом во главе. Но Ваня не сказал ей того, что ярко вдруг блеснуло в ней самой: эти люди, пришедшие к дворцу, видели тут то, чего не могло быть изображено красками на холсте, но в то же время ярко ощущалось вот теперь ею.

Это ненаписанное и все-таки явно воплощенное было — Свобода! Свобода огромного народа, который занял за тысячелетие своей жизни огромнейшие пространства Земли и в то же время совсем не имел права распорядиться своею судьбою, а должен был, хотя бы и в явный вред себе, исполнять беспрекословно чужую волю, и вот до чего дошел в еще неоконченной войне. Она поняла так картину потому, что только накануне вырвалась на свободу сама; сквозь то, что в картине было приурочено к современности, она увидела вечное, то, что свершилось с нею самой, то, что может свершиться со всяким и где и когда угодно, то, что может и должно свершиться с любым народом, так как самое ценное, что есть в жизни каждого и всех,— это — свобода.

И когда ощущение великого, совершенно исключительного, что было вложено в картину художником, пронизало Наталью Львовну насквозь, она не в силах была вынести этого спокойно,— она обняла Надю и заплакала, прижав голову к ее щеке.

— Что ты? Что ты — Наташа? — обеспокоился Ваня и хотел было отнять ее руки от Нади, но Наталья Львовна еще сильнее, всем телом прижалась к ней.

— Голова, должно быть... Компресс надо... Поди воды принеси! — забормотал испуганно Алексей Фомич.

Тут же принесенная Ваней вода в стакане действительно помогла. А когда Надя усадила Наталью Львовну и, вытирая ее лицо платком, вздумала сделать ей выговор, как свекровь снохе:

— Разве можно быть такой нервной в наше время? — сноха поглядела благодарными глазами на свекровь и слабо улыбнулась ей.

А через минуту она встала и обратилась к свекру:

— Алексей Фомич! Вы мне разрешите поцеловать вас?

— Сделайте одолжение! — потянулся к ней Сыромолотов, и она поцеловала его в волосатую щеку по-детски и только после этого сказала восторженно:

— Это гениально, что вы сделали! Гениально, и это совсем не какая-то «демонстрация».

— Да, вы верно говорите,— согласился Алексей Фомич.— Это у меня не демонстрация — нет,— это своеобразный штурм Зимнего дворца, вот что! И охраняет дворец все тот же пристав Дерябин! Он не убит, нет,— полиция осталась вся на своем месте... На посту! Дерябин на своем посту,— вот что, а не то, чтобы убит. Не опоздал я со своей картиной, а совершенно напротив,— предупредил события, которые не-из-беж-ны! Иначе не может быть: у всех исторических событий железная логика. Это не только потому, что на них тратится много железа. Посчитайте-ка, сколько железа потрачено на эту войну и сколько мозга, и увидите, что мозга не меньше железа. Вот в силу этой самой логики я и выставляю свою картину, а назову ее... назову уж теперь не «Демонстрация», а... Тут нужно энергичное военное слово... Как бы? «Атака»? а? «Атака Зимнего дворца», или еще лучше — «Штурм» — да! «Штурм Зимнего дворца»! А еще короче и выразительнее — «Штурм власти», которая не

на месте. Да! Которая должна быть обще-народной! Да, именно! Так я и сделаю! Не «Демонстрация», а «Штурм»!

Ваня с восхищением смотрел на отца, а когда тот кончил говорить, вдруг сообщил:

— Удивительное совпадение: примерно эти же слова говорил сейчас на митинге один юный большевик, который, между прочим, просил тебе кланяться... Да ты его знаешь — сын Ивана Васильевича Худолея.

— А-а-а? Вот как? — обрадованно протянул Алексей Фомич.— Интересно, какую ж он речь говорил, этот славный юноша?

— Он говорил, что власть по-прежнему держат в руках имущие классы, а не народ,— ответил Ваня, пытаясь наиболее полно припомнить содержание речи Коли Худолея.— Но скоро все переменится, поскольку произойдет новая революция, пролетарская.

— И что сделает ее Ленин,— подсказала Наталья Львовна.

— Да, именно Ленин,— немедленно согласился Алексей Фомич, что несколько удивило Ваню. А отец повторил с убежденностью: — Именно Ленин... Но ведь он где? — В эмиграции.

— Приехал! — поспешила первой сообщить Наталья Львовна.

— Уже?! Ленин приехал? В Россию?

— Да, в Петроград. Так Худолей сказал,— подтвердил Ваня.

— Ну вот... видите! — Алексей Фомич энергично заходил по комнате.— Видите!.. Он уже в Петрограде. Значит, там и начнется... новая революция... Теперь я знаю — моя картина нужна. Там, в Питере. Я ж говорил — не опоздала. Слышишь, Надя! В Петроград ехать! Не-мед-лен-но!.. Там помещение ей найдется. Там помогут. Вот они — путиловцы помогут.— Он указал кивком на фигуры рабочих, изображенных на картине.— Помнишь Ивана Семеновича, Катю? С Путиловского завода? — Вопрос относился к Наде.— Они наверно будут на баррикадах. Да уж, непременно. А где ж им быть, как не на баррикадах с Лениным во главе...

<1958>

ИСКАТЬ, ВСЕГДА ИСКАТЬ!

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

О память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной...
К. Батюшков.

I

В июле 1917 года на берегу моря сидели трое: женщина лет тридцати — учительница из Кирсанова, ее маленькая, по четвертому году, черноглазая дочка и высокоголовый блондин, человек лет двадцати девяти.

Этот последний был только недавно вывезен из Акатуя, и ему позволили небольшой, после двухлетней каторги, отдых у теплого моря, с тем, чтобы уже в середине августа быть в Петрограде, на революционной работе

Учительницу звали Серафимой Петровной. Она была с ребяческой талией, с небольшим вздрагивающим ежеминутно лицом. Она казалась очень усталой. Она просила здесь всех, кто жил с нею рядом на даче:

— Только ради всего святого не говорите со мною о гимназиях!.. Не говорите об учителях, начальницах, классных дамах... Этого я не выношу! Я разревусь, если услышу!

На узких кистях ее рук очень отчетливы были все мельчайшие вены, белые хрящи, сухожилия, суставы пальцев: совершенно лишним было бы в случае нужды просвечивать их рентгеновскими лучами. И что бы ни попадало в тончайшие эти пальцы — цветок ли, перистый ли листок мимозы, мягкая ли, молодая, смолистая, яркая шишечка кипариса,— они совершенно непроизвольно начинали мять это, терзать, калечить, двигаясь при этом с удивительной быстротой; потом отбрасыва-

ли искалеченное и хватались за что-нибудь другое, чтобы также истерзать и бросить.

Страдальческие, с часто мигающими ресницами глаза ее были такие же темные, как у ее дочки Тани. Только у Тани глаза были с неистощимо разнообразным выражением: от явно лукавого до явно тоскливого; у матери ее — только испуганные, временами даже жуткие, пожалуй. Ясно было для каждого, что это — вконец измученная женщина. Однако говорила она очень быстро, спеша скорее все высказать, не задумываясь над словами. Но, проговоривши так минут десять, она бралась тонкой рукой за тонкую шею и обрывала шепотом:

— Ну вот, кончено! Больше я уж не могу: сухой фарингит!

Революционер же, товарищ Даутов, в таких случаях говорил ей густым несомневающимся голосом:

— Переутомления учителей мы уж не допустим, шалишь! Это наследие гнусного старого режима мы вырвем с корнем!

Чтобы тело его дышало беспрепятственно, он закатывал рукава рубахи выше локтей и расстегивал все пуговицы на груди. Видя это в первые дни, учительница краснела до того, что глаза ее становились рубиново-розовыми, точно она видела грубейшую ошибку в тетради своей первой ученицы; потом она привыкла.

Она же сама была всегда одета по-северному чопорно; однако жара ее мучила, как воспоминание о гимназии, поэтому она не выпускала из правой руки лакированной ручки китайского зонтика.

Иногда она как будто забывала, что она не одна: устремляя болезненно мигающие глаза в морскую даль, она говорила матово-беззвучно:

— Вот... Итак, вот... Я сливаюсь с морем...

Даутов видел, что это она говорит не ему, не для него, что она думает вслух.

Так как сам он мог говорить только о революции, то он стремился разъяснить ей глупость попыток Временного правительства продолжать войну, в то время когда солдаты стали уж настолько сознательными, что неудержимо бегут из окопов.

Как Серафиму Петровну нельзя было увидеть без китайского зонтика, так его нельзя было представить без газеты. Но только лишь он развертывал ее, шурша

и шелестя, чтобы прочитать вслух о том или о другом, она отшатывалась в полнейшем испуге; глаза у нее становились страшными; она шептала:

— Нет, нет, пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо!.. Я вас очень прошу. Не надо!

И потом она прикусывала тонкую бледную нижнюю губу очень ровными, всегда чистыми, отливавшими голубой глазурью зубами и так несколько мгновений оскорбительно смотрела на него не мигая.

Этого он не мог понять; его смешило это... Он откидывал стриженную под ноль, кофейную от загара голову и хохотал неподдельно; она же отворачивалась, подымая едва заметные плечи, и около прозрачных ушей ее что-то билось и дергалось.

Темные свои волосы она причесывала гладко, закручивая негустую косу сзади в правильный небольшой кружок.

Дачников теперь, в довольно сильно потревоженное уже время, было мало в этом небольшом местечке, которое раньше, до войны, очень оживлялось летом.

Море казалось запущенным, одичалым... Неизвестно, из чего складывалась теперь первозданность, ка-

кая-то девственность гор, но она очень была заметна даже Даутову, который бывал здесь когда-то раньше, почему приехал сюда и теперь.

Горы как будто отошли дальше, море как будто опустилось ниже,— и Даутову было ясно, что учительница из Кирсанова несчастна уже и тем, что первое море в ее жизни оказалось такое вот именно — одичалое, опустившееся море.

И когда ему становилось особенно жаль учительницу с сухим фарингитом, он захватывал обеими дюжими руками маленькую Таню и начинал ее подбрасывать и целовать. Тане нравилось это; она хихикала негромко, но очень довольно; она вообще была жизнерадостна.

— Посюшьте! Сюшьте! — говорила она по утрам, встречая его.— Здрассте!

И тянула к нему выше своей головы крошечную, совсем игрушечную лапку.

Со слов матери она заучила кое-какие стихи из детских книжек и старалась произносить их как можно выразительней, очень кругло открывая влажный, яркий, мелкозубый рот. Даутов же при этом любил следить, как на сытых, мягких щеках ее то появлялись, то исче-

зали, растягиваясь, лиловые ямки и как то округлялись, то жмурились желающие нравиться глаза.

Когда она приходила к нему в комнату, то говорила церемонно еще из дверей:

— Посюшьте! Я — в гости!

И потом начинала внимательно рассматривать все его вещи.

Даутов замечал, что она не без кокетства взглядывала на него, когда прикасалась к тому или иному в его комнате, и что у нее было четыре степени хорошего для того, что она у него находила.

Так, вертя в ручонках набалдашник его палки, гладкую круглую голову моськи, выточенную из моржовой кости, она неизменно говорила:

— Ин-те-рес-ная моська!

Проводя пальцем по перламутровой пепельнице, она тянула:

— Лю-бо-пыт-ная штука!

Прижимая то к одному, то к другому уху раковину, которая гудела, она делала большие глаза и шептала:

— За-ме-чательная очень!

Но когда она доходила до лягушки на бюваре, сделанной из зеленого уральского малахита,— правда, довольно талантливо,— она вскрикивала изумленно:

— Ка-кая роскошная!

Бывало иногда, что гудевшая раковина становилась только «любопытной», а пепельница из перламутра «замечательной», но зеленая лягушка на бюваре продолжала оставаться «роскошной», и это была высшая степень похвалы, на которую была способна Таня.

У всякого двадцатидевятилетнего есть своя «первая любовь» в прошлом; иногда это касается раннего детства. Была такая отроческая первая любовь и у Даутова — восторженная, застенчивая, стыдливая, тревожащая, дурманящая и сладкая, с кучей неотправленных писем, ревностью и слезами. И теперь, когда он отдыхал от каторги у моря, Танины глаза и лиловые ямки, и даже та торопливость, с какой она говорила свое «Посюшьте! Сюшьте!», и многое другое в ней странно напоминало ему Марусю Едигареву, гимназистку, о которой он давно уже ничего не знал. И он почему-то даже очень ценил теперь то, как Таня говорила ему, покачивая головкой:

— Сюшьте: вы — мой приятель!

Она приходила к нему показывать свои куклы; рассказывать, какая из них послушна, какая все капризничает; пропускать свой поезд сквозь туннели.

Туннели должен был подставлять он ей безостановочно, потому что она безостановочно двигала по полу свой поезд, состоящий из зеленых еще ягод шиповника, нанизанных на длинную нитку, и Даутов — это требовало быстрой сообразительности — пропускал поезд под ножками стульев, ночного столика, дивана, наконец между двумя книгами, поставленными шалашиком на полу. Когда он уставал, то устраивал крушение поезда, и она сначала испуганно всплескивала руками, потом хохотала с ним вместе.

Когда они сидели втроем около моря, бывало, что Таня подходила поспешно к матери и шептала ей на ухо. Тогда Серафима Петровна краснела вся сразу и уводила ее в ближайшие кусты. При этом она бормотала:

— Дщерь моя, как ты жестоко меня конфузишь!

Только в таких именно случаях она и называла Таню «дщерью», но почему-то эта маленькая странность в учительнице нравилась Даутову.

Дачка, на которой они жили, принадлежала скромным старикам. Хозяин был отставной чиновник в маленьком чине и любил возиться со своим цветником, в котором срезал и иногда дарил мелкие букеты петуньи, вербены, гелиотропа Серафиме Петровне и говорил при этом, делая очень продувные глаза:

— Вот мы какие! Взгляните и полюбите!.. А во-оды мы пьем, а навозу мы жрем,— этого вы себе и вообразить не в состоянии!

Он часто улыбался по-детски, этот седенький и квёлый Степан Иваныч, а жена его, Дарья Терентьевна, была гораздо серьезнее мужа, может быть потому, что сколько уже лет вела скупое домашнее хозяйство: такое маленькое хозяйство приучает в конце концов к немалой серьезности.

Личико у нее было всегда нахмуренное, а белые волосы спереди челкой, сзади — крохотным пучком. Тремя лоснящимися крымскими яблочками круглились скулы и подбородок, а все остальное уходило внутрь.

У стариков была пожилая тоже, серая коза Шурка с одной дойкой, как пуговка, зато с другой — как

четвертная бутыль. Шурка постоянно бедокурила, как все козы, и непременно лезла туда, куда ей запрещали,— лезла неотвратимо.

Чтобы наказать ее, Дарья Терентьевна подбиралась к ней, держа руки под фартуком и скромно глядя себе под ноги, но, подобравшись, стремительно хватала ее за ухо левой рукой, а правой колотила по голове.

— Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!..— так раз до шести.

Больше Шурка обыкновенно не могла вытерпеть и убегала, а когда убегала, то благодаря своей чудовищной дойке казалась пятиногой. А Дарья Терентьевна прикладывала обе руки к сердцу и говорила скорбно:

— Ах!.. Ах!.. Сердце мое как в коробочке бьется!.. Зачем я, стылая, Шурку била!

Однажды Степан Иваныч привел к себе новых дачников — небольшое французское семейство, в котором был очень красивый пятилетний мальчик Анри. Французы поселились в самой большой комнате, и Анри занял все мысли Тани.

Она говорила Даутову сообщительно:

— Теперь Анри — мой приятель, Анри!

— А я-то как же? — изумленно спрашивал Даутов.

— Как?.. Так... Я не знаю как...— задумывалась было она, но скоро убегала к Анри, которого она понимала гораздо лучше, чем Даутова, хотя тот знал очень мало русских слов и плохо их выговаривал.

Она с восторгом отмечала в Анри и то, что он охотно играл с нею, но ни за что не хотел принимать в игру девочку соседей.

— По-че-му? — спрашивала его Таня лукаво.

— Она-а некрасивая девочка! — объяснял Анри.

Даутов, видя их вместе, говорил Тане, сам не зная почему, с неподдельным оттенком грусти:

— Так ты, Таня, значит, изменила мне, а?

Таня разводила ручонками, задумываясь, как это делают взрослые, когда чего-нибудь не понимают, но отвечала твердо:

— Да... Изменила!

Серафима Петровна оставляла теперь Таню играть с Анри и уходила к морю вдвоем с Даутовым, все-таки умоляя его:

— Только не берите, пожалуйста, с собой газеты! Я вас прошу!

Таня не знала, о чем они говорили, уходя вдвоем, и не думала об этом; она замечала только, что, когда они возвращались, мать подбегала к ней, несколько даже смешно, как наседка, растопырив руки, целовала дольше и сильнее, чем обыкновенно, и бормотала не совсем внятно:

— Ну что, Танек, ничего с тобой?.. Тебе весело?.. А я так боялась!

Но Анри пробыл на их даче всего только четыре дня: отцу его, диабетику, стало почему-то хуже, и он решил перейти на другую дачу, где обещали лучшие обеды. Это было далеко где-то, и Таня не видела больше Анри. К морю снова начали ходить втроем.

Однажды Серафима Петровна увидала в руках Даутова какие-то ромбы чего-то почти прозрачного, как ей показалось — каменной соли. Так она и спросила:

— Это что у вас? Каменная соль? Откуда вы ее взяли?

— Нет, это — исландский шпат, он же известковый шпат... Откуда я его взял? Видите ли, мне сказали, что тут в одном месте на горе есть месторождение исландского шпата. Я пошел туда и вот, как видите, нашел... Минерал очень любопытный...

— Зачем он вам нужен?

— Мне лично, да еще в данное время, решительно ни за чем не нужен. А так, вообще, он любопытен... Прежде всего, он двуосный, то есть обладает двойным преломлением света... Шлифуется, как стекло, употребляется для оптических целей.

— Вы об этом так говорите, как будто вы геолог?

— Да, я в этой области кое-что знаю.

— А как же вы мне сказали, что ваша профессия — делать революцию?

Он улыбнулся:

— Одно другому не мешает... И одно дело — что-нибудь делать, другое — знать что-нибудь: например, об известковом шпате.

Когда он улыбался, то лицо его становилось очень мягким, даже будто застенчивым. Глядя внимательно на это его улыбающееся мягкое лицо, спросила живо Серафима Петровна:

— Неужели вы кого-нибудь убили? Я не верю!

— Убил? Нет, не пришлось... Не случилось никого убивать... Да ведь я и не террорист. Члены нашей партии в губернаторов стрелять считают излишним занятием. На место одного убитого ставили другого, такого же,— так было... А делу революции от этого был явный вред.

— Ну, хорошо, допустим, вы в губернаторов не стреляли... За что же в таком случае вас отправили на каторгу?

— За антивоенную пропаганду.

— Вот как! За антивоенную?.. Как же вы ее вели... и где?

— Ну вот — «как»! Вел так, как находил возможным, а где именно? Там, где было вообще много солдат... Впрочем, делал я это везде, где мог, но недостаточно осмотрительно — потому и попался.

— Отчего у вас на голове — простите за нескромный вопрос! — какая-то плешина сбоку? Это вас били жандармы? Или вы просто упали на что-нибудь?

— Жандармы? Вот это? — дотронулся Даутов до плешины.— Нет, это не жандармы... Это было раньше. Это еще до вступления в партию меня однажды хотели убить... Потом-то меня не один раз били, но уже на более законном основании, а это — простая случайность.

И Даутов опять улыбнулся скромно и добавил:

— Когда сидишь на берегу такого вот моря и всякая тут красота вокруг тебя, то даже перестаешь и верить, что с тобою что-то такое было... Однако вспоминается кое-что... И больше всего почему-то ссылка — больше ссылка, чем каторга... Должно быть, потому, что она была сначала и не в привычку, а каторга уже после, и в ней мало оригинального... Главное, в первый раз — поэтому очень всякие незаконности отмечались и возмущали, конечно. Гм... даже смешно. Наказывает тебя самодержавная власть, делает она с тобой, что ей угодно, а ты все-таки требуешь, чтобы она тебя уничтожила не как-нибудь, а непременно по закону! По закону, какой она же сама и сочинила! Теперь уже это кажется смешным, а тогда возмущало очень серьезно.

— Например? Что же возмущало?

— Например?.. Гм... Что бы вам такое вспомнить? Например, хотя бы то, что от Самары до Красноярска

вели меня в наручнях, а этого политическим ссыльным совсем не полагалось... И вот я протестовал всячески, подавал даже заявления по начальству — смешно!.. Как будто это могло к чему-нибудь привести! А идти все время в наручнях — с непривычки это тяжело казалось. В Красноярске пересыльная тюрьма огромная — четыре корпуса двухэтажных... И вот вы представьте, что было: каждую неделю через эту тюрьму проходила огромная партия каторжан, человек полтораста, и больше всё политические... Так боролось с нами покойное царское правительство. Нельзя отказать ему — в очень широких масштабах велась борьба... Не борьба, а война внутри страны. И все-таки мы победили!

— В каких же местах вы были в ссылке?

— Не так далеко от Енисейска... От Красноярска до Енисейска доехали водою, а в Енисейске продержали недолго, недели две... Только очень гнусная там была тюрьма и часовые какие-то свирепые: чуть подойдешь к окну, стреляли без всякого предупреждения... Для чего, спрашивается, такие строгости в отношении к ссыльным? Опять всё — незаконно! Возмущались!.. Действительно, ведь через две недели нас просто сдали по списку уряднику, урядник разбил нас на партии, и вот с нами только десятский — с бляхой медной и с палочкою,— корявый мужичонка, чалдон, и мы в великом изумлении идем по лесу, точно гуляем,— птицы поют, бабочки летают... Только потом оказалось, что радости в ссылке мало, а прежде всего в деревушке этой, куда я попал, в Шадрине, есть было нечего... Шадрино, Бельской волости... деревня в шестьдесят два двора... Пришел я туда больным, в лихорадке, со стертыми ногами и без копейки денег... Страшно я там голодал, потому что денежно помочь мне было некому. Конечно, чалдоны ни куска хлеба в долг не давали, а работы у них найти тоже было трудно. Хорошо, что сенокос подошел,— нанялся я к одному сено косить, по полтиннику в день. Неделю косил сено... А мошки, или гнуса этого, как его там называют, миллиарды!.. Весь я был изъеден, распух, едва дотащился до деревни, слег... сапожонки на мне все расползлись от сырости — зачинить нельзя... Пришлось вообще их бросить. Полежал-полежал — ничего не поделаешь: есть надо — пришлось встать. А тут как раз вздумали ссыльные, какие были в этой деревне

со мною, заработать что-нибудь на кедровых орехах... Да ведь вот — связно не расскажешь — слег я и лежал уж не в Шадрине, а в Ялани — это село, и больница там,— недели две я лежал в яланской больнице с ногами, потому что пришли они в скверне йшее состояние. А за кедровыми орехами пришлось идти в тайгу, рядом, конечно,— в Сибири и триста верст расстоянием не считается,— в так называемый Молчанов бор, а в Молчанов бор попасть можно было только через деревню Тархово, а Тархово от Шадрина — пятьдесят верст. Да потом спуститься вниз по течению реки Больше-Кети еще за шестьдесят верст... А я с только что подлеченными ногами пошел босиком, по корням, по кочкам, по осоке, по гнуснейшему бездорожью, какое там зовется дорогой. Ни один чалдон на это бы не решился, но что же делать,— сапог у меня не было... Была только некая туманная перспектива заработать себе на сапоги орехами... Сначала набить мы должны были шишек, потом эти шишки жарить, потом молотить,— намолотить таким образом несколько чувалов и благополучно все это доставить. А никто из нас этим делом раньше не занимался, и местности мы, конечно, не знали... Нам чалдоны только две лодки доверили... да ведь какие лодки? Долбенки, душегубки... На них чуть не так повернулся — и плыви! Или тони, если плохо плаваешь... А у меня был такой товарищ, что ни грести не умел, ни плавать... Я сорок верст греб один... до кровавых мозолей руки себе набил, и в результате... товарищ мой перевернул как-то душегубку и утонул... Тем экспедиция за орехами и кончилась. Я кое-как выплыл, и вот когда я намучился вдоволь, пока нашел остальных... а они задержались — хлеб в одной деревне брали...

— Ну, хорошо,— отчего же вы не бежали, если могли уходить так далеко одни, без всякой охраны? — очень удивилась Серафима Петровна.

— С чем же и как бежать? Без сапог, без денег, без поддельного паспорта? Так далеко не убежишь... А потом я бежал, конечно, когда получил деньги. Но тут началась война, и, конечно, ринулся я в антивоенную работу... А уж за это во время войны — хорошо еще, что присужден был только к каторге!.. Могли бы подарить и столыпинский галстук.

— Зато уж теперь можете вы не бояться ареста!

— И свободно вести антивоенную пропаганду? — улыбнулся Даутов.

— Но ведь революция уже совершилась!

— Однако война продолжается или нет?

— Ну, если и продолжается, то как-то уж очень вяло.

— Как бы она вяло ни продолжалась, но продолжается... Конечно, мы ведем энергичнейшую пропаганду на фронте, и фронт почти уже развалился, солдаты бегут домой, но нужно, чтобы не почти, а совсем он развалился, это раз, а во-вторых, надо, чтобы революцию...

— Углубить? — подсказала она быстро.

— Да, из буржуазной сделать социалистической... Вы не владелица, скажем, пяти тысяч десятин чернозема или угольной шахты, не попадья, не купчиха, не генеральша... Зачем вам такая революция, как теперь? Вы — учительница, значит принадлежите к трудовой интеллигенции, значит ваши интересы и мои — одни и те же,— я тоже из трудящихся интеллигентов... Кажется, ясно, что, чего добиваюсь я, того же должны желать и вы.

Даутов смотрел на Серафиму Петровну теперь не улыбаясь. Она спросила:

— Чего же желаете вы?

— Диктатуры пролетариата!.. Диктатуры трудящихся, которым война не нужна, которых война истребляет, как теперь, миллионами... Вот чего мы желаем! Мы желаем и еще очень многого, но этого, чтобы не было больше войны,— этого прежде всего!

— Я никогда не интересовалась партиями и вообще политикой,— сказала она, вдруг покраснев,— но я догадываюсь теперь, кто вы такой!.. Вы — большевик?

— А вам страшно? — улыбнулся Даутов.

— Нет... Мне что же... Хотя я и слышала, что большевики за то, чтобы отобрать всякое вообще имущество, но у меня ведь одна только Таня... Надеюсь, ее вы у меня не отберете?

— Не надейтесь: если плохо будете ее воспитывать, отберем! — с виду серьезно ответил Даутов, но добавил, улыбнувшись светло: — Однако она у вас очень славный малый — значит, вы ее воспитываете хорошо. Но на время отобрать ее у вас вы мне позволите?

— Можете,— кивнула она, и подошедшую в это время к ним, а до этого недалеко в разноцветном морском

песке возившуюся Таню Даутов поднял с земли, поднявшись с нею вместе, и пошел, держа ее на руках, вдоль берега, предоставив учительнице из Кирсанова в одиночестве обдумать вторжение его в ее утлый мирок.

Таню же привлекла ярко-зеленая кудрявая купа молодой поросли около береговой дороги.

— Это что? — показала она на нее пальчиком.

— Это? Уксусные деревья... Конечно, они пока еще не деревья, они пошли от корней... Вон там, в чьем-то саду — видишь? — там большие уксусные деревья, а эти кусты пошли от корней...

Он хотел еще подробнее объяснить, что это за деревья и почему называются уксусными, но Таня уже показывала на какую-то траву с крупными желтыми цветами и спрашивала:

— А это что?

— Это?

Даутов подошел поближе к желтым цветам и рассмотрел их внимательно.

— Это... судя по тому, что венчики четырехлепестковые, и по устройству листьев,— это, конечно, мак, хотя вот плоды похожи скорее на стручки, чем на коробочку мака...

— А это?

Таня показала на крупную зеленоватую каменную глыбу, торчащую около дороги.

— Это диорит! — уже не задумываясь, определил Даутов.

— Тирири! — повторила по-своему и вздохнула почему-то Таня, а маленький пальчик ее с розовым ноготком тянулся уж куда-то еще, но Даутов повторил раздельно:

— Ди-о-рит.. Изверженная глубинная порода... Это каменная бомба... Когда-то вылетела из вулкана... Вот эта гора,— указал он,— должно быть, была когда-то вулканом.

— Там есть волки? — спросила Таня.

— Нет, волков там нет... Волков вообще во всем Крыму нет.

— А мед-ве-ди?

— Медведей — тем более. А лисицы, куницы есть... И барсуки.

— Пруссаки?

— Нет. Пруссаки — это такие люди... Хотя и рыжих тараканов зовут также прусаками, но это уж, конечно, в шутку... И когда ты вырастешь большая, то так звать их, конечно, не будут, по той простой причине, что к тому времени их выведут всех, без остатка... У тебя есть альбом животных?

— Животные? Звери?.. Есть всякие... А это что?

— Это?.. Это хорошо, что у тебя всякие звери есть...

И Даутов прошел уже было мимо того, что остановило внимание девочки. Но Таня обернулась и показывала упорно назад, настойчиво требуя:

— Это! Вот это что?

Это была низенькая красноватая трава, в изобилии росшая около дороги, куда иногда, во время сильных прибоев, долетали брызги морской воды. Она стелилась по гравию пляжа, очень сочная на вид, коленчатая, с мелкими желтенькими цветочками.

— Это?

Даутов присел на колени, не выпуская из рук Тани, и начал добросовестно рассматривать траву, наконец сказал:

— Признаться, в ботанике, да еще в такой незнакомой местности, я, брат Таня, гораздо меньше силен, чем в петрографии... Но думаю я, что это... солончаковая трава,— да... солончаковая... Потому что растет она, видишь ли, только здесь, около соленой воды, а там, повыше, я ее нигде не встречал... солончаковая.

Таня беззвучно шевельнула губками, стремясь повторить длинное, трудное слово, вздохнула и вот уж указывала куда-то еще в сторону:

— А это что?

Так носил ее Даутов с четверть часа вдоль пляжа, пытаясь возможно добросовестнее и обстоятельнее отвечать на ее неистощимые вопросы, в то время как Серафима Петровна мечтательно созерцала морскую гладь и синь и думала над его недавними словами. А когда негромким голосом своим, приставив руки ко рту, позвала девочку мать и пришлось идти к ней, Даутов говорил восторженно:

— Вот из-за таких малютошных мы тоже будем вести борьбу с кем угодно! Даже с их матерями,— прошу меня извинить, я не говорю о вас лично! Мы не позво-

лим, нет, набивать такие пытливые головенки всякой чепухой и вздором! Мы — хозяйственны,— это прежде всего. Мы учитываем в каждом человеке, даже самом маленьком, прирожденную пытливость и не будем давать вместо хлеба камень!.. Мы отлично знаем, какая это сила — воспитание молодежи!.. И здесь наша победа в первую голову обеспечена. Мы с вами тоже получили воспитание-образование, и что же в результате? В результате вы совсем не знаете, что у нас за партии, и вообще вы «не политик»; я очень поздно все-таки сбросил с себя всякий мусор, которым меня набили, а другие... другие пошли геройствовать на войну, получать кто крест на тужурку, кто крест на могилу... зачем им это? Это — результат воспитания, то есть пропаганды в школах... Подумать только: шли на смерть, шли на увечья, как стадо баранов, не рассуждая, не протестуя!.. До чего это позорно! До чего это совсем не похоже на человека!.. Человек еще не начинался на земле,— вот что надо сказать! Это мы, мы начнем на земле новый исторический период — период человека!.. Вы только подумайте — уж не сестер милосердия посылают на фронт, а ударные женские батальоны формируют... И идут, идут ведь, вот что главное! Вы женщина,— разве вам это не противно? Вы скажете: сумасшествие... Нет, это — воспитание!

Очень горячо говоря это, Даутов не выпускал из рук Тани, и Серафима Петровна сказала, не улыбнувшись:

— Смотрите, вы увлечетесь и мне ее задушите! Или сделаете ораторский жест, как на митинге, и полетит она, бедненькая, на песок!

Даутов сел с ней рядом, но выпустить из рук и передать матери Таню ему все-таки не хотелось, а Серафима Петровна вдруг сказала:

— У меня была нянька, простая деревенская девчонка лет пятнадцати... Не знаю, скучно, что ли, ей было со мной,— мне тогда лет пять было,— только что же она выдумала себе для забавы? Рожи мне корчить!.. Да ведь какие рожи ужасные! Самые необыкновенные... Во сне такие никогда не приснятся... Вы себе их и вообразить не в состоянии. Глаза она как-то выкатывала, рот делала косяком,— ужас!.. Да еще и пальцы скрючивала, как звериные когти или орлиные, что ли... И вот этими

пальцами, скрюченными, медленно так ко мне подбирается, к самому лицу, и зубами щелкает... что это у нее за фантазия была,— не понимаю. Я ей и конфет, какие мне мать давала, и игрушки, и даже деньги мелкие, какие мне дает, бывало, отец на мороженое, когда мы с нею гулять идем,— все ей отдавала, всячески ублажала, чтобы она только рож таких страшных не делала, потому что трясусь я, конечно, от страха... Нет, ничего я с ней поделать не могла! Упрашиваю, плачу, прошу всячески: «Маша, ты не будешь?» — «Нет, говорит, пойдем». А сама, чуть только отведет меня подальше, видит, что никого нет, и начинает рожу за рожей... Да еще и запугивает: «Смотри, никому не говори, а то вот тебе за это что будет!» Да такую вдруг ужасную скорчит харю, что я ничком падаю и ногами болтаю... Так ведь перевернет же: «Не падай ничком, а смотри!» Вот инквизиторша какая была... Спасибо, мать сама заметила это и ее прогнала. И вот я теперь вспоминаю об этой няньке, и хоть бы вы мне сказали, по каким же побуждениям она это делала?

— Больная, конечно, была девчонка,— сказал Даутов, не понимая, зачем это было ему рассказано.

— По-видимому, так... Нянька может быть глупая, или очень старая, или безнравственная, или пьяница,— мало ли какая может быть нянька? Потому я никаким нянькам Тани своей не доверяю... Но вот вам, мало мне знакомому мужчине, я бы, пожалуй, доверила свою девочку на целый день... Потому что вы хотя и занимаетесь крутым таким делом, как революция, но душу имеете мягкую... Правда, мягкую?

— Не знаю, что такое душа... Может быть, и правда...— усмехнулся Даутов.— А что касается Тани,— я бы сказал, что готов с нею возиться все те две недели, какие мне еще здесь остались.

И Серафима Петровна, очень похорошев вдруг, заговорила оживленно:

— У меня была знакомая, она тоже сидела с маленькой девочкой где-то на пристани. У девочки было игрушечное ведерце. Катала она его по пристани, и вот скатилось ведерце в воду. Был здесь же один незнакомый ей военный. Тут же он выхватил шашку свою и поддел ведерце за дужку. На этом они и познакомились: он был холостой, она — вдова. Понравились друг другу и

поженились благодаря такому глупому случаю... Но вы не думайте, пожалуйста, что я рассказываю это с какой-нибудь целью! Так просто, я это вспомнила ни к чему...

И она вся зарделась и, чтобы не то объяснить, не то попытаться скрыть неловкость, добавила:

— Я не знаю, как вы на каторге могли вытерпеть!.. Ну, ссылка еще так-сяк. Все-таки ходили вы на свободе, и если бы вам побольше присылали денег...

— Да, вот в Ялани, помню,— желая ее выручить, перебил Даутов,— ссыльные устроились не так и плохо: даже открытки цветные у всех были приколоты булавками по стенам... Книги у них были, газеты... Косить у чалдонов им не приходилось...

— Вот видите!.. А каторга — это уж я не знаю... Я бы, кажется, голову там себе о каменные стены разбила или с ума сошла!

— Привыкли бы! Человек ко всему привыкает. Но, конечно, было почти невыносимо гнусно.

— И вы, отлично зная, какому подвергаетесь риску, все-таки вели свою пропаганду после ссылки!

— А как же иначе?

— Я бы, если уж удалось бы мне бежать из ссылки, сидела себе где-нибудь в самой глухой глуши, и чтобы никто меня не видел!

— Что вы! Это вы так только говорите! Вы просто никогда не видели близко ни одного партийца. А что касается каторги за антивоенную пропаганду, то это я ведь еще дешево отделался: свободно могли повесить.

— Знаете ли что? Вы — герой! — сказала она серьезно.

— Ну вот еще, какое же это геройство!

— А что же это такое, если не геройство?

— Порядочность, я думаю,— и только.

— Значит, я непорядочна?

— Нет, вы просто... не сталкиваясь с этими вопросами раньше, не думали над ними...

— Вы ко мне снисходите!

— Но вам ничто не мешает, ничто не препятствует заняться ими теперь.

— Теперь зачем же, когда все уже сделано и кончено без меня!

— Не кончено,— что вы! Только еще началось, а совсем не кончено!

— Ну, все равно,— вы скоро все это кончите.

— Неизвестно, скоро ли... Хотелось бы, конечно, поскорей.

— Это кто? — вдруг твердо указала на море Таня.

— Это? Вон там плывет черненькое?

— Да. Это... кто?

— Это гагарка. Она всегда плавает одна.

— Почему же она любит одиночество? — спросила Серафима Петровна.

— Да вот, почему?.. Бакланы, чайки — эти всегда стаями, а эта... совсем лишена социальных инстинктов.

Так часто говорили между собой Даутов, Серафима Петровна и Таня на берегу голубого летнего моря.

Как-то, когда день был особенно красив и задумчив, сказала учительница из Кирсанова революционеру Даутову с какою-то даже горечью в голосе:

— Ну, хорошо, а красоту, вот эту красоту кругом нас, вы ее чувствуете или нет? Что-то вы мне ничего об этом не говорили!

— Признаться, в первый день, как сюда я приехал, чувствовал, очень чувствовал... Весь день ходил один, куда только мог, и был как шальной... Даже спал потом плохо.

— Только в первый день?.. А потом?

— А потом мне досадно стало. Посмотрю и отвернусь... Серьезно, именно так со мною и было... Море разлеглось бесполезно, горы торчат бесполезно... Подумаешь, какая расточительность, когда мы так нищенски бедны! Почему же это произошло? Хозяин сюда не пришел настоящий, то есть рабочий. Разве в таких махинах-горах всего только жилка несчастная исландского шпата? Нет, тут разведки делали кое-как, шаля-валя... Только и нашли что бурый уголь не так далеко отсюда, и копи забросили... Погодите, придет сюда рабочий — он их развернет, эти горы,— они у него заговорят своими голосами!.. А здесь, на берегу, каких мы здесь дворцов понастроим со временем! И чтобы в них отдыхали шахтеры из какой-нибудь Юзовки, из Горловки, из Штеровки, потому что им отдыхать есть от чего! И когда это сбудется, вот тогда только мне будет не стыдно и не досадно сидеть здесь, на бережку, вместе с ними и

закапчивать кожу на солнце!.. Нет, вы только представьте,— вдоль всего берега этого, где теперь, как видите, ничего нет, кроме каких-то виноградников и двух-трех дачек мизерных,— это на целую версту великолепного пляжа! — вы представьте, стоят пятиэтажные дворцы!.. На целую версту — один за другим... Серые, бетонные, не боящиеся землетрясений, которые здесь иногда бывают... И перед ними асфальтовое шоссе. А по шоссе этому машина за машиной подвозят шахтеров, которые и будут жить в этих дворцах и будут купаться в море!.. А то, вы знаете, как они живут — в степи, где деревца нет, где белья сушить нельзя из-за пыли, в гнуснейших лачужках, по две, по три семьи в лачужке? Нет, вы этого не знаете и представить не можете! Они в земле, на глубине пятидесяти, а то и больше сажен, целыми днями уголь отбивают кайлами... Иногда их заваливает породой, иногда газом душит... И единственная радость их всегда была — до полусмерти водки напиться... А потом, конечно, драка, поножовщина... А то, представьте, они будут люди как люди... Зверски эксплуатировать какие-нибудь бельгийцы их не будут; поработали они у себя там, сколько надо,— потом сюда отдыхать приедут... Вот когда это сбудется, тогда только мне не будет стыдно,— а сейчас стыдно!

— Гм... Если вы это серьезно говорите...

— Вполне серьезно!

— То почему вы приводите в пример одних только шахтеров?

— А не учительниц?.. Однако вы ведь приехали сюда на свой счет, а шахтеру не на что сюда ехать... Кроме того, как живут шахтеры, это я гораздо лучше знаю, чем то, как живут учительницы.

— Хорошо, допускаю... А кто это вас убить хотел, вы говорили?

— Убить?.. Вы об этом? — дотронулся он до своей плешины.— Это — один шахтер... которому я очень благодарен за это.

Серафима Петровна долго смотрела на него удивленно, не отрываясь, наконец сказала тихо:

— Я вам верю!

— Мне нет надобности говорить вам неправду...— просто отозвался Даутов.

— А если... если будет надобность вам кого-нибудь убить,— извините меня за этот вопрос,— то как все-таки, вы бы убили?

— Непременно! — ответил он без запинки.

— Будете стрелять?

— Непременно.

— А когда арестовывали вас, вы тогда стреляли?

— Нет, тогда не пришлось... Да ведь тогда, например, меня арестовали как-то совсем по-семейному. Я, признаться, и не думал, что арестуют. Подхожу как-то к дому, где комнату у одной сердечной старухи снимал, вхожу в калитку, вижу — городовой на дворе дежурит. И чуть только я во двор вошел, он — к калитке и руку на кобуру. «Чего, брат, ты тут торчишь?» — говорю как могу спокойно. «Да тут в доме пристав наш, поэтому и торчу»,— говорит. Ну, ясно, что обыск. Идти мне на улицу напролом — он, конечно, стрелять будет, а у меня ничего нет с собою. И вдруг мысль мелькнула: «Почему же непременно у меня обыск? Тут в доме три квартиры, и два студента в них. Я же тут поселился недавно...» Иду к своей сердечной старушке, а сам думаю: «Хотя бы и у меня обыск: ни бомб, ни литературы — ничего такого у меня нет, бояться мне нечего...» Вхожу в свою комнату, слышу храп хррр... хррр... «Кто же это, думаю, у меня так задумчиво храпит?» Оказалось, сам господин пристав: голову на стол положил — и хррр! Где-то он теперь, любопытно? Должно быть, на фронт погнали... Подхожу, хлоп его по голове: «Эй, дядя! Спишь?» Проснулся: слюнявый, глазищи красные... Фуражку надел, а то она у него с головы свалилась. «Это вы, говорит, такой-то?» — «Я, говорю, такой-то».— «Извините, что потревожить приказали по пустякам!.. Вот протокольчик подпишите!» Смотрю, на столе и бумажка, протокол обыска, готова уж, а в ней говорится, что при обыске ничего не обнаружено. «Как же это вы, говорю, без меня у меня рылись?» — «Да ведь это, говорит, пустяки все, одна проформа...» — «Ну, думаю, ладно, пусть только идет к черту!» А тут старушка сердечная, моя хозяйка: «Господин пристав, чайку идите выкушайте!» — «Чай пить, говорит, не дрова рубить!» Сел и я с ним. Сидим, беседуем. Он мне рацеи разводит, что вот как, мол, эти студенты всякие и даже из

окончивших молодые, вместо того чтобы им учиться или уж служить, жалованье получать да где-нибудь у знакомых в преферансик перекинуться, а они к чему-то, видите ли, в революцию ударяются и только полицию беспокоят... Только это расфилософствовался, городовой входит: «Извозчик стоит, пожалуйте ехать!» Встает мой пристав и мне: «Поедемте, молодой человек!» — «Куда это? Зачем?» — «Да уж так надо... для проформы». Сердечная старушка умолять даже его пустилась: «Да что вы это, господин пристав! Да отпустите вы жильца моего, что вам стоит!» — «Ничего, говорит, не стоит, а только со службы тогда долой!» Поехал я с приставом, и привез он меня прямо в тюрьму... Вот какой был мой тогда арест.

— И потом вас в ссылку?

— Да, из тюрьмы в ссылку... А в другой раз — это уж было в Херсоне, на Фурштадте,— есть там такой скверик маленький, я в нем сидел на скамейке после бессонной ночи, днем... А там, на Фурштадте, казармы были артиллерийские и пехотные... Деятельность моя антивоенная в этих местах и протекала. Там, на скамеечке в скверике, не пристав уж задремал, а я сам. Тоже, должно быть, не без храпа тихого... Это осенью четырнадцатого года было... Погода стояла теплая, немудрено было задремать... И вдруг просыпаюсь от такого ощущения, как будто по лицу мне кто-то рукавом шершавым черным провел. Сейчас же я туда-сюда оглянулся — никого решительно. А подсознательное какое-то чувство говорит: «Уходи немедленно!» Встал я и пошел к выходу. Только дошел до вертушки, а из-за кустов кто-то меня дерг за плечо! Смотрю и глазам не верю: целых три офицера, а за ними какой-то тип в черном лохматом осеннем пальто: шпик. Совершенно глупо вышло. В этот раз и маленький браунинг был у меня в кармане, но окружен я был очень тесно, и сопротивляться было бы глупо.

— А вы умеете иногда хитрить?

— Вы попали в слабое мое место: я всегда был плох по части конспирации. Да ведь тогда, во время войны, трудно было это,— слишком много везде оказывалось шпиков добровольных. Буржуазия, она и сейчас яростно стоит за продолжение войны, а тогда тем более, что после успехов-то на австрийском фронте многие были

вне себя... И этот, в пальто-то черном лохматом, он не профессионал оказался, а просто лавочник местный.

— Из-за него вы, значит, отсидели два с лишком года?

— Да... Из-за его усердия.

— Хорошо! Постойте! Один вопрос: если бы вот сейчас, здесь, на берегу, вы увидели бы этого своего шпика, что бы вы с ним сделали? — очень живо вдруг спросила она.— Вы бы его утопили в море?

Даутов увидел, что глаза ее, обычно усталые и лишенные блеска, теперь расширились и блестели, как будто она сама видела вот где-то близко, в трех шагах, этого херсонского лавочника-доносчика.

— Нет,— улыбнулся ее новым глазам Даутов.— Личные счеты свои я пока отложил бы...

— Почему? Почему отложили бы?

— Потому что гораздо более серьезная задача у нас — и у меня, значит,— вот-вот потребует разрешения.

— Какая?

— Гораздо более серьезная,— этого, я думаю, с вас довольно... С войною надо покончить или нет? Вы недавно согласились со мной, что надо,— не так ли? А раз с войной будет покончено, то... тогда уж можно будет начать разговоры с херсонским лавочником и со всеми лавочниками вообще.

— Сердцем я вас понимаю,— сказала она,— а умом нет.

— Чего же вы не понимаете умом?

— Еще бы!.. Если уж вам даже предатель ваш, из-за подлости которого столько страдали вы на каторге, теперь совершенно почему-то неинтересен, то вы... Вы, по-видимому, фанатик какой-то!

— Нет, но я способен умереть за наши идеи. И все, кто хочет того же, что и я, всегда готовы умереть за наше дело. Тем-то мы и сильны...

— Почему же вас боятся рабочие? Я читала об этом где-то... или слышала.

— Едва ли есть такие!..

— Вы, кажется, просто мечтатели, по-э-ты!

— Нет, мы прозаики. У нас есть не только ясный план действий, но еще и гениальное руководство. А если вам кажутся наши задачи утопиями, то, в известном

смысле, что же такое вообще прогресс, как не проведение многих и многих утопий в жизнь? Леонардо да Винчи только мечтал летать, а мы уже летаем, да еще на аппаратах тяжелее воздуха... А в будущем — я уж говорил вам — вся наша надежда на таких вот трехлетних,— кивнул Даутов на Таню, которая в это время, вонзив голые ножки в мокрый песок, шумно работала ими и кричала:

— Мама, смотри! Я месю тесто!

В той комнате, где жили на дачке Степана Иваныча Серафима Петровна с Таней, на стене, как раз над самым изголовьем Таниной кровати, пришпилена была кнопками карта Крыма, и мать как-то от нечего делать в дождливую погоду показала Тане все крымские города, а она запомнила их названия и где находятся.

Эта памятливость трехлетней девочки очень удивила Даутова в первый же день его знакомства с Таней, и теперь, желая проверить прочность таких случайных знаний, он начертил возможно правильнее у себя в записной книжке очертания Крымского полуострова и на месте городов поставил, как и на той карте, кружочки, а когда кончил, подозвал Таню:

— А ну-ка, черноглазенькая, пронзившая мое каменное сердце, иди-ка сюда!.. Как ты думаешь, что это такое, а?.. То ты меня все пытаешь, а теперь ну-ка я тебя!.. Что это такое я начертил?

— Кошку? — спросила Таня, чуть взглянув.

— Нет, не кошку... Ты приглядись как следует... Получше смотри!

— Крым? — вопросительно сказала Таня.

— Пра-вильно, братец ты мой! — восхитился Даутов.— Молодчина!.. Крым! А какой вот здесь город?

— Севастополь,— уже уверенно ответила Таня.

— Какова, а?.. Гениально!.. А этот какой?

— Керчь?

— Я, когда поставил кружочек, думал о Феодосии, а про Керчь я, признаться, забыл... Но вот тут же рядом и Керчь... Это, значит, ты меня поправила!.. Какова ваша дочка, а?.. Я вам говорил ведь!.. Стало быть, тут Керчь, а тут рядом?

— Феодосия.

— Гм... замечательно... А это что?

— Евпатория?

Даутов вытянул губы, чмокнул девочку в пышущую щечку, сказал: «Гениально!» — и ткнул, наконец, в самый крупный кружок посредине:

— Может быть, хоть этого города ты не помнишь? Ну-ка, скажи: не помню!

— Симферополь,— очень отчетливо ответила девочка.

— На пять с плюсом! Вот так Таня!.. И чтобы такую золотую головку какими-то Иисусами Навинами и молитвами перед учением засоряли!.. Нет, этого мы не допустим!

— Она знает все буквы на пишущей машинке,— сказала Серафима Петровна,— какую ей ни покажете, она скажет,— а то всего несколько городов, и чтобы она забыла!

— И чтобы такая училась в вашей гимназии тому, как Иисус Навин останавливал луну и солнце?.. Вот чтобы ее подобной ерунде не учили, и надо углублять революцию!

Говоря это, Даутов обеими руками охватил Таню, и вид у него был такой, как будто он ее от матери защищает.

— Вы очень хороший человек,— сказала Серафима Петровна, наблюдая доверчивость к его рукам со стороны Тани.

— Благодарю вас... И вы понимаете меня сердцем, но никак не желаете понять умом? — спросил он Серафиму Петровну ее же словами.

Она развела слабыми руками и покраснела:

— Ну что же мне делать?.. Значит, чего-то многого не хватает в моем уме...

— Вот так и со всеми!.. Слова не убеждают — убедительны только факты... Если же фактов недостаточно еще, значит волей-неволей число их придется увеличить... Повсеместно и бесконечно... Бесконечно и повсеместно!.. Так приказывает сама история!

И, говоря это, Даутов крепко держался за маленькую Таню, как за свой оплот.

Не только Таня заходила в гости к Даутову, иногда и Даутов приходил в гости к ней. Тогда она показывала ему свои игрушки, альбом зверей и... прейскуранты автомобилей. Прейскуранты эти были весьма деловые, заграничные, и трудно было зачислить их в игрушки, но

у Тани они были в большом внимании, что весьма удивляло Даутова.

— Почему они тебе нравятся? — спрашивал он девочку.

— Они? Бегут!.. Так: ж-ж-ж! — показывала только ручкой от себя, не пытаясь даже показать их бег своим бегом, девочка.

— Хорошо, бегут... Но ты ведь не знаешь, конечно, как они бегут, почему бегут?

— Мотор работает! — отвечала Таня вздыхая.

Такого ответа и глубокого вздоха было достаточно, чтобы заставить Даутова подкидывать ее к потолку.

— Смотри! Мама!.. Подъемный кран! — кричала счастливая Таня.

— Откуда ты знаешь подъемный кран? — удивлялся Даутов.— Ты только самоварный кран знаешь!

— Нет... Подъемный! — И она находила у себя вырезанный из журнала снимок подъемного крана.

Это совершенно изумляло Даутова. Он очень оживленно говорил Серафиме Петровне:

— Знаете что? Из вашей дочушки, может быть, со временем целый инженер выйдет!

— Тоже радость большая: ин-же-нер! — махала тонкой рукой своей учительница из Кирсанова.— Я даже читала у какого-то философа, что самое неудачное произведение природы — это женщина-архитектор.

— Должно быть, у Ницше вы это читали, который умер в сумасшедшем доме... Но Таня, Таня, ваша Таня — это сокровище!.. И что мы из нее сделаем инженера, в этом вы убедитесь!

Однажды Таня проснулась ночью. Лампа чуть горела за ширмами, где спала мать, и Таня слышала испуганный шепот матери:

— Нет, пожалуйста, не надо! Пожалуйста, не надо! Я вас прошу!..

Таня отчетливо подумала о Даутове, который с вечера сидел у них: «Он хочет читать маме свою газету, а мама не хочет слушать!..»

Она заснула снова, а утром, встав, долго тормошила мать, и та, проснувшись, наконец, не положила ее рядом с собою, а только обняла крепко и заплакала почему-то.

Не больше как через неделю после этого Даутов уехал в Петроград, и Таня видела, как ее мама стояла около извозчичьей линейки, на которой он уезжал (автомобилей тогда уже не было в глубоком тылу), и слезы дрожали у нее на ресницах, а на правом виске все что-то дергалось безостановочно.

Тогда Таня посмотрела на Даутова так пристально, так насухо вбирающе, как никогда не смотрела раньше, и на долгие годы запомнила его таким, каким он сидел на линейке: с загорелой, коричневой высокой головой, в расстегнутой белой рубашке, с крепкими скулами и четко вырезанным носом.

Когда линейка тронулась и он замахал войлочной шляпой, которые здесь звали лопухами, Серафима Петровна зарыдала вдруг обрывисто, уже всем своим тоненьким телом порываясь и сдерживаясь изо всех сил, и, глядя на мать, заплакала Таня.

Потом около моря пошло все как-то не так, как прежде.

Первый виноград, которого много съели Таня с матерью, оказался ядовитым, и они болели несколько дней. Потом захолодало, пошли дожди, и целыми днями приходилось сидеть дома, смотреть, как пятиногая Шурка со всех сторон пытается подобраться к гелиотропу и вербене, а Дарья Терентьевна, заложив руки за спину и делая задумчивое лицо, старается внезапно захватить ее длинное висячее ухо.

Сухой и сутулый Степан Иваныч оживал во время дождя чрезвычайно. Тогда он гремел водосточными трубами, устанавливая их так тщательно, чтобы ни одна капля воды с крыши не миновала его бассейнов, и проворно-проворно, как и не ожидала от него Таня, очищал веничком канавки, по которым текла дождевая вода к его цветам.

Одно облако над горою поразило в это время Таню. Оно было все плотное, белое и кудрявое, как овечья шерсть, и очень стройно подымалось в высоту над горой. Оно было похоже на великана в белой овчине. Таких великанов лепили из снега мальчишки в Кирсанове.

— Мама,— глядя на то облако, сказала Таня,— мы когда поедем в Кирсанов?

— Скоро, Танек,— ответила Серафима Петровна.— Надо ехать, а то, может быть, и доехать до него будет нельзя...

И вскоре они действительно уехали на той самой линейке, на которой сидел и махал белым лопухом Даутов.

II

В памяти Тани, теперь уже пятнадцатилетней, очень смутно и отрывочно уцелело это время от приезда в Кирсанов и дальше, пока не попали они снова в Крым.

Однажды мать вбежала в комнату и захлопнула дверь, как будто за нею гнался бык, потом начала поспешно одевать ее, Таню, во все самое теплое, потом беспорядочно хватала, что попадало под руки, запихивала в белую скатерть, завязанную узлами, задыхаясь бормотала:

— Бежать надо, бежать!.. Таня, Таня, бежать надо!.. Бежать!

Потом они мчались на совершенно сумасшедшей деревенской телеге, все время подпрыгивающей на ухабах... Ночевали в избе на лавке; под лавкой хрюкали поросята... Утром подошла к лавке серая гусыня и больно ущипнула Таню за ногу...

Это было первое бегство Тани.

Таня не помнила, где это было потом, что из города вышли обе гимназии — мужская и женская, в полном составе, с учителями впереди, и пошли куда-то, как будто на прогулку в лес, но это было зимою, и все то и дело оглядывались назад, где гремел гром. Матери ее и в этом городе удалось достать лошадь. Снег был неглубокий, и их извозчик обогнал тянувшихся по дороге, взяв по прямой, наперерез. А когда над городом поднялся в разных местах черный дым, извозчик этот, старик, посмотрел очень странными глазами и закричал вдруг:

— Погорим!.. Все чисто погорим!.. Ведь это что! — И начал гикать и колотить гнедую лошадь кнутовищем.

На одной какой-то станции, где они хотели сесть в поезд, Таню чуть не раздавили. Ее уже сбили с ног. Она помнила, что лежала головой на холодном рельсе, а над ней по приступочкам вагона топали солдатские сапоги, с которых капало на нее жидкой грязью...

Потом она помнила «Грязи» — большую станцию. Даже и теперь, как только она слышала слово «грязи», когда говорили, например, о сакских целебных грязях, она мгновенно представляла высоко вверху частый переплет из железа и в нем то мутные стекла, то небо; влетают и вылетают голуби; сыплется сверкающий снег...

А она тогда только один раз и посмотрела вверх, больше нельзя было — так густо двигался кругом народ: могли сбить с ног и задавить; надо было плотнее прижиматься к матери...

И еще, что неизменно представлялось ей при слове «грязи»,— это кишки, намотавшиеся на буфера между двумя вагонами.

Она запомнила, как мать стояла, безумно вытянув к этим буферам свое небольшое лицо с остановившимися глазами, а какой-то рыжий солдат с заржавленным чайником кричал матери:

— Ну, упал человек с крыши на ходу,— и все!.. Мало их падает?!.

И так глядел тогда этот рыжий солдат, такой он был страшный, что Тане показалось — вот-вот ударит он ее, маму, наотмашь тем заржавленным чайником, который держал он в руке...

Это было все, что вместилось в слове «грязи». Слово же «Лиски» — другая узловая станция — было связано у нее с кислыми вишнями. Она помнила — на этой станции мать покупала у какого-то мальчишки вишни и спросила:

— А должно быть, кислые, а?

Мальчишка же обиделся и крикнул:

— Они уж целый месяц, как их есть,— все вам будут кислые!

Вишни оказались действительно очень кислые, но хуже было то, что мать потеряла кошелек со всеми деньгами.

Таня отлично помнила жаркий день, какие-то кругом белесые лысые бугры, сожженные солнцем; народу на станции почему-то не очень много; она сидит одна, сосет кислые вишни; и вишни эти в желтой бумаге, размокшей от ее слез; а мать куда-то умчалась искать кошелек... Потом была великая радость: с найденным кошельком,

вся сияющая, счастливая, примчалась мать! Это «Лиски».

Что мать ее именно «мчалась» в те смутные годы, а не ходила,— это прочно осталось у Тани в памяти. Как могла она вынести эти годы, Таня не понимала и сейчас, но какая-то стремительность, невесомость, летучесть матери ей все-таки хоть что-нибудь объясняли, Таня почти не помнила ее тогда спящей и никак не могла припомнить, когда и что она ела. Она только металась и мчалась и кружилась все, как кружатся вихри по дорогам.

Потом Таня не расспрашивала мать, что они делали между станцией «Грязи», где были сверкающе-снежной зимой, и станцией «Лиски», где были кисло-вишневым летом. Это до того бесследно унеслось из ее памяти, что не появлялось даже желания восстанавливать его.

Она запомнила два маленьких городка — Купянск и Старобельск, где они прожили по месяцу, а может быть, и больше. Но от Купянска уцелело в памяти только какое-то большое деревянное желтое здание со стеклами вверху под зеленой крышей. Стояло оно на середине базарной площади, и стекла в нем неистово сияли, когда садилось солнце. Странно было ей самой, что, кроме этого уездного «пассажа», она не запомнила ничего, не помнила даже того домика, в котором они жили и который, конечно, был похож на все другие домики, в которых приходилось ютиться.

Но запомнила она, как из Купянска на станцию — версты три — они бежали с матерью по желтому песку, и красный лозняк торчал по обочинам дороги.

Перед самой станцией нужно было бежать по мосту, и это оказалось опаснейшей частью пути, так как мост был дырявый. Таня упала и в большую щель видела, как внизу катится бледноватая мутная река и кружит желтые камышинки. Щель же была такая, что, упади она ближе к краю моста, она бы провалилась в реку. Ее подхватил на руки кто-то в полушубке (запах этого полушубка — несвежей рыбой — она запомнила) и протянул матери.

До Старобельска от какой-то маленькой станции они шли долго, целый день, по белым уже пескам, и, должно быть, было холодно тогда, потому что мать говорила:

— Иди сама... Иди ножками, тебе теплее будет...

А она, Таня, отвечала вдумчиво:

— Я, мама, всегда иду ножками...

Это запомнилось Тане потому, что потом довольно часто повторялось ее матерью, когда наступала радость, и радость была особенно велика. Эта великая радость была тишина, в которую она попадала: какой-нибудь маленький дворик, на дворике два-три деревца, обтертые чесавшейся коровой; серый кот, который грелся безмятежно на солнце; и какой-нибудь отживающий и потому очень благодушный старичок на дворе, вроде Степана Иваныча, поливавшего свои вербену и петунью... Главное, чтобы не слышно было свиста снарядов, свиста пуль, свиста паровозов, свиста людей, идущих в военных шинелях с песнями по улицам.

Попав в такую тишину, мать Тани мчалась искать работу, и, должно быть, крайне голодный вид ее смягчал жесткие сердца: работу она находила. Отдыхала от дороги она сама, отдыхала Таня, привыкала к серому коту, к пестрой корове, оставлявшей на коре деревьев во дворике клочки то белой, то черной шерсти... И вдруг рано утром или поздно вечером торопливое, плачущее, будоражащее до глубины:

— Та-ня, бежать!.. Бежать, бежать надо!..— И вот прощай серый кот и пестрая корова.

На одной станции поезд оцепили люди в мохнатых шапках, и, войдя в их вагон, двое усатых и страшных крикнули:

— А ну-у!.. Попів и жидів немае?..

Мать сказала ей тихо: «Махновцы!» — и тут же услышала Таня, как под скамьей, на которой она сидела, кто-то ухватил ее расставленные ноги в дырявых калошах, сдвинул их и так держал. Таня привыкла к тому, что ее все дергали, толкали. Ее страшно испугали эти двое усатых. Мать обняла ее обеими руками и так застыла.

И вдруг один из этих двоих с винтовками прямо к ней, к Тане:

— Ты ково там ховаешь, га? Батьку свово?

Таня залилась тогда плачем от страха и потому не видела, кого это сзади ее вытянули за ноги из-под скамейки.

Потом за окном загорланили:

— Геть из вагонів!.. Геть из вагонів, усі чисто!

И так же стремительно, как садились в поезд, все стали его очищать, давя друг друга в узких дверях, а в дальнем углу платформы, там, где была водокачка, началась стрельба.

Очень хорошо запомнила Таня, как однажды пропала, умчалась и исчезла мать, а она осталась одна на узелке с вещами на каком-то маленьком полустанке, где почему-то и людей совсем почти не было. Вонзался дождь в лужи между рельсами, на лужах, как после ожога, вскакивали пузыри; рельсы мокро блестели... К ней тогда подошла старуха с двумя мешками наперевес и с палкой. Старуха эта, похожая на бабу-ягу, оглянулась, потом взяла ее за руку и сказала: «Пойдем!» Таня даже не спросила, куда идти: ясно было ей, что нужно было идти к матери, что это она прислала старуху, но страшно было идти, и баба-яга почти волокла ее по грязи.

И уже миновали все постройки полустанка, началось поле, когда какой-то встречный дядя в нахлобученной шапке, серая борода клочками, толкнул старуху, а ее отнял.

На той лавке, где сидела и глядела в окно Таня, узелка уже не было, но Таня видела, как старался запихнуть его в свой красный окованный сундучок какой-то медлительный долговязый парень.

— Наш это! Наш!.. Мамин! — закричала Таня.

Тогда старик, который привел ее, ударил спокойно парня в спину, узелок вытащил, положил на лавку, и она опять на него уселась, а перень сел рядом со своим сундучком и начал очищать щепкой сапоги от грязи.

Мать пришла, когда Таня уже заснула от усталости. Придя, она ее растолкала. Она совала Тане в руки хлеб. Хлеб был весь мокрый и даже грязный. Куда уходила тогда мать, Таня не спрашивала.

Где-то мать поставила ее на подножку желтого вагона «второго класса», стараясь вскочить и сама, но какой-то молодой офицер, красный от натуги, нагнувшись, спихивал ее вниз и кричал:

— Какого черта! Нельзя сюда!..— это — вагон офицерский!

Мать же храбро кричала тоже:

— А я кто же?.. Я жена полковника!

— Какого полковника? Как фамилия? — кричал офицер.

— Полковника Кирпичова! Кирпичова! — кричала мать и вскочила рядом с Таней на подножку.

— Нет у нас такого! Вы врете! — кричал офицер и сталкивал мать, но она крепко ухватилась одной рукой за железную стойку и крепко прижала другой к себе ее, Таню, а поезд уже двинулся.

— Пропустите же, вам говорят! Вы ответите! — кричала мать, и офицер пропустил их на площадку, где они простояли до следующей станции.

Она помнила, как офицер кричал на мать уже на площадке вагона:

— Вы нагло врете! — и как она потом спрашивала шепотом:

— Мама, а что это — «нагло»?

В одном большом селе на Украине, занятом отрядом красных, мать Тани нашла работу в ревкоме. Машинки в этом ревкоме не было, и бумаги, которые нужно было писать в огромном количестве, она писала безукоризненно четким крупным почерком учительницы.

Однако писала недолго. То ошеломляющее количество вшей, которое произвела в эти годы чересчур щедрая природа, Тане стало казаться чем-то необходимым: трещит же под ногами снег во время мороза!.. Так же трещит и пол на вокзалах и в вагонах... Но среди тысячи несчастий, какие ожидали их обеих, мать ее всегда представляла и это — сыпняк.

Она говорила часто: «Ах, только бы не свалиться!..» И все тело ее при этом вздрагивало от страха и отвращения.

Именно в этом селе она и свалилась. Это случилось зимою.

Таня помнила совсем белого, даже, пожалуй, зеленоватого, деда, который подолгу молился перед множеством икон, и его внука, мальчишку лет десяти (ее мать называла мальчишку идиотом), который все смеялся и подмигивал, но не говорил. За иконы деда он часто засовывал котенка, и там, в тесноте, котенок мяукал жалобно. Идиот смеялся. Его била за это его мать. Лица ее Таня не помнила, помнила только ее торопливые

и ловкие, все успевающие сделать по хозяйству руки. Помнила, что часто она, мать десятилетнего идиота, сидела около ее больной матери.

Крыша на хате, в которой они жили, была из очерета и обмазана глиной; поэтому сосульки, которые свисали с нее, огромные рубчатые сосульки — это ясно помнила Таня — были желтые.

Женщина с торопливыми, всюду успевающими руками остригла ее мать, что очень испугало Таню. Мать после этого стала совсем как девочка, меньше ее, с очень маленькой головкой, и Таня глядела на нее горько плача. Чтобы ее утешить, зеленоватый дед совал ей в руки два ломтика серого пшеничного хлеба с зажатым между ними ломтиком сала и бормотал улыбаясь:

— Жива буде, жива буде,— то уж мені видать...

Настало первое весеннее тепло; грачи везде щеголевато ходили по дорогам; ручьи бежали... Красные ушли уже из села, и было слышно, что подходили белые.

Однажды зеленоватый дед сказал матери:

— Тикать вам треба, як вы служили у ревкомі!

И будоражаще, как всегда, начала вскрикивать мать:

— Бежать! Таня, бежать надо! Бежать!

Дед сам повез их ночью на станцию,— ночью потому, что боялся везти их днем. Таня помнила, как на станции мать поцеловала руку этого деда, что очень ее тогда удивило и растрогало.

В большом городе, где много было паровых мельниц с высокими трубами, у них была странная очень встреча.

Это было уже весною, вечером, в каком-то скверике... Мать, с не отросшими еще волосами, в темном платочке и этим похожая на монашенку, сидела с нею на одной из скамеек недалеко от фонаря и говорила ей, что она много всякого видела и должна быть теперь умная. Таня помнила, что она ответила матери довольно убежденно:

— Да, мама, я умная...

И в первый раз почувствовала в себе что-то именно умное, такое, чего ни с чем другим смешать было нельзя. Даже больше того: как раз после этих слов матери и своего ответа она ощутила в себе недетскость, серьезность,— как будто от нее что-то отлетело, как отлетает

пух с одуванчика. Она хорошо запомнила этот сложный и необычный момент.

Горели фонари, и около ближайшего к ним столпилось несколько человек офицеров. Курили, подымая головы кверху, чтобы выпустить дым, рассказывали что-то друг другу очень оживленно... И вот к ним подошел еще один.

Он поднял руку к козырьку и тоже прикурил у одного из них папиросу.

Он о чем-то спросил: ему ответили; потом он только курил, так же, как другие, подымая голову, и слушал, что говорили другие...

Но вот он снял, должно быть тесноватую, фуражку, провел по потной голове рукою и снова надел фуражку, только не так глубоко. В это время — Таня хорошо это помнила — мать ее вскрикнула слабо.

Фонарем он был очень хорошо освещен спереди, и мать, нагнувшись к ней, к «умной» теперь уже Тане, шепнула возбужденно:

— Да ведь это Даутов! Даутов, да? Ты помнишь?

Она не помнила, но сказала тоже тихо:

— Да помню.

И после того, как сказала, ей показалось, что действительно она видела когда-то эту высокую бритую голову, крепкие скулы и близко к носу сидящие глаза.

Тогда мать вскочила и, забыв уже взять ее за руку, пошла своей летучей походкой. Таня едва поспевала за ней вприпрыжку. Она слышала, как мать, остановившись всего в двух шагах от этого офицера, сказала от волнения негромко:

— Даутов!.. Вы?

Она видела, как он дернулся, сделал глаза удивленными и враждебными и вдруг широким шагом пошел в сторону. Мать пробовала было его догнать, но почему-то отстала и, отставши, несколько раз повторила, однако вполголоса:

— Это он!.. Это, несомненно, Даутов!.. Иначе он не ушел бы!.. Но почему же все-таки он вдруг стал офицером?..

Только несколько лет спустя узнала Таня от матери, что действительно в эту весну Даутов был в отряде, пробивавшемся в Крым, и появление его в офицерском

костюме в городе, занятом белыми, проделано им было в целях разведки с большим для себя риском.

Таня помнила, что после того еще несколько раз они с матерью были в этом скверике и почти вплотную подходили к офицерским группам, вглядываясь в лица. Один седой военный, приняв ее мать за нищую, сунул ей в руку керенку, и она взяла и торопливо поклонилась. Таня была рада, что мать так хорошо обманула этого седого военного, сыграв роль, как будто и всамделишняя нищая. Она сказала ей об этом.

— Конечно, я и есть нищая, а то кто же? — отозвалась мать.

Но Таня ответила твердо:

— Нет, мама, ты — учительница!

Однажды в лунную ночь, когда весенний дождик, мелкий и теплый, создавал впечатление серебряной пыли на всем, они с матерью шли где-то по шпалам между вагонов. Ей очень хотелось спать, но вверху иногда знакомо жужжало и где-то сзади сильно хлопало. Мать изо всех сил тянула ее за руку, а она полусонно цеплялась ногами за шпалы.

И вдруг чей-то голос, хриплый:

— Эй, баба! Ты куда?

— Здесь санитарный поезд? — спросила мать.

Хриплый голос:

— Ты видишь — обстрел? Куда лезешь?

— Я сестра милосердия!.. Меня послали сюда... в поезд...

Таню очень удивило это: кто мог послать сюда мать, которая так боялась стрельбы?

— Меня послали... И вот бумага...

Она проворно вытащила бумажку и протянула перед собой.

— Спрячь, размокнет! — сказал хриплый. Лица его не было видно, блеснула только винтовка. Потом он добавил мягче: — Иди прямо, там разберут...

В эту ночь Таня с матерью попали в санитарный красный поезд того отряда, который весною девятнадцатого занял Крым.

Доктор в поезде казался Тане очень свирепым: он был мрачного вида, худой, желтый, по нескольку дней не брился.

— Я тебя знаю, брат! — страшно глядя, говорил он Тане.— Ты — из Персии.

— Нет, вы не знаете,— отворачивалась она, вздохнув,— я из Кирсанова.

На мать ее, очень боявшуюся всяких ран, у которой при перевязках чересчур дрожали руки, доктор кричал:

— Принимают тут разных, черт их дери!.. Ступить не умеет, а туда же — сестра!

Мать же говорила о нем: «Очень добрый».

Впрочем, доброе и злое весьма перепуталось в Тане, и она уж не различала их. Ко многому она привыкла быстро, от многого так же быстро отвыкла. На одной станции бойкая девочка с кувшином и стаканом бежала около вагонов и кричала:

— Молока! Молока!.. Кому молока?

Таня удивилась (она это твердо помнила) и удивленно сказала матери:

— Мама, ты слышишь? Моло-ко! — сказала это так, как будто говорила о каком-то сказочном чуде.

Она внимательно рассматривала каждого, кто с ней заговаривал, прежде чем ему ответить. У нее появился быстрый взгляд исподлобья и вбок, когда она видела что-нибудь новое; это был оценивающий и мгновенно соображающий взгляд. Она вытянулась, и шея у нее стала такая же тонкая, как у матери. Сон ее был беспокойный: она поминутно вертелась и иногда вскрикивала во сне.

За эти два года около нее редко кто говорил просто и тихо — кричали; редко кто шел медленно, не спеша — бежали, как и они с матерью. Бежали, кричали, глаза блестели, очень выдавались скулы,— кто-то кого-то собирался бить.

Когда свистели пули, нужно было закрывать глаза, как это делала мать, и ожидать с замиранием сердца: сейчас убьет тебя пуля!.. Вот сейчас!

Однажды Таня спросила:

— Мама, ты ведь слабая?

— Слабая... очень...

— Как же ты все еще жива?

— Не знаю... Однако я умерла бы уж, если бы не ты... Я давно бы умерла, конечно, если бы не ты!..

Таня поняла это так: если бы ты не была еще сла-

бее, чем я... Нужно было бодриться, нужно было стараться жить во что бы то ни стало, чтобы куда-то в безопасное вывести ее, Таню.

Вспомнились какие-то болота, видные в окно вагона рано утром, и как в эти болота, обстреливая их поезд, шлепнулись одна за другой две гранаты, брызнув высоко вверх рыжей грязью. И единственный раз за все то время, помнила она, мать спала. Она помнила и то, как прижалась в то время к спавшей матери, чтобы убило их обеих вместе, прижалась и прошептала изумленно:

— А мама спит себе, спит!

Прошептала же так она потому, что очень часто сама спала крепчайшим сном во время грохочущей перестрелки, о которой узнавала уже потом, проснувшись, от матери, говорившей устало, но радостно:

— А ты себе спала, маленькая, спала!

Очень ярко запомнилось, как в вагон к ним однажды вскочила какая-то женщина, которой никто не помог поднять на подножку двоих детей-мальчиков. Поезд рванулся вперед, а дети остались на станции. Женщина тут же хотела выпрыгнуть из вагона, ее остановили. Но как она все рвалась к двери, к окну, в каком была она страшном неистовстве и как все-таки соскочила на тихом ходу, скатилась с песчаной насыпи, поднялась и потащилась назад, хромая, может быть переломив ногу, не одернув даже завороченного зеленого платья,— этого не могла забыть Таня.

Когда при помощи английских броненосцев Крым снова был занят в июне белыми, Серафима Петровна не могла отсюда выбраться: эвакуация была спешная, она же лежала больная, и Таня, должно быть в августе (продавали уже виноград), снова увидела тот самый, во всем потревоженном русском мире тишайший уголок, в котором жили они года два назад на одной даче с Даутовым.

Однако ни Степана Иваныча, ни Дарьи Терентьевны не оказалось: они уехали, продав свой домик какому-то рыбаку Чупринке, и вот около домика сушились сети, а вдоль стен, высоко под крышей, чтобы не достали кошки, чернобровая, суровая, загорелая женщина в синем платке развешивала вялить нанизанную гирляндами на длинную тонкую бечевку узенькую рыбку, чуларку — мелкую кефаль. Козы Шурки тоже не было,

а там, где цвела петунья, теперь раскинула жесткую плеть с широкими листами тыква, и видно было, что никто ее не сажал,— выросла самосейкой.

Таня помнила (и очень этому удивилась), что матери очень хотелось поселиться в своей прежней комнате, но чернобровая рыбачиха оглядела ее подозрительно и отрезала:

— Мы комнатей не сдаем... У нас комнаты не сдающие, а для себя.

Уходя, мать сказала Тане:

— Все теперь стали умные,— и эта баба тоже. Видит, что платить нам нечем...

— Совсем нечем? — не поверила Таня.

— Конечно, нет денег... И взять их негде...

Но выставочно-голодный вид бывшей учительницы все-таки разжалобил кое-кого и здесь: она нашла уроки. Платили ей хлебом и молоком... Комнату кто-то дал им бесплатно в совершенно пустом большом доме, брошенном бежавшими хозяевами. Дом этот стоял отдельно, затененно, в старом парке. Комнаты в нем были высокие, без мебели, очень гулкие. Такое громкое жило здесь эхо, что мать и дочь говорили полушепотом, чтобы его не будить.

Таня шептала матери:

— Я тут боюсь!

Лицо матери — такое маленькое — начинало морщиться в виноватую улыбку, и она отвечала тихо:

— С людьми горе, а без них вдвое... Я и сама тут боюсь...

— Уйдем отсюда! — предлагала дочь.

— Куда же идти, дурочка? — отзывалась шепотом мать.

Когда она уходила на уроки, Таня оставалась одна в доме: стерегла дом. В первые дни стерегла она его так: залезала на складную кровать, на которой они спали вдвоем, и так сидела, отвернувшись от окон, пока не приходила мать! Но потом привыкла и возилась уже около дома одна, в большом парке. Иногда в этот парк приходили неспешащие люди с топорами и рубили деревья. Таня знала, что она должна была запрещать им это, но, подумав, она шептала: «Пусть рубят, что ж...» — пожимала плечами, вздыхала и махала рукой безнадежно.

К зиме мать получила место кассирши в бакалейном магазине и перебралась поближе к магазину, в центр города. Тут было много детворы, и Таня научилась приказывать, изобретать игры и в них верховодить. Среди сверстников она была слишком много испытавшей, чтобы не считать себя старшей. Что же касалось взрослых людей, то она видела их слишком много, чтобы не глядеть им теперь в глаза прямо и смело, иным этот прямой и пристальный детский взгляд казался дерзким.

Отец Тани, землемер, утонул, переходя ночью реку в то время, когда только что тронулся лед. Она его не знала,— ей было тогда меньше года. По странной случайности у Серафимы Петровны не осталось даже и фотографической карточки мужа, но она говорила, что Таня плотнеет и тем становится похожей на отца.

Зато часто рассматривала Таня бережно хранимую матерью карточку Даутова, а однажды мать сказала дочери:

— Ты знаешь, Танек, я случайно узнала, что Даутов-то... командует целым большим отрядом красных!

— Где командует? Здесь? — живо спросила Таня.

— Не здесь, конечно, что ты!.. Под Воронежем... Переодеться военным — это он мог, разумеется, но быть военным... вот уж я от него не ожидала!

И Таня видела, что мать как-то очень оживлена.

Много времени отнимала касса в магазине, и Таня помнила, как тогда поразили ее впервые локти матери: когда она облокачивалась ими на стол, они остро загибались кверху, как носки китайских туфель. Такие локти у всякой другой, не у матери, показались бы неуживчиво злыми. Таня присматривалась к этим колючим локтям и спрашивала недовольно:

— Когда же ты, наконец, поправишься, мама? Даже смотреть страшно!

На это мать, облизнув сухие, очень тонкие губы, отвечала убежденно:

— А вот ты бы поднималась скорей!.. Как только ты поднимешься, я возьму и помру.

— Значит, ты никогда, никогда не поправишься?

— Разумеется, я какая была, такая и буду... А потом помру...

В феврале бакалейный магазин прикрылся, и тогда в первый раз мать пошла в гимназию. Но ее голодный

вид здесь не помог ей. Упитанный директор, довольно молодой еще доктор философии гейдельбергского университета, бритый человек с дюжим носом, сказал ей высокомерно:

— Вы словесница?.. Та-ак-с!.. Место вам?.. У нас, знаете ли, шесть столичных профессоров, имеющих крупные имена в науке, на местах преподавателей!.. У нас бывшие директора, действительные статские советники, на местах надзирателей!.. А вы... вы захотели места!.. Притом, если бы даже и было место,— гимназия у нас смешанного типа,— я-я-я совершенно против того, чтобы приглашать на должности преподавателей женщин, как бы учены они ни были!.. Я не женофоб в принципе, но я-я-я совершенно отказываюсь работать с женщинами!.. Обижайтесь или нет, как вам будет угодно.

Повернулся и ушел из учительской, помахивая журналом. Таня была при этом. Таня сказала потом матери:

— Ого, какой!

На что отозвалась мать:

— Он прав, конечно... И я все это знала раньше... Я даже не заикнулась о том, что хотела бы занять место учительницы рукоделия, которая уходит: на это место уже просятся три или четыре художницы... из них две известных...

Рукодельница ушла, но ее никем не замещали: рукоделие найдено было излишним в суровом двадцатом году. Да и материй мало было в продаже. Кассирши же по крепким магазинам держались на местах крепко. Самым бойким магазином здесь был комиссионный, наполненный золотыми часами, браслетами, брошками, медальонами.

— Ах, Танек, если бы у нас были какие-нибудь золотые часы!.. Мы бы их продали и жили бы, жили! — мечтала мать.

— Почему же их у нас нет? — удивлялась дочь.

Однако и часы, как и все вообще золотые вещи, шли дешево. Их бывшие владельцы после разгрома Деникина ни на что уж не надеялись больше и хлопотали о выезде за границу. Такими жаждущими погрузиться на пароход и уехать был полон тогдашний Крым. Они сбились сюда со всей России, и однажды Сера-

фима Петровна встретила на набережной жену кирсановского городского головы, купца Сычкова, с двумя ребятами.

Оказалось, и Сычковы собирались в Париж!.. Остановка была только за французским языком. Пелагея Семеновна Сычкова решила, что у своей знакомой учиться французскому будет не так стыдно, и месяца четыре мать Тани обучала их четверых. Мальчикам было — одному десять, другому двенадцать лет, оба они были очень дики, глядели исподлобья и вкось, голоса имели глухие и сиплые. Сам же Сычков был грузный, сырой мужчина. Таня помнила, как он, тяжко дышащий, протягивал ей иногда леденец и приговаривал:

— На-ка, пососи от горькой жизни!..

Лет ему было под пятьдесят; он часто жевал задумчиво губами, качал головой и протирал глаза.

Он неизменно присутствовал на уроках Серафимы Петровны, так как деньги ей платились за всех четверых, но при этом все у него сонно опускалось книзу от бесцельного напряжения: насупливались густые брови, свисали на лоб волосы, набрякал, точно огромная капля, круглый нос, отвисала нижняя губа... Жена его училась когда-то в прогимназии и думала, что французский язык — что же тут такого? Она вообще привыкла быть на виду и устранять затруднения.

Исписывались тетради, спрягались вспомогательные глаголы... Волнуемая кирсановским выговором своих учеников, Серафима Петровна часто восклицала в отчаянье:

— Но ведь так вас решительно ни один француз не поймет!..

В июне они все-таки уехали.

В июне же — это было числа двадцатого — Серафима Петровна прочитала торжествующую телеграмму Врангеля с фронта министру Кривошеину об истреблении конного корпуса красных: «Все поле боя на пространстве двадцати пяти квадратных километров сплошь покрыто трупами красных и их коней!» — радостно сообщал барон... В здешней церкви по случаю такого успеха белых служили благодарственный молебен.

Таня помнила, как мать ее, вернувшись в этот день домой, ходила нервно из угла в угол, рвала в клочки

и швыряла газету, говорила, глядя на нее остановившимися глазами:

— Нет!.. Нет! Что же это такое?.. Это черт знает что такое!.. Представить только!..

И потом долго лежала в постели с головной болью, а за окном их комнаты очень ярко, как кровавые капли, рдели на огромном дереве доспевающие в это время черешни.

Так, долго с тех пор, чуть Таня летом видела черешню, обвешанную спелыми ягодами, ей представлялась мать бессильно, ничком лежащей на кровати, и всюду на полу клочки газеты...

Еще что хорошо помнила Таня из того же времени,— это как, ближе к осени и осенью, все кругом говорили: «Перекоп».

Ей шел уже в то время седьмой год, и она могла бы объяснить, если бы кто спросил, что «Перекоп — это такая крепость, которую взять нельзя...» Она очень часто слышала именно это от всех кругом, потому что именно так писали о Перекопе белые газеты. В эту осень она часто видела в руках матери газеты, которых так страшилась та и не выносила прежде: дело касалось Перекопа.

И однажды в моросящем настойчиво ноябрьском дожде она увидела. Шли и шли, цокая и скользя по булыжнику набережной подковами, по три в ряд, крупные усталые лошади с мокрой шерстью и лиловыми, как спелые сливы, глазами, а на них солдаты в зеленоватых английских шинелях: это уходила белая конница из Перекопа, на ходу бросая здесь все, что было ей уже не нужно теперь: кабриолеты и линейки из обоза, больных лошадей...

Таня слышала тогда и запомнила (так это ее поразило), как старенький отставной генерал (она его часто встречала раньше), совсем ветхий старичок с малиновыми отворотами теплой, с каракулевым воротником, шинели, кричал кому-то из этих, на лошадях:

— Братцы!.. Куда же это вы? Куда, а? — и, чтобы лучше слышать ответ, обе руки приставил к ушам.

И вот какой-то молодой, рыжеватый, с биноклем, болтавшимся спереди, крикнул ему:

— Грузиться!

— И куда же именно? Куда потом?.. На Кавказ? — старался узнать генерал.

— Во Францию!.. А может, в Англию...

Старенький генерал присел в коленях и весь как-то промок до слез.

— А мы-то... мы-то как же?..

— Вы-ы?..

Рыжеватый усмехнулся зло, и Таня не расслышала, что он добавил, проезжая. Она запомнила еще, кроме этого, только одного из всех: сзади других, один, сутуло державшийся на вороной огромной лошади, ехал, должно быть, кто-нибудь из начальников,— так ей тогда показалось,— одетый лучше других, с лицом очень строгим и от черной, густой, недлинной бороды казавшимся очень белым. Руки его были в замшевых перчатках...

Его в упор спросил, директор здешней гимназии недоуменно и укоризненно:

— Как это такая сила страшная уходит, а?

Он ничего не ответил, только повел безразлично глазами; за него ответил, почему-то весело, другой, молодой, ехавший за ним, крайний в ряду:

— Вот увидите вы, какая сила красных за нами придет!

И по три в ряд, шагом, все шли и шли в моросящем дожде усталые мокрые кони, звякая и скользя подковами.

Помнила она еще, как сальник Никифор, торговавший на базаре свиным салом, шел рядом с одним фланговым белым, протягивал ему пачку денег и кричал:

— Десять тысяч тут! Мало?.. Еще могу дать... А вы мне бинокль свой... а?.. Вам теперь бинокль без последствий! Правда?

Ему отвечали:

— Деньги нам тоже не нужны.

Но Никифор кричал:

— Мало десять, сто тысяч дам!.. Не нужны деньги? А зачем вы их печатали?.. Ну и мне ж они тоже не нужны, когда такое дело!

И швырнул пачку бумажек под ноги лошадям.

Серафима Петровна выдержала в этот день давку около обоза и в последней газете белых принесла домой фунтов десять муки.

Таня помнила, как она была радостно возбуждена в этот день... Они до света ели лепешки из принесенной муки, и мать говорила дочери:

— Ну, Танек, теперь мы можем с тобой поехать в Кирсанов!.. Говорят, проезд по железной дороге для всех будет бесплатный... совсем бесплатный!

Но Тане уже непонятным казалось это: зачем в Кирсанов? И куда это именно — в Кирсанов?.. И рассеянно слушала она, как перечисляла мать, какие именно вещи их оставались в Кирсанове и сколько бы за них можно было получить теперь, если бы продать.

Но с огромным любопытством — Таня отметила — смотрела она на красных, которые вошли через день после белых. Победители были далеко не так парадны, как побежденные. Они шли пешим строем. Они были кто в шапках, кто в черных фуражках, кто в буденовках, кто в сапогах, кто в обмотках; только шинели и винтовки были однообразны. И лошаденки в подводах их были мухортые, деревенские, кирсановские, с репейником в нечесаных гривах... Огромная армия шла как к себе домой: не для показу, а для хозяйства.

У нескольких красноармейцев спрашивала Серафима Петровна о товарище Даутове; те добросовестно задумывались, но отвечали, что такого командира у них нет; может быть, есть где в другом месте, а у них нет Даутова.

В единственной здесь гостинице разместился ревком.

Так как здесь было несколько винных подвалов, бумаги же в это время вообще не было и негде было ее взять, то Серафима Петровна писала в ревкоме на обороте этикеток от винных бутылок, чернила же делал из толченого химического карандаша сам предревкома товарищ Рык. Однако уже через месяц товарищ Рык нашел, что у нее слишком слабые нервы, что она вообще не годится для работы. На ее место в ревкоме села какая-то Быкова, особа с усиками, браво носившая черную черкеску и серую папаху с красным верхом; из револьвера, который постоянно был при ней, она, как говорили, била без промаха, ела с красноармейцами из одного котла. Серафима Петровна видела и сама, что Быкова гораздо пригоднее ее для работы в ревкоме,

тогда очень сложной, требовавшей больших сил и огромной выносливости.

В Кирсанов, как оказалось, выехать тоже было пока нельзя — пропусков не давали. В горах здесь таились еще остатки белых, и по ночам видны были кое-где в горных лесах костры. Вообще эта зима осталась в памяти Тани как самое трудное, неустроенное время.

Она помнила, как однажды пришли они с матерью к чернобровой Чупринке и мать сказала рыбачихе:

— Вот!

Голова у нее дрожала, слезы душили, она не могла вытолкнуть из себя сразу каких-то нужных, понятных слов.

— Вот!..— и опять только дрожала голова, и в глазах туман...— Вот...— еще раз сказала мать, и только когда Чупринка опасливо схватила топор,— она в это время ломала сухой хворост о колено, а топор лежал около нее,— только тогда мать отчетливо проговорила вдруг с последней кротостью отчаяния:

— Хотите, убейте нас обеих, а может быть, накормите чем-нибудь?.. Накормите вот девочку мою, а меня уж не надо!..

И суровая рыбачиха медленно положила топор, ввела их в комнату, как раз в этой комнате они жили когда-то давно-давно — так показалось, и дала им поесть хлеба и вяленой чуларки... И долго потом, когда подруги спрашивали Таню: «Что на свете самое-самое вкусное?..», она, не задумываясь, отвечала: «Вяленая чуларка».

А из несколько более позднего времени, когда все говорили: «голодный год», Таня помнила, как в нескольких шагах от нее умер один садовник, Андрей Шевчук.

Он давно уже голодал,— мать же ее в это время опять служила в ревкоме, в загсе, и получала какой-то, правда чрезвычайно скудный, паек. Голодавшим в то время выдавали виноградные выжимки из винных подвалов. Как оказалось потом, получил их фунт с четвертью и садовник Андрей, и Таня видела, как в саду своем он пилил ножовкой сухие ветки. Пилил очень медленно; долго отдыхал; кашлял глухо... Она же, Таня, возилась в дальнем углу своего двора.

В сумерках мать пришла со службы, и к ней направился нетвердой походкой Андрей. Глаза его были мутны; все лицо его показалось Серафиме Петровне страшным. В руке он держал ножовку, блеснувшую жутко, как длинный нож убийцы.

— Мясорезку... мясорезку у вас...— забубнил он глухо.— Девочку вашу... я спрашивал...

Так, бессвязно и с трудом подыскивая в гаснувшей памяти слова, просил он у нее мясорезку перемолоть виноградные косточки, чтобы что-нибудь из них сделать съедобное, например сварить их в виде каши,— для этого-то он и пилил ветки,— Серафиме Петровне послышалось так: «Я зарезал, я зарезал у вас девочку вашу...»

— Та-аня! — вскрикнула истерически мать и кинулась в дом.

Таня ничего не поняла тогда: она смотрела из своего угла и даже не отозвалась на крик матери, да и не успела отозваться — мать ринулась в дом слишком стремительно.

Но когда, не найдя Тани в комнате, мать снова выскочила на двор, в руках ее были большие железные щипцы для угля. Она кинулась к Андрею, бесстрашно занесла щипцы над его головой и вопила:

— Где? Где, подлец?.. Где ты ее зарезал?

Если бы Андрей не опустился на землю бессильно, беспомощно, как пустой мешок, может быть она ударила бы его в голову изо всех сил... И только тут Таня вышла, наконец, из своего угла и сумерек и закричала:

— Ма-ма!.. Я вот здесь, мама!..

Мать долго потом возилась с Андреем, крошила и совала ему в рот кусочки ячменного хлеба, пыталась влить горячий ячменный кофе, он так и не поднялся больше. Он пролежал так до позднего вечера, когда приехала подвода и увезла его труп.

Таня была уже десятилетней, когда здесь открылась школа второй ступени и Серафима Петровна поступила в нее словесницей, а в школу первой ступени устроила Таню. Бойкой, хорошо говорившей девочке странно не давался язык школьной письменности, и она писала, например, о слоне так:

«Слон, он на конце оканчивается тонким и коротким хвостом...»

Это заставляло по-старому краснеть до слез Серафиму Петровну и по-старому же восклицать зардевшись:

— Дщерь моя, как ты жестоко меня конфузишь!

Однако не позже как через два года Таня вела уже школьную стенную газету, и откуда-то появилась у нее способность бойко рисовать карикатуры.

После страшного голодного года жизнь начала налаживаться быстро. Исхудавшие донельзя люди начинали оживать и улыбаться. С удивлением все замечали на себе, что уколы и порезы на руках у них не нарывают бесконечно, как прежде, а заживают как и надо.

Таня, усвоив летучую походку от матери, ставила ноги быстро, но прочно. Ребенок годов разрухи — она не поднялась, правда, так, как могла бы, но к пятнадцати годам все-таки развилась в гибкую крепкую девушку, тормошившую часто мать:

— Мама!.. Нельзя ж школьной работнице быть такой вялой и инертной! Ну-ка, энтузиазма! Ну-ка, пафоса!.. Как можно больше пафоса и энтузиазма!..

Однажды на это ей ответила Серафима Петровна:

— Да, конечно... А я вот сегодня кашлянула в классе в платок, гляжу — красное... Кровь!

Таня прижалась к ней испуганно и прошептала:

— Мама, ведь ты же знаешь, что кашлять вредно, а сама кашляешь!.. Мама, ты больше не кашляй, совсем больше не кашляй! Хорошо, мама?.. Ты не будешь?..

III

Было необыкновенное, как всегда, переливисто-блестящее,— можно было бы сказать перламутровое с молочно-голубым основным тоном,— в легком, еле уловимом глазами пару, пахнущее спелым, только что с баштана, большим разрезанным надвое арбузом, утреннее июльское море, раздавшееся без конца и вправо, и влево, и прямо; была набережная, где, нагретые ослепляющим солнцем, уже высоко взлетевшим, розовые гранитные глыбы, скрепленные цементом, отгораживали от этого моря неширокую и недлинную улицу; были толпами проходившие на пляж, голые до пояса или только в купальных костюмах, с полотенцами и простынями, с облупленными, шелушащимися красными спинами, или успевшие уже загореть до почтенной черно-

ты сомалийцев, со счастливыми взмахами глаз, голов и рук, курортники из многочисленных здесь домов отдыха.

Таня стояла в очереди, а впереди нее, все время на нее оглядываясь, бормотал что-то совсем пьяненький штукатур или печник в заляпанном глиной и известью синем картузике. Он был ростом не выше ее, с мокренькими рыжими, редкими, печально повисшими усами, с маленьким, тощим, востроносым личиком. Можно было понять, что он бормочет что-то про свою мать и жену.

Он бормотал забывчиво, про себя, но часто оборачивался к ней за сочувствием:

— Правда, а?.. Эге... Это же правда...

Тане удалось разобрать:

— Вот мать схороню, жену прогоню... ну ее к чертям!.. Правда?.. Эге... а сам уеду... Эге... Они думают, что... ну их всех к чертям!..

Дальше уже разобрать что-нибудь было невозможно, видно было только, что он очень недоволен семейной жизнью.

Вот длинноухий мул провез мимо двуколку, полную яркой, сладкой на вид моркови из колхозного огорода, в какой-то дом отдыха; потом туда же на большой вороной лошади, уже в напяленной на голову соломенной шляпе и потому несколько смешной, провезли мясо, баранину, тушек двадцать.

Получил, наконец, хлеб и штукатур. Ему дали две копейки сдачи. Он протянул Тане монетку и бормотнул:

— Вот... дали... а зачем?..

Мутные глаза его были грустны. Бессильными пальцами повертел он монетку и разжал их. Монетка покатилась под ноги Тане, а он пошел куда-то, на всех натыкаясь, готовый вот-вот упасть и тут же крепко уснуть. Таня видела, как выпал у него из рук и хлеб. Он не поднимал его, только качнул головенкой, должно быть бормотнув: «Эге!» — и побрел дальше, подтягивая вышедшие из повиновения ноги.

Таня знала всех в своем маленьком городишке; этот был какой-то пришлый. Она обеспокоилась:

— Куда он идет такой? Его еще машина задавит.

А сзади нее сказал спокойный и уверенный глуховатый голос:

— Машина — это дело случая, а уж в милицию обязательно попадет.

Таня оглянулась и увидела какое-то чрезвычайно ей известное и в то же время совершенно незнакомое лицо. Кто-то в полосатой рубахе, забранной в белые брюки, с выбритой синей высокой головой, широким носом и крупным подбородком, смотрел не на нее, а в сторону уходящего штукатура. Он был и не в очереди,— он просто стоял на тротуаре, где мальчишка-чистильщик, устроившись со своим ящиком около тумбы, дочищал, лихо работая щетками, его ботинки... Вот он пошел прямо к морю, через улицу, как-то необыкновенно легко и просто перемахнул через гранитную — правда, невысокую — стенку, и Таня, хотя и не видела уж этого, но очень ярко представила, как он прыгает за этой стеной к пляжу с одной каменной глыбы на другую: там лежали остатки прежней стены, уже разбитой прибоями.

Была у Тани гордость морем, к которому приезжали отовсюду и в дома отдыха, и экскурсанты, и просто дачники (уцелел еще и этот вид приезжающих, хотя был уже очень немногочисленен), и ко всем этим гостям здешнего моря с детства привыкла она относиться снисходительно и даже, пожалуй, с каким-то жалеющим их выражением глядела на них, когда они садились в автомобили, чтобы снова ехать на север. Так же снисходительно думала она и о человеке в полосатой рубахе и с синей головою.

С хлебом в руках Таня подошла к стене посмотреть, куда делся тот, в полосатой рубахе; оказалось, он стоял у самой воды, изумительно спокойный и, изгибаясь, бросал с немалой ловкостью крупную плоскую гальку на воду так, что она подпрыгивала на поверхности несколько раз, прежде чем утонуть. Таня знала, что у мальчишек зовется это почему-то «снимать сливки», и они предаются этому с большим азартом и считают, кто больше снял, но никак не думала она, чтобы такой детской забавой мог увлечься взрослый, с такой выпуклой высокой бритой синей головою и с таким отчетливым носом.

Страннее же всего в этом для нее было то, что она будто бы видела когда-то точь-в-точь это самое: стоял у берега такой же точно человек в полосатой рубахе и белых брюках, с такою же головою и носом и подбородком, и так же точно изгибался он вправо, когда бро-

сал плоскую крупную гальку «снимать сливки» с поверхности моря, а бросив, так же вот откидывал руку вверх, по-игрецки пристально глядя, что там такое натворил его биток.

Таким вдруг неотвязным стало это воспоминание, что Таня обошла стену, вышла к тем же глыбам — остаткам старой стены — и, легко перепрыгивая с одной на другую, остановилась как раз в нескольких шагах от самозабвенно игравшего. Он это заметил: поглядел удивленно, и в то время как Таня, оглядывая его с головы до ног, усиленно думала, кто же он и где могла она его видеть, спросил недовольно:

— Вы что это на меня глаза пялите?

Только теперь поняла Таня, что она оказалась таким же ребенком, как и он, но и вопрос и самый тон вопроса его были грубы. Она обиделась. Она повторила непроизвольно:

— Пя-ли-те!..

— Ну да, конечно, пялите!.. На мне узоры, что ли? — еще более недовольно отозвался он.

— Именно узоры! — совершенно обиделась она.— Татуировка известкой... и углем!.. Выньте-ка платок да оботритесь!

И, повернувшись рассерженно, она пошла перепрыгивать с глыбы на глыбу, сознательно делая это как можно непринужденней и легче. С последней глыбы она оглянулась, и ей было приятно видеть, как он старательно вытирал лицо платком.

— Хорошенько, хорошенько трите! — крикнула она, ликуя, и тут же пошла домой, чтобы доказать ему что-то, а что именно и зачем, она не смогла бы ответить и самой себе. Но во всю дорогу к дому она не переставала думать, почему этот бритоголовый приезжий кажется ей знакомым.

Она догадалась об этом только тогда, когда взглянула на мать, отворив дверь своей комнаты. Мгновенно соединила память эту худенькую женщину с тонкой шеей и выгнутыми вперед локтями, ее мать, и того, который «снимал сливки», и она сказала, еще не совсем веря себе самой:

— Мама!.. ты знаешь что? Я сейчас видела Даутова!

— Да-у-това?.. Как — Дау-това? — почти шепотом спросила мать, бледнея.

Теперь, когда и мать повторила эту фамилию, Таня окончательно поверила, что приезжий был именно Даутов. Она повторила с большим оживлением:

— Да, да, Даутов, именно!.. Конечно, я даже и на карточку его смотреть не буду: это он!.. Пари на что угодно!

Мать смотрела на нее, бледнея все больше, и часто-часто моргала. Таня знала, что это — тик. Она обняла ее, удивляясь:

— Что же ты так волнуешься, мама?.. Он — так он, что тут такого?

— Отчего же ты... не позвала его сюда? — с усилием спросила мать.

— Сюда-а?.. Я с ним не говорила даже!.. То есть я сказала ему несколько слов...

— А он?

— И он мне тоже... Только, разумеется, он меня не узнал, и я ему не сказала, что... что я его знаю...

— О чем же вы говорили?

— Ну вот... о чем!.. Мы просто стояли в очереди рядом... А там был еще один пьяный... Вот мы и поговорили на эту тему... А потом он пошел в одну сторону, я — в другую...

— Отчего же ты не спросила, в каком он доме отдыха?.. Или он только проездом здесь?

— Ах, мама!.. Ну почем я знала, что все это надо спрашивать?.. Я даже не знала, что это Даутов! Я потом только догадалась...

— Хорошо, но что же он все-таки тут делает? — смотрела на Таню мать, едва справившись со своим тиком.

— Сливки снимает, как и тогда снимал! — уже обиженно ответила Таня.

Потом ей нужно было объяснить, какие «сливки», и подробно описать, как он одет, каков он стал по наружности, какой у него голос теперь (прежде, она это отлично помнила, был низкий и глуховатый).

— Ведь можно узнать в милиции, в адресном столе, где он остановился! — радостно догадалась, что нужно сделать, мать.

— Конечно, можно,— живо согласилась Таня.— Сходить сейчас?

— Нет, я сама... я сама схожу,— заторопилась мать и начала тут же переодеваться.

Таня знала, что июльская жара всегда очень плохо действовала на мать. Она сказала:

— Вот увидишь, мама, что я пойду и сейчас же обратно... А тебе будет вредно...

— Подай мне розовую кофточку! — приказала мать.

Она была теперь очень оживлена. Она не хотела уступить дочери этой радости: точно узнать, где именно, сегодня же, может быть через какой-нибудь час, найти Даутова. И разве не может случиться, что он сам встретится ей на улице и ей даже не нужно будет заходить в адресный стол...

Таня поняла это. Она помогла матери одеться, скромно улыбаясь. А когда мать пошла по-прежнему летучей походкой, Таня из окна посмотрела ей вслед с улыбкой, выражающей многое: и удивление, что мать так ожила вдруг, и радость видеть мать такой оживленной, и, пожалуй, снисходительность к матери, так как причина ее оживления была ей совсем непонятна.

Она вытащила из стола запрятанную в книге старую фотографическую карточку Даутова и сказала вслух:

— Он! Конечно, он!..— и погрозила этому, на карточке, Даутову пальцем: — Вот погоди, мама тебе покажет, как глаза пялят!.. И хотя бы был красивый какой-нибудь, а то ведь некрасивый, нет, нет, нет!..

Странно было для нее самой, что, чем больше она глядела на этого Даутова на карточке и вспоминала сегодняшнего, тем больше как-то терялось между ними сходство, и ей уже начинало казаться, что сегодняшний был совсем не Даутов; тогда она сконфуженно клала карточку в книгу и начинала глядеть виновато в окно, ожидая мать. Но потом опять открывала книгу и при первом же взгляде на карточку решала: «Он!..» Так делала она, проверяя себя, несколько раз.

Не раньше как через час вернулась Серафима Петровна. Она была разбитая, усталая, увядшая, тоскливая, прежняя. Она сказала глухо:

— Не нашли его в адресном столе... Должно быть, он был тут проездом, а ты...

— Что я, мама?.. Что я должна была сделать, наконец? — обиделась Таня.

— Ты должна была ему сказать, что я су-ществую!..

Что я здесь! Вот что ты должна была сделать... А ты обо мне не вспомнила!..

Не переодеваясь, она легла в постель и повернулась лицом к стене.

— Может быть, это и не он,— захотела успокоить ее Таня.— Что же я с ним долго говорила, что ли? Только два слова ему сказала и пошла... И только потом уж я вспомнила...

— Если б ты знала, что он для меня значил... и сейчас значит! — так же глухо, но очень выразительно сказала мать.— Конечно, сидя здесь на месте, найти его я не могла, но все-таки я спрашивала о нем у многих приезжих... Он где-нибудь занимает теперь видный пост, его должны знать...

— Однако не знают?..— Таня представила синеголового, снимавшего сливки, и всплеснула руками усмехнувшись.— Он, мама? Такой — и видный пост!

— Почему это «такой»!.. Какой это «такой»? — повернула мать изумленное лицо.

— Я думаю, мама, что он совсем не поумнел за эти двенадцать лет,— врастяжку проговорила Таня.— Нет, он не из умных!

Это она вспомнила как он обтирался после ее слов о татуировке платком; ей показалось, что умный не стал бы этого делать. Но мать рассердил такой отзыв о Даутове; она поднялась на локте.

— Я тебя прошу...— начала было она торжественно, но вдруг перебила себя запальчиво-визгливо: — Как ты смеешь говорить такие вещи?.. А?.. Как ты смеешь?

— Мама! — испугалась Таня, как бы матери не сделалось дурно.— Мама, хочешь, я тебе его сейчас приведу?

— Каким... образом? — опешила мать.

— Так, без всякого образа... Пойду, встречу его и приведу,— решительно направилась к двери Таня.

— Как же ты его встретишь?.. А если он уже уехал?

— Ладно!.. Если бы собирался ехать, не стал бы камешки в море бросать... Значит, у него много свободного времени было.

— Где же ты можешь его встретить? — оживляясь снова, села на койке мать.

— Только пусть мама не думает, что я ее возьму с собою! — выставила вперед руку Таня.— Я пойду по

всему пляжу из конца в конец и буду на всех смотреть — раз!.. Потом я буду в автомобильных конторах спрашивать, не уезжал ли такой-то вот гражданин в полосатой рубахе,— два!.. Потом я буду смотреть везде по лавкам и магазинам, нет ли его там,— три!.. Вообще я буду не ходить, а летать, и мама за мной не поспеет... Я бы и в дома отдыха зашла, но уж если он не прописан, значит незачем заходить!

— А может быть, он только сегодня приехал, еще не успели прописать? — вставила мать.

— Тогда еще лучше! Тогда нечего и спешить!.. Мы его можем тогда и завтра найти и послезавтра, когда угодно!.. Одним словом, я тебе его приведу, и больше ничего! — И Таня выскочила в дверь с самым решительным видом.

Она и не думала, что не найдет Даутова: городок был очень мал, и приезжие были все или на набережной, или на пляже,— ведь не затем же приехал Даутов, чтобы сидеть где-нибудь в комнате.

И Таня действительно начала проворно ходить по наиболее людным местам и впиваться глазами во все встречные лица, но прежде она справилась в автомобильных конторах. Оказалось, что за то время, какое пробыла она дома, ни одна машина не отправлялась, и будут отправляться только через час.

Два раза пройдя из конца в конец набережную, Таня спустилась к пляжу. Тут сразу оказалось много трудностей, начиная с того, что ноги увязали в песке. Подходить к мужской половине пляжа очень близко Таня не считала удобным, так как на купальщиках не только полосатых, никаких рубах не было. Многие лежали на песке ничком, укутав головы полотенцем; многие сидели к ней спинами; бритых голов нашлось чересчур много, чтобы различить, какая из них даутовская. Иные уплыли так далеко, что еле было их видно на воде.

Вообще часовые почти поиски на пляже оказались совершенно потерянным временем. Таня наскоро искупалась и поспешила к отправке машин, но на двух отходивших автомобилях ехали только местные жители.

Очень хотелось пить и пришлось зайти домой напиться воды. Но она вошла, как могла веселее, и таинственно сказала матери:

— На след своей дичи я уж напала, мама, остается еще чуть-чуть, и я его приведу к тебе! — и тут же выбежала снова, чтобы избавиться от расспросов.

Потом она побывала в кондитерской, где несколько человек, обливаясь потом, пили горячий чай и ели соблазнительные пирожные; заглянула в столовую, где пока никого не было; зашла в два-три магазина на берегу — и все это делала так, чтобы не пропустить в то же время никого из проходивших по тротуару. Наконец, она почувствовала, что закружилась. Она села на скамейку около ванн, откуда все проходившие по набережной в тот и другой конец были отлично видны, и удивилась самой себе, как не догадалась об этом раньше: так просто и спокойно было сидеть и отбрасывать глазами всех вообще женщин, как совершенно излишнее загромождение улицы, и всех волосатых мужчин. Но бритоголовых и в полосатых рубахах попалось всего только двое за то долгое время, пока Таня терпеливо сидела, и они были совсем не похожи на Даутова.

Одна из подруг по школе, вместе с нею недавно окончившая семилетку, Маруся Аврамиди, уточкой перешла к ней улицу.

— Таня, кому свиданье назначила, говори?

— Тебе! — недовольно сказала Таня; она боялась, что вдруг сейчас именно пройдет мимо Даутов и Маруся (на это глупости у нее хватит!) увяжется за нею.

— Идем купаться!

— Я уже купалась, отстань!

Подруга была очень тупа, и от нее пахло дымом и жареным луком. Неприятно было Тане, как она обхватила ее тонкое запястье своей широкой шершавой рукой.

Хотя они были однолетки, но Маруся казалась уже теперь лет на пять старше ее.

— Говорят, ты скоро замуж выходишь! — шутя спросила ее Таня; она не слыхала этого, но подруга ее так явно созрела для замужества, что даже и щиколоток на бронзовых голых ногах ее не было заметно.

— Кто тебе сказал, а? — удивилась Маруся.— Я выхожу только осенью, не теперь, нет!

— За кого же?—уже с любопытством спросила Таня.

— За одного нездешнего,— несколько лукаво улыбнулась зрелая Маруся и пошла, чуть перебирая круты-

ми бедрами, а Таня только глянула ей вслед и опять деловито начала всматриваться в головы и рубахи.

Все-таки нужно было поворачивать иногда глаза и в сторону своего переулка,— почему-то страшно было увидеть идущую мать: вдруг не выдержит слишком долгого ожидания в своей комнате и выйдет на поиски Даутова сама?

Прошел мимо Павлушка Тимченко, тоже одной группы с Таней, тощий, низкорослый подросток.

— Ты откуда? — крикнула ему Таня вдогонку.

— Из тира,— чуть обернул голову он.

— Народу там много?

— Хватит!

И он пошел дальше, а она поднялась в волненье: вот где теперь Даутов — в тире! Если уж мимо моря он не мог пройти, чтобы не бросать в него камешки, то тем более тир,— ого!

Однако тир был отсюда шагах в двухстах, притом в сторону. Можно было, конечно, сейчас же пойти туда, а вдруг в это время здесь появится Даутов, пройдет с полотенцем с пляжа и больше уж его не дождешься...

Но когда она вспомнила, что в Александровске, выуживая нужные сведения у белых, Даутов был в офицерской шинели, она почему-то бесповоротно решила, что он непременно в тире и стреляет там в разных львов и зайцев.

Ее уверенность в том, что она, наконец, нашла Даутова, была так велика, что она даже не слишком и спешила, когда шла к тиру,— она только досадовала на себя, что не догадалась заглянуть туда раньше.

Однако народу в тире было совсем немного, человек десять, и все мальчишки, даже местные, а не приезжие,— Даутова не было.

— Послушайте, был тут такой — в полосатой рубахе, голова бритая? — в недоумении спросила она того, кто заряжал карабины.

— Не помню... не заметил,— лениво ответил тот.— У всех теперь головы бритые...

Это был рябой, рыжий, грузный человек; ему было жарко в душном тире; во всех рябинах его пестро поблескивал пот. Он мог не заметить, конечно, кого-нибудь другого,— это понимала Таня,— но Даутова!.. Его мож-

но было бы узнать из тысячи и непременно запомнить... Ясно стало, что он здесь и не был совсем, и еще яснее представилось, что вот теперь он с полотенцем через плечо проходит мимо той скамейки, на которой она его ждала... Прошел уже, больше не пройдет... Стало так досадно на Павлушку Тимченко, что, появись он здесь теперь, она бы бросилась на него с кулаками.

Потом Таня до обеда сидела по-прежнему на скамейке около ванн; скамейка эта хороша была тем, что стояла в тени: как раз над ней густо развила крону посаженная уже после, в додачу к скамейке,— Таня знала это,— белая акация.

Никогда раньше не приходилось Тане смотреть на людей с таким утомительно долгим, ожесточенно-сердитым вниманием, поэтому и видела она их по-иному, чем всегда. Кажутся лишними все буквы на странице, кроме одной, которую надо найти, чтобы исправить опечатку.

Вот идет кто-то длинный, с седой головой и багровым носом. Он идет уже в третий раз. Может быть, он тоже кого-нибудь ищет, потому что разглядывает встречных очень назойливо, чуть не протыкая их своим носом. По тому, что он очень щурит глаза, Таня решает, что он близорук... Неизвестно, откуда могут приехать сюда и где могут работать такие длинные, близорукие и седые, и вообще сидели бы они лучше дома, а не толкались по улице на жаре.

Об одной весьма раздавшейся вширь, с белым лопухом на голове, с висячими, по-поросячьи розовыми подбородками даме, рядом с которой Маруся Аврамиди показалась бы стройненькой девочкой, Таня тоже подумала озлобленно, что она приехала совсем не туда, куда надо; что надо ей на Кавказ, в Кисловодск, где чем-то и как-то лечат от таких явно удручающих и неизвестно на каких пайках нажитых тяжестей... Между тем довольно ретиво именно здесь показывала она свою расторопность: тоже не меньше как три раза проплыла мимо, волоча за ручку девочку лет семи, которая все оглядывалась назад и отставала.

Девица с очень пышно раскудрявленными — разумеется, завитыми у парикмахера — волосами цвета спелого абрикоса, которые свешивались с обеих сторон ей на глаза, все откидывала их рукой, взматывая головой при

этом, как молодая пони. Таня видела, что в этом и должен будет проходить весь ее отдых здесь, около моря, так как мочить волосы, купаясь, она едва ли рискнет, иначе зачем же было платить парикмахеру?

До пояса голый коричневый человек, с необыкновенно развитыми мускулами рук, топорща плечи, двигался важно и медленно. Таня видела, что демонстрировать свою мускулатуру доставляло ему высшее удовольствие. Он смотрел на всех встречных исподлобья и с прищуром, как заведенный, проворачивая плоскую голову то вправо, то влево.

Прошли два щупленьких бескосых китайца в синем. Их видела Таня и раньше, дня три назад. Это были фокусники, показывали смешные фокусы и очень смешно говорили по-русски. Должно быть, они кочевали по всему побережью, потому что готовились ехать куда-то дальше: заходили в автомобильную контору за билетами.

Целая экскурсия — молодежь, человек пятнадцать, все запыленные, очень усталые на вид, с дорожными сумками и длинными горными палками, запрудили набережную. Должно быть, они делали восхождение на Яйлу. Вот они окружили киоск с фруктовыми водами и пьют: пьют стакан за стаканом так жадно, что Тане самой хочется пить неутолимо.

Местные мальчуганы, ребятишки рыбаков, таскали маленьких дельфинят, ненужно выловленных сетями вместе с матерями. Они таскали их почему-то только сзади, на спине, захватив под локти их головы и хвосты — должно быть, так было всего сподручнее. Продавали их по два рубля за штуку, и многие из приезжих рассматривали их, этих черноватых дельфинчиков, уже навеки уснувших, с большим любопытством, но что-то никто не покупал, в столовую же ребятам нести их не хотелось, так как там давали за них гораздо меньше. Таня же по опыту знала, что за мясо у этих разбойников моря: она старалась не дышать, проходя мимо столовой в то время, когда готовили там обед из дельфина, а в последние месяцы это бывало часто.

Укрытый какою-то необыкновенной дерюгой, покроя древних хитонов, стоял на своем посту всегда поспевающий к отправке легковых автомобилей Яша-Ласточка. Он появился здесь недавно, и прошлое его было зага-

дочно и темно, как история мидян. Седобородый, краснолицый, с маленькими серыми глазами, хитровато блестевшими из большой и таинственной глубины глазных впадин, с весьма прихотливой серой чуприной, он поджидал в сторонке, когда усядутся все до одного пассажира, потом подходил и пел шепотом: «По-ой, ласточка, пой!» — только это, больше ничего,— и протягивал к каждому уезжавшему картуз без козырька... И с каким бы недоумением кто бы на него ни глядел, он глядел на каждого сладостно-умиленно и подмаргивал и подкивывал, если долго ему не давали, и почему-то редко находились такие устойчивые, у которых хватало выдержки ему отказать.

Шмыгал туда и сюда по набережной с кожаной сумкой газетчика очень юркий, худенький, в синих очках, старичок Вайсбейн, когда-то имевший здесь лесную пристань, построивший здесь гостиницу, а рядом с ней синагогу. Теперь в его гостинице помещались многие учреждения, а в бывшей синагоге — клуб союза строителей, сам же он бегал с газетами и выручал рубля полтора-два в день.

Согнутый, но жилистый, прошел с фуганком под мышкой и с другими плотницкими инструментами в черном мешочке бывший здесь бакалейщиком Матвей Гаврилыч. Теперь, когда у него не было уж лавки, оказался он преполезнейшим человеком. Он был и шорником, и поваром, и кровельщиком, и специалистом по засолу и копчению рыбы, и часовых дел мастером, и монтером, и парикмахером, и, кажется, не было такого ремесла, какого бы не знал, и такого таланта, каким бы не обладал этот сутуловатый худощекий человек с черными ровными бровями. Теперь очень нужны были здесь столяры и плотники, и он тесал бревна для построек и делал письменные столы, шкафы, этажерки для домов отдыха.

Взобравшееся так, что уж выше некуда, солнце доставало Таню и под стриженой белой акацией. Старинная генуэзская башня на самой верхушке холма струилась, как дымный столб. Дальше, за городом, совсем тонули в синем зное и теряли всю свою каменность верхушки Яйлы.

Всем лошадям, даже явным клячам-водовозкам, с плачевно выпирающими ребрами и сухими кривыми но-

гами, напялили шляпы. Собаки бродили, часто дыша, высунув языки и держась тени.

Даутова не было. Даутов не нуждался ни в ваннах, ни в магазинах набережной, ни в столовой, ни в автомобильных конторах, ни в тире... Он снял, сколько ему хотелось снять, сливок с моря и исчез.

Когда со стороны моря,— это было уже в первом часу,— донесся гулкий на воде, красивый по тембру гудок катера, три раза в день приходившего сюда из Ялты и увозившего отсюда множество пассажиров, Таня поспешно сорвалась со скамейки и почти побежала на пристань.

Раньше туда незачем было идти: только перед самым приходом катера там скоплялся народ, и у Тани были острые, никого не пропускающие глаза, когда она туда подходила. Она перелистывала людскую книгу, спеша и волнуясь, но за листами следила зорко.

Пристань из толстых брусьев, покрытых толстыми досками, как сороконожка, вползла в море на прочных двутавровых балках. Даже бешеные прибои, особенно когда дул норд-ост, не могли ее раскачать: она только поскрипывала, кряхтела слегка, покрывалась солеными брызгами, но стояла. Таня иногда любила забежать сюда именно во время такого оглушительного прибоя, чтобы представить, будто она на не управляемом уже бриге в разъярившемся океане «терпит бедствие»,— вот-вот опрокинется бриг кверху килем, и все будет кончено. Натерпевшись бедствия, сколько могла, мокрая от брызг, она стремительно бросалась на берег.

Около пристани расселись одноэтажные длинные пакгаузы, тут же и моторные и весельные лодки рыбаков и касса, около которой был порядочный хвост. И, увидав этот хвост у кассы, а на пристани на взгляд не меньше сорока человек, Таня твердо и спокойно решила: здесь Даутов.

Его как будто нужно было только загнать куда-то, как загоняют диких слонов при ловле,— в какую-то узкую щель, откуда уж трудно выбраться,— именно такою щелью и была пристань. Таня была уверена, что он даже и не около кассы, а уж на пристани,— она только бегло провела глазами по людскому хвосту,— и вот уже идет тот, кто нужен, по доскам пристани: синее справа, синее слева, а впереди Даутов!.. И еще издали вобрали

глаза: пять бритых голов, три полосатых рубахи, две — забранных в брюки, одна — стянутая узеньким черным кавказским ремешком с серебряшками. И по мере того как она подвигалась по пристани, сердце начинало стучать сильнее: нужно было удержать Даутова, который вот сейчас уезжает, а как удержать? Что нужно сказать ему сначала? Первое слово,— от него, может быть, будет зависеть все с Даутовым,— какое должно быть это первое ее слово? Как угадать?..

Катер подходил справа. На заштилевшем море он двигался как по рельсам. Все пять бритых голов были обращены к нему. Тане пришлось подойти к самому парапету, чтобы заглянуть в лица одному и другому в полосатых рубахах. Никакого сходства с Даутовым не было. Третий же, с кавказским пояском, оказался просто какой-то курносый мальчишка лет семнадцати, а две остальные бритые головы были спереди почтенно плешивы.

Таня все-таки дождалась прихода катера, и все, кто сходил с него, и все, кто на него садился, могли бы, если бы не спешили, отметить на себе хотя уже не ищущий, но чрезвычайно сосредоточенный и недовольный взгляд невысокой черноглазой девушки, только что вышедшей из возраста девочек, овальноликой и смуглой, с хорошо развитым лбом и нервными губами.

С пристани она ушла последней. Ей все-таки не хотелось так просто расстаться с ощущением близости Даутова, которое так ярко почувствовала она именно здесь, на этой сороконожке, вползшей в море.

И когда она шла отсюда прямо домой, то смотрела во все лица встречных только по привычке, создавшейся за эти несколько часов; найти Даутова на улице она уже не думала.

Усталая и недовольная, сидела она дома и глядела в окно, чтобы не глядеть на мать. Трудно было глядеть на мать и больно. Что именно нужно было сказать Даутову — первое слово, и второе, и двадцатое, и сотое,— Таня видела, что тут без нее без конца их придумывала мать, всячески прихорашивая и себя и комнату, надевая то одну блузку, то другую, выставляя стол на середину комнаты или стремительно придвигая его к окну.

Таня сказала наконец:

— Вот что, мама... Этот Даутов, я думаю, сам пойдет в адресный стол справляться, не живешь ли ты тут, как жила тогда...

— О-он?.. Он пойдет справляться? Почему? — чрезвычайно удивилась мать.— Ведь он же знал тогда, что я здесь тоже была только на даче... что я приехала из Кирсанова!..

— Ну-у, мама!.. Будто он так и помнит какие-то там Кирсановы!.. Конечно, он, может быть, и нас забыл, но вдруг поднимется туда, на горку, где мы жили тогда, и вот там именно нас и вспомнит!

— Фамилию мою вспомнит? — робко усомнилась было мать, но тут же обрадованно согласилась: — Конечно, у него блестящая память, конечно, он может именно так и сделать... Наконец, он там может спросить обо мне у рыбачихи, она ему расскажет, как меня найти... Да, он именно так и может сделать.

— Ну, хорошо, мама, допустим, что вот он уже справился, рыбачиха ему рассказала,— и вот он входит... Что ты ему скажешь тогда? — полюбопытствовала Таня.

— Я-я?.. Что ему скажу?

— Да... Ведь двенадцать лет прошло...

— Ты... ты не знаешь, что он для меня значил... Ты не знаешь!.. И вообще... тебе тогда лучше будет уйти, когда он войдет,— забеспокоилась мать.

Таня подошла к матери, обняла ее тонкую шею и сказала вполголоса:

— Хорошо, мама, я тогда уйду... Я понимаю, мама.

IV

До шести часов Таня никуда не выходила,— так прочна вдруг стала уверенность в том, что Даутов где-то справляется о них, что он идет сюда, что вот-вот в коридоре раздастся его спрашивающий густой голос, потом гулкие шаги, наконец сдержанно-неторопливый стук в их дверь и вопрос: «Можно?»

Мать и дочь ни о чем не говорили больше; чтобы скоротать время, они читали. И только когда подходил срок нового прихода того же катера из Ялты, Таня сказала, поглядев в окно:

— Я все-таки пройдусь посмотрю, мама: может быть, он как раз уезжает с этим катером?

— Хорошо... Хорошо, поди,— нетвердо сказала мать.— Впрочем, и я могу пойти с тобой...

— Зачем?.. Да нет же, именно тебе-то и нельзя уходить! — испугалась Таня.— Тебе нужно быть дома. Знаешь почему?

— Ну да, конечно... Он может как раз прийти вечером... Кто же приходит среди дня, в такую жару?.. А вечером...

— Вот то-то и есть! Ничего, я и одна дорогу знаю... И вдруг — ты представь,— вдруг я его приведу, а? Вот будет ловко!

Однако Таня вышла опять на ту же набережную, не надеясь уж встретить Даутова. Даже и мимо автомобильных контор она прошла не справляясь, потому что как-то неловко было справляться снова все о человеке в полосатой рубахе и с бритой головой, когда человек этот мог переменить рубаху на белую, а на бритую голову до ушей надвинуть кепку.

Теперь, когда солнце подходило уж к той горной каменной круглой верхушке, за которую оно имело привычку прятаться летом, народу на набережной было куда больше, чем днем, теперь гораздо легче было пропустить Даутова, и Таня шла медленно, глядела очень напряженно.

Опять встретились газетчик Вайсбейн и плотник Матвей Гаврилыч, поспешно буравящий толпу, в фартуке, но уж без фуганка,— должно быть, оставил инструменты на работе. Опять мелькнул длинный седоголовый человек с багровым носом. Отметили глаза и еще коекого из тех, кого видели днем, но вся толпа в целом была молодая и суетливая, как только что выпущенные школьники и школьницы; лица, пригретые солнцем, красные, с шелушащимися носами, однако неуловимые.

Опять, как днем, Таня стояла у железного парапета на пристани, бегло ощупывая всех глазами. Когда пристал катер и начали выходить пассажиры, мелькнула ярко надежда именно среди них увидеть Даутова, но не увидела, и потом — сказалась ли в этом дневная усталость, или просто досада на неудачу — стало как-то совсем безразлично вдруг, здесь ли еще Даутов, уехал

ли. Вышла на самый крайний конец пристани, когда отчалил уже катер, и ненужно следила, какой пенистый на море круг делает он винтом, как до отказа набит он людьми, занявшими все скамейки под белым тентом и стоящими во всех проходах. Там была — Таня знала это — буфетчица, молодая полная женщина с черненькими усиками и бородкой, которая имела обыкновение, когда отходил пароход, подбочась стоять у борта и вызывающе глядеть на пристань. Таня поискала ее глазами и нашла,— она была в голубом, как всегда, и подперлась, как всегда же, левой голой рукою.

Такое постоянство привычек буфетчицы очень понравилось Тане. Хоть и с бородкой, она нисколько не смущалась этим, не пряталась, как Даутов. Тане захотелось даже поступить к ней в помощницы недели на две, поездить вволю по такому великолепному морю, которое теперь кое-где полосами начинало уж золотеть слегка, а через какие-нибудь полчаса станет все сплошь палевым и только ближе к горизонту голубоватым, а небо за горизонтом станет насыщенно-розовым, точно огромнейший изумленный глаз в красноватом, поднятом высоко веке.

Таня глядела вслед уходившему стройному двухмачтовому катеру забывчиво долго, а когда обернулась наконец, всего шагах в двух от себя увидела того, кого целый день искала: Даутов стоял и глядел в бинокль на стаю чаек, качавшуюся на оставленной катером волне. Он был в той же, как и утром, полосатой рубахе, забранной в белые брюки, брито-синеголовый, в коричневых ботинках, утром начищенных здешним мальчишкой у кооперативной лавки.

Изумленная своей удачей, она сказала шепотом:

— Даутов!

Он тут же опустил бинокль и поглядел на нее, моргая.

— Почему вы меня знаете? — спросил он, почему-то тоже вполголоса.

— Знаю! — ответила она очень таинственно и прикачнула головой.

Лицо ее было теперь до того радостно, что он слегка улыбнулся и протянул ей тугую руку со словами:

— Знаете так знаете... И очень хорошо, что знаете...

Руке Тани сразу стало покойно и удобно в его руке.

— А я вас искала, искала, искала!.. Я целый день вас везде искала — где вы были? — радостно и все же не желая повышать голоса, почти по-детски лепетала Таня.— Вы, должно быть, купались?

— Купался... Конечно, купался... Потом так лежал на пляже...

— Ну вот... Поэтому я вас и не могла найти... Я проходила там, только разглядеть не могла... Должно быть, вы плавали как раз в это время... Вы плавали?

— Конечно, плавал.

— Далеко?

— Порядочно... Я вообще неплохой пловец.

— Ну вот... Значит, это вы и плыли дальше всех!

Он видел на ее лице ту редкостную преображающую радость, которую он вызвал, и разглядывал это новое для него лицо с некоторым опасением, что вот вдруг потухнет эта радость. Однако он спросил улыбаясь:

— Это ведь вы мне сказали, что у меня на лице татуировка?

— А вы мне зачем сказали, что я глаза пялю? — густо покраснела она.

— Ну хорошо, мир! — развеселился он и пожал ей руку.— Хотите поглядеть в бинокль на чаек? — вдруг предложил он.

— Зачем? — удивилась она.— Чайки?.. Я их и без бинокля отлично вижу...

— Вы в каком доме отдыха? — спросил он.

— Ни в каком... Я не приезжая... И я всегда вижу чаек в море... и бакланов.

— Вот как!.. Счастливица!.. Ну, хорошо, а откуда же вы меня знаете? Скажите, где мы с вами встречались?

— Вспомните сами,— таинственно и лукаво сказала Таня.— Вы должны это вспомнить сами, я не скажу.

— Гм... Какая чудачка!..

Но Таня видела, что ему приятно стоять здесь, на пристани, с такою, как она, чудачкой и держать, не выпуская, в своей широкой руке ее маленькую руку.

— Пойдемте отсюда, а дорогой вы будете вспоминать,— сказала она уже повелительно немного,— и вы, наконец, вспомните.

Ей немного досадно было, что сам он еще не припомнил ее; пусть она была и слишком маленькой девочкой двенадцать лет назад, но он мог бы как-нибудь мгновенно догадаться, что это именно она, Таня.

— Вы знаете, как меня зовут? — спросила она вдруг, идя с пристани с ним рядом.

— Нет, конечно,— добродушно усмехнулся он.

— Угадайте!.. Я сама не скажу.

— Ну, где же мне угадать? Женских имен много.

— Хорошо, я скажу... Таня! — И она посмотрела на него со всем вниманием, на какое была способна.

— Хорошее имя,— качнул он головой,— красивое имя.

— И все-таки не помните?

— Нет... что-то не вспомню... Вы меня по Москве знаете?

— А вы в Москве живете?

— Да, я теперь в Москве.

— А раньше где вы жили?

— Ну, мало ли!.. Я во многих городах жил.

— В Александровске жили? — спросила она лукаво.

— Александровск?.. Теперь называется Запорожье... Да, случалось.

— Ага!.. Вот видите, я помню!— ликовала Таня.

Так как в это время они сошли уже с пристани на набережную, то Таня должна бы была повести так счастливо найденного Даутова направо, к тому дому, где так нетерпеливо ждала ее мать, но явилась внезапная мысль привести его не туда, а к маленькой дачке, где они жили вместе двенадцать лет назад.

— Вот сейчас мы минуем мост и милицию и выйдем к одному о-очень знакомому вам местечку,— сказала она шаловливо, подняв кверху палец и качнув головой.

— Гм... Что же это за местечко такое?

Она заметила, что когда он улыбался, то после както странно вбирал внутрь губы, и это ей тоже будто напоминало прежнего, из детства, Даутова и очень нравилось. В такой улыбке было какое-то точно снисхождение к ней, взрослого к маленькой, к совсем маленькой, трехлетней прежней Тане, с которой нельзя же было говорить серьезно, но еще меньше можно было говорить несерьезно.

— Вот вы сейчас увидите, что это за местечко,— а пока посмотрите, как мы обстроились... Этот мост — он бетонный, а был тут какой?

— Деревянный?

— Конечно, деревянный. И он стоял ниже гораздо, тут сделали порядочную насыпь... А эту большую гостиницу очень раскачало землетрясением в двадцать седьмом году, знаете?.. Ну вот. Мебель отсюда всю спускали вниз из окон на веревках, потому что лестницы тоже все были испорчены, не только стены одни... Эту гостиницу ведь хотели ломать, вы знаете? А как посчитали, что такой огромный дом ломать сто тысяч будет стоить, так и начали — была не была — ремонтировать,— и теперь вот домище стоит отлично, как новенький... Представьте себе, у нас тут делают палки, и такие красивые, что их вывозят!.. Да, да, у нас там работают человек пятьдесят, в этой палочной мастерской, и моя подруга одна туда поступила недавно: она художница и хорошо выжигает... Но туда можно и просто полировщицей поступить... Да, наконец, выжигать — что же тут такого? Я тоже могу попробовать выжигать... Пусть я испорчу каких-нибудь десять палок, их все равно тут приезжие купят... Только это я на время, на месяц какой-нибудь могла бы поступить, а то мне надо ехать учиться.

— А куда именно, вы еще не решили? — улыбнулся он.

— Да-а, вообще... ведь это, конечно, трудно решить... Вот к хозяйству, я знаю, у меня совсем никаких способностей нет... Мне раз мама дала денег что-нибудь купить на базаре, я и купила десяток чуларок, только что из моря и, знаете, еще хвостиками шевелят!.. Ну, конечно, мне стало их жалко, я побежала с ними к морю, вот как раз в том месте, где вы утром стояли, и всех пустила!

— И они поплыли?

— Все уплыли... Ведь они только что из моря были, и он, рыбак, их в ведре с водою нес... И потом... Чуларка нас с мамой однажды, может быть, от голодной смерти спасла!

— Как спасла? — удивился он.

— Ну, конечно, тем спасла, что мы ее съели.

— Гм... Тут вам, значит, не жаль было есть?.. А куда же мы все-таки идем?

— Идем мы... Вот сейчас пойдем по этой тропинке. Вы ее не помните?

— И тропинку какую-то я тоже должен помнить? — шутливо пожал он плечами и добавил: — А мама ваша кто?

— Мама?

Тут Таня приостановилась на шаг, посмотрела ему прямо в глаза и сказала почему-то вполголоса, но с большим выражением:

— Она учительница.

— А-а! — отозвался он, нисколько не удивясь.— А эта тропинка куда-нибудь нас с вами приведет?

— Да... на горку,— несколько отвернувшись, сказала Таня.

— А на горке что?

— А на горке скамейка... Там мы сядем и будем смотреть на море.

— Чудесно! — отозвался он.— Я сегодня целый день только и делал, что смотрел на море, и еще готов смотреть целый вечер... Чудесно!

Он оглянулся кругом и крепко потер себе грудь.

Море теперь было именно таким палевым, каким недавно представляла его себе Таня, но она глядела только себе под ноги и думала, вспомнит ли Даутов ее и мать, когда увидит маленький домик, в котором когда-то жил. И едва показался этот домик, она указала на него левой рукой и сказала значительно:

— Вот! Вот куда я вас привела, видите?

— Вижу,— сказал он с недоумением и посмотрел на нее вопросительно.

Недалеко от домика рыбака Чупринки паслось несколько белых коз. Таня сказала о козах:

— Это одного нашего учителя, математика... он сам их пасет,— видите, вон там стоит, низенький, читает газету? Это наш учитель Лебеденко. Он и зимой их пасет. У него двое маленьких детей, а молоко теперь дорогое... а вы помните пятиногую козу Шурку? — вдруг спросила она, повернувшись к нему всем телом.

— Ка-ку-ю? Пяти-ногую? — удивился он.

— То есть она, конечно, не была пятиногой, это только так казалось, когда она бежала... У нее была

только одна дойка, зато она висела до земли... Не помните?

— Признаться сказать, не помню.

— Ну, уж если вы козу Шурку не помните!..— развела руками Таня.— А я вот ее отлично помню... как же так? Козу Шурку!

— Нет, все-таки не помню,— сказал он, улыбнувшись, и вобрал губы.

— И этого дома не помните? — спросила Таня, и голос у нее дрогнул и осекся так, что он посмотрел на нее внимательно и участливо и сказал:

— Я в этих местах жил когда-то, но когда именно...

— Двенадцать лет назад! — живо перебила Таня.

— Может быть... Может быть, и двенадцать... Но где именно жил, представляю смутно.

— В этом вот доме! — горячо сказала Таня.— А по этой тропинке ходили к морю купаться...

— После тифа у меня стала очень плохая память.

— А-а!.. У вас был тиф!

— Да... Был сыпной, был брюшной... и даже возвратный.

— Это во время гражданской войны?

— Да, конечно... И в результате у меня очень ослабла память.

— Ну, тогда... тогда я уже не знаю как,— задумалась Таня.— И этого нельзя вылечить?

— А у моего товарища одного,— не отвечая, продолжал он,— тоже после тифа случилось что-то совсем из ряду вон выходящее: он позабыл все слова! То есть он их так путал, что невозможно было понять... Того лечили,— не помню, кажется года два или три его лечили...

— И все-таки вылечили?

— Да-а, он потом даже во втуз поступил и окончил... Теперь инженером где-то... Я его упустил из виду.

— Так что вы совсем, совсем не помните, как тут жила одна учительница... из города Кирсанова... и у нее была девочка лет трех?..— с безнадежностью, почти не глядя на него, запинаясь, спрашивала Таня.

Он посмотрел на нее очень внимательно, потом перевел глаза на небольшой домик, на белых коз и ни-

зенького человека с газетой и сказал, наконец, с усилием:

— Может быть... может быть, я и припомню.

— Вы припомните! — вдруг уверенно тряхнула головой Таня.— Нужно, чтобы на вас что-нибудь такое сильное впечатление произвело, правда? И тогда вы сразу припомните!

— Сильное впечатление? — и он опять улыбнулся мельком, так что широкий и раздвоенный на конце нос его не успел даже изменить формы.

— Да!.. Пойдемте теперь... совсем в другое место.

— Куда же еще? А кто же хотел сидеть на скамейке? — взял было он ее за руку.

— Туда пойдем, где вас целый день ждут сегодня! — сказала Таня, отнимая руку.

— Это и будет сильное впечатление? — спросил он чуть насмешливо.

— Это и будет сильное впечатление! — повторила она очень серьезно и пошла вперед. А когда они дошли до спускающейся тропинки, она крикнула вдруг звонко:

— Догоняйте!

Конечно, он догнал ее в несколько прыжков, но она, увернувшись от его рук, опять кинулась бежать вниз. Теперь ей хотелось только одного — как можно скорее, пока не стало смеркаться, привести Даутова к матери. Она знала, что сумерки слишком зеленят, слишком искажают, слишком старят лица, и ей не хотелось, чтобы мать показалась Даутову старухой, в которой совсем уж не мог бы он узнать ту, прежнюю Серафиму Петровну. У нее была какая-то неясная ей самой, но очень острая боль за мать, которая почему-то много ожидает от свидания с Даутовым, в то время как он какой-то самый обыкновенный.

Когда они, запыхавшись оба, вышли к большой гостинице, было еще довольно светло. Оставалось только перейти мост через речку, потом недлинную набережную, теперь всю запруженную уже совершенно ненужным Тане народом.

Таня шла быстро, как только могла, но ей хотелось хоть немного подготовить Даутова к неожиданной для него встрече с матерью, которая может показаться ему неузнаваемо постаревшей.

— Мама все время тут очень завалена работой,— поспешно говорила, то и дело оборачиваясь к Даутову, Таня.— Такая немыслимая нагрузка, что и сильный человек подастся, а мама ведь всегда была очень слабая. Ведь у нас с прошлого года колхоз, а здесь занимались чем? Сады, виноградники, табак — вообще сельское хозяйство... Потому — колхоз... И очень много получалось бумаг в канцелярии, а председатель, человек малограмотный — никак разобраться не может... Кого же ему надо мобилизовать на помощь? Конечно, учителей. Интеллигентных сил тут очень мало... Это ведь только считается у нас — город, город, а на самом деле — деревня... А нас, школьниц, весной посылали табак сажать... Мы две недели на табаке были... Вот мы как тогда загорели, обветрели!.. И ноги очень у всех болели, и спины тоже: ведь сажать все время нужно было согнувшись... А школьники наши ведра с водой подтаскивали, поливали. У них, конечно, руки болели потом здорово, но они, мальчишки, стремились всячески форсить и задаваться... и вообще строить из себя геркулесов...

Как и боялась Таня, Маруся Аврамиди все-таки попалась ей навстречу в толпе. Она сделала большие и понимающие — какие глупые, бараньи! — глаза, когда увидела Таню рядом с Даутовым. Она сделала даже попытку пристать к ней сбоку, но Таня остановила ее совершенно возмущенным взглядом и, потеряв нить своего лепета, заговорила снова о матери:

— Если бы маму поместили куда-нибудь в санаторий месяца на два, она могла бы отдохнуть и поправиться, а здесь что же?.. Кроме того, летом жара,— это для нее очень вредно... Она и то говорит: «Если бы мне хотя бы в Кирсанов на лето уехать, там все-таки лето прохладное, а здесь отпуск свой проводить летом, так все равно, что его и не получать!..» Конечно, зимою здесь тепло, однако иногда дуют такие ветры, что как на горах холодно, так и у нас!.. Или с Кавказа норд-осты дуют,— тоже удовольствие среднее. Потому что теплой одежи, настоящей, как на севере, у нас ни у кого нет, дров у нас мало, топить нечем... Прошлой зимой хорошо — мы взяли два воза щепок дубовых, от шпал, а вдруг будущей зимой не удастся?.. Тут одно время зимою пришел керосин — то его долго не было, а то вдруг появился,— так вместо дров керосином придумали же-

лезные печки топить: намачивали кирпич керосином, клали в печку и поджигали. Очень горело хорошо, и долго, целый час, и комната нагревалась, и чайник можно было вскипятить...

Таня говорила это очень спеша, потому что уже миновали набережную, оставалось только пройти небольшой переулок, между тем ей все казалось, что она недостаточно подготовила Даутова, который почти совсем не изменился за эти долгие двенадцать лет, к неожиданной их встрече с матерью, ставшей гораздо более, чем тогда, изнуренной, совершенно почти невесомой. Таня сравнивала мать со всеми встречающимися ей теперь женщинами и не находила ни одного лица, столь же истощенного. Даутов же шел, внимательно склонив к ней голову (на целую голову был он выше ее), и когда она замечала, что он иногда, мельком улыбнувшись, захватывает и вбирает губы, это уж не нравилось ей, как прежде.

— Вот сюда! — торжественно и несколько боязливо, пропуская его на лестницу дома (они жили на втором этаже), сказала она.

— А-а! — протянул он недоуменно.— И потом дальше куда же?

— А дальше — к нам, вот куда.— И очень легко, ненужно-поспешно, волнуясь, взбежала она по каменной лестнице с выбитыми ступенями, а когда подводила его к своей двери, чувствовала, как вдруг тесно и беспокойно стало сердцу.

Она отворила дверь с размаху и крикнула:

— Мама!.. Вот он!.. Я его нашла!..

Она хотела было предупредить мать как-то иначе, во всяком случае вполголоса или даже шепотом, а вышло крикливо, и тут же за нею входил Даутов, и она почти видела, что под тонкой розовой, узенькими клеточками, кофточкой матери забилось сердце гораздо громче и трепетней, чем у нее.

Глаза матери, от худобы лица очень большие, сделались сразу еще больше, все лицо — одни глаза, и, остановившись на лице Даутова, так и не сходили они с него долго, очень долго, может быть с полминуты.

И вдруг мать сказала как-то придушенно, с каким-то пришепетыванием, и волнующим и жалким:

— Как... как ваша фамилия?

Даутов стоял не в тени,— он был еще довольно хорошо освещен последним предсумеречным светом, и Таня любовалась им точно так же, как должна была в эти долгие полминуты любоваться радостно ее мать, и не могла она понять, зачем же мать, вместо того чтобы кинуться к нему, вскрикнув, спрашивает, как его фамилия.

— Фамилия? — переспросил он.— Фамилия моя Патута.

Он сказал это густо, сочно, очень отчетливо.

— Па-ту-та? — повторила Серафима Петровна, както подстреленно откачнувшись, и перевела глаза на Таню.

— Даутов! — вскрикнула Таня, подскочив к нему вплотную.— Даутов — ваша фамилия!..

— Нет, Патута! — Он опять слегка улыбнулся и тут же спрятал губы.

Оглянувшись непонимающе на мать, Таня увидела, как лицо матери перекосилось вдруг, и левой рукой она судорожно начала шарить за своей спиной, ища спинку стула, и потом, как-то болезненно-слабо всхлипнув, рухнула на стул.

Патута укоризненно поглядел на Таню, качнул головой и вышел.

V

Через час, в сумерках, совершенно уже плотных, когда лицо матери было укрыто спасительно и мягко, когда она отошла настолько, что могла уже говорить, Таня спросила ее осторожно:

— Ну, хорошо, мама, пусть это какой-то Патута, и я ошиблась... Конечно, если бы он расслышал, что я его назвала «Даутов», а совсем не Патута, ничего бы этого не было... но пусть, пусть такая ошибка с моей стороны, а почему же ты так сразу узнала, что это не Даутов? Ведь он все-таки похож же на того Даутова, который у тебя на карточке?

— Что ты! Как так похож? — живо отозвалась мать.— Во-первых, Даутов был ниже этого ростом!

— Ну, этого я уж, конечно, не могла знать!

— А во-вторых, он, что же, этот твой,— он ведь не старше тридцати лет, а Даутов... ему сейчас верных сорок... Потом он перенес такую массу всяких... вся-

ких... ну, как это?.. всяких лишений, передряг... от них люди преждевременно стареют... У него и тогда были седые волосы на висках, я помню ведь... А этот что же такое!.. Он кто?

— Не знаю, я как-то даже и не спросила... Па-ту-та!.. Ну может ли быть такая фамилия?

— Когда я была девочкой, в Тамбове был книжный, кажется, магазин Патутина... Был Зотова — и был Патутина... Поэтому мне-то фамилия эта не показалась странной: если бы Патутин, мог появиться и Патута... украинец, должно быть... Но чтобы ждать... ждать столько времени... так быть уверенной, что он здесь... и в результате — какой-то... Какой-то Патута! — И она опять поднесла мокрый платок к глазам.

— Мама, а если его убили где-нибудь на фронте? — спросила Таня.

— Да, могли убить, конечно... Он, разумеется, шел в самые опасные места. Могли.

— А если он, мама, жив, то почему же нам его не найти?

— Как же его найти?.. Конечно, я бы хотела, я бы очень хотела.

— Мама, я попробую! Я, может быть, его найду!.. Вот теперь я уж знаю, какого он роста и сколько ему лет, а то ведь я и этого не знала.

— Ну где там ты его найдешь!.. Хотя Даутов — это не иголка в возу сена, разумеется, — он должен занимать теперь какое-нибудь видное место!

— Вот видишь!.. Этот Па-ту-та, он так себе какой-то! Я ведь тебе говорила утром. А Даутова можно найти, можно! Я попробую!

Мать притянула ее к себе, поцеловала влажными тонкими губами в лоб, пригладила волосы и сказала тихо:

— Закрывай окно, пора зажигать лампу... Этот Патута теперь над нами смеется, над глупыми... Пусть смеется.

— Ничего, ничего, мама! — горячо зашептала Таня ей в ухо. — Я тебя уверяю, — я когда-нибудь все-таки найду Даутова!.. А если он убит, то я узнаю — где!

1934 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗАГАДКА КОКСА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Человеку этому, которого зовут Леней, ровно два года пять месяцев. Волосенки у него желтые, торчат вразброд: хорошо бы остричь его под машинку. Глаза у него зеленовато-серые, на первый взгляд страшно лукавые, продувные. Нос широкий, не то сплюснутый, не то курносый. Щеки гладенькие, розовые.

Ходить он как-то не умеет — бегает. Коленки у него внутрь, и оттого бегает он смешнейшим образом, как утенок.

Человек этот имеет уже собственность, и большую. У него нянька Марийка — девочка лет тринадцати, Пушок — маленький белый пудель-щенок, и котенок — плаксивый, дымчатый, шерсть лезет; потом книжки с картинками, которые он потихоньку рвет, и ящик с игрушками, которые он ломает. Так как и отец и мать его — преподаватели гимназии, то есть у него еще и коробка с большими классными буквами, из которых он знает около десяти штук.

Дядя Черный лежит на диване и читает. Он хотел заехать к своим бывшим товарищам в праздник, когда они дома с утра, но так случилось, что приехал в будни. Теперь они в гимназии. Марийка на кухне, а около него примостился Леня с коробкой букв.

Он вынимает их одну за другой и, облизывая губы и пыхтя, говорит:

— Эта жжы... Жжук... Эта ммы... мму-му-у... Коровка. А эта? Дядя, а эта? — и показывает твердый знак.

Дядя Черный косит глаза, долго думает и говорит с чувством:

— Брось коробку!

— Брось,— повторяет Леня.— А это?

И хвостом вниз он вытаскивает «б», потом «ю», потом роняет все буквы на пол и лезет под стол их собирать.

Дядя Черный не выспался ночью в тесном вагоне. Диван, на котором он лежал теперь, был короткий, не-

куда девать ног. В голове устало шумело. И хотелось кому-то близкому сказать, что он вообще устал от жизни, что сколько лет уже он бесцельно мечется по жизни, и все один. Но близкого никого не было, и сказать было некому.

В комнате в углу торчала этажерка с книгами, на комоде — зеркало, на стене — круглые часы. У всего был кислый, будничный вид.

Позади за дядей Черным осталась длинная дорога. Вот влилась она, как река в озеро, в человеческое жилье; завтра выйдет и пойдет дальше. Опять вольется в чье-нибудь жилье,— опять выйдет. Пусто, хотя и просторно. А в комнате было тесно: всю ее наполнял маленький человек, которого дядя Черный видел раньше только два года назад,— тогда человек этот был красный, безобразный, крикливый,— и говорил о нем матери:

— Да, малец, собственно говоря... ничего, малец хороший...

Но, чувствуя, что говорит только так, как принято, а до мальца ему нет никакого дела, он для очистки совести добавлял:

— Впрочем, может быть, идиотом выйдет.

Теперь этот малец, круглый, мягкий и теплый, с такими плутоватыми глазенками, совал ему в лицо маленькую игрушку из папье-маше и говорил:

— Уточка!

Потом подносил другую и говорил:

— Овечка!

Вытаскивал третью и говорил:

— Гусь!

— Познания твои ценны,— сказал ему дядя Черный.

Сам он стал дядей Черным только с этого дня,— раньше его звали иначе, но так назвал его Леня, и все забыли, как его звали раньше.

Чумазая Марийка забегала иногда в комнату, ставила в шкаф чистую посуду, которую мыла на кухне, потом уходила, усердно хлопая дверью, а дядя Черный говорил Лене:

— Пошел бы ты, братец ты мой, куда-нибудь — к Марийке, что ли,— а я бы уснул, а? Поди к Марийке!

— Я не хочу,— лукаво щурился Леня.

— Из этого что же следует, что ты не хочешь? Ты не хочешь, а я хочу. И, кроме того, ты теперь тут хозяин, а я гость, а гостям... насчет гостей, братец... долго об этом говорить... Поди к Марийке!

Дядя Черный,— так считалось,— делал в жизни какое-то серьезное дело. Таких маленьких людей, как Леня, он видел только издали, летом. Думал о них добродушно и мирно: «Копаются в песочке». Иногда случалось погладить малыша по голове и сказать при этом: «Так-с... Ты, брат, малый славный, да... А тебя собственно как зовут?» Повторял: «Так-с... Это, братец ты мой, хорошо». И уходил. Но здесь в первый раз случилось так, что уйти было нельзя.

Он перешел было в другую комнату и улегся на койку товарища, отца Лени, но Леня пришел и туда, достал валявшийся под шкафом кусок канифоли и засунул в рот.

— Фу, гадость! Брось сейчас же! Нельзя! — поднялся дядя Черный.

Зачем же? Леня совсем не хотел бросать. Пришлось встать и вырвать насильно. Леня залился слезами.

— Да, поори теперь!.. За тобой если не смотреть, ты и половую тряпку съешь,— свирепо говорил дядя Черный.

Мельком поглядел на себя в зеркало и увидел такое донельзя знакомое, *свое* лицо, что отвернулся.

Леня стоял в угол носом, коротенький, в белой рубашонке, подвязанной пояском, в серых штанишках, ботиночках — настоящий человек, только маленький. Стоял и плакал,— на щеке сверкала слезинка.

— Ну-с... Ты чего плачешь? — подошел к нему дядя Черный.— Канифоль есть нельзя. Видишь ли, канифоль — это для скрипки... Это тебе не апельсин... вот-с. И кроме того, это — бяка! — вспомнил он детское слово.— Бяка, понимаешь?

Взял было его за плечи, но Леня отвернулся, уткнулся в угол еще глубже и всхлипывал.

— Э-э, брат, если ты будешь тут орать, то пошел вон! — сказал дядя Черный.

Сказал просто, но Леня вдруг закричал во весь голос, как кричат большие люди, повернул к нему оскорбленное лицо — лицо несомненное и тоже *свое* — и побе-

жал, плача навзрыд, стуча ножонками, зачем-то растопырив руки.

И все-таки дядя Черный думал, что это канифоль: попал кусочек куда-нибудь под язык и режет. Нужно вынуть.

На кухне, куда он пришел за этим, Леня сидел уже на руках у Марийки, и Марийка вытирала ему лицо и напевала:

— Зайчик серенький, зайчик беленький, а Леник маленький, а Пушок славненький...

Леня увидел дядю Черного и отвернулся, опять заплакал навзрыд.

— Чего он? — спросил дядя Черный.

— Леник, а вон дядя, а вон дядя,— заспешила Марийка.— Не плачь, Леник, это он на Пушка так, дядя,— это не на Леню... Дядя говорит: «Пошел вон, Пушок!» А Пушок вертится — гам-гам!.. А дядя: «Пушок, пошел вон!» А на Леню зачем? Леня у нас славненький, а Пушок — мяконький, а зайчик — беленький!.. А дядя — хороший, дядя знает, что Леня не любит... На Леню зачем? Это Пушок... Ах, Пушок этакий!.. Пошел вон, Пушок!

Пушок, кудлатенький белый песик,— он тут же. Он лает по-молодому, припадает на передние лапы, визжит.

Дяде Черному становится неловко. Он идет в сад, где осень. Небо чистое, солнце. Немного холодно. В тополях шуршат, стараясь упасть, листья.

Он хочет осознать, почему неловко. Представляет: Марийка, Леня, Пушок, «пошел вон!» — и делает вывод: «У малого есть чувство собственного достоинства... Вот поди же».

II

Дядя Черный ходил по небольшому садику, где уже увяли маслины, покраснели листочки у груши и скорежилась ялапа, но все было легким и радостным: природа умеет умирать.

Видел и любил в мире дядя Черный только краски, и теперь, гуляя, представил два ярких пятна: загорелое, жаркое, широкое — лицо Марийки, и бело-розовое с синими тенями — Ленино лицо. На осенне-усталом фоне это выходило выпукло и сочно.

Осенью все тончает и сквозит, и дядя Черный молитвенно любил осень — самое вдумчивое, легкое, интимное и богатое из всех времен года.

Засмотрелся на кружевные верхушки тополей и забыл о Лене, но Леня вышел тоже в сад, вместе с Марийкой. Марийка — в теплом платке, и в каком-то синеньком балахончике Леня.

— А, приятель!

Леня уже улыбался широким галчиным ртом, и опять глазенки его казались лукавыми.

В руке у Марийки были судки.

— Доглядайте за Ленечкой, панич; я піду за обідом.

— Да, доглядишь за ним! Он всех пауков готов съесть,— ворчнул дядя Черный.

— Ні, он у нас мальчик хороший.

Дядя Черный присмотрелся к смуглой Марийке, к ее тонким детским рукам и недетской улыбке, к узлу от платка, сутулившего ей спину, и к мелким шагам, когда она уходила.

— Ну, давай руку, пойдем.

Леня дал руку.

— Так-с... А Пушок где?

— Пушок там...

Шли степенно. Город был небольшой, южный, и сквозь деревья со всех сторон желтели старенькие черепичные крыши. И тихо было. В саду, еще молодом, в сыпучей песчанистой земле выкопаны были ямы для посадок.

— Дай-ка посажу тебя в яму,— поднял Леню дядя Черный.— Вырастешь, яблонькой будешь.

— Нет... Нет, я не хочу.

— Что же мне с тобой делать?

На площадке стоял голубенький улей в виде избушки. Подошли к улью. Чтобы не было холодно пчелам, леток его был заткнут тряпкой, и в улье было тихо.

— Спят пчелки,— сказал дядя Черный.

— Спят,— серьезно повторил Леня нахмурясь.

Земляника вылезла из грядки и разбежалась усиками во все стороны. Присели, потрогали руками землянику.

— Курочка! — увидал Леня в кустах поджарого цыпленка.

— Голубчики! — увидал он голубей на крыше.

И вдруг — Пушок. Долго крался он где-то сторонкой и выскочил внезапно, и доволен, что надул, и восторг у него на широкой глупенькой морде. Прыгает, визжит, пачкает Ленин балахончик пушистыми лапками.

— Ай! — кричит Леня.

У Пушка такой добрейший, смеющийся вид, что дядя Черный сам готов с ним играть и бегать по дорожкам, но Леня испуган. Пушок для него огромное и сложное явление: не говорит, все понимает, бегает лучше него, прыгает так, что вот-вот ухватит за нос, и лает, и чешется, и суетится, и отбиться от него никак не может Леня.

— Ай!

Вот он путается в балахончике и бежит куда-то.

— Куда ты?

— В комнатку,— плачет Леня.

— Фу, какой глупый; Пушок играет, а ты...

— В комнатку! — неутешно рвется Леня.

Осень провожает их до крылечка, берет Пушка, которого отогнали, и кружит по дорожкам его и поджарого цыпленка в веселой и шумной скачке.

III

— Дядя, расскажи сказку,— обратился к нему Леня. Говорил он твердо, даже «р» выходило у него гладко.

— Сказку? Какую тебе сказку?

Сидели они рядом на диване, и дядя Черный ощущал его теплое и мягкое тельце; но сказок он не знал.

— Так, про козу, про зайчика,— подсказал Леня.— Сказку... Марийка сказала...

— Да... Марийка тебе может насказать что угодно...

— Про козу,— опять подсказал Леня.

— Коза... На козе далеко не уедешь... Вот, коза значит... Жила-была коза, у козы были желтые глаза... Такие желтые-желтые,— понимаешь?

— Да,— серьезно качает головой Леня.— И рога.

— Это само собою... Рога длинные-длинные, а на конце закорючка, так.

Дядя Черный показывает рукой, какая закорючка, и мучительно думает: «Что дальше?» Решает: «Нужно что-нибудь драматическое».

— И, вот, значит, привели ее в комнату, козу, наточили ножик, живот разрезали...

— Не надо,— говорит вдруг Леня.

Так как дальше с козой идти трудно, то дядя Черный отчасти доволен, что не надо, но что-то в нем задето:

— Почему не надо?

— Так,— говорит Леня.

Он сидит несколько мгновений, выпятив губы, должно быть думая об участи козы, потом оживляется.

— Волки,— говорит он сияя.— А коза бежать, бежать...

Леня машет руками, подскакивает на диване: возбужден.

— Ну да,— подхватывает дядя Черный.— Коза бежать, волки за ней; она от них, волки за ней... Коза мчится во все лопатки, а волки за ней... Ну-с, а потом, конечно,— не век же ей бежать,— волки ее цоп, догнали, за шиворот,— в клочья... съели.

— Съели? — спрашивает Леня.

— Ну да, это уж штука известная: оставили бабушке рожки да ножки.

— Бабушка! — вскрикивает Леня.— Бабушка их: «Пошли вон!»

И Леня бьет в диван ножонками. Лицо у него краснеет, глаза горят.

— Что же, так тоже можно,— соглашается дядя Черный.— Бабушка козу спасать, а волки ее цоп — и съели. Дедушка бабушку спасать, а волки дедушку — цоп и съели...

— Не надо! — говорит Леня насупясь.

— Пожалуй,— смеется дядя Черный.— Пожалуй, и правда: не стоит... Со сказками у нас не выходит... Давай лучше картинки смотреть,— хочешь картинки?

Леня качает головой вбок:

— Нет... Сказку.

— Не знаю я никаких сказок, отстань.

— Про зайчика,— говорит уныло Леня.

— Зайчик... Зайчик один не может действовать. Его когда и жарят, так салом шпигуют... Еще кого-нибудь нужно... Лисичку?

— Лисичка,— соглашается Леня.— Хвост, такой хвост... большой.

Сияют глаза под темными ресницами.

— Ты, должно быть, заядлым охотником будешь,— любуется уже им дядя Черный и гладит по теплой шейке.

— У зайчика домик,— говорит Леня.

— Ага, домик... Домик так домик... Так вот, значит, у зайчика был домик... в лесу, конечно, где же больше? Домик... Зимой холодно, а в лесу дров много-много,— натопит печку, лежит, посвистывает.

— Так: тю-ю-ю,— пробует показать Леня.

— В этом духе. Значит, посвистывает да похрапывает... Ну, конечно, жена, зайчиха старая, и зайчатки маленькие, сколько там их полагается... штук восемь.

— Три,— говорит вдруг Леня.

— Нет, не три, а три, да три, да еще два...

— Много.

— Всегда у них так. Нуте-с, живут себе. Вдруг лисичка— тук-тук в окошко. «Кто там?» — «Лиса».— «Зачем пришла?» — «Погреться».— «Ну иди в избу».—Отворил зайчик двери, пришла лисичка, юлит хвостом, кланяется: «Ах, хорошо как, да тепло, да зайчатки, хорошие!»

— Да,— говорит Леня.

Дяде Черному кажется, что он вспомнил какую-то старую сказку, и он продолжает уверенно:

— Вот лиса говорит: «Пусти, зайчик, на печку погреться». Зайчик говорит: «Лезь на печку». Лисичка греется, а зайчик, зайчиха, зайчатки — все на полу сбились. Сидели-сидели: «Давай ужинать будем». Вот зайчиха поставила бутылку молока, яички сварила, все как следует. Глядь, лисичка с печи лезет. «А я-то как же?» — «И ты садись». Вот лисичка села, яички все съела, молочко выпила, никому ничего не дала, платочком утерлась: «Здорово,— говорит.— Почти что я теперь и сыта... Вот еще одного зайчонка съем и сыта буду». А зайчиха в слезы, а зайчик говорит: «Что ты, лисичка, какой в нем вкус: зайчонок маленький... Лучше я тебе еще молочка принесу».— «Ну,— говорит лисичка,— идите тогда вы все отсюда вон! От вас дух нехороший...» Зайчик просить, а лисичка ногами топает: «Уходите вон, а то съем». Зайчики обулись, оделись, ушки подвязали, пошли с богом по морозцу, согнулись, бедные, посинели... Пла-ачут-плачут...

— Не надо,— говорит Леня.

— Гм... Только было я разошелся, а ты: не надо.

Дядя Черный присмотрелся к Лене: ресницы у него были мокрые.

— Плакса ты, однако. Давай лучше картинки смотреть.

Леня сидит насупясь; болтает ножонками.

Дядя Черный смотрит на Леню и думает, что вот первый раз в жизни на таком маленьком лице он видит: осела тысячелетняя мысль.

В стареньком журнале, истерзанном и желтом, картинки то прожжены папиросами, то закапаны чернилами, но кое-что разобрать можно.

— Вот гулянье... извозчики едут, собачки бегут,— добросовестно объясняет дядя Черный.— А это девочка с книжками, учится... жжы-жук... ммы-коровка... Леня знает, а она нет... вот идет учиться... А это дяди яблоки собирают... сладкие-рассладкие... А вот речка.

— А лодочка? — живо спрашивает Леня.

— А лодочки нет. Вот беда: речка есть, а лодочки нет. Ну, сейчас будет.

Дядя Черный перевертывает несколько страниц и находит лодочку. Только это какая-то большая морская баржа; на палубе борьба: лежит, скорчившись для защиты, какой-то человек, а другой занес над ним ногу в толстом сапоге — вот прихлопнет.

— Вот тебе и лодочка,— видишь: один дядя лежит, а другой его сейчас ногой в живот — хлоп!

— Не надо! — говорит Леня.

Несколько времени он молчит, потом добавляет:

— Еще лодочку.

— Еще лодочек пока нет, а тут, смотри, парус. Видишь, парус! Вот так он надуется,— дядя Черный надувает щеки,— и плывет... как уточка. А тут два матросика...— Дядя Черный косится на Леню, улыбается и добавляет: — И вот один матросик другого повалил и сейчас, значит, ка-ак даст ему ногой в живот!

— Не надо,— укоризненно и удивленно смотрит Леня.

— Ну, хорошо, пойдем дальше... Вот, значит, свечка горит, дядя какой-то сидит, должно быть, стихи пишет. Так. А вот шар воздушный... По воздуху летает... там... полетает-полетает и упадет... А вот на собачках едут. Видишь, как здорово. Дяди в салазках сидят.

— А Пушок?

— Вот мы и Пушка так же... мы и Пушка пристроим. Как зима, снег,— сейчас мы Пушка запряжем... Но, Пушок! Но-но!

— Но-но! — повторяет Леня, смеется, хлопает ручонками по дивану.

«Я все-таки хороший воспитатель»,— думает дядя Черный.

— А вот дяди дерутся, называется это — бокс. Видишь, как ловко. Вот этот дядя того в голову — рраз!

— Нет...— отворачивается Леня.

— Ничего не поделаешь... А теперь этот дядя того,— видишь...— дядя Черный приостанавливается, улыбается, едва сдерживая такой странный, молодой, беспричинный смех, и заканчивает быстро: — Ногой в живот — раз!

— Не надо! — говорит строго Леня.

— Чего не надо? — улыбается дядя Черный, охватив его руками.

— Не на-до ногой в живот!

— Почему не надо?

— Так.

— Ну, хорошо... Я брат, не виноват, когда такие картинки... Ну, этих дядей мы пропустим.

— Лодочку,— опять говорит Леня.

— Лодочек тут нет пока. Должно быть, из тебя моряк выйдет... Лодочек нет, а вот горы... высокие-высоченные, а на них снег... Ладно... А вот мельница, муку мелет. А это мужичок в поле... Кашку варит.

— А у Лени есть.

— А у Лени есть кашка. Лене не нужно... Мужичок пускай себе варит, а у Лени есть... А вот... вот, братец мой, волчья яма называется... Это, видишь ли, колючая проволока, а тут солдаты идут...

— Бам-бам-бам,— подражает барабану Леня.

— Да-с... Солдатики идут,— ехидно тянет дядя Черный.— Идут-идут и вдруг в яму — бултых! А в яме кол... видишь вон — кол! А вот солдатик лежит... здесь у него кровь... Ага... А этот вон летит вниз, и сейчас кол ему в живот — рраз!..

Леня уже ничего не говорит. Он потихоньку соскальзывает с дивана и бежит по комнате, маленький, смеш-

но действуя короткими ногами, коленками внутрь. Подбегает к двери, отворяет ее, пыхтя, и скрывается куда-то в другую комнату или на кухню, и дядя Черный широко улыбается ему вслед.

IV

С отцом Лени, художником, говорили о колорите Веласкеса и рисунке Рибейры; с матерью — о том, какая дура классная дама Шеева: на сороковом году — вы представьте! — проколола себе уши и надела серьги; и хоть бы серьги приличные, а то золото накладное, а бриллианты — никакой игры... вот дура!

Леня спал в это время.

Дядя Черный так привык уже к этим двум людям, что читал только их мысли и почти не замечал лиц. Это бывает, что глаз скользит по лицу, как по небу, не видя его, но привычно зная, что оно синее, или облачное, или в тучах. Только когда изменялся неожиданно и внезапно удар света, появлялось в лицах то мясное, что дяде Черному так хотелось забыть, когда он думал о человеке.

У художника бросалась вдруг в глаза круглая, кочколобая, стриженая, синяя от проседи голова, вздернутый нос и толстые темные волосы в усах, редких и обвисших, и в бороде, подстриженной в виде лопатки; но если бы были густые сумерки, он казался бы красавцем.

У нее лицо было белое, полное, краснощекое, с мужским уверенным лбом и с пенсне над зеленовато-серыми глазами, лукавыми, точь-в-точь такими же, как у Лени.

Хорошо было сидеть, пообедавши, за самоваром и слушать о законченности Рембрандта.

— Законченность Рембрандта, например,— это тонкое понимание: изучил и понял. А законченность его последователей — Бойля, Гальса,— эге, это уж вы нам очков не втирайте,— это манера, да-с.

Так все это было старо, но и старое становится юным, когда оно вдруг воскреснет и способно зажечь. Говорил он громко, сверкая добрейшими молодыми глазами, и она останавливала его:

— Что ты орешь? Тише ты: Леньку разбудишь.

И потом делала широкий жест, который шел к ее высокому телу и размашистой натуре ушкуйницы, и говорила:

— Сеньоры! Наплюйте на своих Рембрандтов, и какого хотите вы варенья? Есть вишневое, земляничное и — черт возьми — абрикосы из собственного сада... Только, если кричать будете,— выгоню вон.

Того, перед чем благоговел муж, она не выносила искренне и убежденно, но синее платье учительницы к ней шло.

Дядя Черный впитывал в себя знакомое, покойное: пятна и линии, округлость человеческих жестов и пухлую старость выбеленных мелом стен.

О Лене он сказал, конечно, так же, как и раньше: «Ничего, малец хороший»,— но промолчал о своих сказках.

Часам к семи вечера проснулся Леня и тоже вошел — на руках у матери — в столовую, где уже зажгли лампу; был он теперь такой курносенький, беленький, жмурый, протирающий глаза кулачонками, мягкий и теплый от сна и улыбающийся ласково во весь свой галчиный рот.

— Вот мы какие... наше вам почтение! — сказала за него мать; сделала реверанс, повертела его в воздухе, как куколку, пошлепала, пропела песенку:

Ленчик, Пончик,
Белый балахончик,
Привязал корытце,
Поехал жениться,
Корытце грохочет,
Невеста хохочет.

Тормошила его:

— Ах, хохочет-хохочет! Над мальчиком хохочет! Над глупеньким мальчонкой хохочет!..

А Леня смеялся, вскрикивал, теребил ее волосы...

В городе остановился проездом цирк... Как-то неожиданно, сразу решили пойти на представление и взять Леню.

V

Пахло конюшней, как во всех цирках. Народу набралось много. Было жарко. Играла музыка.

Сверху спускались в разных концах люстры и лампы, и по скамьям плавал густой маслянистый свет, сплавляя ряды людей в темно-синие полосы.

Цирковые в малиновых казакинах с позументами хлопотали на арене; торчали везде капельдинеры, простые по виду, немудрые люди из бывших солдат, но в таких фантастических красных кафтанах с огромными бронзовыми пуговицами, бляшками, нашивками, что почему-то дяде Черному становилось стыдно.

В афишах было сказано что-то о замечательно дрессированных львах, знаменитых воздушных эквилибристах, о лошадях, собаках, обезьянах. Но программы не купили. Места взяли вверху. Леня уселся на коленях у матери и на все кругом смотрел с молчаливым, но огромным любопытством.

Дядя Черный наблюдал его сбоку.

Весело нагнув головы, вбежали с круглыми мягкими площадками на спинах две небольших караковых лошадки.

— О! — сказал Леня, указав на них пальцем.— Мама, смотри.

Лошадки перебирали сухими ногами белый песок на кругу, испестрили его взбитой землей. Гоп-гоп,— выскочили им навстречу два ярко-желтых подростка: одного роста, белокурые, плотные, с одинаковыми крутыми затылками,— братья... как-то их звали по афише, забыл дядя Черный. Одинаково поклонились публике, прижав руки к сердцу, потом замелькали в глазах, как подсолнечники в жаркий полдень на июльском огороде. Лошадки бегали по кругу важной рысцой, бок о бок, точно сцепленные крючками, а на них, как на земле, кувыркались и прыгали акробаты, сочно и весело.

— Хорошо, Леня? — спросил дядя Черный.

— Да,— лучась, ответил Леня необыкновенно серьезно и важно: не улыбнулся, только кивнул головой. Желтые перебрасывали друг друга через голову, взбирались один другому на плечи, срывались и опять вскакивали с разгону, не опираясь руками, а лошадки все бежали, спокойно, точно снятые с карусели.

Похлопали желтым. Убежали в проход лошадки. Вывезли на широкой тачке тяжелый круглый красный ковер, и сразу человек десять в малиновых казакинах бросились растягивать его по арене. Спешили. Играла что-то музыка на хорах. Выскочили щедро намалеванные клоуны в смешнейших клетчатых сюртуках до

пят — всем мешали, на все натыкались и везде падали.

Но установили на высоких станках блестящую проволоку, и мисс...— имя ее тоже было в афишах,— одетая в коротенькое, до колен, розовое платьице с черными блестками, выбежала, изгибистая, как змейка, проворно взобралась на проволоку и, лихо тряхнув головой, закурила зачем-то папиросу. Поднесли ей широкий и плоский китайский зонт, и вот под музыку заскользила она тонкими ногами в белых чулках. Проволока гнулась и качалась, и, привычно присасывая к ней легкое на вид тело, мисс управляла зонтиком, как канатный плясун шестом. Пятна были красивые: розовое, нежного оттенка, платье и золотистый с черными бабочками зонт. Музыка перешла в вальс, затанцевала на проволоке мисс. Сгущались звуки и сгущались движенья. Присела, скользнула вперед, назад. Дядя Черный смотрел, и было так странно: казалось, что звуки музыки тоже розовые, как мисс, тоже с зонтиками, и так же качаются, и проволока под ними капризно гнется.

Подошел господин в сюртуке и белом галстуке, подсунул под ноги мисс папку с цветами. Подобралась — перескочила. Подставил две папки рядом — перескочила (и звуки тоже). Подставил скамеечку, затейливо утыканную цветами, и дядю Черного тронула эта мелочь — цветы. Долго раскачивалась мисс на звонкой проволоке, и по темноглазому лицу ее видно было, как напряглась она и как это трудно — выбрать момент. Выбрала, подпрыгнула, чуть ахнув,— перескочила.

— Браво! — закричал кто-то сверху.

Поддержали с разных сторон. Захлопали. Похлопал и дядя Черный.

Мисс кланялась, улыбалась, посылала воздушные поцелуи. Так хорошо было видеть, что вот она перепрыгнула через скамейку и довольна, что все довольны, и счастлива.

— Хорошо, Ленчик? — спросила мать Леню.

— Да,— ответил Леня.

Целый дождь маленьких зеленых акробатов полился на красный ковер, заменив мисс. Ходили на руках — поодиночке, по два, все сразу; строили живую башню в три яруса, и под музыку, вдруг доходящую до рева,

рушили ее, и ярусы раскатывались во все стороны зелеными колесами. Все были бескостные и веселые, оттого что не чувствовали тяжести, и оттого, что они такие маленькие, а вот на них смотрят большие и хлопают.

И Леня смеялся.

— А вы замечаете,— пригнулся к дяде Черному отец Лени,— что если ковер написать чистым краплаком, то чертенят этих можно раздраконить вер-эмеродом, а?

Дядя Черный этого не заметил. У них было разное устройство глаз. Кроме того, дядя Черный не любил вер-эмерода.

— Поспорьте-ка еще здесь: нашли место,— отозвалась им мать Лени шалящим басом.

Откуда-то с потолка спустили тонкую белую двойную трапецию. По блоку на прочном канате подняли к ней мускулистого низенького, одетого в тельное трико. Там, на высоте десятка саженей от пола, он проделал несколько мягких фигур и повис вниз головой. Медленно подымали к нему необычайно красивого молодого гимнаста с тонким и скромным, северным лицом. И вот, когда повисли они там на трапециях, непонятно сплетясь телами, в цирке стало напряженно тихо.

Проволочной сетки внизу не было: там стояли только цирковые, держась за канаты. Одно неловкое движение, один выдавший мускул рук или тайно когда-то раньше лопнувшая наполовину веревка трапеции — и на песке арены будет изувеченное тело.

Это оценили. Дядя Черный тревожно наблюдал за Леней.

Между лампами и люстрами неровно освещенные и мягкие, как тени, гимнасты вкрапились дяде Черному двумя круглыми бликами: верхний, повисший вниз головою, держал в зубах трапецию нижнего, на которой тот выгибался так легко и плавно, как будто совсем был лишен веса.

Музыка не играла. Слышно было, как кто-то сзади сказал: «Зубастый малый» — и кашлянул робко, чтобы заглушить то, что сказал.

Но вот как-то быстро заменили там вверху нижнюю трапецию поясом вокруг тела красивого гимнаста, и, взятый за этот пояс вперевес зубами верхнего, он завер-

телся в воздухе, распластанный, как в воде,— все быстрее, быстрее. Уже не мог различить глаз ни головы, ни ног, как не различает спиц в бегущих колесах; только сплошное, зыбкое, из тельного ставшее белым, и такое беспомощное, отдавшееся случаю.

— Ай! — громко вскрикнул Леня.

Дядя Черный представил, как долго и внимательно вглядывался в этих двух Леня, чтобы, наконец, понять, испугаться — и вскрикнуть.

Лицо у Лени стало изумленное, и как-то часто мигали ресницы, точно все время он хотел зажмуриться и не мог. Он отвернулся и не смотрел на то, что его испугало; он спрятал лицо в складку теплой кофточки матери и так сидел съежась. Не видел, как слез по канату молодой гимнаст и опять поднялся уже вместе с подростком-братом в какой-то цветистой двойной коляске и как эту коляску держал в зубах там вверху и раскачивал и крутил «зубастый малый».

Долго хлопали ему и кричали, но Леня сидел и говорил тихо:

— Мама, Леня хочет в комнатку, мама...— и не смотрел вниз.

Дальше следовал комический выход Фрица и Франца — запомнились их имена в афише,— и то, чего смутно ожидал дядя Черный, случилось.

— Посмотри, какие смешные дяди! — повернула Леню мать, когда выскочили один за другим клоуны.— Ах, смешные!

Действительно, дяди были смешные. Это были не те двое, что при каждом удобном случае выбегали на арену, суетились, чихали и падали, а другие, с наклеенными носами, в огненно-желтых париках, в костюмах, нарочно приспособленных для того, чтобы вызвать смех, и с движениями людей, уверенных в этом чужом смехе. Тот, что пониже, выскочил с мандолиной и стулом, оглянулся кругом и спросил, хитро щурясь:

— Я хотит сыграть один серинад... можно? — подмигнул, свистнул носом и уселся.

Кривляясь, вышел за ним другой, с гитарой, ростом выше и видом глупее. Конечно, они не играли. Они начали спорить из-за стула и у одного циркового, которого звали «господином Юлиусом», выпрашивать другой стул. Господин Юлиус, представительный мужчина с длинными усами, кричал на них; они отбегали в при-

творном страхе, лаяли и, ставши к нему спиной, отбрасывали в него ногами песок, как это делают собаки. Потом низенький догадался положить стул так, чтобы усесться вдвоем. Он сел на ножки, другой на спинку... Задребезжали неистово на струнах, но чуть увлекся высокий, низенький подмигнул, поднялся — и высокий полетел кубарем, носом в песок. Так несколько раз усаживались они, и низенький все показывал, что он хитрая шельма.

«А вдруг люди эти уже пожилые, и у них есть семьи, дети?» — подумал дядя Черный.

Но убежал низенький Фриц, унеся гитару и шляпу Франца и показав ему язык. Францу полагалось это не заметить, и он долго метался по арене, крича:

— Нет мой шляп!.. Где мой шляп?

— Фриц унес,— отозвался господин Юлиус.

— Фриц?

Франц долго ломал голову, грозил кулаком, наконец перепрыгнул через барьер к кому-то из публики.

— Господин! Дайте мне ваш шляп... Фриц унес мой шляп...

Тот снял с головы и протянул котелок.

— О-о, спасибо. Я сделайт один салто-морталь.

Высоко подбросил шляпу Франц, ухмыляясь, но подошел господин Юлиус, вырвал котелок, отнес тому, кто дал (конечно, это был переодетый жокей из цирка), и рассерженно попросил ничего не давать этому шуту: никто за целость отвечать не будет.

— А ты, морда, не смей просить! — крикнул он Францу, и на весь цирк, точно всему цирку их дали, шлепнулись одна за другой три пощечины.

У Франца и сквозь белила покраснела левая щека, но он засмеялся дико и к другому из публики, тоже переодетому жокею, перепрыгнул, рыжий и нелепый:

— Господин, дайте мне ваш шляп,— я сделайт один салто-морталь.

Протянул шляпу и этот.

Отделился от толпы цирковых другой, в потертом казакине и сам какой-то потертый, подошел, вырвал шляпу:

— Сказано тебе: не брать,— не брать!

И по той же самой щеке так же три раза ударил Франца.

Бил он неловко, долго волоча руку, и Франц приседал после каждого удара и вскрикивал.

Дядя Черный еще думал только: «Что же это? Неужели это изобрели раньше, репетировали днем?..» — как вдруг Леня на весь цирк по-детски пронзительно крикнул:

— Не надо! Ай, не надо!

В синем балахончике и шапочке, такой маленький, он соскочил с колен матери, топал ножонками в дощатый, недавно сколоченный пол и кричал:

— Не надо!

И лицо у него было возмущенное, почти гневное.

И странно: синие стены публики с окнами лиц зашевелились. Почему-то отчетливо стало видно многих, неясных раньше.

— Довольно! — крикнул чей-то хриповатый голос.

— Будет!

— Довольно!

— Глупо! Умнее не могли придумать? — с разных сторон посыпались вниз голоса, как камни со стен старой крепости, которую хотели взять штурмом.

— Дайте мне ваш шляп...— подошел внизу уже к какому-то третьему Франц, но наверху поднялся такой шум и свист, что он должен был бежать с арены, добросовестно лягаясь и затыкая уши.

А Леня плакал, уткнувшись в колени матери и вздрагивая плечиками,—и у дяди Черного что-то мягкое и теплое, такое забытое, неуемное, но дорогое, поднялось и затопило душу.

Из цирка они вышли, не досмотрев многого: ни дрессированных лошадей, ни ученых собак, ни укрощенных львов. Шли по улице, скупо позолоченной фонарями, и художник говорил дяде Черному:

— Плохо: малый-то нервный! Теперь еще ночью спать не будет... Беда с ним.

Дядя Черный молчал.

VI

Поезд, с которым уехал дядя Черный часов в двенадцать ночи, был полон, как все поезда, идущие осенью с юга. Едва нашлось место в одном купе, в котором было уже пятеро: две дамы, спавшие внизу, два кавказца на верхних местах и сырой толстый священник. Свя-

щенник жался в ногах у дамы,— сел он с какой-то ближней станции,— и говорил густо и веско:

— За свои же деньги и вот мучайся ночь... Деньги платишь, а удобств нет...

От всего лица его была видна при свечке только правая часть опухшей щеки и рыжая борода клином.

Кавказцы разулись. У того, который лежал напротив дяди Черного, чуть свешивалась вниз желтая, как репа, пятка.

Было душно и мутно кругом, но дядя Черный не замечал этого так остро, как бывало всегда. Вез с собою что-то радостное, и чем больше всматривался в него, уйдя в глубь глазами, тем больше видел, что это — Леня, вскрикивающий от чужой боли: «Не надо!»

Поезд качался мерно, точно танцевал на рельсах под музыку, как розовая мисс в цирке.

Слышно было, как, мурлыча, храпел кавказец с желтой пяткой. Священник заснул и густо дышал, поникнув на грудь головою.

Дядя Черный вышел на площадку вагона, где сгустилась отсырелая ночь и падал равнодушный, жиденький, но спорый, как все осенью, дождь,— и здесь, на свободе, в какую-то молитву к Лене складывались мысли:

«Леня! Пройдет лет двадцать. Дядя Черный станет седым и старым. Что, если услышит он вдруг, что стал ты среди жизни испуганный, оглянулся кругом и крикнул громко, на всю жизнь,— как тогда на весь цирк: «Не надо!»?.. Да ведь это слово людей гонимых и распинаемых, но это большое и нужное слово... Леня! Что, если ты сохранишь его в себе и вырастешь с ним вместе? Не бойся, что, услышав тебя, над тобой рассмеются! Знай, что ты носишь в себе светлое будущее...»

Дядя Черный смотрел в темные и сирые, закутанные в дождь поля, и на глазах у него тяжелели слезы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Это случилось лет за шесть, за семь до мировой войны.

Дядя Черный промелькнул перед маленьким Леней и исчез.

Правда, он прислал потом ему из столицы игрушку — лодочку в большом ящике, ярко окрашенную в красное и синее, с белыми скамейками и с оранжевой мачтой, на верху которой висел флаг до того затейливого рисунка, что Лене могли бы позавидовать все государства мира. Леня тихо ахнул, увидя такое великолепие, и долго потом не было для него более очаровательной игрушки.

Когда ему шел уже четвертый год, он вздумал даже увековечить эту лодочку красками на холсте, и отец, придя из гимназии, нашел свой холст, приготовленный для очередного этюда, щедро заляпанным красками поперек и вдоль. Однако, внимательно присмотревшись, он догадался, что без него, оставшись на полной воле, Леня деятельно трудился над изображением своей замечательной лодки с флагом неведомого государства.

Отец Лени преподавал, конечно, только рисование карандашом, и, разглядывая вдумчиво холст, он сказал, как привык говорить в классе:

— Рисунок плох!.. Почти и нет совсем рисунка... Но тона... тона, знаете ли, взяты правильно... Со-от-ношения между тонами — это действительно не те, какие нужно... Но сами по себе тона, они, представьте себе, почти что правильны.

Мать Лени отозвалась на это гневно:

— Мальчишка измазал ему холст, а он что-то хочет в этом найти гениальное, по примеру всех вообще отцов-слюнтяев.

Однако отец медленно, но энергично повел крутолобой головой улыбаясь:

— По-мал-ки-вайте, мадам!.. Это уж вы позвольте мне знать, да-с... Этот испорченный, по-вашему, холст я спрячу, а потом мы посмотрим, мадам. Мы-ы посмотрим еще, по-го-дите...

И сквозь свои круглые очки он сверкающе поглядел в пенсне жены, собирая запачканные Леней кисти и засовывая их в стаканчик, где был скипидар.

Со стороны всякому было видно, что была это не совсем спевшаяся пара — мать и отец Лени. Он был неуверен, она решительна; он только строил догадки там, где для нее все уже было совершенно ясно; он был медлителен, она быстра; он еще только пытался разобраться в том или ином человеке, а она уж резала: «Ду-

рак. Невежда. Скотина...» Где улыбался снисходительно он, там часто она негодовала. Однако случалось и так, что когда смеялась она, негодовал он... И все это происходило потому, что у него было меркой жизни его искусство, от которого отгородила она себя раз и навсегда.

Может быть, он примирил бы ее со своей живописью, если бы она видела когда-нибудь полученные за нее деньги. Но холсты его не продавались: их даже некому было и показать в этом небольшом уездном городе, и уж совсем не с кем было говорить тут об искусстве.

А говорить об искусстве он мог часами, не уставая, напротив, разгорячаясь все больше и больше от собственных слов и представлений.

Большие, подлинные творцы-художники так могут говорить об искусстве только тогда, когда от искусства их оторвали насильно и надолго; в остальное время они творят.

Михаил Петрович Слесарев не то чтобы не понимал этого, но он твердо считал, что буква состоит из элементов, а линия из точек и что всякий штрих, проведенный им на холсте кистью, и всякое красочное пятно, брошенное им на холст, близки к настоящим, единственным штрихам и пятнам, найти которые — только вопрос времени и терпения.

И его этюды были бесчисленны.

Едва успев пообедать, придя из гимназии, он уже садился за холст или уходил с этюдником на «натуру». Если погода была неподходящей — дождливой осенью или зимою,— он ловил капризы солнца на всем, что видел из окон своей квартиры.

Но солнце, идущее к закату, стремительно меняет освещение и плотность предметов и зыбкими делает их очертания; надо было поспеть за этой прихотливой работой солнца, и с лихорадочной быстротою набрасывал Михаил Петрович один этюд за другим.

Он старался всячески экономить холст, он делал этюды на совсем небольших клочках, и все-таки фабричный холст, даже самый запах которого так любят художники, был для него не по жалованью дорог. Он начал приготовлять холсты сам, из простой парусины. Так холсты обходились гораздо дешевле, но краски в красивых тюбиках германской фабрики Мёвеса или даже

русской — Досекина,— их тоже выходило много, и приходилось платить по рублю за совсем маленький тюбик кармина или краплака. А между тем разве художники Ренессанса не сами приготовляли для себя краски? И Михаил Петрович в долгие вечера при лампе принялся деятельно фабриковать себе краски из обыкновенных малярных суриков, умбр и охр, а маленький Леня внимательно следил за этим.

— Вот такая получается штуковина, а? Видал, какая химия? — весело обращался к нему отец.

— Видал, какая химия,— старательно и совершенно серьезно повторял Леня, сдвигая бровки.

Это приготовление красок отцом всегда его занимало, даже как будто больше, чем сама живопись отца, но мать его, Ольга Алексеевна, которая при той же висячей лампе в столовой шила на машинке или правила ученические тетради, приходила часто в ярость и говорила сосредоточенно и раздельно, как в классе:

— Михайло! Сейчас убери отсюда всю эту вонючую дрянь, или я ее выброшу к черту в форточку!

Михаил Петрович знал уже, что она действительно выбросит, если так сказала. Он поспешно собирал со стола всю свою «химию» и уносил в мастерскую, бормоча:

— «Во-ню-чи-е», когда они даже и не думают вонять... Скажет тоже: во-ню-чие!.. Я просто керосин экономил, не хотел в мастерской лишнюю лампу зажигать.

Ольга Алексеевна любила веселых гостей и не любила скучных, хотя водить знакомство со скучными только и могло быть для них полезно. И когда уходил такой скучный гость, говоря при этом:

— Нуте-с, я должен идти все-таки... И я ухожу.

Она отзывалась немедленно:

— И отлично делаете. Давно бы пора.

Она любила свежие анекдоты и преферанс; за преферансом она выносила даже и скучных людей,— выручал интерес игры.

Квартира, которую они занимали, нравилась ей тем, что была в ней большая, светлая, удобная кухня, так как, кроме того что она увлекалась шитьем на машинке, она с удовольствием стирала белье, погружая полные сильные руки до локтей в теплую мыльную пену, но

с еще большим удовольствием варила она украинский борщ и пекла сдобные пироги.

Тот синенький улей в саду, который видел дядя Черный, остался от целой пасеки, заведенной было здесь Ольгой Алексеевной, когда окончила она курсы пчеловодства: не было смысла заниматься этим, так как мед был очень дешев. Точно так же не было смысла заниматься и огородничеством, хотя курсы огородничества она тоже прошла в свое время,— овощи были совсем нипочем, и работа около них только зря отнимала бы время, а разные копеечные расчеты ненавидела она до бешенства.

В ней бурлил большой запас физических сил, и если бы поблизости от их города стояли горы с ледяными заманчивыми вершинами, она непременно стала бы альпинисткой. Но гор не было, кругом лежала ровная новороссийская степь, и только на одном изгибе небольшой речки, километрах в трех от города, расположилась дубовая роща.

Эта роща всегда влекла к себе Ольгу Алексеевну, но мало находилось охотников до дальних прогулок и любителей дубовых рощ, и она была рада возможности ходить туда вместе с Михаилом Петровичем, когда, окончив Академию художеств, появился он у них в гимназии и неутомимо начал бродить по окрестностям города с самодельным этюдником, ящиком для кистей и красок, широким черным зонтом и складной табуреткой.

За дубовой рощей было село Песковатое, и в церкви этого села они обвенчались в одну из подобных экскурсий.

Около колонны в церкви, на полу, Михаил Петрович устроил свой табурет, на него положил этюдник, на этюдник ящик с красками, а сверху зонт, и, кружась с Ольгой Алексеевной вокруг аналоя, причем совсем неведомые ему парни держали над ними венцы, он все поглядывал на свои драгоценности,— не стащили бы их неизвестно каким образом и зачем набившиеся в церковь сельские девки. И чуть только кончилось венчанье, он поспешно ушел писать еще не отгоревший закат, предоставив Ольге Алексеевне самой расплачиваться, как она знает, и с попами, и с певчими, и с шаферами.

И после этого совершенного на ходу и между делом обряда они по-прежнему говорили друг другу «вы», только он начал уже звать ее «мадам», а она обращалась к нему, как и раньше: «Эй вы, сеньор!» — и только когда ругалась с ним, говорила ему «ты» и «Михайло».

Из писателей она любила только скандинавцев, но если и мечтала когда-нибудь поехать за границу, то непременно в Венецию; и единственное, что висело на стене в ее спальне, был гобелен, изображающий палаццо дожей.

Преподавала она в приготовительном классе женской гимназии, и маленькие приготовишки удручали ее своей глупостью. Она диктовала им: «Слеза хоть жидка, но едка», а они писали: «Слезай под житка на едка». Она спрашивала:

— Почему пчелу называют мохнаткой?

А они отвечали:

— Потому что она лапками махает.

И когда дело дошло однажды до языческого жреца, первая из ее учениц храбро объяснила, что это такой человек, который языки жрет.

И говоря потом уже не с приготовишками, Ольга Алексеевна только и ждала подобных невинных глупостей и, как сама она признавалась, ошибалась чрезвычайно редко, острого же языка ее боялись все ее товарищи по гимназии.

До Михаила Петровича ей делал было предложение незадолго перед тем назначенный к ним учитель словесности Козличенко, нежинец, но, поговорив с ним всего один вечер после того, она сказала решительно:

— Послушайте! Но ведь вы же совершенно феноменальный дурак! И хотели вы, чтобы я еще замуж за такого пошла? Идите вон!

В Михаиле Петровиче ей нравилась неискоренимая детскость и глубокое упорство верящего в себя художника, кроме того — сверканье глаз, с каким он говорил об искусстве.

Однако долго,— именно так долго, как мог говорить он,— она не могла его слушать и, раздражаясь вдруг, кричала:

— Сеньор, замолчите!

А если он не мог бросить мысли, не досказав ее до конца, она кричала еще сильнее, вскакивая с места.

— Михайло! Я тебе сказала — замолчи! Если будешь еще долдонить, запущу калошей!

Михаил Петрович говорил примирительно:

— Хорошо и то, что хоть калошей. Калоша все-таки мягкий предмет...— И умолкал.

Ему нравилось в жене то, чего не было в нем самом: бойкое отношение ко всем обстоятельствам жизни и к людям. Однажды он получил письмо от местного ходатая по делам у мирового судьи, от мещанина Зверищева, с требованием уплатить какой-то базарной торговке десять рублей за оскорбление и порчу товара, иначе дело будет передано судье.

Михаил Петрович обеспокоился и сказал жене, что с торговками связываться вообще не следует, но Ольга Алексеевна накричала на него, конечно, а когда явился к ним на квартиру сам Зверищев, требуя все те же десять рублей, она собственноручно вытолкала его вон.

Зверищев написал новое письмо Михаилу Петровичу, которое начиналось так: «Не ожидал я от такой благородной дамы, вашей жены, такого безнравственно-строптивого поведения...» Дочитав это письмо, Михаил Петрович не мог удержаться от хохота и часто потом, желая упрекнуть жену, говорил:

— Что вы, мадам, безнравственно-строптивого поведения, это отлично понял даже и Зверищев.

II

Няньки у Лени не уживались: Марийка, которую видел дядя Черный, была шестая, но после нее сменилось еще не меньше шести, и Леня не в состоянии был удержать их всех в памяти. Но было двое приходящих рабочих — плотник Спиридон и столяр Иван, которых даже и Ольга Алексеевна уважала за хозяйственность. В пригородной слободке Приточиловке у того и у другого крепко стояли низенькие в три окна домишки, и все, что касалось дома, или сада, или колодца, или огорода, или пчельника, было им отлично знакомо.

Попадаются иногда такие от природы ласковые люди. Тысячи лиц промелькнут перед твоими глазами — бодрых и усталых, высокомерных и приниженных, хитроватых и наивных, озабоченных и беспечных, жестоких и безразличных ко всему на свете,— и, как нечаянный

подарок, вдруг осиянно проплывает ласковое лицо. Таким был этот Иван. Голос у него был тихий, слова медлительные и веские, руки золотые. Это он первый дал пятилетнему Лене свой рубанок и терпеливо водил им по доске, охватив большими твердыми ладонями его ручки.

Из-под рубанка причудливо завивались нежные шелковые стружки, от которых пахло скипидаром; Иванова борода нежно щекотала высокий Ленин затылок... И долго потом — делал ли у них Иван кухонный шкаф, или книжные полки, или подрамники для больших холстов — взять в руки его рубанок и водить им по пахучей доске было для Лени торжеством и счастьем.

Спиридон же, худой узкоплечий человек с большой, начисто лысой головой и угловатым бритым подбородком, устроен был так, что постоянно улыбался, но больше как будто насмешливо, чем ласково, и умел делать, как думал Леня, решительно все на свете.

Когда Ольга Алексеевна купила, наконец, тот дом, в котором жила на квартире,— благо, продавался он за бесценок,— и вздумала его перестраивать, Иван и Спиридон постоянно что-нибудь копали, тесали, мерили аршином, отмечали карандашом, пилили, строгали. Леня вертелся неотступно около них, следил за каждым их движением: и карандаш научился деловито закладывать за ухо, как это делал Иван, и улыбаться начал чуть-чуть насмешливо, как Спиридон, и, что бы ни начинали делать они, он все порывался им помогать:

— Вот и я тоже, я тоже. Мы втроем это, втроем...

И плевал себе на руки, как они, и тер ладонь о ладонь, и краснел, и волновался ужасно.

Как-то Михаил Петрович в свободный и ненастный день написал маслом портрет Ивана и подарил ему. Ласковый Иван не захотел остаться в долгу и, присмотревшись к любимой игрушке Лени, принес через неделю в подарок Лене лодочку, не так, конечно, щеголевато отделанную, как присланную дядей Черным, зато в целый метр длиною и такой ширины, что в ней на скамейке свободно мог усесться Леня. Даже и два весла, похожих на настоящие, укрепил на рогачиках.

Он знал, чем угодить Лене. Леня был в необузданном восторге. Он мог часами сидеть в этой лодке и двигать веслами: работа была прочная. Если бы около

дома разлеглась большая спокойная лужа, свойственная многим уездным городам, лодка Лени непременно стояла бы посреди этой лужи, но улица проходила по высокой песчаной окраине,— луж на ней не было.

Как-то весною отец взял Леню в настоящую лодку на речку Волчью, и совершенно необыкновенным, подавляющим по величине и силе всяких впечатлений и тайн было это первое катанье Лени, хотя отец при этом делал то же, что и всегда: писал этюды.

Он писал лодку, отраженную в тихой воде, шершавый, острый, очень загадочный камыш у берега, резные плотные дубовые листья, нависшие над камышом, и хитро закрученную черную, таинственную — живую, конечно,— корягу, любопытно глядящую из воды. На коряге сидела совсем невероятная, сказочно раскрашенная птица-зимородок, бесхвостая и с серебряной рыбкой в длинном клюве.

Эта таинственно-темная, только кое-где вдруг ярко сверкающая вода, и черные мокрые рогатые коряги, и сказочные зимородки на них, и камыш, и толстые дубы, уходящие один за другим далеко, нужны были отцу Лени для картины, которую он думал назвать: «Звуки леса, когда тихо». И он был — Леня видел это — очень сосредоточен, когда писал свои этюды. Он не пел теперь, как пел бы в другом месте звонким тенором свою любимую смешную академическую песню:

Ах, не пришла ты, обманула,
Ах, в Село Царское стеганула,
Ах, стегану-у-ула,
Моя до-ро-га-а-ая.

Он сидел теперь необыкновенно тихий, чрезвычайно внимательный ко всему кругом; он даже не отвечал, когда обращался к нему с каким-нибудь вопросом Леня, он только грозил тихо в его сторону пальцем или кистью, и глаза его под очками были почти страшные.

Когда вспомнил это гораздо позже Леня, он готов был сравнить отца с охотником, засевшим подкарауливать очень чуткую и очень ценную дичь.

Так это все и осталось у него в памяти от первого катанья на лодке: очень чутко все кругом, до того чутко, что нельзя сказать слова; очень пугливо все кругом, до того пугливо, что самому страшно; очень таинственно

все кругом, до того таинственно, что глазам больно до слез,— и звенит все что-то в ушах, и хотят пошевелиться руки и не могут.

Зимородок проглотил рыбку, сорвался с коряги и замелькал над водой голубым и зеленым, пронзительно пискнув подряд несколько раз; вдали, из лесу, докатывалось пушистыми кружочками воркованье горлинок; гудели комары около, и плескали иногда красными хвостиками красноперки в темной воде... Это и были: «Звуки леса, когда тихо».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Иногда так мало бывает нужно человеку для полноты счастья: просто только то, чтобы кто-то взял его, хотя бы даже за шиворот, и перетащил на другое место. Не только малярия и сплин лечатся таким способом — нет, гораздо больше болезней и даже значительно более серьезных.

Вдруг со всех сторон поднялись тонкие, ровные, высокие, красновато-грязные трубы, и из них валил в небо густой черный дым. Вдруг блестящие голубые рельсы, везде ровно линия от линии, стрельнули по широким улицам, и по ним, грохоча, помчались зеленые вагоны трамвая. Вдруг так много людей появилось откуда-то на улицах, и везде такие огромные, красивые дома... Лене было тогда шесть лет, когда его отца Михаила Петровича перевели в другой, большой город, на огромной реке Днепре.

И сразу счастливы стали все трое, и даже Ольга Алексеевна без всякого огорчения рассталась со своим домом, потому что квартира, которую она нашла здесь, даже и ее поразила своею дешевизною и удобствами.

На окраине, но зато на такой окраине, где рядом был парк, как лес, с огромными осокорями в два обхвата, а прямо перед окнами высоких, светлых, просторных комнат сверкал и чешуйчато пенился Днепр,— на окраине, но за пять минут трамвай довозил ее и мужа до гимназии, куда их перевели, а за семь минут — до базара. Кроме того, ее увлекала надежда, что здесь, в большом городе, будет гораздо меньше дураков и дур,

и хотя с первых же слов она решила, что управляющий домом, где они поселились, дурак, но дурак он был явно невредный, этот Павел Иваныч, человек длинный, сутулый, с нелепо подстриженной бородой, с мутными глазками и в синем картузике без полей. Хозяин же дома был богатый помещик, предводитель уездного дворянства, и жил у себя в имении.

Михаил Петрович был счастлив мыслями о той выставке своих картин и этюдов, которую он может здесь устроить, и о частной школе рисования, которую может он открыть у себя на квартире, где был для этого вполне подходящий обширный зал, с первых же дней обращенный им в свою мастерскую. Огромные осокори парка, щедро обвешанные осенним золотом листьев, и сквозь них густая синяя полоса Днепра, и в Заднепровье над песками — трубы чугунолитейных, прокатных, гвоздильных, стекольных заводов,— все эти новые для него мотивы уже запестрели радостно на его новых этюдах. И мост через Днепр — эти выкрашенные суриком, но уже потемневшие, сложно переплетенные железные фермы, казавшиеся издали воздушными и бесконечными, потому что тонули наполовину, ближе к берегам, в тяжелом дыму от заводских труб... Леня знал уже, что в левой части почти каждого нового этюда отца будет этот удивительный мост, по которому ехали в поезде и они, когда переезжали сюда.

Мост был влево от дома, где они поселились, а вправо, недалеко от берега, поднимался из Днепра Богомоловский остров, на котором расселось около десятка домов, раскинулось несколько пышных ракит, и под ними паслось небольшое стадо белых коз.

Кто-то предприимчивый устроил на этом острове ресторан для гуляющих в парке, и туда из парка то и дело по вечерам переправлялись большими и шумными компаниями на лодках.

Как ни был счастлив в этом городе поначалу своим редкостным, потому что самозабвенным, счастьем художника Михаил Петрович, но несравненно счастливее его был все-таки Леня.

По Днепру, по этой огромной желтой в солнечный день реке, ходили лодки даже без весел, на одних только белых, как лебеди, парусах. По Днепру, по этой истемна-синей в облачный день реке, ходили белые глазастые

пароходы, а не слишком далеко, влево, в той стороне, где висел над рекой мреющий кружевной мост, была пристань, откуда протяжно гудя, отправлялись они в Киев и куда они приходили из Киева.

Знал уже Леня, что где-то там есть совсем уже большой город — Киев; необыкновенно раздвинулся теперь мир для Лени... Он знал даже, что та таинственная темная, дубоволесная, с корягами и красноперками, вода речки Волчьей вливается как-то в Днепр и тоже течет где-то здесь, перед его глазами, туда, к Киеву.

Леня был совершенно один там, в том старом дворе, где посреди маленького садика спокойно синел улей со спящими пчелками и раскидывалась розовая ялапа, а кругом двора непоколебимо торчал утыканный гвоздями желтый забор.

Здесь же совсем не было забора, и далеко-далеко видно было с этого высокого берега, — так далеко, что у Лени захватывало дух от счастья. И здесь, на огромном дворе, за которым тянулся запущенный сад, казавшийся Лене целым лесом, у него оказалось шестеро сверстников, ребятишек, гораздо более бойких, чем он, но по очень странной случайности, удивившей Леню, всех их звали Петьками. И прошло не меньше недели, пока он начал различать, кто из них и какой Петька: Петька управляющев, Петька садовников, Петька дворников, Петька кучеров, Петька прачкин и, наконец, просто Петька хромой, неизвестно чей именно, но действительно прихрамывающий на левую ногу, однако самый голосистый и задиристый из всех Петек.

Богатые владельцы подгородной этой усадьбы, которую начал уже захлестывать стремительно росший промышленный город, сдали несколько комнат Ольге Алексеевне больше затем, чтобы не пустовал совершенно дом и чтобы не слишком своевольничал управляющий Павел Иваныч. Зиму они проводили обыкновенно в своем доме в Москве на Молчановке, а пару дышловых жеребцов и при них кучера держали здесь совершенно неизвестно зачем. У Павла Иваныча под замком хранилась их тщеславная фамильная доска, на которой по лакированному черному фону золоченой вязью было начертано, кто из их рода и когда именно — начиная чуть ли не со времен Екатерины и Потемкина — был то уездным, то губернским предводителем дворянства. Портреты всех этих

предводителей висели рядком в запертой центральной зале, выступавшей полукругом. Михаил Петрович с семьей занимал только часть левого крыла этого очень вместительного дома, кроме которого было еще два флигеля с затейливыми антресолями.

Когда по утрам Михаил Петрович и Ольга Алексеевна уезжали на трамвае в гимназию, Леня оставался на этом неогороженном золото-осеннем дворе среди шестерых Петек и держался очень робко. Когда мать одного из них, садовничиха, доившая перед кухней свою большую и будто бы породистую, но очень тугосисюю корову, сказала ему как-то, чтобы что-нибудь сказать от огорчения:

— Ленька! Хоть бы ты мне помог корову эту анафемскую выдоить.

Леня поднял по-взрослому обе руки и ответил тихо, но очень испуганно:

— Куда уж мне!.. Где мне корову выдоить. Я и воробья не смогу выдоить.

Садовничиха вздохнула, подоткнула платок на голове и отозвалась совершенно серьезно:

— Воробья-то, пожалуй что, и я не выдою.

Она была степенная и медлительная, лицо широкое, плоское, нос маленький, как бородавка. Часто задумывалась и потом, спохватясь вдруг, крестилась испуганно и говорила с ужасом:

— Ох, что же это я думаю-то все... Думаю, думаю, а к чему же это я думаю, и сама не знаю.

Родом она оказалась рязанская и потому, к удивлению Лени, коромысло называла «хлуд», а вместо «стучал» говорила «стучел».

Ее муж, садовник, ходил почему-то в старой потертой фетровой синей шляпе и носил длинные, как у дьячка, волосы. Он не в состоянии был, конечно, один держать в порядке сад в несколько десятин, хотя сад этот и не фруктовый; дорожки в нем заросли, акации не подстригались. Должно быть, на обязанности его лежало косить в этом саду траву на полянах и копнить сено, потому что и теперь еще подкашивал он там кое-где старую, желтую уже и одеревенелую траву, приносил ее большими вязанками на плечах, трудолюбиво сгибаясь чуть не до земли, своей корове Маньке и говорил ей вежливо:

— Ну, Манечка, пожалуйте траву кушать.

Но недоволен был он этой травою и добавлял, сгребая со щек в редкую бороду пот:

— Как если молодая трава, то и косе, видать, приятно ее косить: коса по ней идет сама собой и только шипит, как гусак возле гусыни. А по этой чертоломной так и ревет медведем. Пять шагов по ней прошел, и стоп машина. Бери брус и точи. Не трава, а скандал в семействе!

Дворник, обязанный сторожить дом и сад по ночам, был старик очень хвастливый и любил набавлять себе годы тоже из хвастовства:

— Шестьдесят четыре года мне,— говорил он,— а волосы, гляди-ка, только чуть посерели, а у людей в эти годы бывают совсем даже седые, как лунь.

Минут через пять он уже говорил, как ни в чем не бывало:

— Семьдесят два года мне, а еще лошадей я как ежели возьму под уздечки, так они понимают, что это не кто-нибудь их взял, а хва-ат!

А еще через пять минут:

— Восемьдесят один год мне, а как ежели мне кто-нибудь скажет «Дедушка!» — я ему таким манером: «Это кто же это такой дедушка? Может, где ты и видишь дедушку, а я отнюдь никому не дедушка, а во всей состою своей силе и дело свою сполняю как следует».

Между тем двое из Петек звали его дедушкой, потому что один был действительно его внук, а другой, Петька хромой, тоже находился в каком-то с ним родстве и жил у него в дворницкой, только брошен был своею матерью, уехавшей на Кавказ.

Кучер был из запасных солдат, во время войны с Японией побывал в Маньчжурии. Неизвестно было, пришлось ли ему быть в каких-либо сражениях, но о маньчжурах он отзывался весьма презрительно:

— Во-от народ... И понятия в них даже нет, чтобы тебя обмануть,— вот народ глупый!.. Ром, какой у нас восемь рублей бутылка стоит,— я нарочно в магазине спытывал,— там тебе его за рублевку, да еще и рюмка сверху бутылки полагалась. Водка — два рубля ведро. Рыба — две копейки фунт, какую хочешь бери! Вот до чего народ ничтожный,— не ценит трудов своих. И он себе не желает пищу какую стóящую приобресть, а, прямо сказать, травой одной питается. А разве с травы

человек может такой образоваться, ну, хотя бы, скажем, как я?

Звали этого кучера Иван Никанорыч, и по одному его виду действительно можно было сказать, что совсем не травой он питался. Был он очень тяжел, распучило его во все стороны, неповоротлив он был и хмур, зарос черным волосом до самых глаз и на всех кругом глядел исподлобья и презрительно.

Должно быть, и гнедых с черными хвостами и гривами жеребцов, ради которых его здесь держали, он тоже не считал за лошадей. Леня видел, что они пятились и боязливо косились на него, храпя, когда он вваливался в конюшню с метлой в руках.

Управляющий Павел Иваныч любил все делать по форме и букве закона, так как в молодости служил сельским писарем. В одну лунную ночь что-то очень развылись и разлаялись многочисленные собаки двора, и Ольга Алексеевна утром раскричалась, что она их перестреляет, перевешает и отравит. На это Павел Иваныч счел нужным отозваться витиеватой бумажкой за № 55:

«Ваше Высокородие, Ольга Алексеевна.

Относительно размножившихся во дворе собак, кои никому не принадлежат, а навела их черная сука Ивана Никанорыча, Лида, то я сам стараюсь их уменьшить, но удастся ли это, вот в чем большой вопрос. Я уже приглашал гицелей-собаколовов еще в прошлом году, но они были и ничего не сделали, и вновь их приглашу. Одним словом, ответственен за собак по долгу службы, но чтобы лично я завел собак ради одной своей фантазии, то я совершенно чужд этому и всячески буду стараться их извести или по крайней мере уменьшить и против принятия вами экстренных мер к уничтожению оных ничего не имею и даже буду благодарен.

Управляющий *П. Евсюков*»

Ольга Алексеевна, разумеется, собак, происшедших от суки Лиды, не стреляла, не травила и не вешала, а письмо это доставило ей много веселых минут и хранилось вместе с классной работой одной из здешних приготовишек, которая написала о курице, будто птица эта «тулорище имеет широкообразное, а тело устроено посредством хвоста».

Конечно, неутомимо писавший этюд за этюдом Михаил Петрович увековечил на холстах собственной заготовки и красками личного приготовления и пеструю корову Манечку, и пару гнедых жеребцов с черными гривами, задумчивую садовничиху, и ее длинноволосого в синей шляпе супруга, и дремучего кучера, и дворника весьма загадочного возраста, и сутулого Павла Иваныча, и живописные по утрам антресоли двух флигелей, на балконах которых были развешаны красные, розовые и синие стеганые одеяла.

В этом городе было порядочно учебных заведений, но учителя рисования в них, по крайней мере те, с которыми удалось познакомиться Михаилу Петровичу, были все какие-то законченные люди, по его мнению, навсегда потерянные для искусства: один открыл иконописную мастерскую, другой — фотографию, третий писал портреты царствующих особ; другие же не делали даже и этого, а просто прозябали втихомолку, как улитки, забыв о Рибейрах и Веласкесах и не имея понятия о Зулоага, Дега, Хокусаи, Сезанне, которыми увлекался Михаил Петрович.

Это не был город мечтателей, это был бойкий промышленный город, где огромные паровые мельницы принадлежали немцам, металлургические заводы — французам. Это был город, где делали железо, сталь, гвозди, стекло, муку и много еще такого, что никогда не занимало Михаила Петровича.

К живописи здесь относились совершенно спокойно. В лучшем случае тут могли заказать художнику занавес для театра купеческого собрания или роспись в стиле модерн клеевыми красками стен и потолка нового ресторана на базаре.

А между тем именно здесь начали складываться в воображении отца Лени те картины, для которых писал он свои бесчисленные этюды, и картины эти только затем должны были показать обыденное, чтобы тут же отбросить зрителя в сказку, в то, что иногда смутно грезится тихими вечерами, что может присниться в самых значительных запоминающихся надолго снах.

И даже то, что пришлось как-то случайно поселиться не в самом городе с его теснотою и шумом, а вот именно в таком заброшенном самими хозяевами углу и с такими устойчиво своеобразными обитателями, как все эти

Павлы Иванычи и Иваны Никанорычи, Михаил Петрович считал одной из самых больших удач своей жизни. Он говорил Ольге Алексеевне, что чрезвычайно многое для него проясняется и в жизни вообще, и в русской жизни особенно, когда он глядит подолгу, как умеют глядеть только художники, и на запущенный сад здесь кругом и на эти длинные трубы в Заднепровье.

— Сеньор, не мешайте мне строчить вам ночную сорочку! — отзывалась Ольга Алексеевна, одной рукой вертя ручку швейной машинки, другой подсовывая материю, а кивком головы ставя на место спадающее пенсне.

Нашлась было терпеливая и даже сочувствующая слушательница, тоже художница, немка Дорисса Васильевна, которая если и прерывала его иногда, то только затем, чтобы вставить восторженно:

— О да! О да! Я вас понимаю, я понимаю. Вот, например, Беклин, Беклин. Да!..

Или:

— О да! Это, как Франц Штук, да... Как Макс Клингер... О да! Я вас понимаю.

И румяные щеки ее становились совсем багровыми, и даже маленькие глазки краснели, как у белой крольчихи.

Сама она могла делать только слащавенькие акварельки и скоро совсем уехала в Одессу костюмершей в какой-то маленький театр.

II

А шестеро Петек тем временем овладели душой Лени.

Трудно сказать, как это делается даже у взрослых. Вдруг кто-то взял и овладел тобой с нескольких слов, и ты боишься пропустить его взгляд, его улыбку, загадочный наклон его головы, звонкое пощелкивание его пальцев, когда он скажет победно: «Вот так-то по-нашему, а как по-вашему, а?» И спешишь ответить, запинаясь, что как же может быть иначе? «Конечно, именно так! Иначе не может и быть, разумеется». И только потом сознаешься самому себе, что вел себя в этом случае, как последний дурак.

Еще труднее объяснить, как это делается у шестилетних. Кажется, для них вполне достаточно просто

смотреть вместе на что-нибудь такое, что само так и лезет в глаза.

Одному из Петек — Леня тогда не мог отличить, какому именно — показалось, что нужно ударить в большую, в палец взрослого длиною, серую с красными пятнами лохматую гусеницу, ползшую по дорожке, куском кирпича, и он ударил и превратил почти всю ее в серо-зеленое месиво, уцелела только голова и два-три сегмента около головы. Тут же собрались к ней все остальные Петьки, подошел и Леня. И было на что смотреть: около оказался вход в муравейник, и муравьи непостижимо быстро облепили размозженную гусеницу, растаскивая то, что получилось от нее под куском кирпича. Но голова гусеницы была жива, и она не хотела сдаваться без боя. Леня видел, как она подымалась, разевала пасть, хватала сразу несколько муравьев и их жевала. Сзади растаскивали и пожирали гусеницу муравьи, спереди жевала и глотала их она. И Лене было до боли жаль гусеницу, которая была так великолепна, даже и умирая, и жаль муравьев, которых она уничтожала, не принося этим себе никакой уже пользы.

— Ай! — вскрикнул было он.— Не надо!

Но шестеро Петек хохотали весело: для них это казалось забавнейшей игрою.

Временами грозная лохматая голова поникала, и муравьи ползли по ней куда хотели, но вдруг она снова подымалась и разевала пасть, и Петьки кричали восторженно:

— Смотри! Опять она их! Опять глотает!..

И Леня был побежден их азартом: он достоял вместе с ними около раздавленной гусеницы до темноты, когда нельзя было разобрать, где лохматая голова, где муравьи, а где кусок кирпича, и ушел только тогда, когда его позвала мать.

А утром, только проснувшись, он побежал к тому месту, где лежала храбрая голова, но там был только убивший гусеницу кирпич и ничего больше.

— Где же попова собака? — спросил Петьку-кучеренка Леня, потому что так именно, «поповой собакой», и называли гусеницу все Петьки.

Черный и широкий, глядящий исподлобья, как отец, Петька кучеров ответил уверенно:

— Ежица съела... Она днем несется, а по ночам пасется.

— Какая ежица?.. Ежиха?

— Ежица... Она теперь в гнезде сидит: несется.

Леня умел уже читать — Петька не знал еще ни одной буквы. Однако вот он знал, и очень твердо, что ежиха несет яйца, как обыкновенная курица, и смотрел при этом Петька хотя исподлобья, но тоже очень твердо и твердо стоял на земле босыми, но крепкими ногами. Нельзя было ему не поверить, и Леня долго оставался прочно убежден, что ежихи несут в своих гнездах яйца, а потом их высиживают, и, как цыплята из скорлупок, вылупливаются маленькие ежата, сразу штук двадцать, и непонятно, как они не выколют друг другу глаз в темноте под землею.

Стоило одному из Петек — большей частью это был Петька управляющев — съесть что-нибудь сладкое, может быть даже независимо от матери: мед ли, стоящий в незапертом шкафу, варенье или повидло, и всесторонне выпачкать этим сладким пальцы, остальные пятеро Петек кидались к нему их облизывать, а сладкий Петька стоял среди них очень торжественно, возможно шире растопырив все десять пальцев и ожидая, когда их оближут дочиста.

Несколько раз случалось наблюдать это Лене. И однажды Ольга Алексеевна застала его около банки с яблочным вареньем, но, увидя мать, Леня проворно выскочил на двор. Он очень щедро, так, что даже капало, намазал все пальцы вареньем для Петек, но, устыдясь матери, глядевшей в окно, спрятался за густым кустом, облизал пальцы сам и старательно вытер их листьями. Потом, когда мать была в гимназии, удалось это проделать ему беспрепятственно, и он так же торжественно, как Петька управляющев, стоял, выпучив глаза и растопырив руки, а Петьки, сколько их нашлось во дворе, привычно действовали языками. Почему-то решили они тогда, что Леня угостил их арбузным бекмесом — сахаром, который вываривали в здешних местах из арбузной мякоти, но это было варенье из крымской айвы, о чем промолчал Леня, не желая нарушать великой благодушности этой минуты.

Играя с ними каждый день на дворе, он привык скоро отличать одного Петьку от другого даже издали,

с первого взгляда и по самым неопределимым признакам.

Так, Петька управляющев по праздникам ходил подпоясанным лакированным ремешком, потому что отец и мать его были очень богомольны и праздники свято чтили; а в будни его можно было сразу узнать по белесой и всегда наклоненной голове, точно он неотрывно искал грибы или бил поклоны. Петька садовников был яркорыжий, как лисий хвост, и, под масть волосам, рубаха на нем была неизменно оранжевая; конечно, садовничиха нашила ему сразу несколько штук рубашек из одного куска ситца. Петька дворников был в розовом — линючем, длиннолицый и с поднятыми плечами; он был хвастливый, в деда, и воображал себя силачом. А Петька хромой хотя тоже был в розово-линючем, но голова его была темнее, и вечно он что-нибудь кричал, и голос у него был пронзительный.

К зиме, когда все Петьки оделись потеплее и надвинули на глаза шапки, появились для них новые приметы, но к зиме и все кругом изменилось резко, не одни Петьки.

Холодные ветры из-за Днепра гнули и трепали деревья: сад кругом глухо и недовольно гудел; на крыше одного из флигелей остервенело хлопал оторвавшийся лист железа; собаки лаяли и выли по ночам от вполне всем понятной предзимней тоски и страха перед ближайшим будущим; дворник начал требовать у Павла Иваныча себе помощника, иначе он, хотя и хват, не хотел отвечать за целость деревьев в саду, которые начали по ночам спиливать и уносить к себе «каменщики», то есть жители наиболее близкой к Днепру улицы — Каменной, которая начиналась сейчас же под садом справа и уходила под верхние ярусы скалистого берега вниз, к самой воде.

Опасаясь, что скоро может стать Днепр, перестали пускать пароходы в Киев. Закрылся ресторан на Богомоловском острове. Редко когда можно было увидеть на вспененной воде плывущих в лодке, и о тех говорила садовничиха: «Приспичило кому-то, на отчай души».

Несколько раз срывался снег и крутился вперемежку с палыми листьями, взброшенными ветром. Наконец, пошел настоящий первозимний спокойный и уверенный снег, который не думал таять, а рассчитывал улечься

надолго. Днепр стал. С Богомоловского острова в город по льду начали ходить бабы с базарными корзинами, и у Петек появились расписанные фуксином веселые санки.

Конечно, купить Лене такие же санки хотела и Ольга Алексеевна, но совершенно непостижимое для взрослых упорство овладело шестилетним Леней. Он сказал:

— Я сам себе сделаю санки.

Прикрикнула было на него мать:

— А ну, не выдумывай глупости!.. Тоже туда же, и у этого всякие фантазии.

Однако окрик не помог. Леня повторял упорно:

— Я сам, я сам сделаю санки!

Случилось, как раз в это время приехал ласковый столяр Иван, приехал всего на один день по своим делам и зашел к Михаилу Петровичу; Леня расцвел необычайно.

Ивану было некогда, но все-таки он урвал время, чтобы подобрать материал и наладить работу. Он все повторял, ласково управляя ручонками Лени:

— Что же тут такого, в санках? Пустое дело, и сейчас все у нас выйдет по форме... Разумеется, это всякий ребенок может...

Инструменты кое-какие у Михаила Петровича были, а доски всегда нужны были ему для подрамников.

Осталось тайной, что именно в санках сделано было самим Леней, но довольно было и того, что он волновался ужасно, когда они рождались, и во всяком случае сам, без чьей-либо помощи, раскрасил он их во все цвета.

Когда же на другой день он вынес санки на двор, то и сам не мог наглядеться досыта на это сооружение: при ярком солнце на голубом снегу санки сияли, как радуга.

— Вот санки так санки, ух-ты-ы! — восхитился было Петька дворников. Даже и задиристый Петька хромой сказал озадаченно:

— Ого, брат! Вот это так саночки!

Но Петька кучеров, этот темнолицый, исподлобья глядящий увалень, мрачно процедил:

— То-оже еще са-анки! — и толкнул их ногой.

— Не сме-ей! — рассерженно и обиженно крикнул Леня.

— Во-от! «Не смей». Я и не так еще смею.

И мрачный Петька тут же вскочил на санки, подпрыгнул на них раза два и сломал их.

У Лени сразу потемнело в глазах от такой кровной обиды. Он всхлипнул судорожно всем телом и кинулся на Петьку с кулаками. Однако кучеренок уже ждал этого, и эта первая в жизни Лени драка вышла очень ожесточенной. Оба противника пострадали, а у Лени оказался подбитым и даже слегка заплыл правый глаз.

Ольга Алексеевна потом пыталась воздействовать на самого Ивана Никанорыча, чтобы он подействовал на своего Петьку в смысле смягчения его нрава. Но Михаил Петрович, хотя и в стороне от «мадам» и вполголоса, сказал Лене то, что тому запомнилось надолго:

— Конечно, драка — это штука рискованная,— смотря по тому, на кого наскочишь... А все-таки за то, что тебе дорого, ты всегда дерись!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Когда началась мировая война, Лене шел уже девятый год, и он только что надел фуражку реалиста.

В первый же день по объявлении войны мобилизован был Иван Никанорыч, которому, как оказалось, одного только месяца не хватало до сорока лет, и отец Лени, глядя в окно, как он, тяжелый и злой, уходил со двора, а жена его, идя на шаг сзади, вытирала фартуком глаза, проговорил в полном недоумении:

— Если таких с первого же дня берут, что же такое будет дальше, объясните, мадам?

Когда на другой день взяли и двух гнедых жеребцов, он присвистнул тихо и сказал, побледнев:

— Кончено! Пропала теперь живопись.

И каждый день он начал усердно читать газеты, чего за последние несколько лет почти совсем не делал.

Живописи он, конечно, не бросил, но то яркое созвездие надежд и ожиданий, которыми только и бывает жив художник, если он не достиг довольства работою каждого дня,— оно в нем значительно потускнело. Он не начинал уж больших холстов и на каждую свежевыбеленную

стену в комнатах не смотрел созерцательно часами, представляя, что бы и как бы можно было «раздраконить» на такой стене. Желая понять сокровенную сущность ожесточенной войны, он начал перечитывать «Войну и мир» Прудона и сопоставлять с «Войной и миром» Толстого, а с Леней начал усердно заниматься немецким языком, который знал неплохо, тем более что больше года после окончания Академии прожил в Мюнхене.

Ольга Алексеевна смотрела на войну просто. Она говорила:

— Черт их там знает, отчего они сразу все сошли с ума и вышли из своих квартир в какие-то там окопы, и чтобы самим поубивать как можно больше, и чтобы их колошматили сколько влезет... Я не психиатр и ничего в этой болезни не понимаю. Но цены на все так бешено скачут, что скоро, кажется, мы с нашим жалованьем будем жить хуже нищих. Вот это я вижу достаточно хорошо... И всякий холст вообще скоро будет стоить столько, что... не по средствам нам, Михай-ло, ты это знай.

— Не-уже-ли?.. Это дей-стви-тель-но...— отозвался задумчиво Михаил Петрович, пристально на нее глядевший в то время, как она говорила это, и круто перешел он с холстов на картон и с масляных красок на темперу, отыскивая в истории живописи рецепты этих красок средних веков и возясь с яичными желтками, клеем и прочим, что для них требовалось.

— Пошла теперь другая химия,— говорил он Лене.

— Ин-те-рес-но,— поддерживал его Леня.

Он деятельно помогал отцу в изготовлении темперы.

— Ты видишь,— смотри: этюд написан два месяца назад, а краски,— видишь, какие свежие? Ни капли не пожухли,— ликовал отец.

— Ничуть не пожухли! Вот штука! — радовался Леня, и почти исключительно затем только, чтобы испробовать, пожухнут или нет краски собственного изготовления, он начал вместе с отцом писать этюды.

Отец ликовал:

— Посмотри, как у тебя свежо выходит, а! За-мечательно! Да ведь такой этюд, как этот вот, если поставить на выставку, он один всю выставку убьет. И все художники будут его, как огня, бояться. Скажут:

«Поставьте вы этот этюд от меня подальше, пожалуйста...— И от меня тоже.— И от меня подальше.— И вообще, черт знает зачем его приняли на выставку».

— Кружи, кружи мальчишке голову больше,— останавливала его мадам.

Но этюды Лени и ей нравились чистотою цельных тонов, хотя рисунок их был всегда очень прост: какая-нибудь крыша, видная из их окон, и над ней небо с одиноким облаком, или излучина Днепра, и у берега лодка с задранным носом.

Отец Лени в молодости недурно играл на скрипке, потом забросил скрипку, но теперь, когда так чудовищно осложнилась жизнь, что даже иногда нельзя было достать керосину и вечерами приходилось сидеть в темноте, снова взялся за скрипку, и из его мастерской доносились до Лени все больше грустные мотивы, оставшиеся в памяти Михаила Петровича от времени полуголодного студенчества в Петербурге. Леня тоже начал учиться играть и как-то совсем без труда быстро постиг «позиции», чем заставлял отца вспоминать Паганини, который не готовился к своим публичным выступлениям, а играл перед публикой по вдохновению и так, как мог играть один только Паганини.

Но увлечение темперой и скрипкой скоро прошло у Лени: его занимала только сама техника того и другого дела,— так это понял отец,— потому что жизнь кругом была совсем не такова, чтобы отдаться целиком и вплотную тому или другому из слишком мирных искусств.

Жизнь требовала ловкости и силы, выносливости и упорства, находчивости и уменья.

А для этого вместе с шестью Петьками нужно было идти со двора вниз на Каменную улицу и оттуда вместе с «каменщиками» на Днепр. «Каменщики», ютившиеся в низеньких, очень тесно прижавшихся одна к другой хибарках, жили все лето только Днепром. Нечего и говорить, что все они были заядлые рыбаки, но они были и перевозчики, переправлявшие публику на другой берег; они были «гондольерами», катавшими по Днепру на веслах и под парусами любителей этого вида развлечений; они возили на своих лодках и тяжелые грузы, если находили эту работу подходящей; наконец, из Днепра

же добывали они и дрова себе на зиму и даже на продажу, и этот последний промысел особенно увлекал Леню.

Прежде всего он узнал, к своему удивлению, что дерево тонет в воде, что надо ему только как следует набухнуть, пропитаться водою, и оно потонет — даже сосновые бревна, не только тяжелая ольха или дуб.

Из смолистых лесов, из Полесья гнали по Днепру вниз плоты, но не все доходили, куда их гнали, иные разбивались, и через некоторое время бревна тонули, и на дне их затягивало илом. Тонули они у берегов или на отмелях перед островами. Они уже теряли своих прежних хозяев, эти затонувшие бревна. Их надо было разыскать там, на дне, в иле, и вытащить — однако для этого требовалось много ловкости, упорства и силы. И «каменщики» охотно принимали к себе в бесплатные помощники ребят с горы — шестерых Петек и Леню.

Обыкновенно бревно засасывалось илом или песком так, что только чуть виднелся его комель, который ребята называли головашкой. Зоркие глаза нужны были, чтобы разглядеть с лодки эту головашку, а потом со сноровкой водолазов надо было долго держаться в воде, чтобы вбить в эту головашку железный «штыль» с зазубринами. Потом толстый канат, который шел от штыля, привязывался крепко к корме лодки, и лодку начинали раскачивать, чтобы раскачать увязшее бревно... Иногда целый день возились так с одним бревном несколько ребят, но велико было торжество их, когда упорное, очень длинное и тяжелейшее бревно выволакивали они все-таки на берег, и двойное торжество, если это бревно оказывалось дубовым.

Правда, теперь уже не находилось охотников покупать у «каменщиков» за дорогую цену мореный дуб, но все-таки его хранили до лучших времен, в которые верили по привычке: трудно искоренить в человеке надежду на лучшие времена.

Леня всегда вносил в эту охоту за утонувшими бревнами много свойственного ему азарта и большую затрату сил. Летом вообще он очень редко приходил домой обедать — только тогда, когда поднималась буря и по Днепру не отваживались ходить лодки.

Часто он приносил домой рыбу, так как научился у «каменщиков» ловить вырезубов, больших язей, марену кормаком на пшенную кашу. Кормаком «каменщики» называли длинную лесу с несколькими крючками, которая привязывалась к корме и бросалась свободно по течению, а пшенную кашу надо было варить особенным образом, чтобы она держалась на крючках, не размокая, в воде.

Плести сети для ятерей, волокуш, наметок и прочих рыбачьих снарядов тоже между делом научился Леня: он вообще брался за все, что делали другие. Он говорил в таких случаях: «А ну-ка я» — и улыбался при этом такой располагающей улыбкой, причем совершенно исчезали глаза, растягивался широкий рот, добродушно расплывался тоже несколько широкий нос, и сами лезли вперед длинные, с шевелящимися пальцами руки.

Очень рослый для своих лет, он совсем не умел ходить задумчивой походкой, а все куда-то спешил и рвался. Вечно шевелящиеся пальцы его так и хватались за все, и эту привычку пальцев Лени заметил отец и сказал как-то, даже не то чтобы шутя:

— А знаешь, это в тебе целиком от общего нашего предка — обезьяны. С таким любопытством могли относиться ко всему в жизни только троглодиты, жители пещер.

Однако и пещеры тоже выпали на долю Лени — самые подлинные пещеры, в высоких берегах Днепра вымытые водою.

Если война, как всегда, рождала героев, то повсеместно рождала она и подражателей им. И чуть только выдавалась плохая погода, когда ревел и стонал Днепр и становился недоступен для юных «каменщиков», они образовывали отряды и шли боем на юных «резников», которые обитали на соседней улице, Резниковой. Не такие уж и шуточные получались бои, потому что выросшие на Днепре, на байдарках, ребята дрались отчаянно и немилосердны были к постоянно побеждаемым «резникам». Они брали их в плен, как это делали там, где рождались герои, они связывали им руки назад, завязывали платком рты, чтобы не кричали, и отводили по им одним известным тропинкам в пещеры. Не раз приходилось стеречь у пещер таких пленных Лене. Держа на

плече толстую, как винтовка, палку или обломок весла, он вместе с другими часовыми выводил пленных к Днепру на водопой, потом заводил обратно, в пещеры; приносил им хлебные корки на обед и ужин; наблюдал за их работой, когда заставляли их расширять пещеры или делать к ним лестницы из камней. Пленные «резники» обыкновенно вели себя гордо и зверски ругали «каменщиков», обещая им отплатить тем же. Если случалось, что между ними находился малодушный, просивший о пощаде и освобождении, его избивали свои же. Но у пленных были родные; они подымали полицию на поиски пропавших ребят, которые по нескольку дней иногда сидели в пещерах,— и вот появлялись на берегу Днепра городовые, пытливо озиравшие скалистые отвесы. Только тогда освобождали пленных и сами уходили подальше, чтобы не попасть в участок, который, конечно, стоил любой пещеры.

Предводителем у «каменщиков» был пятнадцатилетний; весьма лихой и крепкий малый, Андрюшка Нестеренко, которого все слушались беспрекословно. Но на улице Новой, которая начиналась в городе и крутым изгибом спускалась к самому Днепру, образовал какой-то Нечипоренко свой сильный отряд, и этот отряд бил и «резников» и «каменщиков», не входя ни с кем из них в переговоры и не становясь ни на чью сторону. Поневоле против такого могучего врага «каменщикам» пришлось объединиться с «резниками», и однажды при их поддержке трех «новаков» удалось отбить от нечипоренковского отряда, связать и отвести в пещеру на работы.

Так три небольших приднепровских улицы подражали большим государствам. В городе мирными командами ходили пленные чехи. Кучер Иван Никанорыч, как стало известно на второй год после начала войны, попал в плен к австрийцам; Петька-кучеренок вместе с матерью уехал куда-то в деревню.

Между тем занятия в реальном училище шли, как им было положено идти, расшаталась только дисциплина: очень воинственны стали реалисты, и притихли, посерели, впали в явное недоумение учителя, увяли и даже как будто начали чувствовать за собою какую-то вину.

И вот уже даже четвероклассники, которые были покрупнее ростом, но не успевали по математике, нача-

ли говорить, правда, шепотом и на ухо, стоя у кафедры, щупленькому, чахоточному, но очень строгому преподавателю Мордовкину:

— Ставь в четверть тройку, а то изувечу.

Скажет так подобный, весьма закаленный в уличных боях юнец и смотрит самыми невинными, мечтательными глазами, а Мордовкин в ужасе отшатывается назад и моргает испуганно, сам не зная, сказано ли было то, что он слышал, действительно, или у него уже начинаются галлюцинации слуха... Но юнец улучает момент и повторяет угрозу так же точно на ухо. И жаловаться директору на него нельзя, потому что он, конечно, откажется, и страшно, что действительно изувечит как-нибудь поздно вечером или даже и среди бела дня, напав сзади. И рука Мордовкина невольно выводит в журнале против фамилии юнца тройку, тем более что в старших классах действуют уже более нагло и совершенно открыто.

Старичок Долинский, родом белорус, преподававший малышам историю, раньше мог беспрепятственно давать простор своим чувствам и говорить, например, об Иване Грозном так:

— В то самое время... когда-а... родился он, Ио-анн Грозный... в этот самый момент... на небе... гром был!.. Молния была... Зем-ле-тря-сение было!..

И если кто-нибудь позволял себе улыбнуться недоверчиво, Долинский накидывался на того петушком:

— Что ты там это так смеешься один, деревянный чурбан?.. Все сидят, как одна гадючка, а ты смеешься!.. Встань и стой за это, как столб.

Теперь при подобном пафосе Долинского по́котом ложился на парты и хохотал, топая ногами, весь класс, и ошеломленный старичок только прислонялся покрепче к спинке стула, чтобы не упасть с кафедры, и трагически зажимал пальцами уши, повторяя:

— Боже мой!.. Боже мой, что же это такое?

II

В Каменьях, как сокращенно называли Каменную улицу, зимою занимались разными промыслами. Там, прежде всего, пилили дрова и с пилами и топорами ходили по дворам, где находилась работа; там катали

из воска свечи, которые во время войны хорошо раскупались, так как часто шалило электричество, а еще чаще не было керосина в лавках; там чуть ли не в каждом домишке был то слесарь, то кровельщик, то маляр, то лудильщик медных кастрюль и самоваров, то печник или штукатур, но больше всего было там мастеров по лодочной части, и это в глазах Лени давало Каменьям бесспорное преимущество перед каким-то там реальным училищем, где совершенно бесполезно и в тошной скуке приходилось торчать бо́льшую половину дня.

Старый, лет под семьдесят, лодочный мастер Юрилин, которому Леня ревностно помогал выстругивать шпангоуты и обшивку для «подкористых» лодок или «дубов», «калибердянок» и «шаланд», не удивлял его, когда говорил с сердцем:

— Был в воскресенье я на Проспекте, зятя на вокзал провожал, а трамваи что-то долго не ходили,— и до чего же, скажи, бездельного народу я много там видел! Так что, прямо тебе скажу, сумно мне на людей стало глядеть. Об чем-то все нестоящем говорят, а слова все как-то в растяжку цедят; ходят же если, так у них ноги прямо как деревянные. А то другой сидит себе на скамеечке, все сидит, все сидит себе, и все он курит и наземь плюет. Вот и все занятие... Эх, как посмотрел я,— проводят люди жизнь свою так, дуро́м, в бездействии. И как это они так могут,— я бы, кажется, от одного такого наказания с ума бы сошел дня в три.

Небольшого роста, очень жилистый, сухощавый, но еще без морщин и с черными бровями, старик Юрилин действительно работал не переставая и в праздники. Жить, не строгая, не приколачивая, он совершенно не мог.

От него постиг тайны лодочного мастерства Леня, и на двенадцатом году сам, без чьей-либо помощи, сделал первую свою лодку — небольшой «дуб», как называлась тут килевая лодка с высоко задранными носом и кормой; калибердянки же получили свое название от села Калиберды, где их делали всем селом и на целый Днепр.

«Дуб», вернее «полудубок», делал он зимними вечерами при огне, потому что днем было училище, а тут же после обеда — каток на Днепре и жгучий азарт конькобежца, озабоченного чистотою всех этих восьмерок, тро-

ек и прочих фигур на скользком и звонком льду. Разве можно было вычерчивать эти фигуры хуже, чем делал это Петька управляющев или кто бы то ни было из ребят-сверстников? А потом, когда от сильного бега и в мороз было жарко, как в июле, и, свернутая в комок, в снег летела шинель, каким это представлялось наслаждением — пробить где-нибудь поблизости от катка, в проруби, где ловили ершей блесною, намерзший на вершок лед и напиться из Днепра горстью

Но мировые события шли своим крутым и суровым путем, и за очень мало говорящими телеграммами из ставок верховных главнокомандующих европейских армий стало вырисовываться перед Леней, что несколько государств, о которых он учил в географии, уже сплошь заняты германскими войсками, что с той и другой стороны считаются уже миллионами убитые, искалеченные, пленные.

Где-то удалось прочитать Михаилу Петровичу, что число солдат, взятых в плен германо-австрийскими войсками, перевалило уж за два миллиона. Он удивился сам и удивил этим Леню.

— Два с лишним миллиона одних только взятых в плен! — повторил ошеломленно Леня.— Одна-ко!

Почему-то особенно горестным показалось ему именно это. Может быть, потому, что он знал, что такое плен, что самому ему не раз приходилось стеречь пленных «резников» в пещерах.

Но вот в конце шестнадцатого года был убит заговорщиками соправитель царя — бывший конокрад, «старец» Распутин, и сразу около Лени заговорили все гораздо свободнее, чем прежде. Даже старый Юрилин ликовал, потирая руки, и многозначительно подмигивал, когда говорил об этом Лене.

Вслед за этим убийством «каменщики» ожидали каких-то больших событий, и события эти действительно пришли месяца через три: началась революция.

— Как же теперь чувствует себя хозяин нашего дома? — спросил у отца Леня.

— Может быть, перестал уж что-нибудь чувствовать: в газетах пишут, что многих помещиков убивают,— сказал отец.— Может быть, и его уж убили...

Но в апреле, в теплый и яркий день, появился вдруг хозяин, в потертой шапке из поддельного барашка, в по-

ношенном простеньком порыжелом пальто, с небольшим саквояжем в руке. Видавший его всего один только раз, когда он приезжал сюда на несколько дней за год перед этим с женой и двумя девочками-подростками, Леня даже не узнал его сразу и догадался, что это он, только потому, что Павел Иваныч подобострастно сбросил перед ним свой синий картузик и вытянулся по-солдатски.

Хозяин был теперь небритый, в полуседой неопрятной щетине, на горбатом носу красные и синие прожилки; выпуклые глаза воспалены от бессонных ночей,— нет, он совсем теперь не был похож ни на какого предводителя дворянства, а разве что на ходатая у мирового судьи Зверищева. Когда он говорил потом с отцом Лени, то, подозрительно к нему приглядываясь, прежде всего спросил:

— А вы какой партии изволите быть?

Когда же убедился, наконец, что перед ним самый бесхитростный человек, ни с какой стороны для него не опасный, то сказал с возмущением, кому-то даже погрозив кулаком:

— Во-от... Довели... прохвосты!.. Теперь Москва полна беглых солдат, и в порядочном костюме на улице показаться немыслимо... Что же теперь будет дальше? Теперь немцы приходи к нам и бери нас голыми руками... Потому что Россия теперь что такое? Все равно что дом без хозяина.

— Пустой дом, да,— живо подхватил Михаил Петрович.

— Пожалуй, раньше немцев,— если только в имение поехать,— свои ограбят и дом подожгут?.. И даже убьют, пожалуй?

— Обя-за-тельно,— широко заулыбался Михаил Петрович.— Это уж будьте благонадежны. Это непременно так и будет.

— А как вы мне посоветуете: если найдется покупатель, не продать ли мне эту усадьбу? — спросил предводитель, положив ему на плечо руку и заглядывая в глаза.

— Эту усадьбу?

Михаил Петрович представил другого хозяина, с которым, может быть, и не уживешься, между тем как он привык уже к этой квартире, и ответил решительно:

— Нет, эту усадьбу я вам не советую продавать. На всякий случай эту вы оставьте.

— Представьте, мы с вами совпали в мыслях на этот счет,— просиял предводитель.— Вы знаете, мне ведь удалость бо́льшую часть имения продать вскоре после убийства Распутина... Правда, дешево, но зато с переводом на «Лионский кредит»... А там уж — деньги верные!.. Хотя франк и упал, конечно, но ведь потом, знаете... девальвация...

— Это замечательно! — восхитился Михаил Петрович.— Какой же дурак нашелся?

— Вы думаете, что он дурак, а не?.. Жена же моя думает, что... как это — такое толстовское словечко... «образуется», да... и вот тогда...

— Не-ет, едва ли. А эту усадьбу — вот это уж не продавайте... На всякий случай.

— Пожалуй, что так... пожалуй, вы правы.— И предводитель крепко пожал руку своему квартиранту, отходя от него к Павлу Иванычу.

Все это видел и слышал Леня, бывший поблизости.

— Ого, как струсил,— сказал он потом отцу.— А это что такое «Лионский кредит»?

— Банк есть такой в Париже.

— Что же он, в Париж думает удрать? Вот это здорово!.. А кому же мы тогда будем платить за квартиру? Неужели Павлу Иванычу?

— По-видимому, никому не будем платить...

— Ага! Вот это дело!

Гораздо позже узнал Леня от Павла Иваныча, что предводитель с семьей через Финляндию пробрался за границу, а в это лето Леня сработал сам две «шаланды» и продал их, а кроме того, сделал легкую мачтовую гичку, на которой ходил с парусом, став вполне заправским речным волком. Скамейки в лодке он уже иначе не называл, как банками, веревки — тросами, вантами, концами, все лестницы вообще и где бы то ни было — трапами, и если говорил «бережно» и «речисто», то значило это: «ближе к берегу» и «дальше от берега»...

Осенью грянул Октябрь, и коренным образом изменилась вся жизнь Лени.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Заводы на той стороне Днепра один за другим перестали дымить, но вид у них от этого не стал задумчивым, как у получивших заслуженный отдых; они казались Лене чудовищами вроде плезиозавров, удивленно вытянувшими шеи. И однажды вечером при тускло горевшей восковой свече он написал темперой индиговую ночь, воду и удивленно вытянутые из этой воды шеи многих плезиозавров с головками, до того маленькими, что они были еле заметны.

Когда рабочие и беднейшее крестьянство Украины подняли борьбу за власть и изгнали в конце семнадцатого вон из Киева Центральную раду, то немцы решили, что анархия в России дошла до своей высшей точки и что Украина теперь может дать им сколько угодно пшеницы, мяса и сала, надо только пойти туда и взять. Генеральный секретарь рады Симон Петлюра вернулся весною восемнадцатого в Киев вместе с немецкими войсками, а вскоре, четко отбивая под духовую музыку тяжкий шаг, немецкие полки появились и в том городе, где жил Леня.

Тринадцатилетний Леня не был и не собирался стать историком совершавшихся событий; и часто бывало так, что никто около него не знал, кто и в кого громыхал из орудий с этой стороны Днепра на тот берег и с той на этот, и чьи это пули жужжали и пели вдоль улиц, по которым приходилось идти из училища домой.

Перестрелка всегда начиналась внезапно. Реалисты, приходя в училище при затишье, вдруг оказывались к концу занятий отрезанными от своих домов. Дожидаться темноты, чтобы разойтись, было опасно из-за разгуливавших по улицам патрулей, так как движение после известного часа воспрещалось. Приходилось идти домой под пулями вдоль стен домов, иногда перебегать и прятаться за выступы стен, если перестрелка была редкой, а чуть только усиливался ружейный огонь или начинали методически строчить пулеметы, забегать в первые попавшиеся дворы и отсиживаться там.

Очень деятельно, поезд за поездом, начали гнать русский хлеб к себе в Германию немцы, и сало, и масло,

и кожи, и шерсть, и веревки, и сахар, и даже махорку. Вдобавок ко всем карбованцам, и керенкам, и николаевкам, и донским, и криворожским, и прочим бумажным деньгам появились теперь у всех германские марки и австрийские кроны. Однако исчезли из лавок последние остатки готовой обуви, и сапожники, принимая заказ, говорили:

— А товар?.. Нет у вас товару?.. Как же вы хотите, гражданин, получить ботинки, раз у вас нет товару? Смеетесь вы, что ли?

Правда, на Украине был уже свой гетман — Павло Скоропадский, но исчезала и исчезала мука́. Почему-то исчезли также и крючки для рыбной ловли: никто не знал, куда они все делись, но их нигде нельзя было достать.

Леня, улыбнувшись по-своему, так, что совсем спрятались глаза в глазницы и рот расчертил чуть не от уха до уха лицо, сказал отцу:

— Вот идея так идея... А что, если мне самому крючки делать?

— Гм... Вот тебе на! Да их, должно быть, где-нибудь на фабрике делают, эти крючки,— начал думать о крючках отец, никогда не умевший отличить марену от вырезуба и подъязика от плотвы.

— Еррунда,— махнул рукой Леня.— Тут нужно только стальной проволоки достать и круглозубцы.

И то и другое он достал, и производство крючков началось. Он откусывал клещами кусок проволоки и расплющивал конец его молоточком, так что получалась лопаточка, потом ювелирными тисками зажимал и накалял проволоку, чтобы можно было от лопаточки зубилом отбить зазубрину и загнуть проволоку с одного конца для крючка, с другого для ушка, в которое вдевается леска. Никто не учил его этому, но рыболовный крючок — снаряд нехитрый. И вот скоро у всех «каменщиков» появились крючки Лени, за которые он получал в обмен хлеб и рыбу. На опыте он узнал, что проволоку накаливать надо до голубого цвета, а если только до красного, выйдет ломкий крючок.

Однако крючками быстро насытился ближайший к Лене рынок сбыта; нужно было придумывать что-то еще, и на смену крючкам пришли печи и плиты, и после

четвертой или пятой плиты Леня хвастал матери, играя по привычке кистями рук:

— Чепу-хо-вая штука... Ты, конечно, всегда ругаешься, когда печка плохо тянет, а знаешь, в чем тут вся сила? Колодцы не одной ширины кладут,— вот и все. Нужно, чтобы все ходы — один в один, вообще диаметр разреза...

Но Ольга Алексеевна была далеко не так восторженна, как Михаил Петрович; она свирепо обрывала Леню:

— Убирайся ты! Тоже печник!.. Что с твоей тяги, когда плита будет жрать по два пуда дров на один обед? И духовка может ни к черту не прогреваться... А кстати, сегодня я по нашему спуску шла и чуть себе ногу не сломала... Это не ты там с тротуара половину кирпича покрал?

— Ну что ты, мама,— я ведь на хозяйском материале работаю,— отворачивался, чтобы скрыть улыбку, Леня.— А за хозяев я ведь не отвечаю, где они там для плиты кирпич воруют.

Сама Ольга Алексеевна летом восемнадцатого вздумала завести при доме огород, отгородивши для этого часть двора. На нее глядя, другую часть двора тоже под огород загородил Павел Иваныч, оставшийся здесь, хоть он и не получал больше жалованья.

Ехать ему было некуда, а найти себе какое-нибудь место теперь смешно было и думать. Длинноволосый садовник, привыкший скармливать сено с хозяйского сада своей корове, теперь только горестно хлопал себя по бедрам и приговаривал в полнейшем отчаянье:

— Ну что ты скажешь с таким народом, а?.. Азиятцы оглашенные, а не народ...

Все окрестные коровы, козы и лошади паслись теперь в саду, в котором остались только кусты, деревья же были вырублены на дрова. Задумчивая прежде садовничиха стала теперь сварливой и крикливой, и когда ей надоедало переругиваться с женой Павла Иваныча, ругалась, уперев кулаки в бедра, с Ольгой Алексеевной, в огород которой любила просовывать через ограду голову пестрая Манька. Дворник-хват каждый день уходил теперь побираться, а двое Петек, которые жили с ним, вдруг пропали неизвестно куда. Когда на огородах Ольги Алексеевны и ревностного Павла Иваныча

появились огурцы и первые помидоры, пришел какой-то отряд, кто во что одет, человек десять, с новенькими мешками, и собрал все огурцы и помидоры в мешки, пообещав прийти еще, когда кое-что доспеет. Возмущенная Ольга Алексеевна вздумала было потребовать у них мандат на право реквизиции, но ей сказали, показав вынутые из карманов револьверы:

— Вот наши мандаты.

— Так вы, значит, просто грабители? — крикнула Ольга Алексеевна, уронив при этом и едва успев подхватить пенсне.

— Нет,— спокойно ответили ей,— мы не просто грабители, мы — анархисты.

И пошли с мешками, а дальнозоркий Павел Иваныч разглядел, как, выйдя из-за кустов в отдалении, пристали к ним двое пропавших Петек. Они, значит, тоже стали анархистами.

Первого августа в Киеве среди бела дня на улице был убит главнокомандующий немецкой армии, занявшей Украину, фельдмаршал Эйхгорн, а вслед за тем начали свой отход немцы, так как дела их на Западе были плохи и назревала германская революция.

Вместе с немцами убрался и гетман Павло, но остался Петлюра с петлюровцами, и много стали говорить около Лени о каком-то батьке Махно, появившемся в Гуляй-поле. Часто слышал он песню:

Наш батько Махно —
Він царь и він бог
Від Чаплино
И до самых Полог.

Зная, что Чаплино и Пологи какие-то небольшие станции за Кривым Рогом, Леня думал, что так поют только в насмешку, но этот батько вдруг с налету овладел городом, в котором жил Леня, и дня три гремела стрельба, так как город отбивали петлюровцы, называвшие себя республиканскими войсками.

И Леня видел незабываемую картину, как на мирных, захваченных у «каменщиков» рыбацких шаландах и калибердянках, огибая Богомоловский остров, переправлялся на другой берег Днепра сам Махно со всем своим штабом, а в парке рвались гранаты петлюровцев, посылаемые ему вслед, но вслепую. Между тем Днепр

готовился уже стать, стояла предзимняя холодная погода, падала ледяная крупа, по Днепру плыло уже сало. Махно все-таки переправился и ушел, а на другой день в местной газете объявлялось от штаба «сечевых стрельцов вильного козацтва» за подписью атамана Самокиша, что убитых и раненых в этом бою было до двух тысяч.

Кроме того, объявлялось в газете, что известная певица Плевицкая, три раза из-за боев отменявшая свой концерт, наконец даст его такого-то числа, во столько-то часов вечера, там-то.

II

Однако, хотя Плевицкая и пела «Из-за острова на стрежень» и «Ехал на ярмарку ухарь-купец» в собственной интерпретации, это было очень жуткое время — поздняя осень и зима восемнадцатого-девятнадцатого года.

Чуть смеркалось, на улицах около домов, то здесь, то там, попадались небольшие кучки пожилых и пока еще прилично одетых робких людей, между которыми бывали и женщины, державшие зябкие руки в муфтах. Поспешно возвращавшийся домой из училища Леня знал, что это — самооборона, выставленная домовыми комитетами, а бандиты будут ходить шайками несколько позже, и для тех из бандитов, которые не имеют еще никакого оружия, кроме ножей и дубинок, револьверы самооборонщиков явятся желанной приманкой: самооборонщики будут избиты, револьверы у них отняты, из приличных пока еще пальто их вытряхнут, а потом эти пальто, пожалуй, можно будет владельцам снова купить в комиссионных лавках, которые были открыты кое-где на Проспекте предприимчивыми и смелыми людьми.

В предводительском доме, как только смеркалось, делалось жутко. Огромный, в несколько десятин сад, отделявший дом от города и теперь совершенно доступный для всех, мог укрыть целое скопище бандитов, против которых смешно было и думать выставлять какие-то пикеты с револьверами, да и не было револьверов ни у кого в доме, а то охотничье ружье, с которым окарауливал когда-то дворник и дом и сад, давно уже было им

продано. Оставалась одна только надежда на топор, который Ольга Алексеевна клала обыкновенно около своей кровати.

Михаил Петрович уже не играл больше на скрипке даже и тогда, когда совершенно нечего было зажечь в комнатах. Вечерами вообще он делался тих и говорил вполголоса и все присматривался, не ломятся ли в двери. А по утрам, собираясь к себе в гимназию, он говорил Лене так, чтобы не слышала Ольга Алексеевна, что вот именно тогда, когда он добился в темпере всего, чего хотел добиться, обстоятельства, проклятые обстоятельства, складываются так, что нельзя уже даже и этюды писать, не только картины.

Потом как-то и с него, так же точно как и с других, сняли пальто на улице. Это было теплое драповое пальто с хорошим воротником из каракуля, и он не рискнул бы его надеть, если бы не был очень холодный день и не надеялся бы он прийти домой из гимназии рано.

Действительно, он шел еще засветло, и пальто с него сняли не тогда, когда он огибал сад — самое жуткое и подлое теперь место,— а в последнем переулке перед садом. Просто шли, засунув руки в карманы, четверо парней, и он еще только пытался разглядеть их лица сквозь запотевшие очки, а они уж окружили его, и один сказал просто и, видимо, привычно, негромко и даже как-то лениво:

— А ну, дядя, скидавайся.

— Что?.. Что вы... Я — учитель,— сказал было Михаил Петрович, сразу поняв эти простые слова как надо.

— А если вчитель, так шо? — еще проще и еще ленивее отозвался другой со скучающими глазами, пока даже и не покрасневшими от резкого холодного ветра.

И у всех остальных,— заметил Михаил Петрович,— были теплые лица, точно только что вышли они из какой-нибудь калитки, здесь же, в переулке,— увидели в окно, что идет подходящее пальто, и вышли.

Бежать от них он не думал,— куда же убежать от четверых здоровых парней? Он оглянулся кругом, чтобы кому-то крикнуть магические слова: «Караул! Грабят!», но никого не было кругом,— вряд ли даже смотрел кто-нибудь в ближние окошки, так как все стекла были щедро разузорены морозом.

Парни же очень быстро и ловко, видимо, привычно, начали раздевать его сами. Потом один из них тут же натянул его пальто на свою чумарку, и все они пошли дальше не очень быстрым шагом, а ему сразу вдруг стало холодно до дрожи.

— Нет, как же это? — бормотал он и вдруг крикнул: — Эй вы! Мерзавцы!

Но мерзавцы не обернулись, очки же его от волнения и оторопи так запотели, что он даже не разглядел, как парни пропали куда-то. Наступили внезапно сумерки, он дрожал все сильнее, а так как согреться мог только дома, то он и пошел домой, и чем дальше шел, тем быстрее.

Когда он рассказывал ошеломленно и возмущенно об этом Ольге Алексеевне и Лене, то Леня видел, что отец, хотя и художник, не находит даже достаточно выразительных слов, чтобы передать это картинно: так, значит, случилось это быстро, просто и совершенно непостижимо.

Дня два после этого Михаил Петрович совсем никуда не выходил и, готовясь к неизбежному, как он полагал, ночному ограблению, тщательно складывал свои этюды в самое надежное, по его мнению, место — грязный чулан, где были дрова и уголь, хотя Ольга Алексеевна и кричала, что он напрасно заботится о том, что совсем не нужно грабителям.

В гимназию Михаил Петрович начал ходить в единственном теперь своем осеннем потертом пальто, закутывая шею теплым платком.

Прачка со своим Петькой выбралась отсюда еще летом, и теперь на дворе осталось только двое Петек — управляющев и садовников. Так как Павел Иваныч, после того как ограбили анархисты его огород, решил с отчаянья завести корову, то теперь оба Петьки стерегли по ночам своих коров, чередуясь в этом с отцами.

Побирушка-дворник пропал куда-то, когда выгоняли из города махновцев,— может быть, даже был убит случайной пулей на улице,— и во всей бывшей усадьбе бывшего предводителя, который спасался где-то за границей, жили только три небольших семейства, одинаково боявшихся, что как-нибудь ночью их или убьют, или ограбят так начисто, что после этого все равно помирать с голоду. И когда они сходились на дворе, то говорили

только о страшном: о том, кого и как подкололи на улице и кого задавили в квартире полотенцем.

Ключи от дома почему-то все еще оставались у Павла Иваныча. Садовник, теперь уже остриженный и давно сменивший синюю шляпу на коричневую кепку, доносил на него Михаилу Петровичу, будто он тайно продал из дома какие-то «бесценные ковры» и «плюшевую мебель», хотя они, как всем это известно, теперь уж стали народным достоянием, а на полученные таким подлым манером деньги купил себе корову,— так что нельзя ли им, действуя сообща, оттягать у него эту корову?

— Вам стоит только,— говорил он,— написать такую бумажку куда следует, как вы ее лучше моего можете обдумать, эту бумажку... А что касается коровы, то вполне может она находиться в одном помещении вместе с моей Манькой, вы же, что касается молока, будете получать свой пай от нас... Сочтите же теперь, сколько это, по теперешнему времени, стоит, а вам будет приходиться совсем бесплатно. Я же один против него не могу иттить, хотя он теперь и не считается управляющий, а, прямо сказать, один ноль без палочки...

Жена Павла Иваныча, баба востроглазая, востроносая и без передышки говорливая, доносила Ольге Алексеевне на садовника, что он из дома через окно вытащил вместе со своею женой три кровати «с ясными шишечками и с пружинными матрацами», две шифоньерки японских и письменный дамский стол,— и все это стоит теперь у него во флигеле, а между тем это бы лучше было взять им, приличным людям, потому что садовник — мужик, и что же он понимает в письменных дамских столах, японских шифоньерках и кроватях с ясными шишечками?

Но, несмотря на такое наушничество своих отцов и матерей друг на друга, оба Петьки были между собою дружны и приглашали Леню ходить вместе с ними по вечерам снимать по соседству водосточные трубы и продавать их кровельщикам в Каменьях.

Трубы с дома они давно уже сняли и продали,— пощадили только те, которые были при квартире их товарища.

Против труб устоял Леня, но не мог устоять, когда они наперебой рассказали ему о своей находке в снегу, в саду, где только что стоял какой-то немногочисленный

самостийный отряд, выбитый петлюровцами. Убитых и раненых там уже убрали, но не заметили спрятанных винтовок и патронного ящика, заваленных комьями снега и сломанными наспех ветками.

— Винтовки? Вот это да-а! Это здорово! — воодушевился вдруг Леня.— Пускай лучше эти винтовки будут у нас, а не у бандитов.

И винтовки,— их было восемь штук,— и ящик патронов в тот же вечер были перетащены ими в дом, и долго зябли они на дворе эту ночь все трое, поджидая бандитов и объясняя друг другу, как надо стрелять.

На другой день, пренебрегши училищем, Леня, сопровождаемый Петьками, пошел в сад на учебную стрельбу. Они взяли одну только винтовку. Каждому удалось сделать по одному выстрелу и выбросить затвором по одному пустому патрону, и каждый из них попал в цель, потому что цель их,— кусок газеты, пришпиленный к снежной глыбе,— была всего в двадцати шагах, но неожиданно вслед за третьим их выстрелом просвистали над ними чьи-то звонкие пули. Винтовку они бросили и кинулись между кустов врассыпную по направлению к Каменьям. Там они и отсиделись до вечера,— Леня у Юрилина,— так и не поняв, кто именно в них стрелял откуда-то издалека, и не зная, кому досталась брошенная ими винтовка.

Зато, уединившись потом, они занялись патронами, освобождая их от пуль и от пороха. Они смутно представляли, на что может пригодиться им куча рыжего бездымного пороха,—думали только, что им они могут взорвать при случае что угодно, но насчет пуль они твердо знали, что из них выйдут летом отличные грузила.

Это занятие они повторили позже, в конце января девятнадцатого года, когда петлюровцы были уже выбиты из города, после трехдневной пальбы, советскими войсками.

Они не знали об этом: просто была очередная пальба, свистели везде пули, рвались снаряды, совсем нельзя было ходить в училища — и они все трое деятельно возились на крыльце большого дома со своими патронами, благо стояла оттепель, и вдруг их покрыла чья-то длинная тень: это был красноармеец с винтовкой за спиною.

Красноармеец был не из молодых, худой, с морщинами вдоль щек. Он присмотрелся внимательно ко всем трем и спросил тихо:

— Что же это вы, ребята, делаете?.. Па-тро-ны?

— Нет, до этого мы не дошли,— за всех ответил Леня.— Пока что только пули из патронов достаем.

— Пули?.. А зачем же вам пули?

— Как же зачем? Для рыбной ловли...

Красноармеец пытливо оглядел и Леню и других и сказал расстановисто:

— Это прямая порча боеприпасов. Та-ак... Вот чем вы занимаетесь. А где же вы взяли столько патронов?

— Нашли вон там в саду. В снегу были закопаны.

Красноармеец подумал и потом не спеша начал забирать целые еще патроны горстями и ссыпать в карман шинели. А так как следом за ним подошли еще два красноармейца помоложе, то первый сказал:

— Ну вот, теперь мы, ребята, разберем до точки, кто вы такие есть и почему это патроны у вас... Так, ребята, оставить этого нельзя, и мы у вас тут обыск сейчас сделаем.

Тогда Петька садовников, как самый хитрый из трех ребят, очень дружелюбно улыбаясь, сообщил:

— А разве ж мы только патроны нашли?.. Мы еще и семь винтовок нашли, здесь спрятали, а не то чтобы патроны одни.

— Это чьих же таких винтовок? — прикивнул своим морщинистый.

— А черт их знает чьих. В снегу нашли...

— И почему не сдали, если нашли?

— Во-от! Сдали чтобы...— еще дружелюбнее заулыбался Петька.— Бандитам их сдать, чтоб они из них постреляли нас? Они же ведь не рабочая армия... А вам мы, конечно, сдадим.

И винтовки были отданы красноармейцам.

На другой день Леня читал в местной газете «Известия» несколько новых приказов. Между прочими приказами запомнился Лене особенно один, о том, что «лица, виновные в производстве самочинных обысков и арестов, будут расстреливаться».

Бандиты обыкновенно требовали, приходя по ночам, чтобы им открыли двери для обыска. Приказ был издан

явно твердой властью. Уже в феврале писали в газете, что бандитизм в городе пошел на убыль, и хотя Ольга Алексеевна сильно сомневалась в этом, все-таки занятия в школах наладились, жалованье учителя стали получать в срок; налетов на квартиру Слесаревых не было; теперь пальто свое Ольга Алексеевна носила до самой весны... К лету же опять все смешалось.

Красная Армия отступила на север под натиском деникинцев. Через город потянулись бесчисленные подводы гуляйпольских и соседних с ними крестьян с женами и детьми и со своим скарбом, так как деникинцы разгромили Гуляй-Поле и все окрестные села, чтобы в тылу у них не оставалось махновской базы. Говорили в городе, что на сотни верст растянулись эти обозы,— сотни тысяч людей бежали из своих сел куда-то на запад, не зная сами, куда именно бегут они.

— Конечно... Что же это такое? Великое переселение народов? — спрашивал Леню отец, и глаза у него даже под очками казались совершенно белыми от испуга.

Улыбаться он перестал уже давно; возмущаться перестал после того, как с него сняли пальто засветло на улице. С того времени все глубже погружался он в испуг, точно шел по трясине и дошел уже до таких топких мест, что еще шаг-два — и конец, и не спасет уж никакая помощь. Он и говорить начал как-то хрипло и тихо и часто стал вздергивать голову, прислушиваясь и осторожно и медленно оглядываясь по сторонам.

Потом несколько месяцев городом владели деникинцы, главные силы которых пошли на Москву, и всюду на улицах встречались офицеры, и новые певицы объявляли о своих концертах, а между тем повсюду появлялись повстанческие отряды, и в целую армию выросли банды Махно, о котором писали, что он собственноручно убил атамана Григорьева и присоединил к своим силам его большой отряд. Новая зима прошла в страхах перед налетами, в то время как блюстители порядка заняты были борьбою с тем, что было введено Советской властью, объявляя для всеобщего сведения, что как «советский брак, так и разводы считаются недействительными, и лица, разведенные советской властью, должны возбуждать ходатайство о том же перед епархиальной властью».

Однако жить становилось все труднее, и Ольге Алексеевне пришлось отправить в комиссионные магазины все, без чего можно было обойтись человеку, не желающему голодать.

Огромные события, медленно назревая, бурно разрешались, сменяясь одно другим. Гораздо стремительнее, чем надвигалась на Москву, бежала от Орла армия Деникина под напором красных войск на юг и юго-восток. Но с запада вздумали надвинуться поляки, чтобы занять Киев и все Приднепровье; началась война, и неутомимо и самочинно снова заметался на своих тачанках в тылу у Красной Армии все тот же батько Махно...

Ольге Алексеевне казалось, что страшному времени этому не будет конца, и она, всегда решительная, начала так же, как и Михаил Петрович, оторопело оглядываться по сторонам.

Однажды старый приятель Лени, плотник Спиридон, появился у них на квартире. Он тоже перестал улыбаться, и они встретились, весьма пристально и, пожалуй, даже с некоторым испугом оглядывая друг друга.

Спиридон сказал то же, что Ольга Алексеевна слышала кое от кого и раньше: что подходит голод и что неизвестно, каким образом могут уцелеть люди, которые не подумают об этом теперь же.

— А как же об этом думать? — спросила Ольга Алексеевна.

— А как же еще думать?.. Думать надо так: или в городе, или в деревне рождается хлеб,— вот так надо думать,— ответил Спиридон.

— Хорошо, в деревне... Это всякий знает... А как же городские будут? — спросила Ольга Алексеевна.

— А как городские?.. Погибель будет на городских, вот я как думаю,— сказал Спиридон, и сказал он это так проникновенно, так убедительно, что Ольга Алексеевна решила в тот же день и совершенно бесповоротно: надо ехать в деревню.

И через несколько дней она собралась, бросила учительство и уехала верст за семьдесят в деревню Ждановку, где у Спиридона была родня, которая могла приютить ее на первое время. Она взяла с собою швейную машинку и, сколько могла достать, ниток; кроме

того, она думала там быть еще и учительницей, а заработанный хлеб посылать сюда — мужу и сыну.

Топор, который постоянно лежал около ее кровати, она передала Лене с таким напутствием:

— Если нападут бандиты, то ты не слушай, что твой отец будет рассказывать им о темпере и Рибейре, а колоти их, сколько силы хватит, исключительно по башкам,— хуже тебе от этого во всяком случае не будет.

Правда, Леня и теперь, на пятнадцатом году своей жизни, был и выше отца и шире в плечах; от Днепра получил он плотные и крепкие мышцы. Он взял из рук матери топор, повертел перед собою и сказал улыбнувшись:

— Тупой, точить надо... И топорище слабое, нужно переменить.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

После отъезда матери в деревню Леня перепробовал еще несколько ремесел. Он переплетал книги вместе с отцом; чинил и даже шил на заказ обувь; обшивал резиновые камеры футбольных мячей, причем сам и кроил из козьей кожи эти двенадцать замысловатого рисунка кусков, почему-то называющихся «огурцами»... Это было довольно трудно — выкроить дорогую тогда кожу так, чтобы ее не испортить, рассчитать, сколько ее ушьется, и плотно пригнать один кусок к другому, чтобы получить безупречную поверхность шара.

Потом удалось поступить на работу в мастерскую наглядных учебных пособий — расписывать красками сделанные из гипса разрезы человеческого тела, коровьего вымени, улиток, бабочек, червей... Для этого пользовались атласами и рисунками из научных изданий, и нужно было очень внимательно копировать и очень тщательно подбирать краски.

Михаил Петрович в это же время поступил в мастерскую полезных игрушек, где имел дело с папье-маше и тоже с распиской красками.

Голод, о котором говорил Спиридсн, пришел действительно — памятный голод двадцать первого года, когда единственною мечтою всех был большой-большой, на-

пример в кило весом, кусок хлеба, но куска этого негде было взять. Это было такое исключительное время, когда даже и бандиты грабили только съестное.

Скудные пайки, которые получали в мастерских отец и сын, довели их до большой худобы. Особенно заметно подался Леня, который еще рос. Он исхудал до того, что испугал приехавшую как-то из Ждановки Ольгу Алексеевну, и та немедленно усадила его на подводу и повезла в деревню. Она хотела взять туда и мужа, но тот не решился бросить свою квартиру.

Целый месяц кормила Леню, как и чем могла, деревенская портниха и учительница Ольга Алексеевна, пока он несколько оправился, иначе Данило Самко́ не взял бы его к себе в батраки.

Но, попав в батраки к этому хозяйственному, сосредоточенному и очень обстоятельному человеку, Леня понял, что работать по-настоящему, так, чтобы к вечеру не чувствовать рук и ног и засыпать где попало, ему еще не приходилось. Что такое работа, показал ему этот не тяжелый на вид человек лет пятидесяти, совсем не тронутый еще сединой, такой же худой, сухопарый, как Спиридон (они были двоюродные братья), но не лысый, аккуратно по воскресеньям бривший бороду перед чугунной миской с водой обломком косы, обернутым в тряпку, так как ни зеркала, ни бритвы не было в его хате. Усы у него были внушительнее, чем у Спиридона, и закручивал он их по-фельдфебельски, хотя никогда не служил в солдатах. Он считал себя православным, хотя ходил в соседнее село к обедне только в самые большие праздники, жена же его Дарья была ревностной шелапуткой, то есть баптисткой, однако это не мешало им жить в полном согласии, только Данило для своего обихода держал икону — маленькую, старенькую и до того почерневшую, что разобрать что-нибудь на ней не представлялось никакой возможности.

По вечерам они зажигали сальную плошку, которая так коптила и воняла, что Леня в первый же вечер сказал с чувством:

— Ну уж это черт знает что, а не освещение.

На что отозвался степенно Данило:

— Насчет того черта, шоб его у хати поминать, цего не треба казать, а шо карасину у нас черт мае, то уж выбачайте!

Хорошо было и то, что плошка горела недолго: спать здесь ложились рано, вставали чуть свет. Батрака же себе эта хозяйственная пара взяла потому, что подходила уборка, а урожай после голодного года предвиделся большой.

Никогда раньше не случалось Лене не только жить, даже и бывать в деревне, и в первые дни здесь казалось очень пусто и жутко, заброшенно и уныло,— хотелось бежать на Днепр, в Каменья, потому что там все было понятно и все значительно, а здесь и ничтожно и как-то очень трудно для понимания.

Реки здесь не было,— был ставо́к, около которого и ему, как и другим ребятишкам, приходилось пасти скотину хозяина, когда не находилось другой работы. На ставке полузатопленный у берега торчал дощаник. Леня вытащил его, кое-как починил, укрепил на его носу «журавля», к журавлю приладил «паука», к пауку привесил «фату», которую сам же и сплел челночком, и попробовал было ловить рыбу «плавом», то есть плыл по ставку, огребаясь тихо одним кормовым веслом, а сеть, прилаженная спереди, действовала сама, как небольшой бредень. Но в пруду водились только караси да плотички, и караси, как любители тины, не попадали в фату, от плотичек же толку было мало. Впрочем, и от какого-нибудь десятка плотичек в вечерней похлебке появлялся хотя и слабый, но все-таки рыбный запах, и сухое лицо Данилы потело от удовольствия.

Дарья была низенькая, широкая, очень смуглая баба; такими Леня представлял себе печенежек. Несколько раз пыталась она заводить со своим батраком разговоры о божественном, но язычник Леня только пожимал плечами и улыбался. Ведь дело было не на уроках закона божия в реальном училище, а вне этих уроков он даже не понимал и вопросов о том, нужно или не нужно молиться иконам, и с удивлением глядел на печенежку.

Что такое уборка хлеба в малом крестьянском хозяйстве, это потом долго помнил Леня. Во время молотьбы он едва не потерял глаз — вонзилась глубоко колючка будяка, летевшая из веялки вместе с половой. Дарья вздумала было вылизать ее языком, но совершенно нестерпимой от этой операции стала боль. Леня кричал: «Зеркало! Зеркало дайте!» — а ему поднесли все ту же черную чугунную миску с водой, в которой ничего здоро-

вым глазом не мог разглядеть Леня. Колючку вынула потом Ольга Алексеевна, а глаз болел долго.

Полову требовал Данило складывать так, чтобы сначала утаптывалась она в сарае стеной, толстым слоем, а потом уже за эту стену широкими деревянными вилами метали полову, и после, когда надо было достать ее для корма скоту, тащили ее из-за стены, проделав в стене отверстие.

У Данилы нашлись кое-какие инструменты, и Леня сделал ему новое корыто для свиней, новое ярмо для упряжки волов, высокие драбины для гарбы; два старых, однако пугливых мерина Данилы, испугавшись автомобиля, порвали хомуты,— пришлось чинить хомуты; даже в веялке, испортившей ему глаз, Леня сделал кое-какой ремонт, чем очень угодил хозяину. А печенежка осталась довольна им, когда он копал картофель, глубоко и равномерно, без огрехов, всаживая в рыхлую землю железную лопату; ему же эта работа нравилась, напоминая греблю, лихую греблю веслами на Днепре.

II

Под рождество Самкó думали резать кабана, которого закормили на сало, но его зарезали другие, и не только Леня, вообще крепко спавший, но даже и чуткий Данило не слыхал, как он визжал перед смертью,— должно быть, его оглушили, перед тем как колоть, сильным ударом обуха, а собака сбежала со двора за неделю до этого, и Дарья уверяла Данилу, что она взбесилась и пошла бродить, как это всегда бывает у собак. Только потом догадались, что воры именно с того и начали, что убрали собаку.

Однако унести зарезанного кабана ворам не удалось. Данило в этот день встал, как всегда, чуть свет и пошел дать в последний раз перед убоем кабану ячменной дéрти, думая про себя, что можно бы и не давать всей дерти, какую он нес в мешке, а только половину. Так как в садке у кабана было темно, то он взял с собою и плошку, однако дверь туда оказалась открытой. Данило, как сам он передавал потом, сразу вспотел, хотя на дворе и холодно было. Он послушал немного, не хрюкнет ли кабан, услышав его перед дверью, но в садке было тихо.

Ясно стало Даниле: кабана увели,— не зарезали, а увели со двора, как уводят лошадей, коров. Зажег он все-таки кое-как огонь и заглянул в хлев, держа плошку на отлете, чтобы тут же выронить ее наземь от испуга: он увидел, будто кабан лежит, уткнув голову в угол, а между поднятыми задними ногами его торчит человеческая голова в капелюхе. Больше ничего он не видел, только эту голову между кабаньих ног, и, убедясь, что не спит, пошел будить Леню и торопить одеваться жену. Потом оба они, и Данило и Дарья, даже боялись войти внутрь тесного садка, и только Леня бестрепетно рассмотрел, что кабан был заколот привычной к этому рукой — как следует, с одного удара под левую переднюю ногу, в сердце, и тот, кто заколол его, спрятал потом нож в кожаную ножну, привешенную к поясу. По виду человек сильный, он хотел вынести тушу один, связав задние ноги крепкой веревкой и просунув между них голову, но, должно быть, поскользнулся на луже крови, и тяжелая, пудов на двенадцать, кабанья туша сорвалась вбок с его спины и перевалилась за загородку к подсвинкам, захлестнув ему веревкой горло. У него было почернело-посинелое лицо, выкаченные глаза, высунутый прикушенный язык,— он был не похож не только на кого-нибудь из ждановцев, но и вообще на человека.

— Вот только странность какая,— недоумевал искренне Леня, когда все соображения свои он уже выложил,— почему же он не перерезал ножом эту веревку, когда его захлестнуло?

— От-то-ж господь его и наказав! — торжественно подхватила баптистка Дарья.— Шоб вiн не отнимал у нас нашу працю, от!

Но православный Данило ответил на его вопрос, подумав:

— Ум ему затмило, то уж видно... А шо их було тут два або целых три, то уж верно, и нехай мени нихто не балакае, шоб оцей один бидолага пийшов на таке дило,— ни... Може, тут де з санями стояли, да поутикалы...

Потом приходила на двор сельская милиция. Зарезавший кабана и удавленный кабаньей тушей задал всем задачу, так как никто из ждановцев не мог его признать, и два дня лежало его тело в хлеву у Данилы,

пока шло следствие и определилось наконец, что удавленный — житель соседнего села Трохим Значко, что удавили его не Данило с батраком, что был он не один, как и догадывался Данило, но другие двое, ребята-подростки, ожидавшие его с тушей у санок за двором, бежали потом от страха, когда увидели, что он мертв.

Но не только ночных воров боялись Данило с Дарьей и прочие ждановцы: последний вандеец — Махно — все еще кружил по югу Украины, делая неожиданные петли, а за ним гонялись отряды Красной Армии, и никто не мог сказать наверное, что вот-вот вдруг между хат не загремят махновские тачанки, и тогда прощай и кабаны, и свиньи, и овцы, и сено, и овес, и справная лошадь, вместо которой оставят загнанную клячу.

Больше года пробыл Леня в деревне, все такой же улыбающийся и шевелящий пальцами и очень охотно берущийся за что угодно, только бы не сидеть без дела. Но сыпной тиф свалил его уже в то время, когда в газетах писали, что он повсеместно пошел на убыль.

Несколько недель провалялся Леня, но едва оправился, к нему привязался тиф возвратный, своей назойливостью приводя в изумление Леню и в отчаяние Ольгу Алексеевну.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Между тем Михаил Петрович неутомимо клеил из папье-маше и расписывал полезные игрушки. Он урывал время и для того, чтобы расписывать и коровье вымя в разрезе. Теперь он ожил и говорил не меньше, чем говорил раньше, до войны и разрухи, но говорил уже исключительно о том, что живопись не может висеть где-то там в воздухе, сама по себе, и издавать какие-то трели, как жаворонок весною: живопись должна быть прежде всего полезна. Коровье вымя в разрезе, полезная игрушка для детей, плакат для толпы — вот настоящее назначение живописи. И если плакатов ему никто не заказывал, а другого коровьего вымени, кроме созданного природой, выдумывать он не имел права, то несколько несложных и дельных игрушек он предложил для производства, но, к удивлению его, они почему-то не

были одобрены, то есть их будто бы отправили в центр за разрешением и одобрением, но ни того, ни другого так и не было получено.

Зато, когда в городе открылся рабфак, ему удалось поступить туда преподавателем рисования и черчения, а так как при приеме на рабфак учащихся два процента мест предоставлялось детям преподавателей рабфака, то Михаил Петрович поспешил взять из Ждановки Леню, как раз перенесшего тогда восемнадцатый приступ возвратного тифа.

Горсоветом было отведено под рабфак пустовавшее большое четырехэтажное здание на Соборной площади, на горе, откуда открывался великолепный вид на все промышленное Заднепровье. Но здание это было попорчено орудийным обстрелом; на топливо были выломаны в нем двери и окна; разворованы радиаторы и трубы центрального отопления; даже котел отопления был приведен кем-то в полнейшую негодность — и вот рабфаковцы принялись сами, своими силами приводить этот дом в порядок.

Через горсовет они добыли другой котел, однако находился он за несколько кварталов от площади, притом внизу, а перевезти его не было у рабфаковцев никаких возможностей, кроме собственных мускулов. И они соорудили катки, погрузили на них котел, впряглись сами в оглобли и повезли. Выбивались из сил одни, впрягались новые; выбивались из сил все, бросали котел, шли спать в здание без дверей и окон, а с утра принимались за котел снова. И две недели тащили они в гору эту многопудовую тяжесть, пока, наконец, не установили котел на место. Своими силами ставили они радиаторы и трубы, тоже добытые в разных концах города, и столяры из рабфаковцев делали двери и рамы, стекольщики вставляли стекла, штукатуры возились с ремонтом стен и побелкой, кровельщики чинили крышу, развороченную снарядом. А к Октябрьским торжествам двое рабфаковцев под руководством Михаила Петровича сделали портрет Ленина такой величины, что поднять его под крышу дома можно было только на блоках.

На рабфаке было несколько отделений, приспособленных к различной подготовке учащихся. Леню зачислили на годичный курс; товарищами его оказались теперь уже не его однолетки-реалисты, а большей частью

бывшие красные бойцы в возрасте от двадцати до сорока лет; это было очень ново и поучительно.

Михаилу Петровичу тоже не случалось еще преподавать рисование взрослым людям, никогда раньше не бравшим в руки карандаша для таких странных целей. Между тем из большинства рабфаковцев должны были со временем выйти инженеры, а инженеры должны были научиться не только чертить, но и рисовать. И он добивался от них, чтобы они сознательно, имея дело только с простыми элементами рисунка («Все на свете состоит из элементов»,— говорил он), изображали графически рыбу, спокойно стоящую в воде, рыбу с откинутым в сторону хвостом, рыбу, ныряющую вниз, рыбу, всплывающую кверху... За рыбами пошли жуки, за жуками — мухи. Он убеждал своих учеников, что нужно как можно больше упражняться в рисовании, а для этого надобно иметь только одно ценнейшее качество: терпение. Он говорил, что и самые великие гении всех времен и народов — что же они такое в конце-то концов, как не величайшее терпение? С большим жаром доказывал он, что, упражняясь в быстроте зарисовок, можно дойти до того, до чего дошел французский художник Дега, который способен был зарисовать человека во время его падения из окна четвертого этажа на мостовую, или японец Хокусаи, который зарисовывал любую птицу во время ее полета.

Из своих лекций он составил самоучитель рисования с подробнейшими чертежами рыб, мух и жуков, и самоучитель этот, написанный по-украински, был издан местным издательством как учебное пособие. Сам же Михаил Петрович, понемногу оживая от прихлопнувшей было его разрухи, стал чаще заглядывать в тот угол своей квартиры, где были сложены его этюды и горшочки с засохшей темперой; также начал он подолгу созерцать по старой привычке обширные, только что выбеленные и пустые стены.

II

В общежитии Леня жил в одной комнате с шестью рабфаковцами других курсов. Самый младший по возрасту не только среди них, но и на всем рабфаке, он, так же как и отец, постоянно стремился разъяснять сво-

им новым товарищам то правило учета векселей, то подобие треугольников, то теорию параллелограмма сил, но у него не хватало того самого терпения, о котором говорил отец. А слушали его люди, не в пример лучше его знавшие, как надо без промаха стрелять из винтовки, переходить в ноябре речки по пояс вброд, чтобы внезапным ударом выбить противника из окопов, умевшие брать с бою орудия, броневики и даже танки, но по-детски робевшие перед пи-эр-квадратом.

И ему легче было идти с ними в шумной ватаге на вокзал выгружать из вагонов уголь для рабфака, присланный из Донбасса рудником-шефом, зарисовать тут же карандашом картину выгрузки, чтобы с вокзала же послать рисунок на рудник, потом идти на паровую мельницу выпрашивать грузовик для перевозки и потом, черным, как арап, торжественно привезти уголь на прокорм знаменитому и очень прожорливому котлу отопления.

Однокомнатник Лени, тридцатилетний Олейник, бывший командир эскадрона Второй конной, человек очень большой силы, однажды дошел до припадка всесокрушающего бешенства оттого, что не мог понять, как это «—а», помноженное на «—б», дает в результате «+аб».

Квадратноплечий и квадратолицый, он краснел, раздувал на лбу поперечную жилу, причем покрывались росинками крупного пота крылья его носа, и вдруг спросил натужно Леню, помогавшего ему по алгебре:

— Біляки-деникинцы, это, по-твоему, как — плюс или же самый минус?

— При чем же тут беляки? — не понимал Леня.

Но тот крепко схватил его за руку и закричал:

— Нет, ты... ты мени отвичай, як треба: плюс чи минус?

— В том смысле, что отрицательное явление, что ли?

— Ага!.. Вот!.. Отрицательно, значит воно минус... А махновцы?

— В этом смысле, конечно, тоже отрицательное.

— Ага... Значит, тоже минус...

И вообще Леня видел, что рабфаковцы не хотели принимать всякие школьные истины на веру, как это делали двенадцатилетние реалисты и гимназисты. Рабфа-

ковцы и к евклидовым аксиомам требовали доказательств,— часто горячие споры между ними затягивались до полуночи, когда комендант общежития Бедокуров, проходя по коридорам, тушил собственноручно свет. Из внезапно упавшей на спорщиков темноты неслась ему вслед дружная ругань. Не доспорив до конца, все-таки как же было лечь спать? Выходили на берег Днепра, и если не доспаривали, то по крайней мере хоть совершенно уставали от споров, а на другой день, не выспавшись, начинали спорить снова в умывальной и за завтраком.

Комендант Бедокуров был предан своим обязанностям до чудачества. Он каждый день обходил все комнаты общежития, заглядывая во все углы, и иногда оставлял на тумбочках такие, например, записки, писанные карандашом на кусочках серой оберточной бумаги:

«Абзолютно ознакомившись с общежитием, студенту Слесареву Леониду за небрежное отношение к кровати, за открытие тумбочки, за оставление хлеба на окне, который разлагают мухи, ставлю на вид».

Весною так же азартно, как спорили о всяких азбучных истинах, рабфаковцы играли на широкой Соборной площади в футбол, и пришлось Лене вспомнить, как надо выкраивать из козьей или бараньей кожи двенадцать «огурцов» и как ушивать их, чтобы как следует обтянуть резиновые камеры и чтобы было прочно, главное, потому что засидевшиеся за зиму ребята били мяч с большим остервенением.

Футбольных команд сразу образовалось до десятка, и столько же мячей пришлось сшить Лене, зато это уменье его сразу оценили все на рабфаке: оно было явно и бесспорно.

С одним из рабфаковцев, своим однокурсником, очень подружился Леня. Зимою вместе они ходили на лыжах, а на Днепре, на том самом катке, который из года в год и из поколения в поколение устраивали «каменщики», вычерчивали на коньках восьмерки.

Это был веселый малый — Шамов Андрей, сын шахтера Берестовско-Богодуховского рудника, ростом несколько ниже Лени, но неизменно на второй минуте борьбы клавший его на лопатки, участник гражданской войны в Донбассе, хотя был он почти одних лет с Ле-

ней, немного старше, стрелявший из винтовки наряду со взрослыми, когда было ему всего четырнадцать лет, а в пятнадцать бывший уже комсомольцем.

Он учился до Октября только в высшем начальном, однако способности к математике были у него лучше, чем у Лени, а память не хуже. Вместе они окончили рабфак и поступили в горный институт, который был в те далекие времена единственным вузом в городе. В горном институте и столкнулись они вплотную с загадкой кокса.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Загадка кокса захватила в плен Леню еще в первый год студенчества, когда доступны и понятны стали ему таинственные плезиозавры-заводы. Вытянув кверху тонкие издали трубы, они теперь уже снова задымили кругом, и доменные печи огромного металлургического завода по ночам снова пылали далеко видными огнями.

Леня узнал, что хозяин этих домен — кокс, что от поведения кокса в них зависит их работа, и достаточно было Лене всего один раз побывать на коксохимическом заводе, как он уже восторженно выкрикивал отцу:

— А ты ведь не знал, конечно, что анилиновые краски добываются из каменного угля. И метиленовая синька... Индиго, да, индиго тоже, что тебе в особенности надо знать... И фуксины... И красные, желтые, коричневые краски... Всех цветов краски добываются из угля при коксовании. И духи тоже. И эта еще прелесть — нафталин, от которого моль дохнет... И черный лак. И салицилка, представь себе, тоже. И креозот... Однако и ванилин тоже. И слабительные разных сортов... но и взрывчатые вещества тоже... И жасминное масло, и коричневое масло, и сахарин... И вообще — вообще черт знает чего только не добывают из каменного угля!.. Но главное все-таки — кокс... потому что без кокса не было бы железа.

— Да-а... Вот видишь... А кокс, это что такое! Изобре-тение человеческого ума,— засверкал на него очками Михаил Петрович.— А изобретение — это все равно

что искусство... Тер-пе-ние — вот что нужно и для того и для другого. Ты знаешь, что сказал об этом Бюффон? Он сказал так: «Изобретение зависит от терпения». Вот что он сказал. «Надо долго разглядывать предмет со всех сторон, и, наконец, ты почувствуешь толчок, ударяющий тебя в голову: это и есть вдохновение гения...» Вот как сказал Бюффон.

— Зачем же ты свернул на гения,— не понял Леня,— когда каждый день что-нибудь да изобретает обыкновенный какой-нибудь слесарь? Просто нужно ему что-нибудь сделать, чего он никогда раньше не делал и представления не имел, как делать, однако нужно — вот и все. Он и делает, потому что нужно. Придумывает, изобретает и делает, и никакого гения, никакой этой пышности тут нет. Все это чепуха, конечно, насчет гения, хотя она и бюффонова чепуха... О Ньютоне тоже принято говорить, что он открыл закон всемирного тяготения, а Роберт Гук на двадцать лет раньше его и в той же Англии этот самый закон опубликовал... Но кокс,— он, понимаешь ли, шельма: он, прежде всего, не из всякого каменного угля получается, это раз. А бывает так, что если получается, так ни к черту не годится, это тебе два. А почему это происходит,— на этот счет ученые теряются в догадках, хотя уж триста лет, как начали кокс выпаривать... Но ты представляешь, картина-то какая получается. Экзотические леса попали под землю — росли на болотах, потом их замулило, как бревна на Днепре, да, вот именно, совсем как те бревна, какие мы, ребята, вытаскивали штылями и канатами: «А ну, зыбайся!» И зыбались на лодках... Но эти всякие там гигантские папоротники, и хвощи, и какие-нибудь голубые лотосы, и водяные лилии, и прочие, и прочие, и тому подобные — их некому было вытаскивать тогда, и попали они на дно, и затянуло их тиной, засосало, да еще сверху на них ила из рек нанесло. Так или иначе — давление, температура,— словом, образовался из всех этих покойничков каменный уголь, но сохранил он, чернец этот, в себе все, все, что тогда было в растительном мире: все краски, все ароматы, все яды и дурманы, все жиры и все смолы — все решительно, и вот, пожалуйте, владейте теперь всем этим вы, товарищи Слесаревы, и прочие, и прочие. А? Правда, красиво получается?

— Что же... Ничто в природе не пропадает, значит, — отозвался отец.

Но сын выкрикнул с азартом:

— Какой же там черт не пропадает? Пропадает сколько угодно. Ведь у нас коксохимических заводов мало, а в коксовых заводах весь газ куда идет? В небо? А в этом именно газе и таится всякое индиго и все взрывчатые вещества. И сколько у нас есть угольных пластов, а мы в них угля не добываем; и сколько угодно есть сортов углей, а они совсем не коксуются, не говоря уж об антраците. Что же это, как не явная пропажа? Коксовались бы, пошли бы в работу, на заводы, а пока все это — хлам.

Отец отозвался уклончиво:

— Хлам, он тоже ведь нужен...

Но сын подхватил азартно:

— На что именно? Плиты им топить в кухнях? Плиты можно топить и тем же газом с коксовых заводов,— гораздо проще и дешевле... Нет, вот заставить всякий уголь коксоваться — это другое дело! Может быть, он, черт, не коксуется потому, что еще молод? Тогда нам бы его искусственно состарить ускоренным темпом. Или, наоборот, может быть потому, что очень стар,— тогда мы его омолодить должны. Уголь — это полезнейшая рабочая сила: надо омолодить если, пожалуйте в наш углеврачебный кабинет, мы вам вернем молодость... Вот какие задачи задает кокс. Если бы решить только — э-эх!..

И Леня раза четыре стукнул себя кулаком по лбу, зажмурясь, как всегда жмурился при улыбке, широко раздвигавшей его рот.

Они жили теперь уже не в доме, а в том флигеле, который занимал когда-то садовник, теперь перебравшийся в деревню, где получил надел. Но из окон флигеля тоже был виден Днепр, который под Кичкасом уже собирались обуздать и заставить служить советской индустрии.

Леня смотрел на днепровские волны и шутливо декламировал, переиначивая гейневские стихи:

О, разрешите мне, волны, загадку кокса,
Древнюю, полную муки, загадку,
Уж много мудрило над нею голов,
Голов человеческих, жалких, бессильных.

А Ольга Алексеевна, гремевшая в это время в столовой обеденными тарелками, говорила ему с не покинувшей еще ее беззлобной издевкой:

— Иди-ка лучше загадку борща решай.

Но и решая загадку борща, Леня все-таки продолжал говорить о коксе, больше самому себе вслух, чем отцу, который весьма рассеянно его слушал.

— Во-об-ще нам не хватает коксующихся углей, чтобы, понимаешь, развернуться вовсю, как бы мы хотели... Значит, надо что-то делать? Плохой уголь надо сделать хорошим — только и всего... Вот задача.

— Забивают вам, мальчишкам, головы там всякой ерундой,— решила мать, передернув, как от запаха клопа, ноздрями.

Леня не обиделся; он только сказал, улыбнувшись:

— Почему же ерундой, когда все это вполне возможно?

Потом проворно скатал хлебный шарик пальцами левой руки и щелчком послал его в угол за шкаф.

— Для мышей? — спросила мать, заметив это.

— Да, для мышей,— машинально повторил Леня, потому что думал о Бергиусе, и спросил мать: — А Бергиус, по-твоему, как? Тоже ерунда?

— Ешь и не говори всяких глупостей,— прикрикнула мать.

— Бергиус, а? Глупость это, по-твоему? — хитровато засмеялся Леня.— Бергиус во время мировой войны ре-во-лю-цию произвел в науке... В Германии ведь нет своей нефти, а все авто, все моторы, на самолетах например, на чем же работают? На бензине. В худшем случае, на керосине... А запасы бензина, какие были в Германии, подходили к концу... И вот — науке спешное задание: добыть во что бы то ни стало бензин из чего угодно. И Бергиус,— закончил Леня,— добыл бензин все из тех же ископаемых углей, только из бурых. И этим спас положение.

— Спас, а Германию все-таки побили. Или это кого-то другого побили — я уж забыла,— прищурилась Ольга Алексеевна.

— Пускай побили, но разве же потому, что бензина не было? — возразил Леня.— Также во время войны нужда была в той же Германии в резиновых шинах,

и там начали вырабатывать искусственный каучук. Из чего же вырабатывать? Все из того же угля.

— И бензин из угля, и каучук из угля, и фуксин из угля, и сахарин из угля,— выходит, что все из угля? Не-у-же-ли? — уставил неподвижно в глаза Лени свои, расширенные исхуданием и удивлением, Михаил Петрович.— Это замечательно.

И, начиная уже заражаться восторгом сына, отец заговорил громко и очень оживленно:

— Да ведь это — поэма, а?.. Ведь какую поэмищу можно бы написать на такую тему... А картины?.. Целую серию картин можно. С этого самого леса начиная, о каком ты говорил: папоротники гигантские на болотах и лотосы голубые...

Ольга Алексеевна заткнула уши пальцами и, весьма серьезно поглядев на мужа и сына, сказала почему-то по-украински, как привыкла говорить в Ждановке:

— Слухайте,— а ну іште мовчки.

Эти два года, проведенные в Ждановке,— она не могла забыть их, они очень озлобили ее,— она подорвалась. Кроме того, как-то зимою, когда уже вернулась она из Ждановки, пришлось снова идти верст за двадцать в деревню за мукой; пошла прямо через Днепр по льду, одна, но провалилась в воду, едва выбралась, потом долго болела. Так любившая прежде веселых людей, анекдоты и преферанс, она теперь смотрела на всех очень подозрительно, точно отовсюду ожидала нападения. Она теперь уже нигде не служила, только вела домашнее хозяйство. И когда она сказала: «іште мовчки» — сразу замолчал Михаил Петрович и начал катать шарики для мышей Леня.

II

Было еще одно, что повлияло тяжко на Ольгу Алексеевну: смерть ее брата Максима, убитого махновцами за то, что очень смело в конце восемнадцатого в Новомосковском уезде основал он, собрав сельскую бедноту, земледельческую коммуну и был в ней председателем; за то, что никуда не бежал он, когда пришли махновцы, и даже вступил в спор с самим Щусем, правой рукою Махно.

Максим был любимый брат Ольги Алексеевны, потому что, подобно ей, говорил всегда то, что думал, и делал только то, что хотел делать. Несколько раз он очень круто ломал свою жизнь, подолгу не давая о себе знать, потому что не любил писать писем, а писем не писал потому, что не любил никого затруднять собою.

Последнее, что знала о нем Ольга Алексеевна, было то, что он женился, служил штурманом на каком-то пароходе и жил в Одессе. Но это известие о нем получила она незадолго до войны, а теперь, когда Леня был уже студентом, она встретила на улице мальчугана лет тринадцати, странно похожего на брата Максима, каким помнился он в те же годы. Но мальчик повернул в переулок и исчез куда-то, и с неделю после того она говорила то мужу, то Лене:

— Вот досада какая! Эх, досада!.. Надо было бы мне спросить его, кто он такой, а я, как последняя дура, разинула только рот и стою... Экая жалость.

Но однажды, когда она готовила обед, кто-то тихо постучался в дверь. Она отворила и испугалась этой новой случайности: перед нею стоял тот самый мальчик, похожий на брата Максима, и она мгновенно поняла, что это ее племянник, и спросила коротко и глухо, как новичка в классе:

— Имя как?

— Гаврик,— так же тихо, как постучался, ответил тот, с видимым любопытством рассматривая тетку, которую он никогда раньше не видал.

Потом оказалось, что Гаврик был три года после смерти отца и матери, умершей от тифа, беспризорным, а теперь учился здесь в фабзавуче и жил в общежитии.

Отцовского, что поразило Ольгу Алексеевну, в нем было действительно много: густые, уже и теперь сросшиеся, темные брови, от которых казался вызывающим взгляд, очень крепко сжатые тонкие губы, не умеющие улыбаться, высокая лобастая голова и длинное узкое лицо; даже походка его оказалась отцовской, но тихий голос — или материн, или свой.

Случайно, в то время, когда он рассказывал Ольге Алексеевне, как убивали отца, зашел Шамов за какою-то нужной ему книгой: разыскав ее у Лени на этажерке, он хотел было уйти, но, когда услышал о махновцах, остался, уселся против Гаврика и смотрел на него в упор.

— Очень мучили его долго,— тихо говорил тетке племянник.— Это же прямо на улице было, перед окном нашим... Я смотрел сначала,— не думал, что они убивают,— потом уже не мог... Сел на полу и только плакал: мне тогда восемь лет было... А мать к ним два раза бросалась, чтобы отца отнять; ну, куда же там отнять, когда толпа их огромная... Ее тоже избили тогда, она потом кровью харкала... Кабы не избили, она бы от тифа не умерла бы: мало, что ли, у кого из людей был тиф?.. У кого его не было тогда, а только не все же ведь помирали. А это ей тогда все внутренности отбили,— она слабосильная стала...

— Как же его мучили? — глухо спросила тетка племянника, глядя не на него, а в пол, в одну точку перед носком ботинка на правой ноге.

Гаврик скользнул по Шамову тяжелым взглядом исподлобья и ответил, явно недовольный тем, что пришел кто-то еще и сел и слушает.

— По-всякому мучили... Там был у них один здоровый очень... бо́льших людей, как этот, и я не видал потом... Великан какой-то... Это он отца мучил... А Щусь только стоял в стороне и всё папиросы курил. У Щуся бескозырка матросская была с лентами желтыми, а этот, великан, в папахе белой лохматой, а верх красный.

— Белая папаха? Ну?.. Помнишь, что белая? — вдруг почти вскрикнул Шамов.

Гаврик только чуть глянул на него, продолжая:

— Ну да, белая... Этот сначала все по лицу отца кулаками бил, потом руки выламывал... Потом поднимет его с земли — и-и-и хлоп! Поднимет — и хлоп об землю!

— Довольно...— сказала Ольга Алексеевна.

И хотя Гаврик тут же замолчал, она прикрикнула на него:

— Ну-у!.. Довольно же, тебе говорят!

Шамов вскочил, сильно потер руки одна о другую, поерошил густые светлые волосы, стоявшие дыбом, прошелся по небольшой комнате, постоял немного у окна, поглядел на желтый под солнцем Днепр и спросил вдруг у Гаврика:

— Усы черные?

Гаврик понял, о ком он говорит, и ответил уверенно:

— Ну да, черные.

— А деревянного ящичка такого у него сбоку не бол-

талось, а? На поясе... ящичка такого длинного... не заметил?

— Маузера?.. Был маузер,— уже гораздо громче и оживленнее ответил Гаврик.

— Маузер, да... А ты это видал действительно или сейчас только выдумал? — подошел к нему очень близко Шамов.

Гаврик обиделся. Он дернул вызывающе, совсем по-отцовски,— Ольга Алексеевна отметила это,— лобастой высокой головой и прогудел:

— Вот тебе — выдумал!.. Что же, я маузера не знаю?.. Я его и тогда знал. У отца был спрятан под печкой, только он сразу не мог его достать, когда махновцы пришли...

— Черные усы, да?.. И рожа красная, как помидор?.. И такой ростом? — Шамов вытянул вверх руку, насколько мог, даже несколько приподнялся на цыпочки.

— А вы его разве тоже видали? Где это? — вместо ответа спросил мальчик, и оказалось, что голос его может и звенеть, а глаза под сросшимися бровями глядеть прикованно-неотрывно.

И Шамов ответил медленно и торжественно, положив ему на плечо руку:

— Я, брат, его не только видал, как тебя сейчас вижу, я его еще и расстреливал, если ты хочешь знать... Вот что было... Нас четверо тогда было мальчишек, таких почти лет, как ты сейчас, только у всех у нас винтовки были — вот... И мы эту сволоту пустили в расход, если ты хочешь знать, и маузер с него сняли.

У Ольги Алексеевны сорвалось было пенсне, она поймала его рукой, укрепила и строго поглядела на Шамова, сказав:

— В вашем вранье никто не нуждается, товарищ Шамов!

Но Шамов привык уже к матери Леньки Слесарева; он только подкивнул упрямой головой и блеснул глазами:

— Если бы вранье... А то расстрелял, в чем и каюсь,— факт. Только это раньше со мной иногда бывало: каялся. А теперь вижу, что каяться мне не в чем: явного палача без суда и следствия отправили к Колчаку, и отлично сделали.

— Где это? Где это было? — опять почти шепотом спросил Гаврик и зажал губы.

— Это было где?.. Это было под Лисичанском, если ты хочешь знать. И было мне тогда пятнадцать лет хотя, но я уж в комсомол был записан. А в каком году, если хочешь знать, то это уже после Врангеля было, да, в двадцать первом... Махно тогда Красная Армия очень здорово потрепала, и подался он как раз в наши края, на Лисичанск, а я тогда в тех краях у матери жил, отец же, конечно, из Красной Армии в то время не вернулся; рудники тогда не работали многие, а какие и вовсе были затоплены — вот какая картина была. В рудниках только люди от смерти прятались, и сирены там гудели не на работу идти, а винтовки брать, у кого были, да собираться куда надо. Сирены же там, если ты хочешь знать, это не то что гудки на заводах. Гудки — что-о, гудки — малость! А это — такая чертова музыка, что аж за сердце хватает и в печенках от нее больно... Сирены... Их две на каждом руднике было: одна басом орала,— та еще так-сяк, ту слушать можно,— а уж другая зато до такой степени визжала подло, окаянная, как ножом по горлу резала...

— При чем же тут сирены? — перебила Ольга Алексеевна.

— Обождите, я сейчас скажу... Сирены у нас там были вместо колоколов, чтобы в набат ударить, в случае если тревога... А тогда как раз ожидался Махно... Мы, комсомольцы,— нас всего десять человек было, и народ все отчаянной жизни, от пятнадцати до семнадцати лет,— решили оказать сопротивление... Ждем их с вечера — не слыхать и не видать, а дождь, грязь, холод — это да: осенью дело было. Прозяб я, а тут поблизости материнская хата, зашел погреться,— часов уж девять было,— да нечаянно на сундуке растянулся и сам не заметил, как заснул...

— Ничего я не пойму. Чего вы собственно хотели?.. Сколько шло махновцев? — опять перебила Ольга Алексеевна.

— Махновцев?.. Несколько тысяч. Вся его армия, конечно...

— А вас десять человек, дураков?

— А нас, дураков, только десять, больше не нашлось... И вот я заснул, значит, а мать, оказалось, поду-

шечку мне под голову подсунула, потому что, известно — материнское сердце... Уснул я, как пень, и вдруг вой мне в уши! Вскочил — что такое? Головой болтаю, а глаз открыть не в состоянии. Сирены! Вот тебе черт! Значит, Махно идет... Я с сундука — сапогами в пол, фуражку надвинул, винтовку в руки — в дверь... А мать, конечно: «Андрюшка, куда ты? Спи, это так себе... Спи себе, а винтовку мне дай, я спрячу...» «Так себе»! Хорошо «так себе», когда наш же комсомолец, Сашка Мандрыкин, возле сирены дежурил! И сирены воют на совесть, как волки голодные... Я, конечно, от матери вырвался, в двери... А на дворе дождь шпарит, и темень, хоть глаз коли, и грязь чавкает, а сирены эти чертовские... Нет, вам их надо послушать самим, тогда только вы поймете как следует... Вдруг за руку меня кто-то: «Андрюшка, ты?» — «Я».— «Залп надо давать. Едут... Махновцы...» Собрались ко мне все ребята,— сирены уж замолчали,— значит, наш десятый к нам по грязи дует тоже... Слушаем мы, как там на дороге,— действительно, как будто шум... И вот мы в ту сторону ляснули из девяти винтовок... Залп! Да какой еще геройский: никто не сорвал. А в кого мы там били и куда наши пули попали, это уж, конечно, принадлежит истории. Только махновцы, должно быть, и не почесались. И еще мы по ним по два залпа дали, и только после этого патронов нам стало жалко, и разошлись мы в темноте вдоль стенок кто куда.

— Но все-таки — махновцы это шли или что такое? — опять не выдержала, чтобы не перебить, Ольга Алексеевна.

— Разумеется, махновцы — вся армия... Только мы их встречали в трех километрах от Лисичанска, а они шли прямо на Лисичанск, потому что там все же таки город порядочный, можно и отдохнуть, и обсушиться, и пограбить, а у нас на руднике что возьмешь и куда армию поставишь? Значит, прошли мимо, а утром наши ребята опять собрались: отсталых ловить. Тут уж вообще какая-то каша была, и я толком не помню всего. Были такие, что они будто и не махновцы совсем, а силой взяты: те прямо сами ходили искали, кому бы им оружие сдать, да чтобы их домой отпустили. А были настоящие, коренные махновцы, только от стада отбились. Те, конечно, путались, один другого топил на допросе...

Ведь армия-то шла здорово потрепанная, и ясно, что многие понимали: сейчас ли им конец, через месяц ли им конец,— все равно конец. И вот мы тогда вчетвером захватили одного молодца в хате: он, видите ли, водицы напиться зашел. Напиться или еще зачем — черт его знает, только пьян он был здорово: может быть, в самом деле думал кваском подзалиться. Вошли мы один за другим — такая орясина перед нами, в потолок белой папахой упирается, нисколько не прибавляю.

— Белая папаха? — живо спросил Гаврик.

— Белая. Верх красный. Маузер сбоку... Мы на него сразу — винтовки на прицел: «Давай оружие!» А хата, конечно, тесная даже для одного того, а тут еще хозяйка только что с перепугу ему хлеба отрезала кусок, и в руках у нее нож. Ну, один из нас зашел сзади, нож у бабы выхватил, а нож был вострый, чирк по его поясу, и маузер вот он, у него в руках... А три винтовки палачу прямо в морду смотрят. И он пьян, как самогон, аж качается стоит... «Ну, дядя,— говорю,— а пожалуйте теперь в наш штаб, там с вас допрос сымут...» Как запустил он,— баба аж фартук к носу,— а мы его под руки двое — и из хаты.

— Пошел? — спросил изумленно Гаврик.

— Пошел, ничего. Только все ругался, а идти — шел.

— Почему же он шел? Опять вранье! — строго посмотрела Ольга Алексеевна.

— Когда же я еще врал? Нет, я сегодня по крайней мере говорю чистую правду, и совсем мне не до вранья,— обиделся Шамов.— А шел он почему? Черт его знает, почему он шел. Мы перед ним были как моськи перед слоном, а ведь вот шел же. В штаб, мы ему сказали, а какой-такой был у нас штаб? И он едва ли думал, что штаб... Я думаю, хоть и пьян он был, а понимал, что ему уж скоро конец, иначе бы не ругался так... Раз человек ругается — значит, ни на что не надеется... Ну, вообще, я не знаю, конечно, почему он не кинулся винтовки у нас вырывать. Должно быть, пьян был настолько, что силы не чувствовал... И как он оказался в тылу один? Может, ночью из тачанки выпал? Или так слез сам, мало ли зачем по пьяному делу... Ну, словом, черт его знает, только он шел, а мы, четверо мальчи-

шек, его вели. И только место глазами искали, где бы нам его шлепнуть.

— Он на то надеялся, когда ругался, что его сразу убьют и мучить не будут,— догадливо вставил Гаврик.— А бежать он, если настолько пьян, конечно не мог...

— Куда ему там бежать!.. Ну, мы довели его до хорошей такой лужайки, говорим: «Теперь иди, дядя, сам дальше, вон там наш штаб!» Показываем на сарай воловий какой-то и ждем, когда он от нас пойдет, чтобы нам разрядить ему в спину винтовки... А он ни с места. Стоит, как столб, и все накручивает: «Щенята вы, так вас и так!..» Ну, мы видим, что его учить нечего,— кого угодно поучит, как стенку делать,— отошли, прицелились, я скомандовал: «Пли!..» Он ногу вперед выставил и упал на бок. «Ну,— говорю,— одним палачом меньше!» Глядим, подымается, сел. «Сволочи! — кричит.— Тоже винтовки носят, а стрелять не умеют... В воздух, сволочи, целились?» И пошел ругаться... Поглядели мы друг на друга. «Ребята,— говорю,— еще залп! Только целься как следует». А он уж опять поднялся. Опять я: «Пли!» Смотрим, упал. «Ну,— говорим,— теперь готов». А он нам: «Не на такого напали!» И опять садится. И опять костерит нас почем зря. Ну, тут уж мы далеко не отходили и еще по выстрелу сделали.

— Убили? — очень живо спросил Гаврик.

— Больше уж не вставал... А мы от него пошли других искать.

— Это он самый и был,— вдруг не то что улыбнулся, а как-то улыбчиво просиял одними глазами Гаврик.

Шамов опять положил ему на плечо руку:

— Конечно, он самый! Да нам и в Особом отделе тогда сказали: «Известный махновский палач...» Только фамилии его нам не говорили... Он самый.

Ольга Алексеевна долго смотрела на Шамова, сначала испытующе и недоверчиво, потом как будто даже несколько испуганно, наконец глаза ее покраснели, она сняла пенсне и вышла стремительно в другую комнату, откуда через минуту раздался почему-то сдавленный и мало похожий на ее голос:

— Если вы никуда не спешите, Шамов, то... обед будет готов через четверть часа.

III

В годы разрухи огромный городской парк был весь вырублен на дрова. Выкорчевали начисто даже и пни двухобхватных столетних осокорей и вязов. Ничего не осталось от парка — дикое поле.

Горсовет решил разбить на этом поле снова парк, но вместо осокорей северяне из горсовета усердно добывали для парка молодые березки, а двое южан не менее усердно — павло́нии, шелко́вицы и маслины.

А на месте предводительского сада решено было устроить стадион, и целая армия грабарей принялась выравнивать капризно вздыбленную землю бывшего сада, и плотники, сколотив себе балаган, строгали в нем доски для трибун.

Все преображалось вокруг большого, раскидистого и бесполезно стоявшего дома, в котором прошло отрочество Лени. Этот натиск невиданных здесь берез — с одной стороны, павлоний и маслин — с другой, и стадиона — с третьей, Леня всем телом чувствовал как натиск увлекательно новой жизни, которая упрямо,— вся в крови и лохмотьях,— продралась сквозь бои на всех фронтах, сквозь жесточайшую разруху, сплошной голод и все виды повального тифа.

Но эта увлекательно напористая новая жизнь готовилась ринуться на Леню еще и с четвертой стороны — со стороны Днепра. И хотя не начинались еще работы, но Леня представлял уже, каким через несколько лет станет Днепр, измеренный им здесь во всех направлениях на бесхитростных «дубах», на калибердянках, шаландах, гичках и обшиванках,— на веслах и под парусами.

Однажды теплым первоосенним днем Леня привел на Днепр двух своих новых друзей ассистентов, работавших в химической лаборатории при горном институте,— Кострицкого и Ованесову. Он непременно хотел показать им не только Богомоловский остров со всех сторон, но и целую дюжину других островов, более мелких, и те пещеры, в которых караулил он военнопленных «резников» и откуда водили их на водопой, и снасти, которыми ловят марену на пшенную кашу, и как на парусах, на легкой гичке, при низовом ветре, который гнал на Днепре волну за волною, можно было буквально переле-

тать с верхушки одной белоголовой волны на верхушку другой.

Своей лодки в это время у Лени не было, но он достал лодку на троих в Каменьях, у внука старика Юрилина, который все еще по-прежнему действовал рубанком и отборником и по-прежнему удивлялся тому, как много еще и теперь, когда правильно вполне объявлено: «Кто не работает, пусть не ест»,— осталось праздного народу: сидит на Проспекте на скамейках, курит и наземь плюет, слова цедит врастяжку и говорит все об чем-то совсем ненужном.

Всего великолепия Днепра показать так, как хотелось, конечно, не удалось Лене, потому что лодка была без паруса, марена любила ловиться на пшенную кашу только в совершенно тихую погоду, и вдобавок ни Кострицкий, ни Ованесова не умели ни грести, ни править рулем, так что только мешали и чуть не потопили какого-то бойкого мальчугана, плывшего наперерез лодке.

Но прогулка все-таки вышла очень веселой, потому что химики эти, усердно работавшие в области изучения явлений катализа твердого твердым, вырвавшись на солнце, на широкую воду, на простор бездумья, вели себя так, как ребята, выпущенные из класса.

Они были голосистые, ширококостые, мясистые, черноволосые, крупнолицые оба и большие хохотуны, но в лаборатории за приборами они могли просиживать круглые сутки без отдыха. Студента второго курса Леню Слесарева они взяли к себе в помощники недавно, и он то спорил с ними со всем молодым задором, то изобретал какие-то свои приемы работы, то проявлял необычайную даже для них усидчивость, то снисходительно относился к химии вообще, как к застывшей науке, то начинал вдруг возлагать на нее слишком большие надежды, а в общем, за короткое время стал совершенно незаменим в лаборатории, и ученый труд по катализу твердого твердым — правда, не очень обширный по объему — они теперь писали втроем.

Лене нравилось, конечно, что здесь, на лодке, которой ни Кострицкий, ни Ованесова не умели править, он был точно капитан парохода в океане — полномочный диктатор, и, вспоминая свое мальчишечье время, он покрикивал на них:

— Да не хились же набок, Мирон!.. Не зыбайся, Тамара,— что ты глупости делаешь, не понимаю... Искупаться хочешь? Оченьречисто идем, не советую... Это лодка строгая: в один момент в воде будешь кваситься, и возись тогда с тобою, вытаскивай.

— Ребенок! Ты вызываешь мое восхищение. Ты действуешь веслами, как старый морской волк... притом бешеный,— замечала Тамара.

— Но ах, какая жалость! Значит, так и не скушает твоя знаменитая ма́рена нашей пшенной каши? Зачем же — вот роковой вопрос, о Ребенок! — мы варили ее с таким усердием? — в тон ей спрашивал Мирон.

Они звали обычно Леню Ребенком, потому что подметили оба, как выпирала из него нежелавшая сдаваться с годами ребячливость, как по-детски увлекался он всем для него новым, не забывая отнюдь и того, чем увлекался несколько лет назад, как был задорен и отходчив по-детски и как, не уставая, шевелились его пальцы, а глаза искали кругом, за что бы им ухватиться...

— Насчет каши не беспокойся, пожалуйста,— мы ее скушаем и сами: через час у вас появится аппетит,— отвечал Леня.— Кроме того, вон на том острове мы можем набить и нажарить лягушек... Не делай таких страшных глаз, ты увидишь, что это за деликатесное блюдо!

Отхохотавшись вдоволь по поводу лягушек, Мирон сказал:

— Человек умственно усталый говорит только о том, что его интересует, так и я...

— Не понял я ничего — повтори! — буркнул Леня.

— Что же тут непонятного? Умственно усталый носить маску приличия уже не может и говорить с интересом о каких-то лягушках уже не в состоянии, вот поэтому он...

— Хорошо, не читай лекции! Дальше.

— Так вот... Я надышался этими проклятыми ртутными парами, я уж скоро облысею от этой чертовой ртути, и я чувствую, как она скверно действует на мои нервные центры. Вообще я устал от катализов, поэтому я только и могу говорить, что о катализе... даже на Днепре, в этой душегубке... Реши мне такую задачу, Ребенок, на которой я, признаться, застрял. Допусти, что имеется в сосуде смесь двух газов с мелкими молекула-

ми и реакция между этими газами при помощи твердого катализатора плохо удается... то есть очень медленно протекает... Но вот добавляю я к смеси этих двух газов еще один газ — с крупными молекулами, и реакция, представь себе, значительно ускоряется... Вот как бы ты объяснил это?

— А какой же именно газ ты добавляешь? И к какой смеси?

— Это безразлично, какой газ и к каким.

— А катализатор у тебя что такое?

— Катализирует у меня, допустим, сплав металлов... Представляет он из себя весьма неровную поверхность... вроде частокола, понимаешь? Выступают острия этакие, а между ними капилляры... Активных точек, способных вызывать реакцию между малыми молекулами, весьма ограниченное количество...

— Гм... Зачем тебе было брать такой катализатор неудачный?

— Это, брат, другой уж вопрос, зачем. И совсем ведь не в этом дело.

— Ну, хорошо... И когда ты добавил третий газ, то реакция между первыми двумя...

— Пошла полным ходом... Но я совершенно не понимаю, почему.

— И Тамара тебе не объяснила?

— И Тамара смотрела на это, как маленький барашик, только что рожденный на свет.

Тамара расхохоталась и ударила Мирона по спине, но сказала тоже, что этого факта она не понимает.

Леня поднял весла и, съежась, как перед прыжком, смотрел, как с лопастей, облупленно красных, стекают бойко одна за другой светлые капли. Несколько раз он жмурил глаза, низко надвинув на них брови, а открывая их сразу, видел все новые капли, догоняющие на лопастях одна другую и вместе падающие в воду.

— На извозчиках едут,— сказал вдруг Леня Мирону.

Мирон оглянулся быстро в стороны и назад по реке. Тамара тоже.

— Кто и где едет?

— Едут маленькие молекулы на крупных,— выпрямляясь, теперь объяснил Леня.— Ведь остаточные поля крупных молекул газов способны притягивать мелкие

молекулы, так?.. Вот они, эти маленькие молекулы, и садятся на крупные... А для крупных молекул твой частокол не препятствие... Они и довозят, как извозчики, мелкие молекулы до активных точек, почему и ускоряется, конечно, между ними реакция.

— Браво! — непосредственно всплеснула руками Тамара, а Мирон добавил, раздумывая:

— Пожалуй, да... Кажется, Ребенок наш прав... Угу... У него, несомненно, есть художественное воображение... Крупные молекулы служат как бы носильщиками для мелких и доносят их до активных точек... Угу... Запомним это... Во всяком случае, Тамара, я уже вижу коекакую пользу для науки в том, что мы выкинулись с этим флибустьером на Днепр.

Пристав к одному небольшому острову, они били палками лягушек, и Леня научил ассистентов, как их жарить. Мирон был в восторге и находил, что задние лапки лягушек «гораздо нежнее даже каких-нибудь там, ну, пятидневных, что ли, цыплячьих», а Тамаре казалось, что они все-таки припахивают несколько рыбой.

Умственная усталость Мирона прошла на Днепре, и он начал говорить уже о том, что интересовало его гораздо меньше, чем катализ.

— А что,— сказал он вдохновенно,— что, если бы нам в складчину завести свою какую-нибудь, хотя бы паршивую лодку, а?

— Мы можем ее и сделать... и совсем не паршивую,— живо отозвался Леня.

— То есть заказать сделать?

— Зака-зывать?.. Нет, не стоит. Лучше сделать самим... Я уже сделал сам не меньше двух десятков лодок, могу сделать и еще одну... Надо только, чтобы кто-нибудь помогал, а то одному очень неудобно.

— Ре-бе-но-чек! — нежно прижалась к нему Тамара.— Он все решительно может сделать... Но где же, где именно мы сами могли бы сработать лодку?

— А там же, где я их обыкновенно делал: у нас в сарае... Надо только достать хороших досок, сухих и без сучков... Сделаем бермудский шлюп, например... или кеч с рейковой бизанью...

— Видишь, какие страшности? — ликующая обратилась Тамара к Мирону.— А я, лично я, что могла бы делать полезного?

— Ты... могла бы шить паруса, например,— важно бросил Леня.

Тамара захлопала в толстые ладоши:

— Ура, превосходно! Я буду шить паруса!.. Новенькое дельце... И мы будем шарить по всем, по всем днепровским островам, как грозные пираты, и везде жарить лягушек.

С этой прогулки по Днепру начались заботы о бермудском шлюпе, который, по разъяснениям Лени, употребляется жителями Бермудских островов.

Однако стоило только утвердиться Лене в сарае и начать выстругивать первые доски для бермудского шлюпа, как сарай этот притянул еще нескольких лаборантов, аспирантов и ассистентов института, и почему-то все притянутые оказались большими мечтателями.

Даже очень хилый на вид, со впалой грудью, ассистент по кафедре металлургии Марк Самойлович Качка, считавшийся крупным специалистом в своей области, любовно поглаживая только что вышедшие из-под фуганка доски, говорил с жаром:

— Нет, что вы там себе ни думайте, а во мне сидит моряк, си-ди-т... сидит моряк... Ах, я всегда мечтал сделаться корабельным инженером! Но-о, погодите, погодите, товарищи. В нашей стране ничего невозможного нет, и я еще могу стать кораблестроителем, погодите.

— А такой номер вы можете сделать? — лукаво спрашивал его аспирант Радкевич и — маленький, худенький, но очень живой — не только без разбега, но вообще без всяких видимых усилий, прямо с пола, вскакивал на верстак, а оттуда добавлял спокойно: — Вот что требуется, чтобы стать настоящим моряком, а тем более корабельным инженером!

И Марк Самойлович только еще смотрел на него изумленно и спрашивал ошарашенно: «Нет, что же вы это сделали за фокус такой, скажите? Взлетели вы, что ли?» — как Радкевич, бескостно спрыгнув и вяло отойдя на несколько шагов, вдруг бурно кидался вперед и перелетал и над верстаком вдоль и над кучей сваленных возле верстака инструментов и только потом уж отвечал Качке с задумчивым видом:

— «Человек создан для полета, как птица для счастья»,— сказал какой-то писатель.

А лаборант Положéчко, высокий, чрезмерно мускулистый студент, однокурсник Лени, бывший монтер с одного из заводов Донбасса, развивал в сарае смелую мысль об устройстве своего, студенческого яхт-клуба. Так как чересчур щедрая к нему природа наделила его не голосом, а трубою, то покрывал он все голоса в сарае. И если Леня деятельно разъяснял жадно слушавшему Марку Самойловичу, чем отличается швертбот от байдарки и швертбот однокилевой от швертбота с двумя килями, и какие бывают по форме мидельшпангоуты яхт, и что такое клиппер-штевень,— то при появлении Положечко он умолкал, так как говорить при нем была бы напрасная трата голоса.

Иногда в сарай заглядывала по вечерам Ольга Алексеевна и, если было в нем всего два-три человека, говорила по-своему, насмешливо:

— Ну что же, труженики моря, идите чай пить, что ли.

Если же народу было много и притом орал огромный Положечко, она только махала безнадежно рукой и, уходя, ворчала:

— Черт знает что! И стаканов на всех не хватит...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Умный и красивый, как дорогая игрушка, новенький коксохимический завод был закончен постройкой к осени 1928 года.

Новый завод был открыт торжественно, сказано было много горячих и искренних речей. Кое-кто,— не в речах, конечно,— внимательно оглядывая местность и замечая, что построен завод на недавно засыпанном овраге, беспокоился: не осядут ли фундаменты всех этих красиво, по последнему слову техники возведенных зданий, не лопнут ли стены? Но знатоки дела уверяли таких беспокойных, что все это предвиделось, конечно, что были приняты меры, что никаких оползней быть не может,— все в порядке.

И работы на новом заводе начались, и уже через несколько дней от угольной пыли, носившейся тучами

в воздухе и садившейся всюду на окна и стены, завод принял будничный, вполне серьезный вид.

Неуклонно и бесперебойно подходили и подходили к заводу поезда из Донбасса, подвозя те сорта угля, какие были заказаны управлением завода, и уголь этот тут же выгружался рабочими и шел частью в резерв, в подземные и надземные бункера, частью в дробильное отделение. Раздробленный уголь самотеком шел в дозировочную, где из пяти разных сортов его автоматически дозирующими аппаратами составлялась необходимая для печей шихта, причем в огромном здании дозировочного отделения, по которому бесконечно двигались широкие ленты с шихтою, работал только техник. Потом шихту промывали в другом отделении, подавали в элеватор и оттуда уж загружали ею печи. Люди на заводе только следили за точностью действия машин и вели на ходу отчетность, замазывали глиной круглые отдушины загруженных печей и высокие узкие двери. А двое рабочих — один с лицевой стороны, перед длинным рядом печей, другой с тыльной — размеренно проезжали на электровозах, и первый особым прибором отворял двери печей, второй же направлял в противоположную дверь печи тяжелый таран, под напором которого раскаленный, пылающий кокс шумно выбрасывался на наклонную решетчатую рампу, где третий рабочий подъезжал на третьей машине и обдавал его густою струею воды. И потушенный кокс отправлялся на металлургический завод, в домны, а газ, получившийся из угля, шел по особым трубам в химический цех, где из него добывали аммиак, бензол и смолу.

Так все это было просто, и законченно, и ясно с виду в первый месяц работы, но совсем не просто — напротив, сложно и запутанно — оказалось потом.

Леня числился уже в это время аспирантом, хотя был еще только студентом третьего курса и работал в лаборатории старого профессора Лапина, занимавшего кафедру металлургии и горючих веществ.

И однажды этот бородатый, очень важный с виду старик, еще не седой, но уже значительно отяжелевший, о котором говорили, что он родился председателем, так как был он бессменным председателем нескольких советов, союзов, объединений и обществ специали-

стов, распекал одного из своих лаборантов, Карабáшева, за секундомер:

— Се-кун-до-мер, это... это очень ценный прибор, да... Это... это очень дорогой прибор, да... Этот прибор, он... о-он не ме-не-е как семьсот рублей стоит, да... семьсот, не менее, а вы-ы, вы его взяли и-и...

— И я его принесу, Геннадий Михайлович,— пытался остановить этот поток бесконечных словоизвивов Карабашев, но Лапин тем и отличался, что любил говорить, и именно словоизвивы эти в разных интонациях, начиная с глухого баритона и до высочайшего, притом совершенно неожиданного фальцета, и были страстью Лапина, который при этом то величаво закидывал назад львиную голову, то нырял ею вперед, необыкновенно быстро и очень разнообразно работая при этом большими руками. И Лапин кричал на Карабашева:

— И извольте не перебивать меня, когда я-я вам говорю!.. Извольте слушать... Секундомер — это... это... это вещь... Это — вещь, принадлежащая ла-бо-ра-то-рии. да. А вы-ы... вы эту ценную весьма вещь взяли и привели в негодность, да.

— Геннадий Михайлович, ее завтра же починят у Когана в мастерской,— все-таки считал нужным вставить Карабашев.

— У какого это такого Когана в мастерской?.. Вот, пожалуйте, у Когана уж теперь наш секундомер очутился, у Когана какого-то, да...

— Я ему говорил, чтобы как следует починил, что это — ваш секундомер... Он вас знает, этот Коган,— хитро тушил, как пылающий на рампе кокс, гнев своего профессора Карабашев, и Лапин застывал с запрокинутой головою и картинно поднятой правой рукой, и в его низком баритоне была великая самовлюбленность, когда он отзывался на это живо:

— Ко-ган знает, а? Ка-ак удивительно это, а?.. Какой-то Ко-ган, и вдруг... вдруг он знает про-фессора Лапина... Да меня весь СССР знает, да, да, да-а... Да мне нигде по всему СССР пройти нельзя, чтобы меня не знали, да-а... Вот в двадцать пятом году, например, когда я был...

И ассистент его Голубинский и все лаборанты знали, что теперь начнется длиннейшая и совсем не идущая к делу история о том, что случилось с Геннадием Ми-

хайловичем в Горловке или Кривом Роге, на Урале или в Сибири. В это время вошел заведующий лабораторией коксохимзавода Сенько.

— Э-э... а что такое вам, да?.. Что вы скажете, а? — из-под высоко и сразу вспорхнувших бровей недоуменно воззрился на него Лапин, очень не любивший, когда его перебивали.

Человек не слабый по сложению, с черными от угольной пыли ноздрями, Сенько имел очень усталый вид.

— Авария за аварией. Что делать с печами, не знаем. Забуряются и забуряются. Не выдают кокса. Семь печей забурились и стоят.

Все это Сенько сказал сразу, как-то совсем без знаков препинания в голосе, и так как сказал он все, с чем пришел, то глядел на Лапина, как подсудимый на судью, который строг, правда, но должен же быть справедлив все-таки и вот сейчас все рассудит как следует и даст указания.

Лапин же, обернувшись к Голубинскому и ко всем своим лаборантам, сделал этакий широкий, круглый в сторону пришедшего жест изумления:

— Вы-ы только что... только что, да... получили в эксплу-а-тацию новенький совсем завод, да, за-во-од. И вот... какой-нибудь месяц прошел всего, месяц, да, а уж вы его ис-пор-тили. Вы-ы привели его в негодность, да. Что вы сделали, а?.. Что-о вы все там такое сделали, а?

— Сказать бы, что виновата шихта, но ведь мы же составляем ее по Мукку, как следует, чтобы все пять компонентов в среднем давали двадцать процентов летучих веществ,— так же без знаков препинания пробормотал в ответ Сенько.

— По Мукку или не по Мукку, это... это ведь вас касается, ва-ас, да, а не меня, нет. Почему же, спрашивается, почему вы пришли ко мне, а? Вы должны все это сами, да, сами. Кто портил дело на заводе? Вы портили дело, а не мы, нет... У нас своя ра-бо-та, ин-сти-тут-ская, да. Нау-чная, да. А у вас — заводская, практическая работа, да-а... Вот, например, в двадцать четвертом году, в городе Сталино, да, со мной был такой случай...

Сенько скромно перебил все-таки профессора, выбрав для этого подходящую, по его мнению, паузу:

Тут Лапин усиленно замигал, что было у него признаком немалого волнения:

— А о-он, он опять свое, опять свое, да... Зачем же, в таком случае, а? Зачем я говорил вам столько времени, а? Зачем я тратил на вас свое время, а?.. Новый завод привели вы в негодность, да, в не-год-ность, да, и теперь... вы хотите свалить свою вину — на кого же, а? На на-а-ас. Да... Та-ак. Я вас понял, понял,— не оправдывайтесь, пожалуйста, товарищ Сенько,— по-онял, да.

Тут он похлопал его по плечу и добавил:

— Так вот, идите себе и-и поправ-ляйте свою вину, да... Идите работайте и вину свою перед советским государством ис-прав-ляйте, да... Идите же. Что же вы стоите?

Сенько устало повернулся и пошел, а Лапин, усевшись за стол с бумагами, еще не успокоясь и не вылив всей собравшейся в нем энергии, начал распекать своих лаборантов:

— Да-а, вот... Вот, пожалуйте. Отчет, составленный вами, да... Вы меня всегда этими отчетами подводите... Вы... вы... вы какую-нибудь там запятую даже если пропус-тили, да, в отчете нашем, да, а за-пята-я (очень высоким фальцетом) — это очень важная вещь, запятая, да-а... Что же, я теперь должен пять часов сидеть и... и... исправлять ваш язык дубовый? Та-ак? А? Вы сами, сами должны это делать, а совсем не я, нет.

Потом он перешел с фальцета и глухого баритона на самый обыкновенный средний регистр голоса, потому что посмотрел на часы:

— Так вот... хорошо, хорошо. Я сказал вам это... А теперь... Мне ведь надо сейчас ехать в Коксострой, а потом... По-том, вечером, за-че-ты этих... этих студентов, которые, как водится, как водится, да, ни черта решительно не знают... Напринимают таких, что-о, а ты с ними возись. Так что вы хотите сказать?

Последнее относилось к Лене, который поднялся из-за своего стола и смотрел на него, ожидая, когда он кончит.

— А может быть, в самом деле, Геннадий Михайлыч, съездить нам на завод, посмотреть, что там за аварии? — сказал Леня.

— Ну да, ну да, а как же?.. А я что вам говорю? Я ведь это же са-мое говорю, да. Съездить, да, конечно.

Вот и съездите... Возьмите вот Шамова и Карабашева и съездите втроем, да... Надо же нам знать, что там такое происходит, на этом заводе, да... Вот и съездите. А я пойду,— мне некогда: меня ждут в Коксострой на заседание.

И он быстро надел теплое пальто с дорогим воротником, надвинул соболью, старого фасона, шапку до глаз и пошел, а через минуту донесся в лабораторию страшный фальцетный крик его:

— Меня-я-я весь СССР знает, весь СССР, да. А ты мне, про-фес-сору, смеешь кричать та-ко-е, а? Сей-ча-ас же отсюда во-он!

Потом узнали, что один из сезонников, плотник, работавший в прихожей, молодой и бойкий малый-калужанин, крикнул Лапину вслед, когда он, выходя, не затворил дверь:

— Эй, борода! Дверь закрывай! Теперь не лето.

II

Трое аспирантов,— и в то же время студентов-однокурсников, работавших у Лапина в лаборатории по высоким температурам, в отделе горючих веществ,— Слесарев, Шамов и Карабашев, самородок из деревенских парней, краснощекий здоровяк, с руками, как тиски на верстаке, в тот же день поехали на коксохимический завод. Пока они доехали и получили пропуск, уже стемнело, и в сумерках особенно заметно стало для всех троих, что на заводе действительно была чисто аварийная суматоха.

При холодном, резком ветре, бросавшем в угольную пыль колкую крупу, смутными тенями метались люди, которых вдруг появилось много, как никогда не случалось никому из трех аспирантов видеть здесь раньше. Это разгружали уголь, который неуклонно прибывал, маршрут за маршрутом, из Донбасса, хотя теперь его уже не так охотно принимали на заводе: ему ставили в вину то, что забурялись печи. На анкерных стойках между печами наклеены были воззвания к рабочим — всеми силами содействовать ликвидации забуряемости печей, а для этого прежде всего установить общественный надзор, чтобы не путали угли на ямах при перегрузке...

Леня знал, конечно, что это значило — «не путать на ямах». Угли были еще на шахтах заготовлены по маркам, например «ПЖ» — паровично-жирные, или «ПС» — паровично-спекающиеся, и путать их действительно было нельзя. Но он обратил внимание на то, что кое-кто из рабочих на дворе завода стоит около бетонной стены угольного склада, заложив назад руки, как становятся к печке люди, когда греются.

— Что это такое значит? — кивнул он на них Шамову.

— Черт их знает,— бормотнул Шамов и кивнул в другую сторону — на печи.— Ты вон на что посмотри: люди горят.

Люди там действительно могли бы гореть, если бы их не тушили другие, поливая водой из шлангов: на людях, которые освобождали забурившиеся печи, выгребая сгоревший у стенок кокс длинными железными кочергами, загоралось платье, но это были комсомольцы, ударники завода, и, окруженные плотными клубами пара, они снова кидались на борьбу с забурением...

Что-то сказал еще Шамов, но не расслышал Леня, потому что в это время коксовыталкиватель с немалым грохотом ударил в одну из печей, но только пламя полыхнуло высоко над нею, а огненная масса кокса не покатилась вниз на рампу через открытую с этой стороны дверь и продолжала пылать спокойно и зловеще.

— Ну, вот тебе на! — сжал кулаки Карабашев.— Еще одна забурилась. Теперь коксовыталкиватель на дыбы взвился и автомат рубильника выбил.

— Постой, как же так? Сейчас он опять должен ударить. Не может быть. Эта печь выдаст коксовый пирог,— бормотал Леня. Очень не хотелось, чтобы и эта печь, какая-то там по счету, забурилась вот теперь, когда они только что вошли на завод.

Но печь забурилась. Таран коксовыталкивателя бил в нее со страшной силой четыре раза подряд,— печь упрямо не выдала кокса.

— Что за чертовщина! Должны быть найдены причины, как же так? — встревоженно и бессильно смотрел на освещенных огнем печей Шамова и Карабашева, вздрагивая плечами, Леня.

— Вот и найди,— отозвался Карабашев.

А Шамов повел головой влево-вправо:

— Ищут же вот люди кругом.

— А вы кто, товарищи, а? Пропуска ваши? — подскочил к трем аспирантам один из пробегавших, с мокрыми косицами из-под сдвинутого на затылок кепи, с закопченным скуластым лицом.

Показали ему пропуска. Карабашев сказал:

— Посылали же от вас в институт. Вот мы и пришли.

— Ага. Из института? Помогать нам?.. Ну вот... Вот, видите, какое дело?.. Вот и помогайте. Вот идите и помогайте... Авария... Куда вы думаете идти?

— Надо сначала оглядеться,— сказал Шамов, а Леня спросил:

— Не все ведь печи забуряются сплошь?

— Ну еще бы, чтобы все сплошь.

— А как? По сериям?

— И не по сериям, а так... как вздумается... Какие забуряются, какие выдают.

— Значит, не печи виноваты, а люди?

— Ясное дело, люди. Перепутали марки углей на ямах.

— Ну вот. Перепутали, только и всего. Настрочить их, чтобы не путали, и все. Дело, значит, в общем поправимое.

И слегка шлепнул мокроволосого по плечу Карабашев, у которого шлепать по плечу кого угодно при разговоре было привычкой. Но мокроволосый и черный от угольной пыли вскрикнул, точно от оскорбления или от внезапной боли:

— Поправимое? Как это оно поправимое, ежели кадров нет?.. Так нельзя, товарищи. Заводы новые строим, а кадров нет. Кадры надо готовить!

— Насчет кадров это всем известно,— сказал Карабашев.

— Ага, известно?.. Почему же тогда кадров нет? Вот и бейся теперь, как сукин сын.

И он блеснул на Карабашева злыми глазами, красными от огня печей, как у кролика, и метнулся в сумерки.

— Кто-нибудь из завкома? — спросил о нем Шамова Леня, но в это время тот заметил в стороне Сенько и окликнул его.

— А-а, послал все-таки вас! — сказал Сенько с подходу.— А кричал, как последний дурак... А у нас еще

пять печей забурилось... вот сейчас эту печь толкают, смотрите. Должна пойти.

С противоположной стороны печей донесся глухой удар коксовыталкивателя в ту печь, около которой героически работали ударники с кочергами, и Сенько крикнул радостно:

— Пошла, пошла!.. Идет!

Масса раскаленного кокса медленно и с перебоями, в несколько ударов тарана, выползла наружу; огненный столб высоко всколыхнулся над рампой и осел миллионом ярких искр.

— Од-на-ко, какой тугой ход пирога,— качнул головой Леня.— Почему это, а? Может, под у печей зашлаковался?

— Вообще нам бы, братцы, надо поговорить с директором,— сказал Шамов, но Сенько, все еще бывший под впечатлением удачи с этой печью, отозвался почти весело:

— Нет уж, с кем, с кем, а с директором не советую. Будет кричать на вас не хуже, чем ваш Лапин на меня. Он уж у двух телефонов трубки оборвал. Сейчас только в одной дежурной телефон работает.

— Под, под печной не зашлакован, я спрашиваю? — взял его за руку Леня.

— Насчет пода точно не скажу, а насчет стен говорил мастер Глазов, что есть местами настыли, а местами будто разъединения.

— Ну вот! Чего ж вы еще хотите? Ясно, что печи ошлаковались,— сказал Леня с торжеством в голосе, но Сенько остановил его:

— Это большого значения не имеет. Ну, был бы только затрудненный выход, а не так, чтобы даже на сантиметр не подвинулось. Забурение, да еще сразу стольких печей.

— Вот черт,— ударил его по плечу Карабашев.— Раз вы тут все лучше нашего знаете, зачем было к нам и обращаться?

— Да вы-то что? Вы — зелень! Я думал, Геннадий нам что-нибудь скажет или хотя бы Голубинский... Ну, мне некогда, надо идти пробу новых углей брать... Пока!

И Сенько скоро растворился в сумерках, подчерненных вьющеюся угольной пылью и припудренных колючей крупою. А они трое пошли было в другую сторону,

но столкнулись с молодым инженером-химиком Одудом, которого знали еще по институту.

— Паршивое дело,— сказал Одуд.— Я не коксовик хотя, но-о... так же нельзя, товарищи. Рабочие привыкли сдавать печи другой очереди за полчаса до смены, но знаете, как у них это проходит? Пока напишут акт о сдаче, пока подпишутся, пока позубоскалят перед банькой, а тут как раз выдача кокса подходит. И при ком же она пройдет? При новых рабочих, при которых печи не загружались. Выходит, что с них нечего и спрашивать. Надо поставить дело так, чтобы смена за свои печи отвечала... А то что же это такое? Скоро в нашем цехе нечего будет делать: приток газов срывается... кажется, газа скоро и на коксовые печи хватать не будет... А это уж значит — консервация.

— Но ведь сплошного забурения печей нет,— остановил его Леня.

Одуд потянул его за пуговицу пальто, нетерпеливо продолжая:

— Э-э, нет... Нет сегодня — это еще не значит, что не будет завтра. У тебя есть гарантия, что справятся с этим делом завтра? Нет? И у меня нет. В нашем цехе, что же, только газ давай, а здесь черт знает какая неразбериха.

И еще несколько человек говорили с ними так же вот, с налета — пять-шесть слов, признаваясь, что не знают, как и за что взяться.

— Сумятица полная! Люди мечутся бессистемно,— встревоженно сказал Шамов.

— Геннадию надо передать, чтобы сам сюда ехал,— решил Карабашев.

— И если можно будет сегодня его поймать, то чтобы сегодня же приехал. Хотя я не знаю, чем он тут может помочь,— задумался Леня.— Ясно, что завод не освоен. И верно, что кадров нет. А где их взять?.. И почему все-таки вон те греются у бетонной стены? Что там за баня такая? Пойдем посмотрим.

Действительно, грелись у стены угольного резерва рабочие, выгружавшие из вагонов уголь и подвозившие его в вагонетках к угольным ямам.

Подошли все трое к стене, попробовали — теплая.

— А не началось ли и тут коксование углей по старинному способу? — сказал Леня, глядя на одного из

рабочих. Тот принял это за вопрос к нему и ответил недовольно:

— Мы по коксу несведущие, мы — грузчики.

— Ясно, что у них тут уголь горит,— забеспокоился Леня.— Надо сказать кому-нибудь, а то ведь это уж совсем черт знает что.

— Неужели ты думаешь, что они сами этого не знают? — удивился Карабашев.

— А если знают, то отчего же...

— Ты же видишь, что вообще прорыв, и неизвестно, куда сначала кидаться.

— Вот дальше стена холодная,— сказал, отойдя, Шамов.— Значит, в одном месте только... Как-нибудь думают ликвидировать. Завтра, должно быть.

— Холодно, черт! Будем считать свою вылазку законченной,— решил Карабашев и зашагал к выходу.

Они ушли с завода, сговариваясь о том, кому из трех и в каких именно выражениях надо будет «напеть Геннадию» о том, что так по-чиновничьи относиться к аварии на заводе, как он отнесся, нельзя, что туда надо ехать ему самому и наладить дело, если только он в состоянии его наладить.

Но на другой день в институте они услышали, что на заводе уже не авария, а катастрофа: горит угольный резерв.

Так как доступа к горящим участкам иного и быть не могло, как только через крышу, то крышу из гофрированного железа наскоро подняли ломами, и по лестнице взбирались туда наверх рабочие с лопатами. При стоградусной жаре, обдаваемые водою из брандспойтов, дыша вредными газами, продуктами сухой перегонки, рабочие выбрасывали горящий уголь лопатами вниз, а отсюда, из-под стены, другие раскидывали его по двору. Иные из рабочих там, на крыше, теряли сознание, отравленные газами и охваченные жарой; таких сволакивали вниз, а на их место лезли по лестнице новые.

А печи продолжали забуряться. Между тем неуклонно, маршрут за маршрутом, подвозился и подвозился уголь из Донбасса, и требовалась немедленная его разгрузка.

Ни одному из трех аспирантов не пришлось ничего передавать Лапину о своих впечатлениях, так как с ран-

него утра и он и его неизменный ассистент Голубинский были вызваны на завод и в свою очередь вызвали своих лаборантов и остальных студентов на помощь заводу.

Наблюдая Лапина на заводе, Леня видел, что по существу он тоже мало знал, как надо помочь делу, но зычный голос его раздавался то здесь, то там вполне начальственно.

С пожаром на угольном складе справились к концу дня, но печи все-таки продолжали забуряться, несмотря на присутствие Лапина и Голубинского и уполномоченного Коксостроя.

В заводской лаборатории, вместе с Сенько, Шамовым, Карабашевым, одну за другой производя пробы угля на коксуемость теми приемами, какие были тут приняты, Леня к вечеру говорил устало, но убежденно:

— Все это ни к черту. Мы идем вслепую. Даже и то, что забуряются не все печи, приходится приписать только счастливой случайности.

— Каков! — кивал на него Шамову Сенько.— «Счастливой случайности»... А марки углей выработаны опытом или с неба свалились готовые?

Но Леня горячо отозвался на это:

— Все готовые и опытные марки ваши надо послать к черту. Для быстроходных новых печей они не годятся, ясно... А вот как составлять шихту для этих печей — это, конечно, вопрос.

Этот вопрос скоро стал вопросом не одного только здешнего завода. Коксострою стало ясно, что виноваты в этом не печи.

Чтобы изучить как следует наши угли, решили создать в институте кафедру коксохимии, а при кафедре устроить коксовую станцию для практики студентов.

III

В институте шутили, что Леня Слесарев накинулся на это новое дело, коксовую станцию, «как чертовски голодный волк на вполне беззащитную овцу».

Прежде всего ни Голубинский, получивший кафедру коксохимии, ни Лапин, которого просили наладить это дело, никак не могли выбрать подходящую жилплощадь для станции. Во дворе института стояли, правда неболь-

шие флигели, но они были заняты очень давно, очень плотно и очень прочно. О том, чтобы уделить для коксовой станции угол в самом здании института, нечего было и думать: институт строился в старое время далеко не на такое количество кафедр и студентов, какое было в нем теперь.

— Ну, знаете, положение наше со станцией во всех смыслах неудобное,— говорил Лене Голубинский, проходя с ним по двору института.— Разве просто балаган дощатый к глухой стене приткнуть, вроде тех, где чинят подметки на ходу?

Голубинский был склонен к шуткам, причем сам не улыбался. Чужие шутки он тоже выслушивал до конца, но с видом вполне серьезным. Это был человек средних лет, стройный, размеренных и ловких движений, мастерски закругленной фразы на кафедре и признанно солидных знаний в нескольких отраслях горного дела. Лапин обычно сваливал на него кучу всяких обязанностей, и все их он выполнял образцово.

Но Леня видел, что вопрос со станцией ставил и Голубинского в тупик, и на его шутку отозвался недовольно:

— Не дощатый балаган приткнуть, а какой-нибудь сарай из кирпича сделать — это бы можно, если бы кирпич дали... Это бы и я сам сложил,— ерунда.

Но так как они проходили мимо какого-то подвала с тремя окнами, в котором виднелись только кучи шлака, то Леня остановился вдруг, добавив:

— Ну, а вот это, например, что за подвал, Аркадий Павлович?

— Тут, кажется, была когда-то котельная. А что?

— Как «что»? Ведь тут большое помещение выйти может, если шлак этот к черту. Вы посмотрите: метр, два, три, четыре, пять, шесть...

— Вы преувеличиваете,— серьезно сказал Голубинский, что можно было отнести и к мысли обратить в коксовую станцию этот заброшенный подвал, заваленный шлаком, и к тому, что Леня считал каждый свой шаг равным метру, и Леня отозвался на то и на другое сразу:

— Ничуть. Жужелицу мы выкинем вон через окна, а длина этого помещения — девять метров, можете проверить.

— Гм... Ре-монт этого прекрасного палаццо будет стоить...— начал было думать вслух Голубинский, но Леня не дал ему закончить расчетов:

— Ничего он институту не будет стоить. Мы все это сделаем сами. И вычистим, и выбелим, и стекла вставим. И так как подвальчик этот явно никому не нужен, то сегодня же можем начать. А жужелицу пусть выкидывают из печей просто на двор, а не сюда тащат... Тоже нашли место, куда шлаки тащить!

И Леня с Шамовым в тот же день принялись за подвал и провозились с ним дотемна, выкидывая шлак.

Шамов начал ругаться, наконец:

— Тут пятьдесят тонн мусора этого, а ты, как последний дурак, черт тебя дери. И меня в это гиблое дело втравил... Мы его и за год не очистим.

— Пятидесяти тонн, конечно, тут не будет,— слабо защищался Леня.— Можно вычислить вполне точно, сколько здесь будет тонн...

Но дело уж было начато: около забытого и забитого подвала появилась большая куча выброшенной жужелицы. Лапин увидел ее и сказал:

— Ну вот... Ну во-от... Я ведь го-во-рил, что у нас должно найтись место для коксовой станции, да. Должно, да... И теперь я подам требование, да, в Коксострой, чтобы они-и... Вот и пусть финансируют, да, финан-си-ру-ют пусть это дело, то есть ремонт подвала, и тогда-а... Тогда пусть спрашивают с нас работу, да.

Дня через два работу по очистке подвала продолжали уже нанятые рабочие, Леня же приходил только торопить их и планировать станцию. Докопались до старого котла отопления, еще в годы разрухи пришедшего в полную негодность. Его невозможно было вытащить целиком, да и незачем было; автогенным способом разрезали его на куски и выбросили через окна.

Подвал оказался глубоким, и его разделили на два этажа: низ отвели под коксоустановки, верх — под лабораторию. Так как на коксовую станцию возлагались устроителями из Коксостроя большие надежды, то ремонт подвала начали гнать быстро. Через две недели подвал побелили, выкрасили, осветили электричеством, уставили приборами. Присматриваясь к дымоходу бывшей котельной, улыбаясь и играя по-своему пальцами, Леня представлял уже сложенную им самим опытную

коксовую печь на три пуда угля, которая отапливалась бы нефтью. Открытие коксовой станции вышло довольно оживленным благодаря ректору института Рожанскому, старому профессору химии, известному и своими работами в этой области и рассеянностью, которая считается иными высшей степенью погруженности в интересы чистой науки.

О нем рассказывали, что он, придя поздно вечером в гости к своему товарищу, тоже старому профессору, забыл, что он в гостях, и укладывал заботливо хозяина за поздним временем спать у него же в кабинете, принимая этот кабинет за свой.

Может быть, в этом рассказе и было преувеличение, но что он, увлекаясь химическими формулами, которые писал на доске мелом, стирал их потом не губкой, а шапками своих слушателей, лежавшими на окне около доски,— это бывало часто.

Всем памятно, как однажды зимою, войдя в жарко натопленную аудиторию в шубе, он забыл ее снять и весьма самозабвенно, как всегда, начал орудовать на доске мелом, бойко исписывая ее сверху донизу и в особо патетических местах пристукивая мелом так, что тот ломался на кусочки. В тяжелой меховой шубе своей он стоял весь потный, и его пожалели. Кто-то крикнул ему:

— Антон Петрович! Вам, кажется, жарко.

— А? Жарко, вы сказали? Да... Представьте, действительно ведь жарко.— И намеленными пальцами он начал вытирать потное лицо, но лекция продолжалась.

Однажды он был на заводе, где дали ему спецовку, оставив его шубу в конторе. В этой спецовке потом он и уехал с завода домой, хотя день был не то чтобы оттепельный. Конечно, из конторы завода на другой день ему привезли шубу, чем очень его удивили.

— Представьте,— говорил он,— я смотрю на вешалку, вижу — висит эта самая спецовка, и думаю: что же это за штука такая тут висит на вешалке и как она сюда могла попасть?

Подобных случаев с ним было много, но, конечно, он был прекрасный химик, и если у него не совсем выходили речи, которые приходилось ему произносить в торжественных случаях, то все-таки большой силы убежденности никто бы отнять у них не мог.

Наполнившие подвал в день открытия ассистенты, аспиранты и лаборанты не нуждались, конечно, в подбадривающих речах, и Антон Петрович только ходил по лаборатории в окружении Лапина и Голубинского, невысокий и торопливый в движениях, начисто лысый со лба и с прихотливо, как гиацинты, завивающимися локончиками сзади, и разводил пухлыми ручками, почти испуганно спрашивая Лапина:

— А где же у вас тут будет стоять эта... поглотительная аппаратура для конденсации аммиачной воды... и смолы, конечно? Где?

— Но ведь эта ап-па-ра-тура, о-на-а... она установлена уж внизу здесь... под нами, да, Антон Петрович. Я вам ее только что показывал там, да,— отзывался Геннадий Михайлович, сильно сгущая голос.

— А, да, да, помню, помню... Я видел... Ну, хорошо. А поглотительная аппаратура для поглощения бензола... а также летучего аммиака?

— Мм... Но ведь это я тоже вам только что...

— Показывали, да, помню... Показывали. Представляю. Так... Что же вы мне еще тут такое, а? Например, исследование углей.

— Да-а, иссле-до-ванием углей на золу, влагу и летучие, да, этим мы-ы тут будем заниматься... а затем...

— Главное, спекаемость.

В это время один из аспирантов, Близнюк, в своей записной книжке одну за другой делал карикатуры на ректора; особенно удачной вышла у него одна, изображающая, как Рожанский остановился перед Леней и, поглядев на него пристально снизу вверх, покачал удивленно головой:

— Ка-кой же вы высокий вытянулись, товарищ Коваленко... Только пополнеть бы вам надо, пополнеть, конечно, а то-о что же все на свой костяк рассчитывать? Обрастать надо мясом.

И он похлопал его по локтю.

— Я не Коваленко, Антон Петрович,— улыбнулся, ничуть не удивляясь, Леня.— Моя фамилия Слесарев.

— Слесарев, Слесарев, да, да. Ну как же, отлично знаю... Я ведь и вашего отца знаю. Он был тогда этим... а? Штейгером в Юзовке, так? Непременно так... А сейчас он где?

— Нет, мой отец... Его вы действительно знаете, он преподает рисование здесь, на рабфаке... А сын штейгера есть, правда,— очень на меня похожий студент, мой однокурсник...

— Ну вот видите. Очень похожий, поэтому я мог ошибиться... Это Осипчук?

— Н-нет, он не то чтобы Осипчук, но похоже,— пробормотал Леня, чтобы как-нибудь закончить этот разговор, потому что называть фамилию похожего на него студента Остатнева значило бы вызвать со стороны Рожанского еще длинную цепь вопросов. Ректор понял это и сказал:

— Итак, вот видите, институт наш обогатился, значит, еще одной лабораторией учебного характера.

— Научного тоже,— улыбнулся Леня, вздернув плечами.— Неужели мы так и не внесем ничего своего в копилку науки?

И Лапин тут же счел нужным поддержать своего аспиранта, загремев с поднятой правой рукою:

— Ага! Во-от! За-го-во-рило моло-дое самолюбие, да-а. За-го-во-ри-ло!

Поднял, как на защиту, и свою пухлую ручку Рожанский:

— Разве я отрицаю? Я не отрицаю, боже сохрани... Я только не досказал своей мысли. Студенты будут ходить сюда на практику, а доценты, ассистенты, аспиранты — те, конечно, с целью научных работ. Конечно, это очень... привлекательно, да... так... Это очень... очень умилительно... нет, не то слово, нет... Но вообще — хорошо, товарищи. Очень полезно для науки... И спасибо Коксострою, что он раскошелился... Так вот и бывает: гром не грянет и... и... лаборатории не будет. А то вот теперь — Коксострой, а там, глядишь, другое какое ведомство отпустит средства еще на что-нибудь, вот мы и... обрастем мясом... С миру по нитке и... как это говорится...

— Институту халат,— договорил за него Голубинский, видя, что он затрудняется и не может припомнить, только напрасно щелкает перед носом пальцами.

— Халат,— подтвердил Рожанский и неожиданно торжественно обратился вдруг ко всем около: — Так вот, товарищи, хотя, конечно, институт наш и в курсе

всех мировых работ по этому вопросу, по коксообразованию и прочее, но механически, без проверки, так вот перенести (тут он старательно зачерпнул обеими ладонями около себя воздух слева и плавно перенес его направо) к на-ам чужие методы нельзя, нет, никак нельзя, потому что типы наших углей весьма отличны от иностранных... А почему именно отличны, это вопрос, он тоже должен стать перед вами... во всей своей сложности и, я бы сказал, большой трудности. Так что непосредственно в связи с химизмом коксообразования стоит и этот вопрос — классификации наших углей. И на вас, стало быть, выпадает нешуточная задача... на ваши плечи ложится задача... весьма нешуточная... помочь нам, старым ученым, вашим молодым старанием, вашей энергией нам... эту задачу решить.

Тут он посмотрел на всех кругом так победоносно, как будто дал им из рук в руки заповедный ключ коксовых и угольных тайн: берите и открывайте.

Так была введена в жизнь института коксовая станция, на которой зароились, пусть еще слабокрылые и весьма неуверенные в полете вначале, мысли нескольких человек о тайнах кокса.

В то время как раз в полном разгаре были работы на близком отсюда Днепрострое, и многие студенты круто меняли на младших курсах избранные было специальности на электротехническую, а Марк Самойлович Качка из металлурга исподволь, но все-таки очень быстро, что нужно было приписать его способностям, сделался если не кораблестроителем, то доцентом механики и с большим увлечением начал читать лекции по этому новому для него предмету.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Вышло как-то так, что работники коксовой станции оказались все с художественной жилкой и потому нескучные люди.

К Слесареву, Шамову и Карабашеву, перешедшим сюда непосредственно из лаборатории Лапина, примкнули еще два аспиранта — Близнюк и Зелендуб, и две студентки старшего курса — Ключарева и Конобе-

ева. Очень неплохо пел Карабашев,— у него был хороший тенор; Зелендуб был флейтист и не пропускал ни одного симфонического концерта, ни одного выступления в их городе той или иной знаменитости музыкального мира, как Ключарева не пропускала ни одного нового спектакля, увлекаясь игрой артистов, и была душою студенческого драмкружка; Конобеева любила декламировать стихи, и даже Шамов так легко и красиво проделывал упражнения с гирями, что этого тоже нельзя было не признать искусством.

И когда случалось им сходиться всем вместе в подвале и когда те или иные опыты каждым из них были поставлены и таинственно в ретортах, колбах и тиглях и более сложных аппаратах совершались химические реакции,— Близнюк, плотный, хотя и низенький малый, с искорками в выпуклых карих глазах и с вечной полуулыбкой в левой половине толстых губ, набрасывая, например, на клочке бумаги длинную, узкую вазу и голый пень рядом, спрашивал Ключареву или Конобееву:

— Скажи, что такое, а?

Ключарева, которую звали Одуванчиком за пышное золото очень густых волос, скашивала на рисунок красивые глаза, стараясь понять, к чему будет клонить этот загадочный подход, и говорила пренебрежительно:

— Отстань, надоело!

Конобеева же упорно думала, морща большой лоб, и тянула:

— Вообще-е что-нибудь весьма дурацкое. Гм... Какой же смысл в этом? Ваза для цветов, что ли?

— До-га-да-лась. Брав-брав-брав!.. Для цветов, да... Для розы, а?

— Хотя бы для розы, что из этого?

— А розы есть тут, а? Нет розы? Да?.. Так и будем писать: «Нет розы». А это?

— Пенек какой-то дубовый...

— Пенек, да. Дубовый? Все может быть... Пусть будет дубовый... А шипы на нем есть?

— Ко-неч-но, нет.

— Так и будем писать. Мы не гордые. Так и запишем: «без шипов». Читай теперь все: это умное!

Близнюк любил рисовать подобные этому ребусы и знал их множество.

Солнечный свет днем все-таки проникал в подвал сквозь квадратные небольшие окна и дробился на зеленых, оранжевых и темнокоричневых кислотах в ретортах и колбах, делая их лукаво веселыми, но газы, выделявшиеся из углей, подвергавшихся разнообразным опытам, весьма тяжелили и отравляли воздух, и вытяжная труба плохо с ними боролась.

Тогда наседали на Зелендуба, чтобы он устроил более совершенную вентиляцию, применяя для этого свои познания по вопросам расширения и давления газов, так как это была излюбленная область его научных интересов.

Маленький, черненький, тонкоголосый, очень живой и склонный к шуткам над другими и над собою, Зелендуб был смолоду слишком уж по-ученому рассеян и мало следил за собой, мало заботился о том, как и во что он одет; поэтому в ходу было в подвале коллективно сочиненное на него четверостишие:

В масло, сало, сыр и суп
Выпачкав рубашку,
Выступает Зелендуб
В брюках нараспашку.

Чтобы убирать коксовую станцию, был нанят длинный и тонкий, черноволосый, но сероглазый человек, с длинным бекасиным носом, по фамилии Черныш. Он был до этого где-то писцом, но охотно пошел в уборщики в столь высоконаучное учреждение,— потому, должно быть, что был чрезвычайно ленив и понял сразу, что тут какая же будет ему работа? Нанимал его Леня, и Черныш привык относиться к нему как к своему непосредственному хозяину. Кроме него, Леней же был взят как механик весьма скромный и малозаметный человек — Студнев, который безотказно и одинаково старательно чинил и часы-будильники, и микроскопы, и сложные приборы и паял трубки для опытов.

Оба они были люди еще молодые, но несколько пришибленные. И если Студнев становился весь внимание, когда в его руки попадал изувеченный аппарат или когда нужно было собрать из отдельных частей новый, то Черныш, напротив, перед каждым прибором в первые дни поспешно опускал руки по швам, опасаясь к нему притрагиваться, чтобы не вызвать взрыва. Поэтому он ежедневно и довольно яростно мыл пол в лаборатории

и стирал тряпкою пыль на столах — там, где были свободные от приборов места, а на приборы косился весьма недоверчиво. И когда входил в лабораторию Леня, он и перед ним тоже стоял навытяжку, как перед аппаратом, склонным втайне угрожать жизни, и почтительно называл его не иначе, как Леонид Михайлыч. Когда же в подвале никого не было и даже Студнев, не подыскав себе починочной работы на стороне, должен был в своем синем китайчатом халате-спецовке сидеть без дела, они играли в шашки, причем привыкший думать над винтиками и колесиками разных сложных, хоть и небольших по величине машин, Студнев обыкновенно обыгрывал Черныша.

Голубинский, приходивший сюда со студентами, которым он читал коксохимию, руководил и всей научной работой станции. Это был человек очень больших знаний по всем почти предметам горного института; однако, зная, что говорит по тому или иному вопросу тот или иной ученый, он не успел еще найти своей твердой и устойчивой точки зрения в области коксоведения, поэтому молодая лаборатория имела достаточно причин быть вполне самостоятельной в приемах своей работы.

II

Вопрос о коксе был темен, и подступы к его решению круты. Однако с первых же дней определились два подхода к решению загадки кокса у двух главных китов подвала — Слесарева и Шамова, и с первых же дней начались у них споры.

Споры бывали у них очень часто и раньше, еще начиная с рабфака, но или кончались они ничем, или один из них быстро сдавался и уступал другому. Но теперь они видели оба, что предмет спора очень серьезен, и уступить ни тому, ни другому было нельзя. Шамов думал идти к решению задачи общим путем, усвоенным от Лапина, Голубинского и Рожанского,— путем химии, конечно, столь же хорошо известным и Лене.

А Леня задорно говорил Шамову:

— Ерун-да, брат Андрей! Только ноль целых двадцать пять сотых процента угля исследовано химически, а остальные девяносто девять целых семьдесят пять сотых процента? Сплошной туман. Сколько же десятков

лет должны мы брести в этом тумане, пока его осилим? И сколько тысяч раз должны будут забуряться у нас печи, пока объясним мы, наконец, как следует, основательно, хи-ми-че-ски, со всеми формулами в руках, что такое кокс, пока станем мы, наконец, хозяевами кокса и оседлаем его и на нем поедем? Хватит на это нашей с тобой жизни или придется добавить?

— Через несколько десятков лет и запасы угля могут истощиться,— смотря как его расходовать,— улыбался Шамов.— Но если не химический подход, то...

— Только физический! — перебил Леня.

— Явная чушь!

— Почему? Не чушь, а прыжок, если ты хочешь знать. Прыжок через сотни формул. Ты знаешь, конечно, что у нас на Украине вместо «воскресенья» говорят «неділя», а вместо «неделя» — «тыждень», и купол называют баней, баню — лазнёю. Филологи знают наверно, почему это и как. Но вот такое словцо, как «кудою», я бы приказал перенести целиком в русский язык, если бы мог приказать это. Отличное слово. То «куда», а то «кудою» будешь идти. Изменение в слове пустяковое, а смысл совсем другой. «Куда» — это мы отлично с тобой знаем: к решению задачи кокса. А вот «кудою», то есть каким путем, это уж дело вкуса...

— Ну, о вкусах не спорят...

— ...и прямого расчета... Потому что ты хотя и считаешь себя атлетом и все меришь на сантиметры свои дельтовидные мышцы и бицепсы, а прыгать так, как Радкевич, не можешь. Он — хлоп! и на стол с пола, а как именно он это делает, поди объясняй химически, по какой это он формуле... Вот и я тоже, как он, хочу сделать прыжок... по кратчайшему расстоянию между двумя точками.

— Подход совершенно ненаучный... а больше блошиный.

— Зато у тебя вполне узаконенный... Сто шагов сделали до тебя, ты сделаешь сто первый и получишь за это ученую шапку мандарина от кокса с десятью шариками... Только вопрос, дождутся ли этого твои внуки? А для меня важен скорейший практический результат: чтобы печи наши не забурялись — раз, и чтобы домны приличный кокс получали, а не паршивый — два. Вот и все.

— Ересь! — качал упрямой светловолосой головой Шамов.— Не цель, конечно, ересь, а средства.

— Посмотрим, ересь или нет. Я стою за скорейший результат только. А объяснять, что я сделаю,— это я предоставлю тебе, если нападет на тебя такая охота.

— И в какую же все-таки сторону ты хочешь прыгать?

— А вот ты увидишь, в какую,— самонадеянно говорил Леня.

И скоро не один Шамов, а и все в подвале увидели, что он начал подвешивать тигель с углем, растолченным в порошок, тигель с расплавленным углем и тигель с готовым коксом на стальные проволоки и заставлял их вращаться, как вращается волчок. Однако стальная проволока, так выручившая его однажды, когда рыбаки-«каменщики» нуждались в крючках, здесь показалась ему недостаточно послушной, и он принялся плавить кварц и вытягивать из него нити.

Это не совсем удавалось сначала, но он приспособился и, просиживая целый день в подвале, мог уже вытянуть до трехсот нитей. Концы их он закручивал в шарики и к ним привешивал тигли.

— Не понимаю, Леня, чего ты хочешь этим достигнуть? — спрашивал Шамов.

— Не понимаешь? Может быть, и я не вполне понимаю... Но вот же насчет вполне доваренных и недоваренных яиц хозяйки что-то такое понимают же, когда их крутят? А ну-ка, какое яйцо будет дольше крутиться и быстрее — сырое или сваренное вкрутую?

— Яйцо?.. Черт его знает; признаться, я как-то не обращал на это внимания. Кажется, крутое, но, может, я перепутал.

— Крутое, действительно. А почему крутое?

— Потому что... гм... Объяснить это довольно трудно.

— Вот видишь,— ликовал Леня.— Объяснить трудно, а хозяйки спокон веку так делают и не ошибаются. Но объяснить это мы, поскольку мы учились физике, можем тем, что жидкость в яйце при вращении плещется и упирает в скорлупу, как газы упирают в стенки коксовой печи, когда печь забуряется... Или как ты сам будешь упираться руками и ногами, если тебя законопа-

тят в бочку да покатят... Ты непременно будешь упираться в стенки бочки, а зачем? Чтобы затормозить движение бочки, вот зачем. Так и в моем этом опыте... Тигель с сухим коксом, конечно, будет качаться быстрее, чем с расплавленным, что я и наблюдаю.

— А выводы, выводы какие же из этого? — недоумевал Шамов.

— Выводы?.. Выводы пока только те, что я могу сравнивать... Что и как именно, этого я пока еще точно не знаю, но какие-то возможности тут все-таки есть.

В разговор этот вмешивалась Ключарева, энергично встряхивая своим одуванчиком:

— Я уж ему говорила, что все это — ерунда и потеря времени. А он упрямствует, как... как, я сказала бы кто, да, так уж и быть, воздержусь.

Но Конобеева воздерживаться не считала нужным, и с той выразительностью, с какой она читала стихи современных поэтов, очень округляя при этом глаза и рот и то откидывая, то подавая вперед свою большую голову, она отчитывала Леню, сжимая при этом небольшие, но довольно тугие кулаки и потрясая ими перед его подложечкой:

— Только какой-нибудь невежда, полнейший неуч, недоразвитый субъект мог бы придумать такую чушь.

— Послушай, заткни фонтан,— отзывался Леня миролюбиво.

Близнюк проворно рисовал карикатуры, непомерно вытягивая фигуру Лени и снизу доверху обвешивая ее тиглями на нитях; Зелендуб политично отмалчивался, когда к нему обращались Ключарева и Конобеева, чтобы и он высказал свое мнение о принципе вращения крутых яиц и яиц всмятку; он уверял, что твердые тела, равно как и тела всмятку, вне сферы его научных интересов. Даже и снисходительный вообще ко всем затеям Лени Карабашев, глядя на его вращающиеся тигли, только пожимал плотными плечами и улыбался.

Но Леня не сдавался; он говорил:

— Может быть, я и не пойду в этом опыте никуда дальше, но самый принцип этот в каком-то зерне его, в какой-то основе я считаю все-таки правильным... И относится он к физике, этот принцип, а отнюдь не к химии. Все-таки мой взгляд неизменен: угольное вещество надо изучать все целиком и образование кокса принимать как функцию всего угля в целом, равно-

действующую всех составляющих уголь, хотя бы нам совершенно и неизвестных.

— Да ведь это просто точка зрения Дамма! — возражал Шамов.

— Чья бы она ни была, мне безразлично. Дамма так Дамма, но я считаю ее правильной, эту точку. А идти к решению я, конечно, буду своими, а не даммовскими путями, которых, кстати сказать, у него и нет.

— Ну, на этой штуке ты далеко не уйдешь,— кивал Шамов на висящий тигель.

— Эту штуку я сниму, конечно, и что-нибудь другое сделаю. А Дамм и мне и тебе дал метод испытания углей на коксуемость, дал три зоны коксования, дал поведение угля в трех температурах, и скажи ему за это спасибо.

— Что же этот метод дает в работе с нашими углями?

— Отправную точку дает? Дает. И то хорошо.

— Отправная точка, а дальше? Дальше надо изучать угольное вещество в самом процессе коксования, то есть... изучать хи-ми-чес-кую природу углеобразующих...

— Ну и сиди над этим сто лет, как я тебе сто раз уже говорил. А работать мы должны для заводов, а заводы — это живое дело на ходу, а не какие-то там научно-исследовательские институты... В яму попал — дают тебе веревку, хватайся за нее да лезь по ней из ямы, вот и все. А тебе непременно хочется определить, что это за штука такая — веревка: из чего она, да почему она, да как она... И откуда у тебя, гиревика, взялась такая химизация мозга, это уж, за упразднением аллаха, неизвестно кто и ведает.

— Как бы ты там ни прыгал, но я, конечно, иду правильно,— несколько снисходительно, поэтому спокойно возражал Шамов.— Что начинает плавиться в угле при коксовании? Битум. Чем отличается один сорт угля от другого? Количеством битума. Что значит определить уголь на коксуемость? Узнать, сколько в нем битума. Вот и все.

— И чтобы узнать, сколько в нем битума, ты экстрагируешь битум бензолом, и тебе это будто бы вполне удается, и, значит, задача решена, и остановка только за шапкой мандарина с десятью шариками? Оставь,

брат Андрей! Это ты можешь вон Ключаревой говорить или Конобеевой, а не мне. Не знаю, чем эти твои опыты лучше моей вертушки, которую я, конечно, сейчас сниму, чтобы больше уж к ней не возвращаться.

Подобные споры подымались в подвале довольно часто.

Но подвал, как и тот сарай, в котором строился бермудский шлюп, привлекал тех же: Радкевича, Положечку, Качку и других, не столько занятых загадками кокса, сколько просто любопытствующих или желавших развлечься.

Положечко был известен, между прочим, тем, что в двадцать пятом году удивился, почему на фронтоне институтского корпуса торчит еще двуглавый огромный орел над белой мраморной доскою с золотыми буквами старой надписи, и вызвался его сбить; он был спущен к этому орлу на канате с крыши и остервенело долбил его молотом, раскачиваясь и привлекая множество зевак, пока не сбил; он был похож тогда на горных охотников, воюющих с орлами около их гнезд, из которых они забирают орлят и яйца.

Этот Положечко сразу наполнял и верхний и нижний этажи подвала своим трубным гласом, давая советы, которые совсем не относились ни к физике, ни к химии кокса.

— Клю-ча-рева! — рычал он.— Ко-но-бе-ева! Мой вам совет: будьте женщинами даже и в вонючей лаборатории этой. И рядом с ретортами всякими и колбами кладите коробочки пудры и два карандаша: для бро-вей и для губ. Умо-ляю вас, не забывайте об этом никогда в жизни.

Марк Самойлович Качка теперь уже как механик присматривался к аппаратам и просил Леню объяснить ему их действие, а Леня спрашивал его:

— Много ли у вас слушателей, Марк Самойлович?

— Не могу сказать, чтобы много, но зато... очень, очень прилежные ребята.

— А у вашего предшественника, покойного Ярослава Иваныча, нас, слушателей, было только трое,— вспоминал Леня.— И когда кого-нибудь из нас троих не было в аудитории, добрейший чех говорил: «О-о, вас, кажется, стало зна-чи-тель-но меньше сегодня»,— но очередную лекцию все-таки читал.

— Читал? — удивлялся Качка.

— Да, он был добросовестный человек... Но случалось, что приходил только я один. Ярослав Иваныч мне: «О-о, что же это такое? Как поредели ряды». Я, чтобы его успокоить, признаться, врал: «Сейчас придут, Ярослав Иваныч. Вот я схожу за ними. Сходить?» — «Сходите, пожалуйста». Я — со всех ног вон. Через полчаса заглядываю в двери,— ушел? Нет, ждет. Черт знает до чего неловко было! Все-таки я его убеждал лекцию отложить. Наконец подошли зачеты. «Я, говорит, буду вас гонять по всему курсу: приготовьтесь как следует». Готовимся, хотя и некогда было. Приходим. «Пока, говорит, я еще прочитаю вам пропущенное мною по теории винта и кое-что о домкрате». Читает. Слушаем. Кончил, наконец. «Теперь, говорит, можете идти и считать, что зачеты вами сданы...» Хороший все-таки был человек — этот Ярослав Иваныч.

— Но если он умер от огорчения, что у него только трое слушателей, то я-я... я надеюсь прожить впятеро дольше него: у меня пятнадцать,— подхватил Качка весело.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

На коксостанции работали ревностно. Производили исследования углей различных шахт на коксуемость, занимались немаловажным вопросом самовозгорания угля на складах, учитывали изменения веса и влажности угля при действии на него кислорода и свежего воздуха; окисляли угли перманганатом калия, извлекали из углей аммиак, смолу и бензол.

Для всего этого применялись приемы, уже испытанные в лаборатории Лапина, но если там эти приемы вводились в интересах кабинетной науки, то теперь Коксострой потребовал от лаборатории помощи производству кокса, и с этой целью Голубинский посылал на завод то одного, то другого и подвальщиков. Между тем надо было думать также и о дипломных работах, так как почти все подвальщики кончали институт.

Выдался редкостно теплый день в середине января. На Проспекте, самой людной улице города, столь возму-

щавшей старика Юрилина огромным количеством бездельников, двигались сплошные толпы, так как день был не только теплый, но еще и выходной.

Леня Слесарев и Лиза Ключарева шли рядом в толпе и говорили о своих будущих дипломных работах. Под ручку идти они не могли,— для этого Леня был слишком высок, а когда Ключарева попыталась все-таки продеть свою руку за его, опущенную в карман, то Близнюк, попавшийся им навстречу, сейчас же заторопился, доставая свой маленький альбом для карикатур, радостно бормоча:

— Как вы, друзья мои, похожи, так сцепившись, на болгарина с обезьянкой, которых я видел однажды в детстве... Любопытнейшая выйдет у меня карикатура.

Ключарева, вскрикнув, бросилась прочь, чтобы не попасть на страницу близнюковского альбома. А когда подошел Леня, сказала о Близнюке:

— Воображаю, как он нас теперь изобразит, противный. Он знает, конечно, что я неравнодушна к тебе, и, просто говоря, рев-ну-ет. Когда мы с тобой ездили на лодке месяц назад, он был вне себя от злости и мне потом говорил всякие глупости,— мне их тебе и передавать не хотелось.

— Не «ездили на лодке», а «ходили»,— поправил ее Леня.— На судах, всяких вообще, как морских, так и речных, не ездят, а ходят.

С месяц назад, в начале декабря, действительно они сделали прогулку по Днепру вдвоем,— последнюю в том году,— на том самом бермудском шлюпе, который выстругивал и сколачивал Леня. Днепр еще не стал тогда, хотя вода уже густела, и из этой густой холодной воды они вылавливали руками полугнилые яблоки, выброшенные с баржи, только что перед этим прошедшей. Вылавливать яблоки эти из ледяной воды было увлекательной забавой, и так заливисто-звонко хохотала при этом раскрасневшаяся и краснорукая Лиза, время от времени оценивавшая улов:

— Пуд... Два пуда... Три пуда...

Леня заметил ей на это под конец:

— Ты так увлеклась, что забыла уж счет на килограммы. Так всякие дикие эксперименты явно вредят культуре!

Он очень охотно соглашался всегда идти с нею, куда бы она его ни приглашала, если только не был срочно занят, и в то же время слегка подшучивал над нею и делал вид, что гораздо старше и опытнее ее во всяких житейских вопросах, хотя она, по ее же словам, была старше его (впрочем, «только на каких-нибудь полгода»). Ее любовь к сцене, ее большая внимательность к игре актрис, собственные выступления в студенческом драмкружке, заученные наизусть несколько довольно сложных ролей — все это не могло не заставить ее забывать очень часто не только счет на килограммы на декабрьском Днепре, но и то естественное, то свое собственное, что в ней было, и не один только заливистый, раскатисто-звонкий, не то чтобы веселый, а просто наигранно-актерский смех отмечал про себя, думая о ней, Леня.

И теперь, когда в две реки, вперед и назад, текли около них бесконечно разнообразные на вид люди большого города, Леня, сам того не замечая, совершенно непроизвольно сравнивал все встречные лица с лицом идущей с ним рядом Лизы Ключаревой, все звеневшие кругом голоса с ее голосом, чужой веселый смех с ее смехом, даже всякое такое малопостижимое, что было пришлепнуто к женским головам,— с ее вязаной красной штукой, и думал, сам удивляясь этому, что ему почему-то все равно,— идти рядом с Лизой или с кем-нибудь совсем незнакомой из этой вот толпы.

И слова ее теперь — «неравнодушна к тебе» — както покоробили Леню, почему он и отозвался на них только тем, что лодки «ходят».

Однако она не заметила этого; она была вся занята сейчас Близнюком и его ревностью; она говорила спеша:

— Ты знаешь, он мне даже предлагал записаться, но я-я... ни за что... Я ему так прямо и сказала: «Черт знает что ты выдумал...» И вообще-е... с какой стати? Хотя, конечно, из него выйдет дельный инженер, но вот у него нет пока еще ни одной научной работы, а мы с тобой уже написали ведь, хоть небольшую и не очень важную, и еще не одну напишем, правда? А с ним я бы не могла ни за что... Сиди и смотри на его толстые губы каждый день. С какой стати?.. Во-обще-е... у меня к нему никакой склонности нет... Я ему так и сказала...

«А к Слесареву, говорит, есть?» — «Есть, говорю, а тебе какое дело?» Он на меня так посмотрел тогда, что-о... Потом пошел. И вот теперь он ревнует.

Та «научная работа», о которой говорила Лиза, была небольшая статья, напечатанная в одном из технических журналов. Конечно, статью эту целиком писал Леня, ее же участие в работе свелось только к тому, что она делала обычные и очередные на станции опыты под его руководством.

Правда, он требовал в этих опытах большой тщательности и строгой точности и неизменно после каждого нового опыта говорил: «Этот эксперимент нам с тобой надо бы повторить: вдруг получатся несколько другие результаты».

О причинах забуряемости коксовых печей он вскоре после той памятной аварии на заводе написал статью для специального журнала, и она была напечатана и привлекла внимание коксовиков. Статья же, подписанная им и Ключаревой, была уже третьей его работой. Он отлично усвоил стиль научных статей, а также и то, что кончать их нужно непременно благодарностью тому-то и тому-то «за весьма ценные указания». Писать статьи за двумя, даже тремя подписями было тоже принято в технических журналах: так они казались солиднее и, пожалуй, неопровержимее, какими кажутся на суде одинаковые показания сразу нескольких свидетелей.

Снова просунув руку свою за его, опущенную в карман пальто, Лиза продолжала говорить, спеша и волнуясь:

— Мы и без того загружены до краев работой — и учебной, и научной, и общественной, и всякой, а тут еще вот... осложнения какие-то с этой стороны... Вообще эти вопросы у нас, молодежи, решены плохо.

— Даже, пожалуй, совсем не решены,— отозвался Леня.

— Ну, не то чтобы уж совсем не решены,— этого сказать нельзя,— покачала она одуванчиком с красной сердцевиной.— Я ведь знаю отлично, как жили мои мать и отец... Теперь-то они уж, наконец, разошлись, и мать живет с другим, и у отца — другая жена. Но раньше-то сколько было между ними всяких скандалов? У нас же теперь гораздо проще и лучше. А к чему вот Близнюк

какие-то этакие страшные глаза мне делает, и вообще... этого я не понимаю.

— А почему все-таки у матери твоей с отцом такие нелады были? — спросил Леня и тут же пожалел, что спросил, потому что она отвечала охотно и с чувством.

— Отец мой ведь пьяница. Он зверски пил и все тащил из дому и пропивал... Мать только и вздохнула свободно, когда другой человек подвернулся, и она к нему ушла... Да ведь это когда уж было, а у нее жизнь пропала.

В каком-нибудь огромном двусветном зале, колонны которого уходят, как прямые деревья в лесу, далеко ввысь, небольшими кажутся высокие и громоздкие люди, от присутствия которых сразу тесными и низкими становятся обыкновенные комнаты жилой квартиры. Так было с Лизой Ключаревой здесь, на очень людном Проспекте, в этот яркий, слепящий глаза зимний теплый день. В подвале, на коксовой станции, она казалась Лене куда заметнее.

Пальто, опушенное скромным сереньким кроличьим мехом, сидело на ней очень неловко, и Леня нашел причину этого; у нее были как-то излишне для женщины ее роста широки плечи, хотя была она худощава. Он как-то сказал ей раньше об этом, она же только принужденно улыбнулась, тряхнула головой и продекламировала как будто из какой-то пьесы: «Мы, дети разрухи, низкорослы и худосочны, но, милый, разве это наша вина?» Она даже изогнулась при этом и поднялась на один носок, точно хотела сейчас же с места пуститься в бесшабашную пляску. Однако чувство невнятной досады на кого-то и на что-то за нее осталось в Лене. И вот теперь это новое, что отец ее оказался пьяница, отложилось крупным тяжелым грузом на то же место, где уже шевелилась невнятная досада.

А люди навстречу и люди рядом шли и шли. Яркий день красочно румянил многие молодые лица.

— Не поехать ли в парк, а? Сейчас хорошо оттуда смотреть на Днепр,— сказал вдруг Леня, и Лиза благодарно глянула на него:

— Милый, поедем в самом деле... Хотя Днепра теперь и не видно под снегом, все-таки очень хорошо в парке сейчас... Вот, кстати, идет седьмой номер.

В трамвае было тесно, как всегда в выходные дни, но в парке, где северные белоствольные березки недоуменно переглядывались с павлониями и откуда таким загадочным и причудливым казалось многотрубное Заднепровье, полногрудо и здорово дышалось, хотя люди и здесь, как на Проспекте, шли и шли и сидели везде на скамейках.

— Ты, конечно, останешься при институте ассистентом, потом когда-нибудь тебе дадут кафедру химии, я в этом уверена,— говорила Лиза, ставя очень четко на подметенных аллеях свои небольшие ноги в ботинках на высоких каблуках, в то время как он всячески стремился шагать медленно и делать шаги наивозможно значительно меньше метра.

— Я думаю, что... может быть, и действительно оставят... Шамова и меня... и Близнюка, пожалуй.

— Нет, только не Близнюка, нет... Ну что такое Близнюк? Ерунда. Только карикатуры рисовать,— горячо не согласилась она.— Однако я тоже ведь, когда окончу, могу получить здесь место... Буду лаборанткой,— что же тут такого? Но я постараюсь никуда отсюда не уезжать... Вообще... я надеюсь, что мы с тобой еще не одну работу напишем... А дипломные работы,— знаешь, я слышала краем уха, что их могут даже и отменить.

— От кого ты слышала? Как отменить?

— Дипломные работы, конечно, должны бы писаться, хотя-я... какая же в них такая особенная надобность? И у многих ли они будут самостоятельны? Потеря времени в общем... Кто может писать, тот и будет писать, когда институт окончит, вот ты, например. А то ведь большинство посдирают оттуда и отсюда, и будет это называться дипломная работа.

Что-то было неприятное в том, как она говорила это. Леня хотел объяснить себе самому, что именно, но не мог; однако отчужденность взъерошивалась и росла с каждым ее словом, в парке даже сильнее, чем там, на Проспекте. И чтобы свести разговор на что-нибудь еще, он спросил:

— А твоя мать к кому же ушла, вот ты говорила недавно...

— Мать? А-а... это ее давнишний обожатель, конечно... Ведь моя мама красивая женщина была в мо-

лодости, а волосы у нее и сейчас такие же, как у меня... Конечно, у нее были романы... тем более что отец ведь был часто в разъездах,— общительно ответила Лиза, и Леня повторил почти то же, как будто про себя, вполголоса:

— Да, конечно... Раз красивая женщина, то у нее должны быть романы.

Потом ему захотелось посвистать вполсвиста, как он свистал иногда, задумавшись над решением той или иной задачи, но свистать здесь, в толпе, было не совсем удобно, и он только начал внимательнее вглядываться во все встречные лица. И вдруг увидел два лица, очень знакомых: Карабашев шел под руку с Конобеевой. И если Конобеева только приветствовала их, улыбаясь, перебором коротеньких красненьких пальцев поднятой левой руки, то Карабашев крикнул Лене:

— Стой, Ленька! Тебе привет от Шамова! И еще кое-что... Сейчас скажу.

Леня остановился. Они сошлись все четверо. Шамов уже с неделю как уехал на практику в Донбасс, но Лене почему-то неприятно было, что прислал он первое письмо не ему, а Карабашеву. Карабашев же говорил оживленно:

— Понимаешь, какая штука. Там, в Горловке, у немецких инженеров на строительстве оказался аппарат Копперса,— ну, словом, той фирмы, какая у нас коксохимические заводы кое-где строит,— и понимаешь, будто бы отлично делает пробы углей на коксуемость. И просто, и быстро, и, главное, вполне правильно... Так что, выходит, немцы решили задачу кокса.

— Для всяких наших углей?.. И для всякой нашей шихты?.. Что-то очень странно... Откуда взялся такой аппарат?

— Не знаю, откуда взялся, а только есть. Факт.

— Я вижу, тебе это неприятно, а? Подрывает всю нашу работу на станции? — лукаво спросила Конобеева.

— Нет, почему же подрывает? У нас много работы и без этого,— сказал Леня.— Только... во всяком случае надо бы посмотреть, что это за аппарат... Чертеж прислал?

— Никакого.

— Почему? Значит, секрет немцев?.. Может быть, принципы, на каких основано...

— Никаких. Ничего больше... Только то, что я тебе сказал... И привет, конечно... Ну, мы пошли.

И оба они тут же пропали в толпе, а Леня смотрел на Ключареву так пристально, что она вскрикнула:

— Что с тобой?.. Леня! У тебя глаза стали совсем как у Близнюка.

— Ду-рак,— сказал в ответ Леня.— Почему же он не прислал чертежа?

— Может быть, пришлет тебе, чего же ты волнуешься? — принялась успокаивать его Лиза.— Карабашеву, конечно, не прислал, зачем ему? А тебе пришлет... Вот ты увидишь.

А Леня, не вслушиваясь в то, что она говорила, бормотал:

— Ну, вот видишь... Значит, загадка кокса решена немцами... И я уверен, что физическим методом, а не химическим... Потому-то Шамов и не прислал чертежа... И мне он ничего не пришлет, я знаю... Не пришлет.

Лиза видела, что он точно пришиблен сверху этим аппаратом: не удалось ему, удалось Копперсу. Она окинула глазами ближайшие скамейки и сказала как могла радостно:

— Вот есть! Есть два места свободных. Пойдем сядем.

И потянула его за рукав; он покорно пошел и сел, причем она просила кого-то подвинуться, хотя во всякое другое время сделал бы это он.

— А может быть, Шамов просто пошутил в письме, а? Или Карабашев сговорился с Конобеевой пошутить над тобой. Что-то я заметила по ее глазам, что...

— Хорошо... Все равно... Оставь об этом,— перебил Лизу Леня и так поморщился, что та сразу перестала его утешать и спросила о длиннохвостых небольших синеголовых белых птичках, стайкой осыпавших дерево над ними:

— Это какие такие нарядные,— посмотри.

Леня чуть глянул на них искоса, отвернулся и только немного спустя ответил:

— Синицы-московки.

Но там, куда он отвернулся, на соседней скамейке сидела нарядная и красивая молодая женщина, и с нею

двое: помоложе — в клетчатой толстой кепке, и постарше — в черной шляпе и пенсне.

Леня смотрел в ту сторону упорно. Он не только видел эту женщину, сидевшую очень прямо, откинувшись на спинку скамейки, между этими двумя, которые к ней наклонились и слева и справа,— он видел больше. О чем они говорили, не было слышно за гулом мимо идущей плотной толпы, но она слушала обоих как-то очень спокойно, медленно переводя глаза, большие, с длинными черными ресницами, от одного на другого. И лицо у нее было большое, белое и тоже очень спокойное. На голове — светлокоричневая фетровая шляпка в виде шлема; заметна была на отворотах лайковых коричневых перчаток красная фланелевая подкладка; и воротник ее пальто был какого-то длинного, пушистого, но отнюдь не кроличьего меха.

Это было, может быть, и странно, но Леня смотрел на нее неотрывно, прочерчивая в воображении около нее тот самый таинственный аппарат, о котором только что услышал.

Он отлично знал, что аппарат этот ни в коем случае не может быть стеклянным, что это отнюдь не соединение реторт и колб, что он, конечно, плотен и не прозрачен, и в то же время именно прозрачными стеклянными стенками он как-то рисовался весь там, на соседней скамейке, около этого красивого, спокойного женского лица.

В мозгу Лени кипела лихорадочная работа: ведь он сколько времени уже думал сам о каком-то подобном аппарате, отнюдь не стеклянном, конечно, и в то же время вот теперь стеклянные,— потому что прозрачные — плоскости располагались то в виде куба, то в виде призмы с шестью, восемью, десятью гранями, но в середине их неизменно вписано было это спокойное и прекрасное женское лицо.

Счищенный в аллеи снег лежал грязноватым, но мирным, будничным сугробом за спинкой зеленой скамейки, на которую оперлась она таким здоровым и спокойным за свое здоровье телом. Синицы-московки, очень заметные на темных, влажных ветках и явно обрадованные теплом среди зимы, оживленно показывали свои акробатические штуки как раз невысоко над ее головой. И вот уже Лене представилось все это: и уголок парка,

и синицы-московки, и рыжеватый снег, и темные, влажные ветки деревьев, и зеленая скамейка, и индигово-синяя, неразборчивая в линиях и пятнах толпа в движении, и совершенно спокойная — она, вот эта женщина, с большим прекрасным лицом,— в продолговатой четырехугольной раме, как картина, сделанная темперой — красками, которые не жухнут, не меняются, не поддаются времени.

Такое забытье,— а это было действительно какое-то забытье, погруженность, отсутствие,— продолжалось несколько минут, и в это время говорила что-то около, рядом с ним, Лиза, но он не вслушивался и ничего не слышал.

И вдруг она дернула его за руку и, когда он обернулся, спросила тихо, но выразительно:

— Ты что это, а? Ты что на нее все смотришь?

Он пригляделся к Лизе и не узнал ее: глаза у нее стали совсем ромбические, белые, какие-то раздробившиеся и колкие, как битое стекло, лицо пожелтело и собралось в какие-то упругие желваки. Он даже отшатнулся испуганно: кто это?

— Ты что на нее так смотришь? — повторила она как будто вполголоса, но это отдалось в нем, как истерический крик.

И в несколько длинных мгновений, когда он смотрел на эту невиданно-новую, сидевшую рядом с ним Лизу Ключареву, он понял, что если и начиналось между ним и ею какая-то близость, точнее — только мерещилась возможность близости, то вот она сразу рухнула сейчас.

Та, другая, незнакомая, со спокойным лицом и синицами-московками над нею на голых ветках и рыжеватым снегом около скамейки,— она исчезла, как видение, встала и смешалась с толпой; он на мгновение взглянул туда, в ее сторону,— ее уже не было, и тех двоих с нею — тоже, там сидели другие, а эта, Лиза Ключарева, вот тут, около, видимо изо всех сил сдерживалась, чтобы не вскрикнуть так, что сразу собралась бы толпа. Она вздрагивала тонкой сведенной шеей и острым искривленным подбородком, а эти колкие белые глаза были пока еще сухи, но слезы,— как представлялось Лене,— уже доплескивались к ним, виднелись где-то совсем близко, вот-вот прорвутся, хлынут и затопят.

Он встал, чтобы заслонить ее от толпы, взял ее за обе руки и сказал тихо:

— Что ты? Что с тобой?.. Лиза! Вставай, пойдем... Вставай и пойдем.

Он поднял ее, взяв под локти, и осторожно повел в шаг идущей толпе. Она шла, вздрагивая крупно и не отнимая платка от глаз.

II

Для дипломной работы Леня выбрал исследование донецких углей на коксуемость, и то, что его командировали от коксовой станции в Донбасс за пробами углей, как нельзя лучше совпало с его личной задачей. Командирован он был представителем Главнауки. Ездил с ним вместе от Коксостроя некий Пивень, увесистый человек с толстым сизым носом, и экономист Моргун, который страдал тиком и делал при разговоре изумительные гримасы после каждого десятка слов.

С ними Леня побывал в Гришине, Рутченкове, Енакиеве, Сталино, везде собирая сведения о шихтах, какие идут на коксование, и ведя строгую запись увозимых с собою проб угля.

В Горловке он отыскал Шамова; тот жил при заводе, который уже заканчивали: на нем утверждали последние коксовые установки.

И первое, что спросил Леня у Шамова, было:

— Ну, а этот вот, ты писал, аппарат Копперса,— он где у тебя?

— А-а, загорелось ретивое? — хлопнул его по спине Шамов.— Да, брат, аппаратик любопытный. Только у меня его, конечно, нет,— он у немцев. Называется он трайб-аппарат Копперса.

— Трайб-аппарат?.. Хорошо... А он у них как — засекречен?

— Немцы, конечно, своих секретов выдавать не любят, но-о... поскольку фирма того же Копперса строила наш завод, то должна же и пустить его, а для этого пробовать на своем аппарате наш уголь,— так?

— Не иначе. А ты был при этих пробах?

— Непременно. Да ведь аппарат по существу простой, только...

— Что «только»? — очень живо спросил Леня.— Химический подход или физический?

— Вот потому, что подход физический, он дает результаты весьма приблизительные, этот трайб-аппарат.

— Приблизительные?

— Да... И я бы сказал, что это не решение задачи кокса, нет, брат. Особенно с нашими углями. У нас что ни уголь, то имеет какую-нибудь особенность. Этих особенностей трайб-аппарат учитывать, оказалось, не может... Очень он груб и прост для наших углей... Что? Отлегло от сердца?

— Ну вот, чепуха. Что же, ты в самом деле думал, что я...— толкнул его Леня.

— Но если ты не перейдешь на химический метод решения, все-таки ничего у тебя не выйдет. В этом уж я теперь окончательно убедился.

— А трайб-аппарат посмотреть нельзя?

— Я тебе начерчу его, если хочешь... Пустяки... Простей лаптей. Вот цилиндр, а в нем железная трубка...

И Шамов бойко принялся вычерчивать разрез аппарата, четко и точно, взвешенными словами давая свои объяснения к чертежу. Когда же Леня сказал, что все он отлично понял и что это действительно просто, Шамов добавил:

— Копперс как строитель заводов коксохимических интересовался собственно чем? Не превышает ли уголь пределов нагрузки на стены печей, то есть не вспучивается ли так, что может деформировать стены, во-первых, и, еще больше, не может ли забурить печь, во-вторых?

— А мы чем интересуемся? Не тем же ли самым? — не понял Леня.

— Нет, не тем... Главное, не так. Он заинтересован в том только, чтобы завод сдать как годный к эксплуатации, а мы — в том, чтобы этот завод работал у нас без перебоев,— это большая разница, конечно. Вот завод выдал серию печей — отлично. Вот завод выдал все печи без забурения — еще лучше. Мы завод приняли. Фирма денежки получила — и до свиданья. А у нас потом забуряются печи сплошь. Почему? Потому что уголь не однороден, это тебе известно, конечно. И вот, насколько я присмотрелся к этому аппарату, он дает

только три показателя: черта пошла вверх, потом упала низко — первый показатель. Что он значит? Значит он, что уголь при коксовании будет пучиться и может попортить стенки, но коксуется хорошо. Затем — черта идет вот так, как волна, а хвост низко не опускается — второй показатель. Значит он, что уголь плохой: будет очень пучиться и забурять печь. И, наконец, третий показатель: черта самая скромная, в гору не лезет, а норовит скорее опуститься вниз; это — самый хороший уголь, и кокс будет выдаваться как малина. Однако найди поди такой уголь. Подобрать шихту по этим данным можно? Ни в коем случае.

— А идея все-таки хорошая,— пробормотал Леня.

— Куцая.

— То есть не охватывает всех углей, но вот видишь — отмечает же, насколько вспучивается уголь при коксовании.

— То есть приблизительно указывает, сравнительно с другим сортом угля указывает, сколько в нем битума, больше ли, меньше ли, а сколько именно?

— Да это совсем и не нужно, сколько именно.

— Ну, этого уж ты мне не толкуй.

— А идея все-таки здоровая. Все ведь постигается путем сравнения... А тут сравниваются целых три типа углей.

— Да, если бы их только и было, что три типа, а не триста двадцать три, например.

— Однако аппарат этот может здорово помочь в их классификации.

— В том-то и дело, что ничуть, ни вот на столько не помогает,— и Шамов показал ноготь мизинца.

Когда Леня увидел аппарат Копперса, то быстро прикинул его размеры снаружи и размер металлического стакана внутри, куда насыпался истолченный в порошок уголь; острым и цепким глазом человека, привыкшего все делать своими руками, схватил — что, куда и как прикреплено и из чего сделано, и, наконец, сказал Шамову тихо, но убедительно:

— Знаешь, что?.. Через неделю я все объеду, где тут, в Донбассе, мне нужно еще взять пробы, а через две недели у меня на столе, на нашей коксовой станции, будет стоять точь-в-точь такая штука.

III

К Гаврику обратился Леня:

— Послушай-ка, кузен и все прочее, ты ведь, кажется, говорил, что готовишься стать токарем по металлу?

Гаврик сдвинул брови и ответил важно:

— Чего же мне готовиться, когда я уж и плиты шлифую и все делаю сам... Мне готовиться уж нечего, я и так готов.

— Так что, если я тебе дам чертеж и материал, можешь ты мне довести этот материал до дела?

— А почему же нет?

— И высверлить можешь цилиндр, например, небольшого диаметра?

— А что же тут такого страшного?

— Ну, раз для тебя ничего страшного нет, тогда молодчина. Тогда я тебе дам заказ.

— Специальный?

— Непременно. Для нашей коксовой станции. Идет?

— Идет.

Леня достал подходящего железа и с помощью Гаврика, с одной стороны, и Студнева, с другой, смонтировал аппарат системы Копперса. Все пробы, вывезенные Леней из его поездки по Донбассу, одна за другой прошли через этот аппарат, и кривую вспучивания при коксовании каждой пробы Леня занес, очень тщательно перечертив ее, в особую ведомость донецких углей.

Как-то к нему в подвал, где он готовился к дипломной работе, которую думал назвать «Методика определения коксуемости углей», зашел неожиданно Гаврик.

— Ты что? Чего-нибудь тебе нужно? — забеспокоился Леня.

— Нет, ничего особенного... Хочу просто на дело рук своих поглядеть... Работает?

— Работает, брат... У нас будет работать; вот, смотри.

Гаврик посмотрел, помолчал, потом сказал, чуть-чуть улыбнувшись:

— Однако я ведь тоже работал... и сверхурочно работал... А у нас, в Советской республике, так заведено: кто работал, тот что-нибудь должен получить за работу.

— А я тебе ничего не дал, верно... Ну что же я тебе могу? Денег у меня нет.

— Зачем у тебя? У вашего учреждения — какое оно там,— мои заработанные деньги, я так думаю, а совсем не у тебя.

— Э, с нашими папашами возиться — сто бумажек надо написать, и вообще это целое дело... Вон велосипед мой стоит, хочешь взять за эту работу?

— Ну вот еще. Велосипед же твой личный?

— Конечно, личный... Да он мне по дешевке достался... Ничего, бери.

— Да я на нем и ездить не умею...

— Тем лучше, значит — учись.

— Я взять могу, конечно, на время, попрактиковаться, если у меня его ребята не поломают...— сумрачно сказал Гаврик.— А денег ты все-таки расстарайся.

— Попытаюсь. Только надо тебе знать, что пыл Коксостроя к нам значительно охладел и с новыми затратами на станцию — дела тугие... Даже стараются подсократить штат. Была тут у нас, например, как лаборантка Лиза Ключарева — ушла; ее никем и не думают замещать. Правду сказать, толку от всей нашей работы очень мало. А если это просто лаборатория для практики студентов, то почему ее должен финансировать Коксострой? У него и своих расходов довольно... Так что ты велосипед бери и не стесняйся... А если мне когда понадобится, я у тебя его возьму на время, ничего. Пусть так и будет: велосипед теперь твой.

Гаврик пожал плечами, потом взвалил на них велосипед и вынес его из подвала.

А не больше как через неделю,— сошел уже весь снег, было тепло и сухо,— Леня обратил внимание на лихого велосипедиста, который мчал по улице, не прикасаясь к рулю, даже заложив руки за спину для пущей картинности. Во рту у него блестел на солнце свисток, а теплая вязанка придавала ему вид заправского боевого спортсмена.

Присмотревшись к нему пристальней, Леня узнал в нем Гаврика и подумал не без удовольствия: «Способная все-таки мы порода».

А Лиза Ключарева действительно вскоре после прогулки с Леней в парк бросила подвал, ссылаясь на то, что нужно готовить дипломную работу.

Однако дипломные работы в том году были отменены.

Выпуск новых инженеров, в том числе Слесарева, Шамова, Карабашева и Зелендуба, прошел торжественно и остался в памяти всех еще и потому, что ректор Рожанский, желая подать стакан воды одному из ораторов, переусердствовал, заторопился и вместо стакана налил воды из графина в чью-то лежавшую поблизости от него шляпу. А когда, несмотря на торжественность минуты, прыснул около него кто-то смешливый, а за этим другие, торопливо стал выливать бедный Рожанский воду из шляпы обратно в графин.

Может быть, такая рассеянность подействовала, как действует зевота, заразительно и на Леню, только он в этот день, обращаясь к Геннадию Михайловичу, назвал его почему-то «Геннадий Лапиныч», и тот не на шутку рассердился и раскричался, а бывшая при этом Конобеева подскочила к Лене и очень отчетливо, как всегда, залпом обругала его «длинным балдой, недоноском, зазнайкой, сумасшедшим, печенегом», на что Леня, тоже как всегда, сказал ей миролюбиво:

— Заткни фонтан своего красноречия.

Вечером в этот же день все подвальщики, ставшие инженерами, катались на бермудском шлюпе под парусами и пели: «Реве тай стогне Дніпр широкий».

Леня был оставлен при институте, как и Шамов, стараниями которого в подвале стало одним трайб-аппаратом больше; но оба они видели, что от решения коксовой задачи они далеки, хотя и завалили коксовыми корольками, полученными от разных опытов, все свободное место под лестницей подвала.

Количество углей Донбасса, способных спекаться, было невелико, промышленность требовала их вдвое больше, и это только теперь, а между тем предстоял ведь в металлургии огромнейший взлет в связи с принятой и неуклонно проводившейся пятилеткой.

Нужно было овладеть таинственной сущностью угля настолько, чтобы он безотказно, в тех или иных устойчивых смесях, давал в коксовых печах необходимый для домен кокс, отнюдь не забуряя и не портя ни печей, ни домен.

— Не-ет, как ты хочешь, а эту задачу может решить только химия,— теперь уже совершенно уверенно говорил Шамов.— Только тогда, когда мы химически ясно представим себе процесс коксования...

Но Леня перебивал нетерпеливо:

— Через сто лет... А если даже и химия, то не в том объеме, в каком мы ее знаем. Если химия, то нам с тобой еще много надо учиться химии. Пусть будет по-твоему, химия, ладно, но тогда, значит, чтобы стать хозяевами кокса, мы должны стать хозяевами каких-то новых химических процессов, а не толочься на одном месте, как сейчас... Что-нибудь одно из двух: или химия — застывшая наука и все свои возможности исчерпала, или она может и должна, конечно, бешено двинуться вперед. А если может двигаться, то надо ее двигать — вот и все.

Мирон Кострицкий с Тамарой уже два года как работали в крупнейшем научно-исследовательском институте в Ленинграде, и от них Леня получил письмо: каталитики приглашали бывшего соратника по катализу работать снова с ними вместе. Леня немедленно ответил, что приедет.

Когда он сказал об этом Голубинскому, у того, всегда такого уравновешенно спокойного, дрогнули губы и очень уширились, как от испуга, глаза. Он бормотал ошеломленно:

— Что вы, послушайте,— если вы не шутите. А как же наша коксостанция без вас? Нет, это совершенно невозможная вещь. Вы, такой инициативный человек, и вдруг... Нет, мы постараемся вас удержать, иначе как же?

И все-таки Леня решил уехать.

Перед отъездом он понял, что значил старый Петербург для его отца. Он видел, что отец сразу как-то помолодел и налился прежней энергией, какую замечал у него Леня только лет пятнадцать назад. Ему казалось даже, что отец сейчас же собрался бы и поехал вместе с ним, если бы появилась для этого какая-нибудь возможность. С какою нежной любовью и как обстоятельно говорил отец об Академии художеств, о Васильевском острове, на котором прожил во времена своего студенчества несколько лет, об Эрмитаже и других картинохранилищах, о сфинксах, лежащих у входа в Академию, и бронзовых конях Клодта на Аничковом мосту, об адмиралтейском шпиле и ростральных колоннах, о Неве с ее подъемным мостом, о Фонтанке, о Невском проспекте, который был чудеснейшей из всех улиц всех городов

старой России, о выставках художников, о Чистякове, Репине, Шишкине, Куинджи... Это был совершенно неиссякаемый поток воспоминаний, притом таких улыбчиво тонких и трогательно нежных.

— Ну-у? Михай-ло, ты кончил? — несколько раз спрашивала его очень строго жена, теребя себя за мочки ушей.

Но он только отмахивался от нее:

— Обождите, мадам,— и продолжал говорить, вдохновенно сверкая очками.

Множество поручений надавал он Лене потом, все прося их записать, чтобы не забыть. Ему хотелось узнать, кто из знакомых художников остался в живых и живет теперь в Ленинграде, что они пишут теперь и где выставляются, и покупает ли кто-нибудь их картины, а если покупает, то сколько платят и за холсты каких именно размеров; продаются ли в Ленинграде масляные краски нашего изготовления, и хороши ли они, и сколько стоит, например, двойной тюбик белил, только цинковых, а не свинцовых; и не выходит ли там какой-нибудь журнал по вопросам живописи, неизвестный пока здесь, в провинции... Поручений было очень много.

— Михайло, замолчи! — кричала на отца мать, но он выставлял в ее сторону руку, говоря:

— Обождите, мадам,— и продолжал.

В конце февраля бледно-голубым, прозрачным, слегка морозным днем Леня умчался в Ленинград.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

I

Лапин и Голубинский сидели в своем кабинете и рылись в бумагах, подготовляя отчетного характера книгу о «трудах научно-исследовательской кафедры металлургии и горючих материалов», когда вошла в кабинет Таня Толмачева и остановилась у порога, оглядывая обоих исподлобья.

Откинув голову, несколько моментов разглядывал недоуменно Лапин эту невысокую, яркочерноглазую девочку лет четырнадцати на вид и спросил, наконец, по-своему высокомерно и с расстановкой:

— Ва-а-ам что угодно, да?

Таня сразу узнала по описаниям той, кто ее направил сюда, что это и есть профессор Лапин, и ответила тихо:

— Мне сказали... что у вас тут есть работа для химички... на коксовой...

Она забыла, что именно коксовое, но ей подсказал Голубинский, весьма внимательно на нее глядевший:

— На коксовой станции? Да, есть работа.

— А-а-а,— лаборантку, да? Лаборантку мы могли бы взять, да-а. Но вы-ы-ы... вы нам зачем же, помилуйте? — удивленно посмотрел на нее Лапин.

А Голубинский спросил, прищурясь:

— Ведь вы сказали: для химички?.. Для химички действительно есть работа... А вы разве учились где-нибудь химии?

— Я?.. Я окончила после семилетки техникум... Потом работала на газовом заводе,— так же тихо и так же глядя исподлобья, проговорила Таня.

— Вы-ы?.. Что это такое? Фан-та-сма-гория?.. Посмотрите на нее, Аркадий Павлович... Ра-ботала будто бы еще и на заво-о-де, да... Когда же вы все это успели, да? Вам сколько лет, да?

— Мне девятнадцать... почти...

— Ва-ам? Де-вят-над-цать?.. Нет-с. Вам четырнадцать! Вы нас не надуете, нет,— почему-то повеселел Лапин.— Правда, Аркадий Павлович, а? Ей четырнадцать, а она... да. Она что-то такое вы-ду-мы-вает тут, когда нам некогда, да.

Он даже улыбнулся, этот шумоватый старик, с бородою отнюдь не короткой и не то чтобы седой, густою и подстриженной прямоугольником.

— Нет, мне девятнадцать,— уже громче, но не обиженно отозвалась Таня.

Тогда Лапин, кашлянув коротко, крикнул ей:

— Садитесь.

Таня поглядела на Голубинского, ища у него объяснения этому неожиданному командному крику, но Лапин вторично крикнул еще громче:

— Садитесь же! — и добавил тише: — Если вам девятнадцать лет, да,— то садитесь.

Таня тут же села на стул, а Лапин сказал Голубинскому:

— Займитесь ею, Аркадий Павлович. Займитесь, да... а я тут вот... подберу пока, что нам будет нужно.

И он начал так усердно шелестеть бумагами и перешвыривать их на широком столе, как будто и в самом деле был немилосердно занят.

Голубинский же склонил голову набок, склонил ее еще ниже, наконец уронил ее совсем, потом бодро подбросил и заговорил (так он всегда начинал говорить с кафедры, и это стало его привычкой):

— Вы сказали, что окончили химический техникум. Я вас не спрашиваю, где, какой именно; я вам верю, конечно... Вы сказали, что работали на газовом заводе,— хорошо, я вам верю и в этом... Но вы имеете ли понятие о том, что у нас за работа на коксовой станции?

— Нет... Представляю, но не совсем ясно.

— Вот видите. А у нас ведь работа трудная.

— Да, да-а. Да-аа... Трудная, да,— живо вмешался Лапин, не отрывая глаз от своих бумаг.— У нас трудная... Очень, да... И даже, да-аже нужна там большая физическая сила, фи-зи-чес-кая, да... А то до вас вот являлись к нам сюда, да... молодые люди, двое... Они, видите ли, и там работали, и там работали, и здесь работали,— во-об-ще-е про-яв-ляли большую резвость ног... Ног, да... Гм... Да, у вас есть какие-нибудь вообще-е физические силы, да? — сам себя перебил Лапин.

— Есть,— слегка улыбнулась Таня, но, ссутулившись, незаметно как-то для себя самой, поднялась со стула.

— А то ведь та-ам, там, на коксовой станции, надо... переставлять аппараты иногда, да, аппараты... А они ведь тяжелые, да... Вы что,— сели вы или еще стоите все?

— Села,— поспешила и ответить и сесть снова Таня.

— Займитесь ею, Аркадий Павлович, да,— кротко сказал Лапин.

Голубинский, разглядывавший Таню внимательным взглядом ученого, привыкшего делать точные выводы из своих наблюдений, заговорил снова, трижды роняя голову, прежде чем ее подбросить:

— Если поступите к нам лаборанткой, то, предупреждаю вас, там будут под вашим началом двое моло-

дых людей,— так лет по тридцати,— и вам надо быть с ними построже. Это некто Черныш,— он то-оже как бы лаборант, но больше в его обязанности входит уборка помещения, и Студнев — механик... Так что вот вам с ними сразу надо взять начальственный тон, а то они вас и слушаться не будут,— и что же тогда будет твориться на станции?

Таня не понимала, говорит ли он серьезно, или шутит: лицо его хотя и было серьезно, но говорил он о каких-то, так ей казалось, пустяках... И, стараясь показаться вообще строгой, она нахмурилась и сказала громче, чем раньше:

— Я, конечно, посмотрю сначала, как там...

— Что-о?.. «Посмотрю»? Что это вы такое там посмотрите, да? — вдруг закричал снова Лапин.— Или, может быть, вы хотите посмотреть, ка-ак там можно будет работать? Да? Так я вас понял? Тогда-а-а... это ваше законное право, за-кон-нейшее, да... Самое законное. Да... Поговорите с ней, Аркадий Павлович.

И Голубинский мягко продолжал:

— Так вот, вы, разумеется, хотите посмотреть, что у нас за условия работы... Вот зайдите в лабораторию, посмотрите. Там у нас внизу коксоустановки, а вверху лаборатория, где под свою ответственность вы и должны будете принять все приборы. Зайдите и посмотрите свое будущее хозяйство.

Тане показалось, что теперь она непременно должна встать и заторопиться, и она встала и торопливо сказала:

— Так я пойду туда, посмотрю.

— Да, спросите на дворе, где коксостанция, вам ее покажут,— сказал Голубинский, подвигая к себе пачку бумаг, а Лапин, напротив, отодвинул какие-то подшитые тетради очень размашисто, закричав ей:

— Да, да, да-а. Вот, посмотрите пойдите... По-деловому, по-деловому, да, а не как-нибудь. Идите и смотрите, да... А потом договоримся о зарплате... А потом покажете нам ваши документы, да. Аттестаты и все знаки отличия... Вы не комсомолка, нет?

— Комсомолка.

Таня увидела, сказав это, как Лапин, точно удивясь очень, обратился к Голубинскому, даже протянув к нему руку:

— Ну, вот видите, Аркадий Павлович, о-на-а, она оказалась еще и комсомолка впридачу, да.

И Тане показалось, что теперь ей лучше всего выскочить в дверь. И она выскочила с гораздо бóльшей ловкостью, чем вошла сюда.

Что она уже принята лаборанткой, в этом Таня не сомневалась и, дойдя до подвала, даже подумала, стоит ли ей заходить сюда. Но из любопытства все-таки зашла.

В лаборатории, как всегда и бесконечно в последнее время, Черныш и Студнев играли в шашки. Они обернулись к вошедшей, но приняли ее за студентку, которая ищет кого-нибудь из аспирантов и тут же уйдет, конечно, увидя, что лаборатория пуста. Они так понадеялись на это, что снова уткнулись в свою доску, потому что момент игры был очень решительный и острый и от одного только опрометчивого, поспешного хода Студнева зависела полная победа Черныша, и Черныш всячески, хотя и молчаливо, внушал ему именно этот опрометчивый ход. Но маленькая вошедшая подошла к ним вплотную и спросила, показав пальцем на шахматную доску:

— Это у вас, товарищи, какой же именно прибор?

Даже и не подумав в это время о Голубинском, она, незаметно для себя самой, взяла именно его интонацию голоса и подкинула голову, как он после третьей степени опускания, и оба шашечных игрока встали. Черныш спросил вежливо:

— Вам кого-нибудь нужно из научных работников или?..

— Мне нужно лаборанта Черныша,— очень уверенным тоном сказала Таня, и даже несколько небрежно это у нее вышло, так что Черныш ответил смущенно:

— Я хотя и не то чтобы лаборант, а...

— Но все-таки это вы — товарищ Черныш? Ну вот, хорошо... А товарищ Стульев здесь?

— Студнев,— поправил Черныш,— механик наш... Вот он.

Тогда Таня сказала важно:

— А я ваша новая лаборантка,— и протянула руку сначала Студневу, потом Чернышу.

Лаборатория понравилась Тане больше всего тем, что в ней никого, кроме этих двух, не было. Она, в середине между Студневым и Чернышом, обошла ее всю,

разглядывая приборы, которые Черныш называл привычно правильно. Показывая ей в нижнем этаже подвала коксовую печь на пятьдесят килограммов угля, Черныш сказал почтительно:

— А это вот печь... Леонид Михайлович наш поехал в Ленинград, так печь эта и осталась вроде сироты. А без него уж, конечно, никто ее у нас довести до дела не может, потому что он сам ее и клал по своим чертежам... Это все его личное устройство.

И еще несколько раз, показывая то и другое из приборов, упомянул Черныш Леонида Михайловича, почему и запомнилось Тане это сочетание имен.

Но она не спросила, кто именно был этот Леонид Михайлович, к тому же ей вдруг подумалось, что может случиться и так: переговорят без нее между собой эти двое профессоров и найдут ее неподходящей... И перед Чернышом, очень говорливым, и перед Студневым, совершенно молчаливым, ей стало стыдно, и она сказала невнятно:

— Ну, мне надо еще переговорить с профессором Лапиным! Пока! — и выбежала из подвала.

В кабинете Лапина, когда она вошла снова, сидел один только Голубинский. Он встретил ее двумя короткими словами:

— Ну как?

И Таня совсем не знала, что на эти два слова ответить, но он продолжал:

— Ставка у нас для лаборантов сто в месяц... Согласны?

Только тут Таня увидела, что она действительно взята на работу, и торопливо положила на заваленный бумагами стол еще и свои бумаги.

II

В небольшом стареньком чемодане Тани, в который вмещалась вся ее собственность, почетное место отводилось плоской жестяной коробочке с весьма дорогими для нее предметами: сухим крабом средней величины, причудливо изогнувшим шею морским коньком и стремительной морской иглою, из которой когда-то все внутренности дочиста были выедены вездесущими муравьями, почему она была теперь хрупкая и почти прозрач-

ная, как сработанная из звонкого желтого стекла. Кроме этого, в том же чемодане хранилась пригоршня разноцветных камешков с пляжа, окатанных морскими прибоями, и бутылочка с морской водой.

Это было все, что оставалось теперь у Тани от огромнейшего, чудеснейшего, голубейшего моря, около которого прошли ее детство и отрочество в небольшом городке, не насчитывавшем и пяти тысяч населения. К этому городку приковали ее мать, служившую в эфирно-масличном совхозе, слабые легкие; она же, Таня, пустилась в широкий свет одна. Тот химический техникум, который она окончила после семилетки, превратился в техникум из профшколы с двухлетним курсом: спешили готовить кадры для новых заводов; на аммиачном же заводе потом она работала всего три месяца. Это было в Донбассе на новом производстве, еще не успевшем обзавестись помещениями для лаборантов. Жить там приходилось в одном бараке с рабочими, которые ночью выходили со своей половины сменять товарищей, неимоверно топая при этом тяжелыми сапогами, а сменившиеся, придя, непременно должны были перед сном заводить радио и слушать его не меньше часу, куря махорку и гогоча. Эти ночные смены, махорка и радио не давали лаборанткам ни дышать, ни высыпаться, и две из них — Фрида Гольденберг и Таня Толмачева — не выдержали и приехали искать работы сюда, потому что из этого города родом была Фрида и тут жили ее родные. Она и нашла для себя работу на второй день после приезда в лаборатории коксохимического завода, где и услышала про возможность для Тани поступить на коксовую станцию.

А коксовая станция в это время явно хирела. Из коренных подвальщиков изредка заходили сюда Зелендуб и Близнюк, несколько чаще Шамов, но у всех набралось много посторонней работы, причем Шамов приглашен уже был читать химию в новый институт, отпочковавшийся от старого горного. Карабашев уехал на работу в Сталино; Конобеева устроилась на одном из подгородных заводов; Лиза Ключарева вышла замуж за пожилого инженера из Луганска, приезжавшего сюда по делам своего завода, и уехала вместе с мужем.

Все это рассказал Тане в первый же день ее знакомства с подвалом словоохотливый Черныш, а когда явил-

ся Шамов и, наскоро познакомясь с Таней, начал таинственно обрабатывать уголь бензолом в целях извлечения из него битума, Черныш, вытянувшись перед ним во весь свой длинный рост и сделав самую почтительную, самую внимательную и даже заботливую мину, успел все-таки улучить момент, чтобы шепнуть Тане:

— Ну, пошел опять свои закваски ставить.

Однако Таня поглядела на него нахмурясь: она уже думала поступить именно в этот самый, только что открывающийся институт и в Шамове видела своего будущего преподавателя химии.

Она ждала от него каких-нибудь веских указаний, чем должна она здесь особенно усердно заняться, на что налечь в первую голову, но у него был вид очень спешащего куда-то человека, и он даже забыл с нею проститься, когда уходил. Он показался ей излишне полным; и действительно, перестав заниматься привычными упражнениями с гирями, он в короткое время сильно располнел, как это свойственно атлетам.

На дворе института жильцы устроили для себя волейбольную площадку, и Таня быстро пристрастилась к этой игре, так как в подвале ей теперь, в каникулярное время, почти нечего было делать. Играя, она входила в большой азарт и в крике и задоре ничуть не уступала мальчуганам лет двенадцати — тринадцати, своим частым партнерам. Она и сама была похожа на мальчишку, так как совсем коротко, по-мальчишечьи, стриглась, носила на затылке тюбетейку, черную, восточного стиля, с вышитыми серебряной ниткой полумесяцами, и ходила в каком-то бесполом синем комбинезоне.

Еще что она любила — это купаться в Днепре. Правда, ни Днепр, никакая другая река в мире не могли бы и в сотой доле заменить ей голубого моря, в котором привыкла она купаться летом по нескольку раз в день; но Днепр все-таки был ей тоже известен с детства по «Страшной мести», и Фрида, которая ходила с нею купаться, удивляясь тому, как далеко она плавала, пророчила ей, что когда-нибудь она непременно утонет, и тогда вставал вопрос — как же она, Фрида, будет смотреть в глаза ее, Таниной, матери, которой должна же она будет написать о ее смерти и которая, конечно, приедет на похороны.

Фрида вообще была очень рассудительна, скромна, и резкие мальчишечьи движения и крики Тани приводили ее в непритворное отчаяние. Она так и говорила ей:

— Ну что ты позволяешь себе делать такое, Таня? Мне приходится за тебя страшно краснеть.

Между тем Таня и поселилась здесь вместе с Фридой у ее родных, на улице Розы Люксембург.

Очень тяжелые годы гражданской войны, голода и разрухи, которые пришлось пережить Тане в самом раннем детстве, сделали ее вообще подозрительно внимательной к незнакомым людям, и этого ничем и никак победить в себе она не могла. Очень оживленная с теми, к кому она привыкла и чувствовала полное доверие, она была дика со всеми новыми людьми, смотрела исподлобья или совсем в сторону, отвечала на вопросы односложно: «да», «нет».

Ей очень не нравилось, когда ее новые товарищи клали ей на плечи руки и заглядывали в глаза, а это бывало часто.

Когда Близнюк в первый раз увидел ее здесь, в подвале, он тут же пустил в дело один из своих ребусов. Когда же она ни одним словом не отозвалась на это и отодвинула его альбом, он, отойдя и прицелившись к ней сильно выпуклыми глазами, быстро нарисовал на нее карикатуру, обратив наибольшее внимание на ее волосы, по-мальчишечьи торчащие в разные стороны. Карикатуру эту с комической ужимкой он поднес ей, но она на обратной стороне листка очень похоже изобразила его самого в виде лупоглазой лягушки, поднявшей голову из-за смятых камышей. Однако, когда Близнюк пришел от этой ее способности в такой восторг, что обнял ее плечи и прижал свою толстую щеку к ее вихрам, она мгновенно вскочила и крикнула: «Это что такое?» — и блеснула глазами на него так ярко, что Близнюк тут же от нее отошел, выпятив губы.

Мать Тани, Серафима Петровна, часто писала ей письма. Она служила в конторе большого, раскинувшегося на несколько окрестных деревень совхоза, занятого не только выращиванием лаванды, розмарина, казанлыкских роз, для которых климат и почвы южного берега Крыма оказались вполне пригодными, но и выгонкой из них масел. В письмах к Тане она не раз жалела о

том, что хотя у них работает десятка два агрономов, но химичек почему-то совсем нет в штате работников совхоза, а то они снова могли бы зажить вдвоем. Впрочем, как ни любила Таня голубое море и мать и как ни нравился ей запах казанлыкских роз, оставаться всю жизнь только лаборанткой Тане все-таки не хотелось.

Ей хотелось большого размаха, больших движений; ее любимыми книгами и сейчас, как и семь-восемь лет назад, были записки путешественников.

И когда Фрида говорила ей:

— Если есть летуны, то должны быть, конечно, и летуньи. Вот ты, Таня, прирожденная, должно быть, летунья.

Таня отвечала:

— Может быть, я еще и буду когда-нибудь летать, но мне больше нравится плавать по морю на пароходе. И я даже согласна не один раз «терпеть бедствие». Разумеется, только с тем условием, чтобы меня каждый раз все-таки спасали.

У Фриды была сестра Роза, такая же маленькая, как Фрида, белокуренькая, сероглазая и очень склонная краснеть. Сестры были близнецы, и Роза тоже химичка, но работала она на одном из заводов Заднепровья, где и жила, и только по выходным дням приезжала повидаться с сестрой, матерью и отцом.

У отца их была раньше книжная лавка, теперь же он устроился продавцом книг в одном из здешних магазинов на Проспекте. Как всякий человек, любящий книги, он был мечтателен и добродушен. Такими же вышли и обе его дочери, которые до того были похожи друг на друга, что даже мать различала их с трудом и часто путала: правда, она была несколько близорука. Но всегда озабоченная хозяйством и чистотой в квартире, она была неутомима и говорлива, и от нее Таня часто слышала весьма энергичное:

— Вот возьму тряпку и сделаю везде порядок!

Она вспоминала иногда, говоря с Таней, то время, когда была у них с мужем своя книжная лавка, но и это вспоминала исключительно по линии тряпки и порядка:

— Когда муж мой, больной, дома сидел,— ну, там инфлуэнца какая-нибудь,— а я в лавке вместо него, я же там и пол вымою сама, и книги все веником обме-

ту, и окна вымою... Публика мимо по улице ходит, а я в окне стою, стекла тряпкой мою,— что же я делаю, что я должна публики стыдиться? Я же ничего плохого не делаю. Приходят покупатели, и они говорят: «Как у вас чисто все в магазине вымыто, и паутины нигде нет».— «А что же вы хотите,— это я им говорю,— чтобы женщина в магазине сидела, да чтоб около себя она грязь могла терпеть?» Конечно, когда муж мой тут, он же за этим не смотрит, он же мужчина, и у него совсем другое в его голове, от этого и беспорядок и грязно. Я ведь тоже в пансионе училась, в хорошем пансионе училась; там и дети Канторовича и Файвиловича и Шполянские — очень многих семейств дети там учились. И я никогда книг своих ничем не пачкала, ни чернилами, ни карандашами, ничем решительно. И у меня они были всегда, как стеклышко, чистые.

Она была такая же белокурая, как Фрида и Роза, только несколько выше их ростом. Хлопая себя по коленям и смеясь добродушно, любила она вспоминать еще и то, как ее девочки, когда им было года по четыре, испугались почему-то слова «сифон» и выговаривали ей, своей матери:

— Зачем ты нам говоришь такое, мама? Мы — маленькие, мы такого бо-и-мся.

А от аэроплана бежали с улицы на двор и кричали:

— Мама! Закрывай калитку! Летит!

III

Голубинский заходил в лабораторию всего раза два, видимо мимоходом и спеша больше взглянуть на приборы, целы ли они, чем дать Тане какую-нибудь работу. Таня объясняла это тем, что было мертвое время — каникулы, но Зелендуб говорил ей, что есть слухи о возможной командировке Голубинского за границу и потому он переставал уже интересоваться подвалом.

Зелендуб приглашал ее как-то на концерт и был ужасно удивлен, когда она сказала, что совершенно равнодушна к музыке.

— Таких людей не бывает и быть не может,— горячо отозвался он.— Нельзя к музыке быть равнодушной,— вы шутите. Я, когда попадаю в командировку на какой-

нибудь завод в степи, становлюсь больным на третий день, потому что хотя бы звонки трамвая я слышал, а то, понимаете, совершенно ничего. Вы думаете, зачем в старину на тройках ездили непременно с колокольчиком и с бубенцами?

— Чтобы, должно быть, волков пугать? — пробовала догадаться Таня.

— Нет, не волков пугать, конечно,— вы опять шутите,— волков колокольчиком не испугаешь, а только приманить можно... Нет, это затем, чтобы ме-ло-дии звенели. Это в целях чисто музыкальных делалось... Понимаете ли, снега кругом, сугробы везде, пусто, нигде ни души,— зима, как и надо,— и только один колокольчик впереди звенит. Вы только представьте, как это получается. Колокольчик тогда заменял все, всю культуру... А вот если вы не пойдете на симфонический концерт, то пожалеете: такой случай может никогда не повториться. Будут играть Седьмую симфонию Бетховена. Ведь это что-о?

— Я как-то бывала на концертах, но, право, ничего в них не понимала,— все-таки говорила свое Таня и говорила так не потому, что Зелендуб напоминал ей чем-нибудь Близнюка,— нет, он держался с нею совсем не развязно и, видимо, действительно хотел доставить ей хотя бы малую часть того наслаждения, какое думал испытать, слушая Седьмую симфонию сам. Но музыка ее утомляла,— она говорила правду. Музыка же симфонических оркестров оглушала ее, напоминая ей канонады, слышанные в раннем детстве, от которых безостановочно почти, чуть ли не через всю Россию, бежала с нею мать в поисках тишины. Также не любила она и танцев и не пыталась никогда танцевать.

— Но ведь Бетховена будут исполнять, Бет-хо-вена,— раздельно и даже с каким-то благоговейным страхом перед этим именем в маслено-черных глазах выкрикнул Зелендуб, вытерев в волнении пальцы, запачканные толченым углем, о полу своей белой рубахи, подпоясанной широким ремнем.— Ведь Седьмую симфонию будут исполнять, вы подумайте... Ведь там есть такое аллегретто,— единственное, кажется, у Бетховена аллегретто. Оно совершенно внезапно, знаете, его никак не ждешь, и вдруг на тебе — аллегретто. У Бетховена!.. Оно поражает... А здесь прекрасный симфониче-

ский оркестр, вы не думайте. Не какие-нибудь с бору да с сосенки, а первая скрипка там и самостоятельные иногда концерты дает. И дирижер Стефановский — отличный дирижер, очень знающий дирижер... Седьмая симфония — это вам что, шутка? Ее ведь редко играют, она очень трудна для исполнения... Там есть такое фортиссимо, что вас прямо на воздух подымет, честное слово. Так и будете под потолком. Вы в этом убедитесь, если пойдете... Океан звуков.

— Да вы — инженер, или вы только музыкант? — удивленно спросила Таня.

— Я — инженер, да, конечно, я — инженер, но разве вы-ы... и вообще кто угодно разве может мне запретить любить музыку?

И вторично провел Зелендуб грязными пальцами по белой рубахе, стараясь добраться до пуговицы на вороте, который был ему как будто тесен немного или стал тесен вдруг только теперь, когда владелец его переживал в памяти бурный напор океана звуков Седьмой симфонии Бетховена.

Но зазвенел неожиданно не колокольчик тройки и даже не звонок трамвая, а будничный деловой телефон подвала, и Зелендуб тут же взял трубку.

— Откуда говорят?.. Это коксостанция... Я Зелендуб... А-а, это ты? Здравствуй, Донцов. Что такое?.. Ага... Это черт знает что... Ну да — так уж и авария. Ну, хорошо, хорошо, я сейчас еду.

— Откуда это? — не поняла разговора Таня.

Но Зелендуб был уже озабочен и нахмурен и бормотал недовольно:

— Коксовый цех нашего завода,— откуда же еще? Там у них в аппаратной один аппарат испортился, и они без него как без рук, а между тем — ерунда. Можно вполне обойтись, и я уж им говорил, как... А они там... вообще бестолковщина, не могут сами урегулировать давление газов... Надо ехать.

И Таня видела, как, сразу забыв о Бетховене и Седьмой симфонии, заметался Зелендуб, быстро прекращая начатый опыт, выключая ток и еще раз, теперь уже основательно, вытирая руки о рубашку. Поспешно простился он с нею и исчез, а Черныш сказал Тане:

— Он у нас наподобие бурятского бога, этот Зелендуб.

— Какого такого бурятского?

— Ну, одним словом, рассказ такой есть... Двое в музей зашли — такие, что по складам только читают. Видят, кукла одна страшная стоит. Читают подпись: «Бу-у...рят...ский... Бурятский бог...» — «Вот он какой бурятский бог? Собою маленький, а видать, что злой...» Так и наш Зелендуб. Маленький собой, а у него две научные работы есть да третью, большую, говорят, пишет...

И из-под черной густой брови Черныш значительно подмигнул серым прищуренным глазом и прищелкнул языком.

Что же касается самого Черныша, то Таня видела, что у него была своя неотступная и неотвязная мечта: достичь такого совершенства, чтобы уверенно и с наивозможной быстротой, что называется — в два счета, побеждать тихоню Студнева на шашечной доске. Он буквально совращал этого скромного труженика, и тот хотя приносил с собой какой-нибудь будильник или примус, взятый на стороне для починки, но редко находил время ими заняться, завороженный соревнованием с этим долговязым и долгоносым лентяем, соревнованием, грозившим затянуться на долгие годы.

О Зелендубе узнала Таня от Фриды, что он действительно много делает для коксового цеха их завода; но, чего уж никак не ожидала Таня, оказалось, что и Близнюк тоже проводит в том же цехе пробное ящичное коксование углей, исследует получаемый кокс на крепость, трещиноватость, вообще считается там работником сведущим и дельным. Однако больше всего там, на заводе, надеялись на помощь однокурсника Близнюка и Зелендуба — Слесарева, но тому вздумалось уехать в Ленинград учиться химии, и, конечно, уж он теперь потерян для их завода, так как больше сюда не вернется.

И вдруг Таня услышала от Черныша, что он вернулся, и Черныш очень оживился, говоря об этом: положительно у него был радостный вид, когда он говорил:

— Леонида Михайловича сейчас встретил... Из Ленинграда только что приехал, в отпуск... «Обязательно, говорит, подвал свой проведать зайду». Э-эх, ведь это же человек какой! Он даже и ростом повыше меня будет.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

I

Леня Слесарев действительно зашел в подвал на другой же день, и Таня увидела высокого, но тонкого в поясе, с дюжими плечами, с расстегнутым воротом рубахи и красной загорелой шеей, улыбающегося ей с подхода широким ртом и жмурыми глазами, а он — яркочерноглазую, с мальчишечьими вихрами, в черной тюбетейке, в синей рабочей спецовке. В широкой руке его утонула ее рука, только что мешавшая стеклянной палочкой в стакане.

Он спросил весело:

— Что вы тут такое творите?

Она ответила, несколько запинаясь:

— А вот... окисляю уголь... перманганатом калия...

— Ка-ак... перманганатом? — вскрикнул вдруг он и сразу перестал улыбаться.— Да у вас ведь какая-то черная каша.

— Влила раствор перманганата, вот и...— обиделась она сразу, отчего и не досказала.

— Капли, одной капли перманганата довольно, чтобы окислить такое количество угля, как у вас. Только капли, а вы: «влила».

И Леня тут же отвернулся от нее и отошел к приборам на бывшем своем столе, а на нее, Таню, осуждающе глянул Черныш,— именно осуждающе, а не с насмешкой и подмигиваньем, как сделал бы он, скажи это ей кто-нибудь другой.

— Краны заедены,— сказал Леня, пробуя один из аппаратов.

— Заедены? — почти испуганно спросил Черныш.— Как же это они так могли?

И Таня поняла, что «они» — это она и другие, кто приходит работать в подвал; они плохо следили за приборами, он же, Черныш, исправно делал то, что ему полагалось делать: каждодневно яростно мыл пол.

И еще несколько подобных замечаний сделал Леня, точно был он теперь не гость уже в подвале, а строгий ревизор. И Таня, сначала оставшаяся было на своем месте, где она размешивала угольную «кашу», бросила

это занятие и, насупясь, следила за каждым движением Леонида Михайловича, который действительно оказался выше Черныша, а главное — гораздо шире его и сильнее на вид.

Но вот он повернулся к ней снова и сказал:

— Однако в какое запустение тут все пришло за полгода, как я здесь не был. Значит, нового ничего нет?

— Не знаю,— ответила она отвернувшись.

— Вы здесь давно работаете?

— Нет.

— С месяц... или даже меньше?

— Да.

— Вы лаборантка?

— Да.

— А Зелендуб тут бывает?

— Да.

— И Близнюк тоже?

— Да.

— Передайте им, если сегодня сюда зайдут, что я, Слесарев, приехал.

— Хорошо.

— Они мою квартиру знают... Я им, конечно, мог бы и позвонить, да у меня нет телефона, что они тоже знают. Ну, до свиданья.

Она поглядела на него исподлобья и снова утопила свою руку в его руке.

А Леня спросил у Черныша, вышедшего вместе с ним из подвала:

— Откуда взялась такая дикая?

— Откуда-то приехала, из Донбасса. Будто бы там работала на газовом заводе...

— Но все-таки химичка?

— Химичка, а как же иначе.

— Что-то плохо химию знает...

— Да, вот поди же,— выходит так.

А когда вернулся Черныш в подвал, то сказал оживленно Тане:

— Вот что значит хозяин-то настоящий заявился, эх! Только глазами метнул, и сразу ему все ясно,— кому, какое, за что замечание сделать.

— Мне насчет какой-то там одной капли перманганата Близнюк ничего не говорил,— горячо вдруг вздумала

оправдаться хотя бы перед Чернышом Таня, но Черныш только рукой махнул с полнейшим пренебрежением:

— Что Близнюк?.. Что же он может против Леонида Михайловича? Так же и этот вот Шамов тоже, который свои закваски тут ставит... Че-пуха!

II

Близнюк и Зелендуб зашли к Лене в тот же день перед вечером. Оба горели сильным желанием поподробнее узнать, как там в Ленинграде, и нет ли веских доводов за то, чтобы и им переметнуться туда: жизнь велика, всеохватна, но молодость потому и молодость, что хочет быть, по возможности, не у́же жизни, и как бы ни была жадна жизнь, молодость потому и молодость, что в жадности ни за что не хочет уступить жизни.

Оба молодых инженера привыкли уже к добродушным резкостям Ольги Алексеевны и нисколько не обиделись, когда она сказала им у порога:

— Ну вот, опять начинается хождение... То хоть отдохнула я за полгода, а теперь опять сто двадцать раз на день изволь отворять дверь и сто самоваров ставь. Входите уж, когда пришли. Чего же вы в дверях застряли? Леонид на реке, конечно, но к шести обещал прийти, а сейчас без десяти шесть.

Михаил Петрович был приветливей. С тех пор как он стал преподавать свое рисование взрослым, он приобрел новую способность — смотреть на всех мужчин и женщин, не достигших сорока лет, как на своих возможных учеников по рабфаку, и со всеми старался быть одинаково приветливым, напоминая этим врачей и адвокатов, у которых возможность еще шире и приветливость не имеет границ.

Еще не было шести, когда пришел Леня с Шамовым, которого встретил у стадиона, и Ольга Алексеевна, ворча и улыбаясь, начала ставить на стол всякую всячину рядом с кипящим самоваром.

— Ну что, как там в Ленинграде? Воробьи такие же, как у нас? — для начала дружеской беседы спросил Близнюк.

И в тон ему Леня ответил:

— Представь мое удивление,— оказались точь-в-точь такие же самые. Но вот что будет для тебя ново. Один

американец, инженер, говорил мне, что у них, в Америке, очень удивляются специалисты коксовики, как это мы можем строить коксовые заводы и даже,— что уж совсем странно,— получать на них кокс, годный для домен, когда у нас нет негров. «Этого большевистского фокуса понять они, говорят, совсем не в состоянии».

Все расхохотались.

— А как завод? Донцов еще там? — спросил Леня.

— Там.

— А Одуд? Сенько?

— И эти пока там.

— Что же ты все о нашем спрашиваешь? Ты нам о своем Ленинграде расскажи. Мы — провинция и очень шибко вперед не едем,— сказал Шамов.

Леня зажал покрепче веки, расчертил пополам лицо затяжной улыбкой и спросил его:

— А японский гриб ты знаешь?

— Нет, не знаю. Какой японский гриб?

— И никто из вас, я вижу, не знает. А мне с этим грибом пришлось иметь дело месяцев пять. Не думайте, впрочем, что в научно-исследовательском институте, нет: на той квартире, где я жил, в Лесном.

— Хозяйка у тебя там была, что ли, похожа на гриб? — спросил Близнюк.

— Ты почти угадал. Хозяйка тоже была как гриб... Но японский гриб существовал все-таки сам по себе, в банке. Она отщипывала от него кусочек и клала в другую банку,— он через несколько времени разрастался там в новый гриб... Шел же этот гриб на квас, и квасу я там, в Ленинграде, благодаря этому грибу попил — три сороковых бочки, не меньше. За-ме-ча-тельный квас! Имейте в виду на будущее время,—заведите себе по японскому грибу в банке, и этого вполне достаточно для счастья...

— На одном квасе не проживешь,— заметил Шамов.

— Такому, как ты теперь стал, трудновато на одном квасе, согласен, но хозяйка моя иногда меня и вареной картошкой кормила,— это когда я наколю ей дровишек, бывало, березовых... Если не очень суковатые поленья, работа приятная, и картошка вареная с солью — это уж блюдо безобманное, не то что какие-нибудь щи со снетками, которые назывались у нас с Кострицким — «суп с головастиками»... Этим супом нас кормили в столовке, и Кострицкий меня уверял, что от «супа с головастиками»

у него где-то там под ложечкой завелось целое семейство солитеров... Тщательно я убеждал его, что солитер потому только и солитер, что любит жить в одиночестве...

— Как там Кострицкий?

— Ничего. Устроился. Женат на Тамаре, имеет черненького младенчика. Каталитик, не имеющий себе равных. Пользуется большим авторитетом. По-прежнему звали они меня, эти молодожены, Ребенком, и однажды на этой почве произошел некий казус. Еду я с ними на трамвае. Вагон, конечно, полнехонек, не продерешься. Они, как знающие, где вылезать надо, впереди, я сзади. Вдруг как раз возле меня кто-то встал со скамейки. В чем дело? Можешь сесть,— садись. Я и сел. А тут как раз выходить надо. Слышу, Тамара вопит: «А где же Ребенок наш? Где Ребенок...» И Мирон тоже за ней: «Пропал Ребенок...» Смотрю я — в проходе заворочались и под ноги себе смотрят, а кто-то сердобольный: «Не иначе как задавили, теснота-то какая». Я вижу, что это меня ищут,— встаю... Кричу Мирону: «Я зде-есь!» Народ как раз подобрался в вагоне мелкий, и Ребенок оказался выше всех на целую голову. Ясно, что всех я сконфузил. «Вот это так, говорят, ребенок!..»

Ольга Алексеевна подсунула ему форшмак из селедки и закивала головой, смеясь:

— Хвастай, хвастай, что такая орясина. Ты бы меня спросил, насколько ты выгодный ребенок, что на еду, что на свои костюмы...

— Ничего, зара-бо-о-таю,— подкивнул ей Леня, а Шамов спросил:

— Кстати, работал ты там над чем? Над коксом?

— Нет, не пришлось этим заниматься. Работал по взрывчатым веществам. Однажды чуть не искалечился: вот на лбу след остался, а была рана, и волосы все опалил. Я должен сказать, что работал там бешено, по пятнадцати часов в день иногда работал... Регулярно ходил на научный совет, посещал семинары, ловил всякие эти там новые волны и настраивался... Я ставил опыт за опытом. В два месяца закончил одну работу, начал другую... Вообще, должен я вам сказать, своего и вашего института я там не посрамил. И как-то так вышло, что я приехал учиться туда, к ним, а уж месяца через три ко мне приходили советоваться насчет своих работ...

— Хвастай, хвастай,— заметила ворчливо мать, подвигая ему стакан чаю, но Леня продолжал, глядя то на Шамова, то на Зелендуба:

— Сначала меня все эти ребята там поразили. Так они жонглировали сложнейшими понятиями, что чувствовал я себя перед ними профаном, а потом оказалось: нахвататься кое-откуда выводов и вершочков всяких — это одно, а самому все проделать — э-это совсем другое дело. У меня все-таки был опыт большой, потом вы ведь знаете, как я эксперименты ставил.

— И глаза даже мог себе выжечь,— вставила мать.

— Тоже благодаря дураку одному, который стучал ко мне в дверь, когда малейшее сотрясение воздуха неминуемо должно было вызвать взрыв... А я даже крикнуть ему не мог, чтобы не стучал, потому что и крик — тоже ведь колебание воздуха... Словом, тут я попал в безвыходное положение и, конечно, хорошо, что дешево отделался. Глаза, впрочем, долго болели... Работал я вообще как черт. За всякое грязное дело я хватался, от которого другие сторонились. А тут еще Кострицкий рекламу обо мне пустил. Одним словом, впереди было светлое будущее ученого... Но...

— Ага! Вот оно, роковое «но»,— поднял палец Близнюк.

— Я все-таки соскучился по Днепру и вообще по югу и взял двухмесячный отпуск.

— И так-таки ничего нового насчет кокса не вывез? — спросил Шамов.

— Общие идеи в области физики — это я вывез, конечно, а кокс... Там такими частностями не занимались.

— А чем же там все-таки занимались?

— Занимались... токами высокого напряжения, рентгенологией, работали по ферросплавам, по взрывам, по связи, по теплотехнике... и много еще кое-чего, но задачу кокса решать предоставили всецело нам, четырем китам здешнего подвала.

— Ты разве ушел оттуда?

— Не-ет, я уехал... Я только уехал пока.

— Я его понимаю,— сказал Близнюк Шамову.— Кокс наш этого несчастного как мучил, так и продолжает мучить... но оттуда теперь он привез решение, вот что. Правда, Леня?

— К сожалению, нет... Хотел бы привезть,— не вышло... Там я только подковался немного... Пока отпуск, буду опять ходить в подвал, пробовать... Потом думаю с вами на шлюпе пойти по Днепру, осмотреть Днепрострой. По Днепру я здорово соскучился...

— А Нева? — изумленно даже несколько спросил Михаил Петрович сына.

— Нева... она, конечно, река широкая, только загружена до черта. Трехмиллионный город,— чего же вы хотите? А самый дешевый транспорт, как известно, водный.

— Да-а... Нева... Не-ва-а...— мечтательно протянул Михаил Петрович, болтая ложечкой в пустом чае.— Эх, туманы на ней хороши были! А в этих туманах чуть-чуть намечались барки, набережная, мост... Я жил одно время двумя окнами на Неву, и много этюдов я тогда сделал с невскими туманами.

— Где же эти этюды? — спросил Леня.— Я у тебя их что-то не видел...

— Ну-у, где этюды... Холст ведь нужен же был... Писал потом на этих холстах Волгу, когда жил в Саратове.

— А потом, значит, уж на волжских этюдах — Днепр? То-то из детства я помню, они были очень тяжелые,— улыбнулся Леня и продолжал о своем: — По Неве я несколько раз все-таки ходил на кливере. Только там мне не удалось подходящей компании сбить... Кострицкие оба от этого дела отстали, конечно, по причине младенчика, а к прочим разным — к кому ни сунешься, все народ, плохо понимающий в гребном спорте.

— Словом, я вижу, ты там не привился как следует, в Ленинграде? — догадался Шамов.

— Ленинград — очень он как-то бесконечен... И потом эти там дожди вечные, к ним ведь тоже надо выработать привычку,— ответил Леня, глядя не на Шамова, а на отца и думая при этом, каким образом смог привыкнуть к постоянным дождям и туманам его отец, уроженец Средневолжского края.

Отец же спросил пытливо:

— А вот ты мне так и не писал в письмах, как теперь в Эрмитаже? Много ли там осталось картин старых мастеров?

— В Эрмитаже? Не знаю. Там я вообще ни разу не был... Не успел как-то... Я ведь жил в Лесном, около своего института, а Эрмитаж — он в центре.

— Ка-ак? Неужели ни разу не был в Эрмитаже? — до того изумился отец, что даже слегка поднялся на месте и только потом сделал вид, что ему нужно дотянуться до сахарницы.

— А когда же мне было туда ездить? — спокойно отозвался Леня.

— А в опере там ты на чем был? — спросил Зелендуб.

— В опере? Гм... В оперу я собирался было, и даже билет у меня в руках был на «Пиковую даму», да как раз в этот день меня обожгло взрывом... Так и пропал билет...

— Одним словом, как я теперь вижу, ты совсем забросил искусство,— горестно протянул Михаил Петрович. Зелендуб же только поглядел скорбно и даже как будто сконфуженно не на Леню, а на его отца, потом начал усиленно глотать чай с вишневым вареньем.

Леня же, улыбаясь понемногу всем, заговорил взвешенно, не в полный голос:

— Представьте себе Полину Поликарповну некую, этакую салопницу лет на пятьдесят,— мою хозяйку в Лесном... У нее все болезни, известные медицине, и дюжины две новых, медициной еще не исследованных. И ото всех этих болезней она с утра до ночи стонет, и охает, и движется, как тень. Но все время движется — вот в чем секрет этой Поликарповны; другая бы на ее месте тысячу раз умерла, а она и картошку варит, и ячмень для кофе жарит, целый день вообще хлопочет не приседая, только стонет и охает... У нее — племянник-писец со вставным глазом, с балалайкой и баяном. Этот чуть только придет из учреждения своего, сейчас же или за балалайку, или за баян, и на-чи-на-ет-ся... А в соседней комнате маленькая Кострицкая заливается в самом высоком регистре... Так что можете представить, какая около меня опера все время пелась... А я, между прочим, был ведь ударник, не кое-как. Пятнадцать часов в сутки работал, должен же я был — не скажу отдыхать, а просто хотя выспаться?.. Искусство — прекрасная, конечно, вещь, и Эрмитаж, и «Пиковая дама», и даже роман какой-нибудь, о каком кричат усиленно в газетах,— но вот время, время... В сутках очень мало

часов, всего только двадцать четыре... И если,— вот когда настали белые ночи в Ленинграде,— можно было забыть об этих двадцати четырех часах и о ночах вообще, так ведь человек все-таки не железный, о двух ночах подряд забудешь, а потом целые сутки проспишь. В этом загвоздка с искусством... И ведь не требую же я от композиторов и от художников, чтобы они вместе со мной работали еще и по взрывам.

Михаил Петрович сверкнул на него очками и отозвался:

— Есть такое изречение у Козьмы Пруткова: «Специалист флюсу подобен».

А Ольга Алексеевна, посмотрев на пустые тарелки у всех, пришла в притворную ярость:

— Крокодилы! Разве можно с такими зверскими аппетитами являться в гости? Беритесь-ка за свои фуражки и уходите! А то и накурили тут еще,— крышу сними, не вытянет. Идите, довольно... Леонида тоже можете взять. Только если он вернется позже двенадцати, я его совсем не впущу.

Гуляли потом все четверо в парке. Говорили и о своем будущем, как оно рисовалось каждому из них, и о заводах, и о шахтах Донбасса, и о своем подвале, четырьмя китами которого они были. Между прочим, Леня спросил о Тане:

— Что это за лаборантка новая появилась у нас в подвале? Дикая какая-то и химии совсем не знает: наливает в уголь перманганат как квас, да еще и размешивает палочкой очень старательно.

— Это Голубинский ее принял,— отозвался Шамов.— А я, признаться, и не разглядел ее как следует.

— Особа действительно дикая,— поддержал Леню Близнюк.— Но есть, представьте, способность неплохо делать карикатуры.

И только Зелендуб заступился за Таню:

— Нет, в химии она кое-что знает и на газовом заводе работала, я справлялся... А что неразвита вообще и в музыке ни в зуб ногой, это конечно.

Павлонии парка очень густо были обвешаны теперь широкими, как лопухи, листьями; березки тоже пока еще не думали засыхать, вопреки мнению многих, скептически настроенных умов, так что смелые замыслы северян и южан из здешнего горсовета вполне себя оправдали.

Леня внимательнейше вглядывался при свете электрических шаров во все кругом и говорил с большим подъемом:

— Нет, черт возьми, как вы себе хотите, а наш город все-таки весьма неплохой город!

Когда на другой день Леня ехал на трамвае на завод, в ту часть города, где все кругом, как и лица людей, было закопчено слегка или весьма густо рабочим дымом, бодро и уверенно выдыхавшимся отовсюду сквозь узкие бронхи высоких труб, и где тянулась казавшаяся бесконечной, на высоте нескольких метров от земли, толстая железная кишка от газгольдера к мартенам, он представил вдруг свой город очень отчетливо и живо, так, как почему-то не представлялся он ему раньше: к становому хребту его, богатому водой Днепру, прикрепился сложно, но зато крепко спаянный костяк из добрых двух десятков больших и огромных заводов и паровых мельниц, и костяк этот оброс мясом проспектов и просто улиц и переулков, площадей и стадионов, парков и скверов, обывательских садов и огородов, пригородов, выселков и левад.

Это был один из самых молодых русских городов, основанный чуть ли не на сто лет позже, чем Петербург, но это был безошибочно обдуманный промышленный город, и, вспоминая теперь старую картину отца «Звуки леса, когда тихо» — речка в дубовом лесу, черная коряга, зимородок на этой коряге,— Леня думал, что вот бы написать отцу теперь такую картину: «Звуки города, в котором двадцать заводов». Это было бы потруднее, конечно, но зато каким бы трепетом и огнем современной жизни можно было пронизать и озарить такой холст, непременно огромный по размерам!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

Когда дня через два Таня пришла, как обычно, в лабораторию, Черныш предупредительно сообщил ей:

— А Леонид Михайлович давно уже здесь орудует.

Действительно, он переставлял со стола на другой стол приборы. Таня поглядела на него удивленно и спросила:

— Вы... назначены заведующим лабораторией?

— А-а, здравствуйте! — кивнул ей Леонид Михайлович и ответил: — Нет, я буду только приходить сюда иногда заниматься тут кое-чем...

— Вам это разрешил профессор Голубинский? — захотела уточнить этот вопрос Таня.

— Да-а... Я его только что видел здесь и с ним говорил,— небрежно ответил он и добавил: — А куда же девалась ваша черная тюбетейка?

— Тюбетейка? — очень удивилась такому любопытству Таня и отвернулась.— Зачем вам моя тюбетейка?

А Леня, безжалостно внимательно разглядывая ее новую тюбетейку, тянул, бессознательно подражая отцу:

— Это красная, она-а... конечно... она, пожалуй, тоже не так плоха, но... черная была оригинальней... Так куда она делась?

— Пропала,— проходя мимо него к своему столу и стараясь не глядеть на Леню, бросила Таня.

— Вот тебе на! Пропала? Куда же она могла пропасть? — занятый в это время подготовкой опыта, тянул по-прежнему Леня.

— Пропала, и все.

Этот интерес к черной тюбетейке показался Тане чрезвычайно подозрительным. Ей даже подумалось, не узнал ли он через кого-нибудь о том, как они с Фридой, которую назвал он на заводе «карманной лаборанткой», только что приобретя в складчину волейбольный мяч, шли домой, подбрасывая весело эту прекрасную вещь, а на них напала, чтобы отнять мяч, толпа уличных мальчишек. Мяч им отнять не удалось, но тюбетейка упала с головы Тани во время драки, и мальчишки ее унесли, убегая.

Леня между тем, занятый своим опытом, упорно продолжал говорить все о том же:

— Черная тюбетейка эта, она... делала вас похожей на алхимика средних веков... Это была замечательная штука.

— Таких замечательных сколько угодно в лавке.

— Разве?.. Гм... А мне, представьте... мне как-то не приходилось видеть подобных...

И в самом тоне голоса этого высокого инженера Тане чудилась какая-то насмешка над нею. Она помнила,

конечно, свое окисление угля перманганатом, поэтому посоветовала ему не без вызова:

— Вам стоит только спросить себе черную тюбетейку в любой лавке, и вам дадут.

— Разве?.. Вот как?.. Это хорошо,— между делом отозвался на это Леня и потом замолчал, старательно налаживая свой опыт.

Потом он спросил ее, на каком именно газовом заводе она работала. Таня ответила спокойно, точно и коротко.

— Я знаю этот завод. Я там был в прошлом году,— сказал он.— Почему же вы ушли оттуда?

Этот вопрос снова показался подозрительным Тане, и она ответила резко:

— Ушла, и все.

— Здесь условия труда лучше? — спросил, как бы не заметив этой ее резкости, Леня.

— Там было всего три койки на шесть лаборанток,— вот что там было. И стояли эти койки в общем бараке... Это хорошо? — вдруг блеснула на него нестерпимо яркими глазами Таня.

— Очень плохо... И вы, конечно, заявляли и писали в стенную газету об этом и прочее... Но ведь это — новый завод... Там просто не было тогда ни достаточной жилплощади, ни коек для всех... Конечно, в этом же году там все устроят.

— Ну вот, когда устроят, тогда пусть и спрашивают, отчего уходят лаборантки... Кроме того, мне надо учиться...

— А вы где же тут думаете учиться?

— В химико-технологическом,— твердо сказала она.

Он же растянул невнимательно, по-прежнему:

— А-а... Да-а-а... Вам следует подучиться химии, следует, следует...

Это три раза повторенное «следует» показалось чрезвычайно оскорбительным Тане, и она почти крикнула на это:

— А вам следует завести черную алхимическую тюбетейку.

Обернувшись, он посмотрел на нее удивленно, но тут же улыбнулся миролюбиво и сказал:

— Это будет неплохо, конечно; непременно я ее заведу.

— Вот и заведите.

— А вы не хотите ли заняться вместе со мною одним очень интересным вопросом? — вдруг спросил Леня настолько для нее неожиданно, что она сразу перешла на полуголос:

— Каким именно вопросом?

— Вопросом... электропроводности угля во время процесса коксования,— очень отчетливо, выбирая точные слова и глядя на нее, как ей показалось, учительски строго, ответил Леня.

— А что я должна буду делать?

— Мы с вами начнем с того, что возьмем вот эту фарфоровую трубку,— я только что ее очистил и прокалил,— и всыпем в нее толченый уголь; я его только что взвесил: тут пятнадцать граммов. Это — коксовый уголь. Потом мы можем взять и газовый, и жирный, и тощий... Последовательно мы будем их нагревать в этой трубке,— а можно и в кварцевой,— до тысячи градусов, пропустим через уголь ток и измерять электропроводность будем последовательно, по мере нагревания.

— Как измерять? — тихо спросила Таня.

— Для этой цели есть мостик Уитстона... Но вот, чтобы оба конца трубки обогревались равномерно, сделаем мы так... Найдите где-нибудь тут у нас кусок шамотного кирпича и натолките его в ступке...

Кусок кирпича, особо огнеупорного, из которого клались коксовые печи, Таня нашла без труда, потому что кирпич этот тоже исследовался в лаборатории, подвергаясь действию очень высоких температур; но, кладя его в ступку, Таня все-таки вглядывалась искоса в лицо Леонида Михайловича, не шутит ли он над нею.

В это время около дверей подвала раскатился очень знакомый Тане рыкающий хозяйски-громкий голос, и она еще только думала, чей это, такой знакомый, когда вошел профессор Лапин; он был в чесучовом старого шитья пиджаке, в панаме с красной лентой и в довольно вычурном галстуке, завязанном пышным бантом.

— Так как у ва-ас, товарищ Слесарев, руки, да, непременно в чем-нибудь грязном, да, конечно, грязном..., то я-я... вам руки не подаю, да... Здравствуйте!

И, кивнув панамой Слесареву, обратился к Тане:

— А вы-ы... как тут, да? Помогаете ему тут, а?

— Вот... толку... кирпич,— очень тихо отозвалась

Таня, как будто жалуясь, а высокий Слесарев, улыбаясь по-своему, объяснил ему, чем он занят:

— Ставлю, Геннадий Михайлыч, опыт на электропроводность кокса... главным образом в пластическом состоянии... Нельзя ли тут добиться каких-нибудь общих положений...

— Ага. Да... В разные моменты коксования?.. Да-а... Это, пожалуй, да. Гм... Электропроводность...

— И для различных видов углей...— добавил Леня.

— Это... это... да. Как один из признаков, да, класси-фи-кации углей, вы думаете? Гм... Вот видите, да,— инициатива, ини-ци-а-тива у вас. Инициа-тива, да... Это вы там, в Ленинграде, были, да-а... Электропроводность... А они, кстати, да,— они, знаете ли, там, столичные, предлагают мне, да, фи-ли-ал научно-исследовательского ин-ститу-та здесь вот, здесь (он постучал палкой в пол) устроить, да... Бумагу мне прислали, чтобы я-я-я... свое им мнение по этому вопросу, да... Но я... молчу... Пока я... молчу, да. Фили-ал, да. Это значит — просто отобрать у нас лабо-ра-торию эту, которую мы-ы... создавали. Из ничего. Буквально из ничего, да.

— Филиал научно-исследовательского института? Какого? Углехимического, конечно? По-моему, это будет прекрасно, Геннадий Михайлыч,— очень оживленно сказал Леня.

— Прекрасно, да... ка-ак? Вы сказали, пре-красно?! — закричал Лапин.— Что же тут та-ко-го, та-ко-го прекрасного, я хотел бы знать?

— Сначала филиал, а потом, конечно, будет самостоятельный институт... большой, хорошо обставленный... Целое здание, а не какой-то подвал.

Лапин смотрел на него внимательно, раза два открывал и закрывал плотно рот, наконец вынул золотые часы.

— Мне сейчас идти на собрание, да. Мне сейчас пред-сто-ит председательствовать, да, на одном собрании,— сказал он непостижимо для Тани совершенно спокойным голосом,— сейчас я занят... А вот завтра, в это время, приходите ко мне в кабинет, да... Аркадий Павлович будет... Еще несколько человек... Мы тогда обсудим ответ на эту бумажку, да. Значит, до завтра.

И он кивнул им обоим панамой, молодцевато вздернув плечи, и вышел...

II

— Чу-дак! — сказал о нем Леня вопросительно глядевшей на него Тане.— Он, конечно, совсем выпустил из виду, что я только в отпуску здесь. Ему кажется, конечно, что он сбивает какой-то актив для этого будущего филиала: Слесарев и еще несколько человек. Он просто не знает, из кого именно составить этот самый филиал.

— А вы сюда в отпуск на сколько? — спросила Таня, не безучастно, как ему показалось.

— Да вот, когда надоест мне тут все, тогда уеду. Официально же отпуск двухмесячный... Кроме того, Лапин любит самостоятельность, а раз филиал, то уж исполняй приказы метрополии.

— Значит... если вместо лаборатории тут целый научно-исследовательский институт будет... то меня могут здесь и не оставить? — робко спросила Таня.

— Ну вот, почему не оставят? Лаборанты все равно будут нужны... Давайте же, наконец, мне шамот. Куда вы его в порошок толчете? Этот графит вот между углем и электродами должен быть в порошке для хорошего контакта, а шамот... шамот может быть и покрупнее. Ведь он только для равномерности обогрева... Гм... Геннадий Михайлыч не хочет, чтобы был филиал, это ему режет уши... Он когда-то много работал, а теперь привык председательствовать и то и дело золотые часы свои вынимать... Ну вот, теперь у нас с вами все готово, и мы можем пропустить через трубку ток.

Это «у нас с вами» очень польстило Тане. Она вообще очень внимательно следила за всем, что быстро и уверенно делали длинные пальцы этого длинного инженера, которого только что приглашал на совещание сам Лапин, а Леня, поместив трубку между электродами, продолжал говорить о своем опыте:

— Мы будем наблюдать электропроводность в два приема: сначала до пятисот градусов, потом от пятисот до тысячи... Сначала с углем, потом с полукоксом, потом с коксом... Очень интересно было бы увязать потом наши наблюдения с исследованиями структуры полукокса — кокса под микроскопом... могут получиться важные результаты... А пока давайте будем чертить кривую изменения электропроводности. А вы, когда поступите в химико-технологический, займитесь там углехимиче-

скими процессами,— вот и все... И прирастете тогда к нашему подвалу... Кстати, у вас будет преподавать химию коренной подвальщик — Шамов... Из него выйдет хороший доцент. Представления у него ясные, язык у него точный,— вообще он способный малый. Он здесь часто бывает, в подвале?

— Шамов? Нет, редко,— тихо ответила Таня, которая хотела и не решалась спросить его, не будет ли читать лекции по химии вместе с Шамовым и он: ей показалось вдруг, что он, должно быть, только за тем и вернулся из Ленинграда.

— У него химические реакции, длительно протекающие... Ему надо бы найти подходящие катализаторы, чтобы их ускорить... Эти вот наши опыты тоже будут достаточно продолжительны, но ускорить их мы уж никак не сможем. Теперь, значит, нам надобен мостик Уитстона. Давайте-ка его сюда.

— Мостик Уитстона? — Таня вполне добросовестно оглядела стол лаборатории и сказала наконец: — Я не знаю, где этот мостик.

— Как не знаете? Ведь у нас был тут мостик Уитстона. Куда же он делся? Я его третьего дня здесь видел. Иначе я не начинал бы и опыта.

У Тани был растерянный вид, у Лени — рассерженный, даже жмурые обычно глаза округлели. Он сам начал метаться из угла в угол, от стола к столу лаборатории, шаря везде не только глазами, но и руками.

— Черныш должен знать. Где Черныш?

— Ушел обедать... И Студнев тоже...

— Как же так: вы лаборантка, ведь на вашей ответственности все аппараты, и вы не следите за ними и ничего не знаете,— черт знает что! — уже повысил голос Леня.

Таня глядела на него, зажав губы, потом повернулась срыву, сразу, как по команде, и так стояла, вдавившись руками в стол, пока не услышала спокойных уже и не крикливых слов:

— Ну вот же он — оказался почему-то заставлен, тут, на верхней полке, мостик Уитстона... А это что за произведение искусства и науки?

Таня обернулась медленно и увидела в руках Леонида Михайловича не только аппарат, но и то, что она спрятала подальше, став для этого когда-то на стул.

Она почувствовала, что покраснела так, как могла бы покраснеть только Фрида, и почти крикнула:

— Дайте сюда, пожалуйста. Это мое.

— Это — пароход, что ли?

— Да, это... дайте мне, пожалуйста.

Таня стояла около него, протягивая руку к пароходу из бумаги — синей и белой, толстой, шершавой, оберточной. Но он, высокий, ставя одной рукой на стол аппарат Уитстона, другой поднял этот пароход вверх.

— Это вы сами делали? — спросил он, очень, видимо, изумленный.

— Дайте, я изорву,— требовательно сказала Таня.

— Ну вот, изорвете. Зачем же это рвать... Знаете, я вам скажу,— это вполне правильно сделано... Вы это с какой-нибудь модели?

— С какой модели?.. Здесь делала, от скуки... Дайте же.

— Нет, не дам. На память делали?.. Странно... Между тем нет ошибок. Капитанский мостик — правильно. Иллюминаторы — вполне правильно. Палубы... А главное, главное, каким же образом вы мачты поставили с такой точностью?.. Из чего они? Из спичек?.. У вас не было под руками только ниток, чтобы протянуть ванты... Нет, знаете, это вы сделали с чисто китайской ловкостью по части таких вещей... Здорово!.. Вы, должно быть, работали раньше в мастерской игрушек?

— Нет, не работала...

— И никогда не имели дела с папье-маше?

— Нет, не имею понятия...

— А где же могли вы так изучить пароход?

— Как — где? На Черном море...

Таня теперь уже не тянулась, чтобы вырвать свое изделие из этих длинных и длиннопалых рук. Она убедилась, что инженер Слесарев не издевается над нею, что он бумажный пароходик ее рассматривает чрезвычайно внимательно, что у него по-настоящему удивленный вид.

Леня же, то приближая к себе, то отводя на вытянутую руку пароходик, припомнил вдруг Качку, Марка Самойловича, мечтавшего стать кораблестроителем, и спросил:

— У вас отец — корабельный инженер? Или старший брат?

— У меня нет отца... А брата никогда не было.

— Кто же у вас есть?
— Только мать.
— Чем она здесь занимается?
— Она не здесь, а в Крыму...
— Почему же все-таки вы, химичка, и вдруг — такой пароход?
— Просто я всегда любила пароходы... с раннего детства.
— Вот как? А лодки?
— Лодки гораздо меньше.
— Но все-таки... умеете грести и править?
— Ого! — сказала она, улыбнувшись слегка, так как теперь уже верила тому, что над ней не смеются.
— А плавать? Плавать умеете?
— О-го! — подбросила она голову.
— Так вы — молодчина, слушайте. Так мы с вами можем на Днепрострой катнуть, на лодке, под парусом, а? Идет?
— Идет,— ответила она просто и весело.
Этот высокий инженер и научный работник,— может быть, будущий профессор по химико-технологическому институту — уже не приводил ее ни в недоумение, ни в негодование и не вгонял в краску стыда. Он и не обнимал ее за плечи, как это делали другие, как сделал в этом же подвале недавно его товарищ Близнюк. Установив, как того требовал опыт, мостик Уитстона, он продолжал разглядывать сооруженный ею пароходный мостик, и мачты, и палубы глазами знатока, пожимал плечами и бормотал:
— Нет, это поразительно!.. Совершенно безошибочно сработано.
Отобедавшие Черныш и Студнев застали их за беседой о предметах, которые должны будут проходиться в этом новом химико-технологическом институте; об устройстве доменных печей и быстроходных коксовых заводов; о том, как и отчего забуряются коксовые печи; о том, при скольких градусах плавится огнеупорный кирпич и как можно получить такую высокую температуру... Это была как бы целая лекция ревностного молодого профессора одному внимательному слушателю, напоминающая лекции по механике покойного Ярослава Ивановича. И, уходя, наконец, из лаборатории, Леня Слесарев сказал Тане Толмачевой как подлинному сотруднику в работе:

— Не мешает все-таки нам повторить этот эксперимент: может быть, окажутся несколько иные результаты.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Леня знал уже от Шамова и других, что всего только несколькими днями раньше его приехал из Америки командировавшийся туда Коксостроем начальник коксового цеха инженер Донцов, который был только на два курса старше его по здешнему горному институту, а по возрасту был не свыше тридцати лет.

В этот же день вечером Леня был на докладе Донцова, который говорил о технике Америки и о резких чертах кризиса в американской промышленности и сельском хозяйстве. Ярче всего представил себе этот кризис Леня, когда Донцов сказал:

— Я видел новенький, только что законченный постройкой, прекрасно оборудованный большой коксовый завод, но он стоит. Его не пускают, потому что кокс и без него не находит покупателей.

Это поразило Леню: он за последние годы привык к тому, что у нас для растущей стремительно черной металлургии не хватает кокса, что у нас в работу пускают даже и плохой кокс, который только засоряет доменные печи и расплавляет фурмы.

На другой день Леня был в назначенный час в кабинете Лапина, где, кроме вечного ассистента его Голубинского, были Качка и два других профессора-металлурга, а из подвальщиков, кроме Лени — Шамов, Зелендуб, Близнюк.

Лапин открыл заседание торжественно, как всегда, и начал с того, что уже всем здесь было известно,— что металлургическое отделение горного института, которым он ведает, вырастает с нового учебного года в металлургический институт, в котором он, Лапин, будет ректором, что новый институт этот пока остается здесь, в старом помещении, которое придется всячески уплотнять, но для него в спешном порядке будет строиться особое большое здание, так же как и для химико-технологического, и вот тогда...

— Тогда-а,— перешел он, наконец, к злобе дня,— возникает, воз-ни-ка-ет, да, этот самый вопрос о филиа-ле... К чему, спрашивается, филиал? Зачем филиал? По-че-му именно филиал, когда у нас тут та-кой крупный промышленный центр, да, и такое обилие втузов? Почему не вполне само-стоятельный институт, да?.. Вы желаете работать? — вскинул он грозный свой взгляд почему-то на Леню.— Хоро-шо-с. Прекрасно-с, да... Я-я-я отведу вам в новом здании института... две большие комнаты. Под ла-бо-ра-торию, да. Под за-ро-дыш, за-ро-дыш еще только, да-а,— будущего научно-исследовательского ин-сти-ту-та. Вот вы и... вот и работайте, да,— перевел он глаза на Шамова и Зелендуба.— Я-я вам доставлю все, все необходимое для работы, и во-от... под моим личным наблюдением, да, на моих глазах, да, у меня под рукой... под ру-ко-вод-ством моим,— ра-бо-тай-те. Отчего же нет?.. А для научно-исследовательского инсти-ту-та, я нахожу, товарищи, да, что силенок у нас еще мало. Мало научных, на-уч-ных сил, да... Мы, конечно, можем, как в других местах, товарищи, можем, конечно, собрать кое-кого, кое-ко-го; да, кто не у дел, кто болтаться любит, да, кто лодырь... Мы можем набрать таких и... и что дальше? Зачем они?.. Раз уж это будет научно-исследовательский ин-сти-тут, да, то надобно что? На-у-ку надобно вперед двигать, науку, да... А лодырей, конечно, мы набрать можем, бездельников, да-а, которые а-нек-до-ты будут друг другу рассказывать, собравшись... Этих, да, этих набрать мы можем, и даже... даже нам таких подсунуть могут, да-а,— прислать со стороны. «Вот вам, скажут, талантливый, многообещающий юноша, да, о-он, он непременно будет науку двигать...» А он, на поверку, невежда круглый, и лодырь, и анекдотист... Только. И ничего больше...

С полчаса тянулась его вступительная речь, а потом часа два ушло на совещание: Лапин любил совещаться.

Профессора решительно поддержали своего ректора. Даже и Качка сказал, что быть в филиале — значит, просто быть на побегушках. Но для этого надо признать научный авторитет тех, у кого будешь на побегушках, а этот авторитет весьма и весьма сомнителен.

Когда же пришлось высказаться Лене, он сказал, совсем неожиданно для себя, довольно длинную речь.

Ему казалось, что те опыты с электропроводностью, которые начал он накануне, должны непременно привести его к какому-то важному открытию, вот почему говорил он с большим подъемом, как может говорить только человек, способный действительно двигать науку вперед. Он говорил о том, что обидное слово это «филиал» совсем не существенно для дела, что так же, как отпочковались от горного института его филиалы — два отделения,— и начинают жить самостоятельно, заправскими институтами,— так начнет жить со временем самостоятельной жизнью и их будущий филиал, какого бы там ни было, авторитетного или нет, института, раз только он начнет ходить на своих ногах и окрепнет; что дело в конце-то концов в работниках института-метрополии и института-филиала, дело в удельном весе их трудов, а то ведь в год-два может случиться так, что вполне очевидно будет для всякого, что филиал ведет на буксире метрополию, а метрополия покорно плетется в хвосте своего филиала. Тогда, значит, самостоятельное существование и будет заработано. А «побегушки», если их принимать в буквальном смысле, как, например, частые командировки на заводы, совершенно необходимы для того, чтобы работа будущего филиала не была слишком уж кабинетной, то есть ни для кого пока не заметной, на практике совсем неприменимой, гордой тем, что она — наука чистая, что ризы ее белы и не запятнаны житейской грязью, не замазаны даже тем толченым углем, над которым она будет производить свои опыты... Что же касается двух больших комнат в не построенном пока еще доме, то это очень хорошо, конечно, но ведь комнаты эти — в будущем, а для филиала могут теперь же найти просторное и светлое помещение, что, несомненно, должно повлиять на успешность научных работ. Очень многое зависит от обстановки, а обстановка производства научных работ тоже когда-нибудь должна стать и будет предметом научных исследований...

— Что же касается лодырей,— закончил Леня,— то выявлять и удалять их вполне можно предоставить ведущему активу филиала, в котором немало, конечно, будет комсомольцев и партийцев.

Лене казалось, что он сказал все, что нужно было сказать. Однако Лапин любил не только совещаться

и председательствовать, не только солидно вынимать массивные золотые часы и пристально разглядывать их стрелки и циферблат,— он стремился всегда и ставить на своем и постарался запутать все его положения, так что совещание кончилось ничем, тем более что ни Шамов, ни другие однокурсники Лени, киты подвала, не высказались за филиал так решительно, как он.

Вопрос об открытии филиала научно-исследовательского института так и остался пока нерешенным.

II

— Если здесь будет действительно устроен этот самый так называемый филиал, то я еще посмотрю, может быть даже я в нем и останусь, а в Ленинград не поеду,— сказал Леня вечером в день заседания лаборантке Тане Толмачевой и увидел, как эта дикая девочка вдруг вскинула на него ярчайшие, как звезды первой величины, как два Сириуса рядом, глаза...

— Это было бы, пожалуй, неплохо, а? — раскрывая навстречу этим Сириусам свои глаза, спросил,— просто думая вслух,— Леня.

А она ответила, отвернувшись и вполголоса:

— Это было бы сов-сем неплохо.

Иногда много значит, когда вот так, отвернувшись и тусклым голосом, говорят обыкновенные слова, перед этим озарив занавешенные дали мгновенными молниями глаз. Леня отвернулся тоже и тут же взялся за приборы (дело было в лаборатории подвала), с недоумением замечая, что руки его, такие послушные и безошибочно действующие всегда руки, почему-то хватаются не за то, что нужно, и едва не выронили реторту.

Так как опыты по электропроводности угля и кокса требовали большой внимательности и точности при вычерчивании кривых и были длительны, то он засиделся в этот вечер дотемна. Таню же он отсылал домой, но ей хотелось непременно дождаться конца опыта. Так из подвала вышли они вместе.

Трамвая что-то не было видно, сколько ни вглядывались они в темноту площади и улиц, а кто-то из ожидавших с ними у остановки сказал спокойно и уверенно:

— Теперь не меньше как полчаса прождать. Видать,

провод лопнул,— пока починят, пока что... Полчаса, не меньше.

Часто случались подобные заминки со здешним трамваем. Они пошли по улице, так как идти им было в одном направлении. И у первого же сильного фонаря, нагнувшись вдруг стремительно к широкой каменной плите тротуара, Таня радостно вскрикнула:

— Гадзушка!

— Что такое? — удивился Леня.

— Вот. Нашла гадзушку,— и она протянула ему свою находку.

— Какая-то косточка. Свиная, кажется. Из свиной ноги.

— Не знаю, откуда. Гадзушка.

— Что же это за название такое?

— Не знаю. Так у нас называли. Там, в Крыму. Мы в них играли с очень большим увлечением. У меня их было много, целый мешочек.

Леня ни разу еще не видал ее такой радостной, как теперь, с этой свиной костяшкой в руках.

— Вот девчонка! — сказал он шутливо.— Как же можно было играть в такую чепуху?

— Как — чепуха! — Это — замечательная вещь, а совсем не чепуха,— не обиделась, а только еще более оживилась Таня.

— Да, в разрезе она похожа будет на скрипичный ключ,— пригляделся к гадзушке Леня.

— Тут шесть сторон: чик, пик, кот, олч, сыч, цыть,— очень быстро, за один прием, проговорила Таня, а так как Леня ничего не разобрал, должна была повторить название каждой стороны отдельно.

— Допустим, что шесть сторон,— согласился наконец Леня.— И что же дальше?

— А дальше мы их подбрасывали и смотрели, на какую сторону ляжет гадзушка.

— На «чик» или «пик»?

— Или на «олч», или на «сыч», или на «кот», или на «цыть»...

— Запомнить трудно, но все-таки можно,— согласился Леня.— Была какая-то старинная игра в кости... Предположим, что эти кости и были гадзушки... Ну и что же дальше? Бросали, смотрели «чики» и «брики», а дальше? — наклонился к ней Леня.

— Дальше? Или выигрывали, или проигрывали... как во всякой игре.— И Таня спрятала гадзушку в карман, а Леня весело расхохотался. С минуту потом шли молча в душноватой полутьме городской июльской ночи, но вот вдали, там, где были заводы на этом берегу Днепра, вспыхнуло сразу зарево и сделало особенно отчетливой и торжественной одну высокую трубу.

— Мартен,— объяснил эту вспышку огня едва глянувший туда Леня, а Таня, приглядевшись внимательно к трубе, сказала:

— Вот по такой самой трубе я раз поднялась на самый верх.

— Что та-ко-е?.. Откуда вдруг такой разгул фантазии? — весело вскрикнул Леня.

— Нисколько не фантазия, а было это на одном керамическом заводе... Там же и кирпичный завод был, только оба брошенные — и керамический и кирпичный... Может быть, теперь их восстановили, не знаю,— это было три года назад.

— Как же можно было вам влезать по трубе, позвольте?

— Как? Не снаружи, конечно, а изнутри. Она ведь невысокая была, всего пятнадцать метров, а там внутри были выступы такие, как вот в минаретах... Я по этим выступам и лезла с одного на другой... А когда высунулась из трубы, стала аукать.

— Кому аукать?

— Как кому? Подругам своим... Я ведь не одна на эти развалины ходила.

— Ну, знаете ли, так только совсем шальная девчонка могла сделать.

Леня сказал это потому, что вдруг ярко представил, что сорвалась Таня с верхнего выступа и полетела головою вниз. Он испугался сам того, что представил. Он, пожалуй, несколько рассерженно даже сказал это. Но Таня не обиделась.

— Да ведь мне было тогда всего четырнадцать лет.

— Три года назад?

— Да, три года назад.

Леня не спросил, сколько же в таком случае лет ей теперь: он знал сложение простых чисел. Но, удивленно приглядываясь к ней, которая не так давно говорила ему же, что ей девятнадцать (правда, не совсем твердо гово-

рила это), он не заметил предательского обломка тротуарной тумбы, торчавшего как раз на его дороге, зацепил за него ногою и упал гораздо скорее, чем мог сообразить, отчего он падает.

Ему иногда приходилось падать, и он уже знал по опыту, насколько неудобен высокий рост для такой быстрой перемены положения. Он ушиб колено и локоть, но главное — ему было необъяснимо стыдно перед своей маленькой спутницей.

А Таня, помогая ему подняться, совершенно бессердечно смеялась, говоря его же частыми словами:

— Этот эксперимент надо бы повторить: вдруг окажутся какие-нибудь другие результаты.

И на это в ответ пробормотал он вполне добродушно, вытирая ушибленным локтем ушибленное колено:

— Фу, какая ты скверная девчонка, Таня!

Так в первый раз он назвал ее — «ты, Таня».

III

Позвонил кто-то по телефону в подвал утром, часов в одиннадцать. В подвале упорно продолжал свои эксперименты по электропроводности угля Леня Слесарев, и Таня вычерчивала кривые, стараясь ни на волос не ошибиться.

К телефону подошла Таня и спросила врастяжку, как уже привыкла:

— Да-а?.. Я слушаю... Я вас слушаю... Коксовая станция, да-а... Кто говорит? Кто-кто? Да-у-тов?

И она отняла вдруг стремительно трубку от уха и поглядела на Леню совершенно испуганными глазами.

— Даутов — это директор металлургического завода,— сказал, подойдя, Леня.— Чего ты испугалась?

Он тут же взял трубку сам и сказал Даутову:

— Говорит инженер Слесарев. В чем дело?.. Ага... Да... Да, это приписывается плохому качеству кокса... А? Объяснить? Объяснить это явление трудно... Хорошо, приехать... Но что же я могу сделать?.. Посмотреть кокс?.. Наш кокс я отлично знаю... По внешнему виду кокс неплохой. Пришлите сюда образцы кокса, мы тут его рассмотрим...

— Мы сами поедем туда,— вдруг громко сказала

Таня и поглядела на обернувшегося Леню так умоляюще-требовательно и так непобедимо-ярко, что Леня добавил:

— Впрочем, мы можем и сами приехать... Бригадой из двух человек...

— Сейчас,— требовательно подсказала Таня.

— Сейчас же и приедем,— добавил Леня и после нескольких слов еще повесил трубку.

— Что случилось? — удивленно спросил он Таню.— Там горят фурмы доменных печей, что мы там можем сделать?

— Там — Даутов,— с большой выразительностью сказала Таня.— Даутов! Понимаете, Леонид Михайлыч? (Она продолжала называть его, как и прежде, «вы, Леонид Михайлыч».)

— Нет, ничего не понимаю.

— Даутов, да... А я только что получила письмо от мамы... из Крыма письмо... поискать здесь Даутова или вообще справиться о нем где-нибудь... Тут есть музей революции, и я уж хотела идти туда справляться, нет ли его в списке убитых: он был красным командиром... А он оказался совсем не убит, а директор завода, и тут же, где я. Тогда сюда, может быть, отважится приехать мама.

— Ну, хорошо, Даутов, директор завода, твоя мама — какая, в общем, тут связь событий?

— Просто это ее старый знакомый, по Крыму — моей мамы... И мой тоже, если вы хотите, только я тогда была еще ребенком и плохо помню... Я все-таки помню, как мы с ним играли в поезд... нет, я кое-что помню. Я так рада буду его увидеть!.. Я сейчас же напишу открытку маме, что Даутов здесь.

Леня видел, что для нее это было желанное открытие, давно лелеянное в мечтах,— до того она, и без того легкая, стала совершенно невесомой, до того она, раньше только изредка и на миг зажигавшая свои Сириусы, стала теперь ослепляюще лучистой.

— Послушай, Таня, да ты теперь какое-то «Первое мая» в подвале, а совсем не лаборантка,— изумленно глядя на нее, говорил Леня.— Ну идем, идем. Выключим пока ток. Посмотрю и я на твоего Даутова, а то я его никогда не видал: он у нас на заводе недавно. А если плавятся фурмы, то это авария серьезная. И что он хватает-

ся за такую соломинку, как наш подвал в его теперешнем виде, это показывает только, что очень он растерян.

— Как? Серьезная авария? — сразу померкла Таня.

— Ну еще бы! Фурмы — медные. В доменной печи их много. Фурма сгорела — надо сейчас же вставить новую, а это значит остановить дело минут на десять — пятнадцать, смотря по опытности рабочих, а потом ведь раз кокс виноват, так он и будет виноват в дальнейшем: кокс будет доставляться исправно, вид у кокса будет вполне надежный, а фурмы будут гореть...

— Почему?

— Потому, что не какая-то несчастная коксостанция у нас нужна тут, а настоящий, серьезно поставленный исследовательский институт... А то вот Голубинский уехал в Германию, Шамов от подвала отстал, Близнюк с Зелендубом тоже весьма отвиливают, как я вижу,— потому что я их что-то давно уже не видал... Что же это за станция? А Лапин еще упорствовал. Теперь только и надежды, что на филиал...

Когда они ехали на завод в вагоне трамвая, Леня говорил:

— Я твое состояние понимаю отчасти. Один художник, товарищ моего отца по Академии, будем звать его «Дядя Черный», как я его назвал, когда был по третьему году,— заезжал к отцу... Давно это было, очень давно... Потом из тогдашнего Петербурга он прислал мне лодку с парусами, типа кеча с рейковой бизанью... Благодаря этой лодке, может быть, с детства я пристрастился к лодкам и к гребному спорту... «Дядя Черный» этот был жанрист и портретист... И вот, когда я поехал в Ленинград, отец мне дал тоже поручение разыскать его во что бы то ни стало... Конечно, столько событий с того времени, как он у нас был, прошло, так всех поразвеяло в разные стороны, что я думал, где же мне его найти. Оказалось, что он еще в восемнадцатом году выехал за границу, там и живет.

— Он был известный художник? — с любопытством спросила Таня.

— Да, по-видимому... Ведь вот же в Ленинграде художники мне о нем сказали... Значит, среди художников-то он был во всяком случае известен.

— А Даутова не могут снять с директорства за эту аварию? — заметно встревоженно спросила Таня.

— Чем же он лично виноват в этой аварии? Виновато качество кокса, а не он.

Наконец, показался металлургический завод, и Леня видел, как заволновалась Таня, прилипшая своими яркими глазами к раскрытому окну вагона: даже побледнела она от волнения, и губы ее стали сухие.

— Я сказала маме, что найду Даутова, и вот я его нашла,— с большой торжественностью в голосе говорила Таня, когда они подходили к будочке за пропусками на завод.

И Леня отозвался на это тоном человека с огромным житейским опытом:

— Бывают такие счастливые случайности в жизни.— И добавил: — Теперь уж и мне самому любопытно посмотреть, что это за Даутов такой, с каким ты в поезда когда-то играла.

Управдел, болезненного вида человек с острыми скулами и желтыми белками,— в одной руке перо, в другой папироса,— мутно посмотрел на вошедших, спросил, по какому вопросу хотят видеть директора, сказал:

— Да, мы вам звонили туда, на коксостанцию... А директор сейчас занят, присядьте.

И снова начал весьма деятельно затягиваться папиросой и что-то быстро писать на бумажках. Куча коротеньких бумажек лежала перед ним на столе, и он сбрасывал их к себе одну за другой, ловко действуя только безымянным пальцем левой руки. То и дело приходили к нему за указанием, за разъяснением, за резолюцией — это был страшно занятый человек.

Но Таня взглядывала на него только мельком: все ее внимание было здесь, на этой высокой коричневой двери, на которой белела фаянсовая дощечка с крупными буквами: «Директор». Очень строгая была эта дверь и строгая дощечка. И Таня все восстанавливала в памяти старую фотографическую карточку Даутова, представляя до осязательности ясно, как он сидит вот сейчас в своем кабинете за строгим столом, строгий и важный, каким только и может быть директор такого большого завода.

Ей казалось даже, что ни одного слова сейчас не нужно говорить ему о себе, о матери и о Крыме,— только приглядеться к нему как следует, чтобы описать его матери в длинном письме, а потом... лучше всего и ему

послать письмо на квартиру, чтобы узнать, когда можно будет к нему зайти.

Вот вышли из кабинета двое с бумагами... Управдел поднялся, положил папиросу и, продолжая читать какой-то листок, открыл дверь кабинета.

— Ну, вот сейчас он доложит о нас, и... сейчас ты увидишь своего Даутова,— вполголоса сказал ей Леня, положив свою спокойную широкую руку на ее нетерпеливую ручонку.

Управдел открыл дверь, выходя, и сказал, обращаясь к Лене:

— Зайдите.

Лене очень хотелось пропустить Таню первой, однако она торопливо спряталась за него, но глаза ее впились в того, кто сидел за большим письменным столом с резьбою. На столе что-то зеленое, сукно или толстая бумага, на этом зеленом — толстое квадратное стекло, бронзовая чернильница, телефон, куча бумаг и куча кокса в чем-то никелированном,— но все это только взметнулось как-то, как легкий пыльный вихрь на дороге, который, чуть поднявшись, оседает вновь, взметнулось, осело, и... очень широкоплечий, низенький, с широким плоским лицом, до отказа налитым кровью, с черными узенькими глазками и с черным ежиком на раздавшейся вширь голове директора, чуть приподнявшись, подал руку Лене, кивнул слабо растущими бровями ей и сказал:

— Прошу присесть, товарищи... Вот образцы кокса.

И он взял никелированную коробку с коксом и придвинул ее к Лене, сразу решив, конечно, что девочка эта,— какая-то там лаборантка,— что она понимает в аварии на заводе?

Но лаборантка Таня и не смотрела на кокс: она, круто изогнув шею, оглядывала очень обширную комнату, нет ли в ней двери куда-то дальше, в настоящий директорский кабинет и к настоящему директору Даутову, потому что этот налитой здоровьем низенький человек азиатского обличья ничем решительно не был похож на Даутова.

Между тем Леня, взяв два куска кокса в обе руки и стараясь раздавить их, как два грецких ореха, говорил:

— Видите ли, товарищ Даутов, по внешнему виду это очень крепкий кокс. Я наперед могу сказать, что ба-

рабанную пробу он прошел блестяще... Попадаются куски с небольшой трещиноватостью, но это вполне допустимая трещиноватость, она глубоко не идет и роли не играет.

— Но она все-таки есть, трещиноватость,— вздул второй подбородок Даутов.— Наши инженеры говорят, что это и есть причина.

Таня слышала, что и говорит этот директор с каким-то заметным восточным акцентом. Леня сказал улыбнувшись:

— Нет, дело не в этом. В нашей лаборатории могли бы разрезать каждый кусок и показать вам плоскости разреза, товарищ Даутов. И вы увидели бы,—да вот их видно на этом изломе,— черные крапинки. Вот в этих крапинках черных и лежит причина. Они создают действительную трещиноватость, только уже в самой домне,— по ним растрескивается кусок кокса и образует мелочь...

Леня старался говорить точным и вполне правильным книжным языком, а директор внимательно его слушал, проводя языком по бритым губам,— директор, которого Таня никак не хотела считать Даутовым: ей все казалось, что это, может быть, технический директор, может быть, коммерческий директор, может быть, наконец, замдиректора, но совсем не тот, настоящий директор завода, который говорил с нею по телефону и был Даутовым.

Леня же, наскоро вычерчивая на клочке бумаги нижнюю часть домны в разрезе, толковал директору о том, что такое, предположительно пока, происходит в домне, когда трескаются в ней и превращаются в мелочь и в коксовую пыль куски кокса.

— Коксовая пыль,— говорил он,— до того легка, что дутьем снизу выдувается через колошник вместе с доменным газом, но мелкие кусочки кокса очень вредны: они обволакиваются жидким шлаком, и тогда этот шлак приобретает как бы каркас и уж перестает быть жидкостью и скопляется в «холодных мешках» горна... Где именно? Вот как раз под фурмами. Там образуются настыли в виде раковин в уборных. На эти настыли капает расплавленный чугун, а расплавленный чугун, остывая, отдает массу тепла,— чему же? Фурмам... Вот почему они и начинают плавиться. Это — последнее, к чему пришла пока наука в объяснении подобных аварий...

— Ну, хорошо, пусть наука... наука сказала свое последнее слово вот именно так, как вы мне тут... э-э... доложили. Все это прекрасно и даже как будто... м-м... похоже на объяснение... но практический-то вывод какой? Я не вижу тут практического вывода.

— Кислородом прожигаете? — спросил Леня.

— Да, кислородом... Прожигаем, а потом — отчего же фурмы через несколько дней начинают опять гореть?

— Опять настыли образуются, и опять на них капает чугун...

— Значит, опять-таки ответ тот: от плохого кокса. Мы кричим на завод коксовый: дайте же нам хорошего кокса. А оттуда ответ: кокс хороший. Мы требуем комиссию для выяснения вопроса... А комиссия что говорит? Она говорит: кокс хороший.

— Да, внешний вид кокса действительно прекрасный: качественный кокс по внешности.

— Качественный? Ага! И вы то же — «качественный»?! Однако фурмы у нас горят, а?..— разгорелся и сам и уже совсем гортанно начал кричать директор и вытаращил глазки.

— Гореть будут... от внутренней трещиноватости кокса... Этим вопросом у нас занимался главным образом аспирант Близнюк; внутренняя трещиноватость определена им. Но как ее избежать — вопрос сложный. Конечно, надо будет переменить шихту; подобрать новую.

— Вот. Именно — новую. Чтобы нам давали новый кокс. К этому пришли и наши инженеры... А вы там у себя, на коксостанции, товарищи, должны указать им, коксозаводу, какую именно надо шихту. Вот как надо работать, товарищ.

Зазвонил телефон на столе, но директор так разгорячился, что взялся за трубку, чтобы только крикнуть кому-то:

— Позвоните через пять минут. Я сейчас занят.

Ясно было Лене, что он ожидает от него немалого, и он сказал Даутову:

— К сожалению, этой волшебной палочкой мы еще не овладели, чтобы сразу взять и подобрать шихту. Мы работаем над этим долго, но идем пока вслепую, опытным путем. Самый надежный способ — ящичный способ, но это — долгий путь... Словом, хозяевами кокса мы пока еще не стали... Погодите, вот образуется здесь науч-

но-исследовательский институт, тогда закипит работа. А сейчас у нас тихо, почти все разъехались. Я и то был на станции случайно, могло меня и не быть,— и не с кем бы вам говорить даже.

— Значит, что же? Фурмам нашим остается одно — гореть? — вытаращил на него глазки совершенно побагровевший директор.

— Пока не подберут на коксозаводе подходящей шихты чисто опытным путем, по ящичной системе,— развел руками Леня и улыбнулся.— Образцы я возьму, но ничего нового мы вам сказать не можем. Я вам сказал наперед все, что мы можем найти...

И Леня поднялся. За ним тут же вскочила Таня.

Снова затрещал телефон. Директор взял трубку, протянул Лене вверх короткопалую толстую руку и даже бровью не кивнул теперь Тане, и оба они вышли из кабинета.

— Да это совсем, совсем не Даутов! — почти крикнула запальчиво Таня, когда они вышли, минуя окруженного людьми управдела, в коридор.

— То есть почему именно не Даутов? Не твой Даутов? Однофамилец, что ли? Это бывает... То-то ты сидела такая сердитая,— заметил Леня.

— Совсем никакого подобия... Ну никакого намека на того Даутова! — продолжала возмущаться Таня.— А я-то хотела уж посылать письмо маме.

Леня сказал наставительно:

— Вообще спешить никогда не следует. Зато ты теперь увидела, что такое загадка кокса... И можешь понять, ради чего я бьюсь с нею. Вот завод у нас коксовый — прекрасный? Прекрасный. Донцов — коксовик прекрасный? Прекрасный. Печи уж больше не забуряются? Не забуряются, и кокс выдается легко... Внешний вид кокса прекрасный? Лучше нельзя и желать. И все-таки он никуда не годится, и от него аварии в доменном цехе... Вот и «разрешите мне, волны, загадку кокса...»

Когда они сели в почти совершенно пустой вагон трамвая, чтобы ехать обратно, Леня заметил недовольно сдвинутые брови Тани и засмеялся:

— Маленькая неудача, и ты как тоскуешь,— эх, голова!.. Забудь уж о своем Даутове. Ну, не вышло,— бывает. Мало ли Слесаревых и Толмачевых,—почему же не быть в Союзе, скажем, двум сотням Даутовых?.. Ты по-

смотри-ка лучше, какая вот тут глубокая балка... и в этой балке вон сколько домишек. Живут люди, и ничего... И ручей там у них — на дне балки — тоже, конечно, впадает в Днепр... А ну-ка, что напоминает тут рельеф местности? Правда, похоже на кривую коксовой усадки, какие вычерчивает аппарат Копперса? Вот она пошла хвостом вниз,—признак угля, который хорошо коксуется...

— А вот вы похожи, знаете, на кого? — недовольно поглядела на него Таня.— На шахматиста, когда он чересчур за своей доской засидится и потом на улицу выйдет... Люди ему тогда кажутся пешками, лошади, конечно, конями, а вот такие вагоны трамвайные — это будут туры... Вообще игра продолжается.

— Остри, остри, язычок... А почему тебе все директора заводов кажутся теми Даутовыми, с которыми ты в поезд играла в детстве? Тоже игра продолжается?.. Вот если бы эту кривую схватить за хвост, домны не засорялись бы, и фурмы не горели бы, и коксовые печи не забурялись бы, и черт знает сколько тогда было бы великолепных последствий... Большое это было бы дело... И ведь досадно что? Совсем какая-то малость нужна для решения,— я это чувствую. Где-то в мозгу у меня это сидит, только толчок нужен, чтобы... А толчка нет.

И Леня забычиво взял в руки тонкую кисть ее руки, и так как пальцы его теперь, как всегда, когда приходил он в волнение, сжимались сами собою, ища какого-то дела или какого-нибудь нужного инструмента для дела, то, незаметно для себя, он сдавил руку Тани сильнее, чем она могла вытерпеть, и она вскрикнула:

— Ой! Больно же так! — глянула на него обиженно и выдернула руку.

— Прости,— сказал он тихо.— Это я задумался... Ведь главное в процессе образования кокса что? Пластический слой... А пластический слой откуда берется? Начинает плавиться битум угля... Шамов думал определить количество битума химически, однако вот уж он охладел... И эти «закваски», какие он еще ставит иногда, это уж так, для очистки совести: чтобы не оборвать сразу, а спуститься на тормозе... Между тем ясно, конечно, что все дело в битуме, и, значит, нужно только измерять его количество, разное в разных углях. Как измерять? Абсолютной точности не только невозможно добиться, но она и не нужна совсем,— вот что важно.

Измерять нужно только для сравнения. Ведь что происходит с куском угля? Он начинает плавиться, то есть переходить в пластическое состояние, и из него выходят вместе с паром газы... Но вот влага вышла, газы вышли — получилось из угля нечто новое: кокс, результат сухой перегонки, и он тоже твердое тело, хотя и легкое. А вот этот период, когда он был жидким телом, этот таинственный период, неужели так и нельзя привести его в ясность? А ведь больше ничего и не нужно нам, только это: привести в известность этот самый пластический слой угля, когда он, уголь, превращается в кокс. И вся разница между углями в чем именно? Только в этом, — в толщине пластического слоя... Вот попробуй изобрести способ его измерить, этот слой, и знаешь, что тогда будет?.. Будет решена задача кокса.

И Леня опять захватил забывчиво руку Тани и посмотрел на нее такими остановившимися, долгими и широкими глазами, что она улыбнулась медленно и сказала, отвернувшись:

— А глаза совсем как у мальчишки... Даже смешно.

Посмотрела на него еще раз внимательно, еще раз улыбнулась и отвернулась снова. Но руки своей уже не вырывала.

IV

В ближайший выходной день решено было сделать «вылазку» на Днепр. Бермудского шлюпа уже не было у Лени: он продал его перед поездкой в Ленинград. Оставался только косой парус для одномачтовой лодки, однако парус этот, лежавший в кладовке, успели проточить мыши.

Леня узнал об этом только утром, в день задуманной вылазки, и так как матери надо было идти за хлебом и прочим для обеда, то Леня принес дырявый парус и мешок для его починки Тане, сказав ей:

— Кто любит кататься, тот люби и саночки возить... Изволь-ка заштопать сначала парус, если умеешь штопать.

Толстую иглу для этого пришлось просить у Розалии Борисовны, матери Фриды, уехавшей с утра на целый день к сестре Розе. Белокурая Розалия Борисовна принесла иглу и даже моток суровых ниток, но не удержа-

лась, чтобы не сделать замечания инженеру, который не сумел сохранить от порчи такую ценную вещь.

И с первых же слов она, имевшая в своей лавке не так давно еще дело с книгами, которые покупали у школьников в начале лета, чтобы перепродать потом другим школьникам осенью, перешла на книги:

— Я, когда была еще лет семи, ну, может, восьми только, я взяла краски на картонке, и я взяла кисточку,— а слюни у меня были, конечно, свои,— и я взяла у своего папы совсем новую книгу и всю ее раскрасила этими самыми красками. А уж за это меня мой папа так раскрасил, что я даже две недели потом сидеть не могла... Так что даже потом, когда мы с мамой пошли в баню, так ей даже говорят разные знакомые: «Ну-у, уж вы, мадам Мермель, что же это такое? Разве же можно так своего ребенка раскрашивать? Это же называется чистое истязание». И вот я все-таки папу своего любила, а маму нет... Потому что кто же просил папу меня так раскрасить? Ну, конечно же, это мама сама и просила. А сама из дому ушла, чтобы не слышать, как я кричала...

Так тараторя, она помогла Тане выкроить из мешка заплаты, чтобы хватило на все немалые прорехи, а Леня в это время ел яблоки, приготовленные Таней в дорогу.

В одно вялое, мягкое яблоко неглубоко воткнул он, между прочим, иглу, лежавшую около него на столе, и сдавил яблоко в руке. Игла выскочила тут же. Он поглядел на эту огромную иглу с недоумением и воткнул ее снова, поглубже, потом сжал яблоко обеими руками. Игла медленно пошла вверх и выскочила снова.

Розалия Борисовна ушла в свою комнату навести там порядок, а Таня сказала:

— Теперь остается только пришить заплаты, и парус готов... А где иголка?

— Иголка? — переспросил Леня, не выпуская из рук иглы.— Иголка эта оказалась очень умная, и я ее хочу взять себе на память... Она наводит меня на какую-то мысль... Сейчас скажу... Вот видишь, какой эксперимент?.. Я его повторю, чтобы ты видела. Вот я втыкаю иглу в яблоко... Яблоко вялое, мягкое... Давлю,— видишь? Игла выходит. Еще давлю... Игла выскочила. Что это значит?

— Ну-у, пустяки какие! Что значит? Да ведь так и занозу выдавливают из пальца... Давайте, буду шить.

— Всякую ли занозу,— раз... И почему заноза выдавливается,— два. Жало пчелы, например, и сама пчела не в состоянии вытащить и ты не выдавишь, потому что на нем зазубрины... Штыли, какими мы бревна когда-то из Днепра вытаскивали, тоже были с зазубринами, тем-то они в бревнах и держались. Игла же эта выходит потому, что она почти абсолютной гладкости,— раз, и имеет коническую форму на конце,— два... Но есть тут еще и третье условие, и самое важное... Почему выдавливается игла? Как объяснить это физически?

— Выдавливается, и все.

— Нет, это не ответ... Когда я давлю на иглу снизу, то ткань яблока плотнеет, вот что важно. Она твердеет... почти как камень...

И вдруг у Лени стали такие же глаза — длинные и широкие, как недавно в вагоне трамвая. Это заметила Таня и уже готовилась улыбнуться, как тогда, но он вскочил быстро.

— И-де-я! — почти крикнул он.— Вот это — идея!.. Ведь коксовый королек начинает сгущаться, твердеть откуда? Снизу! Снизу вверх!.. Так что если погрузить в уголь такую вот иглу до дна, когда начнется плавление, то потом... потом игла будет выталкиваться сжатием, как заноза. Ясно? А иглу можно градуировать во всю длину. Вот мы и измерим толщину пластического слоя. Так? Ясно?

— Может быть,— пожала плечом Таня, продевая нитку в иглу.

— Как же «может быть», когда ясно?

И вдруг, быстро прикинув на столе рукою возможную длину иглы, которую можно бы было прикрепить к аппарату Копперса, Леня сказал тихо и даже побледнев сразу, так что отшатнулась Таня:

— Ну, конечно! Этот день мы запомним! Загадку кокса я благодаря тебе решил! Теперь дело только кое в каких деталях.

И он поднял Таню так, что лицо ее пришлось вровень с его лицом, и поцеловал ее крепко в яркие, как два Сириуса, глаза.

1934 г.

СВИДАНИЕ

Этюд

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Второй месяц жили в Москве супруги Слесаревы — Леня и Таня, прибывшие в длительную командировку, связанную с работой коксовых печей. Теперь они оба занимались одной и той же проблемой, продолжали углубляться в тайны коксующихся углей, написали совместно большую теоретическую статью, которую послали в журнал «Химия твердого топлива», но из редакции почему-то не подавали голоса, то есть и не печатали и не отклоняли. Леню это злило и возмущало, и поэтому, как-то будучи в управлении коксовой промышленности, Слесарев решил пожаловаться на редакцию и попросить содействия.

— А вы зайдите к Николаю Ивановичу Худолею. Направо третья дверь,— посоветовали ему в секретариате управления.

— К Худолею так к Худолею,— повторил Леня и вопросительно посмотрел на жену: что, дескать, пойдем?

— Иди один, мне что-то не хочется,— поняв его бессловесный вопрос, ответила Таня.

Моложавый на лицо, но основательно седой, так что и возраст его Слесарев не мог определить, Николай Иванович Худолей выслушал Леню внимательно и сказал как-то с доброжелательной прямотой:

— Послушайте, я ведь хотя тоже горный инженер, но по административной части, а вы хотите, чтобы я ваш теоретический труд по коксу читал. Я верю вам, что это для нас, коксовиков, интересно, но, знаете ли, мне просто некогда, извините, товарищ Слесарев. В конце-то концов, как научный работник, вы должны идти

по своей линии, научной, а не по моей, чисто административной.

— Да, я понимаю это, однако мне кажется, что именно вы, как администратор...

— Нажать могу, хотите вы сказать?

— Ну да, нажать, вот именно,— и Леня, подняв несколько над столом руку, слегка прихлопнул ею какую-то папку с бумагами,— нажать, чтобы прочитали, наконец, и решили. Ведь статью эту мы послали в Москву еще из Днепропетровска, два месяца назад, а ее, оказалось, никто в редакции прочитать даже не соизволил. Так нельзя, что же это такое?

— Так нельзя,— согласился, улыбнувшись, Худолей.— То есть не то, чтобы нельзя, у нас и не такое еще считают возможным. Это, конечно, некультурно, вот как скажем мы.

— Кому же именно скажем? — подхватил Леня.

— Кому именно? А вот хотя бы редакции журнала этого «Химия твердого топлива».

Худолей набрал номер телефона и, поздоровавшись с каким-то товарищем Поневежским, сказал в трубку:

— Вот какая штука, дорогой товарищ. У вас два месяца лежит статья из Днепропетровска о коксе. Два автора, совершенно верно — Слесаревы... Ну вот, видите, что получается. Авторы волнуются, время идет. Говорят, волокита, бюрократия. И правильно говорят... Они сейчас в Москве. Значит, прямо к вам зайти? Хорошо. Так вы уж, пожалуйста, ускорьте решение. А то как же. Привет, товарищ Поневежский.

И, положив трубку, уже Лене пояснил:

— Статью вашу, оказывается, читал все-таки один из сотрудников, но пока еще не написал рецензию, все собирается... Обещают ускорить. А вас просит зайти этот самый товарищ Поневежский. Вы с ними не церемоньтесь, требуйте — это ваше право. Они ведь, знаете,— народ такой...

Так закончилась эта короткая встреча двух молодых специалистов по горному делу. Большой пользы от нее Леня не ожидал, но решил, что не стоит пренебрегать советом Худолея и церемониться с редакцией. В самом деле — не милостыню же он просит.

2

Домой Слесаревы добирались на трамвае, в котором народу было полным-полно, как всегда и во всех вагонах московского трамвая того времени: шел 1934 год, стояла зима.

Ехать нужно было несколько остановок. Таню охватила уже плотно тревога, какую она чувствовала всегда, возвращаясь домой: это была тревога за свою трехлетнюю девочку, которая оставалась дома под присмотром домработницы Прасковьи Андреевны, женщины пожилой, хотя и степенной, но мешкотной, а девочка была живая: вдруг вздумает, чуть только останется одна, залезть на этажерку с книгами, а там не удержится, упадет на пол, да еще и этажерку на себя повалит. Воображение матери работало безостановочно, и вслед за этажеркой представлялась коробка спичек, которую нашла, конечно, Галя на кухне, спрятала эту игрушку под свой белый передничек, пробралась с нею в спальню и — что ей стоит? — чиркнула спичкой по коробке, как это делает нянька, и подожгла одеяло, например, или подушку... Пока-то мешкотная Прасковья Андреевна услышит, что из комнат запахло дымом,— в спальне уже все горит... И пока они доедут, что там дома может произойти, даже и вообразить страшно Тане. А в проходе, где она стояла, давили на нее с трех сторон, и те, кто был сзади, и те, кто пришелся спереди, и особенно те, кто протискивался вперед, говоря: «Пропустите, граждане, мне сейчас выходить»,— и очень энергично действуя плечами и локтями. «Держись, начинается!» — по обыкновению шутил стоявший сзади нее Леня, но ей, встревоженной, неприятна была эта шутка, и она морщилась, поворачивая к нему щеку и медленно продвигаясь вперед.

Вдруг с нею произошло что-то странное, глаза ее скользнули было по лицу какого-то счастливца, сидевшего в левом от нее ряду, и тут же вернулись к нему снова и почему-то никак не хотели от него оторваться. При этом память точно шептала ей, что это не просто кто-то из недавних ее знакомых в той же Москве,— ведь таких было очень много: появлялись в ее жизни и исчезали бесследно,— нет, этот был как-то очень хорошо, очень близко знаком и как-то известен ей, но кто именно, она никак не могла припомнить.

Он был в пыжиковой шапке, но, несмотря на то, что этой шапки не оказалось в ее памяти, было что-то другое, совсем не такое случайное, как шапка; оно было в глазах и во всем лице, продолговатом, несколько скуластом от впалости щек, бритом, оно было в линиях подбородка, округлых, мягких, но, главное, в глазах; эти глаза, они будто бы много уже лет как запали в ее память и оставались там, заслоненные тысячами других глаз,— однако вот теперь, сквозь эти тысячи других, пробились те глаза, и они именно те самые, а не какие-то другие, оказались теперь тут рядом, и упустить их нельзя, нельзя ни на секунду сводить с них глаз, пока наконец-то не станет для нее ясно, чьи они.

Обыкновенно, когда ей случалось стоять в проходе трамвайного вагона, она продвигалась вперед вслед за другими и уже перед самым выходом дожидалась своей остановки, но теперь она точно приросла к месту, пропускала вперед всех, даже Леню. Став впереди нее, он протянул ей назад руку — «руку помощи», как он называл это шутя,— но она не взяла ее,— просто не заметила. Как раз в это время тот, на кого она смотрела, вынул из пальто платок, снял свою пыжиковую шапку и вытер платком голову, подстриженную под ноль или даже выбритую наверно не больше как за неделю до этого дня. И вот эта несколько угловатая, высокая голова, возникшая теперь вся перед глазами, вытолкнула из памяти ее точь-в-точь такую же голову и, больше того, даже фамилию того, кого она видела в раннем детстве около моря, того, кто носил ее там на руках и говорил ей, как называются большие камни и трава, ютившаяся около них на пляже, и проворно строил из карт тоннели для ее поезда, вагоны которого были ягоды шиповника.

И должно быть, радость, какою засветились ее глаза, чуть только она вспомнила картину детства, передалась как-то человеку, вытершему уже платком вспотевшую голову и снова надевшему шапку: он тоже стал глядеть на нее неотрывно и вдруг поднялся и стал протискиваться к выходу, когда кондукторша выкрикнула остановку. Таня увидела, когда он поровнялся с Леней, что Леня не намного выше его, и рост того, виденного в детстве в Крыму, у моря, возник в ее памяти: тот тоже казался ей высоким... очень высоким.

И чуть только она увидела, что узнанный ею уже прошел на переднюю площадку, она толкнула Леню и приказала ему:

— Иди, здесь слезем!

Их остановка была следующей, и Леня удивился:

— Зачем?

— Нужно! В магазин зайду! — придумала Таня и вырвалась вперед, так как кондукторша уже дернула тормозную веревку.

«В магазин зайду!» — это было понято Леней, как необходимость, и он пошел за ней и вслед за нею спрыгнул с подножки вагона уже на ходу; но тут увидел он, что его Таня почти бежит, догоняя кого-то в пыжиковой шапке.

— Товарищ Даутов! — позвала Таня.

Человек в шапке тут же остановился и повернулся к Тане лицом.

— Я и в трамвае заметил, что вы на меня очень упорно глядите,— сказал он, впрочем не улыбнувшись при этом,— и даже старался припомнить, где мы с вами встречались, но...— Тут он развел руками, вопросительно поглядел на Леню, и Леня улыбнулся широко и весело, совершенно почти спрятав глаза, и ответил ему вопросом:

— Но что вы — «товарищ Даутов», этого вы не отрицаете?

— Да, я — Даутов. С вами мы, кажется, встречались,— это относилось к Лене.— А в чем дело? — спросил Даутов несколько неприязненным теперь почему-то тоном.

И Леня сказал тогда:

— А маленькую Таню, которая вас помнит, вы, значит, уже забыли?

— Таню? — повторил Даутов.— Таню!

И набежавшая было на его лицо неприязнь к ним двоим сразу заменилась улыбкой, правда, сначала только неполной, но готовой уже разлиться в радостную при малейшем еще намеке, который пришел бы от Тани, но она совершенно не могла теперь найти никаких слов, или они даже лишними ей казались. Сказал за нее Леня:

— Это еще в семнадцатом году... в Крыму, на берегу моря...

— Помню! — почти крикнул Даутов.— Помню! Все города Крыма показывала мне на карте и все буквы знала на пишущей машинке. Помню! — И он протянул и положил ей на плечи руки, как бы собираясь ее обнять, но, весь осветившись уже изнутри, проговорил только:

— Так это вы, Таня, вон какая теперь стали. Ну, смотрите же, а!

— Как я рада, что вас нашла! — сказала, наконец, Таня.— Как я рада!.. Теперь я напишу маме!

— Помню, помню! И маму вашу помню. Она была ведь учительницей, да? Помню.— Торжественный вид стал у Даутова, но, как бы перебивая свое настроение другим, он добавил вдруг: — А вы с мамой не были в Александровске несколько позже, не помните? Может быть, она говорила вам об этом?

— Были! — вся сияя, качнула головой Таня.— И видели вас!

— Вот! Вот и я тогда думал, что это вы сидели на скамейке в саду, когда я подходил к белым офицерам в целях разведки... Я думал тогда: провалюсь, и стал к вам спиною... Ну, уж иначе мне было нельзя,— понимаете? Иначе и разведка моя не была бы удачной и меня не было бы уже на свете... Но, позвольте все-таки,— что же мы стоим на улице?.. Я здесь живу в гостинице, приехал из Донбасса.

— Из Донбасса? — подхватил Леня.— Значит, вы по-прежнему — горняк?

— Горняк. А вы? Разве бросили заниматься коксом, если я не ошибаюсь?

— Нет, вы не ошибаетесь. Я по-прежнему «коксовик», только теперь работаю здесь при Академии наук.

— Вот как! Скажите, пожалуйста! Мы, значит, одного поля ягодка! А Таня?

— Моя жена... И тоже горнячка. Ах, как удачно вышло... Ведь мы у вас были в кабинете лет пять тому назад.

— Прекрасно! Великолепно! — Даутов не обратил внимания на его слова.— Тогда зайдемте ко мне! Вы где живете? — взял их обоих за локти, приглашая этим сдвинуться с места.

— Да ведь и мы тут тоже недалеко живем,— сказала Таня,— в следующем квартале.

— Зачем же вы встали не на своей остановке? — захотел узнать Даутов.

— Ну, разумеется, за тем, чтобы не потерять вас,— ответил за Таню Леня.

— Так я и знал! — И Даутов рассмеялся совсем по-молодому.— Мне ведь тоже надо было еще проехать, да даже и не одну, а две остановки, но вот эта самая черноглазая Таня так на меня пристально глядела, что меня даже в пот вогнала, и я, признаться должен, этой инквизиции не выдержал и бежал малодушно.

Тут расхохотался и Леня, а Таня спросила сконфуженно:

— За кого же вы меня приняли?

— Ну, мало ли за кого я вас мог принять. Но... все хорошо, что хорошо кончается. Так лучше к вам, вы говорите, Таня?

— Да, лучше к нам, потому что я беспокоюсь, у меня ребенок.

— Ах, ребенок! Мальчик или девочка?

— Девочка.

— И тоже зовут Таней?

— Нет, Галей.

— Что ж, Галя тоже милое имя... Скольких лет?

— Моих тогдашних,— зарделась Таня еще больше, чем от небольшого морозца, который был тогда и ее подрумянил.

— Вот как отлично! Вот как чудесно! У Тани своя есть Таня, хотя и зовут ее Галей... Ну, идемте, идемте, друзья! Покажите мне вашу Галю! И будем вспоминать старое!

По пути к себе Таня все-таки зашла в магазин: теперь оно оказалось кстати, сказанное Лене наобум. И пока Таня покупала, что ей казалось нужным для такого долгожданного гостя, как Даутов, сам Даутов, оставшись с Леней на улице, очень оживленно допытывался у него, чем именно он занят в Академии. Леня отвечал ему и охотно и обстоятельно, и когда Таня вышла из магазина с покупками, Даутов обратился к ней ликующе:

— Ну и муженек же у вас, Таня! Ну и молодчинище он у вас, что и можно было предвидеть еще в семнадца-

том году,— и прошу не принимать этого за шутку! Я искренне рад за вас, Таня, вполне искренне! И он, мало того, что талантливый,— он еще и очень хороший человек, с чем вас и поздравляю!.. Очень хороший, повторяю, человек, что случается далеко не со всеми талантами, к великому и общему сожалению.

3

Они говорили всю дорогу, перебивая друг друга воспоминаниями. Перед Даутовым была теперь та маленькая Таня, которая называла его малахитовую лягушку неизменно «роскошной», и он рассказывал, как строил тоннели для ее поездов из ягод шиповника, и как иногда устраивал крушения этих поездов, и вообще все, что можно было вспомнить.

— Однако какая у вас хорошая память,—заметил Леня.

—Да-а... она и в студенческие годы была у меня хорошая, и мне самому это странно, что мне повезло сохранить ее. Было дело — однажды чуть не отшибли. Больше часу лежал без сознания. Вот видите — даже остался знак этого эксперимента.

И Даутов показал шрам на голове.

— Помню,— вдруг вскрикнула Таня.— Помню, вы показывали этот шрам маме!

— Вот, кстати, договорились до вашей мамы, Таня... Она... где же сейчас? Она ведь была учительницей. Прозрачная такая. Бывало там, в Крыму, хоть на солнце сквозь нее смотри! Она живет с вами здесь?

Таня давно ждала этого вопроса, но когда он спросил, у нее как-то необычно для нее самой дернулось сердце.

— Нет, она осталась жить там же, где тогда вы жили, в Крыму... Там и я жила, пока не окончила среднюю школу.

— А-а... Да, там хорошо, в Крыму... Хорошо.

И сказав это, такое ничего не значащее, Даутов тут же обратился к Лене с каким-то вопросом, которого даже не расслышала Таня, так как думала в это время, что же она напишет матери, которая всего лишь неделю тому назад писала ей, что она, кажется, при смерти, что ей очень плохо...

Даже страшно вдруг стало Тане: ведь письмо писалось неделю назад, она получила его всего лишь за день перед этим и еще не решила, что ей делать, только послала телеграмму матери: «Горячо верю, что тебе лучше. Пожалуйста, телеграфируй это». И действительно, в этот же день к вечеру получила ответную телеграмму: «Мне стало несколько легче...» Когда она встретила Даутова в трамвае, у нее все время сверкали в мозгу слова телеграммы, какую она пошлет теперь: «Мама, спешу тебя обрадовать: я нашла Даутова». Теперь эти слова хотя и оставались в ней по-прежнему, но... они уже перестали сверкать.

И как-то сразу вслед за этим как бы какая-то мишура, позолота слетела с лица Даутова в ее глазах; точно повторилось то самое, что случилось уже с нею там, в Крыму: тот, кого она приняла там за Даутова и привела к матери, оказался совсем не Даутов, а Патута!

И так же точно, как огорченно удивилась тогда ее ошибке мать, готова была разочарованно удивиться Таня, но в это время из другой комнаты вошла Прасковья Андреевна, ведя за ручонку маленькую Галю, и Даутов вскрикнул вдруг совершенно непосредственно радостно:

— Это ваша дочка? Вот! Вот она — крымчанка! Таня!

Даутов ни к кому не обращался при этом и ни на кого больше не глядел — только на Галю и к ней протянул руки, показавшиеся Тане очень почему-то длинными, но такими именно, какими она видела их в своем младенчестве.

А Галя без всякой робости перед новым человеком подала ему свою совсем крохотную ручонку и сказала привычно:

— Здрасте!

— Таня! — пораженно вскрикнул Даутов, притягивая ее всю к себе, а Галя совсем по-тогдашнему, Таниному, со вздохом отозвалась на это:

— Нет, я не Таня, я — Галя.

И только после этого уселась на колени гостя и внимательными, как у своей матери, глазами начала разглядывать чужого для себя человека так, как будто в нем не было решительно ничего чужого.

И Даутов нисколько не удивился бы теперь, если бы она вдруг спросила, как когда-то Таня:

— Посюшьте, сюшьте,— а где ваша лягушка?

Ему даже представилось, что эта лягушка из малахита сейчас лежит у него в кармане, и он ее вынимает, показывает этой Гале, а она вертит ее в ручонках и говорит по-Таниному восхищенно:

— Ах, какая роскошная!

А так как он прислонил щеку к головке Гали, то вспомнил, как говорила мать Тани о своей маленькой дочке: «И так от нее детишкой пахнет!»

Детишкой, точь-в-точь как тогда от маленькой Тани, пахло теперь и от Гали,— жизнь как бы сделала законченный круг.

— Постой-ка, брат ты мой,— обратился к девочке Даутов, а она отозвалась на это деловито:

— Я не брат, я Галя.

— Так, значит, Галя. А ты знаешь ли, что у тебя за имя такое? — Только ее одну видя в комнате, обратился к ней, осерьезив лицо, Даутов.— Галина, это значит — курица, а ты, выходит, цыпленок!

Но, посмотрев на него хотя и снизу вверх, однако тоже вполне серьезно и не забыв при этом вздохнуть, ответила Галя:

— Нет, я не цыпленок, я Галя.

— Какова, а? — теперь уже Тане кивнул на нее Даутов.— Это уж называется не создать, а воссоздать! И несколько раз потом переводил он изумленные глаза с Гали на ее мать и с Тани на ее дочку, так что Таня сказала наконец:

— Это все говорят, что она очень на меня похожа... Да и как же могло быть иначе?

И сама отметила про себя, что возникшее было в ней чувство неприязни к Даутову за то, что он как будто совсем уже забыл ее мать, теперь совершенно заслонилось другим. Она вдруг очень отчетливо вспомнила, как носил на руках ее там, в Крыму, на морском пляже, вот этот самый Даутов, и она показывала ему на птицу с острой черной головкой и спрашивала: «Это какая?»

Как будто именно теперь прояснилось в Тане то, что все время таилось, скрывалось в ней, не заявляло о себе: не только для того, чтобы выполнить слово, данное ею матери, но и для себя самой хотелось ей найти Даутова.

Она вспомнила и то, как вот этот самый человек, казавшийся ей тогда чрезвычайно высоким, спрашивал ее о городах Крыма, и как она показывала их ему на карте, и как он хвалил тогда ее за эти знания и поднимал на вытянутых руках несколько раз к потолку комнаты так, что она становилась куда выше его.

— Вижу, вижу, что наша Галочка вам понравилась! — сказал Леня, улыбаясь так широко, что и глаз не было видно.

— Вылитая Таня в эти годы! — И Даутов имел даже как будто ошеломленный вид, когда говорил это.— Ведь мы с вашей Таней были большие друзья когда-то,— так, Таня?

И Таня развела руками совсем так, как делала это в детстве, и подтвердила, глядя на мужа:

— К изумлению моему, я только сейчас вот вспомнила об этом... Это действительно так и было... Я даже одна приходила к вам на дачу, где вы жили...

— И говорила прямо от дверей: «Посюшьте, я к вам в гости!» — поспешно, как бы боясь, что она не все вспомнит, досказал за нее Даутов.

И все трое рассмеялись весело, и Галочка, посмотрев поочередно на них, засмеялась тоже и захлопала в ладошки. Только одна няня ее, подчиняясь, видимо, каким-то своим правилам заботы о ребенке и сохраняя строгое выражение лица, властно сняла Галю с колен гостя и понесла ее на руках в комнату, из которой вышла.

И отвечая на недоуменный вопрос в глазах Даутова, Таня сказала ему:

— Полагается детям такого возраста спать среди дня: няня пошла укладывать Галочку.

— У меня люди путаются как-то в памяти,—говорил за чаем Леня Даутову,— слишком много за последнее время я вижу всяких людей, но мне кажется почему-то, что именно о вас, а не о ком другом говорил мне Вердеревский, будто вы перед революцией были на каторге.

— Был, действительно был...— кивнул головой Даутов.

— Ты слышишь, Таня? Оказался твой старый друг ни больше, ни меньше, как бывший каторжник!

— За политику, конечно? — спросила Таня.

— Да, за что же еще... За братание на фронте в шестнадцатом году, в апреле... Пасха тогда пришлась в

апреле, окопы же были близко — наши от австрийских,— вот и выходили из них партиями брататься, как это тогда называлось.

— Позвольте, как же так «на фронте», когда вы... Разве вас мобилизовали тогда в армию? — удивился Леня.

— В том-то и дело, что хотя я и был в ссылке в сибирском одном селе, все-таки мобилизовали с маршевой командой — пожалуйте, инженер «политический», непосредственно под пули: уцелеешь,— от нас не уйдешь, а убьют,— туда и дорога, да еще и за честь сочти: за царя убит. Братанье на фронте — ведь это чья была идея? Самого Ленина! Как же мне, тогда уж большевику, имевшему уже партийную кличку Даутов, ее не проводить? Тем более что я, хотя и солдат простой, мог понимать австрийцев и они меня понимали: немецкий язык я тогда лучше знал, чем теперь. Ведь моя настоящая фамилия — Матийцев... Да... Так вот — сходились мы, солдаты двух враждебных армий, на глазах у своего начальства для видимости, не за тем только, чтобы друг друга с праздником Пасхи поздравить, крашеными яичками обменяться, а на самом деле сговаривались, чтобы штыки воткнуть в землю и войне чтобы капут. Я же лично добавлял еще и другое: штыки не в землю, а против своего начальства и своих господ в тылу. Кончилась эта пропаганда моя тем, что меня вместе с несколькими другими судили военным судом. Только потому, что прямых улик против меня не было, конечно, никаких листовок австрийцам я не раздавал, на суде держался спокойно, генерала, председателя суда, не агитировал, так как это было бы глупо,— закатали меня только на каторгу на тринадцать лет...

— На тринадцать лет! — испуганно повторила Таня, но Даутов улыбнулся ей весело:

— Если бы расстрел, то было бы еще хуже, да не лучше было бы, если бы через неделю после братания убил бы меня кто-нибудь из тех, с кем я братался, да и убил бы так, что не видел бы меня, как и я его. А на каторге мне, как вам известно, недолго пришлось пробыть,— ведь летом семнадцатого я уже имел удовольствие гулять с вами и с вашей мамой по крымскому пляжу... А в гражданскую войну в Красной Армии я,

бывший рядовой и бывший каторжник, полком командовал.

— Это когда мы с мамой видели вас в Запорожье?— вспомнила все время не отрывавшая от него глаз Таня.

— Та-ак!..— протянул Матийцев.— Теперь я убедился, что действительно рисковал тогда жизнью!.. Хорошо, значит, я сделал, что не усомнился тогда, вы ли это с мамой, или не вы, а сразу решил: вы! Поэтому и повернулся к вам спиною, когда подошел к кучке белых там, на бульваре. Что мне нужно было, у них узнал, как свой им брат, с золотыми погонами, и с возможной поспешностью удалился, а на вас даже не оглянулся... И должен признаться вам теперь, что я узнал вас, Таня,— вы были тогда отлично освещены фонарем... Оцените же мое самообладание, что я хоть и удивился и очень обрадовался, признаюсь вам в этом: самым настоящим образом обрадовался!.. Но вида не подал и даже на вас не оглянулся. Однако должен вам сказать, что всю мою удачу тогда приписал вам, Таня!

— Почему мне? — захотела узнать она.

— Почему вам, это я объясняю подъемом, какой тогда чувствовал. Карточные игроки знают, что такое подобный подъем. Когда такой подъем, то везет — иначе этого самого везения ничем и объяснить нельзя. Мне ведь надо же было войти в роль белого штабс-капитана, и я отлично вошел в эту роль, благодаря именно этому подъему. Мне показалось тогда, что вы меня узнали.

— Мы с мамой вас и узнали! — подхватила Таня.

— Вот! И я пошел ва-банк, чтобы как можно скорее сделать свое дело... И сделал!

— В армию Фрунзе в двадцатом году я не попал, так что ваш Крым он взял без моей помощи,— обращаясь к Тане, продолжал Матийцев.— Я же в это время оставался на Украине, как и прежде, и тут я, конечно, понавидался всякого... В Александровске была наша встреча, к моему счастью безмолвная, около этого самого Александровска тогдашнего мне пришлось провести почти год, год очень для меня памятный. Я отлично помню, как ваша мама, Таня, спрашивала меня: «Неужели сможете вы проливать чужую кровь?»

— Она вас так и спросила?— удивилась Таня.

— Да... Если не точно такими словами, то именно так по смыслу. Ей самое это выражение «пролить кровь» казалось непереносимо страшным. Ведь она была учительницей, притом же слабого очень здоровья... Да, случалось,— отвечу я на этот вопрос уже вам, Таня: иначе нельзя было, ведь шла война, и война необыкновенная, жестокая... И то еще надо иметь в виду, что империалистическая война и не была и никак не могла быть народной войной, а уж от гражданской войны этого не отымете: гражданская была войной народной во всех смыслах и прежде всего потому, что народ знал, за что он ее ведет и против кого именно.

— Люди терпели уж очень долго насилье и всякий гнет, а когда пришло время их мести,— народной мести,— это имейте в виду,— подчеркнул Матийцев,— решили поставить своего бога лицом к стене, чтобы он их не видел, да и они чтоб о нем забыли, потому что от этого бога через своих попов они только и слышали, что терпи да терпи. Вы, Таня, представьте себе раба, бесправного, забитого горем и вечной нуждой, трудом непосильным, над которым все издевались, все его травили, а он даже роптать и жаловаться не смел. Кому жаловаться? Своим угнетателям? И вдруг, представьте, увидел себя этот человек здоровым, могучим и сильным хозяином на земле. И ринулся этот исполин мстить своим вековым врагам!.. Как вы полагаете, стал ли бы очень он церемониться с ними? Подбегал ли бы к ним вежливо и с поклоном до земли? Нет, разумеется, он бы этого не сделал,— мстить так мстить! А законна ли была бы такая месть? Да, вполне законна! Если задача была в том, чтобы на месте старых закопченных хибарок построить дворцы для людей труда, то прежде всего что нужно было сделать? Конечно, хибарки эти снести, очистить от них места.

Я — человек по натуре мягкий... Я не способен был бы на роль народного вожака, но моя задача была стихийному движению масс придать характер идейный, упорядочить его, направить к ясной для нас, большевиков, цели. Я вел политическую агитационную работу. И кроме того, шахты, заводы — мне, горному инженеру, не могло же быть безразлично, в каком они состоянии, пусть даже работа в них и не производилась в то время, когда рабочие были в Красной Армии, а бывших хозя-

ев,— иностранцев всяких,— и след простыл. Положение было более чем трудное. О государстве, как о целом организме, кто же тогда думал, как не наша партия. И ведь в те времена куда ни ткнешься — то видишь разброд, распад, разруху.

Рассказывал Даутов как-то неохотно, лично о себе говорить избегал, на что Таня заметила:

— Но ведь вы же красным полком командовали, в боях участвовали. Наверно, очень трудно было и опасно? Вы скромничаете.

— Что же я о себе могу сказать? Каких-нибудь особых громких дел я ведь не делал: военных талантов у меня не было. Ведение войны, стратегия — это особая специальность, а в нашем с вами горном деле на нее внимания не обращалось. Иметь дело с шахтерами — это одно, а иметь дело с солдатами — совсем другое, в чем я убедился на личном опыте. Я что делал,— вы хотите знать? Исполнял приказы выше меня стоящих, ранен был только два раза, обе раны пулевые навылет и отнесены к разряду легких. Вот вкратце и все, что я могу о себе сказать. А если бы начал я вспоминать все по порядку, что мне тогда пришлось видеть, слышать, испытывать и делать, то сколько же дней подряд должен я заниматься этим делом? Если бы вы спросили о другом, о том, например, каких замечательных людей мне приходилось встречать за мою действительно богатую всякими переплетами жизнь, то тут я мог бы несколько вспомнить. И раскрывались вдруг они, как цветы солнечным восходом, при обстоятельствах иногда трагичных, а потом исчезали... Вот что было обиднее всего — вдруг покажутся, блеснут очень ярко и так же неожиданно исчезнут и притом навсегда исчезнут.

— Вот и вы так у нас в Крыму,— подхватила Таня,— блеснули перед нами с мамой и исчезли. А я ведь вас искала однажды целый день и, представьте мое огорчение,— приняла за вас кого-то другого и привела к маме: как тогда плакала мама из-за того, что я ошиблась! — И совершенно неожиданно для самой Тани при этих словах на глаза ее набежали такие крупные слезы, что не удержались там, а скатились по ее щекам.

— Плакала из-за того, что обозналась? — повторил растроганный слезами Тани, но опустил глаза, как бы

делая вид, что их не замечает, Матийцев. Между тем, по этим, Таниным слезам он только хотел как можно ярче представить хрупкую учительницу, ее мать. Таня же, поняв, что он нарочно опустил глаза, чтобы не заметить, как она вытрет слезы, не решалась их вытирать. Она вспомнила страшные слова письма: «Мне очень плохо, я, кажется, при смерти», и новые слезы вслед за первыми появлялись и скатывались по щекам, и она не вытирала их, так как не могла удержать.

— Знаете ли, Таня, вот что давайте сделаем,— оживленно заговорил Матийцев, подняв глаза: — Давайте пошлем вашей маме телеграмму сейчас же, что я вот сижу у вас в квартире, а? Молнию, чтобы сегодня дошла.

— Телеграмму, да,— это хорошо,— пристукнув ладонью по столу, отозвался на это Леня, а Таня поднялась и мокрыми губами поцеловала Матийцева в щеку. Не больше как через минуту он уже писал на подсунутой ему Леней четвертушке бумаги: «Сижу у вашей чудесной Тани, вспоминаю вас, поправляйтесь как можно скорее. Даутов».

А минут через пять няня Гали выходила отнести эту телеграмму на почту.

4

— А вы что же, и сейчас работаете все там же, где я с вами познакомился? — спросил Леня, чтобы отвлечь Таню от мыслей о матери.

— Познакомился так неудачно, вы хотите сказать,— поправил его Матийцев, улыбаясь.— Нет, я уже не там теперь, и вам со мною в ближайшее, по крайней мере, время не придется иметь дело. Я теперь занят тем, чем давно уже болел душой,— бытом шахтеров, перевожу их из трущоб, где они жили, в новые большие дома. Однажды... до революции, это было как-то во сне, я видел целую улицу подобных домов, а теперь вот я сам ведаю их постройкой. Представьте только, там, где была улица гнетущих лачужек,— ее даже и улицей нельзя было называть! — там теперь действительно улица из четырехэтажных домов, причем один из этих домов называется «Дом культуры», и современный могучий бас вроде Шаляпина может петь там в огромном

концертном зале для шахтеров. В этом же зале читаются лекции, могут ставиться спектакли. В том же Доме культуры и кино и библиотека. В нижнем этаже столовая для рабочих.

— И когда же это все сделано? — спросил Леня.

— А вот за последние три года,— сияя ответил Матийцев,— где был поселок, который рос не от земли кверху, а больше в землю, в звериные норы, там и теперь почти уже город, а будет настоящий город,— благоустроенный и даже большой... И где не было воды, чтобы шахтеры могли отмыть лицо от угольной пыли, там теперь работает водопровод и воды для всех сколько угодно. И ведь это только начало... Вы теперь не ездите, как я вижу, на аварии, вы заняты научным лабораторным трудом, и Донбасса сейчас уже вы, пожалуй, не узнаете.

— Я не так уже оторвался от Донбасса, как вы говорите,— несколько обиделся Леня,— наконец, приходилось же мне и читать и слышать.

— Но вы не представляете себе всего в целом,— перебил Матийцев.— Я приехал сюда в связи с этими самыми новостройками. Темпы взяты геройские, и вот вы сами увидите, во что превратятся знакомые вам Юзовки, Макеевки, Горловки и прочие даже лет через пять. А через десять? Через пятнадцать? Ого!

В то время, когда Матийцев говорил это, Таня была в спальне, откуда подала голос ей проснувшаяся Галя. Теперь, когда няня еще не вернулась, а оставлять Галю одну в спальне было нельзя, Таня вышла с дочкой на руках, и к ней оживленно обратился Леня:

— Слыхала, Таня, оказывается, на месте лачуг в Донбассе, где ты начинала свою научную деятельность и откуда сбежала, возник Дворец культуры,— четырехэтажный и с концертным залом!

— Что ты! Откуда ты взял? — приняла это за шутку Таня.

— Да вот, Александр Петрович рассказывает.

— Где это в бараке начинали вы научную деятельность, Таня? — полюбопытствовал Матийцев.

— А вы ему верьте! Просто была лаборантка. Но вот Дворец культуры уж там? Это в самом деле?

— Не точь-в-точь там, так в другом месте, поблизо-

сти,— не все ли равно тебе? — засмеялся, по-своему делая узкие щелки из глаз, Леня.

— Важно то, что Галя наша теперь...

— Если будет лаборанткой в Донбассе, когда вырастет,— подхватил Матийцев,— найдет для себя пристанище не в дощатом бараке, а в основательном кирпичном доме. Да и работенка для нее там найдется: каменно-угольный пласт по последним известиям тянется, оказалось, на запад, до Павлограда, вы, конечно, знаете это, Леонид Михайлович?

— Разве только до Павлограда? — вскинулся Леня.— У нас говорят, что почти до Днепра, так что скоро, должно быть, не Донбасс уже будет, а Днепродонбасс!

— Возможно! Вполне возможно! А рядом Криворожье с железом, Никополь с марганцем,— вот это будет знай наших! — воодушевился Матийцев и снова протянул руки к Гале и усадил ее к себе на колени, а когда услышал от нее свое же:

— Вот это будет,— знай наших! — приложился щекой к ее голове и проговорил проникновенно:

— Быть, быть тебе лаборанткой в Днепродонбассе!

— Однажды меня судили,— заговорил Матийцев, когда вернулась уже няня и взяла Галю.— Это давно было, еще до войны,— судили в первый раз в моей молодой еще жизни. Тогда в первый раз узнал я, что такое прокурор был в старом царском суде, а до того не имел о нем ясного понятия. И вот тогда же в первый раз я увидел энтузиаста революции, большевика, хотя ему было всего-то не больше семнадцати лет. Он был ссыльный, но бежал из ссылки и жил как птица небесная. Я и виделся-то с ним недолго, и прошло с того времени,— ведь перед войной это было,— лет, должно быть, восемнадцать, а все-таки отчетливо я его помню. Погиб, должно быть, от пули, от тифа, от голода,— мало ли от чего можно было исчезнуть с лица земли в такие годы. А вот из памяти моей не исчез... Иногда вспомню его, и больно станет... Нет, скверная штука бывает иногда — память. А сейчас я его вспомнил, глядя вот на вас, Таня: он тоже был, как мне говорил, из Крыма,— ваш земляк, значит; Колей звали. Отец его был там военным врачом,— так он мне говорил. Ведь это он

меня, инженера Матийцева, сделал революционером Даутовым. Он мне и фамилию эту придумал, и паспорт на имя Даутова достал. Помню, я тогда спросил его: «Что же это за фамилия такая, Даутов? Дагестанская или осетинская?» — «Э-э, чья бы ни была»,— сказал Коля. «Я потому это спрашиваю,— говорю,— что, кроме как на русском и не бойко на немецком, ни на каком языке не говорю... Даже во французском слаб, а не только в каких-то дагестанских, осетинских».— «Ах, вот вы о чем,— улыбнулся Коля.— Нет, этот Даутов говорит только по-русски. Да ведь и Даутов, что же в этой фамилии дагестанского? Оканчивается на «ов», как Иванов и Петров. Нет, это фамилия надежная. В партию большевиков входить вам неминуемо. Ведь не думаете же вы, что вас оставят инженером на вашей шахте после вашей защитительной речи шахтеру Божку. Наивность! Вас, разумеется, турнут... Словом, должен я вам сказать, что сегодня вы на вашей инженерской карьере поставили крест, и это очень хорошо вы сделали!» Вот так было дело.

Матийцев с минуту помолчал, глядя куда-то мимо Тани, и затем сказал с теплотой душевной:

— Эх, Коля, Коля! Коля Худолей!.. Какой был парень,— кремень! Гимназист, юноша был, а как глубоко понял жизнь! И как ясно разглядел свою в ней, в этой жизни, дорогу — вот что меня в нем удивило.

— Худолей?.. Николай Иванович, может быть? Вы не помните его отчества?

— И помнить не могу, так как он не сказал. А что? Вот вы сказали — Николай Худолей. Разве вы знали такого?

— Николай... Иванович, кажется... Ну да, Иванович. Такого я видел... то есть даже у него на приеме был. Но, может быть, однофамилец?.. И вы ведь говорили, он гимназист был в тринадцатом году, а этот... Тому, значит, сколько же может быть, по-вашему, лет... лет тридцать с чем-то...

— Да, тридцать... с небольшим...

— Ну, а этот уже седой, голова седая... Лицо, пожалуй, моложавое еще, а голова совершенно седая...

— Худолей в Москве? — радостно изумился Матийцев.

— Да ведь, может быть, это не ваш, а какой-нибудь однофамилец,— махнул в его сторону кистью руки Леня.

— Или родственник,— добавила Таня.

— Кабы родственник,— оживился Матийцев.— Через родственника и самого-то Колю отыскать можно бы.

— Попытка, конечно, не пытка,— согласился Леня.— Служебный телефон у этого Худолея, разумеется, есть,— если он только остался в Москве,— в абонентной книге найти можно, только в учреждениях теперь кого же найдешь? Впрочем, может быть, есть и домашний.

— Давайте искать,— поднялся Матийцев.— Кстати, ведь имя и отчество в абонентной книге должны быть,— хотя бы инициалы.

— Посмотрим,— равнодушно сказал Леня. Телефон в квартире Лени стоял на столе в передней, а толстая в желтом переплете книга абонентов висела на стене над ним. Матийцев энергично принялся листать книгу. Наконец, торжественно оповестил:

— Ну вот, видите, Леонид Михайлович, видите, есть! Есть Худолей Эн И!

— Вполне может быть, конечно, что и племянник, и дядя — оба Николаи, но может быть дядя и Никодим, и Никандр, и Никанор, и даже Никтопилион, наконец,— старался держаться полного беспристрастия Леня, но Матийцев уже взялся за трубку, набрал номер телефона не служебного, а домашнего.

Сочтя неудобным для себя слушать разговор Матийцева с Худолеем, Леня плотно притворил дверь и ушел из передней и только тут, оставшись с глазу на глаз с Таней, обнял ее и сказал:

— Повезло-таки тебе найти своего Даутова.

— Вечером мама получит от него телеграмму,— отозвалась на это Таня и, подняв на мужа глаза, добавила: — Если только не будет уже поздно...

Леня понял ее и сказал:

— Молния,— значит, через какой-нибудь час получит.

Таня прижалась головой к его локтю и прошелестела, как бы извиняясь перед матерью:

— Давно бы я могла его найти, если бы знала, что он теперь уже не Даутов!

А в это время из передней доносился до них даже через дверь голос Матийцева, излишне громкий:

— Ну вот, ну вот, а мне тут сказали, что вы старичок, седенький, лет за пятьдесят.

Леня прислушался и тихо заметил:

— Кажется, случилась сегодня еще одна находка. Ты слышишь, Таня, Александр Петрович уже говорит ему свой адрес и номер телефона.

Минуты через две Матийцев вышел к ним с яркими глазами на улыбающемся во всю ширь лице.

— Вот видите, как все иногда просто бывает в жизни. Оказалось, ваш Худолей и есть тот самый Коля, гимназист, мой крестный отец, и меня хоть и не сразу, все-таки припомнил, и лет ему столько, сколько быть должно — тридцать пять, а поседел он еще во время гражданской войны. Значит, пришлось побывать в переплетах жизни.— И, уже переменив тон, оживленно предложил: — Вот что, друзья мои: завтра — воскресенье, значит, выходной. Придет ко мне в гостиницу он, Николай Иванович, приходите-ка и вы оба, а? У меня и пообедаем все вместе. Идет?

Таня поглядела на него пытливо, вспомнит ли он теперь, собираясь уходить от них, о той, кому послал телеграмму, и ей сразу показалось неоспоримо добрым знаком, когда он, точно поняв ее взгляд, добавил:

— Кстати, вы мне, Таня, покажете ответную телеграмму вашей мамы.

«А если телеграммы никакой не будет»,— подумала Таня, но сказала оживленно и радостно, обращаясь к Лене:

— Пойдем, а?

— Ну что ж, еще раз встретимся с Худолеем,— согласился Леня, и только после этого Таня с большой верой в свои слова сказала Матийцеву:

— И телеграмму от мамы непременно вам принесу!

Однако после ухода Матийцева ей стало как-то тоскливо, она убрала со стола, помогая няне; испуганно перекладывала потом книги на этажерке, пытаясь отвлечься; возилась с Галей и ее куклой, а какое-то ревнивое чувство рисовало перед ней лицо Матийцева там, на улице, когда она сказала ему, кто она такая, и то же лицо, каким она видела его только что, когда нашелся этот самый Худолей. Как сияло теперь это лицо! Гораздо, гораздо больше было в нем радости,— так решила про себя Таня, и это казалось ей горькой обидой,—

не за себя, за мать. Еще утром в этот день они с Леней наметили в семь часов вечера идти в театр на новый спектакль, но не пошли: тревога Тани передалась и Лене. Около одиннадцати они уже укладывались спать, но тут раздался звонок у двери.

— Что? — спросила с замиранием сердца Таня.

— Телеграмма Слесаревой,— ответили ей за дверью, и Таня поняла, что это ей от матери,— значит, она жива. В телеграмме было всего несколько слов, но каких слов!

«Милая Таня, ты сделала меня счастливой, здоровой. Передай мой сердечный привет товарищу Даутову».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Удача, как говорится, окрыляет. Если бы Таня не боялась разбудить свою маленькую дочку, она кружилась бы по комнатам. Долго не могла она уснуть, но встала утром деятельной и веселой.

— Вот так день оказался вчера! — говорила она няне.— То шли себе дни один за другим, как им полагается, и ничего особенного не случалось, а то вдруг сразу две находки.

— Оторвите вчерашнее число да спрячьте на память,— посоветовала няня, кивнув на стенной календарь.

— И правда ведь! Как же это я! — вскрикнула Таня; проворно оторвала листок с числом, прочитала все, что на нем было написано (о происхождении жизни на земле от угольной кислоты), и спрятала в свой письменный стол, который был значительно меньших размеров, чем стол Лени, обычно заваленный книгами так, что на нем и чернильницу трудно было найти. (Впрочем, Леня всегда говорил, что у него на столе строжайший порядок, и очень боялся, чтобы няня с Галей не завели на его столе порядок свой.)

Даже и пыль с книг он стирал няниной тряпкой сам. У него был набор слесарных инструментов, и рядом со столом стоял станок, и за починку каждой машины в доме, включая сюда и пишущую, всегда брался он сам, правил сам и свою бритву, не доверяя этого тонко-

го дела никакому точильщику. Уже в первом часу дня, что показалось Лене чересчур рано, позвонил Матийцев, сказал, что ждет их. А Тане не терпелось показать ему ответную телеграмму, и она сказала тут же:

— Ну что ж, пройдем до гостиницы пешочком, да от нас и недалеко,— не стоит лезть в трамвай.

И хотя Леня, занятый какими-то подсчетами, ничего не ответил ей, тотчас же начала одеваться. День выдался солнечный, тихий и не очень морозный: большой термометр на стене дома показывал всего шесть градусов. Леня не мог не делать больших шагов, и Таня, как всегда при таких обстоятельствах, удерживала его за рукав и спрашивала:

— Куда же ты несешься так? Дай ответ!

На что Леня отвечал:

— Иду, как, говорят, в начале этого века москвичи ходили, а ты «мчишься»!

Возбуждение не покидало Таню, и все на улице, которая вела их к гостинице,— от домов, блестевших на солнце, до лиц всех решительно встречных,— казалось ей радостным. Суетливо, точно в вагон трамвая, входила она в лифт, чтобы подняться на седьмой этаж. Но искать комнату Матийцева им не пришлось: Александр Петрович ожидал их у полуоткрытой входной двери.

— Вот телеграмма мамы. Вам сердечный привет! — сразу сообщила Таня и на слове «сердечный» сделала такое ударение, как будто это было совершенно исключительное по редкости слово, и в то же время как бы прижалась глазами вплотную к лицу Матийцева, стараясь не пропустить ни одной самой малейшей черточки его выражения.

— Очень хорошо, я очень рад, очень,— бормотал вполголоса Матийцев, перечитывая телеграмму.

— А болезнь вашей мамы, это, должно быть, была просто усталость, а? И кроме того, ведь она все время одна там, хотя и в Крыму... где теперь и снегу-то никакого нет...

И неподдельную теплоту в лице Матийцева и непритворную участливость в его словах увидела и вобрала в себя Таня, и радостно было ей чувствовать его заботу и о ней, когда он снимал с нее шубку и устраивал ее на вешалке. Но гораздо больше этого обрадовало ее то, что он телеграмму не возвратил ей, а спрятал в карман

пиджака. Сделал ли он так по забывчивости, машинально, или сознательно, так как это был ответ на его молнию, Таня не думала об этом: она тут же решила, что иначе он бы и сделать не мог: верни ей этот серенький листочек, он обидел бы и ее и маму.

Комната, которую занимал Матийцев, была просторная, и светло в ней было от огромного окна, как на улице.

— Прекрасная комната,— сказал Леня, оглядывая глазами строителя стены, и потолок, и паркетный пол новой гостиницы.— Тут у вас ведь должна быть и ванная?

— Есть, есть, а как же! Вот вам и ванная, и, когда угодно, есть горячая вода,— Матийцев отворил дверь в ванную и добавил: — Конечно, таких удобств мы пока еще не можем предоставить своим шахтерам, но со временем... со временем в квартире каждого шахтера ванная будет непременно!

— А в квартирах учителей и учительниц? — спросила Таня.

— Ну, а то как же иначе? Конечно,— с полной готовностью ответил Матийцев и добавил вдруг:

— Тяжелый труд — учительство, очень тяжелый.

— Всегда был тяжелый,— вспомнив своего отца, учителя рисования, сказал Леня.— Мне самому пришлось видеть как-то: показывали в школе в выходной день кинокартину, а меня — я был там проездом — директор школы просил рассказать школьникам о наших достижениях в области добычи угля, выплавки чугуна и стали. Захожу в школу эту я с легким сердцем,— как раз там кончился в это время просмотр первой серии какой-то картины, а в перерыве между первой серией и второй должен был выступить я. Но только что я сказал всего два-три слова, как вдруг очень отчетливо и согласованно все эти школьники и школьницы: «Не на-до!» Я их спрашиваю: «Что такое?» А они еще согласованней: «Не на-до!» Что же с ними прикажете делать, когда у них так здорово получилось это «Не на-до»? Махнул я рукою и ушел.

— Трудная вещь педагогика!— согласился с Леней Матийцев.— Но надо признаться, что дети не любят сухости, этакого научного глубокомыслия. Возраст — ничего не поделаешь. Давайте-ка лучше выберем,— вот меню,— что нам заказать на обед. Что-то Худолей наш

запаздывает. Старые вкусы я его помню: это черный хлеб из лавочки и копченая колбаса, которая гораздо суше всякой лекции, а вот какие вкусы у него теперь...

— Какие вкусы у Худолея теперь, это он сам сейчас скажет! — раздался очень бодрый голос позади их троих, склонившихся спинами к двери над лежавшим на столе меню. И все, обернувшись, увидели неслышно вошедшего в полуоткрытую дверь невысокого человека в теплом пальто, снявшего уже шапку с голубой головы, а за ним еще в дверях виднелась такая же невысокая женщина в меховой шапочке в виде берета, и женщина, как показалось Лене и Тане, очень похожа была на голубоголового Худолея.

— Здравствуйте, очень рад вас видеть! — говорил Матийцеву Худолей.

— Коля! Вот встреча! Коля! Уже и поседеть успел,— возбужденно вскрикивал Матийцев, обнимая как-то сразу его всего руками, показавшимися очень длинными Тане, тихонько отступившей на шаг и потянувшей к себе Леню, чтоб не мешать.

Однако Матийцев не счел удобным слишком долго держать Худолея в своих объятиях.

— Вот знакомьтесь, если его не помните,— кивнул он на Леню.— Это он вчера сказал мне, что вы седенький старичок.

В это время подошла женщина, пришедшая с Худолеем, и Николай Иванович представил ее:

— Это моя сестра Елена Ивановна. Врач. В Москве работает. Психиатр.

2

Обращаясь к сестре потом во время обеда, Худолей называл ее Елей, а она его Колей. И всем троим другим за столом ясно было, что большего сходства между братом и сестрой трудно было найти, особенно похожи были глаза их, хотя у брата они казались живее и ярче, так как часто загоралась в них та или другая мысль, настойчиво требовавшая, чтобы ее тут же вылили в слова.

Глаза же его сестры имели способность к долгому и явно оценивавшему взгляду. Таня так и решила про себя, что много людей пришлось видеть этим глазам

и они отвыкли уже чему бы то ни было удивляться, от чего бы то ни было приходить в восторг. Сестра казалась моложе брата, но не больше чем года на два. Движения ее рук были вялы, как у тех, кто устал и отдыхает вполне законно. Ее темные волосы были скромно, гладко причесаны на прямой пробор. Тонкими лучиками от глаз к вискам разбегались морщинки; губы были небольшие, полные и какие-то преувеличенно спокойные.

Матийцев, пристально изучая Худолея, вдруг сказал, кивая на его седую шевелюру:

— Где же это вас так «убелило», дорогой мой Николай Иванович?

— Это память о том, как я из когтей смерти вырвался. Давняя история,— ответил Худолей.

— Любопытно, однако,— сказал Матийцев.

Худолей почувствовал, что от него ждут рассказа, и он начал с неторопливым спокойствием:

— Дело это было в Сарепте,— есть такой городок на Нижней Волге,— там меня и еще троих вместе со мной захватили белые на квартире ночью. Городишко этот, знать, горчичный: горчицей там занимались,— вот он и огорчил нас. Огорчил так, что дальше уж некуда: из контрразведки, как говорилось тогда,— прямым сообщением на тот свет. Но так как нас шло туда под конвоем четверо, то пытались мы, конечно, один другого подбадривать. Главное же, надеялись мы вот на что: по нашим сведениям, начальником контрразведки был не кто иной, как родной брат одного из нас,— товарища Скворцова, только наш Скворцов — простой рабочий, еле читать умел, а тот, по его словам, получил образование, не иначе как юнкерское училище закончил или школу прапорщиков во время войны. Идем мы, смертники, и говорим вполголоса друг другу: «Авось обернется как-нибудь это для нас, а?» — «Авось!» С этим «авось» и явились мы пред грозные очи Скворцова-второго. «Очи» эти я забыть не могу до самой смерти: белесые, как из стекла... Губы стиснуты, а на скулах желваки. Зверь! Допрос начался именно со Скворцова. «Как фамилия? Мер-за-вец!» Наш спокойно ему: «Фамилия моя Скворцов, а имя — Степан...» И добавляет: «Аль не узнал, Саша?» А тот, видим мы, действительно его не узнал, давно, значит, не виделись братья. «Как так Степан?» «Так и Степан»,— говорит наш. «Как же ты к этой

сволочи попал?» — кричит тот. А наш ему вполне спокойно: «Я-то пошел по своей рабочей линии, а вот ты-то действительно к сволочи попал: образование тебя погубило!» Так и сказал. Это я отчетливо помню. А какое уж там у него, этого Саши, образование! А он, надо заметить тут, завтракал, что ли, этот Саша, в капитанских погонах, только на столе у него горит свечка в бутылке, а рядом с таким подсвечником другая бутылка,— в ней не иначе как самогон, и стакан с самогоном не начатый, и жареная рыба на тарелке. Прошелся Скворцов-второй по комнате с низеньким потолком и говорит вдруг: «Ну что же, брат, если угостить надо, садись! Выпей на дорожку. Подзакуси».— Так и сказал: не «закуси», а «подзакуси». Переглянулись мы трое, дескать, не зря на этого Скворцова надежда была. Сел за стол наш Скворцов, взял стакан, понюхал,— все честь честью. Поднял — и брату: «За твое здоровье, Саша!» — и как в себя вылил, выпил, крякнул и за рыбу, за хлеб принялся. И рыбы той был небольшой кусок, да и хлеба, так что управился он с закуской довольно скоро, а другой Скворцов ходит по комнате и в пол все время смотрит; мы ж думаем, соображает, как освободить брата, что именно приказать конвойным, которых было тоже четверо, как и нас. Кончил Степан есть, собрал со стола хлебные крошки и их в рот кинул,— сидит ждет, не нальет ли брат еще стаканчик. А братец как гаркнет вдруг: «Вста-ать!..» Степан вскочил. «К стене шагом марш!» Степан было: «Как это к стене?» А Саша как схватит его за шиворот и к стенке, а Степан Скворцов опять те же слова: «Образование тебя губит!» А уж у того Скворцова браунинг в руке,— и откуда он у него взялся, я не заметил. Вдруг как трахнет выстрел, и кровь фонтаном из нашего Степана так и обрызгала самого этого братоубийцу.

— О, хотя бы за обедом вы этого не говорили,— поморщилась Таня.

— Да, это страшно слушать,— согласился с ней Матийцев, но сестра Худолея, до этого молчавшая, сказала, как бы желая оправдать брата:

— На войне к подобным ужасам люди привыкают. Я была на фронте в Галиции сестрой милосердия. После Февральской революции там солдаты уже вышли из дисциплины, так и в нашем полку то же было. Коман-

дир полка наш и все офицеры, кто не был убит, бежали в кавалерийскую часть,— это не так далеко было, и вот оттуда с эскадроном гусар примчался генерал один, его фамилия была Ревашов. С эскадроном,— человек семьдесят всего,— а тут целый все-таки полк, и у всех солдат заряжены винтовки. Может быть, он пьян был, этот Ревашов, только стал он на своем коне перед солдатами и начал: «Негодяи! Предатели родины! Бунтовать вздумали? На фронте — и бунтовать? Немедля выдать зачинщиков». А солдаты как закричат: «Все мы зачинщики!» Да к нему. И что же эскадрон этот его? Только его и видели,— пустился с места в карьер, а генерала с лошади стащили и буквально всего искололи штыками. Я его раньше знала, этого Ревашова, когда он еще полковником был, и мне вовсе не было его жалко, сам виноват: усмирять примчался, защитник родины,— закончила она презрительно.

Никто ничего не сказал на слова Елены Ивановны, только брат ее заметил, наливая себе белого муската:

— Когда я жил в Крыму, я не пил крымского вина,— я был еще слишком молод для этого, но как крепко сидит в нас не то, чтобы чувство Родины,— Родина наша слишком велика,— а чувство родных мест, где прошло наше детство: увижу на бутылке вина «Массандра» — и так меня и тянет к этой бутылке!

— А если бы на бутылке стояла «Сарепта»? — лукаво спросил Леня.

— Если бы «Сарепта»,— улыбнулся ему Худолей,— то пить я ее, положим, не стал бы. Но об этой Сарепте, поскольку я уже начал рассказывать, если разрешите благосклонно, то я так и быть — закончу. Наших имен этот зверь даже и не спросил, а только когда подошел к умывальнику смывать с лица и френча братнину кровь, крикнул конвойным: «Этих вывести и расстрелять!» Нас и вывели... из домишка на улицу, но тут у конвойных возник вопрос, куда именно надо «вывести», чтоб расстрелять. Старший конвойный решил, что вывести надо за последнюю хату. Не на улице же расстреливать сразу трех,— тревогу поднимать. Ведь люди после боя с нами до сна дорвались и спят во все лопатки, а откроют конвойные стрельбу по нас, придется им вскочить и за винтовки хвататься: не красные ли опять наступают, чтобы их выбить? Одним словом, нас

повели за город, а утро еще раннее чуть серенькое. И тут местность была какая-то неровная, притом же кусты, лозняк, что ли, какой, но стенки, увы, сами понимаете, никакой не было, куда нам стать, чтобы по всем правилам варварского искусства; и чуть только старший конвойный нам скомандовал: «Вперед, вон до того кустика, шагом марш!» — мы и пошли себе, да на ходу переглянулись, да и, конечно, бросились со всех своих ног в разные стороны, а по нас конвойные открыли пальбу, как по крупной дичи. Вот тут я и начал, как заяц, петлять по кустам, и не знаю уж, удалось ли уйти двум моим товарищам, не видел уж я их больше, сам же я доплелся до ближайшего поста своих: ведь далеко наши не уходили и действительно в тот же день пошли вновь на эту самую Сарепту и выбили беляков. После того-то,— это уж к вечеру было,— мне и сказали, что я поседел. Вот так-то оно и случилось.

3

— Очень заметно сократилось население России после гражданской войны,— говорил неторопливо и вдумчиво Матийцев.— Ведь гражданская война прошла в сопровождении сыпняка, испанки и закончилась голодом. От голода города опустели. Я не знаю точно, сколько людей из России бежало, но много ведь, очень много.

— Не знаю, как у вас, а у меня от гражданской войны осталось такое впечатление: месть! — глядя только на Матийцева и медленно связывая слова, как бы в тон ему, заговорил вновь Худолей.— Месть, дошедшая до помешательства, месть всеобщая. Точно как бы каждый каждому стал кровник, как это принято было на Кавказе у горцев. Только там родовая месть, а во время гражданской войны — классовая, класс против класса шел, а это уж куда больше, чем род. Вот и выходило так, например, у белых: один белый офицер, сын генерала, расстрелянного нашим отрядом, дал клятву расстрелять пятьсот человек наших. Пятьсот,— вы подумайте, я ведь это привожу как факт, взятый из показаний военных преступников,— изверг этот вел своим расстрелянным точный счет. А когда расстрелял пятисотого, то и сам застрелился: исполнил долг, завещанный самому себе!

А то еще другой подобный случай помню: тут даже и не офицер, а поп,— обыкновенный сельский поп... У него кто-то и как-то убил семью в его отсутствие,— просто, должно быть, бандиты в целях обыкновенного грабежа, и вот, когда он увидел пять трупов в своем доме,— жены, матери, трех детей,— снял он с себя рясу, остриг свои патлы, обрил бороду, явился в полк к белым: «Зачисляйте прямо в офицеры, поскольку я бывший поп! И даю я обет убить красных не меньше, как двести пятьдесят человек!..» Белые, конечно, его приняли, он и пошел мстить красным. Но в первом же бою ранен был и попал в плен к нашим. И ведь что вы думаете? Раскаялся? Как бы не так! Вот и говори тут о человеческой психологии, что она уже вся и всем известна! Не-ет! В ней еще белых пятен сколько угодно!

— Твой поп, Коля, просто-напросто психически больной,— заметила Елена Ивановна.

— А разве твоя медицина, Еля, провела уже точную черту между психически здоровыми и психически больными? — очень живо возразил сестре брат.

— Я как врач считаю, что алкоголь — одна из причин психических заболеваний,— заговорила Елена Ивановна о своем.

— А из этого вывод сам напрашивается,— подхватил воодушевленно Леня,— сократить нам производство спиртных напитков. Если у нас очень много хлеба и некуда его девать, так лучше кормить им свиней, чем делать из него водку.

— «Руси есть веселие пити, и не можем без того быти»,— вы знаете, кто так сказал? — обратился к Еле Матийцев и сам ответил: — Киевский князь Владимир, который «святой». Магометане предлагали ему свою веру и совсем было соблазнили его гуриями, райскими девами, но как дошло дело до того, что Магомет запретил пить вино, Владимир на попятный подался: и гурию ему теперь же, при жизни, давай и вино от него не прячь... Вот от него-то, от этого самого Владимира Святого, и пошли у нас процветать водочные заводы.

— А какое потомство у алкоголиков? — как бы не расслышав шутки Матийцева, продолжала Елена Ивановна.— Был у нас поэт один,— не дурак был выпить, но сам-то он убрался за границу, а нам оставил своего

сынка, и теперь сидит этот сынок в Москве, в психиатрической лечебнице, и молчит. Есть такая форма психической болезни — ко всему в жизни полнейшее безучастие и в соответствии с этим нежелание говорить.

— Какой, значит, был речистый папаша,— выболтался даже и за сына на всю его жизнь! — смеясь, подхватил Леня.

— Не всякому отцу это удается, оригинален оказался поэт,— заметил Худолей.

— Да, уже если говорить о поэтах и писателях русских, подверженных недугу пьянства, то поэт ваш далеко не одинок,— сказал Леня.— А ведь было время — прекращали продажу вина.

— Ну и что этим достигли — самогон везде появился,— вставил Матийцев.— Вопрос этот сложный, и одним махом его не решишь.

— А ваши шахтеры пили раньше? — в упор на него глядя, спросила Елена Ивановна.

— Пили... Да. Пили много,— не сразу ответил Матийцев.— И теперь пьют, пьют, но уже значительно меньше. Ведь это вопрос культуры человека. Придет время, и пьянство, как таковое, исчезнет, уйдет в прошлое, как заразные болезни, скажем.— Немного помолчав, он спросил Елену Ивановну: — А вас почему так интересует этот вопрос?

— Ведь я врач, психиатр,— ответила Елена Ивановна и украдкой взглянула на брата.

— И не только потому,— сверкнув лукаво глазами, заметил Николай Иванович.— У Ели есть друг, хороший друг, профессор математики, бывший учитель мой по Симферопольской гимназии, участник обеих войн — и мировой и гражданской. Коммунист. Фамилия этого профессора Ливенцев, человек он сам по себе интересный, конечно, много видел и много знает. Но вот и он подвержен этому недугу: иногда возьмет да и запьет. С Елей он познакомился еще в начале мировой войны в Севастополе, потом где-то видел ее на фронте в Галиции, когда был ранен в грудь навылет русской револьверной пулей,— его же командир полка в него стрелял, как в политического преступника, вздумал его самолично казнить без суда и следствия,— потом вообще с ним много было всего.

— Отчего он и запил,— закончил за него Матийцев.

— Да, по-видимому, все в сумме взятое и послужило причиной в какой-то мере. Особенно повлияла на него смерть жены. Все-таки много лет были вместе и на всех фронтах.

— Между прочим, в одном госпитале в Галиции, в шестнадцатом году, мы вместе с ней были сестрами милосердия,— вставила Елена Ивановна,— Наталией Сергеевной ее звали. С полгода назад она умерла тут в Москве от рака. А ему уж теперь под шестьдесят,— лет пятьдесят семь — восемь, какая же сопротивляемость может быть в такие годы? Я у них бывала и при жизни Наталии Сергеевны и теперь иногда заезжаю к нему, к Николаю Ивановичу. Его тоже Николаем Ивановичем зовут, как и моего брата,— хотели мы сегодня к нему заехать тоже, да вот... Попали к вам.

— А если сочетать бы вам это?—сказал ей Матийцев.

— То есть как сочетать? — не поняла она.

— То есть поехать к нему вот сейчас и привезти его сюда, а?

— Идея! — всплеснула руками Елена Ивановна.— Поеду и привезу! — И она встала и пошла одеваться, но на ходу обернулась к Матийцеву и добавила: — Только, пожалуйста, очень вас прошу, вино и стаканчики винные спрячьте подальше, чтоб вообще вином тут у вас и не пахло. Пусть сколько угодно табаком, только ничуть не вином. Он у себя дома под строгим в этом смысле надзором,— имейте это в виду. Ему стоит только начать, тогда он уже остановиться не может.

— А когда прикажете вас ждать? — осведомился Матийцев.

— Да не долго,— минут... Может быть, двадцать.

— Хорошо, через двадцать мы будем готовы вас встретить.

И после того, как ушла Елена Ивановна, брат ее тоже не прикоснулся к бутылке с вином, хотя оно и было из подвалов «Массандры». Он стал даже как бы грустен на вид, он говорил:

— Если Еля привезет Ливенцева, вы увидите совсем не того человека, каким видел его я мальчишкой гимназистом. Тогда он был еще молод, и сколько в нем видели мы тогда бури и натиска, как он всем импонировал тогда этой своей стремительностью, резкостью, прямотой. Разумеется, ни на кого другого из всех наших педа-

гогов он не был похож. Даже и сравнивать нечего было!.. То все в большей или меньшей степени человеки в футлярах, а этот был боевой. И с кем бы ни говорил из начальства, за словом в карман не лез.

4

— Все-таки, Николай Иванович,— обратился к Худолею Матийцев,— я так и не успел вас спросить, на какой работе вы здесь, в Москве, и как это случилось, что я вас нашел.

— А вы разве меня искали? — удивился Худолей.

— Это правда,— не сразу ответил Матийцев.— Мне как-то даже и не пришло в голову ни разу поискать вас в Москве, хотя приходилось сюда мне приезжать и раньше. Да, признаться сказать, я и не думал, чтобы вы при своей молодой пылкости могли уцелеть.

— А я, рассудку вопреки, как видите, не только уцелел, но еще и послан был после гражданской войны заканчивать образование в Ленинград, в горный институт, так что воспитался в стенах того же вуза, как и вы, Александр Петрович!

— Вот видите, вот видите как! — вполне искренне восхитился Матийцев.— Представьте вы себе,— обратился он к Тане,— такого юнца, который шел однажды по большаку там, в Донбассе, прямиком на Ростов и затем, кажется, нацелился на Кавказ революцию делать, а у самого только линючий синий картуз, да рубашка, да заплатанные на коленях серые гимназические брюки, а на ногах-то вообще непостижимые какие-то постолы из моржовой шкуры, и вот он теперь, лет через семнадцать, горный инженер и работает в Москве, а вот в какой должности, я все-таки не знаю.

— Ведаю отделом кадров, должность скромная,— ответил Худолей.

— Скромная,— подхватил Леня, улыбнувшись, и полузакрыл глаза.— А когда я вот вошел в его кабинет, то знаете, что я от него прежде всего услышал? — обратился он к Матийцеву.

— Что-нибудь очень грозное? — попытался догадаться Матийцев.

— Именно! «Вас, говорит, я вовсе не знаю».

Худолей рассмеялся добродушно.

— А вы, значит, обиделись? Это мне часто приходится говорить,— кадры дело такое, тут нужна известная осторожность. Назначишь, бывало, а с места потом бумажки летят: «Кого это вы к нам прислали? Он — самозванец и проходимец». Кадры дело ответственное,— тут большой опыт нужен, а прохвостов попадается у нас еще очень и очень довольно. А вот Александр Петрович выступал однажды в суде, в Донбассе, тогда я его увидел в первый раз. И выступил, мне помнится, для тех времен очень резко, так что я был убежден тогда, что его непременно арестуют и в тюрьме сгноят!

— Меня и арестовали через несколько дней и сослали.

— Ну вот, ну вот! Все значит вышло по-писаному! — как бы даже обрадованно перебил Худолей.— Разве мог вас выпустить из когтей прокурор, раз вы сами тогда шли к нему в лапы? Теперь-то вы, разумеется, приобрели известную, как бы это выразиться, степенность, солидность, ну, в этом роде, а ведь тогда я вас видел в молодом подъеме, бурлящим, как кипяток. И знаете ли что? Вот к месту пришлось, и напомнили вы мне тогда именно этого самого моего учителя по гимназии Ливенцева, которого, может быть, сейчас увидите. Ведь школьники — народ наблюдательный, мы своего учителя математики часто видели именно в таких положениях взрыва,— другого слова и не найдешь. Вдруг в нем что-то уже произошло, и нате вам — взрыв! И не только в классе: часто из учительской комнаты слышен был нам его голос громовой. Учителя же в те времена были тихий народ, затурканный. А этот нет. Этот — весь темперамент. Вроде вот Леонида Михайловича,— кивнул он, улыбаясь, на Слесарева.

— Ему иначе и нельзя,— выступила на защиту мужа Таня.— Трудно оказалось объяснить, что такое пластометрический метод и на чем он основан. Может быть, вы не поверите, но мы вдвоем,— один сменял другого, потому что ведь уставали,— восемь часов подряд объясняли одному профессору горного дела теорию и практику наших опытов, и все-таки...

— Все-таки он ничего не понял, хотите вы сказать,— закончил за нее Матийцев.— Да это можно представить. Но вот не время ли нам прятать бутылочки. Нам это было приказано вашей сестрой, Николай Иванович.

И было кстати убрать бутылки и стаканы и открыть форточки, чтобы проветрить комнату. Едва успели они это сделать, как отворилась дверь и вошла первой Еля, а за нею в осеннем пальто, хотя и заботливо укутанный темно-синим шерстяным шарфом, в легкой мерлушковой шапке показался тот, кого ожидали,— профессор математики Ливенцев. Лицо его показалось обоим Слесаревым и Матийцеву гораздо свежее, чем предполагали, что объяснили они действием легкого мороза. Он оказался выше среднего роста и довольно еще гибок телом. Мешков под глазами, как это бывает у пьяниц, у него не было. Глаза его, карие и острые, пробежались по всем трем новым для него лицам, и первое, что сказал этот немолодой и неторопливый по виду человек, хотя и с поседевшими висками и с морщинами на открытом угловатом лбу, было:

— Вы, товарищи, предупредительно убрали от меня бутылочки с вином, о чем мне сообщила по дороге Елена Ивановна. Но я уже давно ничего не пью, и все равно вы бы меня не соблазнили. Так что можете поставить их опять и продолжать в том же духе.

— Нет, нет! Что вы,— вступилась Елена Ивановна,— и откуда вы взяли, Николай Иванович, что я вам будто бы говорила? Откуда вы взяли, хотела бы я знать?

— А разве так трудно было догадаться об этом по вашему тону? Эх вы, а еще психиатр,— и Ливенцев добродушно засмеялся.— По описаниям Елены Ивановны,— непринужденно заговорил он, обращаясь к Матийцеву и присаживаясь к столу,— вы — хозяин этого пиршества, к моему крайнему сожалению пришедшего уже к концу. Но я все же надеюсь, что вы угостите меня обедом, хотя и без вина!

— Непременно, непременно! Я сейчас позвоню официанту,— и Матийцев поднялся вызывать официанта, а Ливенцев обратился уже к Лене:

— А вы, как я осведомлен по дороге сюда, работаете при Академии наук?

— Да-а,— неопределенно протянул Леня, с большим интересом оглядывая энергичное и в фас и в профиль лицо этого нового для него человека.— Мы работаем там по углям и коксам вдвоем, вот с моею женою.

— Вот как! И ваша жена тоже ученая? Как хорошо

это! Значит, у вас тоже большие математические способности, большая редкость это — встретить женщину-математика!

— Да ведь мы больше естествоиспытатели, чем математики,— покраснев сама не зная почему, отозвалась на это Таня.— Мы делаем опыты, опыты и опыты, ведем записи, записи и записи, приходится и вычислять, конечно, кое-что, но при чем тут высшая математика.

— Но ведь высшую математику вы проходили в своем горном институте, как и вы тоже, мой дубльтезка? — обратился он к Худолею.

— Постольку, поскольку она была нужна нам, горнякам,— ответил за всех троих Худолей.

— Это я почему вдруг заговорил с вами о высшей математике? — продолжал, кивнув ему головой, Ливенцев.— Прочитал недавно в старом историческом журнале о том, как приезжал Дидро,— энциклопедист Дидро,— в Россию при Екатерине. Между прочим, он запродал тогда и свою библиотеку России, но с тем, чтобы ее вывезли из Франции только после его смерти. И вот, представьте себе такую картину, как истый галантный француз, хотя и Дидро, сидит он в кабинете Екатерины Второй, говорит с ней о высоких материях по части управления обширнейшим русским государством, а сам гладит руками колени северной Семирамиды или Мессалины, как вам будет угодно. Но вот аудиенция окончена,— он уже достаточно утомил августейшую слушательницу своей беседой, раскланялся и вышел из кабинета, но тут, в приемной, встречает его, материалиста, ученый немец на русской службе, член российской Академии — знаменитый математик и набожный человек Леонард Эйлер,— старик в белом парике, в расшитом, как ему подобает, камзоле, со звездой, если не с двумя, и протягивает безбожнику Дидро листок с формулой: «Вот вам доказательство бытия божия!» Дидро посмотрел на эту формулу, улыбнулся, отдал бумажку старику обратно и ушел. Если вам угодно, я могу изобразить эту формулу,— вот она.— И, очень быстро вынув из бокового кармана записную книжку с карандашом, он написал:

$$\frac{a - 1 - b^{м}}{z} = x$$

и спросил Матийцева: — Как вы отнесетесь к такому доказательству бытия божия?

— Начну с того, что ничего в этой формуле не понимаю,— добросовестно подумав, сказал Матийцев.

— Присоединяюсь к вам,— весело взглянул Худолей еле скользящим взглядом по загадочной формуле. Зато долго рассматривала эту бумагу, исписанную черточками, Таня, и Ливенцев начал было, судя по его взлетевшим бровям, надеяться, что вот она скажет что-то, однако она только вздохнула и протянула ему книжечку обратно совершенно безмолвно.

5

— Так же точно как Эйлер, другой ученый любил повторять, что большой палец на его руке не устает говорить ему о бытии божьем, и вообще, что ни барон, то свежая у него фантазия,— говорил, пряча книжечку, Ливенцев.— А Гальтон,— англичанин,— едва ли вы слышали о нем,— занялся, чем бы вы думали? Исчислением, сколько на миллион англичан приходится людей посредственных, даровитых, талантливых, очень талантливых и, наконец, гениальных, а также в нисходящем порядке: пониженных умственных способностей, слабых, очень слабых и, наконец, идиотов. Это было еще до мировой войны, Англия процветала, жила в достатке, сосала молочко своих колоний на всех континентах и океанах и занималась боксом. Все там было независимо, устойчиво, и никаких катаклизмов не предполагалось, и Гальтон действовал на основании точной статистики.

— Что же у него получилось? — полюбопытствовал Матийцев, договорившись с официантом насчет обеда Ливенцеву.

— Получилось, прежде всего, с большой катастрофичностью: на миллион англичан — один круглый идиот и один гений! Об идиоте спорить не будем, но... не много ли все-таки — один гений на миллион? — спрашивающими глазами обвел всех Ливенцев.— Сорок, например, миллионов населения — и среди них сорок гениев! Не много ли?

— А вот же у французов на сорок миллионов сорок бессмертных в их Академии наук,— сказал Леня.

— Но далеко не все сорок гении! — подхватил Ливенцев.— Разумеется, теория Гальтона явная чепуха, но

статистика вообще великое дело. Число! Самая трагическая фраза, какую я знаю в нашей классической литературе,— у Гоголя в «Записках сумасшедшего» — месяца не было, числа тоже не было. День был без числа. Без числа, значит все кончено,— хаос и затмение ума... Совершенно уж неизлечимое, Еля, затмение ума,— и даже вы, волшебница в области психиатрии, излечившая меня от пристрастия к спиртному, не в состоянии ничего сделать с теми, кто потерял число. Вот, например, кружок лимона на столе,— сосчитайте-ка, на сколько долей делится его мякоть!

— На восемь,— тут же ответила Таня.

— Совершенно верно, на восемь, и вот, видите, в середине кружка белое уплотнение, а весь рисунок в общем похож на белого паука с восемью, как и у всякого паука, ногами. А возьмите кристалл горного хрусталя, у него шесть сторон, а сам кристаллизуется кубами, а пчела безошибочно делает свои шестиугольные ячейки в сотах, и это — самая лучшая форма для ее постройки. И Пифагор, когда нашел, что квадрат катета прямоугольного треугольника равен квадрату гипотенузы, как отпраздновал это свое открытие? На празднике у него по этому поводу съели сто быков.

— Богатый был человек! — заметил Леня.

— А известно ли вам, что Александр Гумбольдт истратил в молодости на издание своих сочинений триста тысяч талеров? — продолжал Ливенцев.

— Ка-кой был богач! — простодушно удивилась Таня.

— Да, богач, но были другие богачи в его время, однако не были такими разносторонними, как он. В университете он записался было на юридический факультет, но вскоре перешел на изучение технологии, естественных наук, физики, греческого языка. Написал диссертацию о ткацком деле у древних греков, и это до девятнадцати лет, а на двадцатом году он увлекается уже геологией, минералогией, слушает лекции в горном фрейбургском училище, и в то же время исследует мхи и пишет о них солидный труд. Потом в Вене изучает вообще ботанику и в Иене анатомию и пишет о животном электричестве. В тридцать лет начинает путешествовать за пределами Германии, изучает морские течения, земной магнетизм, кстати, занимается восточными языками и прочее, и про-

чее, и прочее. В шестьдесят лет начал заниматься астрономией. В семьдесят пять начал издавать свой «Космос». Даже поэзией занимался, даже в России побывал и нашел на Урале алмазы. Даже с поэтессой Каролиной Павловой у нас в Петербурге успел познакомиться и любезно пригласил ее к себе в Берлин, кажется. И через пятнадцать лет, когда было уже ему девяносто лет, увидел у себя эту самую Каролину Павлову и сказал: «Согласитесь, сударыня, что трудно найти вам еще одного такого же галантного кавалера, который дожил бы до девяноста лет только затем, чтобы дождаться вашего ответного визита!»

— Счастливая организация была у этого Гумбольдта! — сказал Матийцев.— И возможной она казалась на почве личного богатства. И один гений на миллион человек в Англии времен Гальтона выходил не из простых шахтеров, а из среды владельцев шахт, фабрик, заводов, целой флотилии кораблей торгового флота, особняков и тому подобное,— и в этом-то весь вопрос. Опыт разложения воды стоил Лавуазье шестьдесят тысяч франков, значит, не имей он этих денег, не проявил бы он и своей гениальности. Давно известно, что наука требует жертв и очень больших денег.

— Вот! Вот именно! Вы подливаете масла в мой огонь,— воодушевился Ливенцев.— Не один гений на миллион человек должен быть в Советской республике нашей, а два-три и более, потому что опыты мы делать можем теперь какие угодно дорогие и за счет государства, а государство наше архимиллиардер, до которого далеко любому Гумбольдту и Лавуазье! И вот первое, и главное, и самое доходное при этом предприятие для наших миллиардов: всеобщее образование! Вот точка приложения сил,— пафос нашей Октябрьской революции,— всеобщее образование! Я говорю это не только как бывший учитель средней школы, а нынешний профессор,— я имею возможность смотреть гораздо шире; но наблюдаю я и своих студентов теперь и сравниваю их со студентами своей молодости, с гимназистами, с моими бывшими учениками. Вот, кстати, один из них,— кивнул он на Худолея,— и мой вывод таков: нечего и говорить, что прежние студенты были развитее, начитанней теперешних, которым пока еще некогда было так много читать, которые гораздо позже прежних увидели первую

печатную книгу, но у них, у современных студентов, я нахожу гораздо больше здравого смысла и знания жизни, а главное, их несравненно больше во всех аудиториях, чем было в мое молодое время. Их положительно тысячи там, где в мое время были десятки! Вот эту общедоступность высшего образования я считаю величайшим завоеванием революции. Сосчитано, что математику как науку создали начиная с достоверных исторических времен всего-навсего несколько сот человек в разных странах. Эта отвлеченная из наук была наукой для избранных. Но подождем, подождем — как пойдет она вперед в нашей стране! А не забывайте все-таки, друзья мои, что на математике основаны все точные науки! Что делал, создавая свою классификацию растений, старина Линней, как не считал прилежно лепестки, пестики да тычинки цветов!

Тут официант принес на большом подносе обед для Ливенцева, и мысли профессора-математика приняли другое направление. Наливая себе в тарелку суп, он укоризненно заговорил, ни к кому не обращаясь:

— Как же это все-таки заставляете вы меня в такой исключительный день так прозаически питаться ради питания! Это нехорошо, товарищи. Это совершенно излишний пуританизм.

— Николай Иванович,— строго обратилась к нему Елена Ивановна.

— Что, Еля? Чем же я вас обеспокоил? — улыбнулся Ливенцев, впрочем не без грустной складки в углах губ.— Вы, кажется, приняли всерьез мою шутку? Нет, напрасно волнуетесь, я признал силу вашего внушения. Не удивляйтесь, что я этого психиатра зову Елей,— обратился он к Матийцеву, Лене и Тане.— Я познакомился с ней еще в пятнадцатом году в Севастополе. Тогда она была совсем еще девочкой, но носила уже красный крест сестры милосердия, а зимой шестнадцатого года, когда я, прапорщик запаса, был ранен в грудь навылет пулей своего же полкового командира, причем генштабиста,— я назвал его палачом за расстрел пятерых солдат моей роты в Галиции,— я увидел ту же Елю уже там, на фронте. Я сидел тогда в санях,— меня отправляли с фельдшером в тыловой госпиталь. В метель сани остановились около какого-то питательного пункта, и оттуда вышла вдруг, кто же? Она, Еля, со стаканом горячего

чая для меня. И представьте, она меня тогда не узнала. Она сказала, что очень много видела офицеров и всех не в состоянии вспомнить. Но тогда я не обиделся на нее за это, нет! Я ее понял. Однако этот момент остался в моей памяти одним из самых светлых в моей жизни...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Так как Матийцеву как хозяину нужно было занимать гостей, он обратился к Лене:

— Вчера, Леонид Михайлович, мы с вами говорили о многом, только не о вашей работе по части кокса, не расскажете ли нам, а?

— Ну вот, рассказать! Разве это так для вас интересно слушать о поведении углей при коксовании? — усмехнулся Леня.

— О поведении углей? — повторил и поднял на него округлившиеся глаза Ливенцев.— Поведение и успехи углей? Любопытно.

— Вы сказали, между прочим, совершенно точно: поведение и успехи углей... Успехи в смысле способности их в той или иной шихте, то есть смеси, давать вполне качественный, то есть деловой, кокс,— начал увлекаться Леня.

— Значит, кокс — это ваш конек,— так надо полагать,— спросил Ливенцев,— и вы просвещаете эту темную массу?

— Именно я и занят просвещением темной массы углей,— продолжал Леня.— Я пробуждаю скрытые в них способности коксоваться, и это при общей убежденности некоторых специалистов, что они безнадежны, что они тупицы, олухи, что годятся они только для паровозной топки, а не для такого умного дела, как преображение в копи, освобождение из своей толщи при этом многих ценных газов, а также смолы — пека.

— Но вам, лично вам,— обратился к Матийцеву Леня,— быть может, известно, что нежелание коксоваться свойственно огромному большинству наших углей и несвойственно ни американским, например, ни английским, ни германским,— это зависит и от возраста их и от качества,— от большого количества в них серы, золы

и прочего. Отсюда вывод: наши угли, чтобы они хорошо коксовались, надо обогащать, а это — сложный процесс, очень удорожающий кокс. Подобрать же шихту,— смесь углей,— так, чтобы они не только коксовались, но и давали бы безупречный кокс,— это делалось и раньше, но ощупью, вслепую, без ясного представления, почему это так выходит...

— А вы, значит, что же?

— А я,— ответил Ливенцеву Леня,— подвел под практику вполне проверенную лабораторным опытом теорию, и теперь это делается уже не вслепую, и шихта из наших углей носит теперь повсеместно у нас — и в Донбассе, и в Кузбассе, и в Кемерове, и в Казахстане — мое имя и приобрела известность также и за границей.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — восхитился Ливенцев.— И искренне вам говорю, я очень рад, что вижу вас сегодня, спасибо и вам, Еля, что меня пригласили сюда! Но вот «поведение» углей, что это, собственно, значит? Меня интересует, просто ли это словечко, брошенное вами в чисто переносном смысле, или...

— Нет, это — термин вполне научный,— перебил его Леня.— Каждый сорт угля пишет нам в нашем аппарате, при помощи иглы, что именно он собою представляет. При нагревании пробного угля в аппарате игла вычерчивает на особой пластинке кривую (Леня показал это пальцем в воздухе) того или иного рисунка, и мы видим, что это за уголь: жирный он или тощий,— и к какой марке углей он относится. Все шахты, какие есть в Советском Союзе, присылают к нам свой уголь на пробу, и для каждого коксового завода, где бы он ни был, наша лаборатория подбирала безошибочно шихту.

— Могу подтвердить вам это,— обратился к Ливенцеву Матийцев.— Я имел дело с Леонидом Михайловичем в бытность мою директором одного комбината. Каюсь, я ему не доверял тогда, думал: парень слишком молод для серьезных дел! Но он блестяще доказал мне, что я ошибался.

— Хорошо,— просвещение углей,— заговорил Худолей, обращаясь к Лене.— Но раз вы уже просветили их,— пользуясь вашей терминологией, то ваша дальнейшая работа, работа в Академии наук, в чем же она заключается?

— Просвещение кокса,— быстро ответил Леня, не улыбнувшись.

— «Просве-щение кокса»,— это уж и мне, горному инженеру, все-таки непонятно,— сказал Матийцев.

— И мне, тоже горняку,— поддержал его Худолей.

— Видите ли, кокс,— начал объяснять Леня,— он, как вам известно, имеет трещины. Это всеми признавалось за его неотъемлемое свойство, но мы вот с женой,— прикоснулся Леня широкой своей ладонью к плечу Тани,— а также и с другими сотрудниками поставили к решению вопрос: «А нельзя ли нам получить такой кокс, чтобы в нем совсем не было трещин, что весьма неудобно во многих смыслах?» Технический вопрос, конечно, очень существенный, и вот теперь... Мы почти вплотную подошли к его решению... Точнее говоря, мы уже решили этот вопрос,— кокс без малейших трещин лабораторным путем мы уже получаем,— да еще и какой плотности у нас выходит кокс! Пробовали бить по куску такого кокса пудовым молотом, и он — как миленький,— ни мур-мур!

И только теперь, когда сказал «ни мур-мур», лицо его расплылось в широкую улыбку, причем совершенно спрятались глаза.

— Вот так фокус! —воскликнул Ливенцев и даже есть перестал.— Но позвольте, позвольте, Леонид Михайлович! Кокс я представляю ведь... Он легкий, он действительно трещиноватый,— упадет кусок кокса с высокого места на камень, должен рассыпаться, кажется, ведь так? А то, что у вас получилось, это уже не кокс, а что-то другое, раз его обухом не расшибешь,— не так ли?

— Нет, не так,— серьезно уже ответил Леня.— Кокс остался коксом. Только он нами спрессован под большим давлением, расплавлен, пропущен через трубы, и мощность его при процессе выплавки металла в несколько раз выше по сравнению со старым коксом. Но самое важное в нашей работе то, что для производства кокса не нужно будет таких громадных зданий, как теперь; это совершенно лишнее, раз кокс станет протекать по трубам, а технический термин «коксовый пирог» из обихода коксовиков исчезнет навеки. И никаких больше у инженеров опасений, что он «не пойдет», что коксовая печь забурится, выйдет из строя и тем самым сорвет план выплавки чугуна, никакой аварии вообще не будет

и быть больше не может. Процесс образования кокса на вполне научных началах нами освоен и может быть выпущен из нашей лаборатории сначала, конечно, на пробный заводик, игрушечный, так сказать, макетный, а затем... затем, после признания нашего новаторства технической комиссией, новые коксовые заводы могли бы уже строить в соответствии с этим игрушечным один за другим, в порядке постепенности, не вытесняя, конечно, старые заводы, а только заменяя их, когда они выйдут из строя.

Тут Леня как бы запнулся, но за него энергично докончил Матийцев:

— Строить новые рядом со старыми!

— Ка-ков? — поглядел на Худолея Ливенцев, кивнув перед тем на Леню.— Вот он, настоящий советский ученый, не с отвлеченностями, не с абстракциями имеющий дело, как я грешный, а с тем, что нужно для жизни. Помнится, один писатель сказал, что в паре и электричестве гораздо больше любви к ближним, чем во всех книгах известнейших гуманистов... Можете добавить, Леонид Михайлыч, что и в коксе тоже. Ведь ваша идея, она как? Увеличит, я думаю, у нас выплавку металла?

— Несомненно. К тому мы и стремились. А иначе зачем же нам было бы и огород городить,— ответил Леня.

— Ну вот,— это ясно! А чем больше железа и стали, тем больше машин, а чем больше машин, тем легче людям, а чем легче станет жить людям, тем, значит, больше проявлено к ним любви! — Тут Ливенцев оглядел Леню и добавил для него неожиданно: — Вам никому не приходилось выбивать зубов?

— Крупных драк у меня, кажется, не было,— улыбаясь, ответил Леня.

— Но драки вообще бывали, и способностью выбить иному ближнему зубы вы, насколько я понимаю, не обижены от природы,— продолжал Ливенцев.

— Постоять за себя, конечно, могу,— все так же улыбаясь, сказал Леня.

— Вот! Вот именно! И тот, кому вы сокрушите зубы, конечно, будет говорить о вас всем и каждому, что вы — горилла, мясник, людоед, и прочие ласковые словечки... А между тем, между тем в вас сидит и вами движет огромнейшая любовь к людям! Та самая любовь к людям, какая и нами двигала, нами всеми, людьми

старшего поколения, участниками навязанной нам гражданской войны!.. Приходилось нам отвечать жестокостью на жестокость. Раз пришлось прибегнуть во имя светлого будущего для темных забитых масс к вооруженному восстанию, то какой же мог быть тут разговор о белых ризах? Если против тебя идут с винтовкой в руках, то и у тебя должна быть та же винтовка, а если выставят на тебя пушку, то дурак будешь, если пушки не выставишь сам!.. И если вот теперь ополчатся против нас фашисты в Германии, в Италии, Японии, то разве мы должны глядеть на них глазами кротких людей: придите княжить и владеть нами; нет, мы должны дать им жестокий отпор, и вот тут-то ваш новый кокс и должен сослужить свою службу... Так? И в долгий ящик откладывать этого дела нельзя! И... вот что я вам хочу сказать, Леонид Михайлович: если вам кто-нибудь препятствовать будет в этом вашем деле,— я знаю, палки в колеса таким новаторам, как вы, у нас вставлять умеют, охотники до этого таятся везде, мы от них не очистились, нет,— бейте их, подлецов, непосредственно в зубы! И вас не будут судить за членовредительство, а дадут вам орден! Ведь бил же всяких там немцев — шумахеров наш Ломоносов в Российской Академии наук, значит, без этого нельзя было ему, и никто не отдавал его под суд за это. А что мешали ему,— то да: мешали, и даже слишком мешали,— не зря же он пил так, что допился до водянки, от которой в моем возрасте и умер.

— Николай Иванович! Помните, что эта милая болезнь угрожает и вам,— энергично сказала Елена Михайловна.

— Нет! — еще энергичнее отозвался на это Ливенцев.— Нет, не угрожает! И не хочу я знать ни о какой водянке! Дал я вам слово, Еля, и сдержу его. Я уже перемог себя. Мне когда-то сказал один пьяненький мужичок: «Н-ни зерна не пил, ей-богу, ваше благородие, ни зерна!» Так и я вам скажу, ни зерна пить не буду. Конец! Пьяниц чем лечите вы, врачи? Внушением? Вот это самое внушение я от Леонида Михайловича и получил сейчас. Этот угол зрения на жизнь был почему-то от меня далек,— он мне его показал. Но математика моя, математика!.. Я, должен вам признаться, от нее уже отстал. Не дает она мне теперь той поэзии, какую давала прежде, раньше, до мировой войны... Я профес-

сорствую, и только. Повторяю продвижение, но... не иду вперед. Не могу я заставить свою мысль углубиться в абстракции после всего, что испытал и видел, с лета четырнадцатого года начиная. И в сущности, посудите сами, какая там к черту абстракция, когда хлынул кровавый потоп? Леонид Михайлович,— перебил он себя вдруг,— вы пустите меня в свою лабораторию?

— А отчего же нет? Пожалуйста! — тут же согласился Леня.

— Вот! Спасибо вам! Вот и все лечение, какое мне нужно... Кроме вашего внушения, Еля!.. Мне нужно живое дело, а не абстракция! Что же, в самом-то деле, я не могу разве пройти курса вашего горного искусства, товарищи инженеры, скажем так, за какой-нибудь год? Вполне могу и очень теперь жалею, что не догадался сделать этого раньше!.. Вполне могу, и с завтрашнего дня, если позволите, считайте меня своим учеником, Леонид Михайлович.

Еще не успел ответить на это Леня, как Таня, до этого, казалось, с особым упорством молчавшая, захлопала бурно в ладоши. Этот знак одобрения заразителен, и вслед за Таней захлопали все другие.

Ливенцев поднялся и поклонился, улыбаясь, сначала Тане, потом Еле и другим. И, продолжая улыбаться, довольно вкрадчивым тоном, поглядывая на Елену Ивановну, но обращаясь больше к Матийцеву, заговорил:

— Вы присутствуете, товарищи, при знаменательном акте преображения человека. Человек этот на ваших глазах избрал себе новый путь и стал на него твердой ногою... Так вот, может быть, вы разрешите ему, как это в просторечии говорится, посошок на дорожку, а?

— Ни за что! — крикнула Елена Ивановна.— Ни под каким видом! Никаких посошков на дорогу!..

Ливенцев посмотрел на нее продолжительно, как бы померкшими несколько глазами, но все так же продолжая улыбаться, и сказал:

— Какая же вы хорошая, Елинька! Но зачем же вы так волнуетесь, не понимаю? Разве вы не видите, что я просто-напросто пошутил...

<1958>

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

Эпопея

Литературно-художественное издание

Сергеев-Ценский Сергей Николаевич

ПРЕОБРАЖЕНИЕ РОССИИ

Эпопея

ЛЕНИН В АВГУСТЕ 1914 ГОДА
КАПИТАН КОНЯЕВ
ЛЬВЫ И СОЛНЦЕ
ВЕСНА В КРЫМУ
ИСКАТЬ, ВСЕГДА ИСКАТЬ!
СВИДАНИЕ

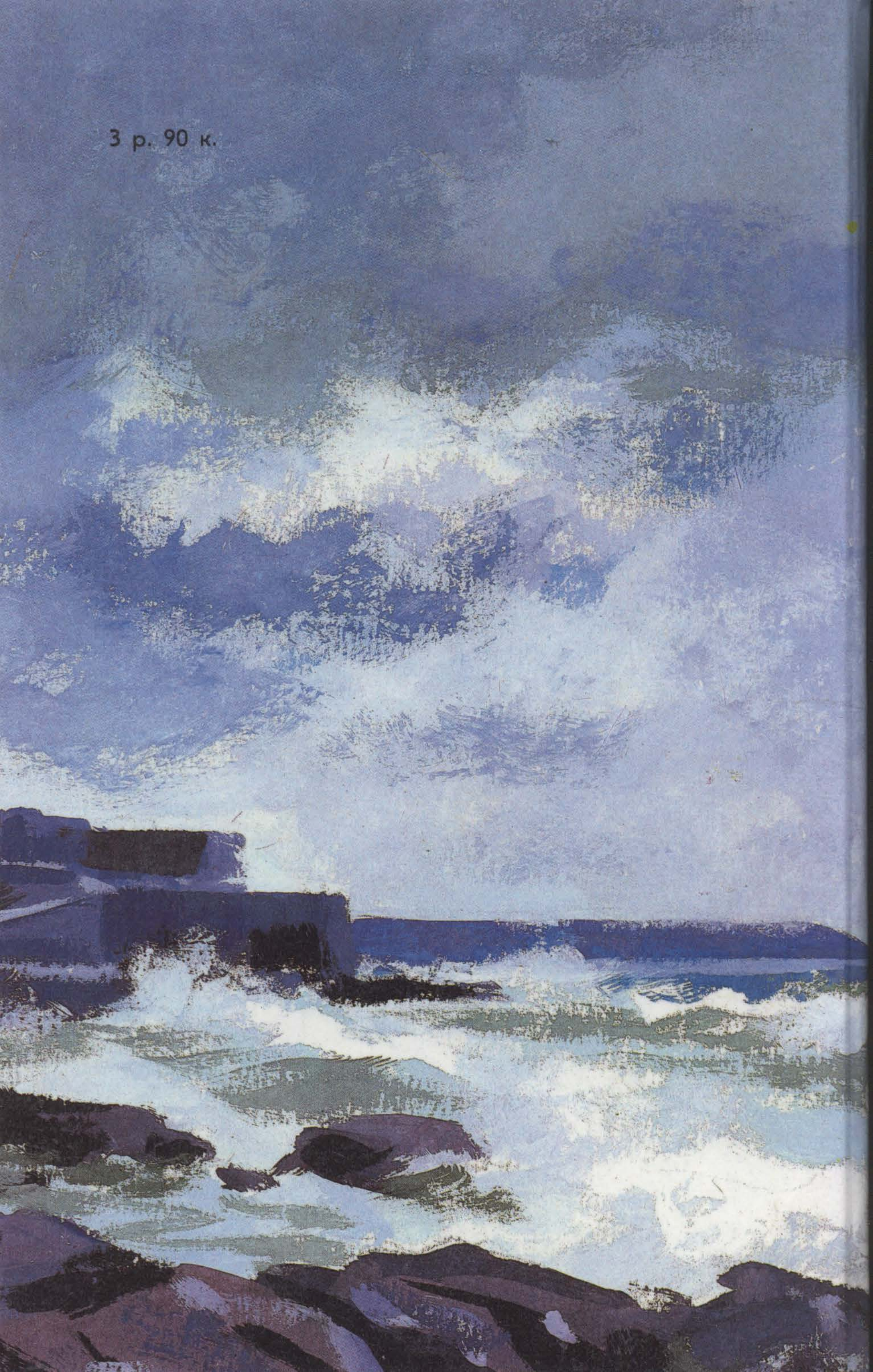
Редактор С. А. Суркова
Оформление художника А. И. Неровного
Художественный редактор В. В. Масленников
Технический редактор Л. Ф. Молотова

ИБ 2298

Сдано в набор 05.06.90 Подписано в печать 19.03.91.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 28,56 Усл кр.-отт 28,98 Уч.-изд л. 29,79.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 3795. Цена 3 р. 90 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии издательства «Звезда».
614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.


3 р. 90 к.